



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slav 433.8.3.3

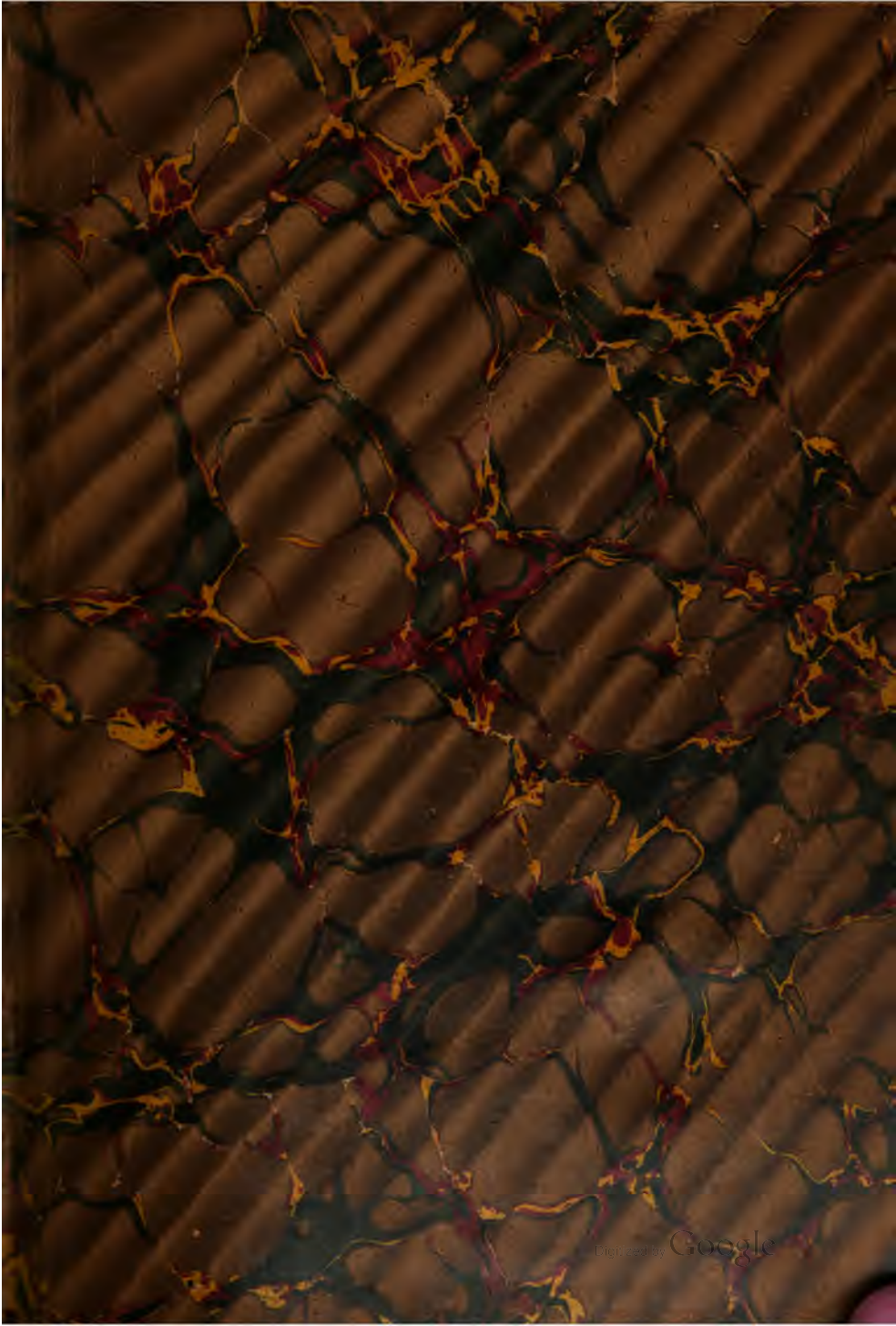
Harvard College Library



FROM THE BEQUEST OF

THOMAS WREN WARD

TREASURER OF HARVARD COLLEGE
1830-1842



1407

СОЧИНЕНІЯ

А

Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

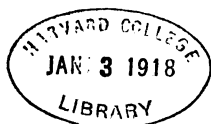
ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ.

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ, ПОСМЕРТНОЕ,
ВЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ,
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1901 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание А. Ф. МАРКСА.
1901.

S lar 4338.33



Ward Jewett



Типография А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

МИРОВИЧЪ.

(1762—1764 г.)

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ЦАРСТВЕННЫЙ УЗНИКЪ.

— «Да, — скажутъ наши правнuki: —
имъ было больно угнетеніе Россіи».

Ледяной домъ.

I.

Курьеръ изъ завоеванной Пруссіи.

Императрица Елисавета Петровна скончалась 25-го декабря 1761 года, въ самый разгаръ войны Россіи съ Пруссіей. Войска Фридриха были уже не тѣ: лучшіе его офицеры убиты или взяты въ плѣнъ.

За годъ передъ тѣмъ, отрядъ генераль-поручика Петра Ивановича Панина овладѣлъ Берлиномъ. Казаки, съ союзниками-кроатами, опустошили столицу Фридриха-Второго, разграбили въ ней до трехъ-сотъ домовъ, не пощадили и загороднаго королевскаго дворца: изломали въ немъ дорогую мебель, перебили фарфоръ, бронзы и зеркала, изорвали штофные и гобелёновые обои, изрубили итальянскія картины и разнесли въ клочки кабинетъ рѣдкостей.

Начальники не отставали отъ подчиненныхъ. Дано было приказаніе прогнать сквозь строй «Подъ-Липами» берлинскихъ «газетировъ» за то, что эти публицисты слишкомъ обидно и дерзко писали о русскихъ. Вслѣдствіе такого при-

каза, «противныя Россіи, печатныя въ газетахъ письма» згли черезъ палача подъ висѣлицей, а сочинителей тѣхъ писемъ вывели на экзекуціонный-пiazza, чтобы наказать ихъ противности, шипрученомъ. Генераль Чорышевъ иже помиловалъ. Одного «дусергельда» на вино, на сигары и вообще на угощеніе русской арміи было истребовано отъ Берлина сто тысячъ. Изъзна командира отдѣльнаго прусскаго корпуса, графа Тотлебена, и его арестъ, съ общаго совѣта всѣхъ русскихъ полковыхъ командировъ, на маршъ въ Помераніи не измѣнили рвенія побѣдоносной арміи. Положение Фридриха было отчаянное. Онъ изъ прусскаго народа сталъ опять ничтожнымъ бранденбургскимъ бурфюрстомъ. Въ Кенигсбергъ поселился русскій губернаторъ, отецъ Суворова. Вся Пруссія была завоевана и, — послѣ ровной надписи Елисаветы «быть по сему» на докладъ о ея присоединеніи, — присягнула въ подданство русской императрицѣ. Въ этой новой «губерніи» стали вводить русскія порядки. Въ ней явилась русская миссія, съ архимандритомъ; начали чеканить русскую монету. И вдругъ обстоятельства измѣнились...

Племянникъ Елисаветы Петровны, императоръ Петръ III-й, въ самый день смерти тѣтки, вошелъ съ обожаемымъ имъ королемъ Фридрихомъ въ переговоры о перемиріи. Губернаторъ Суворовъ, по именному указу, сдать войска и управленіе прусскимъ королевствомъ генералъ-поручику Петру Ивановичу Панину, а самъ уѣхалъ въ Петербургъ и сталъ, изъ-за долговъ, публиковать въ вѣдомостяхъ о продажѣ своего имущества. За нимъ, радуясь манифесту «о вольности дворянства», двинулись подъ разными предлогами въ Россію и другіе офицеры, особенно штабные. Огорченія обидѣнныхъ уступокъ забывались. Всѣхъ людей-неволей манило изъ долгого похода на родину...

Въ концѣ февраля 1763 года, на курьерской тройкѣ, въ пошевняхъ, по пути изъ Пруссіи въ Петербургъ выѣхалъ средняго роста, лѣтъ двадцати-двухъ, сухошавый, съ черными, строгими, нѣсколько разбѣянными и какъ бы недозвольными глазами, офицеръ изъ Кенигсберга. Былъ второй часъ пополудни. Онъ опѣшилъ застать присутствіе въ военной коллегіи. Отъ въѣзда въ городъ у Каликина моста, до зданія коллегіи (Штетельмаховскій домъ на Мойкѣ, у

Краснаго моста, — гдѣ нынѣ институтъ глухонѣмыхъ), офицеръ вслѣдствіи торопился ямщика. Десять дней пути въ ростепель и похолодье по Литвѣ сильно его утомили. Онъ везъ собственноручныя бумаги Панина, съ робкимъ, хотя яснымъ предложеніемъ — попытаться продолжать войну. Въ мысляхъ офицера рисовался ожидаемый имъ, полный неизвѣстности, крикъ, борьба Панина съ двѣрскими партіями и вѣроятное сочувствіе и поощренія товарищей. Онъ добрался до коллегіи, одернулъ на себѣ помятый зеленый, съ такимъ же воротомъ, кафтанъ и красный камзолъ, обмахнулъ свѣтъ съ черныя штиблетъ и туфляхъ, безъ пряжекъ, истоптанныхъ башмаковъ, и оправилъ ненапудренные бугли и космы развѣсившейся въ дорогѣ свѣтло-русой, запорошенной пшеницы, косы. Спросивъ въ коллегіи генерала, къ которому везъ отъ Панина еще частное письмо, онъ сдалъ пакеты и, измученный дорогой, ожидалъ, что его станутъ разспрашивать, готовить въ умѣ отбиты, подбирали убѣдительныя слова. «Войско, — думалъ онъ, — рвется сражаться, смѣлый прожектъ Петра Ивановича одолѣетъ... Себя не пожалѣю, всю правду докажу. Лишь бы отечеству польза, — лишь бы офицеры смѣло стояли честнаго и неподкупнаго командира!..»

Бѣлолицый, важный ростомъ и новадкой, дежурный генералъ Бехлешовъ прочиталъ привезенное письмо, остальные бумаги отложилъ къ сторонѣ, пристально взглянулъ въ посланнаго, сердито потоптался на мѣстѣ и, презрительно фыркая, сказалъ: «Новости твои, сударь, вовсе не важны... А Петръ Ивановичъ хоть и почтенный патриотъ, почтенный, — но... да это не твое дѣло... Война — экіе смѣльчаки! тутъ о перемиріи, а они о войнѣ! Завтра, сударь, воскресенье... а, впрочемъ, навѣдайся послѣзавтра...» Офицеръ вспыхнулъ. «Ахъ, ты, кукла плюгавая, пузыри! — хотѣлъ онъ сказать: — еще о патриотахъ судить. Ну, да этотъ еще не Богъ-вѣсть какая птица! Что скажутъ другіе, вся коллегія?» Онъ вздохнулъ, вышелъ, постоялъ, нѣсколько опѣшенный, на улицѣ, и велѣлъ ямщику ѣхать на Васильевскій Островъ. На сердцѣ у него отлегло. Видъ знакомыхъ, когда-то близкихъ, мѣстъ отрадно повѣдалъ на него. И солнце кстаи выглянуло и такъ весело освѣтило улицы, дома и душу путника.

Прѣзжая мимо шляхетнаго кадетскаго корпуса (домъ Меншикова, теперь Павловское военное училище), онъ снялъ шляпу и перекрестился; здѣсь прошло его ученіе и отсюда,

изъ кадетовъ, два года назадъ, онъ былъ посланъ въ заграничную армію. На углу одной изъ дальнихъ линій и набережной Невы, онъ завидѣлъ почернѣлый заборъ и ветхую крышу домика, съ давнихъ поръ принадлежавшаго вдовѣ лейбъ-кампанца, Настасѣ Бавыкиной.

Сердце путника сжалось. Сюда по праздничнымъ днямъ, бездомный, круглый сирота, столько лѣтъ сряду, хаживалъ онъ изъ корпуса въ гости. Здѣсь привѣтная и твердая нравомъ, бездѣтная и сердобольная старуха, Настасья Филитовна, прозваніемъ «царицына-сказочница», ласкала его, и въ немъ, бѣдномъ кадетѣ, находила утѣшеніе въ своемъ одиночествѣ и сиротствѣ. Домъ ея былъ въ ту зиму, какъ зналъ изъ ея писемъ офицеръ, проданъ за долги, и его хозяйка переѣхала куда-то на квартиру, не успѣвъ ему сообщить новаго своего адреса. Офицеръ остановился у знакомыхъ воротъ.

— Вамъ кого?—спросилъ его какой-то мѣщанинъ, сидѣвшій подъ навѣсомъ сосѣдняго крыльца.

Офицеръ назвалъ Бавыкину.

— Рухнулъ древній, крѣпкій столбъ, — сказалъ мѣщанинъ: — и она, властная, сократилась: изъ домохозяйки жилицей стала... Приходятъ, знать, послѣдніи времена.

— Да куда жъ она переѣхала? гдѣ живетъ?

— У звѣздочета, какого-то, ученаго... Уѣла нынѣ настъ всѣхъ эта анаема — дороговизна... Приступу ни къ чему нѣту-ти, хоть ложись, да помирай... На погорѣлыхъ, слышно, мѣстахъ, на Мойкѣ, каменный домъ чей-то противъ Сѣвѣжей, а Филитовна во дворѣ, внизу, въ деревянномъ фатеру снимаетъ, — тамъ вывѣска портного... Спроси звѣздочета — всякъ тебѣ тамъ покажетъ....

Офицеръ поѣхалъ къ Синему мосту, а оттуда вправо, берегомъ Мойки, и остановился противъ мѣста, гдѣ теперь, у нѣшеходнаго мостика, помѣщаются зданія почтамта. Здѣсь на пустынный и низменный, безъ набережной и ограды, берегъ Мойки выходилъ кирпичный, одноэтажный, похожій на фабрику, домъ, съ высокой трубой. На заборѣ была вывѣска портного. За каменнымъ зданіемъ, въ глубинѣ двора, высился обветшалыми стѣнами другой домъ, деревянный въ два яруса, съ красною голландскою черепичною крышей. Снизу въ верхнюю половину этого дома вела открытая, съ площадкой, лѣстница, навѣсомъ для которой служили вѣтви

высокой, въ нѣсколько обхватывъ, березы, росшей на дворѣ у крыльца и, безъ всякаго сомнѣнiя, видѣвшей еще шведовъ и Перваго Петра. Влѣво, за вторымъ домомъ, выглядывалъ безлистый, обсыпанный снѣгомъ садъ.

Смеркалось, когда голубая, цвѣта васильковъ, тогдашняя обще-армейская шинель путника показалась во дворѣ, гдѣ теперь жила Бавыкина. Чуть не потерявъ на крыльцѣ истрепанной вѣтромъ, съ трехъ угловъ подвернутой, поярковой шляпы, офицеръ съ тощимъ чемоданомъ подъ мышкой быстро вошелъ въ нижнiя сѣни. Онъ сунулъ въ уголъ чемоданъ, шагнулъ въ полусвѣщенную комнату направо, оттуда въ какую-то «боковушку» налѣво и, растерявшись, остановился у новой двери. За нею была опять перегородка. Въ щель этой двери пробивался свѣтъ. «Вѣрно тутъ, — подумалъ гость, оглядываясь и переводя дыханiе: — вотъ удивится!»

— Настасья Филатовна, здравствуйте! — сказалъ онъ, постучавшись въ дверь.

— Никакой Настасьи Филатовны здѣсь нѣту-ти-съ! — отозвался недовольный суровый голосъ изъ-за перегородки: — дессянсъ-академикъ академикъ тутъ живетъ... извините...

«Что же это значить?» — подумалъ озадаченный гость.

— Академикъ-дессянсъ академикъ здѣсь; богъ мой! — добавилъ нетерпѣливо голосъ: — а къ жилищѣ, благоволите, изъ прихожей налѣво... но ея нѣтъ дома.

Офицеръ поблагодарилъ, — хотѣлъ идти.

— Вы же, извините, кто? — послышалось за дверью: — какъ сказать, коли возвратится?

— Заграничной армiи курьеръ, генеральскъ-адъютантъ прусскаго губернатора Панина, — отвѣтилъ офицеръ.

За перегородкой послышался торопливый шорохъ. Дверь открылась. На ея порогъ, въ халатѣ, показался высокаго роста, лѣтъ за пятьдесятъ, плечистый и плотный человѣкъ съ умнымъ, усталымъ, въ красивыхъ морщинахъ, лицомъ, съ недоумѣвающими, добрыми глазами, лысый и съ крупными жилистыми руками, изъ которыхъ въ одной была табакерка, въ другой перо.

— Изъ армiи? что вы сказали?.. изъ Пруссiи?..

— Точно такъ-съ... Нарвскаго пѣхотнаго полка подпоручикъ, ордонансъ Панина, курьеромъ съ бумагами.

— Знакомецъ моей жилицы?

— Такъ точно-съ!

Кроткая, ласковая улыбка освѣтила строгое лицо академика.

— Слышать о васъ, слышать... Нежданный гость, — тѣмъ пріятнѣе. Она и не подозрѣваетъ. Сколько о васъ гадано, толковано. Милости прошу, зайдите пока ко мнѣ.

— Какія же новости? Утѣшьте, сударь, подарите, — продолжалъ хозяинъ: — бѣмъ нѣмцевъ? не правда ли? крошимъ ферфлюхтеровъ?

— Бить-то били, да теперь отступаемъ и скоро, надо полагать, вовсе вернемся. О перемиріи заговорили.

— Что?.. отступаемъ? перемиріе? да кто-жъ его предложитъ?

— Съ нашей, знать, было стороны.

Табакерка и перо академика полетѣли на столъ.

— Какъ? мы? о мирѣ? да вы шутите? — вскрикнулъ дебелый широкій въ кости, академикъ, дрожжанными руками оправляя на плечахъ потертый, сѣрый китайчатый халатъ: — ахъ, дерзости! ахъ, наглость и стыдъ! батюшки! Постъ, столько-то побѣдъ!.. — Голубчикъ, молодой вы человекъ, — съ дороги озябли... устали... садитесь... Лизхенъ! Лизарета Андреевна! Леночка! чаю, самоварчикъ ему... умываться скорѣй...

— Bitte, bitte, gleich! — отозвался женскій голосъ изъ сосѣдней комнаты.

— Извините, — поклонился офицеръ: — ваша жилища Настасья Филатовна мнѣ старая благодѣтельница...

— Знаю, не обидится... Мы съ ней почасту толкуемъ... архива всякихъ преданій!..

— Гдѣ-жъ она?

— Къ вечернѣ, должно, ушла. Переждите; вотъ, пожалуйста сюда, въ комнату моей дочушки, Леночки; но осторожнѣй. Тутъ у меня, какъ у крота, переходовъ, да всякихъ клѣтокъ. Каменный домъ подъ фабрику мною строенъ; а этотъ съ садомъ уцѣлѣлъ отъ пожара, — въ старину еще, другими наложенъ. Внизу у насъ жильцы и женино хозяйство; на верху жъ мой рабочій кабинетъ, инструменты, электрическія батареи, подзорныя трубы, реторты, да колбы...

Въ комнату, куда академикъ ввелъ гостя, вбѣжала, съ полотенцемъ и со свѣчей, улыбающаяся дѣвочка лѣтъ три-

надплати, тоненькая, бѣлокурая, въ локонахъ, — голубыми глазами и улыбкой похожая на отца. За нею, съ тазомъ и кувшиномъ воды, — повторяя снова: «bitte, bitte», вошла еще красивая, полная, въ бѣломъ фартукѣ, чепецѣ и съ засученными по локти руками, жена хозяина. Всѣ они и самыя комнаты, теплыя, уютныя, казались офицеру такими добрыми, ласковыми.

— Вотъ вамъ, голубчикъ вы мой, мыло и вода! — сказалъ академикъ, когда дамы ушли: — дѣлайте свой туалетъ безъ церемоній, а я — простите за любопытство — еще кое-чемъ васъ разспрошу... Такъ, перемирие? Ахъ, они оканные, стѣнцы...

— Панинъ хочетъ поправить дѣло и прислалъ рапортъ; жалко, армія стремится къ бою.

— И что жъ? есть надежда поправить дѣло?

— Богъ вѣсть, какъ посудятъ; союзниковъ нынче, сказываютъ, у Пруссіи немало и здѣсь.

— Рвань пороссячья! Каины! Черти особые, ихъ же и крестъ россійскій не беретъ! — шагая по горенкѣ, сердито вскрикнулъ академикъ: — иродовы души! травка гнусная, фуфарка!..

Онъ закашлялся и, побоявъ волненіе, остановился у стемнѣвшаго окна.

— Бѣсъ шелъ сѣять на болото всякія плевелы и дрянъ, — сказалъ онъ не оглядываясь, — да и просыпалъ нечаянно это зелье — фуфарку; ну, изъ него и отродился весь нѣмецкій синклитъ, — самъ старый лукавецъ Фрицъ, его генералы Гильзентъ и Питтенъ, а съ ними и наши доморослые колбасники — Вироны, Тауберты, Винцгеймы, и вся братія... И ихъ еще не ругать? Вздоръ! — обернулся и махнулъ кулакомъ академикъ: — я ихъ ругаю за нелюбовь къ кормящей ихъ Россіи, позорно, въ глаза, самую сугубую и ихъ же пахостною нѣмецкою бранью. Говорю-жъ съ ними въ конференціи не иначе, какъ по-латыни. Не выносить ихъ бунтующая противъ такой напасти и такого безстыдства душа.

— Но ихъ сила, господинъ академикъ! — произнесъ офицеръ: — не лучше ли имѣть съ ними волчій зубъ, да лисій хвостъ?

— Одинъ волчій зубъ, безъ всякаго хвоста! — болѣе и болѣе раздражаясь, крикнулъ академикъ: — не церемонюсь я съ несатыми въ алчной злобѣ проходимцами, и потому

у нихъ не въ авантажъ. Таковъ, сударь, мой натуры чинъ и складъ!.. Ахъ, дерзости! Ахъ, нескончаемая дотость, поправшая всякій естества законъ!.. Такъ это правда? Успѣла голубица мира, успѣла Гудовичъ доставить масличную вѣтку въ Берлинъ? Боже-Господи! Ужли-жъ побѣжденному королю ввѣрять судьбы російской исконной политики? Да этого, другъ мой, Россія съ ордынскихъ баскаковъ не видывала...

— Жилъ я между нѣмцами, — сказалъ офицеръ: — извините, хоть и враги наши, а у нихъ хорошо: порядокъ, науки...

— Да насъ-то они ненавидятъ, не признаютъ. Бить бы тамошнихъ до конца, здѣшніе бы присмирѣли!.. Ни, одобренія къ возрастанію родныхъ наукъ, ни чести, по рангу, ни вниманія къ каторжному, въ здѣшнемъ грабѣ, ученому труду! Я мозаику, сударь, а стеклянный заводъ заводъ, — а они, — конюховъ, да саможниковъ бредуры, — жалованье мнѣ завалили книжками изъ академической лавки платили. Я открытія дѣлалъ, оды писалъ, а съ меня, когда я жилъ въ казенномъ домѣ, деньги за двѣ убогихъ горенки высчитывали. Истопили, меня, истерзали клеветами... По-неволю другой, сталъ бы пригибаться, слабѣть, какъ иные, — не хочу ихъ называть, — Лазаря знатнымъ барамъ дѣтъ, на заднихъ ладкахъ за подачкой стоятъ... Да не буду стоять! не буду подличать!.. Друзья у меня не по знатности, — по генію и по усердству наукъ... И душа моя, сударь, плебейская, поморская... Воспитать ее въ соловецкихъ-бѣломорскихъ зыбкахъ студеный, надполярный океанъ... Оттого-то вѣтеръ солѣный, морской ходитъ въ ней, бушуетъ по-часту...

«Вотъ человекъ, открытая, смѣлая душа!» — подумалъ офицеръ, съ горячимъ, почтительнымъ сочувствіемъ глядя на матерого плебей-академика, съ распахнутою, могучею грудью, шагавшаго передъ нимъ въ старенькомъ китайчатомъ халатѣ.

— Охъ, извините, — сказалъ тотъ, остановясь: — вы привезли зѣло печальныя, волнующія вѣсти: не удержишься. А потому, — вдругъ добавилъ онъ, понижая голосъ и какъ-то дѣтски-робко оглядываясь на дверь, — если вы въ сей моментъ, какъ военный, походный человекъ, готовы и расположены, то померѣкайте тутъ съ вашею старою пріятельскою, а черезъ часъ, черезъ два, за калиткой будетъ стоять

договоренная мной городова коляска... Дома, въ горни цяхъ, бесѣдовать по душѣ тѣсноваго... Я-же проболѣлъ и давно не выѣзжалъ. Такъ жь съ вами, сударь, коль согласны, поѣдемъ въ гербергъ къ Иберкрамфу; сыграемъ на бильярдъ, разопьемъ бутылочку и потолнуемъ обо всемъ на свободѣ...

— Не по рангу мнѣ, господинъ-академикъ... притомъ же дорога... мои финансы...

— Полно, полно, другъ. Давно я, говорю, соблюдать тѣ-тебный дигетъ, ну, и постъ; а сегодня вотъ кстати и жалованье изъ конференціи прислали... Поѣдемъ; тамъ, государь мой, устерсы фленскія, анкерки токайскіе, бургонское и особый, скажу вамъ, новоманерный пуншъ...

Дверь распахнулась.

— Какой пуншъ? кто пуншъ?—вскринувъ руками, произнесла на порогъ полная, сѣдая, но еще румяная и бодрая, въ темной душегрѣ и въ такой же кичкѣ, съ калитой и ключами у пояса, шестидесятилѣтняя старуха. Это и была свѣтъ-матушка, древній, властный столбъ, Настасья Филатовна.

Она взглянула на офицера, отступила.

— Вася! ой, да стой же... что это?.. Василекъ, голубчикъ ты мой!—вскринула и повисла на шеѣ гостя старуха.

Смутныя, обвѣтренныя щеки офицера дрогнули. Онъ горячо припалъ къ Филатовнѣ, съ радостными слезами безмолвно обнимавшей неожиданнаго гостя.

— Охъ, милый, вотъ такъ утѣшилъ, — сказала она: — одначе, стой... Такъ и есть, не стыдно ли? Не сѣло, не пало, а ужъ и за компанство, за пуншъ... Да и вы, ваше высокородіе — хоть и хозяинъ мой... Стыдно! Вотъ я супружницъ вашей все отлепбгую...

— Долгъ гостепріимства, сударыня,—отвѣтилъ, глядя на офицера, академикъ.

— Гостепріимства! а ты?—ласково обратилась къ гостю, по уходъ хозяина, старуха:—ну-ка, испиватель пуншей, кадетъ, разсмотрю, каковъ ты нынче сталъ.

Бавыкина обвела его свѣчой.

— Сердечный мой, радостный! едва тебя спознала! вотъ она, походная-то доля, какъ возмужалъ! Ну, ангель мой Васенька, поѣдемъ же въ мою конуру, — не своя теперь, чужая...

Они прошли въ сѣни, за которыми Бавыгина снимала двѣ комнаты.

— Вася! соколикъ мой! — сказала, припадъ опять къ гостю, старуха: — повидала я тебя, а не чаяла болѣе... Не такую ты оставилъ вдову сударя Анисима Поликарпыча... Дубъ оголѣлый — нынче я... облетѣли всѣ листочки, вѣтромъ опарпало ихъ, сдуло... Не въ атакоей узкости и тѣнотѣ суждено было вѣкъ доживать. Ахъ! и гдѣ-то, Вася, тѣ счастливые, да шумные старые годы?..

Вдова Анисима Поликарпыча, — кто не знаетъ общей печальницы и утѣшницы? — самой государынѣ Елисаветѣ Петровнѣ угодила, безсонныя ночи ей грѣшнымъ рабымъ языкомъ коротала. Сильно скучала иной разъ ласковая царица, и хаживали ее утѣшать изъ преддѣльствъ да съ базаровъ бабы-цокотухи, умѣлая, бѣловыя на языкъ. Хаживала и лейбкампанца Настасья. Сидить, бывало, ея величество въ кофть, да въ платочкѣ поверхъ русыхъ, пудренныхъ волосъ, и спрашиваетъ гостью: «отчего ты, Филатовна, темна будто становишься?» — «Старѣю, матушка, запустила себя, ласковая; прежде пачкалась бѣлилами, брови марала, румянилась... Нынѣ все бросила»... — «Румяниться не надо, — говоритъ царица; — а брови марай... Ну, садъ же, соври про разбойниковъ, или про какія цѣны дѣла». — «Казни, всевластная, не въ мочь; вся душенька во мнѣ трепехчется»... — «Отчего жъ она у тебя трепехчется?» — смѣется государыня. — «Какъ иду къ тебѣ, милостивая, будто на исповѣдь, а вышла, точно у причастія была»... — И припадетъ Настасья къ постели царицы, ножки, юпочки ея цѣлуетъ, до утра ей тараторить. — «Въ чемъ счастье, Филатовна?» — «Въ силѣ, матушка-государыня, въ знатности, да въ деньгахъ. По деньгамъ и молебны служатъ». — «А горе въ чемъ?» — «Безъ денегъ, всемилостивая». — «Да ты нешто, вѣдьма, жадна?» — «Жадна, охъ, жадна, и все, пресвѣтлая, что пожелаешь, возьму... Денегъ, — охъ! — она вѣдь и пона купить, и Бога обманетъ»... — Весело царицѣ. — «Вотъ, было въ старые годы»... — начнетъ Филатовна, и говоритъ про все, что видѣла и слышала на свѣтѣ, на долгомъ вѣку. Фавориты ее побаивались, и самъ канцлеръ Бестужевъ, въ праздники, посылалъ ей подарки — муки, меду, пудовыхъ бѣлугъ и осетровъ. И хотъ недолго Филатовна пожила за вдовцомъ, сержантомъ лейбкампаніи, зато

власть, въ полную волю. Анисимъ Поликарпычъ нерѣдко загуливалъ и буйнилъ, но уважалъ Настю и тоже побаивался, а по смерти, отказалъ ей домъ на Острову у Невы. Надѣрину она пристроила за повара графа Разумовскаго, но вскорѣ ее схоронила и осталась круглой сиротой. Зато, кто ее не зналъ? Советъ ли дать, навѣстить ли въ горѣ, похлопотать ли за кого—ея было дѣло. Не только свѣтскіе, духовные ее уважали... Церкви Андрея попъ взялъ ее къ себѣ кумой. Домъ, хозяйство Филатовны славилась въ околоткѣ. Сама она страпала, окна и полы мыла, безъ очковъ на старости лѣтъ шила бисеромъ, золотомъ, копала огородъ и доила коровъ. И не разъ сама государыни Елисавета Петровна лично удостоивала ее забѣдомъ къ ней,—малины тарелку откусать, прямо съ кустовъ, либо выпить изъ холодильни стаканъ свѣжаго, несятаго молока. И деньги водились у Филатовны. Они-то ее и погубили. Отдавала она ихъ тайкомъ богатенькимъ господамъ въ ростъ. Но попуталъ бѣсъ. Одна знакомка дала советъ. Погналась Бавыкина за большимъ барышемъ, ссудила немалый кушъ извѣстному гвардейскому моту, и всю казну потеряла. Хотѣла извернуться молчкомъ; поплакала, погоревала и заложила свой участокъ банкиру Фиреру, но не выдержала срочныхъ платежей, и домъ ея со дворомъ были проданы въ началѣ той зимы съ молотка.

Таковъ-то безлистый, оголенный на вѣтрѣ дубъ стоять теперь передъ замѣтнымъ гостемъ.

— Ну, да что тутъ, садись, соколикъ, — сказала Бавыкина офицеру.

Они сѣли.

— Не тѣ времена, Вася, все лучше, все улетѣло, какъ почилъ наша пресвѣтлая благодѣтельница. Что сберегла добра, рухлядинки, все перенесла сюда... Остальное—разобрали люди.

— Ничего! дастъ Богъ, поправитесь; вотъ я приѣхать, — подумаемъ...

— Поздно; другъ сердечный, поправляться да думать. Другимъ, видно, чередъ насталъ. Вотъ, къ гребень къ одной, въ никаворши зовутъ, за хозяйствомъ глядѣть; приходится въ наймы на стирости дѣтъ... Все прахомъ пошло... А я мислила о тебѣ, тебѣ сберегала... Ну, да вой, не вой, на

то и велика рыба, чтобъ мелкихъ-то живёшь глотать. Повѣдай лучше о себѣ.

Офицеръ вздохнулъ. Рѣчь не слушалась. Два года разлуки немало унесли молодыхъ ожиданій, вѣры въ счастье, надеждъ.

— Въ карты, Вася, по-былому, извини, играешь? — спросила, взглянувъ на него, старуха: — да ты не сердись: яблоко говорю.

— Что вы, помилуйте, — отвѣтилъ гость: — жалованье какое! а тутъ, сами знаете, походы, контуженъ былъ, — до того ли?... притомъ...

Офицеръ хотѣлъ еще что-то сказать; слова ускользали съ языка. По лицу прошло облако. Глаза смотрѣли разсѣянно, куда-то далеко. У губъ обозначилась сердитая, угрюмая складка.

Бавыкина покачала головой.

— Ужли и тамъ не забылъ? — спросила она.

— Вотъ, пустяки, охота вамъ...

— Да ты, вьютъ, не финти; говори, въ резонтъ спрашиваю.

Офицеръ всталъ, оправилъ волосы. Точно отгоняя тяжелую мысль, онъ провелъ рукой по лицу, подумалъ и снова молча присѣлъ къ столу.

«Такъ, такъ, изъ-за нея, — мыслила тѣмъ временемъ старуха, — изъ-за Поликсены ты и прѣхалъ, чуть смогъ вырваться отсюда... Знаю тебя! отъ гордости молчишь, — а самъ бы кинулся, готовъ просить: голубушка, родная, здорова ли она, жива ль?»

Офицеръ, сгорбившись, молчалъ. Филатовна не выдержала.

— Не закусишь ли съ дороги? Молочка, сбитню не согрѣть ли?

Гость отказался. — «Ну, Богъ съ нимъ, сердечнымъ, усталость, знать, одолевъ». — Старуха постлала ему постель въ собственной спальнѣ, дала ему огарокъ свѣчи, а разспросъ о сердечныхъ его дѣлахъ отложила до другого раза: «всякъ божій день не безъ загранияго».

Офицеръ раздѣлся, досталъ изъ чемодана святцы и образъ, поставилъ его въ углу на столъ, раскрылъ святцы, разсѣяннымъ взоромъ прочелъ нѣсколько страницъ, перевелъ глаза къ темному окну и долго молился, кладя земные поклонны и прося у Бога новаго терпѣнія и новыхъ силъ.

«Родина, дорогая родина! — мыслить онъ, — вотъ она: наконецъ, и я опять среди нея... Храмъ Соломона!.. далеко, кажется, до него... На чемъ-то они теперь стоятъ, чего держатся? Освѣтили ли ихъ хоть малость свѣтъ истинной жизни, свѣтъ разума и вышней братской любви? Или все тотъ же этотъ край, хмурный, непривѣтный, заустылый и вѣющій холодомъ?..»

— Что? легъ спать? — переходя, спросилъ Бавыкину, встрѣтаясь съ нею въ общихъ сѣняхъ, академикъ.

— Спать, — нехотя отвѣтила Филатовна: — еще бы! намалялся сердечный: столько дѣнь, сломя голову, скакать. А вамъ, сударь, что до него?

— Да я такъ, новостей онъ привезъ, и любопытно разспросить.

— Ну, только, ужъ извините, это завтра...

— А какъ, бишь, упомянулъ, фамилия этого нашего гостя?

— Родомъ малороссіянецъ, и имя ему Василій Яковлевичъ Мирovichъ... Сызмальства!.. Да что! спокойной ночи, сударь!.. Только опять же совѣтую, — хоть вы и хозяинъ — не держите долго огня... Все-то у васъ бумаги, да книжки... пожаръ еще, упаси Господи, не напроворили бѣ... и то вотъ на погорѣломъ дворницѣ построились...

«Ишь козырь, доброобычаяная старича, какъ распекается! — улыбнулся академикъ, съ потупленной головой, вновь пробираясь въ свои горницы: — да оно и лучше! и здоровью, легче. — Вотъ печень намедни какъ было опять разгулялась! и дѣтъ, по правдѣ, не оберешься. Мозаику кончать, о метеорахъ писать... Баста!.. Скудель тѣсная — существа предѣлы!.. Прощай, бывшие годы!.. *Mens sana in corpore sano*!...»

— Настасья Филатовна, кто, скажите, вашъ хозяинъ? — спросилъ Мирovichъ изъ спальни, уже впотьмахъ: — я и забылъ освѣδοчиться.

— И этотъ тоже! да что съ вами подѣлалось?.. точно сговорились! Пара онъ тебѣ, что ли? Коллежскій, совѣтникъ, — почитай бригадиръ... Спать пора! индо напугать.

Василій Яковлевичъ Мирovichъ крѣпко заснулъ. Миръ давно забытыхъ картинъ охватилъ его. Ему грезились давнѣе, дѣтскіе и отроческіе годы, утроямая Сибирь, потомъ украинскій тихій хуторъ, старыя заповѣдныя лѣса и пчелы.

бѣдность и горести нѣкогда богатой и знатной, потомъ гонимой судьбою, разоренной и обѣднѣвшей семьи.

II.

Прошлое Мирѡвича.

Предокъ Мирѡвича, во время казни гетмана Остраницы, былъ въ Варшавѣ, съ другими плѣнными казацкими сотниками, прибитъ гвоздями къ осмоленнымъ доскамъ и сожженъ медленнымъ огнемъ.

Его прадѣдъ, Иванъ Мирѡвичъ, переяславскій полковникъ, былъ бѣшеной храбрости человѣкъ. Гетманъ Мазепа выдалъ за него, вторымъ бракомъ, выписанную изъ Польши свою сестру, Янелю. Разгромивъ татаръ у Перекопа и Очакова, Иванъ Мирѡвичъ возилъ въ Москву плѣнниковъ и пушки, и, возвратясь оттуда съ щедрыми подарками, началъ строить каменный переяславскій покровскій соборъ, но вскорѣ скончался. Здѣсь, по его заказу, на большомъ запрестольномъ образѣ, весьма схоже, былъ изображенъ Петръ I, возлѣ него гетманъ Мазепа и духовенство, поодаль придворныя дамы, народъ и казацкое войско, а надъ всѣми, въ облакахъ, Покровъ эллинской Божіей Матери. У этой еще неоконченной церкви, по преданію, гетманъ Мазепа, поскользнувшись, упалъ съ конемъ. — «Не къ добру!» — сказалъ народъ и вспомнилъ это послѣ полтавскаго боя.

Сынъ Ивана отъ перваго брака, Ѳеодоръ Мирѡвичъ, былъ генеральнымъ есауломъ Орлика. Посланный вельможнымъ дядей-гетманомъ въ Польшу, подъ команду Паткуля, завязтый рубака, Ѳеодоръ Мирѡвичъ не вынесъ «муштры» нѣмца, бившаго казаковъ палками, и возвратился съ даннымъ ему полкомъ въ Украйну. Мазепа отплатилъ племяннику. Въ 1706 г. огромныя силы шведовъ осадили Мирѡвича въ Ляховичахъ. Мазепа, сославшись на половецкѣ, не доставилъ ему помощи. Брошенный своими, тѣснымъ врагомъ, подковникъ Ѳеодоръ Мирѡвичъ сдался съ отрядомъ и былъ увезенъ въ цѣпяхъ въ Стокгольмъ. Церковь въ Переяславлѣ, заложенную его отцомъ, достроила впослѣдствіи его жена, племянница гетмана Самойловича, Пелагея Захаровна, урожденная Голубина. Освободившись изъ плѣна, Ѳеодоръ Мирѡвичъ жилъ нѣкоторое время въ Турціи, потомъ въ Вар-

шавъ у Вишневецкаго, гдѣ и умеръ. За сношенія Ѳедора Иваныча съ угнетенной родиной, Петръ I-й сослалъ его жену и сыновей въ Сибирь и отобралъ въ казну имѣнія не только виноватаго передъ нимъ Ѳедора Мирovichа, но и ни въ чемъ дерзвинной его жены.

Юныхъ сыновей Ѳедора Иваныча государь, спустя нѣкоторое время, помиловать. Мирovichей отпустили изъ Сибири въ Черниговъ, къ ихъ дядѣ, знаменитому Павлу Полуботку который въ 1723 г. отвезъ ихъ въ Петербургъ, и помѣстилъ, для прохожденія наукъ, въ академическую гимназію. Здѣсь они были недолго. Полуботокъ кончилъ жизнь въ крѣпости, племянники остались безъ средствъ и отъ бѣдности бросили науку. Старшій изъ нихъ, Петръ, получилъ мѣсто секретаря при дворѣ великой княжны Елисаветы Петровны; младшаго, Якова, взялъ къ себѣ изъ милости польскій посланникъ, графъ Потоцкій, съ которымъ тотъ побывалъ и въ Польшѣ. Но было искорѣ перехвачено письмо Петра Мирovichа въ Варшаву къ отцу, съ копіей указа о Полуботкѣ и съ извѣстіемъ о притѣсненіяхъ малороссійскаго народа. Братьевъ опять арестовали и перевезли въ Москву, потомъ въ 1732 г. снова выслали, подъ видомъ боярскихъ дѣтей, въ Сибирь, гдѣ Петръ Мирovichъ дослужился мѣста управителя заводской исетской конторы, а впоследствии даже былъ назначенъ воеводой енисейской провинціи.

Во время коронаціи Елисаветы въ Москвѣ бывший еще недавно гвѣчій цесаревны, Алѣшка, теперь же всесильный и вельможный графъ Алексѣй Григорьевичъ Разумовскій напомнилъ императрицѣ о судьбѣ своихъ забытыхъ земляковъ, Мирovichей. Государыня лично въ сенатѣ, въ 1742 г., объявила именной указъ, которымъ обоимъ братьямъ Мирovichамъ, послѣ вторичной десятилѣтней ссылки въ Сибирь, даровалось прошеніе и предоставлялось служить, гдѣ они захотятъ. Они пожелали докончить вѣкъ на покой, на родинѣ, куда, послѣ нѣкотораго пребыванія въ Москвѣ, и перѣехали.

Старая «Мирovichка», мать Петра и Якова Ѳедорычей, Пелагея Захаровна, была отпущена изъ Сибири въ Маллоросію двумя годами позже сыновей. Тщетно она подавала изъ ссылки и изъ Маллоросіи прошенія царицамъ Аннѣ и Елисаветѣ, умоляя ихъ о возвращеніи ей, если не мужниныхъ, то хотя бы части ея собственныхъ, приданныхъ и благопрію-

брѣтанныхъ имѣній. На всѣ ея прошенія были получены отказы. Нѣкогда вольможная пани-есаульша, родня по мужу Полуботкамъ, Мокіевскимъ, Забѣлло и Ломиковскимъ, и жена гетманскаго племянника, Пелагея Захаровна умерла, по возвращеніи на родину, въ бѣдности. Богатая и знатная, также ограбленная ея родня не туда смотрѣла, сыновья пособлять не могли, а что получала она отъ немногихъ старыхъ друзей, употребляла на додѣлки неконченнаго свекромъ и мужемъ собора.

Отставной енисейскій воевода, Петръ Ѳеодорычъ Мирѡвичъ, былъ нрава буйнаго, заносчиваго и дикаго. Въ Сибири онъ, между прочимъ, былъ одно время подъ слѣдствіемъ за то, что, въ качествѣ управителя енисейской провинціи, явился въ воеводскую канцелярію въ халатѣ и въ колпакѣ, и тамъ передъ зеркаломъ обругалъ первостатейныхъ купцовъ самыми непотребными словами. Слѣдователи, впрочемъ, его оправдали. Возвратясь изъ Сибири въ Москву, а потомъ на родину, онъ не укротилъ своего нрава. Будучи бѣденъ и гордъ и доживая вѣкъ гдѣ-то въ глухомъ мѣстечкѣ, на небольшомъ пособіи отъ какого-то сосѣдняго магната, онъ никому не уступалъ и умеръ отъ запоя, изрубивъ передъ кончиной полицейскаго офицера за то, что тотъ передъ нимъ не снялъ шляпы.

Братъ Петра, Яковъ Мирѡвичъ, былъ нрава кроткаго и тихаго, притомъ съ дѣтства слабый здоровьемъ. Наука ему плохо далась. Петербурга, гдѣ онъ нѣкоторое время былъ въ академической гимназіи, какъ и нахожденія у Потоцкаго, онъ почти не помнилъ. Во время первой ссылки, въ Тобольскѣ, онъ обучался въ школѣ у нѣкоего «несчастливца» Сильвестровича, который хорошо игралъ на скрипциѣ, но по-русски почти не говорилъ. Женившись на небогатой купеческой дочкѣ Акишевой, во время пребыванія въ Москвѣ, Яковъ Ѳеодорычъ, при жизни матери и брата, кое-какъ еще содержалъ семью. По смерти же ихъ, онъ впалъ въ окончательную нищету, овдовѣвъ, огрубѣвъ и, одичавъ отъ бѣдности, ужъ мало чѣмъ отличался отъ любого простолюдина-батрака: ходилъ въ сермягѣ и въ дегтярныхъ сапогахъ и занимался у сосѣдей-помѣщиковъ то въ ключники, то въ объѣздные, торговалъ нѣкоторое время водкой, гонялъ на продажу гурты скота, а состарѣвшись и не видя себѣ ни въ чемъ удачи и успѣха, сѣлъ у хуторянина-гума Данилы

Майстроука, въ лѣсу на пасѣбѣ, глядѣть пчель. Кумъ Данило держалъ отъ какого-то графа на арендѣ клочекъ той самой земли, которая была отнята у отца Мирѡвича. — «Тутъ и умру! — сказали себѣ Яковъ Ѳеодорычъ, сидя у стараго омишенника, въ заповѣдной, медвяной яворщинѣ кума: сложу здѣсь кости! земля все-таки наша»... — «А сынъ? а дочери?» — спрашивалъ себя старикъ.

У Якова Ѳеодорыча Мирѡвича, отъ рано-умершей и такой же, какъ онъ, плохой здоровьемъ жены, остались четверо дѣтей: три дочери, Прасковья, Аграфена и Александра, и сынъ Василій. Дочекъ разобрали по рукамъ добрые люди. Мальчикъ подросталъ при отцѣ.

Зимой Вася учился на хуторѣ у дьячка, лѣтомъ помогалъ отцу у пчель, носилъ ему въ лѣсъ обѣдать и ужинать, плелъ корзины, строгалъ бабамъ ложки и веретена, игралъ на дудкѣ и торбанѣ. Кто-то забросилъ въ рѣку сѣраго щенка; Вася съ плачемъ кинулся, чуть не утонулъ, но успѣлъ его спасти и вырастить.

Разъ услыхалъ отецъ, какъ его десятилѣтній Василь въ церкви поетъ и читаетъ апостола, и задумался. — «Нѣтъ, ему жить не въ лѣсу, не на селѣ! — сказали себѣ Яковъ Ѳеодорычъ, — другимъ удастся, — попытаюсь и я о немъ! Все-же онъ дворянской крови... Предки знатные были и не подъ тыномъ валялись... А царица Лизавета Петровна до Украйны милостей своихъ еще на замуровала въ стѣну»... Думалъ онъ долго, и рѣшился, наконецъ, устроить судьбу сына.

Это случилось восемь лѣтъ назадъ, а именно въ 1754 году.

Былъ жаркій лѣтній день.

Изъ Малороссіи въ Петербургъ, на парѣ воловъ и на простомъ мужицкомъ возу, пріѣхалъ путникъ — высокій, костлявый, лѣтъ за пятьдесятъ. Онъ былъ въ долгополой, черной свитѣ и въ сѣрой, барашковой шапкѣ. Самъ сѣдъ, а черные глаза, какъ угли, свѣтились изъ-подъ насупленныхъ бровей. На возу у него сидѣлъ мальчикъ, лѣтъ тринадцати, съ небольшимъ. У воза шла сѣрая лохматая собака. Ъхали они проселками, продовольствовались воловъ на подножномъ корму, сами питались сухарями. Отправились изъ дому въ срединѣ апрѣля, прибыли въ Петербургъ въ началѣ іюня. Въ дорогѣ, слѣдовательно, находились почти два мѣсяца. То были Яковъ Ѳеодорычъ Мирѡвичъ и его сынъ Василій.

Остановились они на отдыхъ на обширномъ, поросшемъ густо зеленою травой, Адмиралтейскомъ лугу (нынѣшняя Исаакіевская площадь, съ новымъ садомъ). Выпрягли воловъ, умылись въ Невѣ, Богу помолились и закусили. Мальчикъ, болтая босыми ногами въ рѣкѣ, примѣтилъ подъ бастіонами крѣпости (на мѣстѣ нынѣшняго адмиралтейскаго бульвара) стадо пасшихся на травѣ придворныхъ коровъ, и подогналъ къ нимъ своихъ круторогихъ. Старикъ вынулъ изъ-за пазухи бумагу, долго думалъ надъ ней, сунулъ ее опять на мѣсто и, съ кнѹтомъ въ рукѣ, пошелъ кого-то отыскивать по Невской «першпективѣ».

Мальчикъ, тѣмъ временемъ, вышелъ съ собакой на площадь и сталъ разглядывать городъ. Все его занимало: красота и обширность зданій, пушки на бастіонахъ, шумъ уличной ѣзды и суета рабочихъ, съ криками и пѣснями выгружавшихъ въ то время съ канала, у нынѣшней разводной дворцовой площадки, послѣдній камень, кирпичъ, громадные бревна и доски для постройки, тогда заложеннаго Растрелліемъ, нынѣшняго Зимняго дворца. Залюбовался мальчикъ и золотыми, ярко горѣвшими на солнцѣ, шпицами адмиралтейства, Петропавловскаго собора и прежней Исаакіевской церкви, стоявшей близъ того мѣста, гдѣ теперь памятникъ Петру. Обернулся мальчикъ назадъ, передъ нимъ, въ безконечную даль, тянулась, вся въ яркой зелени густыхъ, въ четыре ряда, высокихъ липъ, Невская першпектива. А по ней шли нарядные господа, скакали верхомъ военные, мчались цугомъ раззолоченныя кареты.

Яковъ Федорычъ, со словами: «а будьте ласковы, скажите, гдѣ тутъ?»—снялъ шапку чуть не передъ каждымъ прохожимъ. Всѣ дивились на него, на его рѣчь, одежду и на почернѣлое отъ зноя, съ сѣдыми усами, лицо. Прохожіе пожимали плечами и шли далѣе. Горожанамъ было не до него; да украинца рѣдко кто и понималъ.

Понялъ и выслушалъ Якова Федорыча случайно встрѣченный имъ у тогдашняго деревяннаго Аничкова моста, нѣкій важный и съ виду гордый человекъ. Съ двойнымъ подбородкомъ и объемистымъ животомъ, этотъ господинъ, отдуваясь и еле передвигая ноги, шелъ въ вошчанковой зеленой шляпѣ, въ голубомъ камзолѣ и въ красныхъ бапмакахъ.

День былъ душный. Незнакомецъ, несмотря на свой на-

рядъ, несъ съ живейнаго рынка, бывшаго за мостомъ, на Литейной, въ одной рукѣ—пучъ зелени, а въ другой—пару, перевернутыхъ вверхъ ногами, живыхъ калуновъ. Мирovichъ съ поклонами передалъ и ему, въ чемъ дѣло. Пузанъ оказался его землякомъ.

— Такъ тебѣ, землячекъ, графа Разумовскаго?—сказалъ онъ, поморщившись и крягнувъ.

— Его-жъ, его-жъ... Рѣзума нашего и кормильца!..

— Квартируетъ онъ въ самомъ царскомъ дворцѣ, а съ мѣсяцъ, за передѣлками тамъ, вотъ гдѣ проживаетъ!—гордо ткнулъ пучкомъ зелени важный господинъ, указывая, черезъ пороспій травой берегъ Фонтанки, на жестяные куполы Аничкова дворца:—то будетъ его хйжка... Царица ему подарила... Чтѣ хорошо?

— Фить-фить!—засвисталъ удивленно старый Мирovichъ:—а вы-жъ, ваше сіятельство, чѣмъ будете? и какъ васъ титуловать?

— Кофи-шенкомъ у графа!—еще важнѣе пыхнулъ сквозь зубы толстякъ:—и я тебѣ, землячекъ, позволю, такъ и быть, въ чемъ нужно, помогу...

— Какъ же это кофи-шенкъ? въ какомъ будетъ рангъ?

— А то же, почитай, что гофъ-диннеръ,—пускалъ пыль въ глаза толстякъ:—мало чѣмъ меньше тафельдекера, а то и больше того...

Мирovichъ снялъ шапку и ужъ ее не надѣвалъ.

Землякъ привелъ его къ Аничкову саду, занимавшему въ то время все мѣсто, гдѣ теперь площадь съ Александринскимъ театромъ, памятникомъ Екатерины и Публичной библіотекой. Они обогнули этотъ садъ со стороны Гостинаго двора, и отъ заводей Фонтанки и Чернышовскихъ прудовъ, бывшихъ на мѣстѣ нынѣшнихъ министерствъ народнаго просвѣщенія и внутреннихъ дѣлъ, подошли къ небольшой садовой калиткѣ. Вожатый, на разставаньѣ, далъ Мирovichу нѣсколько наставленій и обѣщалъ, если понадобится, пристроить его на квартирѣ.

— Вонъ, малый, крыльцо,—указалъ онъ въ калитку на одинъ изъ лѣтнихъ павильоновъ дворца:—ступай прямо туда... Изъ прихожей будетъ тебѣ, братецъ, свѣтличка,—въ ней графъ завелъ теперь принимать просителей... Тамъ, коли не опоздалъ сегодня, и дождайся...

Мирovichъ, тѣнистыми, пахучими аллеями, прошелъ къ

указанному павильону, заглянуть въ прихожую — ни души, заглянуть въ приѣмную — тоже никого: постоялъ у порога, раза два кашлянулъ и, какъ былъ, въ черной свитѣ и смазанныхъ дегтемъ сапогахъ, поджавъ ноги, присѣлъ на голубую, штофную, съ золотыми точеными ножками софѣ.

Долго онъ дожидался. Никто не приходилъ и не подавалъ голоса. Приѣмъ, очевидно, кончился. Но разъ попалъ такъ легко къ высокому графу, — о которомъ онъ, какъ о благодѣлѣ своей семьи, столько слышался и про котораго такая слава и такой говоръ стояли на родинѣ, — Мирѡвичъ рѣшился, во что бы то ни стало, ждать. «А какъ выгнать?.. Ну, дворянина, пожалуй, и не посмѣютъ...»

Въ комнатѣ было еще жарче, чѣмъ на дворѣ.

Муhy то-и-дѣло садились на потное, обросшее за дорогу, лицо украинца. Мирѡвичъ то дремалъ отъ усталости, то, съ досадою и бранью, отмахиваясь отъ мухъ, ловилъ ихъ на-лету и давилъ. Одна особенно назойливо и долго приставала къ нему. Онъ ее согналъ съ шеи, — она укусила его за щеку и пересѣла ему на колѣно. Стиснувъ зубы, онъ прицѣлился на нее, хлопнулъ по ногѣ, но промахнулся: муха увильнула, посновала по комнатѣ и опустилась на большую, японскую вазу. Задремалъ въ тишинѣ Мирѡвичъ. Солнечные лучи, врываясь сквозь вѣтви тихо трепетавшихъ липъ, яркими, извилистыми просвѣтами играли по паркету, бронзѣ и зеркаламъ. Муха опять сѣла на щеку Мирѡвича, жужжа и путаясь въ усахъ, укусила его и вновь улетѣла на вазу. «А, каторжная! — проворчалъ Мирѡвичъ: — стой же! шкодѣ! теперь не уйдешь!»

Онъ всталъ и тихо, на цыпочкахъ, началъ подкрадываться къ обидчицѣ; изловчился, размахнулся, но муха снова мимо, а ваза съ громомъ рухнула съ поставца и разлетѣлась вдребезги.

Рѣзная лаковая дверка отворилась въ углу комнаты. За нею показалась пола бархатнаго вишневаго халата, звѣзда на лацканѣ и румяное, удивленное, а вмѣстѣ смѣющееся лицо: густыя черныя брови, каріе, съ поволокой и красникой, глаза и вздрагивавшія отъ позывовъ къ смѣху, крупныя и влажныя, добрыя губы...

— А що, земляче, піймавъ? — раздался голосъ пышущаго здоровьемъ, сорокалѣтняго вельможи, узнаваемаго въ гостѣ земляка.

Яковъ Ѳеодорычъ упалъ передъ нимъ на колѣни. Графъ Алексѣй Григорьевичъ Разумовскій милостиво ободрить растерявшагося просителя, ласково ввелъ его въ свой кабинетъ, усадилъ въ кресло и сталъ расспрашивать, кто онъ и какъ сюда попалъ?

— Знаю, знаю, сердце!.. Но неужто на волахъ? — спросилъ, удивленно поднявъ брови, Разумовскій; — не шутишь? такъ-таки, голубе сизый, на воликахъ, да еще, можетъ, и на сѣрыхъ?..

— На сѣрыхъ, ваша графская свѣтлость, ни сѣрыхъ...

— И погоныча, хлопчика, вѣрно, взялъ?

— Сына... подросточка...

— Давай же его, голубоньку, сюда, можетъ, и пѣсни играть? гдѣ онъ?

— На лугу, у новаго дворца, скотину съ собакою пасеть.

— Какъ? гдѣ?..

Мирѡвичъ объяснилъ. Графъ окончательно покотился со смѣху...

— Вотъ такъ придумалъ! — бархатнымъ пѣвучимъ горломъ выводилъ Разумовскій: — кто жъ тебя ко мнѣ направилъ?

Мирѡвичъ разсказалъ о своей встрѣчѣ съ кофе-шенкомъ графа, который и на квартирѣ, у тещи своей, обѣщалъ его пристроить.

— Какой кофе-шенкъ? и что ты, диду, городишь? — опять зашевелилъ поднятыми бровями графъ: — землякъ? и толстый? А!.. такъ вотъ оно кто... Юрченко Абрашка! Ну, назвался же, собачій сынъ, какимъ титуломъ... А онъ у меня за подручнаго въ поварнѣ на людской... Кофе-шенкомъ же, друже, у меня французъ Брідшъ, и такая, скажу тебѣ, шельма искусная, да гордая, что Абрашку еще за вихры отдубасить, какъ узнаетъ о его самозванствѣ... Такъ, такъ, онъ самый и есть! и у его тещи, Бавыкиниши, свой домъ на острову... и отлично...

Разумовскій позвонилъ.

— Ъзжай же ты, сердце, къ ней, — сказалъ онъ: — а завтра въ эту же пору — или нѣтъ, постой, — лучше къ вечеру, — будь ты опять у меня, да, непременно, съ сыномъ и на волахъ... Тогда и о дѣлѣ твоємъ потолкуемъ. А теперь некогда, — ѣду во дворецъ.

За стѣной слышалась суета. Поспѣшно вошелъ разодѣтый въ золотую ливрею слуга, за нимъ — другой.

— Торòхъ. торòхъ, посынался горохъ!.. Эка, центюхи... Вы спите тамъ, — сказалъ Разумовскій: — а тутъ, чтобы чортъ такъ и этакъ побилъ вашего батька — добрый человекъ дожидается... Позвать повара Абрашку.

Вошелъ Абрамъ. Мирòвичъ глазамъ своимъ не вѣрилъ: куда дѣлась важность мнимаго кофе-шенка, — и живòтъ осунулся, и куда-то въ камзолъ спрятался двойной, вспотѣвшій подбородокъ.

— Не пьянъ сегодня? — спросилъ, строго хмуры брови, графъ: — ну, и отлично! рѣдко съ вами, архибестін, бываетъ... Такъ вотъ же что... Бери ты, Абрашка, вотъ сего сызнова голубя къ своей тещѣ на постой, да береги его, слышишь, пуще глазу... Угости тамъ, успокой и покажи ему и его хлопцу столицу... А это ему пока на расходъ.

Графъ бросилъ повару кошелькъ.

На другой день государыня Елисавета Петровна пила у графа, въ Аничковскомъ саду, вечерній чай. Прибыла она изъ лѣтняго дворца, гдѣ теперь инженерный замокъ, на катерѣ съ гребцами и съ роговою музыкою. Катеръ вѣхалъ изъ Фонтанки прямо въ прудъ, бывшій тогда среди Аничкова двора.

Государынѣ въ саду графомъ были представлены Яковъ Федорычъ и его сынъ Василій. Мальчикъ игралъ императрицѣ на торбанѣ, пѣлъ «Горлицу», «Гриця», — плясалъ «трепака» и декламировалъ хвалебный, въ честь царицы сложенный въ то время кievскими бурсаками кантъ. Государыня прослезилась. Но, спустя недѣли три, когда ей отъ сената доставили справку о томъ, за что ея покойный родитель отобралъ въ казну имѣнія Мирòвичей, она не нашла возможнымъ исполнить просьбу Якова Федорыча.

— Чудасія мосьпане, да и полно! — воскликнуть, топорща брови, неуспѣвшій въ своей протекціи Разумовскій: — не все, братику, по-нашему! — пивень каже кудкудакъ, а курочка — не такъ! Но дѣло твое, не унывай, еще выгорить... Докажи, чуешь, что въ отобранныхъ у васъ помѣстьяхъ были родовыя, собственные мѣстности твоей матери. А безъ того — чтобы имъ болячка, — не можно... убей Богъ, не можно... Посуди... сенатъ въ твою пользу не доложить... Сказано: москали! лыкомъ вязано, въ лыкахъ ходитъ, подъ лыкомъ спитъ... Видишь, сердце, какія у нихъ прицѣпки,

да щупы,—на три аршина, собаки, подъ землей щупаютъ. Нельзя... финанціи, казенный интересъ!..

Слезы прошибли Мирovichа. Онъ не ожидать отказа и неуспѣха, когда добился свиданія не только съ графомъ, но и съ парицей, подбиралъ, что бы еще сказать, и не находилъ словъ.

— А о хлопчикѣ твоемъ, о сынѣ, и не думай!—сказалъ тронутый его горемъ графъ:—государыня, до его велико-возрастія, возьметъ его подъ свою опеку и милость. И такой-сякой я буду, слышишь, коли вру! Наплый тогда въ глаза... Завтра же велить его записать въ кадеты, въ шляхетный здѣшній корпусъ,—бо онъ у тебя, братику, все-таки дворянинъ, нельзя! э! того нельзя!.. Да еще вонъ какой до чорта письменный... стихи важно дуетъ—и дискантъ прензрядный... Безъ каммертона, сразу верхнія ноты, собачій сынъ, беретъ... Горлипу, не ходи Грицю, какъ отчикрыжилъ!.. Херувимскую московскую тоже вонъ знатно спѣлъ, безъ ошибокъ; да, полагаю, и по придворному, концертному, скоро насоба-чится... А воловъ своего кума, сердце, знаешь, лучше оставь тутъ,—продай ихъ хоть и мнѣ... Славные волю! и жалко ихъ, яиду, опять гнать, бѣсъ его знаетъ, и куда... Я бы, слышишь, послалъ ихъ на дачу тутъ *вою, въ Гостилицы... У меня, сердце, тамъ дворецъ, а какіе луга! Нехай бы ходили, шановались, да радовались по папшѣ... Гей, гей, рѣдина, хуторы наши, раздолье... Эхъ-ма! А, впрочемъ, какъ знаешь. Братъ Кирило въ Батуринѣ новоманерную мебель посылаетъ себѣ на-дняхъ въ гетманскій дворецъ... Такъ и ты бы, можетъ, поѣхалъ съ его хлопцами...

Яковъ Ѳедорычъ поблагодарилъ, но, пристроивъ сына въ корпусъ, поѣхалъ съ лохматымъ сѣркомъ домой на волахъ.

По возвращеніи на родину, старикъ протянулъ недолго: простудился осенью на пасѣкѣ и умеръ. Объ этомъ написали молодому Мирovichу сестры, жившія по людямъ въ Москвѣ. Зять Бавыкиной, Юрченко, потерявъ отъ преждевременныхъ родовъ жену, запилъ съ горя на графской кухнѣ и также въ томъ году скончался.

Настасья Филатовна, на своемъ сиротствѣ, незамѣтно и крѣпко привязалась къ Васѣ Мирovichу; брала неуклюжаго и на первыхъ порахъ медвѣдеобразнаго, а потомъ рѣзваго

и шустрого, миловидного кадетика къ себѣ по праздникамъ. ласкала его, журила и нянчила, какъ родного. Изъ кадетика вышелъ вскорѣ кадетъ, изъ тощаго заморыша-мальчѣнки— рослый и полный здоровья юноша, который не зналъ, куда дѣтъ вытянувшіяся руки и ноги; не по днямъ, а, казалось, по часамъ, такъ и выпирало его изъ казеннаго узкаго кафтанншкн.—«И куда ты это, Васёнька, лѣзешь въ гору, такъ растешь?»—говорила старуха:—инъ скоро ужъ, пожалуй, и рукой не достягну до твоего вихра!»

Сперва Вася лазилъ во дворѣ у Настасьи Филатовны по крышамъ, по яблонямъ и березамъ, гонялъ голубей, въ свайку да въ бабки игралъ съ уличными мальчишками. Ссадины не сходили у Васи съ носа, синяки съ висковъ. Филатовна то-и-дѣло чинила его камзолчики и штанишки, штопала ему чулки. Но вотъ Вася окончательно вытянулся и остепенился. Сухощавый, скулистый, плечистый, будто увалень, а въ черныхъ глазёнкахъ такъ и бѣгаютъ огоньки. Ландшафты рисуетъ красками и миниатюрой, хитрый виньетъ къ вотаъ Разумовскому чертитъ и ему носитъ. Ходить съ книжкой по саду Бавыкиной, вслухъ читаетъ какіе-то стихи; говорить, что твердитъ роль для кадетскаго театра. Зеленый ученическій кафтанъ на немъ чистъ, русая коса въ завиткахъ и припомажена; шляпа на три угла, какъ съ иголочки, бѣлыя манжеты и чулки отнюдь не примараны. Ему исполнилось восемнадцать лѣтъ. Въ корпусѣ онъ былъ уже шестой годъ.

— Кто же васъ тамъ ахтерству этому обучаетъ?—спрашивала его Филатовна.

— Самъ Александръ Петровичъ, самъ господинъ Сумароковъ!—отвѣчалъ Вася Мирѡвичъ:—и мы играли намерднн, на домашнемъ нашемъ театрѣ, его комедію «Чудовищи», а въ скорости при дворѣ, въ собственныхъ внутреннихъ апарта-ментахъ государыни, будемъ играть его же трагеди «Гамлета»... Ахъ! какіе стихи, какіе!

«... Люблю Офелію, но сердце благородно

«Быть должно праведно, хоть плѣнно, хоть свободно...»

Сердце кадета Мирѡвича, на самомъ дѣлѣ, вскорѣ было плѣнено. Онъ нашелъ свою Офелію и сразу влюбился въ нее страстно, безъ ума, о чемъ признался товарищу, уроженцу харьковскаго намѣстничества.

Случилось это въ 1759 году, незадолго до выпуска стар-

шаго курса изъ корпуса. Въ Петербургъ и въ окрестныхъ дачахъ вельможъ, по случаю пріѣзда принца Карла Саксонскаго, шли непрерывныя празднества и торжества, — съ качелями, каруселями, катаньемъ съ горъ, рыбными ловлями, стрѣльбой въ цѣль и театрами.

Въ Гостилицахъ, на дачѣ Разумова, давали переведенную съ французскаго пьесу: «Пастухъ и прегордая пастушка». Кадетъ старшаго курса, Мирovichъ, кончившій геометрію и фортификацію съ аттакой и изучавшій въ томъ году у корпуснаго ученаго адъютанта, Флюга, гражданскую юриспруденцію, натуральное право и нѣмецкій штиль, игралъ роль пастуха. Роль пастушки исполняла одна изъ хорошенькихъ и веселыхъ камеръ-медхенъ императрицы Елисаветы, Поликсена Ивановна Пчёлкина, — непомнящій родства подкидышъ. Свою фамилію она получила вслѣдствіе того, что государыня, встрѣтивъ въ коридорахъ дворца кудрявую, съ сѣрыми глазами и съ золотистыми волосами, дѣвочку, остановилась и сказала: «Вотъ распѣваетъ, жужжитъ, точно пчёлка!» — Съ той поры она и осталась Пчёлкиной.

Влюбленный въ неприступную и гордую пастушку на сценѣ пастухъ-Мирovichъ поймалъ ее врасплохъ за кулисами, обнялъ за талію и, страстно припадая къ ея розовымъ, съ ямочками, набѣленнымъ и облѣпленнымъ мушками щекамъ, нѣжно прошепталъ изъ своей роли:

«Когда жъ бѣдняжку-пастуха—
«Когда полюбишь ты, пастушка?..»

Пчёлкина вырвалась отъ него, оправива смятыя блонды и ленты и, сдѣлавъ вздохателю реверансъ, съ насмѣшливой важностью, отвѣтила также стихами разыгранной пасторали:

«Когда ты будешь богачомъ,
«Вельможей, а не пастухомъ,—
«Чтобъ не въ убогой жить намъ хатѣ,
«А въ роззолоченной палатѣ...»

Тѣнь всякаго спокойствія, съ той поры, покинула влюбленного кадета. Гражданская юриспруденція, нѣмецкій штиль и натуральное право Флюга были заброшены. Ихъ замѣнили безсонныя ночи, вздохи, писаніе страстныхъ и нѣжныхъ мадригаловъ, а въ промежуткахъ, съ горя — попойки съ городскими кутилами и карты. — «Хохлёнокъ сду-

рѣлъ!» — говорили товарищи. И точно: Мирѡвичъ сталъ раздражителенъ, мраченъ, ушелъ въ глубь себя. Бавыкина собиралась не разъ вызвать на голову завертѣвшагося своего любимца грома и молніи со стороны Разумовскаго. Но всесильный графъ давно забылъ и думать о юношѣ, который когда-то пѣлъ кантъ и плясалъ «журавля» въ его саду, хотя при встрѣчахъ съ нимъ обыкновенно шутить: «Виньеты славно чертишь, и херувимовъ, и гербы... А постой, одначе, постой! Хочешь, куклоночка, варениковъ? и когда на волахъ до дому?»

Днемъ, попидавъ укладкой Пчёлкину, Мирѡвичъ вписывать въ свой дневникъ стансы къ милой:

«Лишенъ любовныхъ разговоровъ,
«Я вижу тѣнь твою съ собой...
«И, ахъ! твоихъ не зрю хоть взоровъ,
«Но мысль всегда, вездѣ съ тобой...»

Вечеромъ, въ корпусномъ дортуарѣ или въ душномъ служительскомъ чуланѣ, онъ рѣзался съ богатыми изъ товарищей въ ля-мушъ и въ фараонъ. Жажда выиграть, разбогатѣть тянула его къ себѣ, и онъ, къ собственному удивленію, выигрывалъ. Сперва серебро, а потомъ и золото завелись у кадетъ. Нерѣдко полные карманы рублевиковъ таскали онъ къ Настасѣѣ Филатовнѣ.

— Откуда берешь, пострѣлъ?—допрашивала она.

— Спрячьте, голубушка, спрячьте бережнѣе, а то опять спущу!..—отвѣчалъ онъ:—это для Полиньки! все ей... какъ выйду въ офицеры, посватаюсь и женюсь...

Молва о счастливой игрѣ Мирѡвича дошла и до начальника корпуса, богатаго и знатнаго князя Юсупова. Строгій распорядитель и любимецъ вѣранныхъ ему питомцевъ, онъ тоже былъ страстный игрокъ.

— А играешь ли въ рокамбѡль? — спросить его однажды князь.

Мирѡвичъ въ это время готовился къ окончанію экзаменовъ.

— Во что угодно-сь...

— И въ вистъ-руаяль?

— И въ вистъ...

— Почему роберь?

— Хоть по десять рублей.

— Вотъ какъ! А въ пикетъ знаешь?

— Знаю.

— Ну, приходи ко мнѣ: завтра Срѣтеніе, праздникъ, — сыграемъ во что-нибудь...

Мирѡвичъ за два дня передъ тѣмъ видѣлся съ Поликсеной у знакомой Настасьи Филатовны, у поручицы Птицыной, и все время послѣ встрѣчи съ обожаемой, неприступной красавицей былъ какъ въ чадѣ. Онъ усердно помолился объ успѣшной игрѣ, даже общалъ поставить свѣчку у Исаакія, если выиграетъ, и, вопреки совѣтамъ товарища-харьковца, пошелъ на квартиру къ Юсупову.

— Ну, сядемъ въ бириби, — сказалъ вельможный начальникъ, кладя карты на столъ: — огурчики, огурцы, пошли въ дѣло молодцы!.. такъ ли? ну-ка, сивая, пойдемъ въ походъ!.. деньги есть?

Кадетъ показалъ дукаты. Юсуповъ поставилъ возлѣ себя ларецъ. Они стали играть. «Мать пресвятая, владычица Казанская помоги! — думалъ Мирѡвичъ, — что, если выиграю у него, не то что сотню, полтысячи, тысячу рублей?.. Онъ богачъ, въ игрѣ, слышно, зарывается, неотходчивъ... Тогда... о! тогда Поликсена моя...»

И онъ дѣйствительно сталъ выигрывать.

Когда стемнѣло и подали свѣчи, серебро, а потомъ и золото изъ ларца Юсупова наполовину перешли въ шляпу кадета. Руки князя дрожали, брови удивленно шевелились, старческое, апоплексически-красное лицо покрылось бѣлыми пятнами. Онъ не переставалъ сыпать любимыми поговорками.

— И начала она сомнѣваться!.. и начала! — возглашалъ онъ, судорожно хлопая картой по картѣ: — ура, сивая, не отставай!.. окунулся по уши, валяй и по маковку туда жъ...

Ларецъ Юсупова опустѣлъ.

— Эй, вина! венгерскаго! выпьемъ, братъ! — забывшись, крикнулъ начальникъ: — что-то душно...

— Не пью-съ! — пролепеталъ блѣдный, взволнованный успѣхомъ Мирѡвичъ.

— Вздоръ, приложимся! у меня, братъ, старое...

Подали бутылки и рюмки. Князь выпилъ, налилъ и партнѣру, выпилъ и еще; груня надъ своей неудачей, распахнулъ окно въ оранжерею, а дверь заперъ на ключъ, досталъ изъ пузатаго, выложеннаго бронзой, бюро горсть

коралловъ и нѣсколько ювелирныхъ вещицъ, и началъ удваивать ставки.

— Ахъ вы, Сашки-канашки мои, куда дѣли подтяжки мои?—шутить онъ, щелкая картами по столу.

Къ полночи Юсуповъ выбился изъ силъ и откинулся на спинку кресла. Все вынудое было вновь проиграно. Глаза князя лихорадочно сверкали, на углахъ губъ проступила пѣна.

— Ты магъ, кудесникъ!—прохрипѣлъ онъ, въ охмеленіи глядя на кадета и срывая съ горла обшитый пуанъ-де-шпанами платокъ: — не вывезла, сивая, усомнилася!.. отстала?.. Уходи теперь, братецъ, какъ есть, будто не игралъ... иначе,—прибавилъ вдругъ Юсуповъ:—я тебя за карточную игру подъ судъ...

Мирovich помертвѣлъ.

— Ваше сіятельство, князь! вы шутите? — проговорилъ онъ, заикаясь.

— Не шучу, не шучу... Иди по добру, по здорову... Не то я тебя, каналья, выпровожу... нечисто, знать, играешь...

— Какъ смѣете! — вскрикнулъ, вскакивая, Мирovich: — вы забылись... Такія слова природному дворянину... Мои предки не меньше вашихъ вельможамъ были...

На Мирovich не стало лица. Руки и подбородокъ его дрожали. Онъ какъ пьяный шатался, стоя чрезъ столъ въ угрожающемъ положеніи противъ князя. Глаза его застигло пеленой.

— Вонъ, молокососъ, вонъ!—закричалъ Юсуповъ, также поднимаясь съ кресла и толстыми прыгающими пальцами загребая снова въ ларецъ лежавшія на столѣ деньги, кораллы и ювелирные вещицы: — я тебя, сударь, только пыталъ!.. Аль не догадался? Вижу нонѣ, какова ты птица... Юсупова, братъ, князя не проведешь...

Свѣтъ окончательно померкъ въ глазахъ Мирovichа.

Онъ опрокинулъ столъ съ картами и съ виномъ, рванулся къ князю, выбить у него ларецъ и схватить его за руки. Борьба между сильнымъ, тучнымъ старикомъ и ловкимъ дерзкимъ юношей началась отчаянная. Огромный парикъ князя слетѣлъ подъ софу, часы были обронены въ схваткѣ и растоптаны подъ ногами, рубаха и манжеты изорваны въ клочки. Сильно досталось и кадету. Съ отхваченнымъ лацканомъ кафтана, лопнувшимъ по швамъ кам-

золотъ и съ развитой косою, онъ въ рукопашномъ бою нечаянно далъ выскользнуть сопѣвшему въ его объятіяхъ князю, получилъ отъ него мѣткій ударъ чѣмъ-то тяжелымъ въ голову, но изловчился, опять поймалъ его за каминомъ въ углу и, съ крикомъ: «молись! теперь тебѣ, извергъ, капуть!» — тонкими пальцами изо всѣхъ силъ ухватилъ его за жирное горло.

Мирѡвичъ задушилъ бы князя Юсупова, но изъ прихожей къ кабинету, на возгласы ихъ и возню, сбѣжались слуги.

Въ двери стали стучать. Мирѡвичъ опомнился, выпустилъ князя. Юсуповъ, задыхаясь, молча указать ему окно въ теплицу, откуда былъ особый выходъ въ садъ. Тотъ медлил. Князь, злобно хрипя и потирая горло, отвѣсилъ ему низкій поклонъ. Мирѡвичъ схватилъ шляпу и выскочилъ.

Юсуповъ пришелъ въ себя. Не отворяя двери, онъ крикнулъ, что никого не звать и чтобъ его оставили въ покоѣ, привелъ въ порядокъ свою одежду, мебель и вещи, и закрылъ окно. Опустивъ гардины, онъ выпилъ цѣлый графинъ воды, крестясь и охая, прошелся нѣсколько разъ по комнатамъ и сѣлъ писать къ фавориту государыни, Ивану Иванычу Шувалову, длинное письмо.

Черезъ недѣлю послѣ этого казуса, кадетъ Мирѡвичъ, за лѣность, а также за продерзостное и кутежное поведение, не кончивъ курса, былъ отосланъ солдатомъ въ пѣхоту, въ заграничную армію, гдѣ въ два года дослужился до подпоручика.

Юсупова разбилъ параличъ. Послѣ долговременнаго управленія кадетскимъ корпусомъ, онъ былъ уволенъ отъ этой должности и вскорѣ скончался. Онъ словесно передъ смертью пожелалъ выслать за границу исключенному кадету крупную сумму денегъ. Но ближніе его посмотрѣли на это, какъ на излишнюю поблажку, и приказа его не исполнили.

III.

Петербургъ время Петра Третьяго.

Крѣпко спалось съ заграничной дороги Мирѡвичу у Настасьи Филатовны, да и было такъ тихо въ теплой, уютной горенкѣ. Городской ѣзды по берегу Мойки въ томъ мѣстѣ почти не было слышно. Бавыкина и въ церкви побывала, и на рынокъ сходила, и кончила въ кухнѣ обѣденную

стряпню. «Вотъ заспался, сердечный», — разсуждала она. Разбудили Мирovichа неразлучныя канарейки хозяйки. Онъ такъ весело растрепались на солнцѣ, что онъ проснулся, открылъ глаза, но не сразу пришелъ въ себя, глядѣлъ по комнатамъ, припоминалъ...

Вотъ старый, почернѣлый, дубовый комодъ Филатовны, — березовый, со стеклами, посудный поставецъ. Въ комодѣ лежали когда-то его кадетскія рубашенки, тетрадки, потеряныя въ бѣготнѣ чулки. А изъ поставца всегда такъ пахло корицей, имбиремъ, и лежали тамъ, ждали его къ праздни-камъ пряники, орѣхи, шептала. На стѣнѣ — поясной портретъ, красками, покойнаго Бавыкина. Сударь Анисимъ Поликарпычъ, въ кафтанѣ, шитомъ золотомъ, и въ лейбъ-кампанской, съ перьями, шапкѣ, гордо и важно глядитъ изъ рамы и будто повторяетъ слова манифеста Елисаветы Петровны: «а особливо и наипаче лейбъ-гвардіи нашей шквадрона по прошенію престоль нашъ воспріять мы соизволили». Мирovichъ не засталъ уже Бавыкина въ живыхъ. Но власть и мочь покойника еще признавались памятью знавшихъ его. Одинъ изъ трехъ-сотъ гренадеровъ, возведшихъ Елисавету на тронъ, во дни загула онъ — «подпихомъ съ пріятелями», — бывало, подниметъ такое веселье, что канцлеръ Бестужевъ, слыша изъ своего дома, черезъ Неву, буйныя пѣсни и крики у его воротъ, посылалъ цидулки къ генераль-полиціймейстеру о командированіи пикетовъ для охраны спокойствія сосѣднихъ улицъ и домовъ.

— Все отдамъ, все тебѣ послѣ смерти откажу, — говорила въ оныя дни Настасья Филатовна кадету Мирovichу: — учись только уважать начальство, въ люди выходи. Станешь въ чинахъ, будешь знатенъ, амбиціи своей не преклонишь, и меня до конца вѣку доглядишь... Оно точно: на рать сѣна не накопишься, на мѣръ хлѣба не насѣнешься. А бери, сударикъ, примѣръ хоть бы съ меня... Самой царикъ угождала, ея душеньку брехнѣю улащала... И былъ зато бабѣ Настасѣ почетъ и привѣтъ... Дѣвка гуляй, а дѣло помни... Даромъ, братъ, ничего; даромъ и чирей не сядетъ...

Все измѣнилось, все прошло. Бѣдность видимо проглядывала теперь во всей обстановкѣ Бавыкиной. Не оправдала ея надежды и былой ея питомица. Мирovichа замѣтили, за отличіе подъ Берлиномъ, гдѣ онъ былъ контуженъ, произ-

вели въ офицеры. Но тяжело дались ему двухлѣтніе походы, лишенія всякаго рода, обиды старшихъ, измѣны и подкопы товарищей, и та же суровая бѣдность, бѣдность безъ конца. Онъ еще болѣе сосредоточился, сталъ скрытенъ, завистливъ, раздражителенъ и гордъ. Чужіе края во многомъ открыли ему глаза. Онъ сходилъ тамъ съ умными людьми, въ томъ числѣ съ масонами, читалъ книги, немало перенялъ, сунулъ носъ и въ такія рѣчи и дѣла, о которыхъ ему прежде и не снилось. Грубость генерала Беклешова на утреннемъ пріемѣ въ коллегіи не выходила у него изъ головы. «Скрыть хотѣть пропозиціи Панина, — не выходило у него теперь изъ мыслей: — измѣнники! берлинскіе угодники!.. не скроютъ... Завтра опять пойду и добьюсь».

Мирovichъ всталъ, быстро одѣлся и вышелъ на улицу. У него что-то сидѣло въ головѣ. Добравъ на извозчикѣ на Литейную, онъ высмотрѣлъ чей-то дворъ, между свѣтиль придворныхъ чиновъ, обошелъ его, долго глядѣлъ на окна и двери, и спросилъ кого-то вышедшаго изъ того двора. Ему вызвали слугу. Отвѣты послѣдняго не привели ни къ чему. Еще постоялъ Мирovichъ передъ заветнымъ домомъ, еще поглядѣлъ на окна. Онъ чернѣй тучи возвратился на Мойку, пробрался въ горенку Филатовны и молча прилегъ опять на постель. Бавыкина вошла къ нему съ завтракомъ.

— Думала спать, а ужъ онъ и по дѣламъ, сказала она, присѣвъ противъ него и съ любопытствомъ его разсматривая.

Онъ молчалъ.

— Это же что у тебя? — сказала она, взглянувъ на истрепанную тетрадку, лежавшую на кучѣ хлама, вынутого изъ чемодана.

Мирovichъ и на это ничего не отвѣтилъ. На заголовкѣ тетради, красивыми росчерками, стояла надпись: «Храмъ Апрагѣйской». Вокругъ заглавія были рисунки тушью, — два столба, треугольникъ, отвѣсъ, молотокъ и другіе знаки. То былъ масонскій катехизисъ, логи св. Іоанна, ученической степени (арренти).

— Дипломъ, что ли, на чинъ? — спросила, просіявъ, Филатова.

— Да... нѣтъ, бинъ... артикуль. — товарищи дали, — нехотя отвѣтилъ Мирovichъ.

— Служи, Василий, служи, времена тяжкие, добивайся! Песъ космать, ему тошно, намъ зато вотъ даже холодно! А золотой молотъ, паря, онъ и желѣзные ворота прокуетъ! А почему? Потому дупинный свѣтъ онъ самый, дакъ есть дупинный... Тлѣю надъ нами пахнетъ... Ницца, королева завтра падаль...

Бавыкина вздохнула, оперлась на руку головой.

— И ужъ такъ-то плохо, такъ... Все махонькое въ болячки, вишь, просится. Да не быть медвѣдю стадоводникомъ, а свинѣ огородникомъ. А что прогорѣла, то еще не бѣда. Города — и тѣ чинятъ, не токъ рубашки.

Мирѡвичъ не отзывался. Бавыкина пристальнѣе взглянула на него.

— Да ты не на Литейну ли отмахалъ? Что смотришь? Угадала, небось? Признавайся.

— Гдѣ Полинъка? — спросилъ Мирѡвичъ.

— Нечто самъ не знаешь, не ссысывался съ нею?

— Четыре мѣсяца ни слуху про нее, молчишь. На письма не отвѣчала, — отрывисто и грубо проговорилъ Мирѡвичъ.

— То-то, Василий, скрыватьчаешь, — сказала, покачивая головой, Филатовна: — а я, признаться, иной разъ спрашивала. Помнила твои голянья... Вотъ и сегодня... Только братъ, ни Птицыны, ни Прохоръ Ипатьичъ, — кучеръ покойной царицы, ни Шепелѣвыхъ кума, — дворцовая кастелянша, никто не знаетъ. Какъ померла на Рождество государыня, твоя-то, вѣришь ли, точно въ воду канула. Да и дива нѣтъ. Порядки, самъ въдаешь, пошли все иные. Дворъ покойной царицы распустили, ослобонили, — кто куда. Ну, а она, известно, — голячка, сирота; гдѣ ей въ здѣшнемъ-то Бавилонѣ болтаться. Куда-нибудь отъ глазыринковъ въ тишости дѣвка и съютилася... Самому знакомъ сѣный правѣ, — недоτροга, гордецъ, и обидѣ, — этакая, подумаешь, цаца, — не любить. За границу развѣ?.. Такъ нѣтъ: знали бы. Безъ паспорта, чай, сразу и не уѣдешь...

— Чудеса! — произнесъ Мирѡвичъ: — ужъ жива ли, или впрямь куда уѣхала?

— А про то, братецъ, говорю тебѣ, не сведома! — съ недовольствомъ отвѣтила Филатовна: — дворъ, соколъ ты мой, новый и порядки новые. Не то, что камеръ-медхены, гоф-снєралы, у новаго царя и у его хозяйки — всѣ почти пере-

мнѣннѣсь она вѣдь твоя же, правду сказать, поговѣвъ на большой православности, ну, вѣтеръ ее, молототравяту, и сдулъ, оъ земли долой.

Мировичъ не слушать Филатовны. Та вѣлаась за поднось, брякнула тарелками.

— А я вотъ что тебѣ скажу, — заговорила опять Филатовна: — что твоя Поликсена? ну, говори! Голь безшабашная и только. Тебѣ, сударь, не того нужно. Нѣтъ грѣхъ хуже бѣдности. Помни зарокъ бабы Насти, — тутъ вся правда. Ну, посуди! Ты молодецъ, изъ себя красивъ, чинъ у тебя тоже вонъ ужъ офицерскій, и всякая за тебя теперь, ну, писаная краля пойдетъ... Да вотъ, на прикладъ, хотъ бы и дочка самой Птицыной... чѣмъ не невѣста? Повидишь, какая пана стала, — выровнилась за это время, станъ тебѣ полненькій, ходитъ, вертитъ хвостомъ какъ уточка, — а волосы, а глазичи... Да притомъ, Василій, домъ какой на Литейной, дача на Каменномъ; а по смерти матери, въ сходствіе сынаго счастья, еще и капиталъ. Прокормишься, ну, и меня въ тѣ поры не забудешь... Вонъ я послѣднюю холопку Ганку изъ-за бѣдности продала енералу Гудовичу, какъ сюда съѣзжала на фатеру. Вѣршишь, пухомъ да перьями нонѣ торгую, — продолжала, всхлинувъ и утираясь, Филатовна: — скупаю по господамъ, да перепродаю въ Гостиный на подушки и пуховики... Право, подумай, голубчикъ, не сибѣши. На рѣвомъ конѣ свататься не пытайся; а жена, братъ, не гусли, поигравъ, на сукъ не повѣсишь...

Мировичъ въ досадѣ и нетерпѣніи постукивалъ о полъ ногою. Онъ сидѣлъ молча, понурившись. Его божество, стройная, худенькая пастушка, съ лукавымъ взоромъ холодныхъ, сѣрыхъ и загадочныхъ, какъ у сфинкса, глазъ, съ ямочками и мушками на щекахъ и съ гордо-вздернутой, насмѣшливо-дрожащей губкой, не отходила отъ его мысленныхъ взоровъ.

Филатовна озлилась. Гремя въ посудномъ поставѣ, она чуть не разбила любимой чашки.

— Да чѣмъ бы вы жили? — ну, отвѣчай! я каковы ничто чины? Да ты не крути носомъ, прокурать, а толкомъ разбери: фунтъ чаю два съ полтиной, сажень дровъ рубль шесть гривенъ... а? Да что! Слишкомъ ли: пудъ аржаной муки двадцать шесть копеекъ. Свѣтопредставленіе, да и все... Говя-

дины, говядины фунтъ — меньше двухъ копеекъ не отдають... Какъ тутъ жить?

— Ну, какъ жить, про то ужъ не знаю; — пошлупрезрительно отвѣтила, вставая, Мировичъ; — и пойдешь али за меня Поликсена... А подруги ея, Птицной, прежде не примѣчалъ, да и теперь видѣть не хочу... Вы спрашивали, что это вотъ за книжка? — Мудрыя въ ней слова.

— Каки-таки слова?

— Миръ на трехъ основахъ сотворенъ, — продолжалъ гордо и какъ бы въ раздумь Мировичъ: — на разумъ, ситѣ и красотѣ. — Разумъ — для предпріятія, сила — для приведенія въ дѣйство, красота — для украшенія... Жизнь наша — храмъ Соломоновъ, и каждый камень въ немъ да кладется безъ устали и ропоту... Впрочемъ, вы того, простите, не поймете... Но стойте, одно слово. Окажите такую милость: Сходите еще разъ къ кучеру Прохеру Ипатьичу, къ Птицынымъ и къ Шенелёвымъ кумѣ, кастеляншѣ... Узнайте, куда отъ двора могли доставить Пчёлкину? Чай не выкинули же на улицу, въ придворномъ экипажѣ везли.

— Такъ вотъ тебѣ, высуня языкъ, и стану богатымъ за дѣвками! — отвѣчала, отмахнувшись, Филатовна: — старая братъ, стала! пора бы и на покой... Садись развѣ самъ да и пиши публикацію въ газетахъ, какъ въ старину письма къ любовницамъ писали: сладостныя, моль, гортани словеса медоточныя, гдѣ вы, отзовитесь! Красоты безмѣрной власы стопы превозжелѣнныя, улыбаніе полезное и пріятное; нравъ веселый и пресвѣтлый, ластовица моя златообразная; откланись!.. Нѣтъ, братъ, уволь, — винты развинтились, не торжусь... въ ломку пора...

Филатовна, однакожъ, только храбрилась. Подъ предлогомъ сношеній съ перинщиками, она сказала, что надо послѣ обѣда сходить въ Гостинный, нагнула повоиненный шушунчикъ, взяла какой-то узелъ, вышла за калитку и опять поплелась къ лейбъ-кучеру, къ Шенелёвымъ кумѣ, кастеляншѣ, и къ Птицынымъ.

Возвратилась Бавыкина въ сумерки. Она была сильно не въ духѣ, хмурилась и бранилась.

— Эки концы, прости Господи! Вотъ она торговля... Комн не камеръ-фуріры Герасимъ Крашенинниковъ, да Василій Кирилычъ Рубановскій, — сказала она, бросивъ въ уголъ пошуду и глядя на Мировича: — такъ никто ужъ въ свѣтъ не

напоказать тебѣ, гдѣ нокъ Поликсена. Они заправляли списками при похоронахъ государини; имъ только теперь извѣстно, куда направилъ лыжи твоя Миликтриса. Карибшеская...

Она вышла. Мирovichъ записалъ въ бумажникъ названія ею имена и засуетился надъ чемоданомъ. Заперевъ двери, помы принялся чистить сильно поношенный кафтанъ, штаны и башмаки; досталъ изъ какого-то свертка иглу; заштопалъ штаны и долго, вздыхая, возился надъ расщепотымъ у подошвы башмакомъ; расчесалъ и тщательно завязалъ косу и булки, — обвязалъ ихъ, для сохранности, на ошейникъ традуйи, платкомъ и попросилъ разбудить себя на зарѣ, чтобы успѣть напудриться, побриться и, отбывъ утромъ явку къ начальству, пуститься на поиски камеръ-фурьеровъ Крашенинникова и Рубановскаго. — «Доля проклятая, — гдѣ же ты? — ворчалъ онъ, раздвываясь — на дѣ моря, въ землѣ, или выше того?»

Утромъ Мирovichъ изъ первыхъ явился въ коллегію. Тамъ еще, сверхъ ожиданія, задержали долго. Тошпились приказные, гвардейскіе и армейскіе офицеры. Изъ заграничнаго втрада въ ночь прискакалъ новый курьеръ. Къ полудню приемная и лѣстница коллегіи гудѣли отъ говора разномастнаго люда, какъ улей. Бранная имперами и дерзко волоча насаки по ногамъ встрѣчныхъ и поперечныхъ, съ наглými казариенными ухватками, рѣчами и громкимъ смѣхомъ, прошая вождѣ за какимъ-то, блѣбрысымъ и куцымъ, голштинскимъ бригадиромъ, ново-испеченные гвардейскіе любимцы. Между мелкоскошкою мундирной братіей стали говорить шепотомъ, а потомъ и громче, что общія смутныя предсказанія сбылись: голштинцы торжествовали, и Волконскому въ пограничный корпусъ посылаюсь предписаніе — войти въ формальные переговоры о прекращеніи военныхъ дѣйствій съ принцемъ Бевернскимъ. О «пропозиціяхъ» Павлова не было и помина. На Мирovichа, сидѣвшаго въ углу на скамьѣ и поджимавшаго заштопанную колѣнку и плохо зашитый башмакъ, теперь ужъ никто не обращалъ и вниманія. Вчерашній, сердитый и надутый, какъ плѣтухъ, генералъ Бехлешовъ, выйдя съ озабоченнымъ и, казалось, невыспавшимся лицомъ въ приемную, замѣтилъ его и кивкомъ, пренебрежительно, подозвалъ къ себѣ. Пыхтя и разглядывая свои бѣлыя, маленькія ручки, онъ помолчалъ и

вдруг, взглянув на него в упор, напустился: «Где ты — Мирович? а? а? Мирович? ордонанс! Панина! А отчего у тебя, сударь, кафтан старого образца? Да и галстук — панильономъ, сиречь, бабочкой, не по формѣ, а по заняти Ордонансы! Балоуиники! кричалъ тогда мошкани, генералъ — развѣ вамъ не были посланы указы о новизнѣ мундиракъ? а? Воинвоуштествомъ вы только занимались танцъ, по театрамъ, по обѣдамъ, переправками, да дусергеанды дѣлали на ширупикахъ!.. Шалберники, роскошники, моты!»

— Не заслужилъ, не заслужилъ! — отбѣтилъ, вспыхнувъ и самъ не помня себя, Мировичъ: — подобный афронтъ офицеру... я... вы... вы...

— Здѣсь столица, самъ, государь, — а не ордеръ-де баталія!.. — крикнулъ еще запальчивѣе Бехлеповъ: — ступай, сударь, да берегись... слышь, говорю тебѣ, берегись! Любимчики штабные! ордонансы! А понадобится, за тобой приплютъ.

«Ахъ, ты ракалія! — подумалъ съ дрожью Мировичъ: — да что-жъ это? и за что? только что приѣхалъ, и вдругъ...»

Горло его схватила судорога. Онъ молча повернулся, спустился блѣдный съ лѣстницы и, стиснувъ зубы, уткнувъ слезы, негодовація, поѣхалъ домой, повторяя: «ну, родина! угостила съ первыхъ же разовъ»...

Бавыкиной онъ не засталъ дома. За нею пришли изъ какой-то лавки. Продавъ ее часъ другой, Мировичъ успокоился, припалъ въ себя. Онъ вспомнилъ объ академикѣ, освѣдомился о немъ у приставы и смѣшался. — «Такъ вотъ кто это!» — пробѣжало въ его мысляхъ. Онъ въ раздумьѣ поднялся по наружной лѣстницѣ флигеля. Академикъ былъ въ верхней, угольной комнатѣ, выходящей въ садъ.

Ломоносовъ стоялъ за простымъ круглымъ столомъ. Солнце ярко свѣтило въ окна. Онъ курилъ небольшую пѣнковую трубку и, нагнувшись надъ картой Сѣвернаго океана, чертилъ на ней предположенный имъ путь, въ обходъ Сибири, въ Китай и въ Индію. Теперь онъ былъ принаряженъ, — въ парикъ, безъ пудры, въ суконномъ, кирпичнаго цвѣта кафтанѣ, въ чистыхъ манжетахъ и въ бѣломъ шейномъ платкѣ. Въ креслѣ у камина, съ книжкой въ рукѣ, сидѣла блѣлая Леночка. Въ книжку она смотрѣла разсѣянно,

грудадой, склони за сѣрымъ лѣтникомъ, играющимъ съ ба-
А хромой, свѣра на долу...
— Вотъ и...! Господинъ офицеръ! — сказала съ улыбкой, поднятая
каблутъ, Ломоносовъ: — очень радъ... Садитесь, батюшка... Да-
— вѣта, ахъ, жена, порядкомъ смутила... Старъ сталъ, вѣдь, да и
ахъ, ахъ, эту зиму, ноги остудила, на смертной постели ле-
жать, ну, и не удержишься, иной разъ! Да и какъ удер-
жаться! Я, дожили вѣдь новую оду, а поговорить съ вами,
«бросить» вѣдь лечу и, кады естъ, всю-то ночь не спалъ.
Выѣхалъ сегодня въ академію, — ваши слова подтвержда-
ются, только и говорю вездѣ, что, о перемиріи... Совралъ
видно я, писавъ сгоряча на новый этотъ годъ:

Петра Великаго обратно
Встрѣчаетъ русская страна...
— Миръ! да лучше бы кнутомъ меня на площади били,
самого нѣмцемъ сѣдали, чѣмъ это слышать! — произнесъ
Ломоносовъ, бросая трубку на столъ и закашливаясь.

Краска залила его изъ-желта блѣдныя, въ суровыхъ мор-
щинахъ щеки. Желтизна проступила и въ затуманенныхъ
годами, большихъ, строгихъ и въѣтъ ласковыхъ глазахъ.
Леночка! — пивца бы намъ аглицкаго! — сказала онъ
дочери: — возьми у мамы ключи, да холодносыкаго, изъ за-
падня... душу отвести... ну, бутылочекъ, не больше...

Леночка нѣсколько разъ бѣгала въ западню.

Пиво развязало языки новыхъ знакомцевъ. Ломоносовъ
сталъ на картѣ объяснять Миrowsичу выгоды отъ придуман-
наго пути, мимо Сибири, тутъ въ Индію.

И все форфелитеры, все нѣмцы мыпляютъ, — сказали
онъ: — сегодня въ конференціи, вѣрите ли, чуть глотки въ
спорѣ съ ними не перерывали... Сколь злобы! Ничего, какъ
есть не подблещь съ толикимъ препятствіемъ, съ толикимъ
избыткомъ завистливой кривды и лжи...

— А что, Михайло Васильичъ, — спросилъ Миrowsичъ: —
да уступи намъ новый государь, Петръ Ѳедоровичъ, своему
другу, рѣшись, по мысли Панина, продолжать войну, — вѣдь
на вѣкъ бы нѣмцевъ мы урезонили.

Лицо Ломоносова омрачилось.

— Плохо, — сказалъ онъ, махнувъ рукой и подвигаясь съ
кресломъ къ камину: — и не приведи Богъ, какъ плохо.

— Что же-съ? Развѣ здоровьемъ слабъ государь? — спро-
силъ Миrowsичъ.

Ломоносовъ кивнулъ дочери, чтобъ ушла:

— Слушай, молодой человекъ, и суди! — начать онъ, помолчавъ: — о тебѣ много наслышались отъ своего стараго друга; да и приѣхать ты изъ такой далины... Вѣдь, отъ насъ, на свѣжую голову, неудобства нашихъ темныхъ, бурливыхъ дней, и скажи, по сердцу, свое мнѣніе. Чай, знаешь дѣла-то великаго Петра... Что въ Римѣ въ двѣсти лѣтъ, отъ первой пунической войны до Августа, жъ эти Сципіоны, — да Суллы, да Катоны сдѣлали, то онъ въ свою токмо жизнь; онъ одинъ въ Россіи совершилъ. Первые преэминенціи были куда не по немъ! Хотъ бы дворъ при царицѣ Аннѣ Ивановнѣ... — какъ бы тебѣ выразиться, — былъ на фасонъ нѣмецкаго, плохонькаго владѣтельнаго дворника. Но и тогда русскіе лучшіе люди верду, въ глубинѣ-то страны, еще по-русски жили и говорили. Царица въ оперу, въ оперу шла, шлафрокъ, ѣздила, Бироновыхъ дѣтей нянчила, курляндскимъ конюхамъ, да ловчимъ все правленіе въ оцѣнку отдавала. Да вѣдь эти-то Бироны, Остерманы и Миники, они все-таки были подданные русскіе, во имя Россіи дѣйствовали. И повальнаго, братъ, онѣмеченія еще у насъ въ тѣ поры не было... Правительница Анна Леопольдовна — слышала ли ты про нее и про ея тяжкую судьбу?

— Мало слышала... въ школѣ и на службѣ-съ было не до того... кое-что говорили...

— Ну, такъ скажу въ краткости и о ней... Она драма Аддисона, «Зайру» Вольтера любила декламировать и по три дня, простонравная безпечница, не чесалась... При ней зато нѣмцы нѣмцевъ ѣли и намъ оттого было не безъ приянства и пользы... А покойная государыня, божество мое, Лисаветъ-Петровна? Охъ! что грѣха таить! при ней! — не на твоей, разумеется, памяти, — все у насъ иноземнымъ, французскимъ стало, — обмѣчай, нравы, моды и языкъ... Но все-жъ, голубчикъ ты мой, хохликъ, — лучшіе русскіе люди, лучшіе умы и сердца ее окружали... Умѣла она ихъ выбирать и цѣнить... И я, російскій, природный поэтъ и витія, я — Ломоносовъ — не даромъ, слышь ты, по сердцу, отъ души ее воспѣвалъ...

— Помню ваши стихи, — съ чувствомъ перебилъ Миронъ: —

«Царей и царствъ земныхъ отрада»...

и другіе о ней же:

«Взвѣдешь нами двадцать лѣтъ»...

— Она смертную казнь отменила въ Россіи! — продолжалъ Ломоносовъ: — въ Москвѣ, по моей мысли, открыла университетъ; на родинѣ твоей, на Украинѣ, въ Батуринѣ, тоже, въ слѣдствіе моего проекта, открыла бы, если бы не померла, — и свято чтитъ, лебедь моя бѣлая, дѣла своего родителя, великаго и единого въ мірѣ моего героя, Петра...

— Однако, — замѣтилъ, подумавъ, Мировичъ: — то были женщины, — Екатерина, двѣ Анны, Елисавета, и почти подъ рилъ... Бабье царство, — говорили въ народѣ. Войску надобно быть подъ женскою управой... Теперь у насъ на тронѣ монархъ, и снова Петръ...

— Петръ, да не первый! — сказалъ Ломоносовъ: — не было и не будетъ такого другого. По примѣру дѣда-то великаго думаетъ онъ управлять? Далеко, другъ любезный! Дудки! Я самъ надѣлся... Оно, конечно... и Петръ, Второй, мальчѣночекъ, въ сенатѣ, торжественно общалъ, подобно Виспасыяну, править, никого не печалить... А что содѣялось потомъ? Я неотесанъ, я грубъ, и меня, дикаго пошора, сударь, — за непорядочные поступки и озорничество съ сѣдою обезьяной Винцгеймомъ, Таубертомъ и съ другими академическими нашими колбасниками, — подъ арестомъ при полиціи держали. Но, ѣздивъ еще съ отцомъ, на рыбацкѣмъ карбасѣ, по сѣверному ледяному морю, и привыкъ бороться съ злыми стихіями... Великая и грозная, сударь, природа студѣнаго надполярнаго океана воспитала меня... Я просто-свѣтскій, братъ, но не податливъ... И ничѣмъ ты не купишь недовольства и угрюмства обиженной и бунтующей моей души... Скажу тебѣ, юноша, правду... У насъ теперь нашествіе не русскихъ нѣмцевъ, а нѣмецкихъ, самыхъ сугубыхъ и лютыхъ... И нынѣ, братецъ, — прибавилъ вполголоса Ломоносовъ, склонясь къ Мировичу: — коли не найдется у насъ генія, чтобъ нами побитаго лувкава Фридриха водрузить въ прежнихъ умѣренныхъ предѣлахъ, то всю инфляцію нашу на европейскія дѣла у насъ исторгнуть. И будетъ нашъ великій канцлеръ, а мой давній благопріятель, Воронцовъ, министромъ токо не своего монарха, а того же, черезъ насъ вновь оживающаго, Фридриха. Шутка ли, въ военной коллегіи, въ конференціи, гдѣ Шереметевыхъ, Апраксиныхъ, Вестуевыхъ витаютъ имена, нынѣ компасомъ всѣхъ дѣлъ являются только-что при-

бывшій изъ Берлина, Фридриховъ посланникъ, Гомбургъ и дядя ея государь, командиръ его голштинскій принцъ Жоржъ.

— А что слышно о государственной сиротѣ, о Екатеринѣ Алексеевнѣ? — спросилъ Миронъ.

— Погоди, дойду и до нея... Такой грѣхъ, вѣдь на себя покойная императрица Елисаветъ-Петровна! Но особенно въ политическомъ и статскомъ резонансѣ, она, необъявленная въ бракѣ, записала себя въ преемники въ Голштиніи, своего предвора племянника, голштинскаго государя, Петра Федоровича, когда ему исполнилось уже четырнадцать лѣтъ... Помню, какъ привезъ его изъ Килии во дворецъ, тогдашній адъютантъ генералъ-полковникъ, баронъ Николай Андреевичъ Корфъ. Грустно было смотреть на этого ласковаго — и скажу — съ добрымъ сердцемъ юному. Худенькій, смуглый, блѣдный, въ рою притомъ, отъ случайныхъ обстоятельствъ, цепенный... чуть-чуть по-французски зналъ, но, представь — ни слова не говорилъ по-русски. Такого ли всадить было въ преемники къ российскому наслѣдію великаго Петра? Ученые его въ Голштиніи совсѣмъ было заброшено. Учителя-шведы, готовили его на стоко-гольмскій престолъ и воспитывали, разумеется, не только въ холодности, а даже въ презрѣніи къ даже русскимъ варварамъ. И таковы-то именно онъ явился, двадцать лѣтъ назадъ, въ Петербургъ... Говорю, добрый онъ, и къ наукамъ не безъ склонностей; кое-что и въ искусствѣ свѣдалъ: егеръ Бастіанъ выучилъ его въ Голштиніи на скрипкѣ играть... Но не повезло племяннику императрицы въ Россіи: чуть его доставили, бѣднѣе посылала оспа. Государыня-тетка полюбила его, жалѣла, сама первымъ русскимъ молитвамъ обучила. Потомъ обвиняли Петра Федоровича, и взялъ онъ за себя, — выборъ счастливый, — принцессу, разумную, обстоятельную, нравомъ женерданую, твердую и пылкую, сущій огонь... Ты спросилъ о Екатеринѣ Алексеевнѣ, какова?.. Да, другъ мой... Вотъ гдѣ сила воли, вотъ ума: на-лапа и всякихъ даровъ и качествъ пріятство!.. Да что! Развѣ, среди нахлынувшей, подобной заморской челяди, удержишь сердце свято? А Петра Федоровича окружили какими наперсниками! Изъ Килии ему цѣлое войско грубѣйшихъ голштинскихъ скотинъ вывезли. И начали его новые друзья, Цвейдери, да Штофели, да Калцау, отклонять отъ

и расушницы, и раба жены. Как общество охотъ прогнать
этихъ компаньоновъ: какъ раба, она, сибиряка утѣши съ
вертухой Лопухиной, съ дочкой первоначального жаліе
Финифанъ Барона, съ дѣвочкой Каррѣ охотъ книжной Итали-
ковой... Государыня-тетка увидѣла все жено, то охотъ ухъ
сбылось: поздравъ. Она даже хотѣла выслать дѣвочку охотъ
о-оо границу...

— Что въ? — спросилъ охотъ удивленіемъ Мировичъ —
охотъ охотъ, такъ охотъ разъ объявилъ охотъ послѣднимъ?
— охотъ Ломоносовъ посмотрѣлъ на него и вздохнулъ...

— Есть одинъ... бѣлъ, — сказалъ охотъ будто про себя —
охотъ судьба ему улыбалась, столько бѣло у его колыбели охи-
даній, надеждъ... На; шурпурной бархатной подушкѣ дѣла-
етъ охотъ народу показывали, чеканники съ его портретомъ
охотъ охотъ прислали ему, манифесты именомъ его издавали...
— Ничего русскихъ ему учителей, и; меня, никакого охотъ
охотъ той охотъ студента, душой пригласить...

— Что жъ охотъ? умеръ?

— Умеръ, или, върѣхъ живой похребомъ... Царствѣ-
ннѣй охотъ! и живъ, и животъ мертвъ...

— Какъ живъ? Какъ охотъ? Отчего жъ охотъ не пра-
вить? и дѣ охотъ?

— Не охотъ охотъ охотъ, голубчикъ ты мой, Василій
Яковичъ: — когда-нибудь въ другой разъ! А лучше и во-
все никогда.

Ломоносовъ задумался. Больные строгіе его глаза еще
больше затуманились. Изъ ввволнованной далеками воспо-
минаніями, широкой груди вырывался тревожный хрипъ.
Общее молчаніе длилось вѣскольго минутъ. Мамтикъ на
стѣ кабинетъ мирно тикалъ.

— А вотъ я вамъ, государь мой, — отвѣтилъ, вдругъ
рѣзко засмѣявшись, Ломоносовъ: — я вамъ, для увеселенія,
могъ бы прочесть сочиненій на жено, на Ломоносова,
здѣшними вѣмцами тупицами злой и преострый па-
лициль... На-дняхъ въ академія на мой столъ подбросили...
Да очень ужъ много чести... Гусевотъ Рвань порсячъ!..
Это любимая моя данная имъ клѣтка... Попрекаютъ, что я
мужикъ и что не прочь подъ часъ покомпанствовать... То
правда... Ругайте, пагледы, слабости, страсти непреодо-
лѣнныя. Ругайте и за то, что я — противъ нашествія язы-
ковъ, а смѣхъ, смѣху подобно, у вѣмцевъ учился и на вѣмцѣ

въ засѣданіи масонской логи въ Кенитсбергѣ, одинъ каноникъ:—она на распутіи между востокомъ и западомъ, тьмой и свѣтомъ, свободой и рабствомъ... Нужны великія жертвы, нужны смѣлые мужи добра, иначе уйдетъ она въ Азію, будетъ проклята Богомъ и людьми...»

— О чемъ говорено, чуръ, изъ избы смѣтя не выносите! — сказалъ въ заключеніе Ломоносовъ: — а къ Иберіи, къ Милліонную, къ бильярдъ поиграть и раслить ренового, шпрю ужъ не пойдѣмъ? Ну, ну... Настасья Филатовна не услышитъ. Да я, сударь, и шучу. Итъ и впрямую, мы на огнедышащемъ кратерѣ... Не правдивать, не застояныя цѣсни, видно, нынѣ пить. Смирненіе древнихъ и нестыль. Будемъ трезвости слугами, будемъ мудры... Такъ, въ соблазнительномъ ли ногой?

— Ни ногой, — отвѣтилъ, задумавшись, Мировичъ.

— Зарокъ?

— Зарокъ...

— Руки!

Новые знакомцы ударили по рукамъ.

На другой день Мировичъ молчкомъ пустился въ поиски указанныхъ Филатовной камеръ-фурьеровъ Краппениникова и Рубановскаго. Приглядывался онъ къ домамъ, къ улицамъ и площадямъ Петербурга, гдѣ мелькнули годы его ученія, и весь онъ теперь, послѣ чужихъ кравъ, показывался ему такимъ непріятнымъ, суровымъ и бѣднымъ.

Петербургъ въ 1762 году былъ все тотъ же, въ зимніе мѣсяцы — грязный, а въ лѣтніе — пыльный, малосвѣщенный, до крайности разбросанный и на двѣ трети бревенчатый, чуконоко-нѣмецкій городокъ. Жителей въ немъ тогда считалось съ небольшимъ сто тысячъ. Воды его были безъ набережныхъ, съ навозными плотинами и деревянными мостами, ухабы виной по улицамъ чуть не по поясъ человека. Въмѣсто улицъ, вдоль линіи Васильевского острова, шли, какъ въ Венеціи, каналы съ разводными мостами на перекресткахъ проспектовъ. Кучи навоза и всякой бронтеной дряни загромождали тротуары и углы перекрестковъ, валялись и, испуская вредныя испаренія, тлѣли на площадяхъ соръ, грязь и мертвечину съ улицъ и пустырей очинали колодки. Бездомныя одичалыя собаки, наводя страхъ на бѣгущихъ и копящихся, бродили стадами по городу, бѣснелись

и кусади людей. Отъ киндихъ, салфетъ и эластикъ анпронд, пласть не было прохода. Улицы, переходы, анпронд отъ киндихъ.

Поконивъ государя Императора Петра, въ болѣзняхъ которой (подъ конецъ чаще и чаще) страда грешная первая, ночь ея царствованія, страдала бессонницами. Она то ждала мѣныя свои окончанія. Въ девять часовъ вечера никто уже не смѣлъ ѣздить мимо окошъ въ временного, деревяннаго зинца дворца, бываго на Мойкѣ у Никитинскаго моста. Въ девять часовъ смыкались врата Петербургъ. Раздавался по городу только безконечный лай, прыжки и праздничествующихъ собакъ, да оклики, на свистъ наги, адмиралтейства и арміи, часовыхъ, которыми для безопасности, живой развѣ ставили и на перекресткахъ. Всѣ помнили еще недавнее время, когда петербургскія улицы, изъ-за поджигателей, грабителей, воровъ и всякихъ нежитребуемыхъ людей, на ночь наглухо закрывались рогатками, такъ какъ назначены для обхода по городу «престойныя партіи фузилеровъ и драгунъ» оказывались недостаточными. Еще въ присутствіи государя дѣло пародическаго благопріимчива шло ко-какъ. Во время же ея отъѣздовъ въ Москву, — а она тамъ жила по полуводу (бо-хѣ, — улицы Петербурга приходили въ окончательное запустѣніе и поросли травой. Городскія австеріи, гдѣ Петръ по праздникамъ любилъ чинно выпивать, среди матросовъ и шканперовъ, чарку тмной воды, обрабатывались въ широты буйства и дикаго разгуда.

Въ грязь по Петербургу не было прохода. Городскихъ извозчиковъ состояло въ то время весьма немногго. Петръ III завелъ съ нихъ сборъ по два рубля въ годъ и давалъ имъ особые кожанные арлыки. Люди средняго сословія въ тѣ поры болѣе ходили пѣшкомъ. Богатые и знатные, обобщенно гвардейскіе офицеры, ѣздили въ своихъ экипажахъ или верхомъ. Модные щеголи и щеголихи те-и-дѣло давали пѣшеходовъ. Разъ они чуть не до смерти смѣли фельдмаршала Миниха. Зато доставалось и барамъ: уличныя мальчишки, на Гороховой, Луговой (т.-е. Морской) и даже на Невскому, несмотря на объявленія полиціи, пускали бумажныхъ змѣевъ и тѣмъ пугали и бѣсили рѣзвыхъ вельможныхъ рысаковъ. Генералъ-полицеймейстеръ Корфъ, съ каковыми у его кареты адъютантами, не поспѣвалъ явиться туда, гдѣ оказывались беспорядки. Нерѣдко, среди бѣлаго

двухэтажные крыльца или флюгелы нового каменитого постройкой
земляного дворца, между неубранных входов и баракхъ, кабу-
шек и напалей, и всяких сараишниковъ, раздвигались от-
чаянные веренища поправшейся черноты «нараула! грабят!»
рыжухи...

Неровная чернота эта въ подолы покрывалась тулуп-
цами и шапками; стаскивъ щеголи; въ черныя бархатныхъ каф-
танкахъ, уложенныхъ панталонахъ и ботфортахъ выныже-
лись; либо въ розовыхъ и желтыхъ, пивконныхъ фраксахъ,
съ огромными воротами, а когда было холодно — съ
кубками и собольими муфтами. Щеголики, съ затинутыми,
вышедъ отъ, талачки, несли на головахъ интродуцированныя
прически, на манеръ рыцарскихъ шапковъ, цветочныхъ,
карандъ, китайскихъ бесѣдокъ и кораблей. Но и на этой
первостепенной улицѣ не обходилось безъ неприятностей.
У кофейной Мура или у магазина модъ госпожи Тондъ, же
обращая вниманія на разряженныхъ въ пухъ и прахъ
прихожихъ, лежалъ, растянувшись по тротуару, избитый
въ кровь и съ разорванными портами, мертвецки пьяный
матрессъ Верховой конногвардейцы, съ громкою бранью и
съ обезображенными отъ злобы лицомъ, у чьего-то дома,
стелаясь кистомъ чужого запудренного и важнаго кучера
зато, что тотъ не свернулъ раззолоченной, съ кожаными
занавѣсами, кареты, и тѣмъ поминать ему проскакать въ
дворку за какою-то умчалшейся красавицей.

Въ срединѣ великаго поста, въ 1762 г., пришелъ слухъ
о появленіи на Фонтанкѣ, въ деревнѣ Матисовскъ, близъ
нынѣшней Коломны, цѣлой пайки вооруженныхъ грабителей.
Петръ III. вышелъ изъ себя — «О-го-го! Tausend Teu-
fel!» — сказалъ онъ Корфу: — пора опять приняться за выш-
лихны! Дядя мой Петръ знаетъ это лучше всякаго изъ насъ...
Нашему: «approbatur, — Peter», и конечно, — увидите... о,
ja...» — Вислишцы, однако, не поставили. Безпорядки дви-
лись и къ нимъ привыкали, какъ къ чему-то, безъ чего
нельзя было обойтись и ужиться. На всякій уличный пере-
паломъ, какъ на театрѣ, въ сосѣднихъ домахъ подыма-
лись оконницы, и нарядныя дамы выглядывали оттуда,
спѣша съ любопытствомъ, изъ-за модныхъ вѣровъ, чѣмъ
кончится казусъ.

Частныя зданія на Невскомъ, со стороны адмиралтей-
ства, тогда назывались лишь отъ Полицейскаго моста. От-

сюда, вплоть до Аничкова, по правой и лѣвой сторонамъ проспекта, было немногимъ болѣе десятка домовъ, да и то на-половину деревянныхъ. Домовладѣльцы на главныхъ улицахъ были болѣею частью иностранцы или инородцы. У разѣздной площадки временного зимняго дворца, выходившаго на Мойку, на Невскій и Луговую, нынѣ Морскую, былъ домъ купца Дюбиссона, съ надписью на вывѣскѣ: «Продажа гамбургскихъ канареекъ и попугаевъ». Въ Кирпичномъ переулкѣ, наискось противъ нынѣшняго ресторана Дюссо, былъ домъ банкира Кнутсена. На углу Гороховой и Луговой — домъ красильщика Краузе; у Синяго моста — вывѣска шорника Матѣяса Зѣлкова. Немного далѣе, по Мойкѣ — цвѣточный магазинъ Вольфа, съ надписью: «Изящныя ананасныя планты». Еще далѣе, по Вознесенскому проспекту — дома: Пильхау, Раппе, Зушке, Хабасова и Клуга. У Вознесенскаго моста, на берегу Глухой рѣчки, нынѣ Екатерининскій каналъ — заведеніе «оконнаго мастера Берга.

Придворныя сады — Лѣтній, Итальянскаго дворца на Литейной, въ Екатерингофѣ и на цвѣточныхъ променадахъ Царицына Луга — были открыты для публики. Но въ нихъ не пускали матросовъ, ливрейныхъ лакеевъ, женщинъ съ платками на головахъ, мужчинъ въ сапогахъ, а не въ башмакахъ, и вообще, — какъ тогда говорили въ газетахъ и въ публикаціяхъ полиціи — «подлаго народа». — Требовались модныя и красивыя одежды. По указу императрицы Елисаветы, ставили клейма на фалды господъ, являвшихся ко двору въ старыхъ или вышедшихъ изъ моды «несообразныхъ кафтанахъ». Послѣ самой императрицы осталось пятнадцать тысячъ почти новыхъ платьевъ, нѣсколько тысячъ башмаковъ и два сундука чулокъ и лентъ. Между тѣмъ, мясныя, зеленныя и рыбныя лавки, кабаки и постоянныя дворы невозбранно распространяли запахъ грязи и всякаго сора, валявшихся въ нихъ и возлѣ нихъ. Утонченная Европа и дикая, неумытая Азія — уживались рядомъ другъ съ другомъ.

Болотныя лихорадки, поварьныя горячки, оспа, скарлатина и корь не покидали Петербурга. Врачей въ то время было мало, и тѣ брали непомѣрно дорого. Модные врачи, Монсій и Фузэдѣ, брали, не стѣсняясь, по пятнадцати червонцевъ за визитъ. Обученіе дѣтей сплошь было въ рукахъ невообразимыхъ проходимцевъ. Нѣкая иностранная фамилія

«шляхетнаго и честнаго рода» печатала о себѣ въ тогдашнихъ газетахъ, что она «учитъ дѣвицъ, по понятію каждой, языкамъ, шитью, экономіи, танцамъ, а притомъ и чтенію въдомостей». Другая, иностранная же особа, а именно, — г-жа Ренуардъ (адресъ: Милліонная, въ домѣ портнаго Энка) публиковала, что обучаетъ дѣвицъ языкамъ, ариметикѣ, географіи, исторіи — «а также и писать». Въ казенные и домашніе учителя нерѣдко попадали забираемые по понедѣльникамъ со свѣзжей улицы «шататели» и «пьянчужки», замѣшанные иногда въ дебошахъ, кончавшихся смертоубійствомъ.

Благородныя дѣвицы перенимали другъ у друга тайны, какъ загибать получше тали, какъ дѣлать реверансы и накланывать на лицо мушки. Въ косметическихъ лавкахъ продавались особыя, красивыя коробочки съ черными мушками. При наймѣ женской прислуги спрашивали тогда: «на хояйскихъ ли румянахъ и бѣлилахъ?». Знатные и богатые люди заботились о составленіи бібліотекъ изъ французскихъ книгъ, въ которыя, впрочемъ, немногіе изъ нихъ заглядывали. Мужчины учились у мужчинъ, какъ надѣть круглую вощанковую, или трѣхъ-угольную пуховую шляпу; какъ открыть табакерку; оправлять на манжетахъ амансоны и пуантешпаны, нюхать табакъ и вынимать и встряхивать цвѣтной, пропитанный духами а la Reine, фулярный платокъ. Парикмахеры на Морской и на Невскомъ звалили булки и заплетали и пудрили косы русскимъ петиметрамъ, назначавшимъ другъ другу вечернія свиданія въ невышедшемъ еще изъ моды, со временъ Лестока, трактирѣ савояра Берляра и Иберкампа, въ гербергахъ, погребахъ Гантовера, Ретса и въ вольныхъ домахъ, австеріяхъ Винклерши, Шмидши, Кохши и другихъ.

Государыня Елисавета Петровна ѣздила запросто на вечеринки къ вельможамъ, кутая своею муфтой и платкомъ руки и горло провожавшему ее графу-мужу Алексію Григорьевичу Разумовскому, подъ письмами къ которому она въ шутку подписывалась: «вашъ первый дишкантистъ». У постели же ея, по простотѣ, со временъ еще ея дѣвчества, на разостланномъ тюфячкѣ, для охраны ея, спалъ на полу старичекъ, любимый ея камердинеръ, впоследствии генераль-аншефъ Василій Ивановичъ Чулковъ. Государыня, вставая иной разъ ранѣе его, будила вѣрнаго слугу, а онъ трепалъ

ее по плечу, зѣвая и ворча: «Ну-ну, лебедка моя! ужъ ты и встала». — Другъ Елисаветы, Мавра Егоровна Шувалова, урожденная Шепелѣва, писала къ ней: «ваша раба и дочь, и холопка, и кузина», а мужа Шуваловой Алексѣй Разумовскій, подгулявъ на охотѣ, билъ батогами.

Ко двору Елисаветы Петровны, для ловли въ ея апарта-ментахъ мышей, особыми указами выписывались изъ Казани умѣлые и «пристойнаго вида» сибирскіе коты, а изъ-за границы мартышки «столь малыя, чтобы входили въ индѣйскій кокосовый орѣхъ». Костромская помѣщица, Анна Ватазина, письменно предлагала государынѣ, коли произведутъ ея мужа въ коллежскіе ассессоры, поднести въ даръ четырехъ собакъ: Еполита, Женѣту, Маркиза и Жулію. Въ молодости Елисавета, цесаревной, писала нѣжные мадригалы:

«Я не въ своей мѣчѣ огонь утушить,
Сердцемъ болѣю, да чѣмъ пособить?»

При Елисаветѣ, по улицамъ было видно болѣе мирныхъ статскихъ. При Петрѣ III, Петербургъ сталъ наполняться разнокалиберными и дравшими носъ военными.

На дворцовомъ плацу, чуть не ежедневно, производились шумные — съ криками вивать, маршировками и всякими муштрованіями — вахтпарады. По улицамъ озабоченно и торопливо скакали адъютанты, сновали лѣшіе и коңные вѣстовые. Петровскіе, широкіе и длинныя кафтаны гвардіи и арміи замѣнились куцыми и узкими мундирами, на манеръ прусскихъ. Исконный зеленый цвѣтъ кафтановъ и красный — воротниковъ и камзоловъ разрѣшено замѣнять, по произволу командировъ полковъ, оранжевымъ, голубымъ, лиловымъ, канареечнаго цвѣта и всякимъ. Петръ III ввелъ еще аксельбанты и эспантоны, трости у офицеровъ и урядниковъ. Онъ же отмѣнилъ ношеніе на вахтпарады, за ка-прадами и унтеръ-офицерами, слугами ихъ, ружей и алебардъ.

Въ началѣ великаго поста, Петръ Ѳеодоровичъ издалъ повелѣніе: всѣмъ сановникамъ и вельможамъ, носившимъ титулы командировъ взводовъ, баталіоновъ и полковъ, быть неотлучно на ученьяхъ, во главѣ своихъ частей. Это приказаніе привело всѣхъ въ неописанный конфузъ. Публика съ изумленіемъ увидѣла, по улицамъ, марширующихъ по шиколку въ грязи, передъ своими батальонами и взводами, генералъ-фельдмаршаловъ: графовъ Александра Ивановича

Шувалова и извѣженнаго сибарита и сластуна Алексѣя Разумовскаго, дядю государя—принца Жоржа и больного одышкой, въ бархатныхъ штіблетахъ на опухшихъ, подагрическихъ ногахъ, князя Никиту Юрьича Трубецкаго. Гетманъ Разумовскій даже нанялъ особаго голштинскаго офицера для уроковъ новой муштровки. Придворные и статскіе чины были не менѣе озадачены. Парикмахера своего Врессана государь назначилъ въ директоры фабрики гобеленей и произвелъ въ камергеры; ямщика же, какого-то Патрикѣва, въ титулярные совѣтники.

Передъ пасхой Петръ III писалъ къ своему другу королю Фридриху, что, не остерегаясь ничего и никого, онъ предастъ себя на волю Бога и въ охрану своему народу, и безъ провожатыхъ по Петербургу ходить пѣшкомъ.

IV.

Дрезденша.

У Вознесенскаго моста стоялъ обветшалый и огромный, съ кучею амбаровъ, конюшенъ и покосившихся флигелей, деревянный, съ поросшей мхомъ кровлей, домъ царевича Леона Грузинскаго. Черезъ переулочекъ за нимъ былъ такой же старый домъ камеръ-фурьера Рубановскаго. Сюда, послѣ неудачной справки у Крашенинникова, подъ вечеръ, подошелъ Мирѳвичъ.

Его озадачили крики и пѣсни пьяной черни, вырывавшіеся изъ грязнаго темнаго кабака, на углу этого дома, рядомъ съ вонючею рыбною лавкой. Онъ поднялъ глаза — на сосѣднемъ балконѣ, выходившемъ на проспектъ, были вывѣшены, для провѣтриванія, какія-то шубейки, подушки и дѣтское бѣлье. Убитая кошка валялась среди улицы.

«Нѣтъ, Кенигсбергъ не въ примѣръ лучше и чище Петербурга: тамъ аккуратнѣе и такого неряшества не позволять!» — подумалъ Мирѳвичъ, съ трудомъ перейдя черезъ растаявшую обширную лужу, у спуска съ Вознесенскаго моста. Онъ вошелъ къ Рубановскому. Ему сказали, что Василій Кириллычъ хотя и у себя, но послѣ обѣда передъ всеношной почиваетъ, а потому, если ему есть надобность, — не угодно ли подождать

Дѣлать нечего. Сталъ дожидаться Мирѳвичъ въ кабинетѣ. Онъ усалъ за день въ ходьбѣ по городу и сильно престо-

лодался. Комната, куда его ввели, была маленькая, душная. Пахло ладаномъ и къ тому какъ бы пригорѣлымъ, постнымъ масломъ. Со стѣны глядѣлъ портретъ какого-то толстаго, крупноносаго протоіерея. Въ пальцахъ у окна стояло неконченное женское шитье по бархату. На столѣ у диванчика лежало нѣсколько тощихъ и сѣрыхъ тетрадокъ, въ четвертку, тогдашнихъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», двѣ-три книжечки академическихъ «Ежемѣсячныхъ Сочиненій», колода старыхъ игральныхъ картъ и въ кожаномъ, закапанномъ воскомъ переплетѣ, объемистая книга «Камень вѣры».

«Ну-ка, что пишутъ о нашихъ дѣлахъ съ пруссаками?— подумалъ Мирovichъ, — какъ дѣлать наши побѣды и что случилось новаго послѣ меня?» — Онъ сталъ просматривать «С.-Петербургскія Вѣдомости».

Новости этой газеты сильно опаздывали. Въ номерѣ отъ 1 марта, вѣсти изъ Парижа были отъ 1 февраля, изъ «Гиппаніи» отъ 18 января. Гдѣ-то была даже просто оговорка отъ редакціи: «Иностранная газета не бывали». О дѣлахъ Россіи съ Пруссіей ни слова.

«Ну, нашихъ газетировъ, — злобно усмѣхнулся Мирovichъ, — нѣмцы не будутъ сѣчь на Невскомъ, коли когда-нибудь возьмутъ Петербургъ!»

Онъ началъ перелистывать литературный журналъ «Ежемѣсячныя Сочиненія». Въ одной книжкѣ было длинное разсужденіе о кубовой краскѣ, въ другой — о строеніи погребовъ. Въ номерѣ за январь была статья изъ англійскаго «Спектатора»: «Разговоръ между любовью и разумомъ». Мирovichъ, отъ нечего дѣлать, сталъ ее перелистывать.

Разумъ.—Весьма бы трудно было, любезная сестрица, сойтись намъ съ вами.—*Любовь.*—Не вижу я благоразумія въ бракахъ, сдѣланныхъ только для одной корысти... Когда я возжигаю любовь, то возвышаю низкое состояніе до знатности, или повергаю высокое по подлости... Кто много разсуждаетъ — тотъ худо любить, а кто горячо любить — тотъ мало разсуждаетъ...

Мирovichъ закрылъ книгу, вздохнулъ и задумался. — «Это вѣрно!—утвердительно сказалъ онъ себѣ:—кто горячо любить, тотъ не разсуждаетъ».

На дворѣ, между тѣмъ, стало темнѣть. Ызда по улицамъ затихла. Въ сосѣдней комнатѣ чирикали стѣнные часы. Сверчокъ трещалъ вблизи за сундукомъ. Тяжелая, темная

лампада теплилась въ углу, у кіота. Мирѡвичъ взглянулъ на иконы. — «Я былъ во тьмѣ, — подумалъ онъ, — и увидѣлъ свѣтъ... Да, я его увидѣлъ... Съ остриемъ шага у груди, меня ввели въ засѣданіе франмасоновъ... И я клялся быть совершеннымъ и справедливымъ. Я обновился, — иной становлюсь теперь человекъ. Болѣе не злиться, не проклинать. Всепрошеніе, вѣра въ людей и любовь къ нимъ, высокая любовь... Но кого я люблю болѣе всего? Поликсену... Да гдѣ же она? Ея нѣтъ... и неужели я никогда, никогда болѣе ея не увижу?»

За дверь, въ прихожей, раздался удушливый, старческій капсель. Шлепая туфлями, въ комнату вошелъ, въ халатѣ на мерлушкахъ, сгорбленный, сонный, худой и съ крючковатымъ носомъ старикъ. То былъ Рубановскій.

— Авдѣнціи у государя ищите? просьбица есть? — спросилъ камеръ-фурьеръ, скрипя табакеркой и изъ-подъ кустоватыхъ бровей подозрительно шурясь на гостя.

Мирѡвичъ объяснилъ, зачѣмъ пришелъ.

— Бабы интрижки, сударь, кхе! смѣхи да волокитство! — продолжалъ Рубановскій, сердито тряся головой: — не по нашей части... гм!.. пустобрѣшество одно! просимъ извинить... кхе-кхе! Часъ, въ онъ-же ко всенощной добрые люди, а вы...

— Василій Кирилъчъ, помилуйте! — заговорилъ, хмурясь, Мирѡвичъ: — къ вамъ пришли, на васъ только и надежда. Вамъ однимъ можно знать, куда отъ двора отѣхала дѣвица Пчёлкина... а вы...

— Не шаматѡнъ я гвардейскій и не шаркунъ! и любовными дуростями, сударикъ, не занимаюсь, вотъ чтѡ-съ! — свирѣпо набивая носъ, отрѣзалъ Рубановскій: — да коли бы и зналъ, то-бъ не сказалъ. У меня, сударь, дѣти, дочки.. А мало ли, не въ проносъ слово, не въ обиду сказать, нонѣ всякихъ шалбѣрниковъ, совратителей дѣвицъ?

— Но я... Василій Кирилъчъ, развѣ изъ такихъ! — возвысилъ голосъ Мирѡвичъ: — и притомъ, какъ вы можете? это, наконецъ, обидно... афронтъ...

— Да не о тебѣ, батюшка, не о тебѣ... Чтѡ вскинулся! Экъ, испугалъ! Нечего пугать! Сами не изъ робкихъ... А чтѡ до твоей сударушки, такъ я и посещу часъ несвѣдомъ, гдѣ она, да — кольми паче — и знать мнѣ, слышишь, по моему рангу, не для чего... Дорожка, сударь, скатертью! дорожка! —

склонивъ голову и сердито топчась на мѣстѣ, отвѣтилъ Рубановскій: — просимъ извинить и не осудить... да-съ, не осудить...

Бѣшенство проняло Мирovichа. Иголки заходили у него въ рукахъ. Не помня себя отъ ряда неудачъ и гнѣва, онъ вышелъ на улицу. — «Будь не старикъ, да не у себя въ домѣ,—сказалъ онъ себѣ, сжавъ кулаки:—я-бъ тебѣ, пюстнику, показать!» — Голова Мирovichа кружилась. Горло подергивали судороги. Съ трудомъ дыша, онъ, какъ пьяный, шатаясь, прошелъ нѣсколько шаговъ. На улицѣ кое-гдѣ тускло зажигались фонари.

«Куда же теперь?—злобно спросилъ онъ себя:—или идти къ государеву секретарю Волкову, добиться приѣма и просить, за воинскія мои старанія и услуги, о розысканіи во что бы то ни стало дѣвицы Пчѣлкиной? Ха-ха!.. Безуміе! За воинскія заслуги! Какія онѣ? Развѣ къ Разумовскому? Но онъ, послѣ моей стычки съ Юсуповымъ, совсѣмъ отъ меня отказался. Писалъ я ему съ походовъ не одну цидулку; онъ и не откликнулся... Неужели-жъ опять за границу, въ Кѣнигсбергъ, когда армія и безъ того вотъ-вотъ повернется оглобля въ Россію?.. Есть, кажется, выходъ, и простой,—да подлые, малодушные люди! все ихъ танеть въ водоворотъ, въ суету, — уѣхать бы на Украину, къ другу Якову Евстафьючу, или въ Кіевъ, выйти въ отставку, на тихомъ хуторѣ поселиться, въ раю...

За спиной его послышался окликъ. Его назвали по имени. Онъ оглянулся.

У Вознесенскаго моста стоялъ добродушный, невысокаго роста, круглый, съ краснымъ, въ веснушкахъ, лицомъ и съ манерами безпечнаго кутилы и шеголя, нѣсколько навеселѣ, лѣтъ тридцати-двухъ-трехъ, пѣхотный офицеръ. То былъ дѣлившій съ Мирovichемъ часть заграничнаго похода, его знакомый, поручикъ великолуцкаго армейскаго полка, Аполлонъ Ильичъ Ушаковъ. Онъ мѣсяцемъ раньше Мирovichа былъ присланъ, по фуражнымъ дѣламъ, изъ арміи въ Петербургъ, гдѣ и остался. Племянникъ знаменитаго Андрея Ивановича Ушакова, грозы розыскной экспедиціи прежнихъ лѣтъ, онъ давно промоталъ отцовское состояніе и жилъ аферами, дружбой съ повѣсами и мотами всевозможныхъ слоевъ и неизмѣннымъ посѣщеніемъ трактировъ, харчевень

и кофейныхъ домовъ. При деньгахъ онъ былъ веселъ и смѣлъ; безъ денегъ—тряпка-тряпкой.

— Камими судьбами? вотъ не ожидалъ! — воскликнулъ оперившійся въ Петербургъ и бывший въ эту минуту, точно на крыльяхъ, Ушаковъ!

— По службѣ; какъ и ты, разумѣется, съ порученіемъ! — отвѣтилъ, отвернувшись отъ него, Мирovichъ.

— Ну, и гутъ, хохландія; значить, запылимъ! Хочешь, пойдемъ, сокрушимъ по маленькой? Финансы въ авантажъ... Откуда въ сей моментъ?

Мирovichъ указалъ назадъ, за церковь.

— Отъ Дрезденши?—спросилъ, не спуская съ него веселыхъ, на выкатъ смѣющихся глазъ, Ушаковъ.

— Отъ какой Дрезденши?

— Такъ ты Дрезденши не знаешь? шрёклихъ!.. вотъ невинность, недоросль изъ Чухломы...

Мирovichъ былъ не радъ этой встрѣчѣ и нетерпѣливо поглядывалъ въ ближайшій переулокъ.

— Голоденъ?—спросилъ, будто что-то вспомнивъ, Ушаковъ: — желаешь кстати и черепочекъ раздавить? желаешь, такъ угощу и разскажу...

— Кошелекъ забылъ, — отвѣтилъ Мирovichъ.

— Экъ, дура, дура, дѣвка Тимофѣевна! — насмѣшливо сказалъ, обыкновенно уступавшій и благоговѣвшій передъ сдержаннымъ Мирovichемъ, Ушаковъ: — а еще офицеръ прозывается! — Срамъ и всему воинству обидно... *Parole d'honneur*... Не масонство-ли воспрещаетъ?.. Такъ и я, смѣю доложить, съ этого мѣсяца масонъ, хоть и не принадлежу къ вашему *lata observantia*... Дрезденши не знаютъ! Пойдемъ же; на угощенье товарища и у насъ хватитъ казны... Вонъ Дрезденша!..

И онъ, обернувшись, подмигнувъ съ набережной на красный фонарь особаго подъязда въ домъ князя Леона Грузинскаго, неосвѣщенная часть оконъ котораго глядѣла на Вознесенскій проспектъ, а другая, въ веселыхъ огонькахъ, была обращена на берегъ Глухой рѣки (нынѣ Екатерининскій каналъ).

— Дрезденша, рыцарь ты мой, она же и Фелькнерша, это вотъ что! и ты сію комедіантскую фабулу послушай! — лихо выпрямившись, сказалъ Ушаковъ, замедляя у крас-

наго фонаря:—жила она при покойной государынѣ не здѣсь, а подалѣе, въ домѣ Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго. Не повезло только ей тогда. Спознала государыня Елисаветъ-Петровна добронравная, что въ вольный домъ, въ австерію, къ Дрезденшѣ, множество статскихъ и чуть не вся гвардія ѣздить, не токмо на бильярдѣ, али въ кегли забавляться, но и ради чего иного. Была тутъ другая, Василій Яковличъ, приманка: аки-бы для музыки и въ услуженіе мужеска пола посѣтителей, было у нея не мало иноземныхъ и здѣшнихъ дѣвицъ, да все, душечка, ахтителныя красавицы... На бандорахъ, гитаркахъ играли, пѣли и плясали... Окромя-же того, на вечеринки къ Дрезденшѣ, съ другого хода, стали ѣздить, надо тебѣ тоже сказать, не одни мужчины, а и барыни-модницы, на свиданіе съ милъ-дружками, въ тайности отъ своихъ мужей. Ну, королевичъ ты мой, ревнивые глаза анъ видять еще подальше орлиныхъ!.. Донесли о томъ государынѣ. А Елисаветъ-Петровна, самъ ты знаешь, какъ любила такія явныя дурусти, да шаматѣнства...

— Что-жъ она?—спросилъ Мирѡвичъ.

— Отдала престрогій приказъ... И вся сія потайная и противная аки-бы добрымъ нравамъ торговлишка кончилась, братецъ ты мой, плохо, не токмо для Дрезденши, а и для другихъ. Съ нею пострадала и всѣмъ любезная Амбахарша, ея землячка, въ Конюшенной, и шведская поручица Делегринша, на Литейной. Но паче всѣхъ скопъ лютости упалъ на Дрезденшу!.. Ее выслали за границу, а всѣхъ ея соблазнительницъ земфиръ, безъ жалости, отправили на прядильный дворъ, въ Калинкину деревню. Кабинетъ-министръ Демидовъ производилъ тогда слѣдствіе, и многіе важные модники и барыни-щеголихи сильно притомъ поплатились. По именному повелѣнію государыни, астронома Попова, да асессора мануфактуръ-коллегии Ладыгина отлучили отъ церкви, а потомъ повѣнчали въ соборной казанской церкви, да съ такими красавицами, что тѣ молодчики и не спохватились...

— Не слыхалъ я про то,—сказалъ Мирѡвичъ.

— Гдѣ тебѣ слышать! Ты тогда еще въ бабки игралъ. Да не только посѣтители, — офицеры, поставленные на часахъ у заключенныхъ на прядильномъ дворѣ дѣвицъ, — и тѣ не устояли противъ лукаваго, ударились въ волокитство на караулъ, захотѣли бандоръ да гитарокъ послушать, пѣсенкой

побаловаться, и за то подверглись также немалому афронту и несчастью... Такъ вотъ тебѣ, сударь, кто Дрезденша...

— Но изъ-за чего-жъ, изъ-за чего?—вдругъ уцѣпился Мирovichъ:—не можетъ быть, чтобъ даромъ все это... мало-ли, куда выѣзжала гвардія ходила и ходитъ... Кому какое дѣло?

— Правду ты сказалъ, Василій! всегда справедливъ и прозорливъ!—пріятно удивясь, отвѣтилъ Ушаковъ:—были и другіе резоны... Искали, не хаживалъ ли къ этимъ восхитительницамъ близкій въ то время къ другой особѣ повыше—Бутурлинъ... Ну, помощница Дрезденши, Лизута Черная, подъ кошками и покачалась...

Мирovichъ вздрогнулъ.

— Подъ кошками?

— Да...

— Экое варварство...

Пріятели помолчали.

— Но ты, Аполлонъ,—спросилъ Мирovichъ:—ты сказалъ, что Дрезденша была выслана за границу?

— Да, была выслана, при покойной царицѣ. А какъ только на престолъ взошелъ нынѣ нами владѣющій государь-императоръ, такъ эта Дрезденша,—а за нею и другія ея землячки,—вновь, и еще съ болѣею бомбардирской, проявились здѣсь, сѣли себѣ попрежнему—и вотъ она первая... любуйся!

— Не пойду, — сказалъ Мирovichъ: — Боже Господи! кошки...

— Э, полно! то было вонъ когда! вздоръ! пойдемъ. Теперь тутъ благороднѣе, вальяжнѣе, чище. И Дрезденша состарѣлась, и нравы смягчились. Внизу закуски и бильярдъ,—скажемъ: здравствуйте стакашки, канашки, каково поживали, насъ поминали? — а наверху, Василій, карты, бываетъ музыка и всякій тебѣ горе-отгонительный кушлетъ увидишь...

Вздохнулъ голодный, раздосадованный неудачами Мирovichъ и противъ желанія вошелъ за Ушаковымъ въ нижнее отдѣленіе ресторана Дрезденши.

Ему было не по себѣ. Онъ чуть не вслухъ бранился. «Тыфу ты, малодушіе, подлосты!—ворчалъ онъ и язвительно улыбался:—что сказала бы Филатовна и какъ посудило бы начальство, если бъ увидѣли меня здѣсь?»

Первое, впрочемъ, что бросилось ему въ глаза, при входѣ въ освѣщенную восковыми свѣчами, прокурѣнную кнастеромъ и полную шума и говора, нижнюю залу, было лицо сердитаго и важнаго генерала Бехлешова, такъ распекавшаго его тѣмъ утромъ за галстукъ и вообще за не въ порядкѣ оказавшійся его нарядъ. Надутый, суровый видъ генерала исчезъ. Онъ, съ растегнутымъ камзоломъ и съ веселымъ, безпечно-ухмылявшимся лицомъ, сидя въ углу, допивалъ четвертый, съ гданской водкой, пуншъ и, то-и-дѣло отирая лобъ и бѣлыя, полныя щеки, жадно слѣдилъ за бильярдною игрой. Не успѣлъ Мирovichъ съ Ушаковымъ потребовать въ сосѣднюю комнату подбаво, съ сигомъ и севрюжѣй головою, пирога, не успѣлъ онъ «раздавить» съ нимъ по маленькой, а потомъ и по большой,—въ залу вошелъ, за полчаса такъ удивившій его строгимъ нравомъ, сосѣдъ Дрезденши, Рубановскій. Охранитель чести дѣвицъ, усердный молитвенникъ и постникъ, вынулъ пѣнковую, съ витымъ чубукомъ, трубочку, потребовалъ и себѣ здоровенный стаканъ пуншу и также усялся къ сторонѣ глядѣть на бильярдныхъ игроковъ.

«О, люди! — съ тайнымъ негодованіемъ подумалъ Мирovichъ,—просителя считаютъ за собаку, изреченія какія отпускаютъ. Сами же... А будь деньги, будь богатъ...»

Онъ, злобно передернувшись, громко разсмѣялся.

— Что ты?—спросилъ, обведя его глазами, Ушаковъ.

— Такъ, мерзости, братъ... Подлецовъ, ухъ, да какъ же много нынче на свѣтѣ развелось. Тѣсно отъ нихъ.

Проговоривъ это, Мирovichъ опять рѣзко, отрывисто захохоталъ.

— А ты знаешь настоящее средство отъ всякихъ, то-есть, наводженій?—спросилъ Ушаковъ.

— Какое?

— Выпьемъ, Василій Яковличъ, сотворимъ во благо еще... Или вашъ Obidienz-und-Unterfügungsact мѣшаетъ тому? Вадоръ... Жизнь, милый, вотъ какъ коротка и скучна... Да и родила насъ мама, что не принимаетъ и яма... Что хмуришься? Аль подрядился на собакъ сѣно косить?.. Эй, малый, еще бутылочку рижскаго!

Подали пива, и опять подали. Изъ дальнихъ комнатъ доносились звуки музыки.

— Кутятъ гвардейцы,—произнесъ Ушаковъ.

— Дьяволы, анаэемы!—опять, точно сорвавшись, сказалъ Мирѡвичъ.

— Да о комъ ты это, Расскажи?—спросилъ, уставясь на него, Ушаковъ.

Мирѡвичъ вздохнулъ. Въ его черныхъ, безъ блеска, сердитыхъ глазахъ начиналъ свѣтиться дикій, блуждающій огонекъ.

— Изъ-за чего такіа несправедливости? Ну, изъ-за чего?—произнесъ онъ, посмотрѣвъ куда-то въ воздухъ:—вѣришь ли, фу—какая тоска!

— Какія несправедливости?

— Да какъ же, посуди. Ну, какъ могъ человѣкъ, по контракту съ обществомъ и государствомъ, передать другимъ то, на что самъ не имѣетъ права,—располагать своею свободою, совѣстью, жизнью?

— Фю-фю!—засвисталъ, что-то смутно, лѣниво припоминая, Ушаковъ:—ты это по Мартинёцу? Опоздалъ! Не знаю, братъ, этихъ вашихъ новыхъ откровеній; хоть и слышалъ о вашей ложѣ, ничего особаго въ ней нѣтъ... А вотъ въ «Трехъ глобусахъ», такъ согласись...

— Drei Weltkugeln, или ложа св. Іоанна,—это все едино, глупецъ!—презрительно и грубо перебилъ Мирѡвичъ:—горе въ томъ, что всѣ въ темнотѣ, всѣ смотрятъ врозь. А сколько силой воли одного человѣка можно сдѣлать!..

— Да опять-таки ты не о томъ, ахъ, опять не туда,—отвѣтилъ, не обижаясь и весело замахавъ руками, замѣтно хмелѣвшій Ушаковъ:—я бы тебѣ все изложилъ, все... все... Только, канальство, надо бы вотъ зайти... Ну, да, слушай... ты вотъ куда взгляни, это чѣмъ пахнетъ? — сказалъ онъ, разставивъ передъ собой ладони:—слышалъ ты, какую силу забираютъ нѣмцы? Вездѣ, братъ, ползутъ, вездѣ, да не простые, самые патентованные; изъ Килия... Командиры полковъ назначены сплошь гоштинцы: коннаго—Цобельтиншъ, инфантеріи—Цеге-фонъ-Мантейфель... Крюгеръ, Одельрогъ, Кеттенбургъ, да Вейссъ, а въ кавалеріи—Лѣвень, Лотцовъ, Шильдъ и дядюшка государевъ, новый генералъ-фельдмаршалъ, принцъ Жоржъ... Имена полковъ тоже измѣнены... Нарвскій твой уже не нарвскій, а Эссена; смоленскій, что въ Шлиссельбургѣ стоитъ, Фулertonовымъ прозывается... Иного колбасника-собаку даже не выговоришь, цѣпляется языкъ... А все-таки, ну вонъ, что хочешь, а я государя

люблю... Добрякъ онъ, веселый, откровенный и ужъ простота... Видѣлъ ты его? И глаза у него такіе добрыя, а хохочетъ, заливается, точно школьникъ... Одно—любить не наши поговорки... Я на вахтъ-парадѣ намеренъ его слышать... Душа человѣка! Скажи, въ огонь и въ воду пойду за него... Да ты, Василій, можетъ, катериновець?.. Признаться!.. Царѣва жена подбираетъ, слыхомъ-слыхать, партію, да какую... И у Дрезденши, скажу по секрету, здѣсь иной разъ собирается главный ихъ притонъ. Давеча, какъ смеркалось, пятеро санокъ, должно, сюда съ медвѣжьей травли катили. Чтò имъ дѣлать! Кружатъ веселыя головушки, негдѣ удали дѣты!

— Катериновець! Петровецъ! — съ дрожью въ голосѣ, злобно воскликнулъ, обыкновенно сильно, мертвенно-блѣднѣвшій отъ возліаній, Мирѡвичъ:—экъ разнесло ихъ! ха-ха! Тоже о партіонныхъ кличкахъ толкуютъ... Англія, что-ли, здѣсь, или французскіе парламенты? Плевать я хотѣлъ на клички, плевать! дуракъ! Гляди вотъ куда... Читалъ ты господина Руссо? читалъ его «Contrat social»? Ну, чтò тамъ сказано о правахъ человѣчества! Понялъ теперь о правахъ? То-то же. И если что по-правдѣ плохо у насъ, такъ это, что нашего брата, мелку сошку, вездѣ нынче считаютъ за ничто... собаками, какъ есть собаками... Ни нажиться, ни произойти въ чины...

Въ это время изъ бильярдной комнаты раздался взрывъ дружнаго и громкаго хохота. Перекаты его черезъ минуту возобновились.

Въ раскрытую дверь было видно, какъ молодцоватый и лихой, лѣтъ двадцати-семи-восьми, въ подбитомъ соболями кафтанѣ, огромнаго роста, съ римскимъ носомъ и замѣчательно-красивый артиллеристъ-гвардеецъ, обыгравъ старичка-маркера, съ кіемъ въ одной рукѣ и съ голландской трубкой въ другой, слегка перегнувшись и разставивъ обутыя въ дорожные ботфорты ноги, повторялъ: «пуць-пуць-пуць», и до слезъ хохоталъ среди комнаты. А тучный, съ кривыми ногами и желтымъ, отекившимъ лицомъ, маркеръ въ пятый разъ, кряхтя и охая, пролѣзая подъ бильярдъ и, съ тупо-удивленной недовольной рожей, принимался, по уговору, пить новый стаканъ холодной воды. Толпа зрителей—въ томъ числѣ Рубановскій и утренній генералъ — глядя съ своихъ мѣстъ на эту картину, въ неудержимомъ смѣхѣ

вскрикивали, хватались за животы и махали руками и ногами.

Мирóвичъ, оправивъ на себѣ кафтанъ и прическу, съ нервической дрожью, сказалъ Ушакову: «низость какова, а еще гвардейцы! Расплатись, Аполлонъ, да дай взаимы чуточку»...—И не успѣвъ Ушаковъ опомниться, — онъ торопливо протиснулся сквозь толпу и подошелъ къ артиллеристу, черты котораго были ему какъ-бы нѣсколько знакомы.

— Любители на бильярдѣ? — спросилъ онъ вѣжливо, косаясь на него.

— Да-съ... а вы? — удивленно и бѣгло окинувъ его глазами, произнесъ гвардеецъ.

— И въ моей манерѣ эта игра не послѣдняя-съ!

— Такъ не угодно ли? — спросилъ, брякнувъ шпорами и улыбаясь, артиллеристъ.—Его улыбка была обворожительно-добрая, женственно-безпечная.

«Эка сволочь! — холодно и злобно про-себя усмѣхнулся Мирóвичъ:—а разрядился какъ!.. да какъ баба и смазливъ... буколки на вискахъ распомажены, точно прилизаны у болвана языкомъ...»

— Оно ничего-съ и съ охотой, — отвѣтилъ, пуще хмурясь, Мирóвичъ:—только извините, ха-ха! вотъ никакъ не пойму... Отчего это вы играете съ подлымъ слугой, а не съ кѣмъ-либо изъ благородной публики?

— О! нынче, сударь, я въ превеликомъ амбарѣ! — протодушно опять улыбнулся красавецъ-гвардеецъ: — никто вотъ — хоть тресни, а ни-ни! — не хочетъ со мной по-мѣяться.

— Въ такомъ разѣ, съ моимъ съ превеликимъ удовольствіемъ! — сказалъ, раздражительно торопясь, Мирóвичъ.

— На деньги, или тоже въ шутку, на подобный уговоръ? — спросилъ, насмѣшливо глядя на него и на присутствовавшихъ, гвардеецъ.

— Инъ хотъ и на уговоръ!

Игра началась.

Съ первыхъ ходовъ Мирóвичъ, и безъ того блѣдный, еще болѣе смутился и оробѣлъ. Дрожащей рукой намѣтилъ онъ кій, угловато-ухарски повелъ плечомъ и нацѣлился. Его шаръ такъ ловко щелкнулъ шаръ противника, что гвардеецъ изумленно покосился на него и замаялся.

— Можетъ-быть, вы, сударь, на деньги?—спросилъ онъ:— что даромъ время терять?

— А вотъ ужъ мы сперва по-уговору-съ... смажемъ вотъ этого,—сказалъ Мирovichъ:—а потомъ хоть и этого... я не чинюсь... готовъ...

Кій опять щелкнулъ. За краснымъ съ громомъ въ лузу влетѣлъ бѣлый, за бѣлымъ опять красный шаръ. Игра была кончена.

— Пуць-пуць, или какъ вы тамъ, судары! ха-ха! лѣзьте, значить, подъ бильярдъ,—неестественно зѣвнуть и откидывая волосы, презрительно произнесъ Мирovichъ:—а для прохлады, не въ проносъ слово, испейте кстати и холодной водицы...

Артиллеристъ прикипѣлъ на мѣстѣ. Румянецъ залилъ его бѣлыя, женственно-нѣжныя щеки. Въ блестящихъ, карихъ, съ поволокой, глазахъ, выразились удивленіе, почти дѣтская досада и невольный стыдъ. Онъ бросилъ растерянный, робкій взглядъ по сторонамъ, подумалъ: «вотъ бестія! а уговоръ исполнять слѣдуетъ, — расплачивайся!» — и ловко скинулъ съ себя дорожный, расшитый золотомъ, на собольихъ, щегольской гвердейскій кафтанъ. — Дѣлать нечего, онъ присѣлъ, съ улыбкой пролѣзъ на четверенькахъ подъ бильярдомъ и залпомъ выпилъ поданный хихикающимъ маркёромъ стаканъ воды.

— А что-жь? другую партію! — сказалъ онъ, не одѣваясь: — три дня за медвѣдями охотились, только-что съ Волхова... будто промахнулась рука... Угодно ли?

«Оставь его, оставь!—шепталъ, дергая Мировича за рукавъ, красный, какъ ракъ, Ушаковъ:—Катериновецъ вѣдь это!.. какъ бы онъ тебѣ не отплатилъ»...

Мирovichъ его не слушалъ. Игра возобновилась. И во второй разъ молодцоватый гвардеецъ, въ то утро посадившій на рогатину медвѣдя, полѣзъ подъ бильярдъ и опять пилъ поданную ликующимъ маркёромъ воду.

Зрителей надвинулось на эту картину множество. Явились, съ тоненькими кривыми сигарами и трубками, — другіе—военные, статскіе и моряки. Между ними протискался, въ ермолкѣ, въ ваточномъ халатѣ и въ плисовыхъ туфляхъ, самъ царевичъ, старикъ Леонъ Грузинскій, имѣвшій обыкновение въ такомъ нарядѣ, какъ хозяинъ помѣщенія, проводить бѣольшую часть вечеровъ въ вольномъ домѣ Дрез-

денши. Послѣ новой, неудачной партіи, гвардеецъ оставился.

— Да вы заговоренный, — сказалъ онъ, отходя съ Мировичемъ къ сторонѣ: — попроворили какъ разбить... Не угодно ли въ такомъ разѣ и въ карты?

— Всеодолженнѣйшій слуга! — съ радостной дрожью произнесъ, не поднимая глазъ, и надменно поклонился Мировичъ.

— Такъ пойдемте на-верхъ, — сказалъ, опять облакаясь въ кафтанъ, гвардеецъ.

— Только я вотъ товарища что-то потерялъ изъ виду! — оглянувшись Мировичъ: — коли проиграюсь, а счастье не вѣчно везетъ, не у кого будетъ взять здѣсь сикурсу...

— Въ долгъ повѣримъ, — съ усмѣшкой смѣривъ пѣхотинца глазами, сказалъ гвардеецъ: — мы по простотѣ, сударь, безъ фасоновъ...

— И намъ, государь мой, фасоны не надобны! — съ достоинствомъ отвѣтилъ Мировичъ: — а въ долгъ, къ слову сказать, еще не игравали...

Внутренней, витой лѣстницей они взшли въ верхнія комнаты Дрезденши.

«И этого-то человѣка и какъ стопталъ, разбилъ! — шептали между тѣмъ гости, при проходѣ среди нихъ шеголи-артиллериста и его побѣдителя: — всѣ цуанденшанцы ему перемаятъ этимъ лазаньемъ... Слыхано ли? Перваго въ гвардіи директора веселостей и всякихъ игорныхъ затѣй»...

— Съ кѣмъ имѣю честь? — спросилъ гвардеецъ.

Мировичъ назвалъ себя.

— А вы? — спросилъ послѣдній.

— Цальмейстеръ гвардейской артиллеріи, Григорій Григорычъ Орловъ, — отвѣтилъ красивый офицеръ, концами нѣжныхъ, въ кольцахъ, пальцевъ опирая булки и на груди кружева.

«Онъ самый и есть! такъ вотъ это кто!» — подумалъ Мировичъ, съ новой, презрительной злобой вглядываясь въ нышущее здоровьемъ, румяное и удалое лицо Григорія Орлова, котораго онъ засталъ когда-то на нѣсколько мѣсяцевъ въ корпусѣ. Орловъ потребовалъ шампанскаго, бутылка котораго тогда стоила рубль тридцать копеекъ. Они чокнулись и выпили по нѣскольку бокаловъ.

— Коли въ карты, — сказала Орловъ: — такъ пойдемъ дальше.

Онъ провелъ Мировича въ слѣдующія комнаты. Тамъ увеселенія нѣкогда потайной, а нынѣ явной, модной австрии — шли въ полномъ разгарѣ. Играли въ бирибѣ, въ ламушъ, въ тогдашній банкъ-фараонъ и въ «каминсъ», любимую игру новаго государя и его голштинцевъ, въ которой каждый получалъ нѣсколько «жизней», и кто переживалъ, тотъ и выигрывалъ. Дымъ кнастера клубами стлался по комнатамъ, смѣшиваясь съ дымомъ сигаръ фидибутъ. Изъ большой соседней залы явственно доносились звуки венгерской струнной музыки, нанятой возвратившимися съ медвѣжьей травли гвардейцами. Тамъ шли танцы и слышались смѣхъ и веселые голоса итальянскихъ и французскихъ хористокъ придворной оперной труппы, любившихъ здѣсь дѣлать время въ обществѣ столичныхъ богачей.

Сама Дрезденша, она же и Фелькнерша, пятидесятилетняя, набѣленная и плотная женщина, появлялась среди карточныхъ столовъ. Подбоченясь, она останавливалась передъ играющими; сѣрыми ястребиными глазами слѣдила за тѣми, кто побѣждалъ, съ возгласами: «Ach, Herr Je...», громко хохотала надъ тѣми, кто проигрывалъ, — предлагала яства и питія и исчезала во внутреннія комнаты всякій разъ, когда выходилъ какой-нибудь дебошъ. Военные звали Дрезденшу командиршей, моряки — адмиральшей, статскіе — танточкой.

Въ одной изъ игральныхъ комнатъ, куда, вслѣдъ за Орловымъ, вошелъ Мировичъ, за большимъ круглымъ столомъ сидѣлъ атлетическаго вида, девяти пудовъ вѣсомъ, съ мужиковатою повадкой и площадными французскими и русскими присловьями лицомъ, впрочемъ, очень похожій на старшаго брата — красавца Григорія, — расфранченный и раздушенный преображенскій сержантъ, Алексѣй Орловъ. Его окружали пріѣхавшіе съ медвѣжьей травли другіе гвардейцы. Здѣсь играли въ фараонъ. По просьбѣ богатаго товарища-однополчанина, Михаила Егорыча Баскакова, Алексѣй Орловъ металъ банкъ. Другіе, стоя, сидя и съ вынужтой картой въ волненіи прохаживаясь, пантировали. Ожиданіе было общее.

— Мѣсто, Ласунскій! дай пустить ерша, — подходя и

также беря карту, шепнулъ Григорій Орловъ невысокому, расфранченному въ серебряныхъ галунахъ, измайловцу. — «Не пускай его, — усмѣхнулся длинный, въ очкахъ и выдѣль съ виду, другой измайловецъ, Николай Рославлевъ: — безпремѣнно проиграется! намеренны насилу ихъ розняли въ Волочкѣ съ Несвитскимъ и съ Хитрово»... — Да я не для себя, господа... *parole d'honneur!* — произнесъ Григорій Орловъ, указывая глазами на подведеннаго имъ новаго понтера. — Мировичъ долго не рѣшался ставить карты. — «Гвардейцы, катериновцы, — ухари, богачи, — мыслилъ онъ, замирая: — не пара... Съ ними свяжешься, не радъ будешь. Проиграешься, на днѣ моря найдутъ; выиграешь, какъ бы еще не кончилось, какъ тогда съ Юсуповымъ... Нѣтъ! два года терпѣлъ, не зарывался... Великій Руссо, учитель мой! Помню твои слова. . Силой воли, воли одного человѣка, все достигнешь... Баста, картъ въ руки не возьму».

У игральнаго стола шелъ оживленный, русско-французскій разговоръ. Слышался изрѣдка смѣхъ.

— Что-жъ, отче многомилостивый? — уставясь въ него и продолжая толстыми, жилистыми пальцами метать фараонъ, пробасилъ исполнить Алексѣй Орловъ: — уважьте компанію-съ... отвѣдайте въ прусскаго короля счастья. Кому терѣтъ, кому въ теркѣ быть. Либо дупеля, либо пуделя... *voynons, allez vite...*

Кто-то изъ постороннихъ, ставя карту, прошепталъ: — «Была не была, отвѣдай еще, Хавронья!» — Мировичъ оперся рукой о столъ. Лица понтеровъ были ему неизвѣстны. Передъ нимъ лежала колода. — «Поликсена, далекая, дорогая, недобрая, выручай», — подумалъ онъ, прикрывъ занятымъ у Ушакова червонцемъ пятерку, названіе которой начиналось одной буквой съ именемъ Поликсены. — «О-го, свернулъ овцѣ шею! Дана», — пропустилъ воселымъ басомъ банкومترъ. Ознобъ пробѣжалъ съ головы до пятъ Мировича. Онъ удвоилъ ставку на той же картѣ. Алексѣй Орловъ принялся опять метать и, снова вскинувъ на него удалыми, смѣющимися глазами, сказалъ: «Дана, сударушка, и эта-съ!» — Подошли новыя игроки. Снизу явился и Рубандскій. — «Молодець, молодець!» — шепталъ теперь старикъ Мировичу: — такому можно постараться... можетъ и найду!..»

Мировичъ не обращалъ вниманія на окружающихъ. Духъ игрока воскресъ въ немъ съ прежней, давно-неиспытанной

силой. Глаза, него помутились, ноздри расширились, дух захватывало. Забылъ онъ и Руссо, и ложу св. Иоанна, и силу воли, и все. Загибая паролы и ставя уголь на пл, онъ выиграть почти сразу еще нѣсколько картъ. — «Какое счастье, — аناемское, дьявольское счастье!» — шептали кругомъ, — «Qui est ça?» — «А шутъ его знаетъ»... — «Да откуда взялся?» — «Григорій, что ли, привелъ»... — «Sacré nom! Не-взрачный, а какъ загребаешь». — «Но это случай, parbleu! не все же будетъ брать»... — Мировичъ, между тѣмъ, поднявъ глаза къ потолку. Держа колоду картъ, онъ подумалъ: «Пчѣлина... Поликсея... двѣ одинаковыхъ буквы въ началѣ имени и фамилии... Попробуемъ еще такъ» — вынулъ пятачку пикъ, загнулъ на ней всѣ четыре угла и пустилъ такимъ образомъ все, что было у него выиграно. Карта снова, къ общему изумленію, взяла.

— Банкъ сорветъ! что вы! — дернулъ за руку Алексѣя Орлова Вредихинъ: — гдѣ Баскаковъ?

— Съ Машутой амурится... — отвѣтилъ, указавъ на диванъ, Хитрово.

— Mais allez donc, — шепнулъ брату Алексѣй Орловъ: — пусть броситъ амур и выручаетъ... какого козыря при-тащили!..

Гурьевъ и Хитрово привели Баскакова. Понтеры разошлись. Кто-то сказалъ: «Поздно, други; скоро станутъ гасить свѣчи. Не сбрызнуть ли поле?» — Подали шампанскаго. Ласунскій съ Рославлевымъ и Гурьевымъ принялись сводить мѣломъ счеты проигрыша, выигрыша, за карты и за вино. Посторонніе зрители стали понемногу расходиться. Гдѣ-то въ сосѣдней комнатѣ нѣсколько человѣкъ несвязно пѣли: «Ленъ, ленъ, молодой»... Раздавалось ухарское трепканье гитары. Хлопали пробки, звенѣли бросаемыя о-полѣ стаканы.

— Что-жъ, господа, если не хотите, если... я самъ готовъ метать банкы! — сказалъ Мировичъ, неловко сунъ по карманамъ дукаты и рубли: — только въ этомъ и радость... Живемъ въ сумнительныя времена... Ахъ какъ, матушка, въ Кіевѣ хорошо... — вдругъ прибавилъ онъ, ни съ того ни съ сего.

Его душилъ смѣхъ, давно-неиспытанная веселость подмывала, раздражала. Онъ начиналъ несвязно болтать, за-

мѣтно покачивался. Глаза слипались. Хмель отъ выигрыша свѣпался съ хмелемъ отъ вина.

Григорій Орловъ переглянулся съ пріятелями:

— Если продолжать, такъ не лучше ли у меня? — сказалъ онъ: — или донтраемъ у князя Чурмантѣева! у него нынче рокамболь съ ужиномъ... пресиять прямо съ охоты...

Товарищи рѣшили, что къ князю Чурмантѣеву на Васильевскій далеко, лучше къ Орлову.

— А вы? — спросилъ Григорій Мирovich: — сани мои готовы, и я живу на Мойкѣ, въ домѣ Кнутссена, возлѣ дворца.

— Знаю, знаю, — банкиры! — а то хоть и къ Чурмантѣеву... готовъ! — отвѣтилъ, хватаясь за спинку стула, Мирovich: — я пѣхотный, значить, не богатъ человѣкъ... инфантерія-съ... пѣхтура!.. иначе, вѣтъ... извините, господа! не уступлю никому, — ни-ни... Ахъ, какъ матушка, то-есть, въ Кіевѣ хорошо...

— А вы были въ Кіевѣ? — кто-то спросилъ, подходя: — тамъ есть медвѣди?

Мирovich мутными глазами молча посмотрѣлъ на него.

— Григорашъ, бери его! — сказалъ Баснаковъ Орлову.

— Но какъ бы онъ не учинилъ дебоша?

— Пустяки, бери...

Всѣ были согласны, что жалъ такъ бросить среди ночи храбраго, охмелѣвшаго въ-конецъ армейца, котораго и фамилію какъ-то въ суетѣ забыли, да и его адреса теперь врядъ ли можно было добиться. Гвардейцы свели Мирovichа на улицу, посадили въ сани Григорія Орлова и повезли на квартиру послѣдняго. Но тѣмъ приключенія той ночи не были кончены.

Помнить впоследствии Мирovichъ, что когда его подсаживали въ сани, у подѣзда Дрезденши, какой-то сгорбленный, въ камлотовой шинелькѣ, старичокъ протискался къ нему сквозь толпу провожающихъ и, бжась отъ холода, шепнулъ: «Молодчина... козырь... и все пятеркой, пятеркой!.. умру, а найду»...

Припомнилъ также Мирovichъ, что по пути къ квартирѣ Орлова вся эта развеселая и шумная ватага молодыхъ повѣсь, гремя колокольцами, шумя и громко смѣясь, заѣзжала еще въ двѣ какія-то австеріи. Въ одной Мирovichу услуг-

ливые весельчачи давали, для оживленія, умыться, и опять играли на бильярде и пили. Онъ при этомъ былъ безмерно веселъ, также пилъ, шутилъ и даже пилъ какую-то ухарскую, плясовую украинскую пѣсню. — Расходились орлята-щельмецы! — толковали окрестные горожане, слыша сегодвойныя рамы и ставни топотъ коней, звонъ тремучекъ, хохотъ и вопли смесившихся по морознымъ улицамъ, знакомыхъ забубенныхъ гулякъ.

Въ другой австеріи, а именно, у землячки и друга Дрезденши, Амбахарши, случился казусъ. Тамъ компанія разгуливающихъ повѣсь неожиданно наткнулась на известнаго и непримиримаго соперника силачей Орловыхъ, на бывшаго кронштадтскаго коменданта Иванвича.

Каждого изъ Орловыхъ порознь въ борьбѣ Шванвичъ легко осиливалъ; двое же брали надъ нимъ верхъ. А потому между ними, разъ навсегда, было условлено, что если гдѣ-нибудь въ австеріи Шванвичъ встрѣтитъ одного изъ Орловыхъ, то они должны были немедленно уходить, оставляя въ его распоряженіи все вино, бильярдъ и красавицъ. Гдѣ же Шванвичъ заставлялъ двухъ изъ семьи Орловыхъ, то самъ, безъ дальнѣйшаго разговора, долженъ былъ имъ уступать поле дѣйствій. Новѣсы ворвались въ австерію Амбахарши на этотъ разъ именно въ то время, когда изъ ея дверей вылетѣлъ во дворъ, вытолкнутый Шванвичемъ, третій изъ Орловыхъ — Ѳедоръ. — «Какъ? кому? лаптю кланяться? отступать? — гаркнулъ обескураженному брату Алексѣй Орловъ: — итъ, Ѳедя, дудки! secré pom! впередъ!» — Всѣ встали съ саней.

Въ комнатахъ Амбахарши поднялся невообразимый шумъ. Шванвичъ не уступалъ. Одни изъ гостей держали сторону Орловыхъ, другіе съ осипшими глотками кричали, что такъ нельзя, что они должны въ точности исполнить уговоръ. Шванвичъ увѣсистую лапой сгребъ опять за пиворотъ рослаго Ѳедора Орлова. На выручку младшаго птенца двинулся громадина Алексѣй... Два плечистыхъ буяна общими силами смяли противника, опрокинули его навзничъ, и Алексѣй Орловъ, съ налитымъ кровью лицомъ, вытащилъ подъ мышку блѣднаго отъ злости, брыкающагося моряка за дверь и, въ своей чередѣ, столкнулъ его съ крыльца австеріи въ снѣгъ.

Товарищи потребовали съ Орловыхъ при этомъ случаѣ

новаго угощенія. Опять явилось вино. У Федора Орлова оказался изорванным рукав и тогда из-под крош. Алексѣй растиралъ сѣбѣ вывихнутые пальцы. Шумъ, гамъ и смѣхъ слышались изъ трактира далеко. Тутъ были и чыгане. Неугомонные гуляки перешли въ большой кегельный залъ и стали тамъ прыгать другъ черезъ друга въ чехарду. Мироничъ возить кого-то при этомъ на себѣ верхомъ... Григорій Орловъ, съ красивой, чернорубовой цыганкой Аксусей, подъ хоровую пѣсню и звуки бандуръ, смѣвъ нафталя и камзолъ, въ кумачной рубахѣ, размахивая платкомъ, плясалъ въ присядку тренака. Гремѣла опять пѣсня: «Лѣтъ, лѣтъ»...

Но когда толпа, вдоволь угостившись, двинулась къ сѣнямъ, Алексѣй Орловъ, не доходя воротъ, вдругъ охнулъ и, съ окровавленнымъ лицомъ, упалъ среди двора на спякъ. Кто-то въ то же время кинулся отъ крыльца бѣжать по улицѣ...

— *Tiens, comme il l'a balafé!* — вскрикнулъ Бредихинъ, съ подосѣвшими камрадами, въ силу поднимая Алексѣя Орлова, у котораго Шванвичемъ изъ засады была нанесена глѣвая щека.

Нѣкто изъ толпы выхватилъ шпату и съ крикомъ: «Такъ вотъ какова честь! вотъ подлость! смерть предателю!» — бросился въ догонку за убѣжавшимъ Шванвичемъ, «Удержатъ его, удержатъ, — всю улицу разбудить и переполошить!» — раздались у воротъ голоса. Непрошеннаго защитника привели обратно въ трактиръ. То былъ Мироничъ. Никто его не могъ унять. Пока суетились, перевязывая рану Орлову, онъ, не выпуская изъ рукъ шпату, продолжать шумѣть и, съ дѣловой у рта и скрежетомъ зубовъ, крича: «убью, измѣнника, убью подлаго труса!» — порывался къ двери.

Изъ толпы трактирнаго люда, съ краснымъ отъ возліаній лицомъ, озабоченно выдвинулся плотный, въ мѣховой епанчѣ, господинъ. Замѣтно покачиваясь, онъ нагнулся къ Мироничу, взявъ его ласково за руку и со вздохомъ сказалъ:

— Уймись, Василій Яковлевичъ, уймись... Видишь, и я, и ты... дали зарокъ, а сами...

— *Balafé... зарокъ!..* у Чурмантѣва доигрывать... умру, а найду! — безсознательно повторялъ про себѣ Мироничъ, уносимый по улицѣ въ саняхъ Ломоносова.

Загоралась блѣдная заря. Дома, заборы и перекрестки

начинали вырываться изъ темной морозной мглы. Сани, скрипя, остановились на берегу Мойки. Мировичъ дзошелъ, потягась, на лѣстницу второго этажа, и какъ будто одѣтъ, въ шипы, въ шипелы и въ башмакахъ, свалился на первый попавшійся диванъ и какъ убитый заснулъ.

V.

Слѣдъ найденъ.

Два года назадъ, а именно, въ началѣ зимы 1760 года, послѣ высылки Мировича въ заграничную армію, Пчѣлкина обратила на себя вниманіе разомъ нѣсколькихъ придворныхъ вздыхателей.

Поликсенѣ тогда исполнилось восемнадцать лѣтъ. Она подросла и стала не столько пригожѣе, сколько милосивѣе, находчивѣе, бойчѣй. Ея сѣрые глаза, продолговатыя, какъ у сфинкса, были также загадочны, безстрастны и насмѣливо-холодны. Золотистые волосы, когда она ихъ не пудрила, густыми янтарными волнами падали съ ея сухой, строгой и гордо посаженной головы. Ухаживали за красивою, худенькою камеръ-медхентъ государыни военныя и статскіе. «Пчелка алая, что ты жуужмишь?» — сочинилъ, по слухамъ, именно о ней одинъ стихотворецъ, и городскіе модники расставляли подъ клавикуды эту пѣсню. Первые столѣнныя щеголи, на холостыхъ пирушкахъ, не разъ бились объ заклады, что не пройдетъ недѣли — если они только захотятъ. Пчѣлкина будетъ ими побѣждена. Заклады проигрывались. Вздыхатели ошибались.

Поликсену сердили ихъ преслѣдованія. «Безмоздые, противные! — дрожа и блѣднѣя, шептала она сквозь слезы: — и все потому, что я подвидышъ, ни роду, ни племени... По милости государыни, хорошо одѣта, въ моду вошла и правлюсь всѣмъ, — вонъ цѣлая корзника амуриныхъ пиджукъ на полкѣ... И ужъ хоть бы ухаживали отъ сердца... Гнусные пустозвоны! Вертопрахъ этотъ, богачъ Нарышкинъ, слѣдомъ бѣгаетъ цѣлый мѣсяцъ; камергеръ Лоскутьевъ вздумалъ ухаживать, гошпитиенецъ Цобельтинъ... Отъ уличной щеголихи къ актрисѣ, отъ актрисы... ну, и за нашу сестрой, за кмеристкой, отчего не погоняться?»

Часто вспоминала и обесуждала Поликсена свое прошлое, странное, не какъ у другихъ, — одинокое дѣтство, бывавъ

по лестницамъ, коридорамъ и переходамъ стараго зимняго дворца и первыя совѣтательныя тревоги, рѣдкія радости, зато частыя горькія слезы босовой швейки, потомъ коверницы у статсъ-дамы Апраксиной, и, наконецъ, кружевницы и камеръ-медвѣжь самой государыни. По случаю одного изъ придворныхъ спектаклей, когда забѣжала какая-то актриса, ее начали учить по-французски, потомъ по-нѣмецки. Она оказала большія способности. Иванъ Ивановичъ Шуваловъ задумалъ опредѣлить Пчёлкину въ оперный хоръ и поручилъ ее попеченію тогдашней первой пѣвицы Либеры Сакко, которая давала своей новой ученицѣ читать драмы, комедіи и повѣсти, и успѣла ее развить. Черезъ нее Пчёлкина ознакомилась и съ Руссо, прочла его «Эмилия» и кое-что изъ его философскихъ сочиненій.

Никогда не могла забыть Поликсена одного дня изъ своего дѣтства. Ее, рѣзвую и дикую дѣвочку, сильно побилъ въ ипрѣ какой-то дворцовый влоха-арапченокъ. На ея угрозу: «вотъ, постой, чортъ лупоглазый, маленькѣ пожалуюсь!» — лупоглазый чортъ, скали зубы и наставя черный кулакъ, ей отвѣтилъ: «никакой матери у тебя, рыжуга-Полька, нѣтъ и не было... да и отца не было!.. а ты, Полька, нищенка, подмѣтышекъ, сорочье дитѣ!» — «Какъ подмѣтышекъ, сорочье дитѣ?» — стала накидываться и допрашивать встрѣчныхъ и поперечныхъ дѣвочка. Ей объяснили, что дѣйствительно ее нашли въ опоркахъ какой-то шубейки, на кучѣ сѣнныхъ выгребковъ, подъ дворцовымъ конюшеннымъ крыльцомъ. Горько заплакала Поликсена, и съ той поры, забываясь въ углы чернаго двора, все выспатривала на сметѣ сорокъ: какая ей будетъ мать?

Прочла однажды Поликсена французскую драму, данную ей Либерой Сакко, и чуть не сошла съ ума. Въ драмѣ изображалась Орлеанская Дѣва, избранная Провидѣніемъ для совершенія великаго подвига. Съ той поры судьба Юанны д'Аркъ не давала покоя Пчёлкиной. Ей грезились громкія дѣла, міровая слава, общая признательность. Нерѣдко дни напролетъ, въ гардеробной императрицы, она просиживала молча, какъ истуканъ. Ей мерещился вѣковѣчный, дремучій дубовый лѣсъ, мхи и скалы. Войско стоитъ у опушки. Сверкаютъ латы, гремитъ оружіе. Голымъ король, Карлъ VII, лежитъ у палатки. И вотъ, изъ лѣса, въ племѣ и съ мечомъ, выходитъ свѣтозарная дѣвица. «Я спасу

тебя возведу на престолъ», — повторилъ она и королью. И тогда
дѣвица — Поликсена... Работы валилась изъ нея руки. Желтые
роны и блонды государыни долги: каски она гдѣ-то собирала. П
шению оставивши, утѣсать, жила воротнички, вышивала и по
канѣ, вмѣсто алыхъ, синія и зеленые розы. «Влюбленъ до
влюблена», — шептала о ней подружки-камеристки. Видѣли
въ Нѣтербургъ знаменитая прославская, воровская Варваруш
рупна. Всю жизнь гадали. Обратилась къ ней и Пчелкина. Но
Она пробралась къ ней на Охту, къ женой Игнатина, путно
чере государыни, въ платочѣхъ и старенькомъ платицѣ. Вар
Варварушка долго отказывалась гадать. «Силы у меня
нѣтъ-ли, въ косточки вся ушла», — говорила она. Присе
вожатая Поликсена положила передъ нею два рублевика и в
конечъ холста. Варварушка стала гадать на кофе. Кучеро
вой женѣ, страдательней занемъ, тацъ и сказала: «Смерть у
тебѣ не скоро; блинкомъ подаришься, только оживешь». — И
Поликсенѣ предсказала двухъ молодыхъ и красивыхъ же
ниховъ.

— Оба будутъ тебя, вотъ, какъ любить, и за одного, дѣлаю
ты бы и пошла, да не станешь, не выйдешь и за другого.

— Почему? — спросила съ испугомъ Пчелкина.

— Черезъ шумъ и черезъ кровь.

— Кто же, милостивая, — вышивалась кучерова жена — мои
родственники они эти-то кровные межъ собой, или простыми
побьются?

— Не родные, и дальніе, и не побьются, только выхо
дятъ черезъ кровь и черезъ шумъ, — подтвердила Варваруш

Кучерова жена припала долго жить и въ ту же зиму
опившись до смерти запеканки-перцовки, на именинахъ
кумы, и никакъ блиномъ не давила. «Ну, и обо мнѣ
знать ворожей нашла», — думала, неравнодушно вспоминая
гаданье Варварушки. Пчелкина. Она читала «Эмилію»
вмѣстѣ отдавала дань вѣку — вѣрила спать и гаданьямъ.
Когда въ числѣ вздыхателей подвернулся ей кадетъ Мирон
вичъ, она, разглядѣвъ тогдашній скромный, простой и до
бродушный до глупости видъ влюбленного юноши, не раз
съ досадой спрашивала себя: «да неужели жъ это?» — Ей
льстили страстные ухаживанья Миронича, его преданность.
Но она гнала прочь всякую мысль о возможности остано
виться выборомъ надъ нимъ. «Армейскій пехотный офице
ришка будетъ — но велика находка!» — говорила она себѣ.

охоранимая, отъ пышныхъ ятаринскихъ закопахъ, передъ зеркаломъ и въ вѣхъ, его нѣтъ, онъ разжалованъ, высланъ. Пожалѣла его Пчелкина, даже заплакала о его судьбѣ. Но прошло много лѣтъ, о Миловитѣ ни слуха. Жить ли бѣдный, робкій вѣдѣхатель?

Наступила новая, особенно веселая зима. Придворные балы, оперы, концерты, маскарады. Покойная императрица любила, чтобы хорошенькія изъ ея свиты, не только фрейлины, даже камеристки, за-просто являлись шопшастъ въ ея присутствіи на обычныхъ куртахъхъ.

— «Июра Пчелкину замужъ отдавать, — обывила разъ государыня, — стань дама Аграфенъ Леонтьевъ Апраксина, на одномъ изъ маскарадовъ, гдѣ Полиссена, съ другими изъ свитскихъ дѣвицъ, въ костюмѣ нимфы, танцевала мишуэръ съ наследникомъ престола: — ишь, Петръ-отъ Оедорычъ, какъ передъ ней фермалурить.

— «А въ то время, матушка-государыня, — отвѣтила Апраксина: — нуко-си, лѣтомъ и впрямь найдемъ ей жениха, а осенью, передъ филипповками, сыграемъ и свадьбу.

— «Но у Пчелкиной чуть ли ужъ не принасенъ суженый, да онъ на войнѣ, — замѣтилъ кто-то при этомъ.

— Тѣмъ лучше, — сказала Елисавета Петровна: — выпьемъ молодца, — замуры раскончить... а къ той порѣ, чай, и войнѣ ужъ не бывать.

Въ концѣ той зимы подвернулся особый случай.

Служившій въ военной коллегіи, женатый на богатой купеческой дочкѣ Ульянѣ Пусловой, полковникъ Бехлеповъ — долженъ былъ везти въ чужіе края, на воды въ Спа, болѣющую жену, и вызывалъ для нея, черезъ «Вѣдомости», знающую иностранные языки компаньонку. Ухаживанья Петра Оедоровича за Пчелкиной не прекращались. «Пусть проѣздитъся», — рѣшила императрица, и стороной, черезъ Апраксину, велѣла посовѣтовать своей камеръ-меджентъ принять приглашеніе Бехлепова. Пчелкина была изумлена и въ вѣстѣ обрадована. — «Откуда такое счастье? — повторила она себѣ: — удаляютъ, бажись, отъ пажнаго лица. Стало быть, я опасна... Вотъ что сулить и куда ведетъ жребій». — Она получила отпускъ до сентября, и въ маѣ, черезъ Дрезденъ и Вѣну, съ Бехлеповыми уѣхала за границу.

Полиссена часто писала оттуда Птицынымъ. Все занимало ее въ чужихъ краяхъ: невиданные нравы и обычаи,

отъѣзды отъ всего того, къ чему она пригдѣлась въ Россіи, роскошные сады и парки, чистота и красота нѣмецкихъ городовъ и деревень. Разнообразное и оживленное общество съѣхалось къ моднымъ цѣлебнымъ водамъ. Здѣсь были цвѣтъ разслабленной и изнѣженной тогдашней европейской аристократіи. Между больными было видно немало и раненныхъ на войнѣ, грѣвшей невдали, въ разбитой русскими войсками Пруссіи.

Пчёлкина съ Бехлешовой посѣщала курзалъ, съ жадностью читала и переводила больной газетную болтовню и новые романы. На водахъ также произошло нѣсколько романовъ. У какого-то лорда австрійскій кирасиръ увезъ дочь, жена рейнскаго богатаго виноторговца бѣжала съ парижскимъ актеромъ. Поликсена тоже почувствовала себя неладно.

Полковникъ Бехлешовъ, привезя жену, думалъ пробыть въ Спа не болѣе недѣли, и жилъ здѣсь цѣлый мѣсяцъ. Сопровождая жену и ея компаньонку въ прогулкахъ, онъ сперва былъ весьма сдержанъ, потомъ сталъ, какъ бы случайно, оказывать ту или другую услугу Пчёлкиной: съ заботливой вѣжливостью подсаживалъ ее въ экипажъ, приносилъ ей съ почты письма, покупалъ любимыя лакомства, фрукты, а разъ при женѣ подарилъ ей моднаго штофа на платье. Поликсена отъ подарка отказалась. Бехлешовъ началъ искать предлоговъ для бесѣды съ нею наединѣ.

«Что бы это значило?» — думала она, теряясь въ догадкахъ, и всякій разъ обрывала эти встрѣчи. Больной стало хуже. Она разнемоглась отъ измѣнившейся погоды и нѣсколько времени не выходила изъ своей комнаты.

Былъ теплый, влажный послѣ недавней грозы вечеръ. Бехлешовъ встрѣтилъ Поликсену въ небольшомъ саду при своей квартирѣ, попросилъ ее сѣсть на скамью и, послѣ нѣкотораго колебанія, шепнулъ ей:

— Волшебница! я отъ тебя безъ ума.

— Стыдитесь, полковникъ! — вспыхнувъ, сказала Поликсена: — у васъ сыновья въ ученѣхъ, жена такъ хвораетъ, а вы... ведете себя, извините, какъ мальчикъ...

— Но, милая лапушка, — отвѣтилъ Бехлешовъ, загордивъ дорогу Пчёлкиной: — я все для тебя, все...

Поликсена метнула въ него молнію изъ сѣрыхъ глазъ, оттолкнула селадона и молча ушла къ себѣ наверхъ.

— Погоди жъ ты, рыжая гордычка! дамъ тебѣ отплату!—
пророчалъ ей вслѣдъ взбѣшеннѣй неудачей Бехлешовъ.

Любезничанья съ Пчёлкиной толстенкаго, сѣдого и короткаго ростомъ куртизана прекратились. За чаемъ, обѣдомъ и за ужиномъ онъ не говорилъ съ ней почти ни слова. Желѣ его стало лучше, и Бехлешовъ началъ укладываться, съ цѣлью возвратиться въ Петербургъ. Пчёлкина, чтобъ смягчить разладъ, собиралась просить его разузнать въ коллегіи о Мировичѣ, съ которымъ она переписывалась и отъ котораго, передъ выѣздомъ изъ Россіи, получила къ-ряду два нѣжныхъ письма.—«Спросить, не женихъ ли?—думала она:—нарочно скажу—женихъ... и побѣдится, и отстанетъ скорее... А чѣмъ же Мировичъ и не женихъ?—съ горечью прибавила она и вздохнула:—и влюбленъ, и вѣрнѣй... чего же больше?»

Сидѣла Поликсена какъ-то у себя наверху. Была ночь. Она дописывала письмо къ Птицыной о приключеніи съ Бехлешовымъ и задумалась.—«Вѣдь это, пожалуй, всегда такъ будетъ,—сказала она себѣ:—гдѣ жъ конецъ? И неужели выхода нѣтъ?.. Мировичъ! Ну, что онъ такое? Да какъ всѣ: добрый, незнатный, безродный, какъ и я; говорить, склоненъ къ картамъ, мотовству... Но отъ мотовства и отъ картъ можно еще исправиться, въ люди выйти... Молодость,—остепенится... Слышно, имъ теперь довольны; даже за отличіе повысили... Но не то, все не то... Бѣденъ, и то пустиакъ... Жить нечѣмъ будетъ,—государыня поможетъ. Да о томъ ли я мечтала, того ли ждала!»

Поликсена остановилась писать. Воспоминанія вновь загрозились въ ея головѣ: злой аранченокъ, сорочье дитѣ, Іоанна д'Аркъ, съ мечомъ и племомъ, у опушки дремучаго дубоваго лѣса, предсказаніе вороженъ... кровь и шумъ...

Она сидѣла, склонясь горячимъ лбомъ на холодную, исхудалую руку. Слезы наворачивались на глаза. Снизу по лѣстницѣ послышались шаги. Кто-то будто поднялся на нѣсколько ступенекъ и остановился.—«Мнѣ почудилось,—сказала себѣ Поликсена:—счастье! не дожидаться мнѣ видно его... А у другихъ,—вонъ въ газетахъ,—только и говорю, что о романахъ, о любви... И почему мнѣ не вѣдать счастья? Почему къ другимъ оно приходитъ, да такое щедрое,—негаданно, неожиданно?.. Мужья знатные, въ чести...»

Она опять взялась за перо.

Въ раскрытое окно мезонина видѣлись очертанія окрестныхъ арденскихъ холмовъ и лѣсовъ, надъ ними—усыпанное звѣздами, тикое голубское небо. Подъ окномъ былъ скалистый обрывъ надъ ручьемъ. Въ домѣ давно всё улеглись, заснули. На утро Бехлешовъ уѣзжалъ въ Россію. Недалеко оставалось до зари.

Пчёлкина медленно протянула руку къ чернильницѣ, обмакнула перо и стала вновь прислушиваться. Пламя свѣчи въ тяжеломъ шаталѣ будто колыхнулось. Видно, съ надвоя пахнуло свѣжимъ передразвѣтнымъ вѣтеркомъ... На повѣрѣ, за стуломъ, что-то шелохнулось... Поликсена подняла глаза: передъ нею, расфранченный, завитой и напудренный съ лучкомъ лилій и розъ въ рукѣ, стоялъ кругленькій толстенькій Бехлешовъ.

— Добрый вечеръ, Поликсена Ивановна, — произнесъ онъ, робко улыбаясь.

Она вскочила, взглянула на дверь.

— Здѣсь и снизу залерю: ти! — сказалъ онъ: — мы одни... выслушайте меня.

— Что это значить? — спросила Поликсена: — какъ смѣете вы?

Бехлешовъ протянулъ ей букетъ.

— Райскій цвѣтикъ, волшебница! — шепталъ онъ, не сходя съ мѣста: — она итъ, страдаю, томлюсь...

— Романъ! — усмѣхнулась Пчёлкина: — но, довольно! идите, сударь; не вась мнѣ жалъ, — вашей жены...

— Королева! зоряа моя! — сказалъ, опускаясь передъ ней на колѣно, Бехлешовъ: — клянусь тебѣ, люблю... убей, только выслушай... Все бери, деньги; алмазы... Осчастливь, убѣжишь...

Поликсенѣ вспомнились слова вѣрожен.

— Все бери, — ничего не пожалѣю! — шепталъ Бехлешовъ, прижимая къ груди букетъ: — слово только скажи... Семью брошу, службу, хоть на край свѣта съ тобой... Озолочу, въ кабалу отдамся: сто душъ на Уралѣ на тебя отпицую...

Поликсена сложила руки.

— Какое униженіе, какой позоръ! — сказала она съ дрожью: — вонъ отсюда, слышите? вонъ! — бѣшено топнувъ ногой, продолжала она, указывая на дверь: — уходите, иначе, не гнѣвайтесь, подниму крикъ, разбужу весь домъ...

Бехлешовъ подошелъ къ ней: Она бросилась къ окну.

Патъ сдѣлайте, вскрикнула она, улавывая за окно: брошусь туда... на вашей душѣ будетъ смерть... Стойте, стойте, — прошептала Бехлешова: — ужли на томъ и конецъ?..

Пчёлкина молчала. Негодующіе, стріе глаза холодно и бѣшено смотрѣли на него отъ окна.

Будешь меня помнить! — проговорилъ, уходя, Бехлешовъ.

Полксена утромъ явилась къ больной, попросила свое выслуженное жалованье, отперла сундукъ, взяла свой паспортъ, узелокъ съ вещами и сходилa на почту. Къ обѣду она вошла въ кабинетъ къ Бехлешову. Въ рукавъ ея были книги и газеты. Полковникъ, сидя у раскрытаго бюро, сводилъ счеты. При входѣ Пчёлкиной, онъ слегка поблѣднѣлъ, но не оглянулся, будто ея не замѣтилъ.

— Ошиблись вы, Вадерьянъ Ильичъ, — почтительно и сдержанно сказала Полксена: — но болѣ васъ ошиблась я сама. Не знала я доподлинно, каковы жисті люди на свѣтѣ. Теперь знаю... Гнуснѣе, ничтожнѣе иного человека — охъ, ничего не найдешь...

Бехлешовъ упорно молчалъ. Лицо его слегка залила слеза. Онъ тяжело дышалъ, попрежнему, не оглядываясь на говорившую.

— У васъ даже совѣсти нѣтъ, — съ горькой усмѣшкой продолжала Полксена: — ужли-жъ и впрямь нѣту? И всѣ ли нынче таковы? Опозорить, погубить, раздавить бѣдную, нищую сироту — вамъ нипочемъ. Съ такою-де можно!.. Но не всѣ сироты одинаковы... Ошибаетесь... И не всякой непомнящей родства, подымдышу, по плечу грязь, ничтожество и позодоченное безчестіе, изъ-за куска хлѣба. Иная, сударь, вѣрнѣе и въ лучшую долю...

Губы Бехлешова шевельнулись. Онъ хотѣлъ что-то сказать и опять не отозвался.

— Вы молчите? — кончила Пчёлкина: — горды вы, чтобъ покаяться передъ такою пустошью?.. Подъ крыльцомъ въ выпребахъ ее нашла!.. Будьте жъ вы проклиты, съ вашимъ богатствомъ и съ вашею низкой, одного тобою себя любящей душой... А это — данное вамъ, сударь, для чтенія... Вразумили вы меня окончательно многими изъ этого... особенно жъ вотъ этимъ: въ книгѣ я нашла къ вамъ письмо отъ вашей фаворитки изъ Россіи...

Поликсена бросила книги, газеты и найденное письмо на столъ, медленно вышла и въ тотъ же вечеръ, въ почтовомъ омнибусѣ, уѣхала въ Вѣну и далѣе въ Петербургъ.

Осенью минувшаго 1761 г. императрица сильно захворала, а въ декабрѣ скончалась. Пристроить Поликсену съ Апраксиной и съ Шуваловымъ, она не успѣла — ни въ оперу, ни замужъ. Хотя, во время болѣзни государыни, Пчёлкину всѣ дворскіе волокиты оставили въ покоѣ, — имъ тогда было не до нея, — но Бехлешовъ не упускалъ ея изъ виду. Со смертью государыни все измѣнилось. Шуваловы пали. Вліяніе Апраксиной замѣнилось вліяніемъ Лизаветы Воронцовой. Къ новому году Бехлешовъ, благодаря покровительству своего родича, Гудовича, былъ назначенъ помощникомъ оберкригс-комиссара, голштинца Цейца, и произведенъ въ генералы. Служебное значеніе его въ военной коллегіи, а съ нимъ и его связи повысились. Несмотря на возвратъ изъ чужихъ краевъ жены, онъ то посылалъ Пчёлкиной, черезъ ея подругъ, словесные поклоны, то письменно клался ей въ неизмѣнной любви.

Поликсена колебалась недолго. По совѣту Апраксиной, она сходила къ Лизаветѣ Воронцовой, просить мѣста при супругѣ государя. Воронцова послала ее къ своей сестрѣ, Дашковой. Взглянувъ на худенькую и бѣдно-одѣтую камеристку стараго, ненавистнаго ей двора, надменная Екатерина Романовна презрительно улыбнулась и, отвернувшись, вполголоса сказала по-французски Никитѣ Панину: «какая дерзости! всякая горничная мѣтитъ въ наперстницы къ новой государынѣ». — Поликсена стала бѣгле стѣны, смѣрля взглядомъ Дашкову и молча удалась. — «Сочтемся когда-нибудь!» — подумала она.

Оставшись за штатомъ, она рѣшилась не ждать болѣе ничего, не просить и не ходить ни къ кому, а выѣхать изъ столицы, скрыться въ такую глушь, гдѣ бы и слѣдовъ ея никто не могъ найти. Задумавъ это, она выискала случай, и въ срединѣ зимы 1762 года, послѣ похоронъ императрицы, не простившись даже съ знакомыми, на-скоро собралась, написала прощальное письмо — также уѣзжавшей изъ столицы актрисѣ Сакко, — и, безъ сожалѣнія, такъ быстро оставила Петербургъ, что ни Бавыкина, ни близкіе ея знакомые не знали, куда она дѣлась.

Ночная попойка заставила Мирovichа болѣе сутокъ не выходить сверху изъ комнатъ Ломоносова. Оба они скрывались тамъ, — одинъ отъ жены, другой отъ Настасьи Филатовны. У Ломоносова, вслѣдствіе невольности, возвратился особенный, судорожный, съ страннымъ и смѣшнымъ присвистомъ, кашель, которымъ онъ, какъ и опухолью ногъ, страдалъ въ послѣдніе годы. Ломоносовъ въ шутку называлъ его своимъ «соловьемъ». И этотъ соловей имѣлъ своеобразный обычай: онъ начиналъ въ немъ распѣвать именно всякій разъ, когда Ломоносовъ не выдерживалъ и заходилъ въ ресторанъ Иберкампа, Гантовера или бывшей неведаль отъ Синяго моста Амбахарши.

Бесѣдая съ Михаиломъ Васильевичемъ, въ кабинетѣ послѣдняго, о масонствѣ, о чужихъ странахъ и новостяхъ дня, Мирovichъ вкратцѣ передалъ ему и о своемъ, такъ печально кончившемся, сердечномъ романѣ. Поликсены не было, и гдѣ она — рѣшительно нельзя было узнать. Ломоносовъ, выслушавъ исповѣдь Мирovichа, нахмурился. — «Вотъ она, судьба, — думалъ онъ, — что любимъ, чего жаждемъ, того и нѣтъ... И она-то что за птица? И чѣмъ онъ ей не паря? Писалъ, перестала отвѣчать... А можетъ, только прячется, испытываетъ молодого человѣка, каковъ онъ и будетъ ли вѣренъ ей?» — Хозяинъ и гость дѣлали разныя предположенія, судили, редили. Миръ фантастическихъ грезъ охватилъ опять и не покидалъ Мирovichа. Ночью къ постели его слетались странные, тревожные образы: опять война, онъ раненъ, брошенъ гдѣ-то въ незнакомомъ городѣ. Соборъ залитъ огнями; пышные экипажи, разряженная публика. Кого-то вѣнчаютъ. Новобрачная сходитъ по ступенямъ паперти, — это Поликсена. Мирovichъ въ рубинѣ, на костылѣ, пробирается сквозь толпу, хочетъ крикнуть — и просыпается...

Вечеромъ вторыхъ сутокъ дочь Ломоносова, Леночка, принесла наверхъ записку, доставленную съ придворнымъ лакеемъ. То было письмо къ Мирovichу отъ камерфурьера Василія Кириллыча Рубановскаго.

«Любленія ради человѣческаго, — писалъ ему старый риторъ-бурсакъ, — отъ ветхаго и годами источеннаго древа, листію зеленому и многоцвѣтному, въ разумъ же, дѣлѣхъ, а такожде и въ забавахъ искусствомъ умиляющу и всѣми дарами сіяющу, государю моему, подпоручику Мирovichу, — поклонъ! А я, — государь мой и многомилостивый натронъ, —

дознался для тебя о мѣстѣ, гдѣ днесь пребываетъ лѣпо-
кудрая и нравомъ достойная, искомая вами, отроковица
Пчёлкина. А отъѣхала она, въ январѣ, въ городъ Шлис-
сельбургъ и живетъ нынѣ тамо въ крѣпости бѣнною, сирѣчь—
губернёрскою, при дѣтихъ вдоваго капитана гвардіи, князя
Чурмантѣева. Числится же тотъ Чурмантѣевъ съ новаго
сего года главнымъ приставомъ при тамошней статсъ-
тюрмѣ; а и какъ вамъ попасть туда, я не свѣдомъ. Ци-
дулку же сію доставить вамъ камермакей внутреннихъ
аппартаментовъ покойныя государыни, Тихонъ Касаткинъ.
Онъ же и отвозилъ дѣвицу Пчёлкину отъ двора въ городъ
Шлюшинъ. Засимъ, а ревуаръ, здравствуйте... А о петерѣ
чудодѣйственной не забыть мнѣ отнынѣ и до вѣку».

Прочитавъ разъ и другой это письмо, Мирѡвичъ пере-
далъ его Ломоносову, а самъ поспѣшилъ внизъ—объясниться
съ Касаткинымъ. Онъ возвратился радостный, взволнованный...

— Боже мой, слышишь? — вскрикнулъ ему навстрѣчу
Ломоносовъ: — тайная государственная тюрьма! князь Чур-
мантѣевъ...

— Да, такъ написано и посланный то же подтвердилъ.

— Но знаешь ли ты, кто въ этой тюрьмѣ сидитъ? —
спросилъ, уставясь въ него, Ломоносовъ.

— Не знаю, Михайлъ Васильичъ, почему мнѣ знать...

— Онъ... онъ! — продолжалъ, волнуясь и заглушая рва-
нтіе изъ груди судорожный, свистящій кашель, Ломоно-
совъ: — отъ колыбели! двадцать второй годъ онъ томится
въ душномъ застѣнкѣ...

— Да кто же онъ?

— Царственный узникъ!.. помнишь, я тебѣ говорилъ?..
Богомъ назначенный, а людьми свергнутый, російскій, при-
родный царь и въ Россіи рожденный императоръ, Іоаннъ
Третій, какъ его именovali въ актахъ, Антоновичъ!..

Леночка, видя смущеніе и даже какъ бы испугъ отца,
присѣла въ темномъ углу, робко выглядывая изъ-за шкапа.
Ломоносовъ всталъ, прошелся по кабинету, вздохнулъ, про-
велъ рукою по глазамъ, хотѣлъ что-то сказать и не могъ.
Онъ ухватился за сердце, бросился къ рабочему столу и
изъ потайного ящика, дрожащими руками, досталъ нѣсколько
пожелтѣлыхъ, истрепанныхъ, печатныхъ листовъ.

— Оды мои! вотъ лучшія хвалебныя мои оды въ честь
этого императора! — сказалъ Ломоносовъ, блуждающимъ взо-

ромъ глядя какъ бы въ нѣкоторую свѣтозарную даль:—я, государь мой, прибылъ сюда изъ Германіи лѣтомъ, въ правленіе именно этого младенца-царя... Ты поймешь, какъ мнѣ дорого это имя! Я писахъ отъ сердца, я былъ искренно, глубоко, восхищенъ... слушай...

«Нагрѣты нѣжными воды югомъ
«Ликуютъ свѣтло другъ предъ другомъ—
«Златой начался снова вѣкъ...
«Природы царской вѣтвь прекрасна,
«Моя надежда, радость, свѣтъ,
«Счастливыхъ дней Аврора юна,
«Монархъ-младенецъ, райскій вѣтъ!..»

— И ты знаешь? я пошелъ съ этими стихами въ прежній дворецъ, прочесть ихъ передъ правительницей Анной Леопольдовной и младенцемъ, и она при всемъ дворѣ, въ благодарность, склонила мнѣ съ подушки августѣйшую головку сына... Понимаешь ли, что я тогда чувствовалъ? Вотъ, смотри, читай...

— Странно!—проианесъ Мирovichъ:—стихи напечатаны, а я ихъ нигдѣ не встрѣчалъ...

— Они явились въ отдѣльномъ прибавленіи при «Вѣдомостяхъ»... Но ихъ отобрали, когда на престолъ взошла Елисавета; мало того,—ихъ жгли съ манифестами, указами, присяжными листами и другими актами, гдѣ только упоминалось имя этого несчастнорожденного...

— Манифесты были его имени?

— Какъ же! Четыреста четыре дня страна читала: «Божіею милостію, мы, Іоаннъ III, императоръ и самодержецъ всероссійскій...»

— Извините меня, Михайло Васильичъ!—сказалъ въ глухомъ изумленіи Мирovichъ:—мало я, какъ есть, знаю объ этихъ событіяхъ. У насъ въ корпусѣ о томъ молчали, за границей, видно, забыли... Слышалъ я отъ одного товарища и отъ Настаеи Филатовны, да смутно... Скупа она всегда была на этотъ счетъ. Какъ и почему все это произошло?

— Злополучные аргонавты!—отвѣтилъ Ломоносовъ:—роковое же, золотое руно, выпавшее имъ на долю, былъ императоръ-застѣнщикъ... Изволь, я тебѣ, что знаю, когда-нибудь при случаѣ расскажу. Печальный трактamentъ услышишь, печальный...

Онъ спряталъ листки обратно въ столъ, подложилъ въ каминъ полѣньевъ, сѣлъ въ кресла, закрылъ лицо рукой и

задумался. Мировичъ сидѣлъ возлѣ него, не спуская съ него глазъ, и ждалъ, чуть переводя дыханіе. Минуть черезъ десять Ломоносовъ очнулся, но заговорилъ о другомъ. «Разсирошу Филатовну»,—подумалъ, уходя отъ него, Мировичъ.

VI.

Несчастнорожденный.

Дня черезъ два Ломоносовъ, поздно вечеромъ, позвалъ Мировича наверхъ и подвелъ его къ окну. Все небо было залито сѣвернымъ сіяніемъ.

— Сполнохн отвореннаго воздушнаго моря!—сказалъ Михайло Васильевичъ, наводя въ форточку новую изобрѣтенную имъ трубу.

Долго оба они слѣдили за пышными, будто двигавшимися, то розовыми, то голубыми огненными столбами. Вдругъ Ломоносовъ всталъ, прошелся по комнатѣ и опять сѣлъ.

— Эпохъ царствованія моей богини, — Елисаветъ Петровна, — началъ онъ, покашливая: — цѣнь ни вѣсть какихъ противорѣчій! И я тебѣ, государь мой, въ разсужденіе прерваннаго намеренія нашего трактата доложу — не иначе, какъ съ прискорбіемъ — много, много лежитъ грѣха на ея совѣтникахъ... Сколько она страдала, сколько ждала! Дщерь Петра — и не была допущена на родительскій престолъ... Всѣми была оставлена, и ей не помогали; отринута, пренебрежена, — и за нее не отмщали!.. Но сама героиня сѣвера о себѣ подумала... Слушай... Всѣмъ памятна ночь, на двадцать пятое ноября, семьсотъ сорокъ перваго года... Елисаветъ Петровна, богоравная, надѣла кирасу на платье, помолясь, сѣла въ сани и поѣхала, съ своими партизантами, въ преобращенскія казармы. Тамъ объявила она себя императрицей, пошла съ вѣрными гренадерами въ зимній дворецъ и арестовала всю спавшую брауншвейгскую фамилію: правительницу государства, Анну Леопольдовну, ея мужа, добряка-заика, генералиссимуса Антона Ульриха, и ихъ сына, младенца-императора, Ивана Антоновича. Малютка былъ объявленъ самодержцемъ двухъ мѣсяцевъ отъ роду... Въ манифестъ его назвали Іоанномъ Третьимъ; другіе же именovali впоследствии Пятымъ и Шестымъ, памятуя древнихъ Іоанновъ. Была въ честь младенца-монарха выбита медаль, и на ней поднимавшаяся къ небу

императрица Анна вручила ему корону... Россія, отъ его лица, управлялась годъ и тридцать девять дней, а всего четыреста четыре дня...

Ломоносовъ остановился.

— Четыреста-четыре дня!.. И зато страдать годы, всю жизнь!—продолжалъ онъ:—гдѣ, въ какой странѣ, отыпнешь подобный, столь трагическій и роковой исторіи примѣръ? Желѣзная маска? да и тому государственному узнику было легче...

— Спрашивалъ я Настасью Филатьевну, — проговорилъ Мирovichъ:—чудныя дѣла.

— Ну, и что жъ рассказала она тебѣ?

— Сильно скорбить объ участи несчастнаго.

— Жестокая, жестокая издѣвка судьбы, — продолжалъ Ломоносовъ:—когда императрица Елисаветъ-Петровна привезла въ своей шубѣ, по морозу, низвергнутаго малютку-императора въ собственный свой дворецъ, — заилася она, добросклонная, слезами и воскликнула: «бѣдное дитя! Ты ни въ чемъ неповинно... Виноваты твои родители...» — Вышелъ вскорѣ манифестъ. Въ немъ было объявлено, что всю брауншвейгскую фамилію государыня, предавъ всѣ ихъ поступки забвенію, повелѣла съ надлежащею имъ честью и достойнымъ удовольствіемъ, отпустить навсегда обратно за границу—въ ихъ отечество. И повезли ихъ на родину, въ Германію. Но чего хотѣли добрые, того не пустили злые... Едва злосчастные странники, подъ надзоромъ генералъ-лейтенанта Салтыкова, пробираясь къ Кѣнигсбергу, доѣхали до Риги, едва съ бывшей правительницы взяли тамъ присягу новой государынѣ, Елисаветъ-Петровна, по совѣту усерднаго Фридриха, своего лейбъ-медикуса Лестока, повелѣла имъ далѣе не двигаться. Въ то время, надо тебѣ сказать, изъ Голштиніи, съ великой тревогой, ждали въ Петербургѣ другого генерала, дѣйствительнаго камергера, барона Корфа, а съ нимъ родного племянника Елисаветы, — «чортюшку, что жилъ въ Голштиніи», какъ звала царица Анна ненавистнаго ей принца Петра Ѳеодорыча. Государынѣ шепнули — какъ бы германскіе родичи низложеннаго императора, въ отместку ей, не задержали на границѣ избраннаго ею наслѣдника. Но онъ благополучно прибылъ въ Петербургъ. И затѣяли его учить, а вскорѣ и женить. Пріѣхала нянька изъ Цербста, подъ именемъ графини

Рейнбушъ, — его невѣста, Екатерина Алексѣевна. Несчастнаго жъ правнука царя Ивана Алексѣвича, съ семьей, стали держать въ рижской цитадели. Выгодно было пугать государыню. Ну, Лестоку съ братіей и пугаль. Щеголь и ворунъ былъ онъ, а ужъ сквернавецъ перваго ранжиру... На маковкѣ пудра, подъ маковкой тундра... Да что — не могу, не могу... Душа разрывается. Спроси другихъ, всякъ тебѣ нынче о томъ скажетъ.

Ломоносовъ смолкъ опять. Мирovichъ, видя его волненіе, болѣе не спрашивалъ. Ему и безъ него, въ эти дни, удалось узнать немало новаго. Филатовна была въ духѣ и, не то что прежніе годы, не стѣснялась. Питомецъ ея былъ теперь взрослый человекъ, и страшнаго тайнаго приказа уже третій мѣсяцъ не существовало. Тряхнула она своими воспоминаніями. А чего только по этому поводу не знала вдова лейбъ-камцанца, какъ отъ мужа, такъ и отъ его товарищей!

— Охъ, терпѣли высланные мученики, — рассказывала Мирovichу Филатовна: — прожили въ Ригѣ болѣе года. А императрицѣ, свѣтъ-матушкѣ, доносили всякіе слухи и сплетни о задержанныхъ. Бывшая правительница ее-де не признаетъ, да не почитаетъ; а наперсница ея, фрейлина Менгденша, подбиваетъ-де ее къ бѣгству. Ходилъ, Вася, слухъ, будто правительница и взаправду покушалась бѣжать, въ мужицкомъ простомъ платьѣ, на кораблѣ. Изъ Риги ихъ перевели въ другую крѣпость. У Анны Леопольдовны здѣсь родилась дочь, Елизавета. Въ честь новой царицы назвали ее бѣдную... да не къ добру... Пробрехался въ Питерѣ спяну одинъ камеръ-лакей, что вскорѣ снова ждаты перемѣны, что быть опять царемъ Ивану Третьему. Твой землякъ какой-то, изъ старинны, писалъ другому, будто всѣ въ Питерѣ за Ивана, и это самое письмо было перехвачено... Да и фонъ-Минихъ съ Оинтерманомъ, во время суда надъ ними, думая, что сосланная-то фамилія ужъ за границей, немало на нихъ плели.

— Гнусные гусы, себялюбцы! — произнесъ Мирovichъ, не спуская съ рассказчицы пылавшихъ, негодующихъ глазъ.

— Такъ, такъ, Вася... А передъ тѣмъ пришель доносъ и о самомъ генералѣ Салтыковѣ, — чай, слышалъ о немъ? Опъ состоялъ при арестованныхъ. Ребенокъ-отъ импера-

торъ,—онъ въ ту пору былъ по четвертому годку—игралъ-де въ комнатѣ съ собачкой и ударилъ ее, этакъ шути, по лбу ложкой. Нянька и спроси Иванушку: «кому-де, батюшка, какъ вырастешь, голову отсѣчешь?» — А ребенокъ будто и отвѣтилъ: «Василию, молю, Федорычу», — сирѣчь Салтыкову. Вспрыгались тутъ отъ этакихъ вѣстей. Норвѣ дитяти, вишь, сказывался преострый, догадливый. — «Сослать ихъ подалѣ, въ самую глубь Россіи!—сталь твердить государынѣ лѣкаръ ейный, Лештокъ: — безъ того-де тронъ твой новый непроченъ». — А тутъ поспѣлъ, съ голчымъ совѣтомъ, и нѣмецкій король. «Не худо, — писалъ онъ государынѣ: — сослать Иванушку и его родителей въ такой уголокъ, гдѣ-бъ о нихъ и память умерла... Въ вашей, молю, странѣ, ваше царское величество, таковыхъ мѣстъ немало... Иначе ждите бѣдъ». — Таки-то рѣчи и порѣшили дѣло... Подумала свѣтъ-матушка-государыня, погадала и послала указъ: извѣстныхъ персонъ тайно отвезти въ городъ Ранибургъ, Рязанской, это выходитъ, губерніи. Снарядили бѣдныхъ, взяли, и по зимней стужѣ, въ метели и въ бездорожье, черезъ Калугу и Тулу, доставили въ Ранибургъ, въ началѣ весны. Приѣздомъ ошиблись, Василій, конвойные и мало не завезли ихъ къ киргизамъ,—вмѣсто Ранибурга въ городъ Оренбургъ...

— Эка, варвары!—прошепталь Мировичъ.

— Варвары? Слушай, другъ. То ли еще было впереди. На новомъ мѣстѣ несчастнымъ вышло хуже прежняго. Помѣстили ихъ,—о томъ мужу моему въ тайности сказывалъ опосля конвойный капралъ,—помѣстили въ ветхомъ и запущенномъ деревянномъ домѣ, гдѣ въ стары годы содержался въ ссылкѣ царевъ любимецъ, князь Меншиковъ. Не было тамъ ни годной провизіи, ни прислуги; вода гнилая, болотная. Принцесса была опять въ тягости. — Иванушка хворый. А тутъ въ Питерѣ снова пошли толки о возвратѣ къ правленію Ивана Антоныча. Осенью были страшныя казни: охъ! сама ходила — видѣла! А на допросѣ и не то еще подтвердилось... Въ гвардейскихъ полкахъ, другъ ты мой, такъ сдуру притомъ надѣялись, что говорили: наши, уповаемъ, и за ружье, въ такомъ разѣ, не возьмутся... А тутъ, по веснѣ, стала слышна новая молва... Въ городѣ шопотомъ, украдкой начали толковать, будто къ заключеннымъ въ Ранибургъ, — сама я слышала отъ кумы-протопо-

пицы, — дошелъ для сборовъ на церковь нѣкій, сказать тебѣ, раскольникій монахъ, и что онъ уговорился съ принцессою и съ принцемъ, тайно, съ ихъ согласія, похитить Иванушку, а дабы его укрыть, до возраста, среди своихъ единовѣрцевъ, бѣжалъ съ нимъ въ раскольникіи слободы, на Вятку, въ Польшу... Бѣглецовъ яко-бы настигли въ лѣсахъ подѣ Смоленскомъ; монаха повезли на розыскъ въ Питеръ, а Иванушку въ Валдайскій монастырь... Да не отложить ли, Васенька, сказъ назавтра? Поздно, стемнѣло...

— Ахъ, матушка, вы моя родная, говорите, говорите! — сказалъ, ухвативъ за руки Филатовну, Мирovichъ.

— Ну, послѣ такихъ слуховъ, Василій, въ рязанскую-то губернію къ заключеннымъ, какъ снѣгъ на голову, и прискакалъ нѣтъ-нѣтъ нашъ енараль-полицмейстеръ, баронъ Корфъ. Ему вѣдно было тѣхъ арестантовъ отвезти, подѣ сильной стражей, еще далѣе, а именно въ городъ Архангельскъ, и оттолѣ ночью, по тайности, въ Соловецкій монастырь... Аки громъ сразила заключенныхъ эта вѣсть о новомъ перѣздѣ. Думали они, что ихъ везутъ въ Сибирь, въ тотъ городъ, гдѣ жилъ всѣми клятый Биронъ. — «Не видать мнѣ болѣ сына! — вопила, безъ памяти, принцесса: — прощай, Ванюшка, мой царь, прощай навѣки!» Разлучили ее съ любимыми слугами и съ наперсницей, фрейлиной Менгденшей. Отобрали всѣ ея вещи, баулы, часы, дорогіе гребни, перстни... Сестру Менгденши я у Шепелёвыхъ послѣ видала, и она имъ про то сказывала... Аспиды, какъ есть, аспиды, послѣднюю атласну юпчѣнку съ принцессы сняли, повезли ее въ простомъ платьѣ...

Бавыкина отерла глаза.

— Иванушку, по пятому годку, — продолжала она: — подѣ охраной енарала Корфа, повезъ съ собой въ коляскѣ майоръ, не помню, какого полку, а по прозвищу Миллеръ. Двинулись осенью, опять въ бездорожье, дождь, а потомъ въ снѣгъ и холода. Подводы впередъ и квартиры для есылныхъ готовилъ полковникъ — прости Господи! — Чертовъ... Помню я его. Страшное этакое имя, а добрый былъ человѣкъ. Къ кучеру покойной царицы хаживалъ. Для ебереженія Иванушки вѣдно ему было имѣть при коляскѣ нарочитаго солдата, а ребенка звать, — надо думать, въ на-поминаніе о проклятомъ Гришѣ Отрепѣвѣ, — не иначе, какъ Григоріемъ, и, кого везетъ, никому не ебъяснять, а

верхъ въ колыскѣ держать повсегда закрытымъ. Приѣхали путники къ Бѣлому морю... И хотя въ тайнѣ отъ всѣхъ держали тотъ отъѣздъ, только слухи о немъ все-таки дошли до Питера. Полковникъ Чѣртовъ вдругъ, представъ, тронулся умомъ, — Господень перстъ. А пока узнали о томъ и увезли его тоже куда-то, онъ, среди всякой пустоши, болталъ и о тѣхъ несчастныхъ. Богѣ, Васинька, ничего про нихъ не знаю. Таковъ-то нощъ свѣтъ: самый онъ измѣничивый, линущій; тлѣю вездѣ пахнетъ... смертью..

Передавъ разсказъ Бавыкиной Ломоносову, Мировичъ, недѣлю спустя, улучилъ минуту и, будто мимоходомъ, спросилъ его, что потомъ произошло съ бѣдными заключенными?

— Изволь, разскажу, — отвѣтилъ Ломоносовъ: — какъ сблизился я съ фаворитомъ покойной государыни, съ Иваномъ Ивановичемъ Шуваловымъ, сталъ этотъ юный вельможа, а мой патронъ и другъ, ѣзжать ко мнѣ, на бесѣду о пользѣ наукъ и на уроки стихосложенія... Тутъ онъ иной разъ довѣрялъ мнѣ сказывать и о томъ, что слышалъ о младенцѣ-императорѣ... «Гдѣ они теперь?» — спросилъ я разъ Ивана Ивановича. — «На твоей родинѣ, говорить, въ архіерейскомъ подворьѣ, въ Холмогорахъ». — Такъ у меня, другъ ты мой, сердце и замерло. — «А развѣ не въ Соловкахъ?» — «Коммуникаціи, — отвѣчаетъ, — по полугода съ берегомъ тамъ не бываетъ, такъ боятся этакъ-то поодаль держать... Да и ледъ съ осени помѣшалъ тронуться въ Бѣлое море». — «Какъ же они, спрашиваю, тамъ живутъ?» — «Иванушку, объясняетъ, порознь содержатъ отъ родителей и сестеръ... Внесли его, бѣднаго, въ монастырскій дворъ, закрытаго съ головой, чтобъ никто и не зналъ, гдѣ и кого тамъ спрячутъ?» — Тяжело стало здѣсь заключеннымъ. Въ Раненбургѣ, самъ понимаешь, всѣ были выѣстъ, да и свободнѣй жили, гуляли по рошцѣ, по рѣкѣ. А тутъ не только за ограду двора, — изъ комнатъ на крыльцо ихъ не выпускали. Надо, впрочемъ, правду сказать о доставителѣ арестантовъ, о баронѣ Корфѣ: онъ сильно заботился о сосланныхъ. По его отозвали, а надзоръ за секретными персонами поручили капитану Миллеру. По веснѣ принцесса родила второго сына, Петра, а черезъ годъ родила третьяго, Алексѣя, и отъ тѣхъ родовъ, на двадцать-восьмомъ году жизни, кончилась. Тѣло ея, по именному указу, было тайн

въ спиртѣ привезено въ Петербургъ и съ церемоніей погребено въ Александровской лаврѣ, рядомъ съ ея матерью, царевной Катериной Ивановной. Императрица, при похоронахъ, много плакала... Самъ я видѣлъ... Приставъ Миллеръ неотлучно находился при Иванушкѣ, чтобъ онъ въ двери не ушелъ, либо отъ рѣзвости въ окно не высочилъ. Высокая деревянная ограда окружала дворъ, церковь, прудъ и дома, гдѣ поселились несчастные. Верота постоянно были заперты тяжелыми замками. Въ такомъ уединеніи, уныніи и скукѣ приставъ Миллеръ, какъ и капитанъ Чѣртовъ, тоже было тронулся умомъ. Ему разрѣшили выписать и помѣстить съ собой жену, но съ тѣмъ, чтобъ и она, блюдя секретъ, въ принцевыхъ комнатахъ неискходна была... На десятомъ году Иванушка чуть не умеръ отъ повальной въ тѣхъ мѣстахъ какой-то злокачественной хворобы. На двѣнадцатомъ его разлучили съ Миллеромъ, коего наградили деревнями и переименовали полковникомъ фузилернаго какого-то полка въ Казань. Передъ его выѣздомъ изъ Холмогоръ, съ принцемъ одновременно произошли два весьма важныхъ событія...

— Какія?—спросилъ Мирѡвичъ.

— А вотъ постой, стемнѣло, — растопимъ каминъ... Леночка, — обратился Ломоносовъ къ дочери, сидѣвшей тутъ: — глянь-ка, открыта-ль труба? — По словамъ однихъ, караульный солдатъ, а по увѣренію другихъ, изъ жалости къ мальчику, жена Миллера сообщила Іоанну о его происхожденіи.

— Что вы?—изумился Мирѡвичъ.

— Отецъ принца, Антонъ Ульрихъ, до той поры, надо тебѣ сказать, жилъ въ нѣсколькихъ стахъ нагахъ отъ тюрьмы Иванушки и даже не подозрѣвалъ, въ какомъ небреженіи, за зеленѣющими противъ его оконъ вербами огорода, томился и чахнулъ его сынъ... Тутъ онъ умолилъ, сказываютъ, жену Миллера, и та, передъ выѣздомъ въ Казань, тайно съ мужемъ выучила принца молитвамъ и грамотѣ... Послѣ того Іоаннъ прожилъ въ Холмогорахъ еще пять лѣтъ... Чаша бѣдствъ еще не была переполнена... На семнадцатомъ году злополучнаго принца перевезли въ Шлиобургскую крѣпость...

— Но по какой же причинѣ перевезли принца въ Шлио-

сельбургъ? — спросилъ Мирѡвичъ: — сколько теперь и въ корпусъ я ни допытываюсь о томъ, никто не объяснилъ.

Михайло Васильевичъ затуманеннымъ взоромъ взглянулъ на него.

— Тотъ же лукавый и гордый Берлинъ, тотъ же безсердечный себялюбецъ Фридрихъ, загнавшій несчастныхъ въ ледяную могильную глушь, былъ тому причиной, а если хочешь, то и я самъ! — сдавленнымъ, глухимъ голосомъ добавилъ Ломоносовъ, поднявъ и опять безсильно опустивъ руки: — да, государь мой, я въ томъ виновать, — на мнѣ грѣхъ...

— Что вы, Михайло Васильевичъ, можете ли это быть?

— Не удивляйся! Именно такъ; слушай теперь ужъ до конца... Дивны дѣла твои, Господи... дивенъ перстъ Божій...

Нѣсколько мгновеній Ломоносовъ, понурася, молча глядѣлъ въ разгоравшійся каминъ...

— Года за три до того, — или нѣтъ, постой, не такъ! — началъ онъ: — приходитъ разъ ко мнѣ въ лабораторію пре-большущій этакой, пустобородый, русъ волосомъ и ражій изъ себя купчина... Зовется тобольскимъ посадскимъ, Иваномъ Зубаревымъ. Проситъ образцы сибирскихъ рудъ испробовать въ академической лабораторіи. Подать я о нихъ апробацію. Думалъ ли, что стрясется такое горе! Послѣ, представъ, — образцы оказались не изъ Сибири. А между тѣмъ, онъ выспрашиваетъ о Холмогорахъ. — Вы, говоритъ, оттолъ родиною; такъ и такъ, молъ, собираюсь туда торговать, коли казна не дастъ пособія на разработку рудъ. — Я съ нимъ сталъ водить компанію. Ну, не безъ того, что и въ герберги хаживали, по душѣ толковали... Зашла рѣчь и объ Иванѣ Антонычѣ. Сердце у меня всегда по немъ болѣло. Я, значить, то и другое ему о немъ и высказалъ. Слушаетъ купчина, а самъ на усъ мотаешь. — «Вотъ бы, — вдругъ сказалъ онъ: — выкрасть бывшаго императора. То-то пошелъ бы сполохъ...»

— Что жъ вы ему на то? — спросилъ блѣдный, охваченный волненіемъ, Мирѡвичъ.

— Привожу такіе и такіе статскіе и политическіе ре-зоны, — «Какой, — говорю, — можетъ быть онъ государь? — онъ одичалъ, не учился». — Какъ попался Зубаревъ съ фальшивыми рудами, его въ сыскной приказъ. Но онъ оттуда далъ тягу. А черезъ годъ его поймали на посольской границѣ,

въ раскольниковыхъ свободахъ, какъ шпиона прусскаго короля. Послѣ ужъ я вспомнилъ, что онъ крестился двуперстно, былъ раскольникъ, да чуть ли къ тому и не скопецъ... Привезли его сначала въ Кіевъ съ бѣлыми конорадами, потомъ опять въ Петербургъ. Тутъ онъ, въ тайной канцеляріи, по довольному увѣщанію, съ пристрастіемъ, во всемъ Александру Ивановичу Шувалову и покаялся... Чтѣ же оказалось?.. Изъ приказа онъ бѣжалъ, черезъ Стародубъ, на Вѣтку, прямо въ раскольникій Лаврентьевъ монастырь, — куда передъ тѣмъ мѣтилъ и укрывшій Иванушку монахъ-бѣгунъ, — а оттуда пробрался чрезъ Кролевецъ въ Берлинъ. Бывшій въ нашей службѣ, выходецъ Маништейнъ представилъ его королю Фридриху. Фридрихъ далъ ему чинъ полковника своего регимента и послалъ его къ раскольникамъ. Тамъ, за обѣщаніе свободнаго выбора поповъ, онъ долженъ былъ приготовить бунтъ въ пользу Іоанна и затѣмъ ѣхать въ Архангельскъ, — куда къ веснѣ былъ снаряженъ прусскій король, — подкупить солдатъ и портомоюку и похитить Ивана Антоныча въ Берлинъ... На дорогу Зубареву Фридрихъ собственноручно далъ тысячу червонцевъ и двѣ медали, съ портретами — своимъ и дѣда бывшаго императора. Во всемъ этомъ Зубаревъ сознался на допросѣ и вторично то же подтвердилъ передъ смертью, на исповѣди, въ тайной экспедиціи, гдѣ и умеръ... Не защити меня фаворитъ государыни, былъ бы и я на розыскѣ... Впрочемъ, спасло и то... о нашихъ рѣчахъ про Холмогоры Зубаревъ не сказалъ на розыскѣ ни слова. Чуть онъ все объяснилъ, въ Холмогоры поскакалъ сержантъ лейбъ-кампаніи Савинъ. Онъ въ наглухо закрытой каретѣ секретно ночью и вывезъ оттуда принца Іоанна... А приставу, сторожившему принца, объявили повелѣніе — никому не подавать ни малѣйшаго вида о вывозѣ арестанта, въ кабинетъ же рапортовать, что онъ, съ семьей, подъ его карауломъ находится, какъ и прежде, а за остальными наикрѣпчайше смотрѣть, чтобъ не учинили утечки. Савинъ доставилъ секретно Ивана Антоныча въ Шлиссельбургъ по веснѣ и всю дорогу отнюдь не смѣлъ ему говорить, куда онъ его везетъ и далеко ли будетъ то мѣсто отъ столицъ. Здѣсь принцу Іоанну дали прозвище колодника Безыменнаго, а ближайшими приставами надъ нимъ назначили какого-то прапорщика да сержанта... Фаворитъ Шуваловъ не мало удивлялся, что одинъ изъ нихъ

судился за убійство на эзекуціи солдата и поминованъ, съ переводомъ въ эту должность, а другого самого солдата чуть не заповори, за жестокости,—такъ ихъ сквозь строй гоняли, а его въ крѣпость упрятали... Въ инструкціи приставамъ было сказано: кромѣ ихъ, въ казарму принца никому не ходить и его не видѣть; каковы арестантъ, старъ или молодъ, русскій или иностранецъ, никому не говорить; и въ письмахъ въ домъ свои не упоминать, гдѣ сами они находятся и изъ котораго мѣста пишутъ. Съ воцареніемъ новаго государя, въ прошломъ январѣ, главнымъ стражемъ надъ принцемъ назначили капитана гвардіи, князя Чурмантѣва...

— Вотъ случай! вотъ кстати!—радостно перебилъ Мирдовичъ. — Ахъ, Боже мой! всѣ эти дни я думалъ-думалъ... представьте, вечеръ-то у Дрезденши... тамъ именно толковали... и Рубановскій пишетъ...

— Не радуйся, Василій Яковичъ, не радуйся!—какъ бы не разслышавъ его, продолжалъ Ломоносовъ:—помни одно, строгостей въ этомъ, думаю, отнюдь не убавили... Тамошнему коменданту давно данъ такой приказъ, чтобъ въ крѣпость, кто бы ни пріѣхалъ, хотя бы генераль, или фельдмаршалъ, или подобный имъ, никого не пускать. Но вотъ что еще ему добавили: что если и комнатъ его высочества, великаго князя Петра Федорыча, камердинеръ въ крѣпость пріѣдетъ, то и того камердинера не пускать, а объявить ему, что безъ указа тайной канцеляріи—не велѣно. Много сатириствовали надъ этой добавкой къ указу фаворитъ покойной государыни... И тѣхъ инструкцій не отмѣнили...

— Умереть—не понимаю!—сказалъ Мирдовичъ: — изъ-за чего тутъ былъ упомянуть великій князь?

— Упомянуть онъ былъ здѣсь не даромъ... Въ то время наслѣдникъ особенно враждовалъ съ своей женой. А, разойдясь съ ней, по слѣпотству къ прусскому королю, онъ чуть въ конецъ не разошелся и съ государыней-теткой. Императрица до глубины души была возмущена такимъ шиканствомъ и противностями своего племянника. Примирить его съ женой ей не удалось, даже для вида. А въ поклоненіяхъ Пруссіи онъ былъ до того продерзостень, что не вѣрилъ побѣдамъ русскихъ и даже сообщалъ Фридриху тайные планы нашей арміи. Тогда-то одумавшійся канцлеръ Бестужевъ далъ Елизаветѣ совѣтъ: выслать племянника обратно за гра-

ницу, а на его мѣсто, въ наслѣдники русскаго престола, призвать изъ заточенія Ивана Антоныча...

— Быть не можетъ! — произнесъ, чуть не привскочивъ, Мировичъ: — опить на тронъ этого узника? желѣзную маску?..

— Вѣрь мнѣ, знаю это, какъ тебя вижу... Пять лѣтъ назадъ, — такъ кончу я печальную отвѣдь, — государыня Елисаветъ-Петровна объявила желаніе тайно видѣть принца Іоанна.

— И видѣла

— Одни говорятъ, что это свиданіе было въ домѣ Шувалова, на Невскомъ, у стараго дворца; другіе же, что государыня, при пособіи канцлера Воронцова, видѣлась съ принцемъ у Смольнаго, въ домѣ бывшаго секретаря тайной экспедиціи... Принца, подъ предлогомъ совѣта съ докторомъ, привезли на курьерскихъ къ ночи; рано утромъ онъ опять былъ въ Шлиссельбургѣ. Одѣли его въ дорогу прилично. Петербургскій форштадтъ онъ принялъ за слободу и не догадывался, съ кѣмъ, черезъ шестнадцать лѣтъ, ему пришлось снова встрѣтиться... Елисаветъ-Петровна на это свиданіе явилась въ мужскомъ платьѣ. Кроткій и важный видъ несчастнаго юноши глубоко ее тронулъ. Она взяла его за руку, несмѣло, подъ видомъ доктора, сдѣлала ему дватри ласковыхъ вопроса. Но, когда ничего не знавшій принцъ взглянулъ ей въ глаза и, въ отвѣтъ ей, услышался его жалобный, раздражавшій душу голосъ, государыня вздрогнула, залилась слезами и, прошептавъ окружающимъ: «голубь, подстрѣленный голубь! не могу его видѣть!» — уѣхала и больше его не видѣла и о немъ не спрашивала... А на замыслы Фридриха освободить принца объявила: «ничего не подѣластъ король; сунется, велю Иванушкѣ голову отрубить»...

Ломоносовъ помѣшалъ въ каминѣ. Посыпалось нѣсколько искръ, но дрова, запылавшія вначалѣ, понемногу угасли. Въ комнатѣ окончательно стемнѣло. Столбы сѣвернаго сіянія сильнѣй разыгрались, пышно мерцаая голубыми и розовыми полосами сквозь вѣтви безлистныхъ, глядѣвшихъ въ окно деревъ.

— Высылка за границу Петра Ѳеодоровича, — заключилъ Ломоносовъ: — разумѣется, была отмѣнена. Но великій князь дознался о секретной встрѣчѣ тетки съ Иваномъ Антонычемъ. Онъ сильно сталъ опасаться этого тайнаго соперника и — странно сказать! — въ то же время, по природной добротѣ,

всѣмъ сердцемъ ему сострадалъ и сочувствовалъ. — Какое онъ, да гдѣ и какъ содержится? — допытывалъ во дворцѣ Петръ Федорычъ встрѣчныхъ-поперечныхъ, распудренныхъ дворянчиковъ: — да что онъ говорилъ съ государыней, въ какомъ мѣстѣ было рандеву и что между нихъ, при той конверсанціи, условлено? — Точныхъ отвѣтовъ на это онъ ни отъ кого, разумѣется, не добился, а только больше и больше сердилъ безъ того недовольную государыню... Такъ прошелъ годъ и два, и цѣлыхъ пять... Со смерти императрицы, всѣ снова забыли о принцѣ... И живетъ онъ, двадцать-второй годъ живетъ въ застѣнкѣ, подъ замкомъ... И не видить, не слышитъ никого, кромѣ своей стражи. И врядъ ли знаетъ онъ, живы ли его родители, что дѣлается на божьемъ свѣтѣ и гдѣ, на какомъ концѣ его былого царства находится его тюрьма... Что и говорить! царствовать онъ уже не можетъ: куда о томъ и думать!.. Да хоть бы на волю его, дать увидѣть свѣтъ, умягчить сердце бѣднаго, умъ... Ахъ, если бы тебѣ удалось... побывать тамъ и узнать!.. только узнать... Да неужели-жъ не явится божьяго, сильного чуда, чтобъ избавить ни въ чемъ неповиннаго этого мученика?..

Ломоносовъ смолкъ. Въ темномъ углу, за шкапомъ, слышался подавленный вздохъ. Кто-то незримый тамъ тихо дышалъ и будто плакалъ. — «Неужели? — суевѣрно, съ шевельнувшимися на головѣ волосами, подумалъ Мирѳичъ, — неужели духъ принца слетѣлъ и слушаетъ насъ?» — Ломоносовъ всталъ. За шкапомъ была его Леночка. Онъ притянулъ ее къ себѣ, осыпалъ поцѣлуями.

— Да за что же, за что? — повторяла, дрожа и ломая руки, потрясенная разсказомъ отца, дѣвочка: — ахъ, скверные люди!.. Какіе они злые!.. Иди, папа, къ царю — проси за бѣднаго...

— Слышишь, Василій Яковлевичъ? — произнесъ, прижимая дочь къ груди, Ломоносовъ: — слышишь?.. дѣти вопіютъ!.. А они вѣдь увидятъ царствіе небесное!..

— Я поѣду въ Шлиссельбургъ, къ приставу Чурмантѣеву! — сказала, отирая пылавшее лицо, Мирѳичъ: — что бы ни случилось, а я проникну туда; авось что-нибудь провѣдаю и о бѣдномъ, забытомъ всѣми затворникѣ... Генераловъ,

вонъ, даже фельдмаршаловъ туда не пускають... ну, да посмотримъ—была не была...

— Эхъ-ма, старъ становлюсь, а то бы и я съ тобою покатаиъ,—произнесъ Ломоносовъ:—погоди, не отыщу ли какой-нибудь, подходящей тебѣ въ ономъ любовномъ дѣлѣ, протекціи...

Ломоносовъ не могъ оказать пособія Мирovichу. Выручилъ послѣдняго знакомецъ Григорій Орлова, князь Чурмантъевъ, къ которому тотъ съ товарищами собирался, въ памятную кутежную ночь, доигрывать въ карты. Этотъ Чурмантъевъ былъ отцомъ пристава шлиссельбургской тюрьмы. Мирovichъ добылъ отъ него, черезъ Орлова, письмо къ его сыну Юрію Андреевичу, справилъ себѣ на выигранныя деньги полное обмундированіе, по новому прусскому образцу, нанялъ чухонскую тройку и поѣхалъ въ Шлиссельбургъ. Пріятель Ушаковъ оказалъ ему при этомъ случаѣ другую услугу, досталъ ему рекомендацію къ коменданту Бередникову, съ племянникомъ котораго оба они служили въ послѣднюю прусскую войну.

Шестьдесятъ верстъ, берегомъ Невы, а потомъ лѣсными, глухими проселками, мелькнули незамѣтно. Нѣкоторые свѣдѣнія, переданныя камеръ-лакеемъ Касаткинымъ, сильно смутили Мирovichа. Тотъ, между прочимъ, сказалъ: «какъ было не уйти барышнѣ? За нею здѣсь такъ гонялись, что другая, не токма въ Шлюшинъ, на край свѣта бы ушла»...

— Боюсь я за тебя, боюсь,—толковала, провожая съ Ушаковымъ Мирovichа, все узнавшая отъ него Филатовна.

— Но, чего вы, смѣшно право, боитесь?

— Да вѣдь я жъ видѣла, Василій, сказываю тебѣ, какъ полосовалъ катъ на Сытномъ рынкѣ,—за эваго за самаго, за Иванушку,—первую статсъ-даму, Наталью Лопухину, а съ нею писаную красавицу Анну Бестужеву... Ой, смертный страхъ и вспомнить!.. Билъ тройчаткой въ ключья тѣло, разсѣкалъ въ кровь спины, тянулъ клещей изъ ртовъ, при всемъ народѣ, языки... Куда ѣдешь? опомнись...

— Богъ съ вами, что вы, не бойтесь; не тѣ нынче времена, — сказалъ Филатовиъ Ушаковъ:—вернется съ несомнѣннымъ успѣхомъ, свадебку сыграемъ...

— Тебѣ все свадьбы, шилохвость, блюдолизъ!—огрызнулась Бавыкина.

Была суббота въ концѣ четвертой недѣли великаго поста.

Мирѡвичъ все это хорошо помнилъ, такъ какъ отлучка изъ Петербурга ему была разрѣшена только до Пасхи, на первый день которой императоръ собирался перейти въ новый, оконченный постройкой зимній дворецъ, и всѣмъ находившимся въ столицѣ офицерамъ былъ объявленъ приказъ: явиться въ тотъ день ко дворцу, на вахтпарадъ.

Отпустивъ чухонца, Мирѡвичъ переночевалъ въ Шлиссельбургѣ, на постояломъ, побродилъ по городу и по берегу Ладожскаго озера, а когда стало смеркаться и въ крѣпостной церкви зазвонили къ вечернѣ, онъ прошелъ по льду къ крѣпости. Здѣсь у воротъ Мирѡвичъ объявилъ, что привезъ письмо коменданту и приставу Чурмантѣеву. Его выпустили въ крѣпость. Онъ взглянулъ на церковь. — «Спрошу кого-нибудь изъ богомольцевъ, какъ лучше пройти къ князю?» — подумалъ онъ, всходя на паперть. — Въ мягкомъ мгlistомъ воздухѣ еще морозило, но уже слышалась близость недалекой весны и тепла.

VII.

Въ Шлиссельбургѣ.

Вечерня кончилась. Богомольцы стали выходить изъ церкви, — горожане — къ воротамъ, гарнизонные обыватели — по разнымъ угламъ крѣпости. Мирѡвичъ обратился къ священнику.

— Письмо къ Юрію Андреевичу? — ласково спросилъ его плотный, рябой и бѣлолицый, съ темно-русой бородой, отецъ Исай: — отъ родителя, сударикъ, изволили доставить?

— Точно такъ-съ; комиссія отъ его отца — лично отдать.

Священникъ пожевалъ губами, погладилъ пушистую бороду. Онъ былъ большой добрякъ, но лѣнтяй невообразимый; день-денской лежалъ у себя на диванчикѣ, даже иной разъ, лежа, и пищу принималъ отъ столько же лѣнливой, добросердечной и расплѣтвшейся дочери. А когда жилъ онъ въ селѣ, до перевода въ крѣпость, то ни плетня, ни канавы не было у его двора, сарай много лѣтъ стоялъ безъ крыши, и лошаденки съ коровой пребывали на привязи на открытомъ воздухѣ, либо мыкались по сосѣднимъ дворамъ. Его и самого звали тамъ «попъ мытарь».

— Видите ли, какъ бы вамъ, то-есть, — въ раздумѣ произнесъ отецъ Исай, косясь въ глубь двора: — князь нашъ

боленъ теперь, да и живетъ онъ не здѣсь, не съ нами съ всѣми, а въ отдѣльномъ домѣ, за тою—вонъ видите—особокъ стѣнкой, за мостомъ... Эвось, макушечка-то... темной крыши макушечка... видно вамъ?

Отецъ Исай придержалъ рясу на правой рукѣ, капля-пулъ и указалъ на башню поверхъ высокой стѣны, замыкавшей особо-огражденное мѣсто въ лѣвомъ углу крѣпостного двора.

— Какъ же быть?—произнесъ Мирovichъ.

— Да вамъ очень, тово... нужно?—спросилъ, поглядывая мягкими, сонными глазами въ лицо Мирovichа, священникъ.

— Еще бы... затѣмъ и ѣхалъ!.. издавека-съ!.. дѣло нетерпящее... и съ племянникомъ коменданта въ походѣ былъ... нельзя ли, батюшка, какъ-нибудь?

— Вотъ-вотъ... а вѣдь и не удастся, не удастся, пожалуй!—сказалъ, опять задвигавъ губами, отецъ Исай:—и ворота скоро запрутъ... и все! оно, если хотите, вольготнѣе у насъ нынче стало... вотъ и я въ крѣпости теперь, а не въ городѣ живу... только все еще, ой, какъ строго!.. Изъ Питера прибыли?

— Изъ Питера...

— И будете недовольны! а-а? сколько ѣхали!.. Развѣ вотъ что-съ; заверните-ка сюда... Это вотъ, за комендантскими, мои келейки. Обождите; попробую, снесусь цидулочкой съ княземъ. У насъ съ нимъ частыя передачи. Его гувернѣрка и моихъ подросточковъ въ бурсу теперьча готовить; сойдутся—чистый пинцыонъ... Третій мѣсяцъ ужъ этакъ-то живемъ; прежде не то было. Отслужилъ службу, да и за ворота въ Шлюшинъ... а теперь свободнѣе, при государѣ-то Петрѣ Ѳеодоровичѣ... пожалуйста-съ.

Священникъ провелъ Мирovichа къ себѣ, усадилъ его, а самъ вышелъ отправить обѣщанную цидулку къ Чурмантѣву.

— За письмомъ отъ князя пришли-съ,—погода, сказалъ онъ Мирovichу.

Онъ отворилъ дверь въ боковую, внутреннюю горницу. Мирovichъ вошелъ туда. Тамъ, лицомъ къ окну, залитому блескомъ заходящей зари, стоялъ княжескій посоль. Мирovichъ вздрогнулъ, понятился: передъ нимъ была Поликсена.

Отецъ Исай увидѣлъ, какъ офицеръ и дѣвушка смѣшались, какъ въ лицахъ ихъ изобразилось недоумѣніе и радость, и какъ первый—горячо, вторая—растерянно протя-

нули другъ другу руки и нѣсколько мгновеній молчали, глядя другъ на друга.

«Вотъ оно что! влюбленные, сирѣчь, птички! тайная встрѣча! — подумалъ священникъ, отступивъ за порогъ и притворяя за собою дверь, — чего не бываетъ! и въ нашей труппѣ свѣтъ жизни взойдетъ: Реввеку отерывый, Исааку уневѣстивый... Исайя, ликуй!»

— Какими судьбами? вотъ неожиданно! — вся вспыхнувъ и чрезъ мгновеніе поблѣднѣвъ, произнесла Пчѣлкина, въ загорѣломъ, сдержанномъ и мужественно-погрубѣвшемъ воинѣ узнавая черты когда-то застѣнчиваго, робкаго и до глупости влюбленнаго въ нее кадета: — откуда Богъ принесъ?

— Изъ арміи, васъ видѣть жаждалъ! — отвѣтилъ Мирovichъ: — все бросилъ, службу...

— Узнали?

— Васъ-то?

Мирovichъ не сводилъ тихо радостныхъ, сыпавшихъ искры глазъ съ Поликсены. Она, опустивъ руки и, по привычкѣ, слегка склонивъ голову, въ полъ-оборота, съ улыбкой, какъ бы что-то обдумывая, глядѣла на него.

— Нѣтъ, больше вашей пастушки, — сказала она, шутливо хмури брови: — не та, не та... не правда ли? Унесло время... Зачѣмъ пріѣхали?

— Все въ васъ то же, полноте! не измѣнились вы! — отвѣтилъ Мирovichъ: — я только не выполнилъ завѣта... Не сталъ ни знатнѣй, ни богаче. Только васъ зато, видите, не забылъ... чуть вырвался, пріѣхалъ. Отчего вы не писали? отчего вдругъ замолкли? Или еще больше помучить хотѣли?

Поликсена усадила гостя рядомъ съ собою, еще разъ взглянула на него, ласково улыбулась. Онъ сообщилъ ей о письмахъ къ Чурмантѣеву и къ коменданту Бередникову.

— Вотъ какъ устроилъ, — заключилъ онъ.

— Ну, можно ли, — сказала она: — какое дѣтство! изъ-за меня ѣхать, бросать дѣло. Стоило ли того! А сколько событій съ нашей разлуки, сколько перемѣнъ!

— Вы такъ исчезли, скрылись, — продолжалъ Мирovichъ: — что и слѣдъ вашъ замело. Вѣрите ли, ужъ отчаявался, на силу васъ отыскалъ.

— А что здѣсь дѣлается, что здѣсь! — сказала Поликсена, указывая въ окно на мрачныя, внизу стемнѣвшія, вверху кос-гѣ еще освѣщенные зарей стѣны крѣпости: — слышали?..

И какъ васъ пропустили, какъ вы рѣшились явиться сюда?

— Если бѣ вы были на днѣ моря, въ могилѣ, я бросился бы къ вамъ... Скажите, я кое-что слышалъ... кто васъ преслѣдовалъ. Назовите его... Отъ кого вы скрылись?

— Здѣсь могила,—отвѣтила Пчѣлкина:—и знаете ли, слышали, кто здѣсь заключенъ?

— Знаю.

— Навѣки, вѣдь, съ дѣтства,—продолжала Поликсена:—ребенкомъ запертъ въ четыре стѣны,—безъ воздуха, свѣта, безъ живого людского слова, а онъ теперь ужъ не дитя, человѣкъ!

— Да,—произнесъ Мирѡвичъ:—слышалъ я, не вѣрилось; не приведи Господь никому другому.

Внезапная мысль мелькнула въ головѣ Поликсены. «Отваженъ, смѣлъ,—подумала она,—попытаться?..»

— Вы хотѣли видѣть Юрія Андреича?—спросила она:—зачѣмъ?..

— Никого! васъ однѣхъ хотѣлъ я видѣть, васъ! — прошепталъ Мирѡвичъ:—князь только предложъ...

— И съ племянникомъ коменданта были въ походѣ?

— При мнѣ онъ былъ раненъ, подъ Берлиномъ, въ отрядѣ Хорвата, при бомбардировкѣ Галльскихъ воротъ. Я съ товарищемъ Ушаковымъ былъ и на его похоронахъ.

— Давайте, давайте скорѣе письма! — сказала, заторопившись, Поликсена:—приходите завтра. Сегодня ужъ поздно. Князь боленъ; но съ оглядкой, помните, къ намъ надо идти... Будьте осторожнѣй... Есть на то особая причина.

— Какая?

— Юрій Андреичъ заболѣлъ,—отвѣтила Пчѣлкина, помедливъ:—недѣли двѣ назадъ, онъ сильно потревожился, испугался, какъ загорѣлось ночью въ казармѣ той персоны. Труба, что ли, въ печь лопнула, затѣлась перегородка, а тамъ и дверь.

— Что-жъ, спасли узника?

— Спасли, но князь свихнулъ себѣ ногу, какъ выбѣжалъ на морозную лѣстницу ночью, съ просонковъ. Всѣ, въ этомъ переполохѣ, потеряли головы. Казематъ починаютъ теперь, передѣлываютъ.

— А куда же дѣли, на время перестройки, принца?

Пчѣлкина опять замолчала, прислушалась.

— Пока стали передѣлывать печь и чинить дверь, князь,

видите ли,—открою вамъ по секрету:—перевелъ принца въ свое помѣщеніе.

— Какъ? онъ и теперь у Чурмантѣева?

— Ну, да... у него... Никому князь не довѣряетъ... Только, ради Бога, молчите про это. Никому не скажете? даете слово?

— И вы видѣли принца? видѣли?—спросилъ, задыхаясь, Мирѳичъ.

«Какъ ему отвѣтить? что сказать?»—подумала Пчёлкина.

— Да... то-есть, нѣтъ,—отвѣтила она:—разумѣется, не видѣла... видѣть нельзя... Но' если бы и случилось, вамъ что изъ того?

— Какъ? принца Іоанна? при такихъ строгостяхъ?

— Да, было бы чудо, не правда ли?—произнесла Пчёлкина:—комендантъ, всѣмъ извѣстно, строгій-престрогий, одна форма, машина, и не допустилъ бы принца перейти къ князю. Только самъ онъ; понимаете ли, виненъ въ этой печи; ну, и боится, что чуть не удушили принца... Не слышь караульный дыма изъ сѣней,—все бы пропало... Теперь же молчить главный начальникъ, молчать и остальные.

— Чѣмъ же тутъ виноваты Берендикивъ?

— Князь и его помощники неоднократно репортовали коменданту, что нужны починки въ томъ помѣщеніи, пророчили бѣду... По статуту, князь тоже долженъ былъ донести въ Питеръ, что комендантъ его не слушаетъ; и его, стало, есть доля отвѣта въ этомъ.

— Гдѣ-жъ помѣщается у князя принцъ?

— Нашего дома отсюда не видно, —отвѣтила Поликсена:—онъ въ два этажа, въ томъ вонъ дворѣ, за стѣной. Вверху мы помѣщаемся, внизу — караульные. У насъ семь комнатъ... Принцъ... ахъ, нѣтъ... даете ли слово молчать?

— Клянусь...

— Принцъ запертъ въ дальней, подъ замкомъ; тамъ и окно съ рѣшеткой. Одинъ ходъ отъ арестанта къ намъ, другой наружу, къ кухнѣ, гдѣ часовой. Съ той стороны комнату ему чистятъ; отъ насъ носятъ пищу. И ключи отъ дверей у князя.

— Кто-жъ носитъ пищу принцу?

— Самъ князь,—отвѣтила, подумавъ, Поликсена.

— Но онъ боленъ, вы говорите; какъ онъ можетъ при-служивать?

Глаза Пчёлкиной сверкнули досадой.

— Самъ, говорю, черезъ силу подаетъ, кому-же больше?—
отвѣтила она недовольно:—хоть трудно, однако, другихъ не
пускаетъ.

— А помощники князя? ихъ, слышно, двое...

— Да... но принцъ давно не выноситъ ихъ присутствія.
Больно ужъ они его обижали, при прежнихъ старшихъ при-
ставахъ. Знаете, какія строгости предписаны? Буде кто от-
важился бы освобождать арестанта, живого въ руки не ве-
лѣно его отдавать... А за непорядки и противности при-
ставу, дозволено сажать его на цѣпь, пока не усмирится, а
то бить палкою и плетью.

— Страшно!—сказалъ Мирѡвичъ.

— Уходите, Василій Яковличъ, до-завтра. Но, ради всего
святого, о слышанномъ отъ меня ни слова. Еще погово-
римся... И, можетъ-быть, вы... или кто другой... мало ли...
впрочемъ, это послѣ... Да вотъ еще, — не забудьте попро-
сить князя и Бередникова о разрѣшеніи вамъ и впредь ви-
дѣться... До свиданія.

Мирѡвичъ припалъ къ протанутой ему рукѣ.

«Ну, цѣлуются! — подумалъ подошедшій въ то время къ
двери отецъ Исай, — дѣло идетъ на ладъ... На Өоминой,
пожалуй, и свадьбу сыграемъ... Вотъ они, новыя-то вре-
мена!.. Уневѣстивый Исааку, открывый Реввеку»...

На утро Мирѡвичъ явился къ князю Чурмантѣеву. Онъ
не показалъ вида, что знаетъ, какая особа теперь гостила
у него. Подготовленный Пчѣлкиной, больной,—хотя и былъ
въ постели,—принялъ Мирѡвича отменно-ласково. Онъ ска-
залъ, что ушибъ ногу на ледяной горѣтѣ, устроенной о ма-
сляной для его дѣвочекъ. Благодарилъ Мирѡвича за вѣсти объ
отцѣ и долго его спрашивалъ о племянникѣ коменданта.

— Радъ будетъ старикъ услышать отъ васъ... А пока
вотъ наша общая опекуша и утѣшительница, — сказалъ
Чурмантѣевъ, обратясь къ Пчѣлкиной: — и сиротъ, моихъ
дѣвочекъ, досматриваетъ, и меня больного. Только недолго
теперь, видно, быть ей съ нами! Улетитъ сѣра утушка за
сизымъ селезнемъ,—прибавилъ князь, подмигивая гостю.

Поликсена его не слушала. Мысли ея были далеко.

«И здѣсь, чародѣйка, всѣхъ плѣнила и обворожила!»—
тревожно подумалъ Мирѡвичъ. Онъ всталъ и обратился къ

приставу съ просьбой о дозволеніи продолжать ему визиты. Чурмантѣвъ потеръ переносищу.

— А комендантъ? — сказалъ онъ въ раздумѣ: — развѣ вотъ что, сударь, — не играете ли въ шахматы? Нашъ старикъ великій охотникъ.

— Игрывалъ, да ужъ давно, — отвѣтилъ Мирovichъ: — развѣ для развлечения.

— И отлично, снесемъ, — рѣшилъ приставъ: — зайдите къ нашему шефу, скажите респектъ. Не снимутъ, чай, головы за то, что женихъ... извините, что такъ говорю... ну, влюбленный Адонистъ станетъ къ своей Филомелѣ хаживать, хоть бы и въ такой, прости Господи, гробовой трущобѣ, какъ наша... Не тѣ времена... У меня не доаволить видѣться, у него самого просите встрѣчаться...

Въ качествѣ искателя руки Поликсены, хотя и непомянутой съ ней, Мирovichу были разрѣшены посѣщенія крѣпости. Комендантъ принялъ его холодно и сухо, чѣмъ Чурмантѣвъ. Но, когда въ слѣдующій вечеръ Мирovichъ проигралъ ему нѣсколько новенькихъ рублей, съ портретомъ Петра Третьяго, дѣло и тутъ устроилось.

— Юрій Андреичъ проситъ за васъ, — сказалъ съ важностью Берендиновъ: — любовные, сударь, резоны извинительны. А проситъ, то пусть за васъ и отвѣчаетъ. Не крадете, впрочемъ, невѣсту, — сама идетъ за васъ... Приходи къ князю, не забывайте и насъ.

— А что, государынька, теперь, небось, и веселѣ стали, — спросилъ Чурмантѣвъ Поликсену: — эхъ-эхъ, опоздать я... Дай вамъ Богъ, дай... Я же, паче всего, теперь надѣюсь на вашу скромность... съ молодымъ человѣкомъ о чувствахъ можете, а о прочемъ-съ ни гу-гу. Понимаете?

Пчёлкина всѣми святыми клялась не выдавать тайны. Она, между тѣмъ, была далеко не по себѣ: провела безъ сна нѣсколько ночей, плакала и томилась, не помня себя.

Гарнизонъ къ Мирovichу вскорѣ приглядѣлся. Часовые у воротъ крѣпости и у входа въ особый дворъ, гдѣ помѣщался главный приставъ, пропускали его безпрепятственно. Василій Яковличъ заходилъ къ коменданту, бесѣдовалъ съ нимъ, игралъ въ шахматы, потомъ къ Чурмантѣву, и оставался у послѣдняго нерѣдко до поздняго вечера. Въ разговорахъ съ Поликсеной и съ княземъ, онъ съ невольнымъ трепетомъ приглядывался къ стѣнамъ, прислушивался къ

мирной домашней хлопотнѣ, не мелькнетъ ли хоть нѣкое вѣяніе того, кто, какъ онъ знаетъ, былъ гдѣ-то въ одной изъ этихъ самыхъ комнатъ, подѣ одною съ нимъ кровлей, дышалъ однимъ съ нимъ воздухомъ.

Ничего не примѣчалось. Стѣны были нѣмы, либо оглашались смѣхомъ и бѣганьемъ дѣвочекъ Чурмантѣева, комнаты которыхъ были, какъ угадывалъ Мирovichъ, смежны съ временной тюрьмой узника. Онъ даже разглядѣлъ въ глубинѣ дѣтскихъ покоевъ перегородку съ наглухо запертою дверью. За нею, очевидно, и былъ ходъ къ арестанту.

Поликсена, въ хорошую погоду, брала своихъ питомицъ и, въ сопровожденіи Мирovichа, выходила съ ними въ церковный садъ, либо за стѣны крѣпости. Дѣвочки рѣзвились, играли. Мирovichъ велъ нескончаемыя рѣчи о прошломъ, о корнусахъ, о походѣ, строилъ планы о будущемъ, перебиралъ въ умѣ, какъ и когда ему приступить къ концу, просить о помолвкѣ и о назначеніи срока свадьбы. Поликсена слушала его съ раздраженіемъ, съ тайною болью въ сердцѣ. Ей было и жаль его, и досадно, жутко думать, что не тѣмъ были заняты ея мысли. «А тотъ бѣднякъ, тотъ застѣнщикъ, сидитъ и никто о немъ не помышляетъ!» — говорила она себѣ, разсѣянно внимая рѣчамъ Мирovichа.

Было рѣшено: едва Чурмантѣевъ переведетъ въ прежнее помѣщеніе ввѣреннаго ему затворника и оправится въ своемъ здоровьѣ, Поликсена уѣдетъ въ Петербургъ, остановится у Птицыныхъ и оттуда на свое мѣсто, къ дѣтамъ Чурмантѣева, вышлетъ другую няню.

— А тогда и свадьба, не правда ли? — спрашивалъ, взглядываясь въ нее, Мирovichъ.

— Не уйдетъ отъ насъ, — отвѣчала она: — больше ждали, еще подождемъ... Не въ томъ дѣло. Ахъ, поймите же, не въ томъ...

— Да въ чемъ же? — спрашивалъ Мирovichъ.

— Испытать васъ хочу, что вы за человѣкъ...

— Попробуйте, налагайте искусь, да тяжелѣе, поскорѣй.

— Нѣтъ, о, нѣтъ! въ другой разъ... время идетъ, будьте готовы...

— Когда же?

— Увидите; будьте только готовы...

«Что у нея на умѣ?» — терялся въ догадкахъ Мирovichъ. Чурмантѣевъ обратился къ Пчёлкиной съ просьбой.

— Вы отходите отъ насъ,—сказаль онъ ей наединѣ:— что дѣлать. Судьбы законъ! помоги вамъ Богъ. Но, пока вы здѣсь, мнѣ хотѣлось бы, чтобъ мои дѣвочки при васъ отговѣли, а чтобъ ихъ шалости и бѣготни въ конецъ не досаждали принцу, начните, Поликсена Ивановна, хоть нынче.

Пчёлкина стала водить своихъ воспитанницъ утромъ и вечеромъ въ церковь.

Мирovichъ, въ ея отсутствіе, не удалялся отъ ширмы, за которою лежалъ въ постели больной Чурмантѣевъ. Онъ разсказываль князю о видѣнномъ и слышанномъ въ чужихъ краяхъ, перевязываль ему больную ногу, подаваль лѣкарства, а когда Чурмантѣевъ въ томившей его лихорадкѣ страдалъ безсонницей, читаль ему любимую книгу покойной жены князя, купленный ею гамбургскій переводъ на нѣмецкій языкъ «Робинзона Крузе».

Разъ,—то было на второй недѣлѣ пребыванія Мирovichа въ Шлиесельбургѣ,—пришелъ онъ, по просьбѣ Чурмантѣева, передъ вечеромъ, изъ города въ крѣпость. Пчёлкина напoила больного и гостя сбитнемъ, взяла изъ-подъ подушки князя связку ключей, куда-то отнесла закрытый, съ закуской, подносъ, щелкнула въ дальней комнатѣ ключомъ, помедлила, снова возвратилась и, положивъ ключи обратно подъ подушку князя, ушла съ дѣвочками въ церковь. Тамъ постѣ всеошной, онъ и ихъ старуха-нянька должны были въ тотъ вечеръ исповѣдываться. Чурмантѣевъ остался съ гостемъ, къ которому за это время онъ невольно привязался.

Мирovichъ раскрылъ «Робинзона», прочелъ съ десятокъ-другой страницъ, и когда дошелъ до того мѣста, гдѣ Робинзонъ отъ людовдовъ спасаетъ отца Пятницы, — изъ-за ширмы больного раздался тихій, а потомъ болѣе и болѣе явственный храпъ. Мучимый долгою безсонницей, Чурмантѣевъ на этотъ разъ крѣпко и сладко заснулъ. «Ну, пусть себѣ спитъ!» — рѣшилъ, понижая голосъ, Мирovichъ. Онъ закрылъ книгу, свѣчку перенесъ на другой бокъ ширмы, самъ плотнѣе пригнѣзился въ креслѣ, задумался и тоже сталъ дремать. «Кризисъ болѣзни, — мыслилъ онъ, — скоро встанетъ... Но какой искусь на меня хочеть наложить Поликсена? Куда ея мысли глядятъ? Себя не пожалѣю, а ужъ все, что скажеть, сдѣлаю...»

Долго ли, нѣтъ ли, сидѣлъ такъ, разсуждалъ и дремалъ Мирѡвичъ, онъ этого не помнилъ. Но вдругъ онъ очнулся и сталъ прислушиваться.

Ему гдѣ-то, въ дальнихъ комнатахъ, явственно послышался скрипъ перегородки или двери и легкій шорохъ шаговъ. Точно какъ бы кто двинулъ мебелью, пошелъ и остановился. Сперва онъ подумалъ, что ему такъ померещилось, а потомъ, что звуки тѣ шли снаружи, съ крыльца, — изъ нижняго яруса дома... Шорохъ шаговъ затихъ, но опять возобновился. — «Няня, видно, — подумалъ Мирѡвичъ, — прошла мимо меня, постлала дѣтямъ постели и теперь идетъ во-свои... Такъ нѣтъ, и она отправилась ко всенощной...»

Дверь изъ ближайшей комнаты медленно, беззвучно полуоткрылась. На ея порогѣ обозначилась фигура человѣка. Мирѡвичъ прикрылъ глаза ладонью, взглянулъ отъ ширины на эту фигуру и остолбенѣлъ. Волосы невольно шевельнулись на его головѣ...

Въ дверяхъ, со свѣчей въ исхудалой блѣдной рукѣ, стояла сухощавый, футовъ шести ростомъ, съ длиннымъ прямымъ носомъ и выдающейся большою нижнею челюстью, молодой человѣкъ. У него были большіе свѣтло-голубые глаза, каштановая, чуть пробивавшаяся клиномъ бородка и длинные, какъ у монаха, до плечъ спадавшіе бѣлокурые пушистые волосы. На немъ были—старая, заносенная, на-распашку, матросская куртка, грубая, бѣлая посконная рубаха, синіе, холщевые, полосатые шаравары и на босу ногу башмаки. Поразительно бѣлый и нѣжный цвѣтъ его лица показывалъ, что солнце никогда не роиаетъ на него своихъ лучей. Видъ его былъ, какъ у нѣкоторыхъ схимниковъ-постниковъ, важно величавый и вмѣстѣ кроткій. Блуждающій, робкій и пытливый, какъ у дикаря, взглядъ былъ напряженно устремленъ впередъ. Полуоткрытыя, дѣтски-недоумѣвающія, блѣдныя губы что-то шептали. Завидя незнакомаго офицера, онъ нѣсколько мгновений помедлилъ, отступилъ обратно въ сосѣдную комнату и продолжалъ оттуда пристально, несмѣло смотреть.

«Неужели? — молніей пробѣжало въ головѣ Мирѡвича: — неужели это онъ, царственный узникъ, — онъ — двадцать лѣтъ томившійся въ тюрьмѣ подъ замкомъ? И какъ онъ вышелъ? непостижимо! отомкнулъ, взломалъ задвижку? Перелѣзъ че-

резъ перегородку? или Поликсена, второпяхъ, забыла запереть дверь?»

— Подойдите! — раздался тихій, странно звенящій, раздравшій душу, шопотъ: — о, умоляю! господинъ офицеръ, сюда...

Мирovichъ подумалъ: «Поликсена!.. ей, бѣдной, придется отвѣтить за все!» — взглянулъ на спящаго Чурмантѣва, быстро всталъ и, не помня себя отъ смущенія и страха, на цыпочкахъ шагнулъ въ раскрытую дверь.

— Я духъ! безплотный! — шепталъ, озираясь, узникъ: — святой Григорій, — не бойтесь...

Сказалъ и замолчалъ, вглядываясь въ Мирovichа.

— Я душа принца Иоанна, — продолжалъ онъ: — меня въ заперти... о! спасите! гдѣ та ласковая?..

— Кто ваше... величество? — не спуская съ него глазъ, проговорилъ Мирovichъ.

— Та... женщина... тоненькая, — не знаю, какъ звать... святая Евфразія...

«Бредить... или сошелъ съ ума! — пробѣжало въ мысляхъ Мирovichа, — и какъ заикается, — едва его разберешь, — родная, знать, черта въ его фамилии...»

— Какая Евфразія? — спросилъ, не двигаясь съ мѣста, Мирovichъ.

— Да дѣвушка та... золотые волосы... пахнутъ ладаномъ, что ли... няня при дѣтяхъ этого!.. позови ее, батюшка-офицеръ...

Мирovichъ молча глядѣлъ на колодника.

— Какого вы чина, извините, несвѣдомъ, — продолжалъ, жалко торопясь и заикаясь, узникъ: — сна нѣтъ, всё такіе сны... все ей, все, когда вырвусь отсель...

«Что слышу, влюбился въ Поликсену! — замирая отъ новаго страха, подумалъ Мирovichъ, — такъ вотъ что... она проникала къ нему и скрыла отъ меня...»

— Ея нѣтъ... что вамъ угодно?

— Она новую книжку общала, книжечку... листки...

— Какую?

Принцъ медлитъ отвѣтомъ. Недовѣріе, боязнь изобразилась въ его лицѣ.

— Не бойтесь, — продолжалъ Мирovichъ: — какія книги она вамъ приносила? Можетъ и я достану... ей передамъ...

— Лѣтописецъ краткій... родословіе царей... опять же...

Арестантъ остановился опять, боязливо поглядывая на незнакомца.

«Неужели книги Ломоносова? — подумаль Мирѡвичъ; — вотъ судьба—ожидалъ ли того Михайло Васильичъ?».

— Про царей тамъ,—продолжалъ узникъ:—про Петра и его брата, моего праѣда, царя Ивана...

Волненіе болѣе и болѣе охватывало Мирѡвича.

— Я вамъ все, какія угодно,—сказаль онъ.

— Въ Маргаритѣ Златоустаго сказано, какъ погубили престителя Іоанна... Я вѣдь, сударь, тоже Іоаннъ и меня Иродіада съ Фридрихомъ со свѣта гонить...

— Какая Иродіада?

— Читали вы про злющую? читали?—спросиль, съ силой ухвата за руку Мирѡвича, узникъ:—о! паки Иродіады бѣсится и пляшетъ, требуетъ главы!

Арестантъ замолчалъ. Глаза его сверкали бѣшенствомъ, ужасомъ и отчаяніемъ. Губы судорожно вздрагивали.

— Скажите,—вдругъ произнесъ онъ, улыбнувшись:—вѣрно рыжей-то нѣтъ ужъ на свѣтѣ?

— Кого?

— Да Петровны, сударь... парицы Лизаветы! — продолжалъ онъ:—не единъ убо звѣрь подобенъ женѣ злѣй... Змѣи и аспиды въ пустынѣ убоаяся; Иродіада же на обѣдѣ его усѣтъ.

Далѣе трудно было разобрать арестанта. Глаза его были широко раскрыты, губы, покрытыя пѣной, шептали безсвязныя слова.

— Государыня скончалась,—отвѣтилъ Мирѡвичъ:—и притомъ, сударь, это была великаго сердца монархиня.

— Такъ померла? Иродіады нѣтъ болѣ на свѣтѣ?—чуть не выронивъ свѣчи, вскрикнулъ арестантъ.

Грудь его тяжело, порывисто дышала. Онъ не спускалъ глазъ съ Мирѡвича.

— Кто-жъ нонѣ въ моемъ дворцѣ?—спросиль Иванушка.

— Новый государь.

— Кто?

— Петръ Ѳеодорычъ.

— Такъ... Вольнѣй быдто стало. Добрый онъ? Будеть прибавка провизии? или останется двѣ полтины на обѣдъ и на все?

— Нѣтъ сомнѣнія, о васъ вспомнятъ.—сказаль Мирѡвичъ.

— Мучители, подло, — продолжалъ затворникъ: — нѣтъ сердца у женъ... Никого же, безстудная, падить, ни левиты стыдитесь... ни священника чтить...

— Откройте, — прибавилъ онъ, помолчавъ и съ трудомъ подыскивая слова: — какой онъ изъ себя, этотъ новый царь?

Мирovichъ вынулъ изъ кармана и подалъ принцу новый рублевикъ, съ портретомъ Петра Федорыча. Тотъ жадно схватилъ его, поднесъ къ свѣчѣ и долго пристально на него смотрѣлъ.

— Силы, силы Давида! — шепталъ Иванушка, путаясь въ словахъ и задыхаясь: — слышите убо людие, виждь Господи... невиненъ погребенъ...

Мирovichъ опять не разобралъ нѣкоторыхъ словъ прица.

— Ваше благородіе, вы не здѣшній, помогите! — вдругъ обратился къ нему узникъ.

— Въ чемъ, государь?

— Уйти отсюда можно... по галлерей, въ окно, — зашепталъ арестантъ: — пилку мнѣ, пилку; рѣшетка, катеръ на озерѣ... на берегу-бъ лошадей... Лѣсомъ, горами!.. горы за озеромъ видны...

— Сударь! мнѣ васъ жаль, вотъ какъ жаль! — душимый слезами, проговорилъ Мирovichъ: — но я присягалъ императору Петру Федорычу... измѣнникомъ быть не желаю...

— Вы читаете, вѣрно умѣете и писать, — продолжалъ Мирovichъ: — напишите вашему дядѣ-императору. Голову отсѣкутъ, а ужъ я ему ваше письмо доставлю. И если когда-нибудь, — сорвалось вдругъ отъ сердца у Мирovichа: — если вы и послѣ того будете также несчастны и угнетаемы, дайте мнѣ знать... я явлюсь въ вамъ... положу за васъ жизнь...

Принцъ Іоаннъ, съ удивленіемъ и дѣтскою радостью, глядя на Мирovichа, робко протянулъ ему руку, тронулъ его за плечо.

— Спасибо, — прошепталъ онъ: — они подло, а за васъ молиться буду...

— Чернилъ и пера не достанете, — продолжалъ Мирovichъ, вынувъ записную книжку: — вотъ вамъ клочокъ бумаги и карандашъ... Выбросьте цидулку въ окно, въ форточку... Все откровенно изложите государю... Онъ добрый; лично не отзовется, вспомнить черезъ другихъ... Умѣете писать? два слова!..

Мирovichъ не кончилъ. Сзади его послышался заглушен-

ный возгласъ, торопливые шаги. Онъ оглянулся: то была Поликсена.

— Безумцы! что вы надѣлали? скорѣе, скорѣй! — проговорила она, схвативъ за руку принца и увлекая его обратно въ его комнату: — спѣшите; дѣти раздѣваются, войдутъ сюда съ няней, и мы пропадемъ...

Черезъ мгновеніе дверь Іоанна Антоновича была опять замкнута на задвижку. Пчѣлкина бережно, мимо спящаго Чурмантѣева, вывела Мирovichа на крыльцо, возвратилась къ ширмѣ, вновь убѣдилась, что больной еще не проснулся, взяла у него изъ-подъ подушки ключи, заперла дверь къ принцу на замокъ, уложила дѣтей спать, погасила свѣчу и, горько, нервно рыдая, упала лицомъ въ подушку.

Въ слѣдующее утро Мирovichъ явился къ Чурмантѣеву пасмурный, терзаемый ревностью, сомнѣніями, догадками. — «Такъ вотъ въ чемъ дѣло! — разсуждалъ онъ, — но какая причина заставила ее утаить отъ меня правду? Что у нея на умѣ? Та же саганинская гордость, безуміе? Или судьба несчастнаго такъ ее тронула, потрясла, что она сама невольно стала къ нему равнодушна? Мудренаго гѣтъ, — сколько было примѣровъ, — жены, дочери тюремщиковъ влюблялись въ заключенныхъ... отдавались имъ, бѣжали, или гибли съ ними...»

— Такъ вы видѣлись съ узникомъ? — угрюмо спросилъ Мирovichъ Поликсену.

— Видѣлась... Ну, и что-жъ изъ того? Надо было помочь князю. Никому не обязана отчетомъ...

— Но зачѣмъ же вы скрыли отъ меня? Ужли не довѣрили?

— Ахъ, полноте... какое дѣтство!.. Дѣло ясно... Неужто не догадались? Не моя вѣдь это тайна... А досталась она вамъ, мимо меня, берегите ее свято... Шутить съ огнемъ опасно. Знаете, чѣмъ грозитъ здѣшній статутъ? Вы же при томъ военный; съ васъ взыщется строже.

— Знаю, знаю, — а вы все-таки не довѣрили мнѣ! Это обидно... Чѣмъ я заслужилъ?... Я ли не вызывался выполнить всякій вашъ искъ, наказъ?

Поликсена пересилила себя. Ласковой кошечкой проникла она къ Мирovichу, взяла его за руку, взглянула ему въ глаза съ довѣрчивой дѣтской улыбкой.

— О! много еще испытаній впереди! — сказала она: — другъ мой... вы не знаете меня! Жизнь передъ вами цѣлая, —

мало ли... все еще, всего можно ждать... А онъ-то, онъ! въ томъ же заточеніи, въ той же могилѣ вѣдь останется... и никто, никто не придетъ ему на помощь, не облегчитъ его судьбы.

Искреннія слезы хлынули и не дали кончить Поликсенѣ... Она плакала, не отрывая головы отъ плеча Мирovichа и какъ бы не чувствуя, какъ тотъ осыпалъ эту полную загадокъ, гордую и чуткую къ бѣдствіямъ ближняго, голову жаркими, давно сдержанными поцѣлуями.

Къ концу пятой недѣли поста, казематъ Іоанна Антоновича былъ оправленъ. Нога Чурмантѣева также настолько поджила, что онъ могъ подняться безъ костылей, и ночью, подъ своимъ надзоромъ, перевелъ арестанта Безыменнаго въ его прежнюю казарму, въ среднемъ этажѣ Свѣтличной башни.

Мирovichъ торопилъ Поликсену къ отъѣзду, а самъ съ сердитой тревогой поглядывалъ на окна башни и все поджидать, не выкинетъ ли принцъ Іоаннъ въ форточку, или не перешлетъ ли ему какимъ-либо способомъ письмо къ государю? Ему вспоминалось, какъ онъ когда-то спасъ утопавшую, слабую собаченку. «Спасу и его» — повторялъ онъ себѣ.

Прошло еще нѣсколько дней. Форточка въ казематѣ арестанта была наглухо заперта и никто письма отъ него Мирovichу не приносилъ. Попытался-было Василій Яковлевичъ спросить Поликсену, была ли она при переводѣ принца отъ Чурмантѣева и въ какомъ настроеніи оказался при этомъ узникъ, что говорилъ и на кого и на что надѣялся? Поликсена жаловалась, что арестанта перемѣстили въ ночное время и въ такомъ секретѣ, что она о томъ узнала лишь на другой день.

Отъѣздъ Пчѣлкиной въ Петербургъ былъ условленъ въ концѣ страстной недѣли. Въ исходѣ пятой, она пригласила Мирovichа на совѣщаніе къ священнику. Они остались вдвоемъ.

— Виновата я передъ вами, Василій Яковлевичъ, — сказала она, въ смущеніи опустивъ голову: — столько заставляла васъ тревожиться, ждать; объявляла, простите, — въ то время, — невозможныя дѣтскія условія. Теперь я вижу все ясно... Я васъ оцѣнила, я вѣрю вамъ...

Мирovichа подхватили эти слова, унесли въ седьмое небо. Его бросало то въ холодъ, то въ жаръ. Онъ жадно слушалъ.

— Но я забыла, — продолжала, еще ниже склонясь лицомъ, Поликсена: — скажу вамъ откровенно... я упустила изъ виду главное, именно, свои собственные къ вамъ обязанности. Если бъ случилось... ну, положимъ, если бъ все было кончено... скажите, что принесу я вамъ сама? Вѣдь я сирота, — чай, знаете, безъ роду, безъ племени... Я бѣдна... при томъ мои привычки, мой несдержанный, строптивый нравъ...

— Не думайте о томъ, скажите слово, будьте моею, и ничего намъ больше не надо...

— Нѣтъ, нѣтъ! не говорите такъ... Я отъ васъ тогда въ шутку требовала; теперь, не шутя, требую того же отъ себя... Жизнь — вѣдь это тернистый путь; я узнала... Слушайте.

Она обернулась, подѣла ближе къ Мирovichу.

— Я выросла при дворѣ, — продолжала она: — сколько лѣтъ служила покойной государынѣ. И мною были довольны. Не оставлять меня и теперь, авось, непричемъ. Такъ вотъ что я придумала, — вотъ мое рѣшеніе... Довѣряю вамъ эту мою тайну.

Она остановилась, подумала.

— Побѣжайте въ Петербургъ немедленно, завтра, даже сегодня и отпустите въ ящикъ, что у дворца, вотъ это мое письмо.

Поликсена вынула изъ-подъ лифа запечатанный и обернутый въ бумагу пакетъ.

— На имя государя? — удивился, взглянувъ на надпись, Мирovichъ.

— Да... государь самъ отмыкаетъ тотъ ящикъ, и прочтетъ это письмо. Выполнить онъ мою просьбу, я ваша... безъ того, простите, не могу... я прошу о пособіи...

Мирovichъ сталъ отговаривать, доказывать, что ничего подобнаго не нужно. Поликсена стояла на своемъ.

— А если отвѣта не будетъ? — спросилъ онъ: — сколько-жъ опять ждать?..

— Не отвѣтять къ Пасхѣ, — ну, въ такомъ разѣ, даю слово, поѣдемъ отсюда на Оминой...

Мирovichъ съѣздилъ въ Петербургъ и опустил врученное ему письмо въ ящикъ у дворца.

VII.

Два Императора.

Было семнадцатое марта. Въ воздухѣ замѣтно тянуло теплотъ. Съ крышъ дружно капало. Снѣгъ на солнечныхъ пригрѣвахъ таялъ и исчезалъ. Ледъ вокругъ крѣпости по-синѣлъ, взбухнулъ и, хрустя подъ ногами, пророчилъ близкое вскрытіе Невы. Изъ Шлиссельбурга утромъ шли рабочіе по льду въ крѣпость, ожидая, что къ вечеру на берегъ, быть-можетъ, придется вернуться на веслахъ. Туманъ далеко залегъ по озеру. Но подулъ крѣпкій, порывистый вѣтеръ и сталъ его разгонять. Къ ночи поднялась сильная съ метелью буря. Она рвала крыши, кружила вороха падающаго снѣга, ревѣла въ бойницахъ и башняхъ, стучала желѣзными ставнями и дверьми.

Утромъ 18-го, комендантъ Бередниковъ и старшій и младшій тюремные пристава взошли на крѣпостную стѣну, взглянуть на рѣку. Вѣтеръ стихъ. По вскрывшейся, вокругъ острова, Невѣ плыль сплошными бѣлыми горами ледъ. Лодки перевозили ужъ съ берега въ крѣпость и обратно рабочій и служебный народъ. На берегу, — какъ ясно увидѣлъ въ подзорную трубу Бередниковъ, — стояли два, шестерикомъ, крытыхъ возка. Кучка лодочниковъ озабоченно толпилась возлѣ нихъ.

— Кто бы это былъ? — спросилъ въ раздумьѣ Бередниковъ.

— Изъ Питера, знать, — машутъ...

«Ужъ не ревизія ли? — пронеслось въ старой головѣ Бередникова, — не провѣдали-ль въ столицѣ о пожарѣ въ тайной тюрьмѣ? Ну, да все теперь благополучно кончено»...

— Веребѣвъ! надо послать катеръ, а пожалуй и лишнюю шлюпку! — сказалъ онъ капрану, оправляя на себѣ португеею и тревожно косясь на поношенные, старой формы кафтаны — какъ свой, такъ и прочихъ господъ офицеровъ.

«Видно, новенькаго какого опять привезли!» — со вздохомъ сказалъ себѣ, тѣмъ временемъ, князь Чурмантъевъ.

Офицеры сошли со стѣны. Шестнадцати-весельный катеръ, а за нимъ восьмивесельная шлюпка, расталкивая баграми льдины, двинулись отъ крѣпости къ Шлиссельбургу.

На городскомъ берегу, прикрывая медвѣжьими шубами

звѣзды, въ треуголкахъ и собольихъ шапкахъ, стояли у взмыленныхъ шестериковъ неожиданные-негаданные гости: рыжій, въ веснушкахъ, лѣтъ подъ тридцать, любимый генераль-адъютантъ императора, баронъ Карлъ Карловичъ Унгернъ-Штернбергъ, петербургскій генераль-полицеймейстеръ, сухощавый, круглолицый, добродушный старикъ, Николай Андреевичъ Корфъ, щеголеватый и надменный оберъ-штаб-мейстеръ, Левъ Александровичъ Нарышкинъ, генераль Мельгуновъ и, лѣтъ тридцати четырехъ, средняго роста и замѣтно-сутуловатый, тайный государевъ секретарь, статскій дѣйствительный совѣтникъ, Дмитрій Васильевичъ Волковъ. Ямщики и лодчики, глядя на Нарышкина, бывшаго представителя и выше остальныхъ ростомъ, принимали его за государя. Народъ, стекался изъ города, толпился въ сторонѣ и, безъ шапокъ, глазѣлъ на прибывшихъ. Унгернъ хлопоталъ о переправѣ.

Въ кругу пышно-разряженныхъ, важныхъ вельможъ, — въ небольшой, на прусскій образецъ треуголкѣ, съ тростью, съ огромнымъ палашомъ, въ высокихъ ботфортахъ и въ простой безъ мѣха епанчѣ, — стоялъ средняго роста, вертлявый, невзрачный, плоскогрудый и сильно тронутый оспой, гвардейскій штабъ-офицеръ. Круглые, сѣроватые глазки его были заспаны, прямой, добрый носикъ покраснѣлъ отъ вѣтра, невыбритый въ то утро, полный, бѣлый подбородокъ, какъ и простоватая, веселая губы то-и-дѣло вздрагивали отъ громкаго, почти дѣтскаго смѣха. Онъ шутилъ съ вельможами. А тѣ, несмотря на свою важность и на его скромный видъ и нарядъ, почтительно внимали какъ его шуткамъ, такъ и вообще его рѣзкому, «скорбному» — далеко-слышному, съ замѣтнымъ акцентомъ, и отличному отъ прочихъ голосу.

— Да знаешь ли, Дмитрій Васильичъ, — продолжалъ офицеръ, обращаясь къ тайному государеву секретарю, Волкову: — говорятъ, что ты, батюшка, съ этимъ... *dass Ihr Beide mit diesen renommirten Chicaneur*, — съ этимъ съ надутымъ придиришкомъ Ломоносовымъ прожектееъ составилъ — всѣхъ нѣмцевъ изъ Россіи выгнать? Правда ли то? ха-ха! Отвѣчай-ка мнѣ...

— То, ваше величество, сугубая напраслина, — покраснѣвъ и низко склоняясь, отвѣтилъ Волковъ: — и я сему негоціатору вольнодумцевъ не похлѣбникъ!..

— То-то, Васильичъ, берегись,—и смѣясь скороговоркой продолжалъ Петръ Ѳедоровичъ:—и я тебя, каналью, за то намеренъ чуть не закололъ... Und noch ein Punkt... и вѣтъ еще одинъ пунктъ, Васильичъ... Saperment! Voyons... Долженъ бы ты, батюшка, за это подъ арестомъ посидѣть... Милости пожалуйста!.. Попроворилъ въ газетномъ артикулѣ, про кончину покойной государыни, мою жену императрицей называть!.. Но я помню прежнія твои услуги... Сои грандъ-д'эспань, господа, мнѣ, какъ великому князю, копѣи съ секретныхъ протоколовъ тайной конференціи выдавалъ... Покойной государынѣ измѣнялъ, мнѣ зато вѣрно служилъ... Ха-ха!.. Чтѣ, братецъ, выдалъ твои плутни? Погибнетъ птичка отъ своего язычка...

— Никогда того не было, ваше величество! — изъ краснаго ставъ блѣднымъ и еще ниже склонясь, отвѣтилъ Волковъ.

— Но, можетъ, ты, Васильичъ, — не унимался трунить Петръ Ѳедоровичъ: — можетъ, ты и моей женѣ теперь все такъ же переносишь, какъ проворилъ и мнѣ?.. Pahl s'ist mir Alles Eins!.. Мнѣ, господа, все одно! Милости пожалуйста!.. Мадамъ «La Ressource», — и безъ усердныхъ предателей, пожалуйста, все знаетъ... Безсердечныя и хитрыя женщины — тѣ же колдовки... А вотъ и катерь... Кармъ Карлычъ, Левъ Александрычъ, герръ бароны садитесь... Nun vorwärts!.. ъдемъ...

Унгернъ, Корфъ и Мельгуновъ сѣли съ государемъ въ катерь. Нарышкинъ и Волковъ поѣхали, вслѣдъ за ними, въ шлюпкѣ.

— И такое великое хохотаніе постоянно! какъ видите! — усѣвшись въ шлюпку, вполголоса и нѣсколько по привычкѣ заикаясь и въ носъ, воскликнулъ Волковъ: — срамитъ и шпыняетъ при всѣхъ: не знаешь, куда и глядѣть...

— А сама эта поѣздка? — нагнувшись къ Волкову, сердито произнесъ обыкновенно-веселый и безпечный Нарышкинъ: — собрался, представь, какъ на пожаръ. Даже дядя принцъ Жоржъ о томъ не провѣдалъ. И меня взялъ случайно, ужъ садясь въ возокъ... Чтѣ ему! была бы корзина съ кнастеромъ, да съ коллекціей солдатскихъ трубокъ. Надумалъ чтѣ, крикнетъ: vorwärts drauf los! и вся недолга...

— Да чтѣ же, чтѣ онъ надумалъ теперь? — допытывалъ Волковъ: — въ чемъ тутъ новыя конъюнктуры? И какъ о томъ не предупредили Александра Ивановича?

Волкову ясно вспомнился, въ эти мгновенья, сердитый правый глазъ Александра Ивановича Шувалова, разстроенный нерѣдко потрясавшими сценами допросовъ и пытокъ въ недавно-закрытой тайной канцеляріи. — «Какъ замѣгаль бы этотъ глазъ,—думалось Волкову,—какъ скривилъ бы и всю правую сторону лица, если бъ ему сказали, что государь, очертя голову, бросился на такое неподобающее свиданіе!»

— Вся сія препозиція, ясно ужъ видно, на какой фансонъ,—косясь на гребцовъ, презрительно отвѣтилъ Нарышкинъ:—государь, очевидно, получилъ отсель изъ Шлюшина нѣкое подметное письмо: ну, и поѣхалъ... Иванушка, вишь, сильно ему понадобился...

— Но для чего, для чего? — продолжалъ допрашивать Волковъ.

— Дѣло ясное... чтобъ насолить женѣ... Твердить одно: не зналъ я, каково принцу...: надо, вишь, ему помочь...

— Что-жъ ты на то скажешь?

— Да пустяки,—отвѣтилъ Нарышкинъ:—дурачокъ вѣдь принцъ Иванъ, совсѣмъ умишкомъ высохъ! Александръ Ивановичъ еще недавно о немъ вспоминать... А ужъ ему ли доподлинно не знать про то? Всѣ репорты шли черезъ его руки. Безпамятенъ, сказываетъ, косноязыченъ сталъ и скорбенъ главой... И съ этакой-то дурафьей еще возиться затѣяли... Одинъ смуть и толченіе воды... Вотъ и вечеръ у Воронцовыхъ пропущенъ,—а нынче тамъ бириби въ двухъ салонахъ и графъ Сень-Жерменъ о мертвыхъ общалъ разсказы!—съ досадою прибавилъ Нарышкинъ.

— Будетъ намъ и съ живыми немало возни!—произнесъ Волковъ:—подметное письмо! чья рука тутъ колобродитъ? и какъ отвратить?

«Ужли изъ Берлина, Фридриховы новые ходы опять?—прибавилъ про себя Волковъ,—или здѣсь, поближе, искать новыхъ затѣй?»

Катеръ и шлюпка причалили къ острову. На катерѣ шелъ иной разговоръ.

— Боюсь, боюсь я этого свиданія! не выдержу! — въ искреннемъ волненіи и страхѣ, шепталъ, между тѣмъ, по-русски Петръ Ѳедоровичъ Корфъ:—какъ хочешь, братъ, а онъ вѣдь человѣкъ, притомъ какой семьи!

— И я въ немаломъ амбарѣ,—отвѣчалъ Корфъ: — везъ

когда-то его дитятичкой въ Холмогорь... Но, courage, Majestät, смѣлѣй!.. являйте себѣ достойно вашъ санъ...

— Да вѣдь,—schlicht und recht!—по-правдѣ, не мнѣ бы слѣдовало на тронѣ быть, а ему,—не унимался Петръ Ѳеодоровичъ:—какъ я на него посмотрю и что ему скажу?

— Въ такомъ разѣ, Majestät,—чопорно и важно вмѣшался Унгернъ:—напрасно было уфъ-въ эти мѣста и ѣхать...

— Напрасно, напрасно!.. двадцать лѣтъ бѣдный взаперти сидитъ... Экіе вы! Но вы еще про меня услышите...

Сойдя на плоскій берегъ у крѣпости, императоръ и его свита пошли влѣво къ воротамъ. Здѣсь ихъ встрѣтилъ, ставшій отъ страха хуже малаго дитяти, комендантъ Бередниковъ. Хотя императоръ желалъ выдержать строжайшее инкогнито, Бередниковъ сразу его узналъ. Петръ Ѳеодоровичъ взялъ у Унгерна, за собственнымъ своимъ, отъ 17-го марта, подписаніемъ, именной на имя Бередникова указъ и, приложивъ руку къ шляпѣ, почтительно вручилъ его коменданту.

Въ указѣ было изображено: «Имѣете тотчасъ допустить нашего генераль-адъютанта Унгерна и прочихъ съ нимъ, когда онъ прикажетъ, высокихъ подателей сего монаршаго повелѣнія, къ осмотру государственной шлиссельбургской тюрьмы, а буде они того пожелаютъ, то и къ свиданію, даже безъ свидѣтелей, съ извѣстною, тамо заключенной персоной. И если Унгернъ прикажетъ Чурмантѣеву, съ арестантомъ и его командою, изъ крѣпости въ другое какое мѣсто по нашему соизволенію выѣхать, то того не воспрещать».

— Это что?—спросилъ, ткнувъ тростью въ тяжелыя, дубовыя ворота, императоръ. На лѣвой половинѣ воротъ государственной башни была шведская надпись: «1649 года—18-го мая».

— Виноваты, ваше... казните, какъ есть, забыть соскoblить... стереть!—заговорилъ, отдуваясь, весь красный Бередниковъ.

— Но развѣ такія надписи, господинъ комендантъ, стираютъ?—насмѣшливо его оглядѣвъ, произнесъ императоръ:—эти литеры, господа, со временъ шведовъ... Я вѣдь учился, маракаю... По симъ же плитамъ шестьдесятъ лѣтъ назадъ самъ Петръ Великій изволилъ прохаживаться...

— Плиты не вынуты, такъ точно-съ! — утирая лицо и жалобно взглянувъ на свиту, сказалъ Бередниковъ.

— Еще бы вамъ крылечко изъ нихъ помостить! — улыбулся императоръ: — гдѣ арестантъ Безымянный? ведите насъ къ нему!

На дворѣ, у церкви, высокимъ посѣтителемъ Бередниковъ представилъ князя Чурмантѣва.

— Хромаете? — въ войнѣ съ Пруссіей ранены? — нахмурился, спросилъ государь.

— Упалъ здѣсь наедни съ лѣстницы, — отвѣтилъ старшій приставъ.

— Зять Ольдерога, — шепнулъ государю Унгернъ: — изъ *Rigi in der Garde* переведенъ...

— А, очень радъ! веди же насъ, сударь, — обратился императоръ къ Чурмантѣву: — только и намъ, батюшка, просимъ, ноги или руки при вѣрной оказіи не сломай...

Посѣтители обогнули церковь. Влѣво, по двору, вдоль крѣпостной куртины, шли въ два яруса, съ открытой галереей, тяжелыя каменные казармы внутренней стражи. Домъ коменданта особнякомъ стоялъ вправо, у церкви. Въ глубинѣ двора, за внутреннимъ каналомъ, посѣтителемъ предстала другая, мрачная, обросшая мхомъ стѣна. Черезъ каналъ велъ подъѣмный мостъ. Противъ моста были ворота и возлѣ нихъ стоялъ часовой. За стѣною, какъ объяснилъ комендантъ, находился другой внутренній дворъ и тамъ, вправо, домъ старшаго пристава Чурмантѣва, влѣво — отдѣльная, въ два рѣшетчатыхъ окна, двухъ-ярусная свѣтличная башня, съ казематомъ извѣстной персоны.

— *Ist aber fest zugestopft alle Wetter!* — сказалъ, входя въ этотъ дворъ, Петръ Ѳеодоровичъ: — свѣту маловато, окно узко и то, *saperment*, заграждено снизу дровами...

Государь отозвалъ Чурмантѣва къ сторонѣ.

— Каковъ темпераментомъ принцъ? — спросилъ онъ, разглядывая лицо пристава.

— Какъ вамъ доложить? — смѣшался Чурмантѣвъ: — недавно я, государь, при немъ и потому...

— Правду, правду мнѣ говори, — перебилъ Петръ Ѳеодоровичъ: — по душѣ, откровенно, *als ein Soldat*...

— Временемъ робокъ онъ, уклоненъ, — началъ приставъ: — вѣжливъ и даже стыдливъ; нрава тихаго, бываетъ же, сударь, и вотъ какъ понятливъ... Какъ спокоенъ — говорить

обо всемъ добропорядочно, толково; рассказываетъ евангелиемъ, Минеею, Прологомъ и книгою Маргаритъ; толкуеть, гдѣ и что въ нихъ написано...

— Но какъ же, tausend Teuffel!.. какъ же твой комендантъ доносилъ, — сердито топнулъ ногою государь: — все Шуваловымъ на угоду... Sclavisches Pack!.. увѣрялъ, что принцъ слабоуменъ и вообще выглядеть точно звѣрь лѣсной.

— Какъ не быть звѣремъ, коли выведутъ изъ терпѣнія, — покосившись на помощниковъ, сказалъ Чурмантъевъ: — взбаламутить его какая прижимка — зоветъ всѣхъ еретиками, шептунами, самъ плачетъ, говоритъ жѣмо, невнятно, и такъ отъ смуты косноязычить, что и привычнымъ въ силу его разумѣть. Да и не всѣмъ открываетъ свои способности...

— Скрытень? о! я угадалъ!.. Den Nagel auf dem Kopf getroffen!.. гвоздемъ въ центрумъ попалъ. Ну, а когда тихъ?

— Въ тихости весело и кротно такъ смѣется, — продолжалъ Чурмантъевъ: — и, дерзаю доложить, — на прикладъ даже становится забавенъ... веселъ, надѣется на все и прыгаетъ, аки малый ребенокъ... а то строить рожи...

— Кто его здѣсь дразнить? говори, — поглядѣвъ вокругъ, произнесъ государь.

Онъ досталъ изъ камзола инбирную карамельку и, съ цѣлью отбить изжогу минувшей бессонной ночи, опустилъ ее въ ротъ.

— Не усмотришь за всѣми, больше солдаты съ галлерей, — сказалъ Чурмантъевъ: — а бываетъ, кто и выше... Ну, и не стерпять... Гордъ притомъ и любить, чтобъ былъ во всемъ порядокъ... Неучъ иной часовой, у его дверей, ночью начнетъ вертѣться, ногу объ ногу чесать, либо громко кашлянетъ, ружьемъ невѣжливо стукнетъ, — принцъ тотчасъ осерчаетъ, жалуется мнѣ утромъ: — смѣетъ ли, грубянъ, тотъ солдатъ, такъ его обижать? я-де, говорить, вотъ какъ его уйму... И въ ту пору вновь старается доказать, какова онъ для всѣхъ высокая, важная персона...

— И что-жъ ты ему на это? — спросилъ Петръ Федоровичъ.

— Говорю, полноте, сударь: все то вранье! и лучше вамъ такой пустоши о себѣ не думать и впередъ не врать... Куда! весь почеркнетъ отъ гнѣва, клянется, дрожить... Звѣри вы, говорить, колдуны и еретики! мучите меня, и Господь васъ,

за невиннаго страдальца, разразить и прахъ вашъ по вѣтру развѣтъ...

«Такъ, такъ! наклеветалъ Шуваловъ! — подумалъ государь, — въ письмѣ истина повѣдана...»

Онъ подошелъ къ башнѣ. Изъ-за дома пристава выбѣжала съ саночками дѣвочка, за нею другая. Увидѣвъ неожиданныхъ гостей, онѣ въ испугѣ остановились и бросились къ крыльцу, у котораго ни жива, ни мертва стояла Поликсена.

— Ба-ба-ба! это что? — воскликнулъ государь: — юныя милыя созданія и съ ними комендантшей фея, прекрасное существо!.. въ такихъ ужасныхъ мѣстахъ!

— Мои дѣти и ихъ бонна, — пояснилъ князь Чурмантѣевъ.

Петръ Ѳеодоровичъ взглянулъ пристальнѣе. Онъ узналъ Пчёлкину и ласково, разсѣянно ей поклонился.

«Боже, неужели все это черезъ меня?» — замирала тѣмъ временемъ, боясь поднять глаза, Поликсена.

По стопаннымъ, бѣлокаменнымъ ступенямъ внутренней лѣстницы гости вошли натѣво, въ тѣсныя сѣни государственной тюрьмы. Чурмантѣевъ вынулъ изъ кармана большой чернѣйшій ключъ, отомкнулъ имъ низенькую, черную, окованную желѣзомъ дверь, ввелъ гостей въ другія сѣни, отворилъ изъ нихъ новую дверь, прямо, и отступилъ. Свита такъ же посторожилась. Унгернъ первый вошелъ въ казематъ Ивана Антоновича, за нимъ, сбросивъ верхнія одежды, государь, Волковъ, Корфъ и остальные.

Казематъ принца Іоанна былъ аршинъ въ десять длины и въ пять ширины. Мрачныя, подновленные его стѣны были со сводомъ. Узкое, съ толстыми рѣшетками окно, вправо, невысоко отъ пола, выходило на галерею. Влѣво отъ входа стояла большая, изъ зеленыхъ кафлей печь, съ топкою изъ сѣней. Поперекъ всей комнаты шла тесовая ширма. За ширмой помѣщалась постель. Возлѣ окна — столъ; у стола скамья. Дрова скрадывали свѣтъ, и безъ того слабо падавшій въ комнату.

— И только?.. Oh, über das Elend!.. какой ужасъ! гробъ, а не жилье! — сказалъ вполголоса Петръ Ѳеодоровичъ Унгерну: — душно и темно... А Шуваловъ какъ расписывалъ!.. Nichts als Lug und Trug!.. Ненавидю гнусныя интриги, обманъ... Но гдѣ же онъ въ этомъ каменномъ мѣшкѣ?

— За ширмой, — отвѣтилъ Чурмантѣевъ: — онъ по ста-

туту... думаетъ, что пришли его комнату убирать... запрещено его видѣть даже слугамъ...

— Зовите его, — не громко сказать, не сходя съ своего мѣста, государь.

Чурмантѣевъ крикнулъ арестанта. Иванъ Антоновичъ вышелъ изъ-за ширмы. Видъ блестящей государевой свиты его ослѣпилъ. Онъ запнулся, чуть не упалъ, и, озираясь, какъ пойманный жалкій звѣрекъ, смѣшнымъ и неловкимъ движеніемъ попятился назадъ за перегородку.

— Не опасайтесь, сударь! — съ напускною смѣлостью, дрогнувшимъ голосомъ сказалъ Петръ Ѳедоровичъ: — я къ вамъ посломъ... отъ самого государя. Подойдите ближе; смѣлѣй... вотъ такъ... Ну!.. скажите, что-нибудь вамъ въ этихъ мѣстахъ недостаетъ?.. Скажите! ваши слова приму не иначе, какъ съ должнымъ вниманіемъ.

Иванушка бросилъ бѣглый взглядъ на узкоплечаго, плоскогрудаго, невзрачнаго и рябого офицера, — въ бѣломъ, съ бирюзовыми обшлагами, кафтанѣ, съ доброй улыбкой и грубо-капральской выправкой, — стоявшаго впереди другихъ. Что-то странное, что-то хватавшее и уносившее куда-то далеко — отозвалось, заговорило въ душѣ узника. «Гдѣ-то видѣлъ, видѣлъ... но гдѣ...» — обливаясь кровью, шептало ему бѣдное, робко бывшее сердце. Онъ ступилъ шагъ впередъ, протянулъ руки.

— О, о, — началъ онъ, не спуская глазъ съ Петра: — я... я...

Онъ упалъ предъ нимъ на колѣни.

— Встаньте, принцъ! — съ рыцарскою вѣжливостью, тронувъ его лосинной перчаткой по плечу, сказалъ Петръ Ѳедоровичъ: — будьте бодры, куражь, я облегчу... я попрошу государя... облегчить и улучшить вашу участь... Я близокъ къ нему; меня онъ слушаетъ. Просите, что вамъ нужно?

Лицо узника страшно поблѣднѣло; губы исказились отъ усилій проронить слово. Рѣчь отказывалась ему служить. Языкъ коснѣлъ. Кровь молотомъ стучала въ голову. Онъ, озираясь на всѣхъ, не вставалъ.

— Просите, просите милостей! — шептали стоявшіе вокругъ.

— Я не тотъ, за кого... Душно! — проговорилъ узникъ: — тутъ вовсе душно — воздуху нѣту-ти... — продолжалъ онъ скороговоркой, сдерживая рукой дрожавшій, какъ въ лихорадкѣ, подбородокъ: — повидать бы небушко... зелень тоже...

походить бы на землѣ, по цвѣтамъ!.. отъ всего за то, все отдамъ... Я ихъ прошу, а они... подлю...

Онъ не могъ говорить далѣе, робѣлъ и дико на всѣхъ смотрѣлъ.

— Кто вы?—спросилъ, поднимая его, государь.

Принцъ медлилъ отвѣтомъ.

— Кто вы и какъ сюда попали? — ласково повторилъ, улыбаясь, Петръ Ѳедоровичъ.

Арестантъ вздрогнулъ, вытянулся, сталъ шептать.

— Я... императоръ,—точно сорвавшись, проговорилъ онъ громко: — Божією милостью... ну, Іоаннъ Третій, императоръ... царь!

— Кто тебѣ сказалъ, что ты императоръ?—нахмуясь и брякнувъ палашомъ, спросилъ Петръ Ѳедоровичъ.

— Я не тотъ; за кого!—отвѣтилъ, боязливо попятившись, узникъ: — да, да! Іоаннъ давно померъ, взятъ на небо. Я видѣлъ его—онъ здѣсь, во мнѣ...

— Кто тебя увѣрилъ, что ты государь? — спокойнѣе повторилъ Петръ Ѳедоровичъ.

— Кто сказалъ?—стойте—вспомнилъ!.. учитель сказалъ... потомъ караульный...

— Императоръ не сидѣлъ бы въ такомъ мѣстѣ, притомъ въ бородѣ...—произнесъ Петръ Ѳедоровичъ.

— Меня заперли. Но... я лучше ихъ... чистый духъ,—а они—злюки, еретики.

— Что вы помните о дѣтствѣ, о прошлыхъ годахъ?—спросилъ государь.

— Гдѣ помнитъ! голова темна, тошнехонько...

— Однакоже, повѣдайте, что воспоминаемо будетъ.

— Все мучили... Былъ я вотъ какой ребенокъ, махотка-дѣтка. Разлучили съ матерью, отцомъ... Живы ли, не знаю...

— Ну, ну...

— Стали звать меня Гришкой, — ты не царь, а колодникъ!—отдали въ руки аспидовъ, колдуновъ. Да, да... колдуны... У нихъ дымъ изъ рта... И начали возить изъ крѣпости въ крѣпость... И вотъ теперь Иванушкинъ дворецъ...

Узникъ смолкъ. Окружавшіе молча на него смотрѣли.

— Всѣ ли приставленные къ вамъ были злые люди? не было ли межъ нихъ и добрыхъ?—спросилъ государь.

— Было двое... Одинъ — старикъ съ женой! въ Холмо-

горахъ выучилъ молитвамъ, письму... Другой—помоложе...—
да, совсѣмъ молодой...

— Ну, и что жъ этотъ другой? не бойтесь, говорите...

— Онъ меня, ребенка, махотку, провожалъ отъ матери,
и всю дорогу, всю, какъ это ѣхали, во-какъ ласкалъ. Жалѣлъ и плакалъ.

— А потомъ?

— Какъ пріѣхали это къ морю, давалъ этотъ-то молодой
бѣгать по берегу, въ саду; садъ большущій, пахло такъ—
цвѣты... и отъ монаховъ приносилъ игрушки...

— Гдѣ жъ онъ теперь?—спросилъ Петръ Ѳеодоровичъ.

— Видно померъ, снится все... Въ книгахъ написано...
оскудѣша... изліяся слава во прахъ...

«Начетчикъ, все по-словенски!»—подумалъ государь.

— Помните ли вы имена этихъ людей?—спросилъ Петръ
Ѳеодоровичъ.

Лицо арестанта опять исказилось, выражая ужасъ и вол-
неніе.—«Онъ, онъ!—звучало у него гдѣ-то на днѣ души,—
онъ... не во снѣ ль я его видѣлъ?»

Иванушка хотѣлъ говорить, и не могъ.

— *Courage, prince, courage!* я васъ слушаю!—обратился
къ нему государь.

— Перваго звали... постойте... охъ, забыть...

— А второго?

— Второго... вспомнилъ... Корфъ, да, Корфъ...

Государь оглянулся. Николай Андреичъ Корфъ, усили-
ваясь что-то достать изъ задняго кармана, кривился и хму-
рился, всячески удерживаясь, чтобъ не заплакать. Слезы,
между тѣмъ, катились по его вздрагивавшимъ, морщи-
нистымъ щекамъ.

— *Merkwürdig, Majestät, o! fabulös,*—громко сморкаясь,
крякнулъ онъ въ платокъ.

Государь былъ искренно, глубоко тронутъ. Обыкновенно
безпечный, Нарышкинъ стоялъ сердитый и опѣшенный.
Мельгуновъ и Волковъ угрюмо смотрѣли въ землю.—«Не
малоумный, не дурафья, чортъ возьми!»—думали они. Ун-
геря не спускалъ растерянныхъ глазъ съ государя.

— Бѣдный, жаль мнѣ тебя,—сорвалось чуть слышно съ
языка Петра Ѳеодоровича:—видите, баронъ, добрая-то дѣла?..

Онъ хотѣлъ еще что-то сказать, но и его круглые, вы-
пуклые глазки замигали. Онъ странно, по-дѣтски, всхлип-

нулъ, повернулся и, гремя шпорами и палашомъ, неуклюже пошелъ вонъ изъ комнаты.

— Государь! о, государь! — закричалъ вдругъ, кинувшись за нимъ ствозъ толпу окружавшихъ, Иванъ Антоновичъ.

— Какъ знаешь ты, что я государь? — спросилъ, обернувшись къ нему, Петръ Федоровичъ. — Измѣна! предупредили? — продолжалъ онъ, съ гнѣвомъ взглянувъ на окружавшихъ.

— По портрету! — объяснилъ Иванъ Антоновичъ: — монета!.. вотъ, вотъ!.. это ты... Мы одной крови... ты дядя мнѣ и ты братъ по престолу... Братъ! помоги... Братъ! Освободи... въ глушь, въ Сибирь... только волю...

Петръ Федоровичъ остолебенѣлъ.

Было мгновеніе — императоръ царствующій былъ готовъ броситься въ объятія императора-узника.

— Я подумаю... готовъ!.. о, я свѣтъ удивлю! — искренно воскликнулъ Петръ Федоровичъ: — мучители, бандиты человѣчества! Истины не упрячешь, сквозь щели тюрьмы, сквозь крышку гроба: вездѣ она пробьется.

— Николай Андреичъ, Дмитрій Васильичъ, — обернулся онъ: — и вы, господа гарнизонный караулъ, на пару словъ. Ласкаюсь надеждой — взять резонабельныхъ мѣръ...

Онъ съ облегченнымъ сердцемъ быстро вышелъ изъ каземата во дворъ. Слѣдомъ за нимъ вышли Корфъ, Нарышкинъ, Волковъ и тюремное начальство. Съ принцемъ остался одинъ Унгернъ.

— Проклятый Фридрихъ, змѣй, сатана! — завопилъ, стуча себѣ въ грудь, Иванъ Антоновичъ: — это онъ, черезъ него...

— Что ты, батюшка, ш-ш! — зашипѣлъ на него Унгернъ: — да Петръ-то Федоровичъ молится на него... Герръ Готтъ! А ты ручку лучше его величеству поцѣлуй, въ ножки поклонись, да проси его, проси...

Иванъ Антоновичъ бросился на колѣни передъ темнымъ, стараго письма, образомъ Спаса. Длинные, свѣтлорусые волосы его падали на холодный полъ, при каждомъ его поклонѣ. Онъ крестился большимъ крестомъ и торопливо шепталъ горячія, несвязныя молитвы.

IX.

Оранжевый воротникъ.

Петръ Ѳедоровичъ, мѣрными шагами, ходилъ взволнованный передъ башней. Рядомъ, прихрамывая и стараясь попадать съ нимъ въ ногу, ходилъ старшій тюремный приставъ, князь Чурмантѣвъ. Нарышкинъ и Волковъ, перешептываясь, стояли здѣсь же во дворѣ, за дровами; Унгернъ и Корфъ—въ глубинѣ площадки, у воротъ.

На коменданта государь осерчалъ, при выходѣ изъ каземата, и прогналъ его за ворота. Тамъ, у входа на мостъ, робко жались младшіе тюремные пристава, Власевъ и Чекинъ, и прочіе гарнизонные офицеры. Далѣе, у церкви, стояли—подоспѣвшая посадская полиція, священникъ крѣпости и кое-кто изъ семействъ офицеровъ и именитыхъ горожанъ.

Между послѣдними былъ и Мирдовичъ. Онъ узнать императора еще на берегу и, проникнувъ вслѣдъ за посадскими, стоялъ сильно озадаченный.—«Что бы это значило?—разсуждалъ онъ съ легкою дрожью,—какъ неожиданно подѣхалъ государь! Что, какъ принцъ выдастъ ему о свиданіи и разговорѣ со мной?.. Могутъ найти у него мою бумагу. Надо быть готовымъ ко всему. Могутъ потребовать, спрашивать. Не отрекись ни отъ чего... Пропадай голова, все расскажу. Ужъ мучиться ему долѣ?»

Императоръ остановился.

— Ну, а послушай-ка, сударь, теперь, — обратился онъ къ Чурмантѣву: — скажи-ка ты мнѣ, да опять по чистой правдѣ, была рѣчь принцева и на мой счетъ?

Чурмантѣвъ замаялся. — «Какъ ему сказать? — подумалъ онъ, — и что изъ того выйдетъ? И дѣйствительно ли онъ желаетъ облегчить участь принца?»

— Увольте, государь, — отвѣтилъ онъ: — не смѣй мнѣ, рабу...

— Сказывай, одинъ вѣдь тебя слушаю! — съ дѣтскими нетерпѣніемъ, хлопая лосиной перчаткой по перчаткѣ, настаивалъ Петръ Ѳедоровичъ.

Онъ вынулъ изъ камзола другую инбирную карамельку и опустилъ ее въ пересохшій отъ волненія ротъ.

— Съ новаго года, какъ я сюда прибылъ, — началъ Чурмантѣвъ: — принцъ ни разу не упомянулъ про васъ; и

зналъ ли онъ о вашемъ восшествіи, про то не вѣдаю... А недавно...

— Что же было недавно?

— Точно во снѣ ему привидѣлось, или слетѣло на него какое прозрѣніе... въ страхъ даже привелъ... вдругъ заговорилъ...

— На какой же манеръ онъ заговорилъ?

— Нынѣ правящій царь — это вѣдь Петровичъ, внукъ Петра, — сказалъ мнѣ наемни принцъ: — да и я-де, какъ и онъ, здѣшней имперіи принцъ и вашъ государь, только Иванычъ... отъ Ивана — царя... И пора бы, говорить, Петровичамъ съ Иванычами миръ навсегда положить... Слава-де въ вышнихъ Богу и на землѣ миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе... Такъ и сказалъ... Проясненіе на него будто нашло; индо въ страхъ повергъ!.. Было бы, говорить, тѣмъ угодно Господу, и тихость-де святая сошла бы на наше царство, и слава о томъ Петра и моей не умереть бы тогда отнынѣ и до вѣку...

— Такъ и сказалъ?

— Такъ доподлинно...

— Да онъ филозофъ, *saperment! Wahr, ser wahr!*.. Правда! Надо въ моментъ, безъ промедленія и ни на какія дѣла несмотря, конецъ всему положить... Липедѣи, душегубцы! *Sclavisches Pask!* банда могильныхъ геенъ...

Петръ Ѳеодоровичъ повернулъ спину къ Чурмантѣеву и снова направился ко входу въ казематъ. Здѣсь его встрѣтилъ Волковъ.

— Одно слово, ваше величество, — сказалъ, склоняясь, тайный государевъ секретарь.

— Что тебѣ? скорѣй...

— Умоляю объ одномъ: что бы вы ни рѣшили, не приводите въ исполненіе теперь же...

Петръ Ѳеодоровичъ молча нахмурился.

— Письмо, ваше величество... тайное о принцѣ письмо...

— Ну, такъ что же?

— Не козни ль то, простите, злыхъ совѣтниковъ государыни, вашей супруги?

— Вздоръ, Васильичъ! совсѣмъ дурашныя, неидуція слова.

Волковъ оживился, глаза его блеснули твердостью.

— Освободивъ принца, — продолжалъ онъ: — вы создадите

себѣ, государь, клянусь вамъ, опаснаго, гибельнаго соперника! И одни лишь отечества предатели, льстецы, могутъ давать такія антиполитическіе совѣты... Да и еще осмѣлюсь прибавить...

— Говори, — охъ, ужъ разумники! Чтѣ тамъ еще умыслишь и на бобахъ разведь? не испытывалъ; видно, самъ тюрьмы, оттого и храбришься...

— Обижать изволите, государь... Не въ моемъ нравѣ давать совѣты о тюремныхъ закрѣпахъ, да о цѣпахъ... Вѣдать изволите, кто возымѣлъ счастье преславный манифестъ о вольностяхъ дворянства поднести къ вашему подписанію?.. Шагъ одинъ отнынѣ, сами такожде то сознать удостоили — къ освобожденію и прочихъ російскихъ рабовъ... Но не слѣдуетъ упускать изъ виду гласа безсмертіемъ одаренныхъ геніевъ...

Волковъ помолчавъ и еще болѣе ободрился.

— Его величество король Фридрихъ, — сказалъ онъ, вновь склоняясь: — неоднократно дружески совѣтовалъ вамъ остерегаться и покрѣпче держать взаперти принца Ивана, дабы чья-либо горячая голова, отъ мечтательной дерзости и лжемыслия, не вздумала возвести его на престолъ...

— Пустиaki! суесловство! — рѣко перебилъ и отвернулся отъ Волкова Петръ Ѳеодоровичъ: — о тронѣ рѣчи нѣтъ!.. Кто тебѣ навралъ?.. Я одинъ, слышь ты, одинъ о томъ могу говорить...

Имя Фридриха, однако, замѣтно смутило государя. — «А вѣдь, пожалуй, и правду сказалъ этотъ безсердечный и ловкій всезнайка-говорунъ? — подумалъ онъ, сердито глянувъ въ продолговатое, сухое, съ большимъ бѣлымъ лбомъ и красивымъ носомъ, лицо Волкова, сѣрые, умные глаза котораго почтительно и съ строгимъ вниманіемъ слѣдили за нимъ, — у такихъ краснобаевъ-совѣтниковъ всегда найдутся резоны кстати... Опасно-неопасно, а дѣло и впрямь надо бы похитрѣе и ловче обдѣлать... Я уже писалъ королю, что держу Ивана въ надежныхъ рукахъ, взаперти»....

Петръ Ѳеодоровичъ еще разъ бросилъ взглядъ на Волкова, досадливо одернулъ на себѣ портупею и не такъ ужъ смѣло взялся за скобу тюремныхъ дверей.

— Господа! — обратился онъ къ свитѣ: — комендантъ, сюда, и вы слѣдуете за мной... Чтѣ можно и чтѣ политическіе и штатскіе резоны позволять, все слѣжаю, не глядя ни на

что. Я не забочусь о его мнимыхъ правахъ, — выбью глупую дурь изъ его головы — сдѣлаю его человѣкомъ, слугою трона... изъ него выйдетъ бравый солдатъ...

Онъ снова вошелъ въ казематъ Ивана Антоновича. Свита, пристава и комендантъ размѣстились за нимъ у порога.

— Князь! — обратился императоръ къ принцу: — скоро день Благовѣщенія... Въ народѣ принято въ этотъ день на волю выпускать... Вы... вы...

Тутъ рѣзкій, странно дребезжавшій голосъ Петра Федоровича мягко дрогнулъ и оборвался. Добрыя, искреннія слезы выступили на его глазахъ.

— Я общалъ... я слово далъ мѣрь удивить! — продолжалъ онъ съ дѣтски-ласковой улыбкой: — не отъ своей персоны говорю! и вы ошибались, если меня приняли... думали... Я простой офицеръ; но меня государь любить и мнѣ аудіенціи давать... Господинъ комендантъ, слушайте... Положеніе арестанта, по истинѣ надо то сказать, ужасно. Поглядите на эти аркады, эти стѣны! съ рѣшеткой окно... Du lieber Gott!.. Здѣсь и при солнцѣ, безъ свѣчки, трудно оставаться... Воздухъ душенъ... Государь изъ одного откровеннаго письма все узналъ... Мнѣ дали комиссію въ этихъ дѣлахъ убѣдиться, и я убѣдился. Содержится принцъ хуже, чѣмъ послѣдній колодникъ, злодѣй... Стыдитесь, господа, — фуй, стыдитесь...

Государь остановился. Всѣ взоры были устремлены на Ивана Антоновича. Онъ стоялъ, понурившись, и, тяжело дыша, длинными бѣлыми пальцами судорожно разглаживалъ свою шелковистую, капитановую бородку.

— Не въ кушаньѣ дѣло, господинъ комендантъ, — въ обхожденіи! — строго крикнулъ государь Бередникову: — принца въ невѣжествѣ оставляютъ, въ дикости, безъ наукъ. Вы про то молчать изволили; я отъ постороннихъ персонъ все узнавалъ. Это должно быть измѣнено... А потому, господинъ главный начальникъ здѣсь, и вы тоже, старшій приставъ... Im Namen, — отъ имени государя императора, — и въ силу данной мнѣ высочайшей резолюціи, вѣняю вамъ отнынѣ — надъ лучшимъ положеніемъ принца наблюденіе имѣть... Колесо фортуны — гексенмейстерскій капризъ! — сегодня вниз, завтра вверх. Извольте — слышите ли то? — выводить принца, время отъ времени, гулять внутри крѣпости, а тамъ и за стѣнами. Пусть прогуливается, укрѣ-

пляется добрымъ воздухомъ. Учите его. Читать онъ знаетъ; но того мало... Сего пункта надо усиливать... Свѣтъ науки да засвѣтитъ его умъ... Sind aber hier?.. есть ли въ этихъ мѣстахъ хорошіе учителя?.. Ласкаюсь надеждой, найдете...

Узникъ бросился къ ногамъ Петра Ѳеодоровича. Грудь его вздымалась отъ сдержанныхъ рыданій.

— О! — визгливо вскрикнулъ онъ, хватая императора за полы кафтана: — Петръ, Петръ!.. братъ мой!.. Все бери себѣ, все отдаю...

Государь положилъ ему руку на плечо.

— Выстроить ему, господинъ комендантъ, особый, хороший, пространный домъ, — продолжалъ Петръ, ласково кивая принцу: — да чтобъ окошки были не узенькія и на солнце. А когда зданіе будетъ готово, самъ я приѣду сюда, чтобъ персонально его туда переводить. Къ моему... къ государеву тезоименитству... чтобъ все то было готово!.. А потомъ мы васъ, принцъ, въ военную службу — будете бравымъ воиномъ, въ офицеры, въ генералы дослужитесь... Довольны ли вы, принцъ?

— Сжался, не уходи, не откладывай! — крикнулъ, порываясь къ императору, узникъ: — брать!.. Петръ! не скрывайся, ты вѣдь государь!.. Зачѣмъ отсрочка?.. смилуйся!

Унгернъ и Корфъ бросились къ принцу. Государь ихъ остановилъ.

— Выпусти меня сейчасъ, выпусти!.. Призвахъ имя твое во гробѣхъ, — косноязыча и дико озираясь, кричалъ узникъ: — дай жить съ нею!.. видѣть ее, слышать!.. (Волненіе болѣе и болѣе охватывало его, путало слова)... Въ лѣса, въ Сибирь... только не здѣсь... Уйдешь, ни тебя, и ея не увижу... братъ, брать!.. помилуй...

Присутствовавшіе были изумлены, потрясены.

— О комъ это? съ какою персоной онъ думаетъ жить? — спросилъ государь Унгерна. Тотъ взглянулъ на Берендикова, послѣдній на Чурмантѣева.

— Бредить, знатъ изъ Маргаритъ что-нибудь вычиталъ и — простите — врѣтъ! — отвѣтить до крайности озадаченный Чурмантѣевъ: — что ни день, новыя, какъ видите, пустоши, новое вранье...

Иванъ Антоновичъ плакалъ, вставалъ и снова бросался на колѣни передъ императоромъ, хваталъ его за руки, волочась за нимъ и цѣлуя ему ноги, одежду. Безсвязной, ди-

кой, молящей его рѣчи нельзя ужъ было понять. Окружавшіе не могли его оттащить, остановить.

— Herr Gott... Armes Kind! силъ нѣтъ смотрѣть, пустите его!—сказалъ государь, замедлясь на порогѣ и добродушно, глазами, полными слезъ, смотря на принца;—пусть выйдетъ... пусть свѣжимъ воздухомъ вздохнетъ... на крыльцо его, на крыльцо...

— Но у него нѣтъ теплаго, — виѣшался Волковъ: — еще простудится...

— Э, батюшка! когда я хочу, такъ ты!!.. колпакъ! — сердито крикнулъ и топнулъ государь: — вотъ мой плащъ, пусть надѣваетъ пока! Auf Wiedersehen!.. до свиданія, принцъ: — торопливо и сконфуженно отворачиваясь отъ Іоанна Антоновича, кивнулъ ему головой Петръ Ѳеодоровичъ: — Карлъ Карлычъ! sagen Sie dass man... вели ему изъ кареты мой шафрокъ въ презентъ принести... пусть себѣ, пусть...

Свита, съ своей стороны, поспѣшила вручить узнику подарки — кольца на память, табакерки, часы. Онъ неумѣлыми, похолодѣвшими руками неловко бралъ эти вещи, тыча ихъ въ карманы куртки и шароваръ.

Лица, стоявшія на дворѣ и въ числѣ ихъ Пчѣлкина, видѣли, какъ у Свѣтличной башни вновь показалась царская свита и какъ, рядомъ съ государемъ, между Унгерномъ и Чурмантъевымъ, вышелъ на крыльцо высокій, съ свѣтлорусыми, монашескими волосами и въ голубой гвардейской епанчѣ, блѣдный юноша. Государь, размахивая перчаткой, что-то съ сердцемъ высказывалъ коменданту. Этотъ съ рукой у шляпы, вытянувшись, молча стоялъ передъ нимъ.

«Чѣмъ-то рѣшено, какой конецъ?—мыслила тѣмъ временемъ, жадно пожирая глазами государя, Поликсена:—освободить ли онъ бѣднаго, раздавленного судьбой родича? Что говорить онъ съ нимъ? что рѣшено? Столько я учила принца, наставляла и все, все ему рассказывала... Какъ онъ жаждалъ свободы! какъ выпытывалъ о свѣтѣ, о людяхъ, клаясь»...

«Ужли,—разсуждалъ въ то же время у церкви, въ толпѣ другихъ, Мировичъ: — ужли, наконецъ, и мнѣ окажется милость мачиха-фортуна? Не вѣрится! Кто обратитъ вниманіе

на столь мелкаго человѣка? Но если произойдетъ чудо, если рѣшатъ возвратить ко двору принца? Кто лучше его сумѣетъ тогда быть защитникомъ, охраной всѣхъ несчастныхъ, сирыхъ всѣхъ, одѣленныхъ судьбой?.. Тогда и я подамъ прошеніе о возвратѣ дѣдовскихъ имѣній... Эка, чортъ, какія мысли! Такъ вотъ о тебѣ, собакѣ, и подумаютъ! О голштинцѣ какомъ-нибудь, о лакеѣ подумаютъ, а не о тебѣ. Боже, Господи! Ну, отчего бы теперь государю, и безъ принца, не обратить на меня вниманія? Чтò ни говори, — проклятыя связи! а вѣдь я былъ на войнѣ, трудился... Нѣтъ!—заклучилъ Мирovichъ, прячась за спины другихъ:—лучше пусть онъ, добрый, безсильный, нерѣшительный, лучше пусть и не замѣтитъ меня, еще, пожалуй, узнаетъ, что черезъ меня доставлены пропозиціи Панина о продленіи войны... Пронеси его мимо, злосчастная судьба»...

— Господинъ офицеры! эй! оранжевый воротничъ! — долетѣлъ до него изъ-за моста громкій, стремительный голосъ.

Мирovichъ оглянулся. Всѣ взоры почему-то были устремлены на него. Кто-то усердно толкалъ его подъ бокъ. Онъ подался впередъ. Толпа передъ нимъ разступилась. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, вывернувъ врозь тупоносые ступни тяжелыхъ ботфортовъ и держа наотмашь огромный палашъ, стоялъ императоръ.

— Kreuz schock bomben-donner-wetter-element! Формъ не соблюдаете:—сильно горячася, кричалъ на кого-то Петръ Ѳедоровичъ:—а вотъ примѣрный офицеръ,—прибавилъ онъ коменданту, указывая на купый и узкій, новой прусской формы кафтанъ Мирovichа: — но это, сударь, жалко, — не изъ вашихъ! Срамъ, срамъ, говорю я.. шалберничество, вертопрашіе! У того шаяпа, какъ сѣдло на коровѣ, у этого—сукно неуказанной толщины, португеза безъ бляхи. Не потерплю того, — слышите ли?—Saperment! не потерплю... У васъ самихъ, господинъ комендантъ, епанча не по табели... кошкенымъ мѣхомъ подбита... Бабамъ шубки такія носить, а не военнымъ! Служба тутъ ни ползетъ, знать, ни ѣдетъ...

«Великій Боже!—думалъ тѣмъ временемъ, глазъ-на-глазъ передъ государемъ, Мирovichъ, — о, люди! видятъ ли меня? чудо чудное! Война, каторга походовъ не вывезла, вывезъ новый кафтанъ... Иные всю забитую, затертую, оплеванную жизнь добиваются, стремятся, а мнѣ легко такъ выпало на

долю... Ужли жь сейчас подойдет, станетъ, въ отличіе другимъ, говорить со мной, разспрашивать?..»

— А это, это что?—шагнувъ въ сторону отъ Мирѡвича, напустился вдругъ Петръ Ѳедоровичъ на помощника пристава, выпялившаго глаза, солдафона Власьева:—мало тебѣ, сударь, что въ старой, отмѣненной формѣ, да и ту еще небрежительно изволишь содержать!.. Что глядишь?.. Третья пуговка отъ галстука—ногами вверхъ пришита... Развѣ то порядокъ? дисциплина? Тагъ по обѣржамъ только шлаться, а не на службѣ!.. Чтѡбъ то было все записано и мнѣ доложено! — заключилъ Петръ Ѳедоровичъ, направляясь къ выходу изъ крѣпости:—пріѣду въ маѣ, чтѡбъ все было въ аккуратѣ, да не инако, какъ со старательствомъ... Будьте на-сторожѣ, господинъ комендантъ... узнавайте гарнизонный уставъ... Васъ перваго заставлю прометать весь артикуль...

Государь подошелъ къ воротамъ. Унгернъ накинулъ на него снятую съ Ивана Антоновича шинель. Петръ Ѳедоровичъ глянулъ къ башнѣ, гдѣ оставилъ принца. На опустѣвшей площадкѣ, попрежнему, расхаживалъ часовой. — «Бѣдный! опять заперли тебя!»—со вздохомъ подумалъ государь. Онъ отвернулся, взглянуть къ дому Чурмантѣева, гдѣ стояла Поликсена, но и ея тамъ ужъ не было.

«И только, — сказалъ себѣ, оставленный отхлынувшей толпой, Мирѡвичъ: — и для того были ожиданія принца, грезы, мечты? Чѣмъ порѣшилъ онъ судьбу несчастнаго? Ужли ничѣмъ? Ужли уйдетъ, и никогда болѣе хоть бы и мнѣ, мелкой сошкѣ, ничтѡжеству, праху отъ его ногъ, никогда болѣе не придется стоять такъ близко возгъ него, глядѣть на него, его слушать? А я готовился всю правду сказать о принцѣ, просить о себѣ... Проклятая судьба, проклятая!.. Былъ одинъ случай, и тотъ пропустилъ...»

— Эй! оранжевый воротникъ! — долетѣлъ до него тотъ же рѣзкій, далеко слышный голосъ:—милости-съ, пожалуй-ста-съ. Интересоватъ васъ видѣть поближе...

— Васъ зовутъ, васъ! — заговорили вокругъ Мирѡвича блѣдныя, заискивающія лица.

«Иди, говори, проси!.. все теперь исполнить!» — жгучей волной пронеслось въ головѣ Мирѡвича. Онъ встрепенулся, журавлемъ, въ темпѣ отбивая на прусскій ладъ шаги, по-

шелъ къ воротамъ и, съ рукой у треуголка, вытянувшись, замеръ передъ императоромъ.

— Эссена, бывшаго нарвскаго полка? — спросилъ Петръ Федоровичъ.

— Точно такъ, ваше величество...

— Фамилія?

Мирѳвичъ назвалъ себя.

— Въ командировкѣ или въ отпуску?

— Въ командировкѣ былъ изъ штаба, теперь по домашнимъ дѣламъ въ отпуску.

Чурмантѣевъ объяснилъ императору, что Мирѳвичъ женихъ, посвященный за его бѣгу.

Глаза государя весело блеснули.

— А! очень радъ! — добродушно усмѣхнулся онъ: — вкусъ недуренъ, шельмовская парочка будетъ, хоть куда... *Aber vous!*.. Невѣсту я, кажись, ужъ встрѣчалъ; при покойной теткѣ служила... мы вмѣстѣ танцами забавлялись... А ты при комъ въ штабѣ атташированъ былъ?..

— Генеральсь-адъютантомъ при Панинѣ, — отвѣтилъ Мирѳвичъ.

Государь поморщился.

— Перемиріе, господа, подписано! — сказалъ онъ, круто обернувшись къ гарнизоннымъ властямъ и щелкнувъ шпорами: — *gratuler*, поздравляю! скоро и вовсе конецъ войнѣ...

Всѣ молча отвѣсили поклонъ.

— Собираясь сюда, — продолжалъ Петръ Федоровичъ: — я въ печать отдавалъ полученныя кондиціи перемирія; скоро явятся въ вѣдомостяхъ... Довольно изъ пустяковъ кровь проливать. А тебя, господишь подпоручикъ Мирѳвичъ, — за доблестное выгладѣнье и молодецкую муштровку даже въ фронтѣ, — жалую, не въ примѣръ прочимъ, персональнымъ моимъ порученіемъ... отчисляю отъ Панина въ отдельный гарнизонъ...

Кровь бросилась въ голову Мирѳвичу.

«Вотъ когда, вотъ! — мелькнуло у него въ умѣ: — Боги! фортуна! внемлю твоимъ велѣніямъ!» — сказалъ онъ себѣ, съ забывшимся сердцемъ, опускаясь передъ государемъ на одно колено.

— Явись завтра на вахтпарадъ! — продолжалъ Петръ Федоровичъ: — или нѣтъ, еще день дамъ тебѣ въ презентъ... побудь съ невѣстой, — послѣзавтра... Рапортуй себя на

плацу оберъ-кригскомиссару... Понялъ?.. Онъ ужъ дальше о тебѣ доложить... Отъ коллегіи курьеромъ поѣдешь, съ дальнѣйшими негоднѣ о мирѣ, къ Бутурлину... А какъ возвратишься назадъ, — глаза императора опять добродушно и весело забѣгали: — зови, батюшка, на пиръ, на свадьбу... *Très content, très content!*.. Въ память тетки, изволь, самъ я и посаженнымъ быть готовъ... не просишь?

Мирѡвичъ былъ ошеломленъ, потрясенъ. Вокругъ него раздавались поздравленія. Ему жали руки, что-то ему говорили. Онъ ничего не понималъ. Безсознательно отвѣтивъ на вопросъ тайнаго государева секретаря, на ходу записавшаго объявленное о немъ повелѣніе, онъ увидѣлъ, что всѣ бросились изъ крѣпости на берегъ за императоромъ, и самъ пошелъ туда же, вслѣдъ за другими.

— *Herr Du mein Heiland ist das ein Volk!* — садясь въ катеръ, сказала Унгеру Петръ Федоровичъ: — крокодилово отродье! — бѣдный принцъ!.. Изъ ума нейдетъ... А гдѣ-жъ мы, *voilà*, господа, важныя дѣла сдѣлавши, нашу солдатскую трубку выкуривать будемъ?

— *Alles ist im Posthause bereit, Majestät!* — подсаживая государя, отвѣтилъ баронъ Унгернъ.

На городскомъ берегу Петра Федоровича встрѣтила депутація отъ крестьянъ и мѣщанства. Впереди нѣсколькихъ, безъ шапокъ, старыхъ и молодыхъ, въ тулупахъ и охабняхъ, бородачей, къ нему выступилъ, съ хлѣбомъ-солью, высокій, тощій, съ тусклыми оловянными глазами желтолицый и, какъ юноша, безбородый петербургскій мѣщанинъ, недавно записавшійся въ здѣшніе купцы. Посадскій приставъ, зувидѣвъ его съ лодки, сталъ бѣлѣ, какъ снѣгъ. Купчина былъ тамошній салотопенный заводчикъ, изъ толка бѣгуновъ, извѣстный въ околотеѣ и въ столицѣ скопецъ Кондратій Селивановъ. Онъ содержалъ въ Шлиссельбургѣ подворье, гдѣ стоялъ и Мирѡвичъ.

— Государь-батюшка, второй нашъ искупитель! — сказалъ, опускаясь на колѣни, Селивановъ: — бьютъ насъ, мучать іудеи, злы посадски фарисеи! ты одинъ нашъ надежа! Сокатился съ небеси... Удостой, батюшка, своимъ заѣздомъ вѣрныхъ, хоть и малыхъ твоихъ людишекъ... Заводъ мой тутъ неподалеку, въ лѣсу, и тебѣ, сударь, по дорогѣ...

— Уважь, родимый, уважь, батюшко! — поклонились прочіе изъ толпы.

— Сектанты!—вполголоса сказали Унгерны: — приставъ аттестуетъ,—раскольщикъ...

— Вѣроправность... der Glaube muss frei sein — отвѣтилъ императоръ.

Петръ Ѳеодоровичъ заѣхалъ къ Селиванову. Тамъ государь кушалъ завтракъ, было притомъ куреніе всею компаніей трубокъ и обильное угощеніе всей свиты. Доставались и приносились изъ погребовъ водянки-холодянки, бархатное пиво, вина и сладкій медокъ.—Уѣзжая, государь пригласилъ Селиванова на свои именины въ гости, въ Ораніенбаумъ.— «Къ попу въ крѣпости не зашелъ, не заглянуть и въ церковь»—шептали по курнымъ, темнымъ хатѣнкамъ, на рынкахъ и по кружаламъ въ городѣ: — «а къ толстосуму-скопцу заѣхалъ... Знать, близки послѣдні времена».

На обратномъ пути съ Петромъ Ѳеодоровичемъ въ возкѣхали Корфъ и Волковъ. Волковъ дремалъ. Корфъ усердно бесѣдовалъ съ государемъ. Угощенія на Селивановскомъ заводѣ развязали словоохотливый языкъ стараго барона. Онъ то смѣялся, то сыпалъ забавными, городскими анекдотами. Передразнивая тѣхъ, о комъ говорилъ, онъ сообщилъ, между прочимъ, свѣжія сплетни о недовольствѣ уволеннаго на отдыхъ отъ всѣхъ дѣлъ, графа Алексѣя Разумовскаго и о новыхъ любовныхъ интрижкахъ стараго и беззубаго поддрика, князя Никиты Трубецкаго. При этомъ зашла рѣчь и объ Орловыхъ... Корфъ помолчалъ, что-то подумалъ и спросилъ государя, слышалъ ли онъ о томъ, что Шванвичъ, изрубившій младшаго изъ Орловыхъ, вновѣ показался въ Петербургѣ?

— Фанфаронъ и трусъ, этотъ твой Шванвичъ! и чего онъ ретировался!—сказалъ, нахмурясь, Петръ Ѳеодоровичъ:— не худо бы и другого, старшаго изъ Орловыхъ, ему въ дисциплину привести... Нашъ риваль—Григорій ужъ больно фанаберить... да не по носу табакъ... А съ жонушкой мы еще посчитаемся...

— Обсервирую, ваше величество, обсервирую! — сказалъ Корфъ:— всѣ акціи, всѣ плутовства ихъ у меня пренумерованы... Моментъ, ассюрирую васъ, моментъ, и всѣхъ накрывать будемъ...

Государь улыбнулся, весело посвисталъ.

— И у меня, баронъ, резонабельный и бравый прожек-

тецъ изготовленъ, — сказалъ онъ: — свѣтъ изумится! Потерпите только немного...

Поздно за полночь оба возка въѣхали въ Петербургъ! Волковъ, уткнувшись, въ уголь кареты, храпѣлъ. Корфъ также начиналъ подремывать.

— Э, bravo, тайный мой конференцъ-секретарь спитъ, — обратился Петръ Ѳеодоровичъ къ Корфу: — даешь слово молчать?... ein Wort—ein Mann?

— Ich schwöre! клянусь, ваше величество!

— Такъ держи-жь секретъ—вотъ, что мнѣ совѣтуютъ... И ты, какъ честный солдатъ, пособляй мнѣ во всемъ... Въ маѣ, или—что то же—въ юнѣ, возму Иванушку изъ крѣпости въ Петербургъ, обвиняю его съ дочкой моего дяди, принца Голштейнбекскаго, и прокламирую, — какъ своего наслѣдника...

Корфъ помертвѣлъ.

— Herr Gott!.. А государыня, а вашъ сынъ?—спросилъ онъ подъ скрипъ тяжелаго возка, нырнушаго въ уличный громадный ухабъ.

Дремота мигомъ слетѣла съ головы барона.

— Мейне либе фрау, — улыбнулся императоръ: — я постригу въ монахини, какъ сдѣлалъ мой дѣдъ, великій Петръ, съ первою женою — пусть молится и кается! и посажу съ сыномъ въ Шлиссельбургъ, въ тотъ самый домъ, который для принца Ивана велѣлъ построить... Ну? was willst du sagen? И домъ тотъ будетъ имъ похоронный катафалкъ, каструмъ долѣрись...

— Lieber Gott! ist das möglich, Majestät? Чтобъ съ того не вышла гибель для государства, а то и для васъ самихъ...

— Пустяки! vogue la galère!.. сдумано, сдѣлано! — сказалъ Петръ Ѳеодоровичъ: — таковъ мой рыцарскій девизъ... Не отступать, чортъ поberi, не отступать! Что? форсировано маленько? Трусись? Wir wollen, голубчикъ, ein bischen Rebellion machen...

— Что моей роли касается, можете, ваше величество, фундаментально спокойны быть, — отвѣтилъ генераль-полцеймейстеръ: — meine Ergebenheit... моя преданность къ вамъ, Majestät, изъ мрамора, изъ гранита... и тайну эту изъ моей души до смерти не вырвуть...

На другой день, поздно вечеромъ, Корфъ подъѣхалъ, съ

Мойки, къ аппартаментамъ императрицы, былъ тайно, по черной лѣстницѣ, къ ней введенъ и сообщилъ ей все слышанное отъ императора. Но его предупредили...

Волковъ еще ранѣе, а именно утромъ того дня, проникъ къ камеръ-фрау государыни, Катеринѣ Ивановнѣ Шаргородской, и черезъ довѣренную особу, — съ которой онъ давно ужъ велъ на всякій случай переговоры, — сообщилъ Екатеринѣ Алексѣевнѣ не только то, что говорилъ государь Петръ Федоровичъ, но и то, что было притомъ отвѣчено Корфомъ.

«Петровцы» замѣтно начинали переходить въ лагерь «Екатериновцевъ». Приближались событія, такъ характерно названныя въ одномъ изъ украинскихъ мемуаровъ того времени: *«погожденіями извѣстныхъ петербургскихъ дѣйствъ»*.

МИРОВИЧЪ.

(1762—1764 г.)

РОМАНЪ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ПОХОЖДЕНІЯ ИЗВѢСТНЫХЪ ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ДѢЙСТВЪ.

—«Роковая минута приближалась...»
Аранъ Петра Великаго.

Х.

Помощница пристава.

Нежданное посѣщеніе императоромъ Петромъ Ѳедоровичемъ шлиссельбургской тюрьмы и посылка Мирovichа съ бумагами въ заграничную армію возбудили немало толковъ и подозрѣній въ высшей столичной петербургской средѣ.

Голштинская партія еще болѣе подняла голову. Хотя ея вожаки старались соблюдать тайну, но по ихъ лицамъ, движеніямъ, двусмысленнымъ улыбкамъ и рѣчамъ можно было догадаться, что при дворѣ затѣвалось нѣчто необычайное. Представители русской партіи — друзья императрицы — съ тревогой всматривались въ близкое будущее.

Пчёлкина изъ первыхъ узнала о послѣдствіяхъ свиданія государя съ его несчастнымъ родственникомъ. Въ участіи секретнаго арестанта, очевидно, готовились новыя облегченія. Комендантъ и старшій приставъ, князь Чурмантѣвъ, суетились, шептались, готовились приступить къ чему-то, что волновало и смущало ихъ всѣхъ.

Мирovichъ выѣхалъ въ Петербургъ, черезъ сутки послѣ

отъѣзда государя изъ Шлиссельбургской крѣпости, и написать оттуда Пчѣлкиной, что его снарядили за границу, дали ему щедрое пособіе на подъемъ, а вскорѣ изъ Нарвы онъ сообщилъ ей, что ужъ находится по пути къ отряду Бутурлина.

Пчѣлкина старалась собраться съ мыслями, обдумать свое положеніе, успокоиться,—и волновалась болѣе. Все, что съ нею произошло въ послѣднее время, было такъ неожиданно, такъ странно.

Она вспомнила свой приѣздъ въ Шлиссельбургъ, перебирала въ умѣ малѣйшія подробности первыхъ дней своего пребыванія въ семьѣ Чурмантъева. Здѣсь она думала найти миръ отъ тревоженій недавней дворской жизни; но, узнавъ нѣкоторыя подробности о неизвѣстномъ арестантѣ, томившемся въ сосѣдней съ домомъ пристава Свѣтличной башнѣ, она потеряла душевный покой. Тайнственный, незнаемый свѣтомъ образъ несчастнаго колодника сразу приковалъ къ себѣ вниманіе Пчѣлкиной. Дни и ночи на-пролетъ она думала о немъ, жадно прислушивалась къ малѣйшему о немъ намѣку въ крѣпости, старалась по своему представить себѣ его незримыя, скрытыя за стѣнами Свѣтличной башни, черты. Тогда еще не было случая съ пожаромъ въ помѣщеніи принца; таинственный, столь оберегаемый узникъ находился черезъ дворъ, противъ квартиры пристава, въ особомъ секретномъ казематѣ. Поликсена не спускала глазъ съ крыльца этой башни, гдѣ, молча, ходилъ съ ружьемъ часовой и всякій вечеръ вверху тускло освѣщалось, огражденное черной рѣшеткой, узкое окно. Разспрашивать Чурмантъева Пчѣлкина боялась; но добродушный приставъ самъ иной разъ ронялъ то или другое слово о заключенномъ! Онъ отъ души жалѣлъ порученнаго ему страдальца и радовался всякому слуху, изрѣдка долетавшему изъ столицы о возможности улучшенія его судьбы. Перемѣнитъ, однако, тогда еще не было. Дни шли за днями въ той же, давно размѣренной, мертвенно-тихой и однообразной средѣ.

Кончивъ занятія съ дѣтьми, Поликсена садилась съ работою въ ихъ классной, и въ то время, когда дѣвочки Чурмантъева играли въ куклы, бѣгали и рѣзвились, принималась упорно думать о «молчаливомъ призракѣ», томившемся въ таинственной башнѣ. Каковъ онъ, да что съ нимъ? Какъ отразилась на бѣдномъ затворникѣ двадцатилѣтняя,

тѣсная, скучная дневнымъ свѣтомъ и воздухомъ, одиночная тюрьма?

Поликсена представляла его себѣ малосмысленнымъ, изуродованнымъ вѣчною, медленною пыткой, не по лѣтамъ слабымъ ребенкомъ. Все такъ ясно она обсудила прежде, чѣмъ неожиданный случай привелъ ее увидѣть заключеннаго. — «Онъ едва долженъ ходить по комнатѣ», — представляла себѣ Пчёлкина узника: — «дневной свѣтъ болѣзненно раздражаетъ его и могъ бы навсегда его ослѣпить, если-бъ вздумали вдругъ его вывести на воздухъ. Человѣческая мысль и рѣчь врядъ ли ему знакомы; а если несчастный арестантъ и можетъ произнести нѣсколько словъ, то они должны походить на крикъ жалкаго звѣря или ночной птицы». — Думая о его лицѣ, Поликсена представляла себѣ его черты чертами одичавшаго, больного отъ рожденія, запуганнаго и всѣми нелюбимаго дитяти, потерявшаго даже сознаніе о томъ, что онъ давно пришелъ въ возрастъ и сталъ человѣкомъ.

«Нѣтъ сомнѣнія, — продолжала разсуждать Поликсена, — онъ лишился возможности отличать и познавать обыкновенныя вещи. Если его выпустить на свободу, онъ станетъ протягивать тощія, слабыя руки къ отдаленнымъ предметамъ, считая ихъ вблизи себя... Все будетъ его радовать, занимать и сильно удивлять... Ноги и руки его оставались безъ употребленія, а потому кожа на нихъ и на лицѣ должна быть нѣжна и блѣдна, зрѣніе слабо и тупо отъ вѣчной, безрасвѣтной, гнетущей полутьмы. Всѣ способности несчастнаго замерли, сняты». — «Но», — заключала свои мысли Поликсена: — «онъ долженъ быть кроткаго, мягкаго, привлекательнаго нрава, послушенъ, нѣженъ и ласковъ, какъ голубь, какъ агненокъ. И что, если его призвать къ жизни, разбудить? Что, если отпереть ему дверь и сказать: «ты свободенъ, иди»... Кто на это рѣшится? кому суждено? И гдѣ тотъ избавитель, отважный Колумбъ, который пойдетъ къ этому новому, забытому людьми, полному чудесныхъ спящихъ силъ, дѣйственному міру — и скажетъ: проснись, живи!»

Поликсена изобрѣтала множество догадокъ и смѣлыхъ предположеній, какъ она умолитъ, увлечетъ и склонитъ Чурмантѣва допустить ее къ посѣщенію арестанта, какъ начнетъ тайно дѣйствовать на заключеннаго, воспитае

его: просвѣтитъ ему сердце и умъ... «Съ пробужденіемъ мыслей и воображенія, затворникъ расцвѣтетъ нравственно и физически». — Она станетъ ему носить книги, вмѣстѣ съ нимъ ихъ читать, объяснять ему событія міра, героевъ исторіи, различіе зла и добра. — «Бывали, — рассуждала она: — подобные примѣры... Столько смѣлыхъ людей увлекались судьбой узниковъ, проникали къ нимъ хитростью, мольбами и, воспитавъ ихъ, давали имъ средства бѣжать. Это, очевидно, не простой человѣкъ». — «Въ то время, какъ все будетъ подготовлено — рѣшала въ мысляхъ Поликсена: — я выберу удобную минуту, явлюсь къ несчастному въ лучшей своей одеждѣ, въ шелковомъ, придворномъ платьѣ и въ убранныхъ же модѣ волосахъ... Онъ бросится къ моимъ ногамъ; сердце его заговоритъ... И мою руку онъ поставитъ цѣной своей свободы... Мы обдумаемъ средства къ побѣгу... Я одѣну его въ мундиръ, плащъ и шляпу. Чурмантѣва; мы въ сумерки выйдемъ подъ руку изъ крѣпости, скроемся на лодкѣ, потомъ на тройкѣ въ ближнихъ финскихъ лѣсахъ, а тамъ — въ Швецію... Придетъ срокъ и гдѣ-нибудь далеко, въ чужихъ краяхъ, онъ явится свѣту, его вспомнятъ и, быть-можетъ, возвратятъ ему его права»...

Мучительнымъ, страстнымъ грезамъ Поликсены суждено было исполниться ранѣе, хотя нѣсколько иначе, чѣмъ она ожидала. Ночной пожаръ въ казематѣ принца напугалъ крѣпостныя власти. Комендантъ Бередниковъ растерялся болѣе другихъ. Надо было, въ тайнѣ отъ главной, секретной экспедиціи, произвести починки и передѣлки въ печи, въ трубѣ, перегородкѣ и полу, все заново отштукатурить, окрасить и побѣлить. Бередниковъ и Чурмантѣвъ условились съ подрядчикомъ, Печниковъ и плотниковъ выпускали въ крѣпость ночью; тѣ работали при фонаряхъ. Князь Чурмантѣвъ перелезъ арестанта къ себѣ, пустивъ слухъ, что тотъ заболѣлъ и находится въ секретной, крѣпостной больницѣ. — «Самъ буду его кормить и смотрѣть за нимъ, — объявилъ онъ коменданту: — помощникъ мой на побывкѣ въ Ладогѣ; пресиль отсрочки и я, къ сожалѣнію, ему написалъ, что онъ можетъ остаться долѣе. Справлюсь пока и одинъ». — И дѣйствительно, князь отсрочилъ отпускъ своему помощнику, Власеву. Наскоро осмотрѣли и укрѣпили рѣшетки въ окнахъ цейхауза; смежнаго съ жильемъ Чурмантѣва. Подъ видомъ береженія въ лучшей сухости будто бы перенесен-

ной туда арестантской аммуниці и провизіи, у наружныхъ дверей поставили особаго часового. Такія перемѣщенія въ крѣпости не были новостью.

Чурмантѣвъ могъ успокоиться. Кромѣ гарнизоннаго фельдфебеля да фельдшера, никто бы и не зналъ, гдѣ именно находится вѣреннѣйшій ему Безыменнѣйшій арестантъ. Но, сперва незамѣченный, вывихъ ноги вскорѣ далъ себя знать Чурмантѣву. — «Вотъ, сударыня, одного буйнаго колодника перевелъ я подъ свой кровъ и фаворъ», — сказалъ онъ Пчёлкиной, пробираясь утромъ съ ключами и съ чашкой арестантской стряпни, черезъ двѣ нежилыя горницы, бывшія за дѣтскою спальней и носившія названіе «старой кладовой». Этихъ комнатъ давно никто не видѣлъ, и онѣ въ послѣдніе годы были подъ замкомъ. Сходилъ туда Чурмантѣвъ еще разъ въ обѣдъ, потомъ вечеромъ, въ ужинъ; но къ ночи слегъ и разохался: ни спать, ни сѣсть отъ опухшей, ломившей ноги.

— Охъ, къ Власьеву написать, что ли, въ Ладогу, — говорилъ со стономъ приставъ: — вызвать бы его... и куда, въ самомъ дѣлѣ, одному со всѣмъ справиться?

— Хорошо сдѣлаете, — сказала Поликсена: — диктуйте, я принесу бумаги и перо.

— Нѣтъ, матушка, подожду ужъ... Не полегчить ли къ утру?

А за ночьхватила лихорадка, жаръ и бредъ. Чурмантѣвъ метался въ бессонницѣ, поминутно звалъ къ себѣ няню-чухонку, что-то все собирался ей сказать и не могъ: она была совсѣмъ глухая и мало понятливая баба.

«Не догадается, не пойметъ, — думалъ о ней, мучась, Чурмантѣвъ, — но другимъ можетъ придти въ голову, станутъ ее пытать, и она объявитъ секретъ».

На разсвѣтъ Поликсена пришла провѣдать больного князя. Онъ лежалъ съ открытыми, горѣвшими, испуганными глазами.

— Что съ вами? — спросила она.

— Тотъ-то... колодникъ-то, — прошепталъ Чурмантѣвъ, поднимаясь и шаря рукой подъ подушкой: — свѣжей водички бѣ ему, хлѣба, молока... дура эта чухонка... фельдфебеля звать не хочется.

— Давайте, я ему снесу; дѣти еще спятъ.

— И онъ кстати спитъ... Отнеси, матушка; тамъ пере-

городка, и опять дверь... отомкни, поставь бережно и скорехонько уходи. Охъ, онъ вѣдь... за всѣмъ слѣдять...

Голова Чурмантѣева закружилась. Онъ не договорилъ, подаль ключи и въ изнеможеніи упалъ на постель. Поликсена была въ красивой ночной блузѣ. Накинувъ на голову платокъ, она пробралась въ бывшую кладовую. Няня и дѣти еще спали. Утренние лучи уже пробивались съ надворья Пчѣлкина отперла первую дверь, вторую; тихо нажавъ послѣднюю дверную ручку, она ступила за порогъ. — «Кто, однако, этотъ заключенный?—спрашивала она себя:—фанатикъ-раскольникъ, бунтовщикъ противъ власти, или важный военный дезертиръ? И каковъ онъ изъ себя? гдѣ спитъ? старый или молодой? Или впрямь это тотъ самый... таинственный, запрятаннй сюда, принцъ, о которомъ говорятъ?»

Поликсена помедлила при входѣ. Въ комнатѣ было темно. Она отодвинула складной, внутренний, оконный ставень, оглянулась вокругъ себя. Вправо отъ входа, на желѣзной, заржавленной кровати, покрытой старымъ сбитымъ войлокомъ, въ посконной мужичьей рубахѣ и въ заношенныхъ, на босу ногу, башмакахъ, спалъ худощавый, блѣдный молодой человекъ. Русые, длинные волосы мягкими прядями укрывали подушку и часть красиваго, съ рыжеватой бородкой, лица. Нѣжная, женственно-бѣлая рука свѣшивалась изъ-подъ наброшеннаго на спящаго грубаго матросскаго плаща. — «Такъ молодъ—и ужъ колодникъ, — подумала Поликсена, бережно ставя воду и завтракъ на столъ, гдѣ лежала полураскрытая, почернѣлая, старой церковной печати, книга,—скорѣе—раскольникъ, ихъ архимандритъ или епископъ — и, видно, опасный», — досказала себѣ Поликсена, отходя къ порогу.

Арестантъ проснулся, вскочилъ, присѣлъ на кровати; его испугало невиданное явленіе. И никогда, въ остальные годы жизни, Поликсена не могла забыть этихъ кроткихъ глазъ и этого изумленнаго лица. — «Принцъ!» — подумала она, чувствуя, какъ молнія пронеслась у нея въ мысляхъ, обдавъ ее страхомъ и мучительной радостью. Она окаменѣла.

Арестантъ протянулъ передъ собой руки, протеръ себѣ глаза и что-то заговорилъ несмѣлымъ, молящимъ шопотомъ. Что говорилъ онъ въ это время и за кого принимать, въ полу-снѣ, въ полу-сознаніи, вошедшую къ нему гостью—трудно было рѣшить. Въ его дѣтскихъ впечатлѣніяхъ оста-

лись смутныя воспоминанія о другомъ подобномъ, ласковомъ и нѣжномъ существѣ; но то была жалкая, высокая и худая особа, съ вѣчно-заплаканнымъ лицомъ, въ черномъ, траурномъ платѣ, и съ глазами, полными ужаса и скорби. Арестанту вносѣдствіи казалось, или ему это говорили, что то была его несчастная, сосланная съ нимъ мать, принцесса Анна Леопольдовна. И онъ часто, съ болью сердца, раздражительно думалъ о прошломъ, пристава къ окружающимъ съ разспросами о ней, старался мысленно себѣ представить эту далекую, дорогую, заплаканную мать. Нерѣдко, въ смутномъ тяжеломъ снѣ, Иванушкѣ мелькалъ на мигъ ея неуловимый, скорбный и вмѣстѣ плѣнительный, куда-то, въ безжалостный мракъ, убожавшій образъ. И вдругъ ему снова теперь показалось, что онъ спитъ и во снѣ неожиданно увидѣлъ этотъ образъ. Нѣтъ, это не она. Той нельзя было разглядѣть, какъ онъ ни усиливался, какъ ни мучился. А эта — вонъ она стоитъ, у двери; ея свѣтлые, чарующіе глаза смотрятъ на него съ удивленіемъ и участіемъ, легкій станъ ея колеблется, ярко-цвѣтная блуза шелеститъ... Щелкнувъ дверной замокъ, — гостья скрылась...

Съ того дня Пчѣлкина стала безпрепятственно навѣщать арестанта. Чурмантѣевъ хоть и сознавалъ неудобство этихъ свиданій, но было трудно ихъ избѣжать: онъ лежалъ больной, неподвижный. Въ Петербургъ о его болѣзни не рапортовали. Притомъ изъ столицы неслись утѣшительныя вѣсти; вездѣ сказывались облегченія, послабленія. — «Авось вспомнятъ и насъ, забытыхъ, не казнятъ, — думалъ пристава, прикованный вывихомъ ноги къ постели, — Богъ мнѣ послалъ помощницу разумную, скромную». — И действительно, Поликсена держала себя такъ обдуманно, строго. Лишняго слова не скажетъ: осмотрительна, горда. Сторожей надо ли выпустить, убрать комнату принца, — она выведетъ арестанта, запретъ въ смежную пустую горенку, — выпуститъ фельдфебеля къ князю, за ключами, — а сама накинеть шубку и стоитъ у наружныхъ дверей, пока гарнизонные солдаты метутъ, моютъ полы и провѣтриваютъ помѣщеніе принца.

Днемъ Поликсена приносила пищу, питье и книги арестанту; ночью сама читала съ нимъ, учила его писать, чертила ему виды крѣпости, озера, окрестныхъ мѣстъ, рассказывала о Петербургѣ. Замѣтивъ его заніе, а при волне-

ни даже косноязычіе, она заставляла его медленно, внятно читать и повторять за нею трудные для него слова. Затворник оказался вовсе не такимъ малосмысленнымъ, слабымъ ребенкомъ, какимъ его представляла себѣ Поликсена. Онъ былъ смѣтливъ, находчивъ, и когда ничто его не раздражало, — быстро усваивалъ новыя понятія и радовался всему безгранично. Эта радость иногда переходила въ веселость, неудержимую смѣшливость. Принцъ вскакивалъ, прыгалъ по комнатѣ, дѣлалъ забавныя выходки. — «Боже, когда бы скорѣе, скорѣй! — торопилась и трепетала Поликсена, со страхомъ приглядываясь къ работѣ, производившейся въ постоянной тюрьмѣ арестанта: — успѣю ли все ему передать, рассказать?» — Она видѣла, какъ по ночамъ, черезъ дворъ, съ фонарями, выносили изъ башни мусоръ, закопченный кирпичъ; новая труба поднялась на крышѣ; вывели кучу щепокъ съ крыльца; устроили у лѣстницы творило для извести, и, подъ конвоемъ инвалидовъ, сталъ ходить въ башню, съ ведеркомъ и съ кистью, посадскій маляръ. Передѣлки подходили къ концу.

Разъ, — это было вечеромъ, — къ больной ногѣ Чурмантѣева, дня за два передъ тѣмъ, привязалось рожистое воспаление, и онъ чувствовалъ себя очень неладно. Поликсена прошла, съ корзиной кушанья и новой книгой, къ арестанту. — «Пусть себѣ, — думалъ, глядя на нее, приставъ; — не велика бѣда: не встану, умру, — хоть добромъ помянуть за неповиннаго, всѣми забытаго страдальца!» — Поликсена вошла къ узнику, замкнула за собою дверь, нагнула оконный ставень, зажгла принесенную восковую свѣчу и раскрыла книгу. Арестантъ сѣлъ рядомъ съ нею у стола. Она смотрѣла на него, стараясь проникнуть въ его мысли. Что думалъ о ней принцъ? чего ждать отъ нея, отъ своей судьбы? Онъ былъ не по себѣ; смотрѣлъ сумрачно. Тихо взявъ ее за руку и нѣжно глядя ей въ глаза, онъ робко коснулся къ этой рукѣ губами.

— Что вы? — спросила, вспыхнувъ, Поликсена.

— Всѣ ли вы... таковы? — произнесъ Иванушка.

— Много есть лучше, — отвѣтила Поликсена.

— Имя твое?

— На, чтѣ вамъ имя? зовите — другомъ...

— Остайся, не уходи... будь вѣчно со мной!

Арестантъ прижалъ руку гостьи къ своей груди.

— Другъ, прикажи меня выпустить,—сказалъ онъ:—вѣдь всѣ тебя послушаютъ.

— Ошибаетесь, я здѣсь подначальная.

— Ты не человѣкъ... духъ съ неба, планида.

— Человѣкъ, и самый послѣдній, ничтожный.

— Ножъ возьми и ихъ убей!—сказалъ арестантъ, сверкнувъ глазами.

— Одного убить, останется много другихъ,—отвѣтила Поликсена:—терпите, молитесь Бога, принцы! время придетъ, вы будете свободны.

Колодникъ слушалъ и не могъ понять, почему эта стройная красивая дѣвушка, отъ cadaго движенія, слова, отъ каждой складки платья которой вѣяло такимъ обаяніемъ, была не въ силахъ дать ему волю, его спасти.

— Меня всего лишили?—спросилъ онъ:—всего?

— Чтѣ вы хотите этимъ сказать?

— Были другіе такіе мученики?

— Были... Несчастныхъ, какъ и васъ, лишали престола, царства.

— А скажи, кому-нибудь возвращали то, чтѣ отнято?

Пчѣлкина рассказала узнику о французскомъ королѣ Карлѣ Седьмомъ, и о его избавительницѣ, крестьянской дѣвушкѣ изъ Орлеана. Иванъ Антоновичъ слушалъ ее съ замираніемъ сердца, и когда она кончила рассказъ, схватилъ ее за руку и, страстно прижимаясь къ ней, сталъ просить, чтобъ и она вымолила у Бога чудо, спасла его отъ гонителей и тюрьмы. Его дѣтски-молящая, несвязная рѣчь, слезы и сильныя, мужественныя объятія заставили Поликсену опомниться. Она его отстранила, стараясь его успокоить.

— Вы будьте готовы, если думаете уйти,—можетъ-быть, я приду или дамъ знакъ,—сказала она.

— Приказывай, зови.

— А если откроютъ, дотонять, убьютъ?

— Пошли, Боже, муки, смерти! лишь бы ты... лишь бы съ тобой...

Поликсена встала. Въ ея спокойныхъ, строгихъ глазахъ блеснулъ рѣшительный лучъ. Она положила руки на плечи узника, растерянно и съ робкой надеждой смотрѣвшаго на нее; судорожно сжала тонкіе пальцы, притянула его къ себѣ

и, страстно прикоснувшись губами къ его блѣдной, исхудалой щекѣ,—пошла къ двери.

Арестантъ обезумѣлъ, замеръ.

— Куда, куда? — крикнулъ онъ, кинувшись за ней: — свѣтъ... радости!

Дверь захлопнулась, все стихло.

Весь слѣдующій день Поликсена ходила, какъ потерянная. Вечеромъ этого дня, послѣ долгой разлуки, она неожиданно свидѣлась, у священника, съ Мирovichемъ. Мысль о помощи принцу возродилась въ ней съ новой силой. Она терялась въ предположеніяхъ, планахъ, догадкахъ. И подыскался случай, указавшій, какъ ей дѣйствовать.

Ведя дѣтей на исповѣдь, она впопыхахъ забыла замкнуть дверь временного помѣщенія узника и тѣмъ вызвала неожиданную встрѣчу съ нимъ Мирovichа. — «Судьба!» — сказала она себѣ, и тутъ ей пришло въ голову — откровеннымъ, безыменнымъ письмомъ побудить государя къ посѣщенію Шлиссельбургской тюрьмы. Ея смѣлый планъ удался; но не такихъ она ожидала послѣдствій. Царственный узникъ оставался, попрежнему, въ заточеніи; женихъ Поликсы былъ усланъ за границу, а Чурмантѣву къ Пасхѣ объявили, что онъ замѣненъ другимъ и переводится, въ уваженіе его заслугъ, на покой, въ одну изъ пограничныхъ крѣпостей, за Волгу.

Князь Чурмантѣвъ, передъ выѣздомъ, былъ вызванъ въ Петербургъ, для нѣкоторыхъ объясненій въ особой комиссіи — изъ Нарышкина, Мельгунова и Волкова, которымъ отнынѣ было поручено вѣдать дѣла арестанта Безыменнаго. Князь уѣхалъ, а дѣтей съ Пчёлкиной на время оставилъ, вслѣдствіе весенней распутицы, въ домѣ священника.

Преемникъ Чурмантѣва, премьеръ-майоръ Жихаревъ и его помощники, капитаны Батюшковъ и Уваровъ, приступили съ Березниковымъ къ обсужденію мѣръ для исполненія личныхъ приказаній императора объ арестантѣ. Имъ, по поводу этого, изъ Петербурга писалъ Унгернъ: «арестантъ, послѣ учиненнаго ему посѣщенія, легко можетъ получить какія-либо новыя, неподходящія мысли; а потому всячески удерживайте его отъ новыхъ пагубныхъ вракъ, — о здоровьѣ жъ, о воздухѣ заботьтесь».

Первую прогулку съ арестантомъ сдѣлали послѣ Пасхи,

и она прошла благополучно. По пробитіи вечерней зари, когда все стихло въ крѣпости, принца одѣли въ плащъ и шляпу Батюшкова, а Жихаревъ вывелъ его внутренней лѣстницей, на стѣну куртины. Принцъ опьянѣлъ отъ свѣжаго воздуха, шатался и то и дѣло замедлялъ шаги, хватаясь за сердце, вскрикивая: «ахъ, Господи!.. ахъ, чудно!.. что это? что?» и жадно вглядываясь, черезъ Неву, въ городскіе дома и, въ окутанные весенней мглой, прибрежныя поляны и лѣса.

— Ахъ, господинъ майоръ, ну, какъ здѣсь хорошо! — сказалъ онъ, ухвативъ за полу шедшаго съ нимъ пристава: — не забуду во вѣки... небо какое! а мѣсяцъ!.. запахъ!..

— Пойдемте, пора домой, — пока довольно...

— Точно ладаномъ пахнетъ... Охъ, не могу, сядемъ; чутьчку бѣ еще туда...

— Нельзя, сударь... въ другой разъ...

Въ слѣдующіе дни гуляли долѣе. Жихаревъ пробовалъ выводить принца на бастионы, за стѣны крѣпости, а спустя нѣкоторое время рѣшился прокатиться съ нимъ по быстринѣ и по рѣкѣ. — «Богъ его вѣдаетъ, — разсуждалъ Жихаревъ: — коммиссія къ нему какъ бы строга, а государь вонъ какъ о немъ рѣшилъ... Кого слушать?» — Когда катеръ, лавируя по озеру, приблизился къ пристани, стало видно движеніе въ улицахъ и послышался говоръ народа, сновавшаго у берега, — принцъ едва не выскочилъ за бортъ.

— Чтò, какова я теперь персона? — сказалъ онъ: — принцъ Иванъ хотъ и взять живой на небо, но во мнѣ его особа... вездѣ ночью могу... а Чурмантъевъ, дуракъ, боялся, не хотѣлъ со мной даже говорить...

— Все, сударь, отъ начальства. Было строго, нынѣ слабѣе.

— А гдѣ Чурмантъевъ?

— Уѣхалъ.

— И дѣти съ нимъ?

— Всѣ, какъ есть.

Принцъ задумался. — «Значить, уѣхала и та дѣвушка...» — сказалъ онъ себѣ.

Въ концѣ Ѳоминой, въ крѣпостной церкви, по совѣту священника, отслужили для узника особую, безъ стороннихъ свидѣтелей, обѣдню. — «Шутка ли, столько лѣтъ сердечный въ божьемъ храмѣ не былъ!» — мыслить отецъ Исай, вглядываясь въ просвѣтлѣнный важный ликъ юноши, робко

стоявшаго передъ алтаремъ. Онъ съ чувствомъ, въ радостныхъ слезахъ, молясь за раба Божія Іоанна, дрожащимъ голосомъ возглашалъ пасхальный кантъ: «Воскресеніе день... просвѣтимся людие...»

Баронъ Унгеръ прислалъ изъ Петербурга арестанту запасъ бѣлья, провизіи и даже лакомствъ, причемъ спросилъ Бередникова, скоро ли начать постройку указаннаго государственъ дома. Къ этой постройкѣ приступили.

Въ крѣпость стали возить камень, бревна, доски. Передъ домомъ пристава выкопали рвы и начали возводить фундаментъ. Работа шла спѣшно. Комендантъ надѣялся все кончить, согласно волѣ государя, къ 29-му іюня.

Въ Николинъ день, принцъ и его новый главный стражъ, гуляя по крѣпостной стѣнѣ, засидѣлись на верху куртины, вышедшей къ городу. Іоаннъ Антоновичъ видимо сталъ оправляться, посвѣжѣлъ и даже загорѣлъ. Вечерѣло. Жихаревъ думалъ о покинутой въ Петербургѣ семьѣ. — «Хоть бы дорога скорѣй установилась, моихъ бы сюда перевезти — разсуждалъ онъ: — акая скука, точно кладбище, могилы...» Арестантъ въ подзорную трубку пристава смотрѣлъ на базарную площадь, гдѣ лавочники, съ посадскими, обрадованные теплomu майскому вечеру, играли въ орлянку, въ мячъ и водили хороводъ. По водѣ чутко доносились крики, раскатистый смѣхъ играющихъ и пѣсенные возгласы хороводныхъ запѣвалъ.

— Это что? вотъ, вотъ... движется, реветъ? — спросилъ принцъ.

— Стадо коровъ, — отвѣтилъ Жихаревъ.

— А тѣ вонъ, точно мыши... Экъ посыпались къ берегу! за кѣмъ это гонятся?

— Дѣти, сударь...

— Ахъ, ваше благородіе, кабы и намъ къ нимъ? — сказалъ арестантъ.

— Нельзя, сударь, что вы! Не такого ранга вы особа, чтобъ къ черни ходить...

Задумался узникъ. — «Вотъ она доля, — мыслилъ онъ, — прежде держали, какъ послѣдняго колодника, теперь чтуть, а воли все нѣтъ».

Стало темнѣть. Въ городѣ зажигались огни. Звѣзды начали вырѣзываться среди мягкихъ, бѣжавшихъ надъ озеромъ, перистыхъ облачковъ.

— Я всё планыды знаю, — сказать вдругъ арестантъ: — всё, всё, до одной...

— Что же вы знаете о нихъ? — спросилъ, зѣвнувъ, Жихаревъ.

— Въ окно высмотрѣлъ... какъ и что кому обозначено...

— И что-жъ на нихъ обозначено?

— Вонъ та, бѣлая... вонъ одна-то... видишь?... это моя.

— Ну, а тѣ, подалѣе?

— Голубенькая — государева... Всѣ ночи глядѣлъ на нихъ, допытывался... спрашивалъ ихъ.

— И что-жъ вы спрашивали?

Арестантъ замолчалъ; въ досадливомъ нетерпѣніи, молчалъ и пристава. Ночная какая-то птица въ это время налетѣла на нихъ и, пугливо шарахнувшись, унеслась въ стору, къ темному бастіону.

— Не выпустить царя, — продолжалъ арестантъ: — не быть ему въ счастье...

— Врете, сударь; охота пустое врать!

— Видишь? голубая планыда, раньше бѣлой, за облакъ зашла?... Ну, раньше моей закатится его доля...

— Чепуху, несуразное, сударь, говорите, — строго сказалъ, оглядываясь, Жихаревъ: — не бросите вранья, по начальству отпишу... Вамъ облегченіе, милости, а вы... пора по угламъ...

Арестантъ и его стражъ спустились съ куртины, сошли въ крѣпость и, церковнымъ садомъ, приблизились къ гауптвахтѣ. Изъ-за распускавшихся деревъ показался домъ священника. Принцъ взглянулъ туда, тихо вскрикнулъ и бросился впередъ.

— Куда вы, куда? — сказалъ Жихаревъ, схвативъ его за руку.

За выступомъ дома, у крыльца священника, стояла Пчёлкина.

— Ой, да пусти же ты, грубіанъ! — крикнулъ, вырываясь, арестантъ: — другъ, другъ!.. Ты здѣсь? вотъ я, спаси...

— Сударыня, уходите, — произнесъ пристава: — прошу васъ, приказываю.

Арестантъ вырвался, добѣжалъ къ крыльцу.

— Гдѣ была? гдѣ? — задыхаясь, шепталъ онъ Полисенъ: — столько дней не слыхалъ голоса...

— Идите, покоритесь,—проговорила Пчёлкина:—и помните, гдѣ бы вы ни были,—я васъ не покину, найду...

Жихаревъ крикнулъ стражу съ гауптвахты. Караулъ окружилъ арестанта, который кидался на солдатъ и бѣшено отъ нихъ отбивался.

— Дикіе вы звѣри!—кричалъ онъ:—кого слушаете? государь волю мнѣ далъ, а вы не пускаете... самъ я государь...

— Успокойтесь, сударь; что вамъ угодно? — спросилъ Жихаревъ.

— Не хочу въ старую нору.

— Новое помѣщеніе не готово.

— Къ попу переведи, вотъ сюда...

— Здѣсь тѣсно, да и негоже для васъ, не пустятъ.

— Иди, собака, и проси... Знаешь самъ, каковъ я родомъ человѣкъ!

— Слушаю, сударь,—отвѣтилъ, найдясь, Жихаревъ:—вы точно не простая персона, а потому надо по приличности очистить здѣсь горницы. Пойду къ священнику, а пока перешлите на старомъ мѣстѣ.

Арестантъ сдался. Жихаревъ его заперъ попрежнему въ казематъ и поставилъ къ нему у башни двойной караулъ. Пчёлкину на утро выпроводили изъ крѣпости. Написавъ Чурмантѣеву, она съ его дѣтьми переехала въ шлиссельбургскій посадъ.

Такъ прошло двѣ недѣли. Узникъ впалъ въ безнадежное отчаяніе. Имъ овладѣли порывы неукротимой злобы и свирѣпаго, звѣрскаго бѣшенства.

Часовые, на утренней смѣнѣ, сообщали приставу и коменданту о безсонныхъ ночахъ, проводимыхъ принцемъ. Сѣни и узкій проходъ передъ казематомъ оглашались раздражающими душу стонами и криками узника. Онъ бѣсновался безъ умолку, съ бранью и проклятіями, стучалъ скобой желѣзныхъ дверей, опрокидывалъ мебель въ комнатѣ, билъ стекла, рвалъ на себѣ платье и бѣлье.

— Что вамъ, сударь, надобно?—спрашивали его часовые въ дверное, рѣшетчатое окно:—этимъ манеромъ аммуницію искалѣчите... себѣ и казнѣ ущербъ.

— Ведите Жихарева, его, пса, надо...

— Аспидъ ты, крокодилъ!—съ пѣной у рта кричалъ узникъ Жихареву:—ее приведи... слышишь? ее...

— Нельзя-съ, по статуту, уѣхала.

— Разлюбить... вѣдь разлюбить... слово одно, хоть взглянуть!..

Арестантъ грызъ себѣ руки, хватался зубами за оконную рѣшетку.

«Еще въ Питерѣ узнають про экое озорство, — думалъ, замаявъ въ страхѣ, приставъ, — ужъ когда бы скорѣе рѣшили, чтѣ съ нимъ и какъ! все Чурмантъевъ натворилъ! донести о немъ, — да жалъ бѣднаго, засудятъ»...

— Скорпионы, аспиды! запали ихъ, Боже, сокруши! — кричалъ день и ночь въ окно и двери узникъ: — змѣй на нихъ! камни! кляни ихъ! Боже, кляни...

— Бѣсъ обуюлъ, испортили! сердечнаго — шептали въ сѣняхъ гарнизонные солдаты: — былъ тихъ, а теперь буря-бурей...

Забываясь краткимъ, тревожнымъ сномъ, арестантъ просыпался ночью, и еще тяжелѣе и горше было у него на душѣ. Каменный сводъ давилъ, какъ гробъ. Отъ молчаливыхъ, бѣлыхъ стѣнъ вѣяло холодомъ. Когда-то разсвѣтъ? Иванушка звалъ Поликсену, слалъ ей нѣжные слова. Бросится къ форточкѣ каземата, распахнетъ ее, торопливо привстанетъ на ципочки и жадно вдыхаетъ свѣжій, ночной воздухъ.. Виденъ край темнаго хмураго неба. Вонъ бѣлая и голубая звѣзды; высоко онѣ мерцаютъ надъ крѣпостью, ныряя въ налетающихъ облакахъ.

«Имъ вольно въ далекомъ небѣ, — мыслилъ онъ, — а я опять въ норѣ, опять взаперти». — Ночь проходитъ. Загорается блѣдное утро. Воробьи чирикаютъ, галки взлетаютъ, чистятъ длинные, жадные носы. Солнце поднимается. Крики жаворонковъ, соловьевъ доносятся съ полянъ, изъ лѣсистыхъ, просыпающихся тайниковъ. Тамъ радость, тамъ жизнь. А здѣсь? И кажется Иванушкѣ, что не соловьи и не жаворонки отзываются на берегу, а трубятъ чудотворныя золотыя трубы, нѣкогда рушившія стѣны Іерихона. — «Осанна въ вышнихъ! — шепчетъ узникъ: — Египетъ даде руку, Ассуръ въ насыщенье ихъ... Но гдѣ Египетъ и гдѣ освободитель Ассуръ?»

Арестантъ силился взломать ржавую, оконную рѣшетку и до крови рѣзалъ себѣ руки.

Нѣтъ спасенія, нѣтъ воли... Почернѣлая, закапанная воскомъ книга разогнута на столѣ. Слабый утренній свѣтъ скользитъ по ней, и кропать ее горькія, жгучія слезы. Ива-

нушка читаетъ, но нѣтъ смысла и отрады въ прочитанномъ. Стѣны глухи и нѣмы, какъ могила. Крутомъ тишина.

«Бысть яко медвѣдь ловай, яко левъ отъ сокровенныхъ» — читаетъ Иванушка, добиваясь отвѣта на свои терзанія.

«Не левъ я,—жалкая мошка, комарь!.. А тамъ, за стѣной... тепло, воздухъ, люди и она... ха, - ха!.. звѣри, убійцы! звѣри»...

Дикій хохотъ, будя утреннюю тишину, неся изъ темнаго окна узника.

XI.

Надпись на воротахъ.

Мирѡвичъ оставилъ Петербургъ съ легкимъ сердцемъ и полный давно неиспытанныхъ, радостныхъ ощущений. Подъ шумъ и плескъ вѣшнихъ водъ, онъ неся за границу на перекладной. Вотъ Луга, Псковъ, Двина—какъ море, берега Нѣмана. Весна въ Литвѣ стояла во всемъ разгарѣ. Тянулись вереницы дикихъ гусей, журавлей. Лѣса, водныя заросли синѣли въ туманѣ, стонали отъ птичьихъ криковъ и свистовъ. Пахло березовыми, смолистыми листьями, ландышами.

«Женюсь, все брошу, — думалъ Мирѡвичъ, миновавъ границу, — возьму абшидъ, выйду въ чистую, и уѣду на родину — хлопотать о своихъ правахъ. Что намъ столица, блескъ жизни, фанфары, суета-суетъ? Поликсена сказала: когда не Питеръ, лучше уѣхать на твою Украину, въ Переяславскій уѣздъ, нагулялись бы мы тамъ, по поясъ въ полевыхъ травахъ, надышались бы цвѣтомъ яблонь да грушъ!.. Повезу ее. Нѣтъ своего угла на родинѣ, добьемся его,—не черезъ себя, черезъ добрыхъ людей, а пока погостимъ у друзей. Никогда, никогда, кажись, такъ не жаждалъ достатка; а ужъ для нея... она хочетъ, и все будетъ!.. И Михайло Васильичъ Ломоносовъ одобрилъ, когда я ему все рассказалъ, по возвращеніи изъ Шлиссельбурга. Тамъ, на Трубежѣ, возлѣ бывшего дѣдовскаго Липоваго-Кута, — гдѣ пчелы отцовскаго кума и гдѣ я бѣгалъ мальчикомъ... Вотъ гдѣ рай... Хоть бы клочокъ родной земли! Панъ на загорѣ равенъ воеводѣ... Цѣла ли та пасѣка и живъ ли старшій отцовъ кумъ, Майстрыкъ?..»

Солнце грѣло. Мирѡвичъ дремалъ и видѣлъ себя въ полѣ.

Золотыя волны высокой, спѣлой пшеницы шуршали и колебались кругомъ. Онъ шелъ гдѣ-то нивой, въ гору. На горѣ церковъ; въ ней пѣнье, горять свѣчи. Его ждутъ вѣнчать съ Поликсею. А золотой пшеничной нивѣ нѣтъ конца. Колышутся и шепчутся душистыя волны; онъ товетъ въ нихъ, выбивается изъ силъ. Мелькаютъ алыя маки, васильки; на нихъ качаются сизыя, съ рогами, жуколицы, глазатые, пушистые пауки... «Что же я-то? у меня вѣдь крылья есть!»—думаетъ Мирovichъ, распахнулъ крылья и летитъ надъ шуршащимъ моремъ и не видитъ колосьямъ конца. Поспѣетъ ли?.. Церковь далѣе и далѣе... Сердце замираетъ. Онъ очнулся. Передъ глазами сѣрый жидовскій балахонъ, сгорбленная спина и рыжіе пейсы возницы. Станція, смѣна лошадей...

Переговоры съ Пруссіей о заключеніи окончательнаго мира начались еще до пріѣзда Мирovichа въ отрядъ Бутурлима. Съ одной изъ такихъ экспедицій, въ числѣ другихъ офицеровъ, попалъ снова въ Берлинъ и Мирovichъ.

Къ концу мая, онъ прислалъ изъ-за границы презенты невѣстѣ: сѣрое тафтяное платье, бархатный алыи камзолъ, черепаховыя подвѣски, браслеты, склаважъ и модную, изъ бѣлой шали, накидку—барбаръ. Презенты были присланы, съ оказіей, на имя Бавыкиной. Настасья Филатовна похвастала ими Ломоносову.

— Вкусу немало,—сказалъ, разглядывая жевиховы подарки, Михайло Васильевичъ.

— Такъ-то такъ,—произнесла, покачавъ головой, Филатовна:—только гдѣ онъ, прокурать, денегъ на все это достать? Ужли въ карты опять рѣзаться началъ? Какъ думаете, ваше высокородіе?

— Ужъ и въ карты, матушка, экія вы!..

— А и въ самомъ дѣлѣ, можетъ, не въ карты!—сказала, обрадовавшись, Филатовна:—въ гору, пожалуй, пошелъ; вѣдь смышленный, хоть куда; ну, и отличаютъ... гляди-косъ, еще съ оргеномъ воротится...

«Мнѣ-то только, бездошной, что дѣлать?—подумала, вздохнувъ, старуха, — куда дѣться? ужли такъ-то все торговлей на старости лѣтъ по улицамъ маяться? видно и впрямь, въ люди на мѣсто идти!»

Къ первому дню Пасхи императоръ Петръ Ѳеодоровичъ

переехалъ въ новый зимній дворецъ. Строитель его, Растрелли, получилъ голштинскую Анненскую звѣзду, съ надписью: «*Amantibus justitiam, pietatem, fidem*». — Императрицу государь помѣстилъ въ отдаленномъ концѣ дворца; ближе къ себѣ восьмилѣтняго сына Павла, съ наставникомъ его флегматическимъ и мѣшковатымъ, но хитрымъ и умнымъ Никитою Ивановичемъ Панинымъ. На антресоляхъ было отведено помѣщеніе Елисаветѣ Романовнѣ Воронцовой, а въ особомъ флигелѣ дворца государь назначилъ апартаменты предположенной имъ невѣстѣ заключеннаго принца Іоанна Антоновича, несовершеннолѣтней дочери своего дяди, генераль-губернатора Петербурга, принцессы Екатеринѣ Петровнѣ Голштейнъ-Бекской, съ ея гувернанткой, дѣвицей Мирабель.

Обѣдалъ и ужиналъ Петръ Ѳеодоровичъ съ небольшой свитой. Голштинскіе любимцы окружали его тѣсной толпой. Императрица навѣщала мужа изрѣдка и то больше по утрамъ.

Заходя на половину къ сыну, государь трюнилъ надъ его прошлымъ женскимъ воспитаніемъ и, теребя худенькаго, слабого мальчика, со смѣхомъ говорилъ: «изъ Павлухи выйдетъ еще цѣлый молодецъ, лишь бы я успѣлъ съ нимъ заняться и сдѣлать изъ него бравата солдата. А теперь, что онъ? телепень, бабій баловень и только... Въ походъ, сударь, въ походъ!»

Своего учителя на скрипкѣ, итальянца Пьері, Петръ Ѳеодоровичъ назначилъ придворнымъ капельмейстеромъ. Во дворцѣ давались концерты изъ знатныхъ любителей музыки. Братья Нарышкины, — одинъ изъ нихъ андреевскій кавалеръ, — участвовали въ этихъ музыкальныхъ состязаніяхъ, рядомъ съ важнымъ звѣздоносцемъ Адамомъ Олсуфьевымъ, правой рукой гетмана, президента академіи — статскимъ совѣтникомъ Григоріемъ Тепловымъ и академикомъ Штелиномъ. Императоръ являлся здѣсь запросто.

— Музыка у меня будетъ первый сортъ, — весело говорилъ онъ партнерамъ: — выпишу изъ Падун знаменитаго ветерана скрипки, Тастини... Вѣдь онъ, *saperment!* между нами-то сказать, — одной со мной школы... *Specialissime* за нѣжные, ласкательные, а индѣ маестозные тоны и переходы... Нигдѣ грубыхъ эффектовъ, нигдѣ балаганныхъ увертокъ и штукъ... мелодія, одна мелодія!

Голштинцы протирались всюду, захватывали себя и своимъ «партизантамъ» главные мѣста.

За два дня до Пасхи, въ прибавленіяхъ къ «С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ» явилась, обратившая на себя общее вниманіе столицы и, какъ полагали, писанная подъ диктовку посланника короля Фридриха, Гольца, слѣдующая передовая статья: «С.-Петербургъ, апрѣля 4-го 1762 г. — Всемиловѣйшій нашъ государь, съ самаго восшествія своего на престолъ, не пропускаетъ ни единого дня безъ изліянія новыхъ милостей, или не подавая существительныхъ опытовъ отеческаго своего о пользахъ подданныхъ попеченія и глубокаго въ государственныхъ дѣлахъ проищанія», и пр., и пр.

Ропотъ противъ голштинцевъ усиливался. Старые слуги Елисаветы не выносили этихъ незваныхъ пришлецовъ. Новыя преобразованія и льготы не искупали грубаго и обиднаго обращенія заморскихъ гостей съ русскими. Ломоносову приписывали слова: «Капуста и рѣпа еще не взошли въ огородахъ, за то всходятъ голштинскія реформы».

Всякъ, просыпаясь въ ту весну въ Петербургѣ, спрашивалъ себя: что объявлено отъ сената сегодня и что готовится на завтра? Всѣ ходили въ чайни неожиданныхъ, негаданныхъ переменъ. Даже всезнающій генералъ-полицеймейстеръ Корфъ не разъ подсылалъ тайкомъ во дворецъ своихъ адъютантовъ, говоря имъ: — Вызови-ка тамъ, батенька, Карла Ивановича Шпрингера, да узнавай отъ него, — hörst du! — умненько, чѣмъ и съ кѣмъ нынѣ занимается государь?

Вслѣдъ за уничтоженіемъ тайной канцеляріи и дарованіемъ вольности дворянству, новые фавориты Петра Третьяго посовѣтовали ему заняться, оставленнымъ со временъ Петра Великаго, проектомъ объ отобраніи монастырскихъ помѣстій и о назначеніи отъ казны содержанія, какъ черному, такъ и бѣлому духовенству.

Баронъ Унгернъ сказалъ однажды, за обѣдомъ у Алексѣя Разумовскаго, Волкову:

— Не худо бы передать архіепископу Дмитрію объ отмінѣ постовъ... Ваше постное масло, рѣдька и щи не по желудкамъ нынѣшняго свѣта. Да сказать бы ему, а пророзъ, что пора ужъ пересмотрѣть и во многомъ измѣнить и весь

вашъ старый монахизмъ, а духовенству разрѣшить брить бороды и ходить, какъ въ Европѣ, въ цивильныхъ кафтаняхъ.

— Чей въ этомъ совѣтъ?—спросилъ Волковъ.

— Ну, да ты ужъ скажи преосвященному Димитрію, — загадочно улыбнулся Унгернъ: — пусть подумаетъ.

Эти слова быстро разнеслись по городу. Не въ однихъ боярскихъ хоромѣхъ вспомнили, что государь Петръ Ѳедоровичъ, вслѣдъ за погребеніемъ императрицы-тѣтки, посѣтилъ торжественную по ней панихиду въ католической церкви, гдѣ исполнялась печальная кантатарекемія, сочиненія Манфредини, и что, послѣ панихиды, онъ завтракалъ у патерновъ этого храма.

На Ѳоминой было приказано приступить къ немедленной постройкѣ, для иноземныхъ придворныхъ слугъ, лютеранской церкви при ораніенбаумскомъ лѣтнемъ дворцѣ. — «Лютеранство вводить въ Россіи», — стали толковать въ средѣ русскаго духовенства. Повторяли даже слова манифеста о вѣротерпимости, будто бы ужъ составленнаго на все готовымъ, генераль-прокуроромъ Глѣбовымъ, гдѣ въ числѣ другихъ доводовъ приводились слова Евангелія: «Взгляните на птицы небесныя, иже не сѣютъ, не жнутъ и не собираютъ въ житницы».

— И все-то голштинцы! — прибавляли въ народѣ: — все они, проклятые нехристи. — Составилась даже поговорка: «Голштинецъ дастъ тебѣ гостинецъ».

Ропотъ усилился, когда прошелъ кѣмъ-то пущенный слухъ, будто иноземные фавориты готовятъ указъ о вынесеніи изъ храмовъ всѣхъ старыхъ, якобы лишенныхъ благолѣпія, сирѣчь обезображенныхъ временемъ иконъ, и о закрытіи въ палатахъ вельможъ домовыхъ церквей: «не подобаешь-де храмъ божій лишать благообразія, или держать оный у себя подъ рукой, на прикладъ своей бильярдной, кухни и того хуже».

Съ прїѣздомъ изъ Кіля дяди государева, принца Жоржа, вліяніе нѣмцевъ стало еще сильнѣе. Повторялись имена столповъ этой партіи: Ольдерога, Цобельтина, Кацау, Цегефонъ-Мантейфеля, Пейца. — «Новая Бироновщина настаетъ!» — громче и громче толковали обиженные русскіе. Юные совѣтники государя, между тѣмъ, не унывали. Они смѣлы были и предрекали успѣхъ всѣмъ его ошибочнымъ,

проникнутымъ полнымъ незнаемъ и непониманіемъ Россіи, намѣреніямъ.

На обойной фабрикѣ гобелѣной, — директоромъ которой былъ назначенъ, произведенный въ камергеры, любимецъ государя, придворный парикмахеръ Брессанъ, Петръ Ѳеодоровичъ заказалъ, для передней въ новомъ зимнемъ дворцѣ, два большіе стѣнные ковра «hante lisse». Одинъ долженъ былъ изображать восшествіе на престолъ Елисаветы, другой—его собственное.

Въ маѣ были спущены на Неву два вновь построенные корабли. Одному государь далъ имя недавняго врага Россіи, своего друга, «Король Фридрихъ», другому—перваго принца крови, новаго фельдмаршала и эстляндскаго генераль-губернатора—«Принцъ Жоржъ».

Приказавъ учредить, въ поддержку коммерціи и купечества, государственный банкъ, съ пятью милліонами рублей фонда, Петръ Ѳеодоровичъ отдалъ повелѣніе объ устройствѣ, по примѣру заграничныхъ «долгаузовъ»—«нарочитаго» дома для «сущеглуныхъ», то-есть умалишенныхъ. Прогуливаясь какъ-то вечеромъ по городу, государь чуть не былъ искусанъ стаей бродячихъ собакъ. Онъ тотчасъ объявилъ повелѣніе объ образованіи изъ дворцовыхъ егерей «особой команды» для «наискорѣйшаго истребленія бездомныхъ собакъ». Этой же командѣ было разрѣшено стрѣлять на городскихъ площадяхъ и улицахъ «воронъ и прочихъ безхозяйныхъ птицъ». Усердные егеря стали стрѣлять по улицамъ чтимыхъ народомъ голубей.

Уволивъ графа Алексѣя Григорьевича Разумовскаго въ отставку, императоръ почасту заѣзжалъ къ нему въ Аничковъ дворецъ, гдѣ любилъ въ бесѣдѣ съ нимъ выкурить трубку княстера или, вошедшую въ то время въ моду, сигару «фидибусъ». Дальновидный графъ, цѣня по своему это вниманіе, сказалъ по-украински государю:—«а подозвольте мнѣ, недостойному сыну гречкося и внуку пастуха, снисканному толикою благосклонностью покойной государыни, подозвольте почествовать вашу милость» — и поднесъ въ презентъ высокому посѣтителю красивую трость, съ ручкой изъ слоновой кости, и въ придачу къ ней — на воинскія нужды государя—миліонъ рублей.

— Ба-ба-ба!—воскликнулъ дѣтски-обрадованный императоръ: — Potz-Blitz! да ты, Григорычъ, Hexenmeister, кол-

дунъ; какъ разъ угадать, что мои финансы нарочито плохи... Спасибо, голубчикъ; вспомянуто будетъ! при случаѣ отблагодарю.

— Гвардія—это нынѣшніе янычары!—не стѣсился сказать Петръ Ѳеодоровичъ гетману Кириллѣ Разумовскому, командиру любимыхъ Великимъ Петромъ и Елисаветой измайловцевъ: — ихъ въ скорости раскассирую, а пока стану ихъ замѣнять полевыми полками, да по-малу, на манеръ нашихъ бравыхъ голштинцевъ, реформировать...

Сильно взволновали эти слова весь военный, служилый людъ Петербурга.

— Развѣ мы преступники, измѣнники? — толковали обиженные слуги Елисаветы: — окружили государя продажные голштинскіе колбасники... Дай Богъ здравія его сыну и матушкѣ, его женѣ,—тѣ заморскихъ псовъ не жалуютъ.

Миръ съ Пруссіей былъ окончательно заключенъ, и десятого мая торжественно отпразднованъ. Памятенъ остался этотъ день въ дворскомъ мірѣ.

Въ особой залѣ зимняго дворца былъ данъ пышно угощенный обѣдъ. Съ крѣпости, съ адмиралтейства и судовъ, стоявшихъ на Невѣ, до поздней ночи раздавалась непрерывная пушечная пальба.

Было выпущено болѣе тысячи выстрѣловъ изъ орудій. Пили въ честь короля Фридриха и за продолженіе «счастливаго мира».

Провозгласивъ тостъ за собственную высокую фамилію, Петръ Ѳеодоровичъ послалъ къ императрицѣ-супругѣ «берлинскую голубицу мира» — Андрея Гудовича, — спросить, отчего она при этомъ не встала? Государыня Екатерина Алексѣевна отвѣтила: «оттого, что вся наша фамилія, кромѣ его величества, государя, состоитъ лишь изъ меня, да изъ ребенка, моего сына».

— Передай ей, что она дура!.. — грубо крикнулъ государь: — передай, что кромѣ нея и сына, есть еще два члена нашей фамилии, — дядя принцъ Жоржъ и его высочество принцъ Голштейн-Бекскій.

Императрица залилась слезами. Остроумный и находчивый графъ Строгоновъ стоялъ въ это время у нея за стуломъ. Чтобы развлечь государыню, онъ вполголоса рассказывалъ ей свѣжій городской анекдотъ о нѣкоемъ влюбленномъ генералѣ Бехлешовѣ, который поѣхалъ амуричить въ Шлис-

сельбургъ и чуть, изъ-за перемѣны тамошняго начальства, не угодилъ въ казематъ крѣпости.

— *Marlborough s'en va-t-en guerre...*—шесталь, нагнувшись, Строгоновъ.

Императрица сквозь слезы улыбнулась. Это замѣтили. Въ тотъ же вечеръ находчивый графъ былъ высланъ подъ арестъ въ свой загородный домъ, на Каменный островъ. При этомъ, черезъ князя Федора Барятинскаго, былъ объявленъ арестъ и государынѣ; Барятинскій успѣлъ вызвать заступничество принца Жоржа, и распоряженіе объ арестѣ было отмѣнено.

Вскорѣ пронесся новый слухъ объ обѣдѣ въ Аничковомъ дворцѣ.

Сидя противъ датскаго посланника, Гакстгаузена, Петръ Федоровичъ неожиданно для всѣхъ повелъ рѣчь о томъ, что Данія — исконный врагъ Россіи и что онъ намѣренъ датскому королю объявить войну, за притѣсненіе его родового герцогства, Голштиніи. На другой же день въ городѣ стали толковать, что противъ датчанъ дѣйствительно велѣно снаряжать двѣ сильныя арміи и что командиръ измайловцевъ, президентъ академіи наукъ и гетманъ Малороссіи, графъ Кирилла Разумовскій поведетъ за границу тридцать казачьихъ полковъ. Великій канцлеръ Воронцовъ и Волковъ совѣтовали государю не предпринимать этой войны. Онъ никого не слушалъ.

— Нѣтъ достойнаго полководца, фуражъ для арміи не выготовленъ,—говорилъ канцлеръ.

— Пустяки, съ провіантомъ еще успѣемъ... А что до полководца, я самъ стану во главѣ обѣихъ армій... Герцоги, мои предки, во время войны никогда не сидѣли дома... И прежде всего, по пути, я заѣду отдать аттенцію и кордіальный респектъ моему брату и государю, королю Фридриху... Я имѣлъ честь въ его арміи служить, какъ простой солдатъ... И никто изъ его братьевъ и подданныхъ не преданъ ему такъ, какъ я. Онъ опасается за мою жизнь, анонсируетъ мнѣ секретно, что русскіе не приспособлены опѣнить женогерозитѣтъ посланнаго имъ монарха... О-го! Larifari! посмотрю я, кто посмѣетъ противъ меня и моихъ вѣрныхъ, бравыхъ голштинскихъ быковъ! Съ ними я спокоенъ... А уѣхавъ, оставляю здѣсь въ арріергардѣ проницательныхъ и зоркихъ надсмотрщиковъ...

Дворъ къ одиннадцатому іюня готовился переѣхать за городъ. Было слышно, что государь, по обычаю, думаетъ поселиться въ любимомъ своемъ лѣтнемъ дворцѣ, въ Ораниенбаумѣ, что сына онъ рѣшилъ оставить съ Панинымъ, въ Петербургѣ, а государынѣ приказалъ отвести для житія дворецъ въ Петергофѣ.

Дворъ веселился. Прогулки за городъ и вечера, съ игрой въ «бирибѣ» и въ «камписъ», чередовались съ концертами и распѣваніемъ, подъ звуки люти, нѣжныхъ и чувствительныхъ, нѣмецкихъ романсовъ и русскихъ пѣсенъ, сочиненія придворнаго музыканта Белиградскаго.

Въ насмѣшку надъ замолчавшимъ Ломоносовымъ, иноземные фавориты посовѣтовали президенту академіи поощрить гуляку-стихотворца Баркова, которому, за оду въ честь новаго государя, и было дано званіе академическаго переводчика.

Короноваться государь откладывалъ до возвращенія изъ похода противъ Даніи.

— Корону заказать надо въ Гамбургѣ, — объявилъ онъ Унгерну: — въ Россіи нѣтъ и порядочныхъ ювелировъ; дорого, да и некогда, — увѣнчаемся сперва побѣдными, воинскими лаврами....

Объ императрицѣ не было почти слуха. Говорили одно, что государыня Екатерина Алексѣевна живетъ совершенной отшельницей, безъ всякаго значенія, силы и власти. На нее обращали менѣе вниманія, чѣмъ на племянницу канцлера, графиню Елисавету Романовну Воронцову.

— Я люблю дисциплину, я требователенъ, но дамъ и льготы! — говорилъ Петръ Ѳедоровичъ: — пусть народъ отдыхаетъ, — время строгостей и ужасовъ въ Россіи прошло... Пусть меня въ потомствѣ назовутъ ласковымъ Титомъ...

И дѣйствительно, — въ первые дни своего правленія, — Петръ Ѳедоровичъ возвратилъ изъ ссылки множество лицъ, сосланныхъ при его теткѣ, Елисаветѣ Петровнѣ.

На попріищѣ высшаго общества Петербурга, что ни день, съ весны 1762 года, стали появляться странные, незнакомые и чуждые новому поколѣнію, призраки прошлаго, престарѣлые елисаветинскіе сановники и временщики, которые нѣкогда ворожали судьбами Россіи, а теперь казались мертвецами, вставшими изъ давно-забытыхъ и обвалившихся могилъ.

Въ началѣ іюня, Мирѡвичъ былъ на возвратномъ пути изъ Пруссіи. Но ему въ первомъ пограничномъ городѣ предъявили ордеръ военной коллегіи — остаться на мѣстѣ, въ Петербургѣ не ѣхать и ждать дальнѣйшихъ распоряженій отъ ближайшаго начальства. Здѣсь онъ получилъ письмо отъ Пчёлкиной.

Поликсена удивлялась, что онъ медлитъ возвратомъ и прибавила, что Чурмантѣевъ получилъ переводъ за Волгу, что онъ ужъ давно оставилъ Шлиссельбургъ и на-дняхъ ѣдетъ съ дѣтьми въ Казань и далѣе. Поликсена сперва предполагала остаться у Бавыкиной, но раздумала: какъ бы изъ того не вышло для нея, сосватанной невѣсты, какихъ вредительныхъ толковъ и послѣдствій.

«А куда дѣться, не знаю,—писала она:—вы же, сударь, Василій Яковлевичъ, такъ скупы на вѣсти. Зовутъ меня Птицыны, и я думаю къ нимъ временно переѣхать. Пишите туда. У нихъ дача на Каменномъ, и очень просятъ. Или посоветуете что иное?»

Ордеръ военной коллегіи и это письмо такъ смутили Мирѡвича, что онъ не зналъ, на что рѣшиться.

«Чурмантѣевъ переведенъ за Волгу, Поликсена опять въ Петербургѣ, — терялся онъ въ догадкахъ: — вредительные толки и послѣдствія... Что все это значитъ? и гдѣ принцъ? ужали, наконецъ освобожденъ? Въ иноземныхъ журналахъ о томъ что-то писано»...

Императоръ Петръ Ѳедоровичъ, катаясь въ первыхъ числахъ іюня по Петербургу, задумалъ осмотрѣть въ Петропавловской крѣпости монетный дворъ. При этомъ онъ сказалъ окружавшимъ:

— Сія фабрика мнѣ, господа, нравится больше другихъ; будь она прежде моя, не такъ бы я аранжировалъ ходъ моихъ финансій: зналъ бы, какъ ею пользоваться...

Въ крѣпость государь вѣхалъ въ сѣверныя, кронверкскія ворота, на которыхъ кинулась ему въ глаза неожиданная, сильно озадачившая его надпись.

Большими, блѣдными, полинявшими отъ времени и солнца буквами, на верхней перекладинѣ, было написано: «*Іоанновскія ворота—1740 г.*».

— Баронъ! — съ чувствомъ почти испуга, сказалъ императоръ, сидѣвшему рядомъ съ нимъ, Корфу: — взгляните!

1740 годъ!.. имя Іоанна! Вотъ чудо... Вездѣ это слово скоблили, плавили, жгли, а здѣсь-то, въ крѣпости, и проглядѣли... Когда придетъ моментъ и мой племянникъ, бывшій императоръ Іоаннъ Третій, съ должной помпой, опять со мной выйдетъ въ Петербургъ, первое, что я ему укажу, будетъ это имя.

Случай съ надеждою даромъ не пропасть.

«Забылъ я о немъ, забылъ, — думать, вѣдучи изъ крѣпости, Петръ Ѳедоровичъ, — и никто не напомнилъ! Что откладывать и ждать постройки новаго дома? Вывезти его скорѣй изъ Шлиссельбурга... И ему станеть легче, познакомится съ принцессой Екатериной, своей невестой, и задуманное дѣло по малу начнемъ»...

Черезъ день, въ Шлиссельбургъ отъ Унгерна была послана эстафета, сильно озадачившая коменданта и новаго старшаго пристава.

«А вѣдь блѣзую-то планиду и впрямь вспомнили на нашемъ горизонтѣ, — подумалъ Жихаревъ, идя объявить арестанту радостную вѣсть, — не забудь, о Господи! рядомъ съ нимъ и пашу допо»...

ХП.

Московский студентъ.

Съ началъ іюня 1762 года, Ломоносовъ съѣздилъ на нѣсколько дней за городъ, въ собственныя, пожалованныя покойной государыней, мызы Коровалдай въ Устьрудица, взглянуть на хозяйство и освѣжиться на сельскомъ воздухѣ.

Эти дачи лежали за Ораніенбаумомъ, въ тогдашнемъ Копорскомъ уѣздѣ, въ семидесяти верстахъ отъ Петербурга и были подарены Ломоносову, для устройства фабрики разноцвѣтныхъ стеколъ, бисеру, пронизокъ и стекалурсу — «какъ первому въ Россіи тѣхъ вещей секрету сыскателю». — Земля этихъ мѣстъ омывалась глубокой и быстрой рѣкой Рудницей, на которой, лѣтъ десять назадъ, были устроены мельница, лѣсонильня и заводъ цвѣтныхъ стеколъ.

Теперь все это было запущено.

Небольшой изъ словыхъ бревенъ домъ, съ постоянно закрытыми ставнями, одной стороною выходилъ къ сімшнымъ въковымъ лѣсамъ пустынной Ингрии, другою — къ холмистому берегу моря. Надъ почернѣлою, тесовой кровлею, со

скрипоть, вертѣлся заржавленный жестяной Эдль. То былъ значокъ самопишущей метеорологической обсерваторіи. Служилыя зданія вокругъ дома, фигурчатый досчатый заборъ и мостъ черезъ рѣку ветшали, безъ присмотра, и также были запущены. Одна дорога, — берегомъ моря, вела на Ораніенбаумъ и Петербургъ, другая — въ гору — къ сосѣдямъ, изъ которыхъ ближайшимъ былъ женатый на внучкѣ фельд-маршала Миниха, владѣлецъ мызы Анненталь, баронъ Иванъ Андреевичъ Фитингофъ.

Тридцать лѣтъ назадъ самъ крестьянинъ-рыбакъ, Ломоносовъ съ своими двумя-стами крѣпостныхъ чухонъ, коихъ по указу «при той фабрикѣ — записали вѣчно», былъ заботливъ, справедливъ, но, какъ вообще съ подчиненными и младшими, требователенъ и строгъ. Онъ любилъ ихъ, заботился объ ихъ нуждахъ и не смотрѣлъ на нихъ какъ на чужаковъ, свысока, забавляясь, когда иной заморышъ-мужичонка, при встрѣчѣ, не снималъ передъ нимъ шапки и по простотѣ приходилъ къ своему знаменитому барину, садился передъ нимъ и рассказывалъ о своихъ нуждѣшкахъ. — «Дессьянсъ-академикъ я, — почтеніе отъ всѣхъ мнѣ указано свыше! — смотри, не осрами меня при другихъ!» — шутилъ коровалдайскій баринъ, угощая мужичонка брагой и виномъ.

Хозяйство Ломоносова, особенно въ послѣдніе годы, шло изъ рукъ-вонъ плохо. Желтоволосый и желтоглазый, по хитрый, туземный бурмистръ Адамка Кювелинненъ, но мельничѣ и по прочимъ статьямъ давалъ въ настоящее время Михайлѣ Васильевичу такіе отчеты, что и шкурка за вычинку не выходила. Зато Адамка являлся передъ баринѣмъ изъ хатенки, сколоченной изъ пеневъ, полѣнцевъ, мху и коры, не только безъ шапки, но, въ доказательство своей убогости и ничтожества, нерѣдко даже босикомъ и называлъ его не иначе какъ «рафчикъ» и «ваше вишкаротіе», а его сума и самъ онъ — толстѣли не въ мѣру.

И въ тотъ пріѣздъ Михайло Васильевичъ больше занимался провѣркой самопишущаго Эдла, чѣмъ учетомъ ветшавшей лѣсопилицы и покривившейся на бокъ мельницы. Онъ поговорилъ съ Адамкой о приведеніи въ порядокъ дома, кое съ кѣмъ изъ крестьянъ; задумавшись, посидѣлъ на крыльцѣ, съ котораго видѣлись блѣвшія вдали готическія, деревянныя башенки Анненталья; полюбовался видомъ тихаго, безбрежнаго моря и уѣхалъ въ Петербургъ лѣсной

глушью, полною птичьихъ пѣсенъ и криковъ и вечерняго запаха травъ и деревь. — «Доброобычайный народъ, — думаетъ онъ о крестьянахъ, въ помощь болѣвшему и хирѣвшему скоту которыхъ онъ велѣлъ и въ этотъ разъ, по случаю засухи и безкормицы, раздать лучшіе луга, — благороднымъ учтивствомъ и заботой. лучше всего имъ фаворъ свой пріятнымъ и желаннымъ сдѣлаешь... Эхъ! Наде бы подольше погостить у нихъ, ближе приглядѣться къ нимъ, мало еще осмысленнымъ... Да дѣла, службы складъ не допускаютъ... Надо урваться, подумать...»

Въ домъ свой, на Мойкѣ, Михайло Васильевичъ возвратился обновленный, съ легкой, открытой для тихихъ радостей, душой.

— Черезъ недѣлку, — ласково сказалъ онъ женѣ и дочери: — все на мызѣ будетъ готово. Вотъ вамъ сюрпризъ, — вы переѣдете туда на все нынѣшнее лѣто.

Дочь запрыгала отъ радости; жена вздохнула, нахмурилась.

— Въ городѣ все становится дорого, — объявилъ Ломоносовъ: — тамъ покупать нечего, — огородъ, живность и хлѣбъ свои. И коровы ваши подкормятся на лугахъ. Одна бѣда, сударыни мои, доходу притомъ ни алтына...

— Мы и такъ, герръ профессоръ, — перебирая фартукъ, отвѣтила жена, Лизавета Андреевна: — мы и такъ — что намъ? — привыкли сидѣть дома...

— И отлично, сударыня, дѣлаете! — съ улыбкой, поклонясь, произнесъ Михайло Васильевичъ: — лучше сидѣть, съ работой или съ умной книгой, дома, въ дали отъ шума и отъ всякихъ людскихъ дразгъ, чѣмъ — Богъ мой! — имѣть обхожденіе съ пустыми комедіантами и вредными шатателями, да пересудчиками... Съ ними въ семьѣ вградываются дурныя упражненія, расколы, колобродства и всякія враки... Я — противъ нихъ, противъ нихъ!.. Да и вы, фрау профессоринъ, согласитесь, не наживете гипохондріи на хозяйствѣ, въ заботахъ о своихъ нуждахъ и о своемъ углѣ.

Рано утромъ слѣдующаго дня Ломоносовъ вышелъ въ свой городской садъ, подрѣзалъ нѣсколько сухихъ и лишнихъ вѣтокъ, осмотрѣлъ щепы и колировку плодовыхъ деревь. Засучивъ рукава, докопалъ начатую грядку, для выписанныхъ на пробу сѣмянъ дикаго хлопчатника, — *vaslerias sy-*

гіаса, — и, обложенный книгами и рукописями, засѣлъ въ отдаленной рабочей бесѣдкѣ.

«Ну, теперь не скоро выйдетъ оттуда! — глядя въ садъ, подумала Лизавета Андреевна, — забудеть обо всемъ, даже о тѣх... О, du, mein Gott! ist das ein Mensch?.. Энтузіастъ! фантастъ! Не станеть умываться, бородой обрастетъ... И такъ на недѣлю, на нѣсколько недѣль... охъ! и что онъ пишетъ?.. О Сибири, объ индѣйскихъ и китайскихъ царствахъ твердить... А у меня всего одно шелковое платье, — всего одно... У академической секретарши Таубергъ, у профессорши Винцгеймъ по пяти, да еще въ своихъ коляскахъ по городу ѣздить... Мы больше ходимъ пѣшкомъ. Были жильцы; а теперь, вонъ, портной Крихъ, будто изъ-за нашихъ перестрѣсокъ, а я думаю изъ экономіи, изъ разсчета, переѣхалъ на Литейную; булочникъ Миллеръ мѣтитъ въ Ораніенбаумъ, — дворъ туда собирается, — да и фрау Бавыкина нашла мѣсто у какой-то греческой богатой дамы, — въ такую глушь къ Калинкину мосту переѣхала... На мызу! И что тамъ хорошаго, среди грубыхъ здѣшнихъ мужиковъ? Это не Марбургъ — золотая моя родина... О коровахъ, фантастъ, энтузіастъ, думаетъ, а о нашихъ удобствахъ ни слова...»

Лизавета Андреевна ошиблась. Михайло Васильевичъ, на этотъ разъ, въ должное время, а именно въ полдень, покинулъ бесѣдку, плотно, съ удовольствіемъ пообѣдавъ, пошутить съ Лемочкой — «ты-де ланито-лилейная и золотогудрай, греческая Елена, и какъ бы тебя кто еще у меня тутъ не похитилъ!» — ушелъ въ опочивальню и заснулъ тамъ часа полтора. Потомъ опять занимался въ бесѣдкѣ.

Былъ уже вечеръ, когда Ломоносовъ оставилъ стемнѣвшій садъ и съ портфелемъ появился на крыльцѣ каменнаго дома на Мойкѣ, куда въ концѣ малъ онъ перешелъ съ семьей, по случаю передѣлокъ въ очищенномъ жильцѣмъ флигелѣ. Михайло Васильевичъ не стѣсняясь горожанъ. Онъ на виду всѣхъ любилъ по вечерамъ сиживать у себя на крыльцѣ подъ тѣнью березъ, — безъ парика и въ томъ самомъ старенькомъ китайчатомъ халатѣ, въ которомъ обыкновенно работалъ. Въ этомъ же халатѣ онъ разъ здѣсь принималъ и знаменитаго своего друга и сосѣда, по Мойкѣ, Ивана Ивановича Шувалова, въ золотой каретѣ и въ легкѣ, въ былые дни затѣзавшаго къ нему на бесѣду прямо изъ дворца.

Просторное, заслоненное березами, крыльцо выходило на

неможенный, поросший травой, берег Мойки. Солдатки на плоту мыли бѣлье. Барочки, перекликаясь, тянули на лямкахъ грузную расшиву съ кирпичомъ. Чья-то гусыня, съ желтыми гусятами, наслась на травѣ. Гурьба босоногихъ ребятешекъ и дѣвочекъ съ сосѣднихъ дворовъ бѣгала взапуски по зеленому берегу, поднимая столбы густой, желтой пыли, вслѣдъ разъ, какъ выскакивала на избитую уличную колею. Красногѣлая, голландская корова Лизаветы Андреевны, подойдя съ поля, ждала у воротъ, пока дворникъ и водовозъ, отставной бомбардиръ Скворцовъ, отпретъ ей калитку. Собственный, бѣлый чудской кабанъ Скворцова, хрюкая, терся у заборовъ.

Леночка принесла отцу на крыльцо ковшъ холоднаго мѣтнаго квасу. Онъ выпилъ его залпомъ, поцѣловалъ Леночку, потребовалъ еще кружку и отпустилъ дочку бѣгать на улицу. Усѣвшись на лавкѣ, онъ на кругломъ липовомъ столѣ уплѣлъ свой рабочій портфель и два письма.

Въ одномъ письмѣ было приглашеніе изъ Измайловскаго полка, на девятое іюня, отъ его сосѣда по мызѣ, барона Фитингофа, на вечеръ, на бесѣду и на трубку табаку.— «Знаю я эту трубку,—подумалъ, отодвигая письмо, Ломоносовъ,—вечеринка въ честь возвращеннаго, знаменитаго дѣда, Миниха... Нѣтъ сомнѣнія, вся знать будетъ тамъ, передъ разѣздомъ дворовъ на дачи... Ораніенбаумцы и петергофцы... Монтегги и Капулетти... Одиннадцатаго іюня размѣстятся до новой стычки оба враждебныхъ лагеря... А до разѣзда—эта сходка главныхъ нынѣшнихъ рѣшителей нашихъ судебъ, голштинцевъ и прочихъ вѣмцевъ. Противны пакостныхъ креатуръ лица и рѣчи!.. Ну ихъ къ яду... не поѣду! Старъ сталъ — толкаться межъ дворскими, да и не къ чему. А они все бовы точатъ противъ Екатерины Алексѣевны... Жаль моей разумницы! Душу отдалъ бы за нее, гонимую, хоть и не знаетъ она этого, не вѣдаетъ. Вотъ отъ кого процвѣтъ бы соборъ драгихъ наукъ! Какъ-то ея занятія, бесѣды въ тишинѣ съ геліями вѣковъ! Шутка ли, по-русски говорить и писать, какъ прирожденная руссіанка,—да куда, лучше многихъ русскихъ... Навѣстилъ бы ее, еще осудятъ. Никуда теперь не ѣзжу, замкнулся и высматриваю, что будетъ... А будетъ, кажется, неладное... Любопытно бы только, скоро ли?»

Второе письмо было съ почты, отъ Мирovichа.

«Высокоотимый и истинный мой защитник и покровитель», — писалъ Василій Яковлевичъ: — «прости за доуку сей моей цѣдулки. Со мной приключились дивныя, прискорбныя дѣла. Первое — миръ давно заключенъ, а меня, временно посланнаго съ комиссіей отъ нарвскаго полка, задержали при возвратѣ, яко бы для охраны раненыхъ, сперва подѣ Ковнюю, а потомъ въ другой трупобѣ, въ сквернѣйшемъ жидовскомъ городишкѣ, въ Шавляхъ, гдѣ и нонѣ обрѣтаюсь. Ахъ, многомилостивый патронъ и радѣлецъ мой, спасите! Писаль я неоднократно при посылкѣ штафетъ, просилъ я отряднаго и лѣкарей: ну, точно, какъ всѣ глухіе. — Не прогнѣвайся, — отвѣчали мнѣ: — вздоръ городишъ и разума, видно, весьма лишился; ну, нешто можемъ мы противъ воли свыше идти? Сиди и жди. — Михайло Васильевичъ! Господа-Богаради, побывайте у кого-либо изъ сильныхъ голштинцевъ. Вы ихъ браните; а они, властные, теперь еще болѣе въ ходу. Слышно, Биронъ, да и Минихъ также воротились изъ ссылки и, на прикладъ коршуновъ, опять витаютъ надъ столицей. Попросите ихъ или кого изъ нѣмцевъ въ вашей академіи, чтобъ меня выпустили отсель. Васъ послушаютъ. Не то — бѣда. Истина уже ли прогнана изъ міра? Повышеніе — низость, отличіе — въ страданіе и въ горе обратились! Живу, какъ отшельникъ-монахъ, поучаюсь терпѣть и всякія муки въ вящее назиданіе и въ побужденіе къ внутреннему свѣту принимаю. По завѣту учителей великаго ордена, совлекаюсь ветхаго Адама, готовъ ратоборствовать противъ тлѣна, грѣховъ и сатаны, готовъ подвизаться среди всякихъ соблазновъ, не касаясь сердцемъ ихъ суеты. Но станеть ли силъ? Кругомъ зависть, злоба, оголѣлые пьяницы, моты, вѣчныя ссоры, попойки, картежъ. Бросилъ бы все, бѣжалъ бы, да засудятъ, какъ дезертира. Подожду еще малость. Не пособи́те вы мнѣ, — бѣда! Чтѣ предпріять, чтѣ и мыслить, не свѣдомъ. Ахъ, если бы вы видѣли ту мертвую глушь и дичь, тотъ хребетъ тигра, на коемъ я сижу нынѣ, между жизнью и смертью! — В. Мирѡвичъ».

Задумался Ломоносовъ надъ этимъ письмомъ. «Къ голштинцамъ, къ доннерветтерамъ идти! Эка напасть Божья, натуры издѣвы! — сказалъ онъ себѣ, разведя руками: — а жаль малаго! со смысломъ и съ душой! Совлекается ветхаго Адама... Насочинили вракъ тупыя нѣмецкія головы про масонство, сей и безъ того противуприродный, свѣтскій аске-

тизмъ... Жить бы, жить да утѣшаться... И предметъ его, та дѣвица, чай, по правдѣ, тоже не безъ тоски, въ толикомъ угрюмствѣ судьбы... И вездѣ-то, во всемъ такая безтолочъ, такіе сполохи отвореннаго во всѣ концы политическаго и общественнаго нашего горизонта... Что же дѣлать? Что предпринять?»

Ломоносовъ открылъ портфель, бросилъ туда письмо, досталъ рабочую тетрадь, перевернулъ нѣсколько страницъ и задумался надъ стихотвореніемъ «Кузнечикъ». Онъ набросалъ его въ послѣдній изъ проѣздовъ черезъ петергофскіе лѣса:

«Кузнечикъ дорогой, коль много ты блаженъ!
«Коль больше предъ людьми ты счастьемъ одаренъ!
«Препровождаешь жизнь межъ мягкой травой,
«И наслаждаешься медвяною росой...
«Хотя у многихъ ты въ глазахъ презрѣнна тварь,
«Но въ самой истинѣ ты передъ ними царь...
«Ты скажешь и поешь, свободенъ, беззаботенъ...
«Что видишь—все твое, вездѣ въ своемъ дому—
«Не просишь ни о чемъ, не долженъ никому...»

«Не просишь, не долженъ! — вздохнулъ Ломоносовъ: — а главное—свободенъ! Волюшка, родная воля! далекое Бѣлое море, отцовскій порогъ... А здѣсь? Интриги, перевертун-проходимцы и вѣчная подземная, кротовья война! Великій мой герой, Первый Петръ! Для того-ль, въ торжество ли и избытъ иноземной, алчной лжи, затѣялъ ты любимое свое чадо — Петербургъ?.. Уѣду, брошу этотъ Вавилонъ, брошу невѣрные, бурливые дни. Въ сермягу одѣнусь, бороду отпущу и навсегда скроюсь въ деревенскую, тихую глушь... Вышелъ изъ народа, въ народъ возвращусь... Пора!»

Крики и бѣготня дѣтей на берегу неожиданно смолкли. Ломоносовъ взглянулъ на улицу.

Шагахъ въ двухъ-стахъ отъ его двора, къ сторонѣ Синяго моста, остановилась наемная извозчичья коляска. Сидѣвшій въ ней, склоняясь, о чемъ-то говорилъ съ уличными ребятишками. Къ крыльцу подбѣжала Леночка.

— Кто, кто?—спросилъ Ломоносовъ.

— Виссень... фонъ... или какъ... ну, Виссень...—въ силу перевода духъ, отвѣтила вся красная отъ бѣганья Леночка: — студентъ изъ Москвы... онъ вамъ писалъ...

— А! вспомнилъ, зови! — сказалъ, еуетливо запахивая халатъ, Михайло Васильевичъ.

«Въ ипохотную коллегію просится... стихи напередъ прислать на прочтеніе!» — разсуждалъ онъ, прикрывая голову старымъ, порыжлымъ треуголомъ.

Коляска подъѣхала къ воротамъ. На крыльцо взмошелъ круглолицый, съ румяными пушистыми щегами, пухлыми губками и большими выразительными глазами, восемнадцатилѣтній, миловидный, хотя нѣсколько мѣлковатый и не по годамъ, полный юнша. На немъ былъ сѣрый, съ иголкой, студенческий, демикатовый кафтанъ. Изъ-подъ приплюснутой треуголки выбивалась русая, въ природныхъ шелковистыхъ букольбахъ, коса. Онъ улыбался, напоминая движеніями безпечность рѣзвого, хорошо откормленнаго, жеребенка-сосунка. Съ появленіемъ его на крыльцѣ, послышался запахъ вошедшихъ тогда въ моду духовъ киннамона, или пѣтушнихъ ягодъ, rosa sinnamonea.

— Лейбъ-гвардіи семеновскаго полка сержантъ и московскій студентъ... — началъ гость, добродушно и угловато раскланиваясь: — четыре года назадъ, въ домѣ нашего куратора, его превосходительства Ивана Ивановича Шувалова, имѣлъ счастье быть вамъ здѣсь представленнымъ...

— Да, да... Какъ же-съ, помню. Добро пожаловать.

— И вы меня еще тогда спросили, чему я учился. А я имѣлъ честь отвѣтить, — по-латыни, за что и былъ вами апробованъ! — продолжалъ, обмахиваясь клѣтчатымъ платкомъ, студентъ.

— Такъ, такъ, господинъ Фонвизинъ! — и это все припоминаю, — произнесъ съ улыбкой, усаживая гостя, Ломоносовъ: — и письмо ваше получилъ, и экстрактецъ о задуманной комедіи одобряю. Что же? пишете — какъ, бишь, вы думаете назвать? — «Бригадира?»

— Началь-съ, да не спорится все, — вспыхнувъ по-ушп, отвѣтилъ юноша, восхищенный вниманіемъ великаго писателя.

— Что же мѣшало? — розы удовольствія? ученія пины?

— Правду изволили сказать, развлеченій премного-съ!.. Знаете въ Москвѣ такъ весело, столько родныхъ... я подѣ Москвой тоже... у бабушки. Маланья Ивановна, моя бабушка, — старенькая, а пребѣдовалъ, — на арфѣ играетъ, любить веселости и васъ всего наизусть знаетъ. Вотъ постою на службу, развѣ тогда...

— Пишите, государь мой, обличайте злыхъ и глупыхъ

правы, — сказалъ Ломоносовъ: — знатный вымыселъ взяли вы, и сюжетъ сильно сходствуетъ времени. Сколько такихъ бездѣльныхъ невѣждъ бременить землю! Да супругу-то задуманнаго пустозвона, бригадиршу-то, постарательнѣе оболваньте. Всѣмъ нашимъ дурафьямъ-щеголихамъ сродни таковая архибестія. Да умненько, батюшка, — острою ловкости слово выискавъ, — уязвите притомъ и наше гонянье за модами, съ ихъ безтолочью, развратомъ и всякомъ пустошью!.. Вы это сумѣете. Имя и отчество ваше?

Гость назвалъ себя.

— Да-съ, Денисъ Ивановичъ, пишете. Иначе — грѣхъ. Талантъ Господь Богъ далъ вамъ несомнѣнный.

— Стихи же... изволили-ль вы пробѣжать стишки? — по-жирая восторженными глазами знаменитаго поэта, спросилъ Фонвизинъ: — я вамъ, Михайло Васильичъ, послалъ изъ Москвы нѣсколько листковъ...

— Не просто прелестъ, а отъѣнная! — съ улыбкой ласковыхъ, строгихъ глазъ, откинувшись на лавку, сказалъ Ломоносовъ: — вотъ ваши писанія — здѣсь, въ эту дневную мою тетрадь вложены. Хотѣлъ отвѣчать, да былъ въ деревнѣ. Не расстаюся съ ними, люблюсь... Лиса-Кознодѣй восхитительна. Похвалы ея умершему льву неподобны: «онъ скотолобіе въ душѣ своей питалъ!» Ай да утѣшили.. Премѣтко сказано, но не меньше гуморичны и злы и сш протесты грота:

«Тронъ кроткаго царя, достойна алтарей,
«Быль сплоченъ изъ костей растерзанныхъ звѣрей.
«Въ его правленіе любимцы и вельможи
«Сдирали безъ чиновъ съ звѣрей невинныхъ кожи..
«И словомъ, такъ была юстиція строга,
«Что кто кого смогъ, такъ тотъ того въ рога...»

— Поздравляю, государь мой, поздравляю! таланты! — продолжалъ съ искреннимъ увлеченіемъ, похлопывая рукою по рукояси, Ломоносовъ: — стрѣлы Свифта и соль Буало!.. Мѣтите, сударь, прямо въ Гораціи... Выдержка только, выдержка, — неоскудѣвающее терпѣніе и трудъ. Въ посланіи жъ къ уму своему и благодушіе, и острая издѣвка сатириствуютъ вмѣстѣ...

«Ты хочешь дураковъ въ Россію поубавить,
«И хочешь убавлять ты ихъ въ такіе дни,
«Когда со всѣхъ сторонъ стекаются они?..

«Когда бы съ дураковъ здѣсь пошлина сходила,
«Одна бы Франція казну обогатила...»

— Именно такъ, именно!—произнесъ, раскохотавшись и закапливаясь, Ломоносовъ: — ну, мило, да и все тутъ... Бдуть, стремятся въ чужіе края—мудрости искать. А глядишь, юный російскій поросенокъ, объѣздивъ театры да кофейни чужихъ краёвъ, возвращается отнюдь не умнѣе,—сущемо русскою свиньей!.. Но позвольте, чѣмъ же васъ, сударь, потчивать?

— Помилуйте, — отвѣтилъ, вскочивъ и раскланиваясь, Фонвизинъ.

Онъ не зналъ, куда глядѣть. Вспотѣвшее, миловидное, обросшее пушкомъ его личико выражало дѣтскую растерянность и страстный восторгъ.

— Э, безъ того нельзя-съ... Леночка, а Леночка!—крикнулъ Михайло Васильевичъ: — моченой морошки намъ принеси, съ сахаркомъ... Холмогорскіе земляки, Денисъ Ивановичъ, постомъ въ презентецъ привезли. Не обезсудьте, отвѣдайте...

Подали морошку.

Бесѣда не прерывалась. Солнце сіло. Берегъ Мойки сталъ пустѣть. Ушли дѣти, бабы-матроски, гусыня съ гусятами, корова Лизаветы Андреевны и дворниковъ кабанъ. Хозяинъ и гость съ крыльца отправились въ садъ. Надъ сосѣдними кровлями вырѣзался мѣсяцъ. И пока онъ поднялся, освѣтивъ чистое, далеко видное небо, академикъ и студентъ, разговаривая, прогуливались по извилистымъ, полнымъ прохлады и смолистой мглы, дорожкамъ.

— И помните завѣтъ друга, — замедливъ шаги, сказалъ съ увлеченіемъ Ломоносовъ: — высоко чтите союзъ добродѣтелей, аккорды общаго блага и добра... Будьте благовѣстникомъ вѣчной правды, подальше бѣгите отъ насытыхъ въ роскоши и всякой подлости креатуръ низкопоклонной толпы. Чай, знаете, видывали таковыхъ; въ головѣ сквозить, пусто; на тѣлѣ много свинопаса сорочки нѣтъ, а ходитъ въ брилліантахъ, въ шелку... на-те, молъ, каковы-де мы!

— Такъ вамъ, сударь, угодно, чтобъ я замолвилъ о васъ словцо канцлеру?—спросилъ, на разставаньѣ, Ломоносовъ.

— Въкъ Бога заставили бы молить.

— Но чѣмъ же моя рѣчь будетъ сильнѣй рѣчи хоть бы Ивана Ивановича, коему вы были когда-то представлены?

— Фаворить болѣе не фаворить... а Ломоносовъ былъ и вѣкъ останется Ломоносовымъ! — съ неподдѣльнымъ чувствомъ и снова вспыхнуть до корней шелковистыхъ русыхъ бровей, отвѣтилъ Фонвизинъ.

— Такъ, такъ, — сказали, замаявшись, Ломоносовъ: — много чести! только ошибаетесь вы, сударь... не тѣ нынче времена...

— Не ошибаюсь, Михайло Васильичъ. Канцлеръ чтить васъ и не откажетъ. А ужъ мнѣ-то какъ поможетъ! Служба дастъ положеніе въ свѣтѣ, средства къ жизни, — родители мои въ нихъ, къ сожалѣнію, недостаточны, — а съ средствами, съ поддержкой сочувственныхъ друзей, только и можно у насъ писать.

— Вѣрно сказано, по себѣ знаю, — произнесъ, оживляясь, Ломоносовъ: — поддержка, друзья, — съ ними прочнѣй работа... Шума, пчелы медъ несутъ... Другую правду сказали. У насъ на писателя смотреть еще, аки на общаго обидчика или шута. Думаютъ, что ученый, подобно Діогену, долженъ съ собаками жить въ конурѣ. Срамословы, злые невѣжды и высокоумные фарисеи! У меня на прикладъ, — опять раздражившись, съ горечью воскликнулъ Ломоносовъ: — какъ хвороба зайдетъ, семьѣ подчасъ медикаментовъ не за что купить. Фабрика мозаическихъ стеколъ, да прочіе эксперименты всѣ доходы при трудностяхъ домашнихъ надолго поѣли... Шельма жъ, нашей конференціи совѣтникъ, Шумахеръ, — главный клеветатель и персональный мой врагъ, — зятю своему, Тауберту, въ приданое, почитай, всю академію отдалъ, а мнѣ — изобрѣтенной мною астрономической трубы на казенныя деньги, треаннаемская нѣмецкая дубина, никакъ все не справить... Змѣи подъ травой! И ужъ какъ, право, жалъ, что доселѣ ихъ не догадались перевѣшать...

Гость и хозяинъ подошли къ садовой калиткѣ.

— Такъ какъ же, Михайло Васильичъ, — утираясь платкомъ и опять распространяя запахъ киннамона, спросилъ Фонвизинъ: — удостоите поговорить обо мнѣ съ канцлеромъ?

Ломоносовъ не сразу отвѣтилъ. Онъ не спускалъ глазъ съ миловиднаго, даровитаго юноши, въ русскихъ буболькахъ и въ свѣромъ съ иголочки, лѣтнемъ, полусукономъ кафтанчикѣ, стоявшаго передъ нимъ. — «Дай Богъ ему, дай Богъ! — думалъ онъ, — новая сила родного ума!.. Но какъ ему помочь?» — Онъ вспомнилъ о приглашеніи на вечеръ къ Фи-

тингофу. — «Давно я не вылезалъ изъ своей муры!» — сказалъ себѣ Михайло Васильевичъ: — развѣ напаяли парикъ, да форменный академическій кафтанъ, и ужъ за одно на томъ голштинскомъ сходбищѣ порадовать и о Мирдовитѣ».

— Долго ли прогостите въ Питерѣ? — спросилъ онъ гостя.

— Съ недѣлю, а коли нужно, и долѣе. Отпущень родителями на мѣсяцъ.

— Гдѣ живете?

— У дяди, въ Измайловскомъ полку. Вотъ мой адресъ... Позвольте, у меня книжечка, я запишу... Какъ прійдете, спросите болото, за болотомъ огородъ, а на огородѣ, въ такой уединенной камени, — баня или кузница тамъ прежде была, — мнѣ, какъ наѣзжаю, и отводить жильѣ.

— И отлично, — сегодня четвергъ, — рѣшилъ Ломоносовъ: — въ воскресенье вечеринка въ Измайловскомъ тожѣ полку, у сосѣда моего по имѣнію, коли слышали, у барона Фитингофа. Канцлера давно я не посѣщаю; никуда не ѣзжу. А онъ ихъ сторона... Я справлюсь, и если графъ Михайло Ларивоничъ будетъ тамъ, я также туда поѣду, и о васъ, государь мой, какъ бы къ случаю, понимаю, поговорю.

— Не нахожу словъ благодарить! — отвѣтилъ съ поклономъ Фонвизинъ.

— Недреманное бдѣніе грамотныхъ русскихъ людей, а особливо хотъ молодыхъ, но столь талантливыхъ, — сказалъ Ломоносовъ: — государству нужно... Вонъ государева жена, Екатерина Алексѣевна, — слышали ль, какіе подвиги въ руссійскомъ слогѣ въ тайности совершила? Давно ли, на моей памяти, писывала въ партикулярныхъ пидукахъ: «ѣе мысли...» «газайнъ», — вмѣсто «ея мысли и хозяйнѣ...» А теперь и насъ съ вами за-поясъ заткнетъ. Достойно подражанія... А знаете ли, сударь, кстати, какую печатку, напимѣръ, сдѣлали въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», при оповѣщеніи, въ ноябрѣ шестидесятаго года, о взятіи Берлина?

— Не знаю.

— То была нарочитая и злѣйшая шканна обиженныхъ злѣйшихъ нѣмецкихъ скотовъ... И я за нее чуть надаломъ не съзидилъ въ року академическаго секретаря Тауберта... Бывшаго нашего посла въ Пруссіи графа-то Петра Чернышева, представьте, будто по ошибкѣ, — вмѣсто дѣйстви-

тельный камергеръ,—публично припечатали—действительный камердинеръ.

XIII.

Балъ у Фитингофа.

Баронъ Иванъ Андреевичъ Фитингофъ, женатый на внучкѣ фельдмаршала, графинѣ Аннѣ Сергѣевнѣ Минихъ, квартировалъ въ большомъ деревянномъ домѣ, выходившемъ окнами къ Фонтанкѣ, у Измайловскаго моста. Впослѣдствіи на этомъ мѣстѣ былъ домъ повѣреннаго Потемкина, извѣстнаго Гарновскаго, теперь занятый казармами. Здѣсь поселился на первыхъ порахъ, по возвращеніи въ ту весну изъ ссылки, Минихъ, позднѣе переѣхавшій въ домъ Нарышкина, у Семеновскаго моста.

Вечеръ воскресенья, девятаго іюня, привлекъ къ помѣщенію Фитингофа большую толпу зѣвакъ.

Набережная Фонтанки и обѣ стороны огромнаго, обнесенаго высокою деревянною рѣшеткой двора были загромождены экипажами. Раззолоченныя и расписанныя амурами и пѣвцами кареты, коляски и крытыя вѣвскія долгуши то-и-дѣло, восьмерикомъ и четверней, проѣзжали съ набережной въ глубь обширнаго двора, гдѣ двумя рядами огней горѣли ярко освѣщенные, кое-гдѣ настежь раскрытыя окна.

Подъѣхала зеркальная, всѣмъ извѣстная карета шталмейстера Нарышкина; за нимъ ландо прусскаго посланника Гольца. Влетѣлъ шестерней, цугомъ, съ арапами и скороходами, свѣтло-голубой, открытый берлинъ молодого красавца-гусара Собаньскаго, родича «пане-коханку» Радзивилла. Управляемый Пьері, гремѣлъ оркестръ придворной музыки. Его прерывалъ, расположенный за домомъ, въ саду, хоръ пѣвчихъ Белиграцкаго. Цвѣтники и дорожки сада были иллюминированы. На прудѣ, противъ главной аллеи, готовился фейерверкъ.

«Балъ! чортъ съ печки упалъ! го-го!» — хохотали въ уличной толпѣ. — «Кашкады, робята, огненные фанталы будутъ, люминація! — подхватывали голоса: — оставайся хучь до утра!» — «Орѣхи, чай, рублевники будутъ въ окна сыпать...» — «Дадутъ тебѣ, Митька, орѣховъ... Ишь, аспиды алстипцы! трауръ по государынѣ не кончился, а они, суетаты, пиръ затѣяли...»

Оъ улицы было видно, какъ разряженные, въ цвѣтахъ и въ легкихъ бальныхъ платьяхъ, красавицы, порхая изъ экипажей, взбѣгали по красному сукну крыльца. — «Эвсо, Петрийка, глянь...—графиня Брюсова... Гагарина княгиня... гетманша съ дочками...» — «А отсуль въѣхаль кто?» — «Откуль?» — «Да съ преншпекту». — «Баронъ какой-то...»

У освѣщенныхъ люстрами оконъ появлялись, въ звѣздахъ и лентахъ, извѣстные городу голштинскіе и русскіе сановники, мелькали напудренные, въ косахъ, головы военныхъ и штатскихъ щеголей, толпились бѣлые, желтые и красные, новаго покроя, гвардейскіе и армейскіе мундиры.

Быль въ началѣ девятый часъ вечера. Въ комнатахъ становилось душно. Танцы изъ переполненной гостями залы перевели въ просторную, цвѣточную галлерею, окнами въ садъ, выходившій въ первую роту Измайловскаго полка.

Минуэтъ смѣнялся котильономъ, гавотъ — гротфатеромъ, гротфатеръ — режуйссансомъ. Скрипка Пьері стонала горлицей, бляла барашкомъ, рокотала и заливалась соловьемъ. Кларнеты, гобой и флейты подхватывали ревъ мѣдныхъ трубъ; контрабасы гудѣли стадомъ налетающихъ майскихъ жуковъ.

«Генераль-полишмейстеръ Корфъ ѣдетъ! Корфъ! Разступись, братцы! — отозвались съ набережной: — гетманъ, гетманъ!» — «Гдѣ?» — «Да вонъ онъ, передовые вершники скачутъ по мосту... фалеторъ кричить...» — «Уноси, Василь Митричъ, рыло,—скрозь промахнуть!» — «Ххо-хо-о!» — гоготала наваливавшая съ немощной набережной толпа.

Въ портретной и кабинетѣ хозяина старики играли въ карты.

Лакеи разносили вина, ликеры, оршадъ и лимонадъ. Толстый и важный, какъ меделянскій пестъ, краснорожій швейцаръ, въ большомъ напудренномъ парикѣ, съ длинными и тоненькими гусарскими косичками на вискахъ, въ алломъ кафтанѣ, съ позументомъ и витишкѣтами, въ чулкахъ и башмакахъ, стоялъ съ булавой у порога главной гостиной и басомъ, въ жабѣ, возглашалъ по новой модѣ имена входившихъ важныхъ особъ: Опперманъ, Цейцъ, Медемъ, Ольдерогъ, Буксгевденъ, Катцау, Унгернъ, Фредериксъ, Швейдель, Штоффельтъ, Розенъ—герба бѣлыхъ розъ, Розенъ—герба алыхъ розъ, Шлиппенбахъ и другіе.

Въ числѣ русскихъ, за генераль-прокуроромъ Глѣбовымъ,

вошелъ еще красивый, съ тѣми же густыми, черными бровями и съ бархатными, но уже не смѣющимися глазами, казавшійся усталымъ и сильно похудѣвшій, фельдмаршалъ Алексѣй Разумовскій. За нимъ — сморщенный, съ дергающимся правымъ глазомъ, директоръ недавно закрытой тайной экспедиціи Александръ Шуваловъ и Волковъ. При имени Ломоносова, взоры многихъ, съ безгловымъ любопытствомъ, обратились на мѣшковатый, кирпичнаго цвѣта, ученый мундиръ и на суровое, и смѣлое, съ желтизной, лицо атлетическаго плебея-академика, муза котораго упорно молчала всю первую половину этого года. Вмѣшавшись въ пеструю, гудѣвшую говоромъ толпу, Ломоносовъ сѣлъ на каналѣ у стѣны между двумя гостиными, и сталъ разсматривать:

Явилась въ красномъ, шелковомъ робронѣ, съ длиннымъ плейфомъ, блестящая красотой и граціей, графиня Елена Степановна Куракина, фаворитка недавно умершаго графа Петра Шувалова. Ее тотчасъ окружилъ рой молодыхъ и старыхъ куртизановъ. — «Виновица вольностей дворянства, — шушукали о ней злые языки: — бриллиантовъ-то, бриллиантовъ!» — Куракина громко смѣялась на любезности вздыхателей и съ торжествующей улыбкой, прикрываясь вѣеромъ, зорко оглядывала наряды прочихъ записныхъ щеголихъ. Въ сопровожденіи двухъ племянниковъ-пажей, показала въ синей бархатной робѣ, на фижменахъ, съ лентой черезъ плечо и въ огненно-дымчатомъ тогѣ, кавалерственная дама Бутурлина. Глаза всѣхъ слѣдили за Куракиной. Кто-то вполголоса, подмигивая на послѣднюю, произнесъ возлѣ Ломоносова: — «Отбилъ красотку у покойнаго начальника Григорій Орловъ, — да въ гору пошелъ черезъ свою продерзость повыше»... — Толстая старуха Бутурлина отыскала глазами хозяйку дома. Пыхтя и переваливаясь съ ноги на ногу, она подошла къ Аннѣ Сергѣевнѣ Фитингофъ, неуклюже присѣла по новому придворному фасону и представила видъ, что чуть отъ того не упала. Баронесса и стоявшіе возлѣ нея разсмѣялись. — «Фиглярить, шпыняетъ государевъ указы!» — презрительно указалъ на нее Волкову Александръ Шуваловъ, проходя мимо Ломоносова. Михайлѣ Васильевичу было не до того. Онъ не спускалъ глазъ съ лукавой лиси, Разумовскаго, который любезничалъ и, со слезами на глазахъ, цѣловался съ любимцемъ государя Унгерномъ. —

«Лобза, его же предаде», — склоняясь къ уху Ломоносова, шепнуть сладенькій, шепелявившій Бецкій.

Но что это?.. Выходы съ того свѣта...

Влестящая, разряженная въ шелкъ, въ кружева и бархаты, молодежь засуетилась. Всѣ толпятся, указываютъ на свѣдыхъ и дряхлыхъ, но еще бодрившихся старцевъ, которые почти одновременно появляются въ глубинѣ гостиной. То были возвращенные ссыльные—Минихъ изъ Костромы, Лестоку изъ Углича и Биронъ изъ Ярославля. Толпа разступилась. Ломоносова оттерли въ простѣнокъ къ окну.

Восьмидесятилѣтній, высокій, съ остатками бывлой величавости и красоты. Иоганнъ Бурхгартъ, или, какъ его именовали русскіе, Иванъ Богдановъ Минихъ, возвратился изъ Сибири въ февралѣ. Сѣдовласый, но еще румяный, раздуженный и крѣпкій здоровьемъ, семадонъ будто и не былъ въ двадцатилѣтней ссылке. Объ руку съ легкомысленной и красивой Еленой Степановной Куракиной и молодою графиней Брюсъ, онъ не перестаетъ куртизанить, какъ куртизанилъ въ царствованіе Анны Ивановны, цѣлуетъ ручки восхищенныхъ его вниманіемъ очаровательницъ, острить и морщится при видѣ казарменно-вахмистерскихъ лицъ и ухватокъ, составлявшихъ принадлежность новыхъ дворскихъ сферъ.

Поодаль отъ него, — семидесятилѣтній, сосланный этимъ Минихомъ, недавній «бичъ Россіи», — изѣданный геморойдами, на тоненькихъ, подагрическихъ ножкахъ, съ потускнѣлыми черными «страшными» глазами, герцога Эрнста Биронъ. Возвращенный изъ ссылки въ мартѣ, онъ идетъ съ хозяйкой, баронессой Фитингофъ, брезгливо оттопыривъ твердую, мясистую нижнюю губу, искоса, несмѣло, изъ-подъ отяжелѣвшихъ вѣкъ, поглядывая по сторонамъ и судорожно подергивая большой, точно изъ гранита изваянной, сухой, холодной и жесткой головой...

Сзади нихъ, прощенный еще въ декабрѣ, въ оливковомъ бархатномъ кафтанѣ и въ перьяшливомъ, всключенномъ, напудренномъ парикѣ, скрюченный годами, бѣдностью и всякими разочарованіями, беззубый, осыпаный нюхательнымъ табакомъ, хвастливый враль и мѣдный лобъ, смѣлый и наглый авантюристъ Лестоку. — «Встрѣчаю шестое благополучіе царствованіе — гм! — въ благополучіи Рюси»... — остритъ онъ, хихикая и шаркая бархатными штиблетами

передъ разряженными старухами, нѣкогда первыми красавицами елисаветинскаго двора.

Ломоносовъ не вѣрилъ своимъ глазамъ. На него какъ бы пахнуло могилой. Сердце его сжалось. Онъ смутно вглядывался въ живыхъ, но точно мелью и тлѣніемъ тронутыхъ, грозныхъ старцевъ, нѣкогда двигавшихъ судьбами Россіи.— «Былые боги нѣмцевъ на Руси! такъ вотъ они, прощены!.. стадо лютыхъ волковъ... А нашего-то горетовскаго ссыльнаго, Бестужева, и забыли!—мыслилъ онъ, притиснутый къ окну, — Биронъ! вижу, наконецъ, вблизи этого брюхатаго, жаднаго и злого, курляндскаго паука, въ дни скорбные дни упивавшагося кровью тысячъ русскихъ... А этотъ, раздавившій и пожравшій земляка-друга, старый интриганъ Минихъ?.. Памятно-ль имъ ненавистное выраженіе «слово и дѣло» и нежданная встрѣча ихъ на станціи, когда одного мчали въ Сибирь, а другого, сосланнаго имъ, изъ Сибири? Вонъ раскланиваются, комплименты говорятъ, потчуютъ другъ друга табакомъ и оба воротятъ носы отъ сквернавца-француза Лестока, точно отъ него и взаправду пахнетъ кровью замученной фамиліи Ивана Антоновича»...

Стали приливать новые гости.

Биронъ, шаркая исхудалыми, невѣрными ножками и дергивая каменною головою, выѣшался въ толпу. Минихъ также хотѣлъ пройти въ слѣдующую гостиную, но его окружила новая волна дамъ. И опытъ его зоркіе, сторожкіе, улыбающіеся глаза блеснули остротой. Онъ поднялъ руку съ лорнетомъ, что-то вполголоса нашептываетъ Куракиной.— «Да полноте, Иванъ Богданычъ! ахъ, ахъ, ваше сіятельство! ну, что это вы!» — ударяя его вѣромъ по рукѣ, смѣется счастливая его вниманіемъ Елена Степановна.

«Двадцать лѣтъ назадъ,—подумалъ Ломоносовъ,—я стоялъ въ толгѣ народа, межъ академіей и коллегіями, а онъ, этотъ безпечный, твердый Минихъ высился во весь ростъ у плахи, рядомъ съ палачомъ. На немъ былъ красный фельдмаршальскій плащъ, лысая голова была обнажена, а на дворѣ стоялъ трескучій морозъ. Выслушавъ смертный приговоръ къ четвертованію, онъ шутилъ съ солдатами.— «Что, батенька, холодно?—сказалъ онъ съ улыбкой, сходя съ эшафота, полужамерзшему полицейскому офицеру:—пнап-сику бы теперь,—адмиральскій часъ!»—Да, это будетъ надежнѣйшій оплотъ Петра Федоровича».

Громъ музыки въ цвѣточной галлерей и новое движеніе пестрой веселой толпы прервали мысли Ломоносова. Онъ направился къ танцующимъ.

— Господа, кто желаетъ курить, въ кабинетъ, или къ китайской бесѣдкѣ!—говорилъ мужчинамъ по-нѣмецки и по-французски баронъ Иванъ Андреевичъ Фитингофъ.

Въ кабинетѣ толковали о недовольствѣ Франціи и Австріи, о предстоящей войнѣ съ Даніей. Слышалась одна нѣмецкая рѣчь, въ перебивку съ голштинскими поговорками. — «А знаете, какъ Нарышкинъ получилъ андреевскую ленту?—произнесъ кто-то въ углу:—нагѣлъ ее, шутя, вышелъ въ приемную, а потомъ докладываетъ государю:—совѣстно, позвольте не снимать,—всѣ засмѣются». — «Ха-ха-ха», — отзывались важные слушатели.

Часть гостей двинулась въ садъ, къ освѣщенной фонариками китайской бесѣдкѣ.

— Гдѣ канцлеръ?—спросилъ Ломоносовъ, встрѣтясь въ цвѣточной съ бывшимъ государевымъ учителемъ, академикомъ Штелиномъ.

— На что тебѣ? путь въ Индію все думаешь затѣвать? по тебѣ чета былъ Великій Петръ, и тотъ провалился.

— Не при пустоши. Перемолвить надо объ одномъ молодомъ человѣкѣ.

— Ищи въ саду, въ буфетѣ. Никогда Михайло Ларионовичъ не курилъ; а теперь, представь, и онъ моднымъ человекомъ быть хочетъ.

— Не укажешь ли, кстати, оберъ-кригсъ-комиссара Цейца?—прибавилъ Ломоносовъ.

— Этотъ вашей милости для чего?—спросилъ, съ улыбкой, расномаженный и чистенькій, какъ сахарная куколка, Штелинъ:—вонъ онъ, видишь, высокій, у двери, съ плюмажемъ... Не поэму ли или оду въ честь голштинцевъ изволилъ, Михайло Васильевичъ, скомпоновать?

— Вздоръ городишь!—сердито отвѣтили, отвернувшись отъ коллеги, Ломоносовъ.

Онъ подошелъ къ Цейцу, съ достоинствомъ отрекомендовался и, для вящаго успѣха, заговорилъ съ нимъ о Мировичѣ по-нѣмецки. Грубый, чопорный и совершенно глупый Цейцъ внимательно выслушалъ знаменитаго просителя, тревожно задвигая густыми, русыми бровями, и, думая по-нѣмецки, отвѣтилъ на ломаномъ русскомъ языкѣ: — «Вы

долгъ слушерна не знаете, вы дисциплинѣ. извините, не понимаете, а потому... потому отказомъ не обижайтесь... *Bitte um Verzeihung!*» — Сказавъ это, тощій и длинный, какъ шесть, государевъ ордонансъ угловато и сухо склонилъ на бокъ костлявый станъ, щелкнулъ огромными шиорами и молча, покачиваясь, отошелъ къ кружку другихъ генераловъ.

«Тьфу, ты, нѣмецкая, гнусная тварь! — чуть не вслухъ произнесъ Ломоносовъ, — еще наставленія, пакостная тара канья моща, дѣлаетъ! знать бы и не просить!» — На оставалось еще ходатайство о Фонвизинѣ. Михайло Васильевичъ пошелъ отыскивать канцлера Воронцова.

Вмѣсто дороги къ бесѣдкѣ вправо, Ломоносовъ съ балкона взявъ вѣтвь и попалъ въ малоосвѣщенную глубь сада. Здѣсь была полная тишина. Дорожки межъ высокихъ деревьевъ сходились въ извилистый, хитро-переплетенный лабиринтъ.

Въ концѣ сада, за прудомъ, на перекресткѣ двухъ аллей, стояла старая развѣсистая липа.

Подъ липой, на скамьяхъ, вокругъ простого небрашеннаго стола, сидѣли трое изъ гостей. Ихъ трубки вспыхивали въ темнотѣ, какъ волчьи глаза. Четвертый, разговаривая, медленно прохаживался передъ ними. Имъ было видно всякого, кто шелъ отъ дома. Ихъ можно было разглядѣть только вблизи. Они удалились сюда, для бесѣды и насидѣнъ и для освѣженія на чистомъ воздухѣ, увлажжаемомъ близостью темнаго, покрытаго легкимъ бѣлымъ паромъ пруда. Двое изъ нихъ, на мировой во дворцѣ, для виду, на-дняхъ взяли за бокалы. Но едва государь отвернулся, они разошлись и не захотѣли пить другъ за друга. Здѣсь они были, повидимому, друзьями.

— Государь очень недоволенъ супругой, очень! — сказать, по-французски, остановившись у стола, Воронцовъ: — все тормозится отъ этой размолвки; фуражный подрядъ для похода не розданъ до сихъ поръ... поставщики потеряли головы...

Старчески-ворчливый хрипъ и побряхтыванье отозвались въ отвѣтъ на эти слова. Все подъ липою опять замолкло.

— Куда идемъ? чего ждать? — продолжалъ то по-французски, то по-руски великій канцлеръ: — прихода ожидается пятнадцать милліоновъ, расхода шестнадцать съ половиною. Чѣмъ покрыть дефицитъ въ полтора милліона? А тутъ эта

война съ Даніей! Всюду ропотъ! — въ собственной фамиліи государь отнюдь не ассюрированъ. Ни о чемъ нельзя просить, ни на что надѣяться...

— Племеннись вапа, Элиза Романовна, утѣшйть его! — отвѣтилъ по-русски, попыхивая изъ витой трубочки, Лестокъ: — женушка будетъ, обвинялся можно тихимъ маньеръ...

— Опасно! — сказалъ Воронцовъ: — въ марьяжъ играть — не въ дурачки... Не простятъ намъ того наши персональные враги... И безъ того супцонируютъ... Положимъ, племянница моя такъ близка государю... Но за Екатерину Алексѣевну, — шутка ли, — гвардія, народъ... вездѣ неспокойно, подглядываютъ, слѣдить...

— Постричь немножко!.. въ монастырь на хлѣбъ и вода! — пропашкалъ сквозь зубы бывшій пособникъ императрицы Елисаветы, также когда-то выѣхавшій на монастырь: — пусть узнастъ пословица, — какъ это? какъ?.. вотъ тебѣ, бабушка, Юричь день...

— Жаль, жаль бѣдную! — сказалъ, съ сильнымъ нѣмецкимъ акцентомъ, Минихъ: — она граціозна, деликатенъ такъ, тиха... Плутархъ питаетъ, хронику отъ Таситъ, энциклопедію Бель и Вольтеръ... Разумна головушка...

— Каприжесна и лукавъ! — презрительно и грубо пророчалъ третій собесѣдникъ, молча сидѣвшій на скамьѣ: — ребѣлы и конспираторы! Машкаратъ!.. бабѣ спустилъ, самъ бабамъ будешь...

— Но что же, ваше высочество, дѣлать? — обернувшись на голосъ этого третьяго, мягко спросилъ Воронцовъ: — dites-le, au nom de Dieu! votre expérience et puis... вапа опытность и предусмотрительность...

— Аррестъ и вѣшна казематъ! — прозвучалъ желѣзный голосъ изъ темноты.

— Mais... excellence, écoutez!.. кто насъ завѣрить? Изъ тюрьмы вѣдь люди тоже выходятъ, — возразилъ Воронцовъ: — а заключеннаго — сколько примѣровъ? — могутъ отбить изъ подъ всякихъ закрѣпъ и замковъ...

— Методъ есть кароша другой! — отозвался тотъ же голосъ изъ-подъ деревь.

— Какой? — спросилъ съ невольною дрожью канцлеръ.

— Плаха и топоръ! — кругло и ужъ совершенно по-русски выговорилъ Биронъ.

По аллеѣ, за ближними кустами, слышались шаги. Воронцовъ оглянулся, соорилъ лицо на ласковый, добродушный видъ и, безпечной развальной, пошелъ навстрѣчу давнему пріятелю Ломоносову.

Они остановились поодаль отъ липы. Канцлеръ нетерпѣливо и разсѣянно вертилъ въ рукахъ табакерку. Ломоносовъ, видя его смущенное и какъ бы провинившееся лицо, подумалъ: «Ужъ не пройти ли мимо? какой-то секретный тутъ консилиумъ... Нѣтъ, нечего терять времени». — Онъ пересилилъ себя и въ краткихъ словахъ передалъ канцлеру просьбу о студентѣ Фонвизинѣ.

— Все тотъ же мечтатель, добрякъ и хлопотунъ за другихъ! — утирая лицо и сморщившись, сказалъ Воронцовъ: — радъ тебя, дружище, видѣть, радъ! давно пора явиться... Но время ли, батенька, согласишься, объ этомъ теперича, да еще на балу? Ты знаешь, я тебя люблю, всегда готовъ, но... смилуйся, Михайло Васильичъ, посуди самъ...

— Я, ваше сіятельство, домождь, берложный медвѣдь, не шаркунъ, — съ зудомъ въ горлѣ, сжимая широкія руки, сердито пробурчалъ Ломоносовъ: — но васъ, держу такъ выразиться, на этотъ разъ трудить моею доукой не перестану...

— Но, cher ami и тезка! ваканціи въ коллегіи попоче нѣтуті. Образумься, пощади! И ваши рангами, смѣю увѣрить, какъ слѣдъ, не обнадежены... Куда я заткну твоего протеже? Чай, лоботрясь, мальченка-шатуна, матушкинъ московскій сынокъ?..

— Не лоботрясь, государь мой, — обидчиво отвѣтилъ Ломоносовъ: — а за шатуновъ я, отродясь, просителемъ еще не бывалъ. Мѣсто переводчика прошу я, графъ, этому студенту. Онъ басни Гольберга перевелъ, Кригеровы сны, Альзиру Вольтера... И первая книга издана въ Москвѣ коштомъ благотворителей... Усердные къ наукамъ у насъ не знаютъ, какъ имъ и ухватиться. И я прямо скажу, — такими людьми, а особливо русскими, въ отвращеніе вредительныхъ толковъ и факцій, брезгать бы не слѣдовало...

— Вредительныя факціи и толки! Богъ мой! — досадливо перебилъ Воронцовъ, оглядываясь къ липѣ, гдѣ вьотьмахъ, какъ глаза шакаловъ, попрежнему вспыхивали трубки оставленныхъ имъ собесѣдниковъ: — écoutez, m. n brave et honorable ami! правду-матку отфкажу... О комъ ты говоришь! о какомъ-то студентикѣ, о мизерномъ писцѣ какихъ-то тамъ

книжонку, не больше... Ну, стойте ли! И вдруг вспыхнул! И все это ваша занальчивость! До того ли нам теперь? То ли у всех на ум? Впрочем, изволь, — прибавил он, подумав: — развѣ сверхъ штата и безъ жалованья, да и то пусть прежде выдержать при коллегіи экзаментъ...

— Но, милостивый государь мой, — потерявъ терпѣніе, возвысилъ голосъ Ломоносовъ: — гдѣ видано?.. Онъ московскій, словесной и философской факультета студентъ... а иѣмъ пѣть у васъ принимаютъ!.. Да когда же, наконецъ, столь роковой и пагубной слѣпотѣ увидимъ мы конецъ?

Онъ не кончилъ. Съ пруда, съ громкимъ свистомъ, взвилась ракета. По берегу вспыхнуло нѣсколько разноцвѣтныхъ огней. Дверь на балконъ изъ цѣлочной распахнулась настезь. Гринулъ голштинскій, съ барабанами и трубами, маршъ. И сквозь искры шутихъ и бураковъ было видно, какъ впереди блестящей военной свиты, на крыльцѣ, рядомъ съ Гудовичемъ, въ бѣломъ, съ бирюзовыми обшивками, голштинскомъ мундирѣ, съ аксельбантомъ и эполетомъ на одномъ плечѣ, показался императоръ.

— Такъ какъ же, графъ? Будетъ ли, наконецъ, уважено? — надвинувшись плечомъ на растерявшагося Воронцова, спросилъ Ломоносовъ.

— Ахъ, батенька! точно Циперонъ: quosque tandem?.. недостаетъ еще Катиллы! — торопливо, трусцой, исчезая въ боковой аллеѣ, проговорилъ великій канцлеръ: — коли согласны, экзаментъ и сверхъ штата...

— Гусвоты! Канны! — проворчалъ взбѣшенный Ломоносовъ, шагнувъ за нимъ и чуть впотьмахъ не задѣвъ парикъ Лестока: — такого юноши и не оцѣнить... Рвань поросичья! куда ни глянешь, одна рвань...

— Quel môt de chien! — слышалось подъ липой.

— Ребѣлы и конспираторы! nichts weiter! — презрительно заключилъ, вставая на заденькихъ, трясущихся ножкахъ, герцогъ Биронъ: — бѣдне Россіи конецъ... пуцкнуты!..

Ломоносовъ завидѣлъ въ гушнѣ березокъ китайскую бесѣдку. Здѣсь теперь было пусто. Курильщики и любители пива отправились смотрѣть фейерверкъ. Михайло Васильевичъ присѣлъ къ столу. Нервная дрожь его не покидала. Онъ сидѣлъ безъ мысли, безъ движенія, прислушиваясь къ

музыкѣ и къ одобрительнымъ возгласамъ толпы, смотрѣвшей на иллюминацію. «Боже, Господи! да что же это?—сказать онъ себѣ:—куда я попалъ? И нужно было мнѣ лѣзть сюда!»— Онъ вышелъ изъ бесѣдки.

Первая часть фейерверка была кончена. Танцы въ домѣ возобновились. Освѣженные на воздухѣ, дамы и мужчины возвращались веселыми группами въ комнаты. Готовились начать безконечный, такъ-называемый «саксонскій» или нарышкинскій гротфатеръ.

Цвѣточная галлерей была переполнена. Съ прїѣздомъ государи, для танцевъ отворили новую, замасную, падушенную курепьями залу. Ломоносовъ, мимо напудренныхъ, въ цвѣтахъ и жемчугѣ женскихъ головъ, мимо гвардейскихъ мундировъ, эполетъ и палашей, тоненькихъ, въ длинныхъ перчаткахъ, дѣвичьихъ рукъ и низко обнаженныхъ, пыльных дамскихъ плечъ и спинъ, бокомъ протиснулся въ эту залу. Онъ еще разъ хотѣлъ найти Цейца и, при помощи тетмана, президента академіи, уговорить его оказать хоть какое-либо вниманіе Мирovichу.

Суета и давка, предшествовавшія любимому, всѣхъ увлекавшему танцу, отодвинули Михаила Васильевича къ трельажу изъ цвѣтовъ. За перегородкой въ оркестрѣ, онъ увидѣлъ, передъ шопитромъ, со скрипкой въ рукѣ, императора.

Петръ Федоровичъ, лада струны и чему-то громко, беззастѣнчиво смѣясь, разговаривалъ съ баронессой Флтингофъ. Подъ руку съ нею, обмахиваясь вѣеромъ, стояла средняго роста, полная, прозванная городскими остраками «трактирщицей» — Лизавета Воронцова. Левъ Александровичъ Нарышкинъ, въ бархатномъ, вишневаго цвѣта кафтанѣ, съ андреевской лентой и крупными брильянтами на пуговицахъ, суетился, бѣгалъ, останавливался, махалъ платкомъ и опять бѣгалъ, устраивая танецъ, въ музыкѣ котораго вызвался принять участіе государь.

«Они веселятся,—сказалъ себѣ Ломоносовъ:—фаворитка у всѣхъ на виду, всѣ ей поклоняются, льстятъ... А она, Екатерина Алексѣевна, умница моя, прячется, книги читаетъ, навѣщаетъ свѣжую могилу покойной императрицы... Сегодня я встрѣтилъ ее... Въ траурѣ, въ плерезахъ и въ печальной, точно монашеской, шапочкѣ, ѣхала въ дрожжахъ молиться въ крѣпость»...

На другомъ концѣ залы, вниманіе Ломоносова привлекло

блѣдное, строгое, встревоженное лицо сухощавой, стройной дѣвушки.

Опершись на руку другой, румяной и веселой, и какъ бы окаменѣвъ, она, съ вытянутой шеей и сжатыми губами, не спускала робкихъ, молящихъ глазъ съ государя. Передъ ней въ бѣломъ доломанѣ, съ барсовымъ мѣхомъ на плечѣ, стоялъ лихой польскій гусарь, родичъ Радзивила, Собанскій. Улыбаясь, онъ давно ей что-то говорилъ, очевидно приглашая ее на гротфатеръ. Но вотъ она опомнилась, подала руку, обернулась къ подругѣ. Что-то знакомое встрѣтилось Ломоносову. — «Гдѣ я ее видѣлъ, или кто мнѣ о ней говорилъ? — подумалъ Михайло Васильевичъ, — лицо вижу какъ бы впервые, а между тѣмъ... точно гдѣ-то ее встрѣчалъ!.. Мушки и ямочки на щекахъ, сѣрые, какъ у сфинкса, миндалиной, будто безстрастные глаза, — и сколько въ нихъ вдумчивости, тайны и глубины... Тафтяной палевый робронъ, низанъ перлами, алый бархатный камзолчикъ и коралловые браслеты — склаважъ... Жениховы заграничные презенты... Бавыкина ихъ показывала... Неужели-жъ это невеста Мирovichа — Пчёлкина!.. Онъ ее такъ описывалъ... Но она была въ Шлиссельбургѣ... Какъ же и съ кѣмъ попала сюда? Вотъ случай... можетъ сообщить о немъ».

Громъ музыки прервалъ мысли Ломоносова.

Вертящийся гротфатеръ оттѣснилъ его къ оркестру. На толстыхъ, уиругихъ, обтянутыхъ въ бѣлый шелкъ икрахъ, во главѣ цестрой вереницы, плылъ, отбивая хитрые батманы и пируэты, Нарышкинъ. — «Веселимся», — сказалъ онъ кому-то близъ Ломоносова, качнувъ головой: — «веселимся!» — подтвердили глаза его и прочихъ танцующихъ, легкимъ роємъ пролетающихъ мимо оркестра.

Не успѣвъ Михайло Васильевичъ посторониться, опониниться, не успѣвъ взглянуть въ ту сторону, куда уорхнула съ гусаромъ художавая стройная дѣвушка, какъ его обдали волны зеленой, съ золотыми блестящими, кисеи, и онъ почувствовалъ запахъ горошка и резеды. Передъ нимъ, съ головными уборами, въ видѣ корзины цвѣтовъ, улыбаясь, стояли красивая хозяйка дома и толстая, краснолицая, Лизавета Романовна Воронцова. Баронесса представила его послѣдней.

— Давно, давно слышались, — нѣсколько грубымъ го-

лосомъ и нараспѣвъ обратилась къ нему по-русски фаворитка:—что пишете, Михайло Васильичъ?

Кровь бросилась въ голову Ломоносова. Ему вспомнилась государыня Екатерина Алексѣевна, на дрожкахъ, въ траурѣ.

— Ничего не пишу... боленъ былъ, — отвѣтилъ онъ, съ судорогой въ горлѣ.

— Быть того не можетъ! что-жъ замолкла, куда не льется ваша муза?

— Юбка у ней кургуза,—думая, что говорить про себя, вслухъ сказалъ Ломоносовъ.

Обѣ дамы съ удивленіемъ взглянули ему въ лицо.

— Мы читали вашего «Кузнечика»,—сказала, желая его задобрить, баронесса:—voilà un vrai génie... délicieux!

— Если бъ я былъ, сударыня, стрекозой, — произнесъ, насупясь, Ломоносовъ:—я бы давно усакалъ отсель, скрылся бы въ глушь, въ бурьянъ...

— Ни одной оды, помилуйте!—жеманясь, вертясь и оглядываясь по сторонамъ, продолжала, тономъ капризной властительницы, избалованная фаворитка: — были вѣдь какіе торжества! миръ съ Пруссіей, фейерверки, спуски кораблей... вы же стихотворецъ, академикъ...

— На то есть другіе,—еще грубѣе, съ дрожаньемъ губъ и рукъ, пробурчалъ Ломоносовъ:—напишете сахарный Штолинъ, переведете Барковъ... его-жъ кстати посадили и въ дессіансъ-академію, другимъ на зло...

Кто-то выручилъ дамъ. Онѣ отошли, пожимая плечами.—«Неучъ, грубіанъ, и все тутъ!» — съ тревогой глядя къ оркестру, прошептала Воронцова.

XIV.

Аудіенція.

За перегородкой, между музыкантами, уже не было государя. Петръ Ѳеодоровичъ сыгралъ первое колѣно гротфатера и передалъ скрипку Олсуфьеву. Въ глубинѣ залы онъ обратилъ вниманіе на дѣвушку, танцовавшую съ польскимъ гусаромъ. Едва они кончили фигуру и стали у двери, туда подошелъ государь.

— Ваше величество! — сказала, склонясь передъ нимъ, Пчёлкина:—удѣлите минуту несчастной.

Видно было, какъ Петръ Федоровичъ ласково улыбнулся, подалъ ей руку, и выпрямившись по-военному, въжанию отошелъ съ ней жѣримымъ шагомъ къ сторонѣ.

— Кто говорить съ государемъ? — спросила, въ сѣромъ шелковомъ молдаванѣ, румяная дамочка.

— Птицына... Маіора Птицына дочь... — отвѣтила ей другая дама, въ зеленомъ корсетѣ.

— Нѣтъ, ма шеръ, не Птицына; *quelle idée!* та повышю и полнѣе.

— Такъ кто же?

— У Ошермана спросить бы... Гдѣ баронъ?

— Ахъ, посмотри, какая кривляка... ну, безпримѣрпал унести! глазами-то глазами! а плечами какъ выдѣлывается...

— Притомъ и блѣдна... — прибавила зеленая дамочка: — ахъ, какъ блѣдна!

— Да не блѣдна же, что ты! — перебила дама въ сѣромъ: — желта, ну, какъ мужичка, желта и черна...

— Ахъ—ахъ! посмотри... И вѣдь туда-жъ съ декларасьонами!

— Э, полно, радости божусь, даже смѣшно слушать, — съ декларасьонами! Этакую-то... Не думала я, ма шеръ, что ты такой педантъ...

— Господа, госнода! вамъ начинаты! — крикнулъ съ середины залы красный и въ поту, выбившійся изъ силъ Нарышкинъ: — *tournez à gauche, balancez... chaîne...*

И опять свивался и длиннымъ, цестрымъ змѣемъ скользилъ безконечный, балансирующий, присѣдающій и, въ хитрыхъ батманахъ и пліе, порхающій гросфатеръ.

Государь и Пчёлкина отошли къ щощевому трельяжу. Свободные отъ танцевъ гости, по правиламъ этикета, полукругомъ, стали поодаль отъ нихъ.

— Въ чемъ же вапа просьба? — спросилъ императоръ.

— Я невѣста, — робко, молящимъ шонотомъ, сказала Пчёлкина: — моего жениха, по вашему повелѣнію, услали въ армію...

— Жениха? — а куртаги, ха-ха, минуэтъ въ костюмѣ пимфы, помпите? — спросилъ Петръ Федоровичъ, смѣясь.

— До того-ль теперь, прѣстите, умоляю, ваше величество...

— Не терпится? хотите поскорѣй его видѣть? Но вѣдь теперь гость, — свадьбы нельзя... Э!.. Подождите конецъ мѣ-

спяца, ну, моихъ именинъ... Я обѣщаль тогда, и вашъ марьяжъ, вѣрнѣе, сыграетъ. Согласны?

— Слышно о новомъ походѣ, ваше величество, — поборова волненіе, продолжала Пчёлкина: — вы увидите... Я искала случая еще объ одномъ лицѣ васъ просить; вновь его еси забыли. Я хотѣла пасть къ ногамъ вашего величества... въ церкви, въ манежѣ, на площади у дворца... Ахъ, государь, помогите, окажите вашу милость... вы такъ добры...

— Не вамъ быть у чьихъ-либо ногъ, — лукаво улыбнувшись, сказалъ Петръ Федоровичъ: — я виноватъ... Но, — mille pardons, — о комъ вы еще просите?

— Вы, государь, обѣщали къ маю пріѣхать, освободить... принца Іоанна; а теперь июнь... Простите, ваше величество, безумной, дерзкой... Я жила у тамошняго пристава; его смѣнили за нѣкое письмо; но не онъ вамъ его писалъ... Казните, — я рѣшилась тогда напомнить... и теперь дерзаю...

Поликсена не кончила.

Государь оглянулся. Передъ нимъ, съ блѣднымъ отъ недоеданія и ревности лицомъ, стояла Воронцова. Багровыя пятна проступили на ея лбу и на трясущихся отъ волненія щекахъ.

— Пару словъ, ваше величество, — съ хрипомъ злости, сказала она по-французски: — дѣло весьма серьезное...

— Ну, ну, что тамъ за спѣхъ? Черезъ минуту, и къ вашимъ услугамъ, — обернулся государь, благосклонно кивнувъ Пчёлкиной.

Онъ подаль руку Воронцовой. Толпа передъ ними разступилась. Они вышли въ сосѣднюю залу.

— Съ кѣмъ вы сейчасъ говорили? — спросила, подавая бѣшенство, Воронцова: — удостойте отвѣтить, я все вижу, все...

— Съ одной дѣвушкой; она.. просила о женихѣ.

— О женихѣ? А вы не видите, не слышите, что вокругъ васъ дѣлается? Спросите моего дядю. Онъ вѣрный вамъ слуга; но вы его не слушаете. Смѣлость враговъ зрѣть не по днямъ, по часамъ... Вы увидите, меня заточать, казнять, — заключила, сквозь слезы, Воронцова.

— Ай, Романовна, какъ все это скучно! — перебилъ съ петербургскимъ Петръ Федоровичъ, обернувшись къ двери, за которой оставилъ Поликсену: — ты по колѣни въ библии ходишь, всякъ то знаетъ. Но вы, съ дядюшкой, да съ Гудо-

вичемъ, какія-то мрачныя пиюи. Ахъ! ihr alte Russen!.. alle auf einen Schicht! Все-то у васъ ковы, да конспираціи. Вспомнишь невольню о Швеціи... вотъ тихій, цивилизованный народъ... Зачѣмъ меня сюда привезли?

— Ваша супруга, — продолжала Воронцова: — что-то готовить; говорятъ, всѣ роли розданы... Если не съ дядюшкой, поговорите съ Бирономъ, спросите Миниха, всѣ скажутъ... Къ народу она является въ монашеской шапочкѣ, угождаетъ духовенству, черни...

— А вотъ погоди, Романовна, какъ черезъ пару денковъ переѣдемъ въ Ораніенбаумъ...

— Но вся молодежь, слышители, вся молодежь за нее! — топнувъ ногой, произнесла Романовна: — спросите, — поэты, на ея сторонѣ, безъ ума.

— Nichts, als Eifersucht, mein Kind! Ничего, какъ ревность! — беззаботно усмѣхнувшись, отвѣтилъ Петръ Ѳедоровичъ: — даже литературищиковъ, стихоплѣтовъ, вонъ, вспомнила... Стыдно, фуй! А погоди, передъ походомъ вѣнецъ устроимъ, тебя регентшей оставляю... Тогда что скажешь? Ну, будемъ же философы, какъ великій Фридрихъ...

— Это что? — помолчавъ, сказалъ государь: — канонада ракетъ, финаль фейерверка... Пойдемъ въ садъ. Но à propos, ты вспомнила о писателяхъ... Я тутъ примѣтилъ одного придирищика. Погоди-ка; надо съ нимъ пару словъ сказать.

Музыка смолкла. Гроссфатеръ кончился. Всѣ двинулись на балконъ.

За прудомъ, отражаясь въ водѣ, пылала хитро-устроенная брильянтовая колоннада. На столбахъ горѣли урны; изъ каждой вылетали звѣзды и били разноцвѣтные, огненные фонтаны. И надъ всей этой картиной, въ дыму, какъ на облакахъ, обозначился щить, съ буквами П и Е.

— Петръ и Екатерина, — пояснилъ кто-то по-нѣмецки своей дамѣ, проходя аллеей мимо Ломоносова.

— Петръ... и Елизавета, Лизка Воронцова... — сердито проворчалъ имъ вслѣдъ по-русски другой голосъ изъ темноты: — на какой только вербѣ оную метрѣску повѣсить! свѣтъ-матушка наша, Екатерина Алексѣевна?

«Э-ге-ге! да Богъ не безъ милости! — сказалъ себѣ Михайло Васильевичъ: — друзья-то нашей разумницы есть и здѣсь, въ самомъ лагерѣ ея супостатовъ»...

Ломоносовъ вздохнулъ. Ему вспомнилось, въ это мгновение, время за двадцать лѣтъ назадъ, празднества и фейерверки въ честь императора Іоанна Антоновича. Тотъ же блескъ, шумъ и суета. Но гдѣ все это? И гдѣ теперь самъ виновникъ тѣхъ торжествъ?

Послѣдній снопъ ракетъ съ трескомъ взлетѣлъ и разсыпался въ воздухѣ. Призывъ къ танцамъ опять раздался въ домѣ.

Распоряжался теперь голубой лихачъ гусарь, Собаньскій.

— *A votre place, messieurs et mesdames*—щелкалъ онъ шпорами и хлопалъ въ ладоши, поглядывая, куда двѣлся приглашенная имъ Пчёлкина, и думая о ней: «Сто дьябловъ! какъ хороша, а когти—тигрицы»...

Молодежь собиралась въ пары заключительнаго режюисанса. А между тѣмъ уже слышался звонъ столовой посуды. Въ портретной, цвѣточной и угльной накрывали столы къ ужину.

Всѣ стояли въ залѣ, спѣша попасть въ танецъ, въ которомъ старые и молодые, на перебой, стремились къ одному,—быть какъ можно вѣтреннѣе, забавнѣе и шаловливѣе.

Ломоносовъ протискался сюда также, ища глазами Пчёлкину, съ которой не успѣлъ поговорить. Но Поликсена, въ тщетномъ ожиданіи государя, примѣтила круглая фигуру и и напряженно-установленный на нее взоръ, какъ изъ-подъ земли выросшаго, генерала Бехлешова, сослалась на усталость, поручила кому-то изъ знакомыхъ извиниться передъ гусаромъ, и уѣхала съ Птицыной.

«Не судьба!—подумалъ, опять выбираясь изъ залы, Ломоносовъ,—и пакостной цапли Цейца не видно... Дѣлать нечего; примѣчательная неудача! Такъ обонимъ просившимъ и сообщу»...

— Его величество васъ требуетъ на аудіенцію, господинъ профессоръ!—сказалъ, подходя къ Михайлѣ Васильевичу, генераль-адъютантъ императора Гудовичъ: — пожалуйте... Государь въ саду, съ балкона на лѣво. Если позволите, васъ провожу.

Ломоносовъ преобразился.

«Веди, голубица берлинскаго спасеннаго ковчега, веди!»—подумалъ онъ идя за Андреємъ Васильевичемъ Гудовичемъ

и смѣло, гордо глядя на почтительно-разступавшихся передъ нимъ нѣмцевъ и русскихъ.

Та же глубь сада и та же липа, на перекресткѣ двухъ аллей. Подъ липой, гдѣ два часа назадъ съ канцлеромъ бесѣдовали Минихъ, Лестоку и Биронъ, безъ шляпы и со стаканомъ лимонада въ рукѣ, сидѣлъ, обмахиваясь платкомъ, императоръ. Передъ нимъ стояли Унгернъ и Корфъ. Завидя Ломоносова, государь всѣхъ отослалъ къ сторонѣ.

— Давно тебя не видѣлъ, Михайло Васильичъ, садись! — сказалъ Петръ Федоровичъ: — ты меня совсѣмъ забылъ. Тѣтку поддерживалъ, въ одахъ воспѣвалъ. Меня, какъ вижу, меньше любишь. А на тебя всѣ смотрять, ждутъ, что ты скажешь.

Ломоносовъ, почтительно стоя, молчалъ.

«Вспомнилъ! — пронеслось въ его умѣ: — Господь, видящій сердце грѣшныхъ, вразуми меня и просвѣти»...

— Vous... вотъ прошелъ слухъ, — съ улыбкой продолжалъ Петръ Федоровичъ: — будто ты составилъ прожекторъ всѣхъ нѣмцевъ изъ Россіи выгонять... Правда ли это?

— Сущяя клевета и несообразность, — вспыхнувъ по уши, отвѣтилъ Ломоносовъ: — и я такими ребяческими болобродствами не занимаюсь. Бываю я, простите, особенно въ часъ гинохолдрии, рѣзокъ на слова... Но не въ томъ наши пользы и нужды, государь... Хорошіе иностранцы — наши учителя; а я, низжайшій, самъ у нихъ же, на ихъ родинѣ, свѣтъ истины снотналъ. Не о варееолемеевской ночи противъ чужеземныхъ наставниковъ думать намъ, а о возвышеніи и произрастаніи родныхъ наукъ. Поумнѣемъ, наѣзжіе менторы намъ не будутъ нужны..

«Расположу его къ себѣ, — насмѣшливо подумалъ Петръ Федоровичъ, — російскій Малербъ и Пиндаръ. Вотъ онъ стоитъ передо мной. А по-моему, просто ворчунъ и выдохшійся, съ годами, бумагомаратель и пересудчикъ...»

— Слушай, Михайло Васильичъ, — сказала государь: — я, какъ всѣ, какъ и дѣдъ мой, Великій Петръ, имѣю много непріятелей... Мнѣ предсказываютъ разныя бѣды, затрудненія. Тѣ совѣтуютъ одно, эти другое. Не знаешь, кому и вѣрить. Слушай... Проси у меня чего хочешь, все сдѣлаю... только подумай получше и дай мнѣ совѣтъ. У насъ нѣтъ публичныхъ ораторовъ, какъ въ Англіи, нѣтъ свѣдѣн анциклопедистовъ, какъ во Франціи. Мнѣ хочется, ну, при-

инелъ капризъ, выслушать тебя. А вѣдь ты, слушай, и надо то признать, первый геній, слава моего трона. Итакъ, слушаю, Михайло Васильичъ... *Primo* — проси; *secundo* — совѣтуй.

Что-то ѣдкое, жгучее подступило къ горлу Ломоносова. Онъ хотѣлъ говорить и не могъ. — «Денегъ сейчасъ попросить» — пробѣжало въ весело-настроенныхъ мысляхъ Петра Федоровича.

— Ни энциклопедистовъ, ни верхнихъ и нижнихъ парламентовъ у насъ нѣтъ, то правда! — сумрачно отвѣтилъ Ломоносовъ: — есть зато у тебя, государь, пѣснопѣвецъ, газетъ гремящій!.. Газетъ гремящій противъ злыхъ, принадлежныхъ людей, противъ враговъ и завистниковъ родины... Лично за себя просьбъ не имѣю... Въ роды родовъ перейдешь какъ твое имя, государь, такъ и твоего пѣснопѣвца. И никто не скажетъ, чтобъ былой рыбакъ, а нынѣ извѣстный всему свѣту, природный русскій ученый и поэтъ, Михайло Ломоносовъ, чтобъ онъ продавалъ свои оды за подачки отъ рукъ его государей.

— Да я и не говорю! что ты? помилуй!..

— Пѣлъ твою тѣтку, пѣлся, — продолжалъ Ломоносовъ: — и тебя, обозрѣвъ твоихъ начинаній черты, встрѣтилъ радостно... теперь молчу...

— Совѣтъ, совѣтъ! — нетерпѣливо застучавъ рукой по столу, сказалъ Петръ Федоровичъ.

— Совѣтъ? изволь, государь, только не прогнѣвайся. Ты мягкій душой, прямой и добрый человекъ. Всѣ это знаютъ. Но страна, данная тебѣ, не аллеманское курфиршество... Она — Россія!.. тебѣ нужны мудрые, геніемъ одаренные совѣтники.

— Кто они? гдѣ? — спросилъ, двинувшись на скамьи, императоръ. — «Ужъ не себя ли хочешь предложить въ совѣтники?» — подумалъ онъ брезгливо.

— Помиришь съ твоей супругой, — сказалъ, почтительно склонившись, Ломоносовъ: — лучшаго совѣтника и друга тебѣ не надо.

«То же и Фридрихъ совѣтуетъ — подумалъ Петръ Федоровичъ, — но въ этомъ, и только въ этомъ, онъ ошибается, — не знаетъ мадамъ La Ressource...»

— Нѣтъ, нѣтъ! — отвѣтилъ съ раздраженіемъ государь: — жена непослушна, упорна, дерзка; скажу откровенно — не

уважаетъ лучшихъ и вѣрныхъ моихъ хранителей, голштинцевъ. Клерикалы на ея сторонѣ; вся гвардейская молодежь, слышно, въ нее влюблена...

— И я, государь, прости, изъ ея жаркихъ поклонниковъ; — произнесъ, опять склонясь, Ломоносовъ.

«Точно сговорились», — съ досадой подумалъ Петръ Федоровичъ.

— Ты ее обижаешь, тѣсنيшь, — продолжалъ Ломоносовъ: — а оторванные отъ нѣдръ близкихъ по-неволѣ ищутъ чужой поддержки и защиты... Таковъ естества и натуры чини!

— Дальше, дальше! — нетерпѣливо перебилъ императоръ. Заглавъ тяжкую ошибку государыни — твоей тетки, — сказалъ Ломоносовъ: — освободи несчастнаго узника, бывшаго императора, Іоанна Антоновича... Двадцать лѣтъ вопіютъ изъ тюрьмы о его долѣ... Не приблизить его къ своему трону, отпусти въ чужіе края...

Петръ Федоровичъ сдѣлалъ опять движеніе.

— Унгернъ и дядя принцъ Жоржъ то же говорятъ, — произнесъ онъ: — да можно ли то, послушай?.. Ну какъ его освободить? вѣдь онъ претендентъ!

— Можно. Въ томъ прерогативѣ, и величіе твоей власти. Дай ему кончить жизнь челоукомъ... Воспитай его, укрѣпи здоровье бѣднаго, просиѣти благами вѣры и разума... Испуши прошлое... Иначе судъ Божій и людской, исторіи приговоръ — тебѣ не простятъ. Отошли его за границу, къ роднымъ...

Петръ Федоровичъ всталъ. Сильное волненіе его охватило.

Онъ порывисто оправилъ на себѣ шляпу, взялся за португезу, выпрямился, хотѣлъ говорить и нѣсколько секундъ не находилъ словъ. Шпага дрожала въ его рукѣ.

«И та дѣвушка — подумалъ онъ, — и она сейчасъ о томъ же просила... Я помню обѣщанія, надо слово сдержать...»

— Спасибо, — сказалъ императоръ: — часть того, что ты изложилъ, суцій резонъ... Послѣ узнаешь, я давно, и прежде тебя, думать о томъ же. Въ остальномъ, извини, ошибаешься. Впрочемъ, будь покоенъ, отнынѣ я за тебя. Вѣрю тебѣ и на тебя надѣюсь!.. Но ты ничего не просишь?.. Vous... Не хочешь о себѣ, проси за другихъ... Слушаю...

Ломоносовъ собрался съ мыслями и передалъ ходатайство о Мирдовичѣ и Фонвизинѣ. Государь подождалъ Унгерна, которому тутъ же сообщилъ ордеръ о своемъ согласіи на обѣ просьбы.

— Студюзусъ твой, какъ видишь, будетъ принятъ... А за офицера, — произнесъ, улыбаясь, Петръ Федоровичъ: — *mille pardons* не одинъ просишь... И его невеста, ха-ха, моментъ назадъ, меня здѣсь о томъ же весьма бомбандировала. *Ein Teufels mädell*! чертовски-миленькая, умная дѣвушка...

Не слыша ногъ подъ собой и не покидая гордой осанки, Ломоносовъ прошелъ анфиладой комнатъ, мимо опять подобострастно-склонявшихся передъ нимъ головъ, отъ ужина отказался, простился съ хозяевами и, найдя шляпу и трость, пѣшкомъ отправился во-свояси, на Мойку. Глаза его были увлажнены, сердце билось горячо. Длинная тѣнь отъ луны падала съ той стороны улицы, гдѣ, шепча какія-то слова, умиленный и растроганный, шагаль «газетъ гремѣщій».

По уходѣ Ломоносова, Воронцовъ отыскать Миниха и долго, объ руку съ нимъ, прохаживался по отдаленнымъ дорожкамъ сада. Разговоръ шелъ о томъ же, объ упадкѣ финансовъ, о колебаніи всѣхъ дѣлъ и о фуражномъ подрѣдѣ для арміи.

— Je conjure votre Excellence:—говорилъ Воронцовъ:—напрягите ваше вліяніе, чтобъ государь оказать мнѣ этотъ фаворъ...

— Но что я могу?—спросилъ Минихъ: — *was kann ich, mein liebster* Михайло Ларіонычъ?

— *Ecoutez...*—шепталъ канцлеръ:—*je vous offre encore une fois d'être en moitié avec moi dans ce négoce...* мы подѣлимся, — вамъ половина, мнѣ другая, — прибавилъ онъ по-русски: — только осмотрительнѣй, по одной ахѣ могутъ проноухать и перебыють...

Минихъ подумалъ, молча-покровительственно сжалъ подъ локтемъ руку канцлера и съ важностью вышелъ съ нимъ изъ сада.

— Самый опасный — Григорій Орловъ, — вполголоса сказалъ за ужиномъ императоръ Корфу: — надо приставить кого-нибудь въ тайности за нимъ наблюдать.

— Слушаю, — отвѣтилъ глазами генераль-полицеймейстеръ.

— Надъ Дашковой, — продолжалъ государь: — будетъ лучший аргусъ — Романовна, ея сестра... Кто ожидать? сколько притворства! Не даромъ я не жаловалъ ученыхъ; во дворцѣ ни одной латинской книжки въ моей библіотекѣ не велѣли ставить...

Утромъ императоръ призвалъ Гудовича, долго съ нимъ совѣщался, а въ тотъ же день былъ посланъ новый секретный гонецъ въ Шлиссельбургъ.—«Въ военную службу принята, — разсуждалъ Петръ Федоровичъ: — я его перевоспитаю, выбью у него дурь изъ головы, и онъ броситъ бредить...»

Въ половинѣ іюня, поздно вечеромъ, къ дачѣ Гудовича, въ лѣсной глуши, на Каменномъ острову, подъѣхала, съ опущенными шторами, запыленная извозчичья карета. Изъ нея вышли озабоченный, пожилой, въ синемъ гарнизонномъ кафтанѣ, офицеръ и длинноволосый, блѣдный, въ голштинскомъ плащѣ, съ подплетенными въ косу волосами, молодой человекъ.

Кромѣ государя, хозяина дачи и еще двухъ-трехъ савонниковъ, никто не зналъ о прибытіи этихъ путниковъ. Они заняли пустой флигель въ глубинѣ Гудовичева двора и первые дни куда-то оттуда не выходили.

XV.

Пельмени.

Прождавъ день и другой Фонвизина, Ломоносовъ отправился его отыскивать.

«Кстати навѣщу и бывшую мою жилицу, Бавыкину», — рѣшилъ онъ: — пока пошлютъ приказъ въ армію, узнаю отъ Настасьи Филатовны его вѣрный адресъ, и самъ его обрадую пріятною вѣстью».

Бавыкина квартировала теперь у Калинкина моста. Домъ дяди Фонвизина былъ невдалеку отъ озера, или скорѣе, у болота, между свѣтлицъ пятой роты измайловскаго полка.

Ломоносовъ заѣхалъ прежде къ Фонвизину. Среди двора его встрѣтила, съ чашей и съ грудой тарелокъ въ рукахъ, какая-то здоровенная, но еще молодая съ виду страпуха. На вопросъ о Денисѣ Ивановичѣ, она переспросила: «Чаво?» — и, съ досадой ткнувъ тарелками въ сторону небольшой каменки, стоявшей между вербъ и акацій, прибавила: «эвosi! гуть аны и живутъ...»

Былъ еще десятый часъ дня. Изъ оконъ каменки, между тѣмъ, ужъ слышался стукъ ножей и вилокъ, и вкусно пахло жаренымъ, съ лукомъ, мясомъ. У крыльца валялись палки и большой шерстяной избитый мячъ, для игры въ лапту.

Смѣхъ и говоръ нѣсколькихъ молодыхъ голосовъ слышался изъ-за низенькихъ, покосившихся и вонедшихъ въ землю дверей.—«Рано, однако, обѣдаютъ на болотѣ!»—подумалъ, взявшись за дверную ручку, Ломоносовъ.

Его глазамъ, за порогомъ, представилась просторная, свѣтлая комната, загроможденная аммуничнымъ, книжнымъ и всякимъ хламомъ. Соръ въ ней, очевидно, не выметали по недѣлямъ. Пахло табачнымъ дымомъ. У раскрытаго въ обширный зеленый огородъ окна стоялъ тесовый столъ. За столомъ, передъ батареей пустыхъ и недопитыхъ пивныхъ бутылокъ, за блюдомъ дымившихся, плававшихъ въ маслѣ пельменей, съ добродушными, вспотѣвшими отъ жды лицами, въ рубахахъ и безъ шейныхъ платковъ, сидѣли трое смѣявшихся военныхъ молодыхъ людей. Одного Ломоносовъ тотчасъ узналъ. Прочіе двое—круглолицый, долговязый, румяный, съ крупнымъ носомъ и карими, весело глядѣвшими глазами, и другой—постарше, невысокій, широкоплечій и въ очкахъ,—были ему незнакомы.

— Куда жъ это вы, Денисъ Иванычъ, загропастились?—спросилъ Ломоносовъ, вваливаясь своимъ плотнымъ, здоровеннымъ станомъ черезъ порогъ горенки:—заѣхали, околдовали собой домосѣда и какъ въ воду канули... Я съ хорошими вѣстями...

— Михайло Васильевичъ!!! батюшка! великій нашъ...—вскрикнулъ и заметался, оторопѣлый и донельзя растерявшийся, Фонвизинъ:—господа, господа!—обратился онъ къ вскочившимъ и также, въ смущеніи, незнавшимъ что дѣлать пріятелямъ:—позвольте вамъ отрекомендовать... тьфу! что я!.. смѣю ли?..

— Да полно ты, Денисъ Иванычъ,—обратился къ нему Ломоносовъ, садясь на безногую, на какихъ-то смѣшныхъ подставкахъ, прикрытую коврикомъ, кровать:—назови, кто твои друзья, и все тутъ.

— Не сюда, не сюда, упадете... ахъ, въ кресло! тьфу ты пропасть! и оно вѣдь сломано... не могу! о! да знаете ли, други сердечные, кто это? знаете ли?—произнесъ Фонвизинъ, указывая на гостя:—нашъ первый, великій и единственный поэтъ, Михайло Васильичъ Ломоносовъ.

Молодые люди бросились къ своимъ галстукамъ и кафтанамъ, продолжая, съ раскраснѣвшимися лицами, смущенно и безмолвно смотрѣть на гостя.

— Вотъ я и нарушилъ дружескую конверсацію, — сказать, поднявшись съ кровати, Ломоносовъ: — зналъ бы и не зашелъ... Оставайтесь, господа, какъ есть, или я сейчасъ вѣтируюсь вспать.

— Помилуйте, какъ можно! ничуть-съ... — восклицали, натягивая камзолы и прочее, оторопѣлые пріатели Фонвизина.

— Мы играли въ мячъ, умаялись и закусываемъ, — объявить, глядя на пріателей, Денисъ Ивановичъ: — они зашли съ ученья!.. А теперь позвольте: вотъ этоть-съ (онъ указалъ на круглолицаго и долговязаго, съ крупнымъ носомъ) — старый знакомецъ дядюшки по Казани, преображенскій рядовой и мой другъ по любви къ словесности, скромный писецъ любовныхъ и всякихъ веселыхъ стишковъ, — Гаврило Державинъ... Не краснѣй, братъ, не краснѣй!.. А этоть (указывая на плечистаго и полнаго, въ очкахъ) его и мой пріатель, капитанъ того же полка, Петръ Богданыхъ Пасекъ. Онъ-то и придумалъ сегодня пельмени... И оба они, Михайло Васильичъ, какъ и я, ваши поклонники...

Глаза Ломоносова радостно блеснули. Онъ отъѣнно-вѣжливо поклонился и, ласково глядя на упаренныхъ, цвѣтущихъ здоровьемъ лица молодыхъ людей, рассказалъ Фонвизину о своемъ предствательствѣ за него у канцлера и у самого государя. Денисъ Ивановичъ хотѣлъ броситься къ покровителю на шею и остановился.

— Михайло Васильичъ! — воскликнулъ онъ: — какъ васъ благодарить! вотъ ошастливили, помогли...

— Резолюція канцлера, — заключилъ Ломоносовъ: — была, впрочемъ, сверхъ штата; государь, однако, велѣлъ вамъ дать жалованье... Только экзаментъ, другъ мой, экзаментъ, безъ этого нельзя...

— Пустяки, — сказать, махнувъ рукой, Фонвизинъ: — сѣзжу въ подмосковную, попрошу денегъ у бабушки или у тетушки, — богатая бабушка тамъ у меня, да какая! всего васъ знаетъ наизусть! и не далѣе конца мѣсяца выдержу всякое испытаніе... Не хотите ли трубочку, Михайло Васильичъ? вотъ пѣнковая, а вотъ и табакъ...

— Ну, и дѣло... Съ испытаніемъ мѣшкать нечего... А вы, сударь, тоже любите слагать стихи? — обратился Ломоносовъ къ преображенскому солдату.

— По ночамъ-съ, какъ улягутся въ казармѣ, — несиѣло и запинаясь отвѣтилъ Державинъ: — по ночамъ-съ... мараю

такъ себѣ, безъ правилъ, на риемы кладу. У насъ тѣсно опять же, солдатство не тѣмъ занято, аммуниція, смотры— больше въ карты, или въ свободные часы за виномъ...

— Что же пишете?—спросилъ гость.

— Триолеты о красавицахъ,—произнесъ, ободрясь, Державинъ: — побаски насчетъ, то-есть, разныхъ полковыхъ дѣлъ... а, впрочемъ, пробовалъ перекладывать Талемака и Геллерта...

— На какой же ладъ вы пробовали ихъ?

— На образецъ, извините, вашему стилю подражать.

Ломоносовъ сталъ набивать трубку. Румянецъ выступилъ на его суровомъ, исхудаломъ лицѣ. Фонвизинъ дѣлалъ знаки пріятелямъ.

— А ну-ка, да ну же, изъ побасокъ что-нибудь, — сказалъ онъ, подмигивая, Державину. Хоть это:

«Я на то-ль тебя спозналъ,
Для тово твой плѣнникъ сталъ?»—

Или это:

«Ходить Бергеръ,—злы минуты,
Ко двору моей Анюты...
Къ вахтпараду припоздалъ,
Въ кордегардію попалъ...»

— Ну, полно... охота!—перебилъ его, не зная, куда глядѣть, растерявшійся Державинъ: — такой ли пустошью занимать дорогого гостя?

— Трудитесь, государи мои, трудитесь,—сказалъ, раскуривъ и отставя трубку, Ломоносовъ: — вы наше наслѣдіе, преемники! Не давайте заглухнуть бѣдному, еще соломенному нашему царству... Пробуждайте, воскрешайте мертвую землю... Да чтобы въ вашу душу не вкрались дурныя какія упражненія и колобродства... Главное — трудъ! А безъ него ничего не подѣлаете. Хлѣбъ, господа, за брюхомъ не хаживалъ. И много тѣрки вынесетъ пшеница, пока станеть бѣлымъ галачомъ...

Разговорились о наукахъ, о литературѣ; отъ нихъ перешли къ городскимъ и дворскимъ новостямъ. Пельмени были забыты. Мундиры и галстуки, по просьбѣ Ломоносова, снова сняты.

Вошелъ еще гость, лѣтъ восемнадцати, средняго роста, съ большимъ, покатымъ лбомъ, блѣдный, съ черными, за-

думчивыми глазами и робкою улыбкой на добрых, мягко-очерченных губахъ.

— Также вашъ поклонникъ, — произнесъ, указавъ на него, Фонвизинъ: — измайловскій солдатъ и постоялецъ здѣсь во дворѣ дядюшки, Николай Ивановичъ Новиковъ. А этотъ? — обратился онъ къ Новикову: — вѣрно знаешь? нашъ безсмертный Михайло Васильичъ Ломоносовъ... Ну, какія новости, другъ? Въ сборной былъ? что говорить?

— Да, времячко! — сказалъ негромко, поглядывая на Ломоносова, Новиковъ: — нечего сказать... Попались въ перекрестную... Клади весла и молись Богу: внизъ — вода, вверхъ — бѣда...

— А что? да ты не стѣсняйся, — обратился къ нему Фонвизинъ: — на чистоту; ему можно... Онъ стойкій нашъ...

Новиковъ снялъ перевязь, утерся и присѣлъ на стулъ. Нѣсколько мгновений всѣ молчали.

— Такъ все натянуто, такъ, — сказалъ Новиковъ: — что и незаряженное ружье, гляди, выпалить... А иначе мыслить, лучше липиться жизни...

— Да вы о чемъ это, господа? — вмѣшался, потягивая изъ трубки, Ломоносовъ.

Пріятели переглянулись. Фонвизинъ кивнулъ головой.

— Мы измайловцы, — тихо и глядя куда-то вдаль, проговорилъ Новиковъ: — всѣ, то-есть, какъ одинъ человекъ, ну, всѣ пойдемъ за нее въ огонь и воду.

— За нее, матушку нашу, богиню! — подхватилъ, вставая, Державинъ: — и мы, преображенцы, жизнь отдадимъ...

— За надежду, радость и спасеніе отечества! — произнесъ, схвативъ стаканъ съ пивомъ и чокаясь съ прочими, Пассекъ: — восемнадцать лѣтъ вѣдь она живетъ въ Россіи! узнала ее, полюбила и стала, почитай, лучше всякой русской. Покойная царица Елисавета Петровна съ Бестужевымъ ее, одаренную свыше, помимо ея мужа, прочила себѣ въ преемницы, да не успѣла совершить и объявить... помѣшали Шуваловы, Бестужева сослали...

«Эге-ге, вонъ оно куда!.. вонъ молодежь-то! — подумалъ, глядя на собесѣдниковъ, Ломоносовъ, — правду сказалъ Петръ Федоровичъ... Ничѣмъ еще себя не заявили; скромные, какъ грибки-сыроѣжки подъ дупломъ, въ лѣсной глуши... Никто ихъ не знаетъ и не подозрѣваетъ, а всѣ они ея друзья.

Всѣ въ нее влюблены, и отъ нея, добросклонной, да внимательной, безъ ума!»

— А все-таки, въ чемъ же дѣла суть, государи мои, не понимаю?—спросилъ Ломоносовъ.

Фонвизинъ взглянулъ на Пассека, тотъ на Державина, оба на Новикова.

— Да что, сударь, порицайте насъ, судите! — сверкнувъ черными большими глазами, съ засвѣтившимся, блѣднымъ лицомъ, сказалъ Новиковъ, поднявшись со стула: — наше солдатовство, измайловцы, рѣшили сегодня — говорю это по секрету — не слушаться выдумки голштинцевъ, нейти въ походъ въ Данію... Притомъ же лютеранство думаютъ ввести, кирку во дворцѣ въ Ораніенбаумъ строить...

— И наши преображенцы за вами!—отозвался отъ окна, раскупоривавшій новую бутылку пива, Державинъ: — выбрали меня товарищи артельщикомъ на этотъ самый безтолковый походъ... Ну, только врядъ ли быть затѣянной войнѣ...

— Почему?—спросилъ Ломоносовъ.

— Порѣшило капральство, — сказалъ Новиковъ: — какъ только выйдемъ въ Ямскую, за Калинкинъ мостъ, станемъ и спросимъ, куда и зачѣмъ насъ ведутъ? зачѣмъ покидаемъ нашу матушку, государыню-надежду, Катерину Алексѣвну?

— Коей всѣ мы рады служить по гробъ, — прибавилъ Пассекъ.

— Еще каноникъ Менгденъ, слышно, — отозвался опять отъ окна Державинъ: — предсказалъ въ дѣтствѣ Катеринѣ Алексѣвнѣ, что на ея головѣ будутъ три короны...

— Московская, Казанская и Астраханская! — чокнувшись съ Фонвизинымъ, сказалъ Новиковъ: — ура, наша радость, вивать!

— Ну, словомъ, нейдемъ въ Данію! — заключилъ, наливая всѣмъ стаканы, Державинъ: — нейдемъ за голштинцевъ, да и баста...

— Но позвольте, господа, — обратился къ нимъ Ломоносовъ: — васъ за то, чай, вѣдь, не пожалуютъ... узнаютъ, откроютъ.

— Не попадемся, — отвѣтилъ, глядя на него поверхъ очковъ, Пассекъ: — я первый, — ни въ жизнь...

— Ну, поручиться трудно, — произнесъ Ломоносовъ: —

напрасныя, безвременныя жертвы, — да еще съ примѣсью лучшихъ, какъ вижу, силъ и умовъ...

— Нѣтъ, извините, лучшихъ, и нѣтъ худшихъ! — отвѣтилъ, поднявъ руку, Новиковъ: — человѣкъ отъ природы получить право на равенство со всѣми и на свободу. Равенство убито собственностью, свобода слѣпыми узаконеніями невѣжественныхъ обществъ... Богъ, матерія и миръ — одно и то же...

— Те-те-те... знакомыя хитросмисленія, не новости! Да вы, молодой человѣкъ, какъ вижу, розенкрейцеръ, или юминатъ? — сказалъ, глядя на оратора, Ломоносовъ: — измайловскому рядовому это, простите, хоть бы и не подобало...

— Да здравствуетъ великій Адамъ Вейсгауптъ, Веллеръ и Сень-Жерменъ! — не унимаясь и потрясая стаканомъ, воскликнулъ Новиковъ.

— Вы, сударь, столько насчитали великихъ, да еще чужеземцевъ, — сказалъ, поморщившись и вставая, Ломоносовъ: — что намъ, нижайшимъ, въ сей юдоли и тѣсно... Прощайте... Однако, не можете ли, прошу васъ, сказать, гдѣ нынче обрѣтается, восхваляемый вами, алхимикъ и фокусникъ, сей якобы жившій десятки вѣковъ, саго радге, Сень-Жерменъ?

— Графъ нынче въ Питерѣ, — нехотя отвѣтилъ Новиковъ: — желающіе его видѣть могутъ справиться у артиллерійскаго казначея, Григорія Орлова... бываетъ и въ австеріяхъ Дрезденши и Амбахарши.

— Графъ! о-го! — замѣтилъ, презрительно усмѣхнувшись, Ломоносовъ: — португальскую жидовскую скотину зовутъ графомъ!.. А вся его магнизация и сверхнатуральное состояніе не больше, какъ примѣшанный къ пуншу, либо къ кофію, на засѣданіяхъ масоновъ, опиумъ... Доподлинно то знаю! Что жъ до химіи, государи мои, такъ въ ней, вѣрите мнѣ, онъ сущій невѣжда и дуракъ... Шарлатанить съ философскимъ камнемъ, воскрешаетъ аки бы мертвыхъ и растить на лысинѣ волосы! Впрочемъ, разстроеннымъ фанатизмомъ въ нервныхъ узлахъ барынямъ зѣло нравится и зато порядкомъ и по-дѣломъ ихъ обираетъ...

Ломоносовъ простился съ молодыми людьми и вышелъ. Фонвизинъ проводилъ его до воротъ.

— Какая жалость! мой дядя на охотѣ въ Роншѣ, — сказалъ онъ, разставаясь съ знаменитымъ гостемъ: — двадцать

восьмого іюня день его рожденія; я хоть и уѣду въ Москву, но къ этому дню безпремѣнно возвращусь... Не откажите, Михайло Васильичъ, на пироги... И дядя, и тетка очень будутъ рады васъ видѣть. Они такъ вамъ благодарны за меня; двадцать восьмого,—не забудете?..

Ломоносовъ сперва отказался; двадцать девятаго іюня, въ день Петра и Павла, въ академіи было назначено торжественное засѣданіе, и ему поручили изготавить и сказать въ этотъ день хвалебную въ честь государя латинскую рѣчь. Но, подумавъ, онъ взглянулъ на юношу, ласково пожалъ ему руку и далъ слово быть у него на пироги дяди, постѣ академическаго засѣданія.

Разговоръ въ каменкѣ долго не выходилъ у Михайла Васильича изъ головы.

«Недобрыя затѣи, недобрыя, — размышлялъ онъ, — сущіе воробы! переловить ихъ, коли хуже не будетъ, пропадутъ ни за что, ни про что... А тотъ-то, въ очкахъ, Пассекъ? ни въ жизнь, говорить, не попадусь... Экіе шустрые, чиликаютъ, топорчатся, прямо воробы...»

Дня черезъ три Ломоносовъ справился въ коллегіи и узналъ, что приказъ, съ разрѣшеніемъ Мирѡвичу возвратиться, подписанъ наканунѣ и уже посланъ въ армію. Онъ хотѣлъ ѣхать къ Калинкину мосту, отыскивать Бавыкину, какъ увидѣлъ на лѣстницѣ коллегіи Ушакова, съ которымъ познакомился весной, провожая Мирѡвича въ Шлиссельбургъ. Ломоносовъ ему сообщилъ справку о его пріятелѣ и прибавилъ: «кстати, замѣните меня, сѣзидите къ общей нашей знакомѣ, Бавыкиной; что-то недомогаю, а надо бы узнать адресъ вашего друга и скорѣе его обрадовать».

Ушаковъ отправился къ Калинкину мосту.

Комната у грекени Бунди, гдѣ жила теперь Филатовна, была пропитана запахомъ домашней птицы. По сосѣдству, за дверью, помѣщался, очевидно, хозяйкинъ курятникъ. Сильно исхудалая, съ недовольнымъ и опечаленнымъ лицомъ, Бавыкина, прикрытая старенькой капавейкой, лежала на сундукѣ, подъ образами.

— Что съ вами, матушка? — спросилъ Ушаковъ: — здоровы ли? какъ жалъ, не дали о себѣ слуха: охотно бы навѣстилъ...

— Ну, ужъ ты-то навѣстишь! одна ягода съ другомъ

своимъ. Въ гробъ давно мнѣ пора; откройся, мать сыра-
земля, — чуть взглянувъ на гостя, сумрачно и съ замѣша-
тельствомъ проговорила Филатовна:—вотъ она, доля-то бабы
Настаси... въ птичницы, да въ огородницы въ экіе годы
пошла!.. Что жъ, парень, не осуди; хлѣбушка всякому хо-
чется жевать. И воду сама ношу... Да чуть съ лихоманки
не померла, какъ его-то, твоего прокурата, проводимши,
сюда переѣхала.

— А я къ вамъ, Настасья Филатовна, съ доброю
вѣстью,—сказалъ, садясь, Ушаковъ:—не у всѣхъ дѣла хо-
роши, и я вотъ въ тѣснотѣ, поистратился опять. Отъ Ва-
силія-жъ намереніи была получена цидулка,—просилъ похло-
потать о его возвратѣ; иначе, — писалъ, — безъ спросу, на
гибель свою, готовъ стать дезертиромъ. Ну, ему сильные
люди и выхлопотали апробацію! вчера, поздравьте, напи-
сано Бутурлину и въ его нарвскій полкъ...

Бавыкина подняла съ подушки голову. Ея глаза тревожно
забѣгали по комнатѣ, съ испугомъ остановясь на ситцевой
ванавѣскѣ, протянутой отъ печи къ посудному поставцу.
Губы что-то шептали.

— Что вы, матушка? не слышу,—сказалъ, нагибаясь къ
ней, Ушаковъ.

Филатовна, качая головой, не спускала испуганныхъ
глазъ съ поставца. — «Что бы это значило?» — подумалъ
Ушаковъ. Онъ всталъ, тихо приподнявъ положокъ.

У печи, схватившись за волосы, въ забрызганныхъ
грязью шинели и высокихъ дорожныхъ сапогахъ, сидѣлъ,
попурясь, Мирѳвичъ.

— Боги праведные... что вижу? ты ли? — вскрикнулъ
Ушаковъ:—какъ и когда? отпускъ только-что посланъ.

— Безъ отпуска, уходомъ...

— Но вѣдь это дезертирство! какъ ты могъ рѣшиться?

— Что спрашивать, полно! невидаль какая! не стерпѣлъ—
ну, я все тутъ!—грубо отвѣтилъ Мирѳвичъ:—значить была
причина.

— Когда пріѣхалъ?

— Сегодня ночью, съ жидами, великолупцкими фурлейтами.

— И не боишься? не подождать! ну, какъ выдадутъ жида?

— Не выдадутъ. Не всѣ жъ Каины, предатели. А до-
несутъ, — э, чорты! туда и дорога! — рѣзко сказалъ Мирѳ-

вичъ:—офицеръ, нашей ложи масонъ, провожалъ аммуницію изъ Митава; ну, и провезъ черезъ рогатки, въ тюкахъ.

Ушаковъ не могъ придти въ себя. Превосходившій его нравственнымъ складомъ и умомъ, Мирovichъ ему казался въ эту минуту жалкимъ, ничтожнымъ.

— Что же теперь! — сказалъ Ушаковъ: — вѣдь военный судъ, вѣдь гибель надъ головой... А онъ сидитъ... Ахъ, Василій, припомни встрѣчу у Дрезденши, твои слова о силѣ воли, о совѣтахъ разума! Съ Иисусомъ Навиномъ солнце собирался остановить, съ пророкомъ Иліей хотѣлъ отворять и затворять небо, — а не могъ выждать, изъ-за границы, увольненія въ отпускъ, по командѣ! прѣклихъ!..

— Э, убирайся, чортъ! совѣты еще! пропадать, такъ пропадать. Все ложь и обманъ, — мрачно и злобно проговорилъ Мирovichъ:—всѣ подлецы, самомерзѣйшія твари, и ты первая изъ нихъ... Одна въ свѣтѣ истина, одна, — любовь... Вотъ развѣ, впрочемъ, и она... да наплевать!.. Хотъ бы скорый этому рѣшеніе, конецъ...

— Успокойся, другъ Василій, успокойся, — сказалъ, мигнувъ Филатовнѣ, Ушаковъ:—объясни лучше, какъ это случилось. И съ предметомъ своимъ теперь скоро, — ну, хоть и сегодня, — встрѣтишься, я видѣлъ ее... Дѣвица отменно достойная, и, вѣроятно, ждетъ. не дождется... А ужъ отъ суда, Вася, какъ-нибудь, въ сѣнь необычайной факціи, постараются тебя спасти сильные друзья...

Мирovichъ, презрительно зѣвнувъ, ничего не отвѣтилъ.

Ушаковъ далъ знать о прїѣздѣ прїятеля Ломоносову, проси замолвить о немъ слово гетману, и напомнилъ Мирovichу о весеннемъ его знакомствѣ по дому Дрезденши, о Григоріи Григорьевичѣ Орловѣ, куда тотъ на другой день и отправился.

— А!.. Дивно-губительная пятерка! — вскрикнулъ, при видѣ Мировича, пальмейстеръ гвардейской артиллеріи, Григорій Орловъ:—какъ дѣла съ фараономъ и съ бильярдомъ?

— Плохо, Григорій Григорьевичъ! весь, какъ есть, прогорѣлъ.

— Что же, денегъ надо?

— Нѣтъ, не ихъ. Разъ помогли вы, за что по гробъ благодаренъ,—еще въ одномъ пособите... отслужу...

— Въ чемъ же дѣло?

Мирóвичъ разсказаль о своемъ уходѣ. Орловъ опустилъ руки.

— Плохо, братъ, примѣчательно плохо! — сказалъ онъ, покачавъ головой: — ты масонъ? да говори, не бойся, — и я масонъ...

Мирóвичъ сдѣлалъ особый, странный знакъ рукой.

«Отлично, — я такъ и думалъ, пригодится, — сказалъ себѣ Григорій Орловъ: — вольный каменщикъ и охотникъ до картъ! Степана Васильевича Перфильева за нами приставили наблюдать, а мы въ соглядатаи за ними поставимъ этого гуся. Перфильевъ въ пикетъ собаку сѣлъ, — зато въ ламушъ ему не везетъ... Вотъ ему разомъ и дистракція, и отместка... Этотъ его ужъ, безъ сомнѣнія, забудетъ съ первыхъ ходовъ!»

— Приходи завтра, — произнесъ Орловъ: — обсудимъ твое дѣло.

Мирóвича одѣли, ссудили деньгами. Чтобъ избавить его отъ отвѣта въ самовольной его отлучкѣ изъ арміи, Орловъ устроилъ такъ, что рапортъ о немъ спрятали, въ нарвскій полкъ дали знать, что онъ временно назначенъ по артиллеріи, въ комиссію «о пересмотрѣ шуваловскихъ голубицъ», а ему велѣли сидѣть съ Перфильевымъ и носу никуда не показывать. Въ этомъ помогли и масоны, одной ложі съ Орловымъ.

Василій Яковлевичъ укрѣдкой увидѣлся съ Пчёлкиной. Съ отъѣзда изъ Шлиссельбурга, она жила на Каменномъ, у Птицыныхъ. Встрѣча ихъ была странная. Поликсена будто обрадовалась, даже какъ-то порывисто, нервно расплакалась. Мирóвичъ, однако, увидѣлъ нѣчто другое, не то, чего онъ ожидалъ. Самъ не давая себѣ отчета, въ чемъ дѣло, онъ молча, угрюмо сѣлъ и все время исподлобья смотрѣлъ, слушая Поликсену. — «Сущій волченокъ — подумала о немъ Птицына, бывшая при этой встрѣчѣ, — и какъ она его не бережется! глаза — острые ножи!»

Устроитель гвардейскихъ веселостей, Орловъ свелъ Мирóвича, въ масонской ложѣ, съ Перфильевымъ. Новые знакомцы, какъ засѣли за столъ, такъ ужъ и не вставали. Дни шли, ночи на пролетъ, — они безъ отдыха играли, изрѣдка лишь перемѣняя мѣсто игры, да когда подходили другіе охотники, садились въ круговую за бириби, или въ фараонъ. Опіумъ масонства, слившись въ Мирóвичѣ съ хмелемъ карточной игры, въ конецъ поработилъ его мысли; сердце, волю.

Двадцать-третьяго іюня, Мирѡвичъ, исхудалый, съ впалыми щеками и съ блуждающимъ, потухшимъ, сердитымъ взглядомъ, пріѣхалъ къ Ломоносову, прошелъ къ нему въ садъ и, присѣвъ у него въ бесѣдкѣ, прерывающимся, сильно-взволнованнымъ голосомъ спросилъ его:

— Знаете, что случилось?

— Не знаю...

Мирѡвичъ не поднималъ глазъ. Сгорбившись и нахохлившись, онъ просидѣлъ нѣсколько секундъ молча, съ отвисшею, нижнею губой и упавшими съ колѣнъ руками, злобно выжидая, что еще скажетъ ему Ломоносовъ.

— Я только-что съ Каменнаго, — началъ опять Мирѡвичъ, нарочно цѣдя слова: — вчера Поликсена гуляла съ дѣтьми Птицынѣхъ... ну, гуляла и забрела въ рощу къ Невкѣ...

— Что же тамъ увидѣла?—спросилъ Ломоносовъ.

— Дѣти собирали грибы; Поликсена читала книжку... ха-ха!.. въ это время — книжку!.. Вдругъ слышитъ шаги; поглядѣла—идутъ двое...

Сказавъ это, Мирѡвичъ судорожно повелъ плечами, точно его знобило, и нервно зѣвнуть.

— И кто же, думаете, были эти двое? угадайте, — спросилъ, какъ-то неестественно улыбнувшись, Мирѡвичъ.

— Не знаю, — отвѣтилъ Ломоносовъ: — почему знать?

— Принцъ Іоаннъ Антоновичъ и съ нимъ, должно, новый шлиссельбургскій приставъ, — съ презрительно-гордой усмѣшкой проговорилъ Мирѡвичъ.

— Что ты, Василій Яковличъ! быть не можетъ... ужель принцъ?..

— Онъ! Поликсена не ошиблась, узнала... онъ! вторую недѣлю въ тайности живетъ на дачѣ Гудовича въ лѣсу.

Ломоносовъ, черезъ голову Мирѡвича и верхушки деревъ, взглянулъ на вечернющее, залитое дымчатымъ заревомъ небо и съ чувствомъ, медленно перекрестился.

— Но есть и другое дѣло, — продолжалъ, торопясь и переминаясь, Мирѡвичъ: — и то, о чемъ я свѣдалъ случайно, — ну, играя съ одной тутъ компаніей, — такъ о томъ страшно и вымолвить...

— Что же ты узналъ?

— Не нынче, завтра, ожидаютъ смуты, волненія, — отвѣтилъ, уставясь въ Ломоносова черными, безъ блеска, гла-

зами Мирѡвичъ:—все, увѣряютъ, готово и вѣрнѣйшіе, близкіе къ монарху люди передаются, если ужъ не передались его врагамъ.

Произнося это, Мирѡвичъ покраснѣлъ и замолчалъ.

— Полно, мало ли что болтаютъ!—сказалъ Ломоносовъ, вспоминая бесѣду у Фонвизина:—упаси Господи отъ злыхъ, крамольныхъ дней! все пойдетъ вверхъ дномъ.

— Не вѣрите?—спросилъ, вставая, Мирѡвичъ.

Онъ выпрямился, судорожно оправилъ волосы. Черные, ватуманенные волненіемъ и бессонницей, его глаза глядѣли сердито. Въ нихъ начиналъ свѣтиться злой и дикій огонь. Скопленіе всякой горечи, ненависти и мести вызывало чрезвычайное возбужденіе.

— Покажу имъ,—сказалъ онъ съ холодной злобой,—спознаю ближе, и все, какъ есть, открою. Я терпѣлъ ужасную, неисходную бѣдность, нужду, нищету, а пріятели мои были богаты и знатны. Пора выбиться... И ужъ коли и за то не получу сатисфакціи во всѣхъ моихъ бѣдствіяхъ, — нѣтъ правды на землѣ!...

Мирѡвичъ вышелъ. Шаги его затихли въ концѣ сада.

Ломоносовъ ему ничего не отвѣтилъ и его не проводилъ.

Онъ продолжалъ изъ бесѣдки смотрѣть на темнѣющее, надъ деревьями, въ послѣднихъ отблескахъ заката, небо и думать о другомъ. Изможденный тюрьмой, кроткій и важный видомъ, юноша не отходилъ отъ его мысленныхъ глазъ...

XVI.

На дачѣ Гудовича.

День двадцать-четвертаго іюня былъ жаркій, душный. Его смѣнила тихая, вся залитая голубоватымъ луннымъ блескомъ, ночь.

Душистая, болотно-луговая мгла, не расходясь, наполняла каждую поляну, каждый укромный, древесный тайникъ. Воздухъ былъ недвижимъ. Длинные столбы обрадованныхъ теплу мошекъ, то свиваясь, то развиваясь, шевелились, плыли надъ вершинами погруженныхъ въ дремоту невскихъ лѣсовъ.

Бѣлый туманъ, какъ саванъ, подползалъ съ запада, съ поморя, гдѣ на краткій отдыхъ спряталось, багровымъ шаромъ горѣвшее, солнце. Запахомъ элей и травъ, точно

ладаномъ, тянулъ по пустырямъ чуть замѣтный утренній вѣтеръ. Онъ проснулся за синимъ гребнемъ лѣса, тамъ, гдѣ вскорѣ должна была заняться полоска ранней зари, и чуть шевелить стеблями лопуховъ и папоротниковъ, гоня мошекъ и будя залетныхъ, недолго поющихъ здѣсь, соловьевъ.

Въ темныхъ озерахъ и заводахъ отражался полный мѣсяцъ, просѣки, сады и дома тамъ и здѣсь одиноко разбросанныхъ дачъ. Летучія мыши, шныряя за мошками и всякою комахой, беззвучно мелькали въ лунныхъ лучахъ.

Дача Гудовича стояла на берегу безыменной рѣчонки, отдѣлявшей Каменный островъ отъ Крестовскаго.

Высокій, досчатый заборъ окружалъ дворовое и садовое мѣста. Главный, со стеклычатой теплицей домъ, гдѣ лѣтомъ проживала семья любимаго государева слуги, выходилъ на большую дорогу. Запасной, новый флигель былъ расположенъ въ глубинѣ двора, къ саду, примыкавшему къ рѣкѣ. Молодѣчня, конюшня, коровникъ и прочія службы шли вправо и влѣво отъ главнаго дома. Самъ хозяинъ изрѣдка наѣзжалъ сюда на отдыхъ и чтобъ взглянуть лошадей, до которыхъ былъ большой охотникъ.

Вторую недѣлю Гудовичъ неотлучно находился при государѣ въ Ораніенбаумѣ, но извѣстилъ, что вскорѣ пріѣдетъ. Старуха-мать и сестры-дѣвицы поджидали его съ-часу-на-часъ и до-поздна не ложились спать. Долго свѣтились огни въ большомъ домѣ и рядомъ съ нимъ въ молодѣчнѣ, гдѣ почему-то, съ недавней поры, чередовался секретный ночной караулъ изъ полицейскихъ и крѣпостныхъ инвалидовъ. Два хозяыхъ съ мушкетами ночевали—одинъ на крыльцѣ флигеля во дворъ, другой — въ саду, на балконѣ. Дворня поглядывала на окна и двери флигеля и качала головой, видя, какъ шепчется старуха-барыня съ барышнями.

Во флигель носили кушанье, чай, кофе и десертъ; ходили въ него цирюльникъ, сапожникъ и портной. Принесли туда, дня три тому назадъ, кому-то новый голштинскій кафтанъ, зеленый, съ серебрянымъ шитьемъ и красными воротникомъ и нарукавниками, желтый камзолъ, такія же панталоны, лаковые съ пряжками башмаки, треуголъ съ галуномъ и лосинныя перчатки. Изъ флигеля веда особая балконная дверь въ садъ, на калиткахъ котораго висѣли замки.

Было далеко за полночь.

Въ большой, обшитой новымъ тесомъ, комнатѣ стояли двѣ кровати. На одной спалъ прикрытый военной шинелью усталый, плотный, пожилой человекъ; на другой — длинно-волосый, съ небольшою каштановою бородкою юноша. Бѣлье и платье, разбросанныя по стульямъ и софѣ, раскрытые чемоданы и погребецъ, ружье въ запыленномъ чехлѣ на стѣнѣ, — показывали, что жильцы этого флигеля не успѣли еще устроиться.

Они съ вечера долго гуляли по саду, выходили особую камитку въ гущину лѣса, ко взморью и на луга, ловили удочкою рыбу и собирали грибы и цвѣты. Это были при- ставъ Жихаревъ и принцъ Іоаннъ.

Жихаревъ бережно заперъ камитку и балконную дверь, ключи отъ той и другой взявъ къ себѣ, постлѣ ужина въ постели вспоминать Робинзона Крузе, о которомъ слышалъ отъ Чурмантѣева, поговорилъ нѣсколько съ принцемъ, и видя, что тотъ сталъ дремать, задуть свѣчку и заснуть.

Жихаревъ видѣлъ во снѣ, какъ Робинзонъ, узякая съ пустынного острова, гдѣ жилъ двадцать-восемь лѣтъ, взялъ съ собой, на память козій зонтикъ, такую же шапку, слугу Пятницу и одного изъ попугаевъ, который отчетливо твердилъ: «Бѣдный Робинъ, бѣдный! куда занесла тебя судьба?»

Приставу грезилось: «И я бѣдный! и я!.. Столько лѣтъ въ Кронштадтѣ отдежурилъ, добрался до Питера, устроился съ семьей, думалъ вѣкъ кончить въ столицѣ, и вдругъ перевели, заперли въ Шлюшинъ. Почетное довѣріе, да какова отвѣтственность! Теперь сюда выписали. Ужли освободятъ принца? Ужли и меня въ такомъ разѣ отпустить въ чистую, на покой?.. Безъ сумнѣнія, при столь вѣрной оказіи, дадутъ пенсіонъ, а можетъ, на кормъ дѣтишкамъ и деревенщину, гдѣ-нибудь на Волгѣ, или въ степи за Москвою... Убѣдѣ стану жить, поживать, ни горя, ни муштры, ни начальничихъ распеканій не знать»...

Принцъ Іоаннъ спалъ тревожнымъ, лихорадочнымъ сномъ.

Ему грезился мрачный, могильный казематъ, безсердечные, грубые стражи и вѣчная, каждый день и каждый часъ, однообразная, непреоборимая, неумолимая и нѣмая, какъ гробъ, неволя Свѣтличной башни.

Онъ во снѣ метался и дышалъ тяжело. Крупный потъ проступалъ на миловидномъ, дѣтски-добромъ лицѣ. Что-то страшное, давящее, каменное налегло на его грудь. —

«Смерть!»—пронеслось въ мысляхъ принца:—«вотъ она наконецъ... Боже! дай ея скорѣй! унеси меня, прими, успокой»... Онъ глухо застоналъ, вздрогнулъ и проснулся.

Глядитъ — незнакомая, просторная, чистая комната. Не слышно запаха гнили; не видно плѣсени на каменномъ сводѣ и въ углахъ. Пахнеть цвѣтами, душистой сосновой смолой. Лампадка у образа, мерцающая, чуть теплится. Окно закрыто. Дверь на замкѣ. Но вотъ и лампадка, мигнувъ разъ и другой, погасла. Лунные лучи вырываются, скользить съ надвора, мерцаютъ по комнатѣ. Душно. Одѣло сброшено. Сердце тревожно бьется, щемитъ. Непонятныя рѣчи, клики, звонъ и шумъ въ ухахъ...

Слышатся соловьи, жаворонки, звенятъ колокольчики, трубы отдаются въдалекѣ. Тинь-тинь... и смолкнеть... И опять пѣсни, клики, праздничный звонъ и гулъ... Гдѣ-то радуются, ликуютъ, кого-то зовутъ и манятъ.—«Трубы Иерихона! гремите, звучите! Осанна въ вышнихъ... падутъ грѣшныя стѣны, падутъ! Азъ есмь альфа и омега, первый и послѣдній, начало и конецъ»...

Вновь тишина.

Голубые лучи сыплются въ окно. Кто-то будто ходитъ, шелеститъ по комнатѣ. Что-то бѣлое усьмось на стулѣ, глядитъ изъ мрака и растеть,—высокое, безголовое, въ складкахъ и съ протянутыми руками. За шкапомъ — косматый, завернутый въ черное, съ хвостомъ и острыми, длинными шпорами. Отъ шпоръ по полу тянутся свѣтящіяся полосы. Онѣ шевелятся, какъ змѣи, скользятъ и меркнутъ въ углу. Что-то нахлебучилось у двери и, покачиваясь, приближается къ кровати. «Иродіада, звѣрь седмиглавый, бѣсы»...

Іоаннъ Антоновичъ приподнялся, всматривается въ ужасѣ... Гдѣ онъ? куда его занесла судьба?

Тѣ же призраки, тѣ же страхи и звуки, что столько лѣтъ, каждую долгую, безсонную ночь ему мерещились и слышались взаперти. Но мѣсто, гдѣ онъ теперь, не похоже на тюрьму. Призраки меркнутъ, уходятъ. А тамъ, за окномъ—настоящія, вольные соловьи.

Жихаревъ наморился за недѣлю въ прогулкахъ по дикимъ тропинкамъ, у взморья и по лѣсамъ, и крѣпко спитъ.

«Уйти! — думаетъ принцъ, — нагуляться до-сыта, на пахучемъ свѣжьемъ раздолѣ! Нынче, сказываютъ, Ивановъ день,—такъ и есть! мое тезоименитство... Нѣтъ. Еще пой-

манть, приеуютъ на цѣпъ, какъ звѣра... И не увижу я бо-
лѣе, въ замурованное окно, ни синяго неба, ни моря; ни
дрѣтвовъ, ни ее... Гдѣ она? Во снѣ ли? Да! я ее видѣлъ!
видѣлъ здѣсь, невдале; помню мѣсто, куда она, испуганная,
окрылась... Что, если бы...

Иванушка слушаетъ. Опять мерещатся колокольчики,
трубы. — «Гласъ гудѣць, и мусивій, и писателей»... — «Зве-
нитъ и цемить, и обдаѣтъ жаромъ и холодомъ... — «Дни
Идумейска, живуца на земли! и на тебе придетъ чаша
Господня, и, не ушибася, не веселися... Евфразій!»... — «мнѣ
слить принцъ: — «златокудра! пахнетъ ладаномъ, смирной
и розой... Гдѣ она? и какъ висонца?.. Спать и, грезилась
смертные страхи... И явилась она, облеченная въ висонь, пур-
пуръ и солнце! Луна подъ ногами, на главѣ вѣнецъ изъ звѣздъ
и на немъ написано—тайна... Что, кабы воля, кабы уйти?»

На балконѣ слышался шорокъ. Кто-то съ надворья
оклонился къ окну, будто глядитъ въ сумракъ комнаты,
поскребъ ногтями разъ и другой по стеклу. — «Боже, зовутъ
меня, зовутъ»...

Арестантъ вскочилъ, подошелъ къ окну, взглянулъ въ
садъ. Видѣлъ балконъ, усыпанная пескомъ площадка и
близкіе деревья и кусты. Полицейскій хозяинъ спитъ, ра-
стѣнувшись поперекъ крыльца. А подъ окошкомъ, вертѣ
хвостомъ, сидитъ и вѣжливо ласковыми глазами шуртѣтъ
мохнатый, бѣлый хозяйскій пудель. Иванушка пошарилъ по
рамѣ, нащелъ задвижку, раскрылъ окно. Собака беззвучно
вскочила въ комнату. — «Накормить ее, накормить бѣднугу
не ѣла»... — рѣшилъ, нѣжно ее глядя, арестантъ. Онъ оты-
скалъ въ шкапу, отдалъ собакѣ остатки ужина. Свѣтлѣй,
напоенный смолой и рѣчными испареніями воздухъ, щедрой
волной ворвался въ комнату. Онъ дышитъ лѣснымъ затѣ-
шествомъ, волей и махитъ во мракъ.

Пудель, прижавъ уши и хвостъ, принялся лапкаты изъ
блюда. Иванушка постоялъ надъ спящими приставами, нѣ-
экорю обулся и дрожащими руками сталъ надѣвать на себя
новое, справленное ему платье. «Сюда, за мной! — шепнулъ
онъ собакѣ, цѣлуя ее въ морду и въ весело игравшіе глаза: —
за мной! о! совсѣмъ вспомнилъ—знаю дорогу, подглядѣлъ; —
мостикъ, и прямо... домъ подъ березками—башня и крыльцо».

Пудель прыгнулъ въ окно. Иванушка за нимъ. Они нѣ-
верали полицейскаго инвалида, пропши въ гдѣсь садъ

основательно передъ налиткой въ лёсъ. Калитка заперта. Черными реликианами высится за оградой росистыя ели и сосны; Пудель, съ поднятой лапой, глядитъ на Иванушку. Все тихо. только слышится плескъ рыбы въ соседнемъ прибрежьи, да высоко, въ предразсвѣтныхъ сумерѣхъ, свистя крыльями, тинуютъ съ болотъ ко вѣморью стаи рѣвнхъ нырковъ.

Арестантъ взялся за стволъ старый березы, поднялся на дупло. Но не влѣзть на заборъ; онъ высокъ и доски гладко вытесаны. Иванушка обошелъ нѣсколько дорожекъ; одианулся, — нѣтъ собаки. Онъ бросился ее искать. Слышитъ, — пудель: нибоко гоняется, вспугивая спящихъ птицъ по тотъ божь оврады. Гдѣ же выходы? Трава пригнѣтана; старая водотомина извивается въ глупа лонуховъ. Въ концѣ ея — лѣзъ подъ нижней доской забора. Иванушка нагнулся. — «Не раскопать ли земли?» — Онъ разрылъ пережной, просу- жуть голову, туловище, прислушался и вылѣзъ изъ сада...

«Боже! какое приволье! что воздуха, что простора, свободы»... — Темныя стѣны лёсовъ идутъ направо и влѣво. Острова ихъ точно плаваютъ въ надвигавшемся туманѣ. — «Азъ, цѣтъ польный и крикъ удольный!» — думаетъ узникъ, — яко же крикъ въ терніи, тако искренная моя посреди дичерей... Яво же яблокъ — посреди древствъ лѣсныхъ!» — «А если обманеть? Что скавано о жѣнахъ?! Аще убога, злобою бо гнѣбеть, укоряема — бѣсится, ласкаема — возносятся... Нѣтъ она не Далида, не Иродіада... не замѣнить, не продасть!»

Иванушка поднялъ голову, выпрямился и сперва робкими, пеловкими, потомъ твердыми и смѣлыми шагами пошелъ бѣсъ оглядки отъ дачи Гудовича...

Мгла еще не расходилась. Сумерки окутывали окрестность. Высокій и тощій, съ неубранными, распушенными волосами, путникъ направили шагаль по лѣсной чащѣ. Ни кочки, ни верескъ, ни мхи не останавливали его. Вѣтви цѣплялись за мундиръ, сбивали обшитый галунами треуголь. Онъ бережно, какъ звѣрь, приглядывался, прислушивался, замедлялъ шаги, бросался въ сторону, и, вытыкая изъ лу- отовъ голову, ждалъ и опять безъ устали шель и шель.

Поликсена спала въ верхней комнатѣ Птициныхъ, выхо- дившей окнами въ лёсъ. Съ вечера были городскіе гости. Легли спать поздно. Едва она забылась первымъ крѣпкимъ сномъ, услышала, что ее будить. Передъ нею, босикомъ, въ

рубахоньки, стояла испуганная, полусонная девочка, дочь ключницы.

— Что тебе, Лизутка?

— Тамъ, на галдарей, барышня... ой! что-то странное, против самой гостинной, ходить... ну, идите, владаните...

— Да где? что ты?

— Ой, боюсь... Да отъ лѣсу-то, — страшное, — ходить по галдарей; стойдетъ на дорогу и глядитъ на ворота, да заберъ.

Поликсея взглянула въ окно и обмерла. У опушки стоялъ блѣдный призракъ. То былъ принцъ Іоаннъ.

— Иди, Лизута, иди, полубубка, Боже съ тобой, ложись. Тебѣ пригрезилось. Никого нѣту-ти...

Уговоривъ полусонную девочку идти, она уложила ее, перекрестила, сама одѣлась, прошла въ постыную и отомкнула дверь на крыльцо.

— Вы ли это, сударь? — спросила Пчёлкина, подойдя къ крыльцу: — какіи судьбами?

— Я... я... вотъ, дорогой, видишь, напелъ тебя! Пойдемъ, да пойдемъ же... сказалъ онъ, схвативъ Поликсену за руку.

— Но куда? что вы? Услышать, набѣгутъ...

— Жизнь моя! бросимъ все, уйдемъ, — продолжалъ, вадихажь, Иванушка: — увидѣлъ тебя... все прошло, полн, жизнь.

— Такая ли воля? Ахъ, вы не простой, не, воярадный человекъ. Васъ не пустятъ охотой, вы опасны, — будутъ слѣдить, найдутъ на днѣ моря, подъ землею.

— Другъ, другъ!... за что же, за что!...

«Вотъ онъ, вроненный столъ великой имперіи, — думала Поликсея, глядя на узника, — въ его избавленіе вѣтѣвались бунты, тронъ считался непрочнымъ, пока онъ живъ. Посылались лазутчики, поднимался его именемъ расколъ. Его замыслили похитить въ Берлинъ; пѣлой войнѣ черезъ него диверсію думали сдѣлать... И память о немъ, угасла, всѣ его считали въ могилѣ... Но вотъ онъ здѣсь, передъ мной, гонимый злой долей, молящій... И мнѣ, ничтожной, невѣдомой, мнѣ, новой избранницѣ, ужели суждено свершить святой подвигъ, возвратить крестолъ несчастно-рожденному?.. Спрятать его, а утромъ отвезти ко двору?.. Государи ждутъ изъ Ораніенбаума, — будетъ разводъ...»

— Не бойтесь, сударь, — сказала Пчёлкина: — теперь васъ не отнимутъ отъ меня.. я васъ спасу... да, возвращаю вамъ счастье, свободу, и все... А когда вы будете въ силѣ и славѣ...

Она не договорила. Арестантъ вдругъ ее обхватилъ, страстно что-то прижался къ ней и сталъ ее осыпая ягучими, порывистыми поцѣлуями. Руки его дрожали, дыханіе прерывалось, онъ шепталъ несвязныя, бессмысленныя слова. Поликсена попыталась отъ него вырваться. Онъ увлекалъ ее отъ дороги къ чащѣ деревь.

— Что вы, куда? — прошептала Поликсена, когда они очутились у лѣсной опушки.

Арестантъ безсознательно испуганно оглядывался. Рѣчь отказывалась ему служить. Начинало свѣтать. Вправо виднѣлось плесо рѣки. — Что съ нимъ? — въ страхѣ подумала Поликсена, — понимаетъ ли, слышитъ ли онъ, что я ему говорю? медить нечего...

Тамъ опять давить, бить, тѣснить, — сказала вдругъ узница. — а вотъ и воля... Да боюсь я ного-то потерять, кого-то не видѣть...

О комъ говорите? — спросила Пчелкина.

— Виновать я передъ нею! какъ бы не разлюбила! — шептала узница, мучительно-радостно вглядываясь въ лицо Поликсены и трогая ее за руку.

— Скоро утро, — сказала Пчелкина: — васъ спохватятся; поднимутъ погоню. Здѣсь не укроетесь. Надо въ городъ, къ государю. Его ждали съ вечера. Въ немъ одно спасеніе. Но со мною васъ тотчасъ узнають... Вамъ надо одному... Суждете ли вы?

Иванушка молчать.

— Вотъ тропинка, — продолжала Поликсена: — она ведетъ къ рѣкѣ. Тамъ мостъ, но нѣтъ, лучше въ лодкѣ. Согласны? Я васъ провожу. Дойдете въ городъ, и прямо къ крѣпости; тамъ опять въ лодку и ко дворцу. Да идите же... Вашу руку... Все успѣю рассказать. Идите, — а вотъ монеты на перевозъ.

Поликсена провела принца къ окраинѣ Каменнаго острова. Съ берега, черезъ Невку, въ утренней мглѣ, уже виднѣлось предѣлье Колтовской. Отъ пристани отваливалъ челнокъ.

Взгледъ и его провожатая остановились.

— Слушайте же... первую улицей, и все прямо; и ни слова ни съ кѣмъ, помните — ни слова.

— Буду помнить... буду...

Они простились.

— Не подвести-ль, сударь? — окликнулъ принца съ бе-

река сѣдой, какъ лунѣ, въ вождочномъ капелюхѣ, подернута-
ватый лодочникъ.

— Подвези... только я вотъ...—сказалъ и заикнулся ушникъ,
оглядываясь къ деревьямъ, за которыми оставилъ Поликсену.

— Да куда-те, христова душа?

— Ко двору... царя мнѣ нужно... царя...

— По службѣ, что-ль, надобеть? къ разводу сѣвниши?
сались, — эхъ, утречко! или не здѣшній? не заблудился бы,
христовъ человекъ...

— Охъ, пыты пытается, — сердито, рѣзко кашляя, отовывался
изъ подъ тулупа другой, помоложе лодочникъ, лежащій у
шалаша: — ты ужь вези, дѣдко, что растабарывать? вонъ на-
халоть съ берега, ждуть. Митричъ-те шено-то наkostenяетъ.

— Не наkostenяетъ, намъ что! дѣло свое знаемъ! — отпи-
тилъ, подсадивъ Иванушку въ лодку, старикъ: — похожено,
попошено, повожено... Подъ тремя царицами, подъ третней
царемъ хлѣбушка-то ѣдимъ. У яго, ваша честь, лихоманка, —
прибавилъ дѣдъ: — онъ и грызется, дурашпый, лается... Ви-
дывали васъ, пшѣнниковъ... пра, пшѣнники, блохари...

Иванушкѣ не сидѣлось. Ему хотѣлось говорить, спраши-
вать безъ умолку; но онъ помнилъ заказъ Поликсены. Воясь
оглянуться назадъ, онъ съ шибко-бывшимся сердцемъ всма-
тривался въ низменный, плывшій ему навстрѣчу, съ домик-
ками, садами и пристаями берегъ Колтовской. Сойдя на
берегъ, онъ неловко сунулъ старику данную ему монету,
еще постоялъ, робко оправился и безъ оглядки пустился по
улицамъ и закоулкамъ пробуждавшейся Петербургской сто-
роны. Прохожіе указывали ему дорогу. Отъ церкви Спаса
онъ вышелъ къ Сытному рынку у крѣпости...

Странный, съ угловатыми движениями и длинноногій, какъ
заяцъ, шнѣсходъ, въ новомъ на раснашку голштискомъ,
примаранномъ землей и листьями кафтанѣ, обратилъ на себя
вниманіе раннихъ торговекъ. Навопросъ о дворцѣ, онъ
переглянулся межъ собой, пошептались и указали ему на
крѣпость. «Ишь, долговязый шнецъ, несуразно какъ гово-
рить! — сказала одна торговка ему вслѣдъ: — изъ дворцовыхъ,
видно, либо заморскій чей-нибудь слуга. У красотокъ, должно,
бѣлобрысыи шмчуря припоздаль. Ковыляи теперь патками»...

Солнце поднялось надъ ветхими, сѣрыми лавченками и
шалашами рынка, когда Іоаннъ Автоповичъ вошелъ на ши-
рокій зеленый пустырь, окружавшій баціоны кронверка.

Черезъ даламъ былъ мостъ, за мостомъ входъ въ крѣпость. Надпись «Іоанновскія ворота, 1740 г.» бросилась принцу въ глаза.

Онъ остановился, снять шляпу и долго, смѣшавшись, стоялъ, глядя на знаменательныя слова и что-то соображая. — «Вотъ! я царствовалъ... такъ, мое имя, слѣдъ»... — сказалъ себѣ Иванушка, отирая лицо и несмѣло входя въ крѣпость.

Въ то же время на берегъ Каменнаго острова, гдѣ лежалъ у начала молодой лодочникъ, выбѣжала изъ лѣсу, громко лая, бѣлая собака. За нею, въ сопровожденіи конюха, прискакалъ пожилой, въ синей гарнизонной формѣ, всадникъ. Не вопросъ, — не приходилъ ли здѣсь и куда направился такой-то, въ зеленомъ кафтанѣ, господинъ? — лодочникъ, по-кашлявая изъ-подъ шубы, указалъ на Колтовскую и прибавилъ: «Къ царю, сказывалъ, пошелъ... во дворецъ».

Всадники помчались къ понтонному мосту, бывшему выше, между Каменнымъ и Аптекарскимъ островами.

Іоаннъ Антоновичъ вошелъ въ крѣпость.

Слѣпая нищая старуха, низко кланяясь ему, отворила дверь въ соборъ. — «Войди, батюшка, войди, свѣтъ, помолись: никого нѣту-ти, одинъ дышечекъ! — сказала она: — всѣ царя земные и царицы-владычицы тутъ схоронены... спаси тебя Господь... И великій осударь Петра Ликсѣичъ вправо-то, батюшка, первый, и царица табѣ Анна Ивановна и Дивавета, свѣтъ матушка, аидельская»...

Жутко забилось сердце бѣглеца при этихъ именахъ. Чуть слышно войдя подъ темныя, подавляющіе своды храма, накуреннаго ладаномъ, онъ постоялъ надъ свѣжнмъ, еще не отбланнымъ склепомъ Елисаветы Петровны, думая: «Иродіада! вотъ тебѣ, у моихъ ногъ... сама ничтожество, прахъ!» — Бѣгло взглянувъ на пышную съ вензелемъ, гробницу Петра Великаго, принцъ опустился на колѣни передъ могилой тетки, Анны Іоанновны.

«Видишь ли, — замирая, шепталъ онъ: — видишь ли, ласковая, добрая къ намъ, назначеннаго тобой въ преемники? Вотъ я... Мучили меня, обижали... называли Григоріемъ... вотъ твой племянникъ, Иванушка... Двадцать лѣтъ, день и ночь, двадцать лѣтъ, съ колыбели въ тюрьмѣ... Но, если Богу угодно, если... не убьютъ, какъ царевича Димитрія... клянусь»...

Мысли узника смѣшались. Онъ упалъ крестомъ на хо-

поднявъ каменныя плиты и давая, божьимъ образомъ, тѣмъ молился. — «Никто, какъ я, никто, — говорилъ онъ тѣмъ же самымъ языкомъ: — свѣдать я страшною новонадѣ кровью выплакать... Гдѣ спасительница, гдѣ солнце, счастье?... Привель еси день, воскресенья, еси время... Не отрижь молитвы моей, оуѣ жина, свѣдѣ!»

Дьячокъ загремѣлъ плечами: — «Нора, сударь, благово-лите» — сказалъ онъ. Иванушка подумалъ: «Хоть бы въ этой церкви сторожемъ быть! — тихо такъ, иконы, свѣтло»... — (онъ вышелъ да наперть, спросилъ опять старуху и въ цѣвскія ворота спустился къ рѣкѣ, думая: «Умру, не сжоранать меня съ царями-предками»...

Широкая, синяя, вся празднично залитая солнцемъ, Нева, съ издающимися по ней многовесельными галерами и блонпарусными гальотами и бригами, открывалась передъ нимъ. На томъ берегу — рядъ высокихъ, въ зелени садовъ, обѣ балконами и фигурными карнизами, домовъ. А выше всѣхъ зданій, — съ ярко горѣвшими въ утреннихъ лучахъ ядами оконъ и со множествомъ статуй на крышѣ, — новый камен-ный, зимній дворецъ.

«Тамъ, туда... къ самому царю!» — думалъ блудецъ, спускаясь съ пристани въ яликъ.

— «Да тебѣ къ тальянцѣ, альхитектору, что тѣ въ новый дворецъ?» — спросилъ его бородатый, въ прясной рубашѣ, яличникъ.

«Къ нему, туда!» — повторилъ мысленно принцъ, указывая съ лодки за Неву.

У дворцовой пристани собралась куча зѣвакъ. Ихъ тамъ было двое верховыхъ, на взмыленныхъ коняхъ, прискакавшихъ изъ-за батарей адмиралтейства. Пока конюхъ, проваживалъ лошадей, его баринъ договоралъ извозничью коляску и не спускалъ глазъ съ ялика, плывшаго отъ крѣпости къ дворцу.

Съ берега ясно было виденъ этотъ яликъ и, среди него, въ свѣтло-зеленомъ, съ серебрянымъ питьемъ, мундирѣ и въ желтомъ камзолѣ, высокій молодой человекъ. Треугольникъ снятъ и ладонью прикрывалъ отъ солнца глаза. Длинные, незавитыя въ косу волосы разивались по плечамъ.

— Ваше высочество, — произнесъ, встрѣтивъ Юліана Антоновича, приставъ Жихаревъ: — куда жъ вы это ушли? ахъ-ахъ, можно ли? Государь васъ ждетъ изъ себѣ, вотъ и коляска

он увидѣлъ, что тутъ же заткнулъ на пристава. Это по-
сѣднее было такъ привѣтливо, ласково.

— Какъ не обидѣть? — сказалъ онъ.

— О чемъ же, полноте!

— А тутъ государь? охъ, кружится голова...

— Его величество на дачѣ, въ Рабковѣ, пожалуйста, сударь.

— Какъ, еще не прѣхалъ? Да ты вѣрно ли знаешь?

— Рабковѣ?

— Недалеко; духомъ доѣдемъ.

— Выглядѣть недовѣрчиво сѣлъ въ коляску. Было мнѣнiе,

что онъ готовъ былъ крикнуть, сопротивляться. Но возлѣ собра-

лось столько прохожихъ. Всѣ съ любопытствомъ глядѣли

на него; перемѣнялись. Онъ смѣялся; неловко под-

нялъ ногу на ступеньку коляски и сѣлъ, прошепталъ: «Да,

иду, иду скорѣе; не опоздать бы»...

— Коляска поехала.

— Кого это повезли? — спросилъ Гудовичова конюха ты-

лескій, плачущий господинъ, въ нарусинномъ балахонѣ и со

швейткою бумагъ, шедшій мимо двора съ прогулки изъ

Лѣтняго сада.

— А кто зналъ! наутѣкъ было, сущемуны, съ подѣ-

кравулу... да его изловили...

— Это изловили?

— Майоръ гвардіи, Вихаревъ.

Домоносовъ бросился на набережную. Но коляска уже

было нидно. Она скрылась за бастіонами адмиралтейства.

Вотъ выскочила на мостъ, сѣхала на Васильевскій островъ,

огibaетъ шляхетный кадетскій корпусъ и несется обратно

по Колтовской, на острова.

XVII.

Муза на рогахъ вола.

— Утромъ 26-го июня, по пути изъ Ораніенбаума въ Петербургъ,

сѣхала взморьемъ небольшая съ придворнымъ, въ желтой ли-

нѣ, лакеемъ и съ гербами, красная карета. Въ ней сѣла

невысокаго роста, съ подвижнымъ, оживленнымъ лицомъ, нѣ-

сколько заволнованная, лѣтъ девятнадцати, нервная особа. Съ

нѣжной, тонкой шеей и выпуклою красивою грудью, на кото-

рую падали локоны высоко-взбитыхъ, напудренныхъ волосъ,

она привлекала блескомъ большихъ и умныхъ глазъ, привѣт-

ливо и гордо смотрѣвшихъ изъ-подъ широкаго, бѣлаго лаба.

То была сестра графини Вороницовой, княгиня Екатерина Романовна Дашкова. Она въ то утро встрѣтилась у сестры съ государемъ, и ея мыслей не покидали слова, слышанныя отъ него.

Петръ Ѳедоровичъ былъ ея крестнымъ и, посадивъ ее рядомъ съ собою, вдругъ сказалъ ей съ обычною своею откровенностью:

— Ахъ, вы измѣнница! Знаю, знаю о васъ... милости съ пожалуйте!

— Что же вы знаете, государь? — вспыхнувъ, спросила Дашкова.

— Все знаю, все! О! не вскакивайте. Все ваши альянсы съ моими противниками мнѣ извѣстны. Вы живете больше въ городѣ, избѣгаете двора, нашихъ мирныхъ удовольствій, забавъ. А прѣкос, скажите-ка: чѣмъ васъ банда нѣкоторыхъ людей приколдовала? чѣмъ? Что на медвѣдя съ рогаминою ходить, да ночи на пролетъ играютъ въ карты и кутятъ? Только и слышно бакханалии, буянство, скачки съ львами на рысакахъ... Шалберники, взбѣшенные сорви-головы и атлеты! Ваши прочіе партизаны — разоренные дворянчики и мелкие офицеры, плохіе на службѣ и обитающіе во закоулкахъ. Чтѣ? видите?... Все знаю и на все пока смотрю сквозь пальцы... Это ли идеалы, которые вы съ моею женою у Даламбера, Дидро и у Руссо вычитали?

— Клевета, ваше величество! простиго, не могу слышать такихъ рѣчей, уйду! — закрывъ лицо руками, сказала Дашкова.

— Порохъ, о! порошокъ! ужъ и бѣжать? — произнесъ, опять ее усаживая, Петръ Ѳедоровичъ: — ваша преданность моей женѣ понятна и почтенна... Saperlot! Кого она не заколдуетъ! Но вы, Катерина Романовна, имѣете сестру, простое и доброе созданіе. Дорожите ею больше... Ее, по достоинству, ожидаетъ другой, завидный менажментъ... Узнаете о томъ досаждъ...

Государь помолчалъ.

— Mein holdes Kind! — продолжалъ онъ: — уважьте одинъ благонамѣренный мой совѣтъ... Je vous dirai tout franchement... Не повредило бы вамъ помнить, что друзья честныхъ простаковъ и даже колпаковъ, какъ ваша сестра... да и вашъ вседолженнѣйшій слуга... гораздо безопаснѣе, чѣмъ великихъ умниковъ, которые изъ апельсина выжмутъ сокъ, а корку бросятъ подъ столъ.

— Да въ чемъ же дѣло?—спросила Дашкова.

— О, все знаю, все, — повторилъ Петръ Федоровичъ: — ждѣхъ совѣтую, чтобъ послѣ не пришлось каяться...

«Что же онъ узналъ? и успѣю ли ее предупредить, — думала Дашкова, идучи паркомъ въ Петергофъ и нетерпѣливо высматривая блѣдное, покрывшееся пятнами лицо то изъ одного окна кареты, то изъ другого, — очевидно, ему снова донесли; но о чемъ и на кого? Скоро десять часовъ. Императрица навѣрное уже одѣлась, или кончаетъ туалетъ. Всѣ ли мои извѣщенія, записки доходятъ до нея? Наши враги не дремлютъ, частыя свиданія опасны. Но теперь, по пути, авось успѣю»... Красная съ гербами карета стала подниматься отъ взморья на хвостистый косогоръ. Повѣяло смолистой прохладой.

Дашкова вышла изъ экипажа, распустила желтый съ бахромой зонтикъ и пошла въ тѣни развѣсистыхъ, густыхъ сосенъ и липъ. Съ холма обозначались ближайшія дачи, службы и крыши стараго петергофскаго дворца.

«И все я; одна я! — думала Дашкова, прищуренными, близорукими глазами отыскивалъ въ зелени нижняго сада знакомую черепичную кровлю и окна стараго, петровскаго Монплезира, въ которомъ теперь жила Екатерина: — пугаютъ, что друзья черезъ шпру взволнованы, не выдержать и вызвать взрывъ. Пустяки, все спокойно... Панинъ стоитъ за легальный переходъ, за регентство и шведскую форму правленія. Я въ этомъ мало смыслю! Но время идетъ... Что съ Екатериной? Она какъ-бы устраняется. Роется въ своихъ книгахъ, робка, какъ дитя, идеальна, какъ пансіонерка, и практикъ жизни ни на волосъ не знаетъ... Пьемонтецъ Одаръ, ея секретарь, все суетится, впопыхахъ... Великія готовятся событія. И неужели мнѣ, слабой и скромной, суждено занять такую роль въ исторіи? Неужели мое имя? Не вѣрится, точно во снѣ»...

Дашкова остановилась, свернула зонтикъ, сѣла въ карету и поѣхала къ петергофскому дворцу.

«Нерѣшительная! — думала она объ Екатеринѣ, спускаясь паркомъ въ нижній садъ: — приглашена сегодня на обѣдъ въ Орантенбаумъ, завтра на праздникъ въ Гостилницы. А тамъ грозятъ, что-то замышляютъ рѣшительное... Но гдѣ же ея экипажъ? Но видно. Или я съ нею ужъ разминулась?»

Особый невысокій павильонъ Монплезира передними ком-

патами выходилъ ко взморью, внутренними примыкалъ къ березамъ и липамъ нижняго сада.

Въ передней павильона, на вылощенномъ годами паркѣ, дубовомъ паркѣ, сложа руки, сидѣли и цѣлъ плескъ окрестныхъ фонтановъ, дремать гардеробмейстеръ государыни, Василий Григорычъ Шкуринъ, черезъ комнату отъ него, въ цвѣточной, смежной съ кабинетомъ императрицы, у раскрытаго на взморье окна, въ цепцѣ и съ огромными, серебряными очками на носу, въ старинномъ кожаномъ креслѣ, вытала желтый шелковый чулокъ, любима камерфрау государыни, Екатерина Ивановна Шаргородская. Типична въ комнатахъ, во дворѣ и въ саду и на нее сильно действовала.

Шаргородская то и дѣло клевала носомъ, спускала пегий зѣвала, крестила ротъ и, опять зѣвая и вздыхая, принималась вязать. Она изрѣдка, сквозь дремоту, поглядывала въ окно, изъ котораго сквозь пахучую зелень деревъ виднѣлись мраморныя статуи на крыльцѣ, паруса дальнихъ судовъ и залитое солнцемъ, тихо плещущее море. Колыхнувшись цепцѣ еще разъ—другой, Шаргородская подумала:

«Да, не скоро еще... охъ, давно пробило девять... когда-то позвонятъ!»—особенно сладко и широко зѣвнула и углубилась въ креслѣ. Руки съ чулками упали на фарфуръ. Голова въ цепцѣ склонилась на плечо. Она заснула.

Небольшая веселая горенка, за цвѣточной, служила кабинетомъ и вмѣстѣ спальней императрицы. Высокія березы и липы за окномъ не мѣшали сюда врываться педрымъ утреннимъ лучамъ.

Все здѣсь было уютно, домовито и чисто. На окнахъ цвѣтущія розы, лакфіолы и геліотропы. За ширмой—подъ бѣлымъ одеяломъ—постель. У изголовья столикъ; на немъ, подъ зеленымъ экраномъ, двѣ восковыя, сильно обгорѣлыя свѣчи. У печки на стеганомъ шелковомъ тюфачкѣ двѣ крошечныя собачки, подарокъ какой-то английской леди. По этому боку ширмы нѣсколько кресель, шкапчикъ, софа, трюмо и письменный столъ. На креслахъ, на диванѣ и на софѣ накрахмаленные бѣлые, точно лишь сейчасъ вымытые и выглаженные чехлы. На выгибномъ, съ ящичками, столѣ чернильница; возлѣ куча книгъ и бумагъ. Между ними томы Буало, Монтескьё, Веля и Вольтера. Между софой и ширмой дверь въ уборную, бывшую подъ наблюдениемъ другой прислужницы государыни, помоложе, камеръ-юнгферы, Мавры

Савишны Перекусихинной. Все на мѣстѣ, шнѣтъ ни сору, ни пылинки.

У двори въ уборную — тауретка; на ней доханы, на полу бувины. Въ доханы что-то мостъ, съ засученными по локотъ руками, лѣтъ тридцати-двухъ-трехъ, средняго роста, полный, облокурый, красивая женщина.

Сырыи котъ Багадуръ, лѣниво раскинувшись на софѣ, пошершаваетъ пушистымъ хвостомъ и сладко шурится на солнечный лучъ, играющій по полу, по мебели и цвѣтамъ.

Во дворѣ прогремѣли колеса.

«Неужто ужъ подали? — подумалъ гардеробмейстеръ Шкуринъ, въ недоумѣнии взглянувъ на стѣнные, съ букушкой, часы. — Нѣтъ, видно, чужой», — сказалъ онъ себѣ, вставая.

Быстро вошла Дашкова.

Что государыня? — спросила она: — ѣдетъ? одѣлась?

Должно одѣлись... пожалуйста! — отвѣтила, отворяя дверь въ слѣдующую комнату, Шкуринъ.

Дашкова вошла въ столовую. Удивленно поднявъ брови на спящую Шаргородскую, она миновала ее, постучалась въ дверь кабинета.

— Негеин! — послышалось оттуда.

Дашкова ступила за дорогъ.

— Что это? — вскрикнула она, всплеснувъ руками.

Какъ что, Богъ мой? Мѣю свои маншеты и воротнички, — отвѣтила, обернувшись къ ней, императрица.

Екатерина была въ утреннемъ обломѣ, никакойномъ «корсетѣ» и въ кружевномъ простенькомъ чепцѣ поверхъ русыхъ, невысоко-убраанныхъ волосъ. Дѣтъ стоячихъ буколки были взбиты у маленькихъ, безъ серѣтъ, красивыхъ ушей. Голубые, улыбавшіеся глаза смотрѣли приветливо и весело. Румяное, полное, съ прямымъ носомъ и круглымъ, крупнымъ подбородкомъ, лицо дышало свѣжестью и здоровьемъ. Бархатныя, сильныя ботинки, на высокихъ каблучкахъ, обтигивали короткую и плотную, съ круглымъ подъемомъ, ступню. Голосъ Екатерины былъ грубоватый. Желая его смягчить, она говорила протяжно, съ замѣтнымъ нѣмецкимъ акцентомъ и нѣсколько нарастить.

— Такое занятіе, когда дорогъ каждый часъ, каждый мигъ? — произнесла Дашкова.

— Такъ у меня заведено; такъ, сударыня, извините, и дѣлаю! — отвѣтила флегматически Екатерина, внимательно

выжавъ и покрасившими проворными пальцами востановив вымытое, причесть отъ возни крупныя капли испарившаго собралась у нея надъ верхней губой.

«Вотъ она, подите! — подумала Дашкова, — собирается приставать, а занята мытьемъ веротличковъ»...

— Но для того, простите, есть другія руки, — сказала гостя.

— Те-те-те, пойте мнѣ! — отвѣтила Екатерина: — съ этою частью я люблю вѣдаться сама. Времени сколько у насъ свободнаго... Кстати вчера я дочитала *Annales ecclésiastiques* Баронюса, стихами перевела оду Вольтера къ вѣчности... А знаете ли, другъ мой, его *Pensées sur l'Administration*? Какая прелесть!.. *La liberté consiste à ne dépendre que des lois*... Вотъ умъ, вотъ мысли и штиль!

— Да развѣ книгами теперь заниматься? — воскликнула, пожавъ плечами, Дашкова: — мы на вулканѣ, слышите ли, на пороховой бочкѣ. Минь — и послѣдуетъ взрывъ!

Екатерина взглянула на нее.

— Мѣшочекъ нерѣшительный, Панинъ, мамлитъ, — продолжала Дашкова: — этотъ мужикъ-гетманъ твердитъ хохляцкія поговорки, — моя хата съ краю, да скажи — какъ тамъ? — гонь, когда перескочишь... А государь что-то ужалъ, намекаетъ, не на шутку грозить... Простите, вы медлите, медлите!..

На глазахъ Дашковой навернулись слезы.

Екатерина подумала: «слава Богу, ничего вѣрнаго не знаетъ!» — ласково взяла ее за руку и посадила рядомъ съ собой. Ей вспоминались слова мужа Панину, при гробѣ покойной Елисаветы: «ототкну тебѣ уши, какъ взойду на престолъ, заставлю себя лучше слушать»... Панинъ не могъ тануть, долго ждать.

— Вы отчасти правы, — сказала она: — мужъ действительно могъ провѣдать немало промаховъ съ нашей стороны. Сколько толковъ, пустыхъ разговоровъ точно орденъ ллудтъ за суету и болтовню...

— Вы не дарите насъ своими указаниями, — отвѣтила Дашкова: — ахъ, сколько упущено! въ декабрь, въ ту ночь, когда я вамъ открылась, я просила у васъ наставленій, полномочій. Вы отвѣтили, надо надѣяться на Провидѣніе.

— То же скажу вамъ и теперь.

— Но вѣдь дѣло не ждетъ! — съ чувствомъ искренняго отчаянія, сказала Дашкова: — не о себѣ говорю, — о васъ.

— Да, милая, — отвѣтила Екатерина: — незавидна судьба

своего бедного друга. Я, русская въ душѣ, искренно полюбила мою вторую родину, и—что бы ни случилось—безъ борьбы не уступлю этой любви... Какъ царь Иванъ, я не стану думать объ убѣжницѣ межъ англичанъ, останусь здѣсь...

— Но надо дѣйствовать, не говорить! — перебила Дашкова: — иначе, клянусь, будетъ поздно...

— Дѣйствовать, но осторожно, — произнесла Екатерина: — и особенно отъ васъ, мой другъ, я жду резонабельныхъ мыслей и мѣръ...

Дашкова взглянула на императрицу.

— Не понимаете? — спросила, улыбувшись, Екатерина: — вотъ что, не сердитесь только, къ добру вѣдь говорю... Пятнадцать записокъ, съ конными и съ пѣшими гонцами, отъ кого я получила въ эту недѣлю? И на всякую вашу пидушку изволь отвѣчать, — и я отвѣчала... Ну, это какъ, оударушка-голубушка, по-вашему, не суета?

Екатерина обняла Дашкову и крѣпко ее поцѣловала.

— Нѣтъ, воля ваша, нѣтъ! что хотите — не могу! — съ хлынувшими слезами, проговорила Дашкова: — ваша нерѣшительность, вашъ взглядъ на дѣло стубить всѣхъ насъ и прежде всего васъ самихъ.

Екатерина не возражала. Въ ея глазахъ также выступили слезы. Одна рука ея была на руцѣ гостыи, — другою она обнимала Дашкову. Нѣсколько минутъ объ любящихъ, связанныхъ недавней дружбой женщины молчали. Лица ихъ были увлажнены искренними слезами.

— Простите, *ma bonne et chère amie*, — сказала, цѣлуя Дашкову, Екатерина: — несчастье мой удѣлъ; вы меня жалѣете, но мы несогласны во взглядахъ. Вы ждете помощи отъ друзей, — я считаю, что она можетъ придти только съвыше.

— И вы готовы покориться судьбѣ, вынести насильное постриженіе въ монастырь, или — что того хуже — отдать себя голштинцамъ заточить, вмѣсто принца Іоанна, въ Шлиссельбургъ?

— Ну, до того, авось, врядъ ли еще дойдемъ! — отвѣтила, сверкнувъ голубыми глазами, Екатерина.

Дашкова встала. Послѣднія слова императрицы ее окончательно взорвали. Глаза ея помутились. Лицо покрылось пятнами. Побывавшія, сердныя губы некрасиво уснивались что-то сказать. Екатерина взглянула на гостью — и ей стало се вдвое жалъ, и въ то же время почему-то было весело.

Круглый подбородокъ ея дрогнулъ. «Трусиха! — подумала она, — вотъ трусиха; любить, а какъ жалка... Какое сравненіе съ тѣмнѣ—римляне, орлы!..»

— Ну, повѣдайте, что вы еще слышали?—спросила Екатерина:—мнѣ пора ужъ и на обѣдъ.

Дашкова передала о своемъ заѣздѣ въ Ораніенбаумъ и о разговорѣ съ императоромъ. Пробыло десять часовъ. Екатерина позвонила. Вошла Перекусихина, за нею Шаргородская. Онѣ внесли парадный траурный костюмъ императрицы. Къ подъѣзду, погромыхивая, подъѣхала тяжелая, шестерней карета.

— Что жъ, наконецъ, дѣлать?—спросила по-французски Дашкова, когда Екатерина съ нею вышла, въ черной флеровой шапочкѣ, на крыльцо.

— Терпѣніе, милая тѣзка, терпѣніе и осторожность, — отвѣтила вполголоса, крѣпко пожимая ея руку, Екатерина:— вы—Катя, и я—Катя: будемъ обѣ Кати умницами...

«Ну, сударыня, ужъ извините — подумала Дашкова, глубокоимъ, по всѣмъ правиламъ, реверансомъ раскланивалсь отъ крыльца съ уѣзжавшей императрицей, —придеть срокъ, — не поцеремонимся съ вами...»

«Муха на рогахъ вола! — отвѣчая на поклонъ княгини Дашковой, подумала Екатерина:—бѣгаетъ, суетится... и все, Богъ мой, чтобы только сказать, и мы-де орали, мы-де пахали пашеньку... Думаетъ, что ее приняли въ согласіе, что ей открыть заговоръ... она не въ заговорѣ, а только въ разговорѣ... Нѣтъ, — прибавила себѣ Екатерина, — я неправа, я — *esprit gauche*! неносная страсть къ сатиричанью!.. Княгиня преданная, пылкая и женерозная особа, и много у нея, съ ея мужемъ, друзей... Преданность, пылкости! Не въ нихъ однихъ сила, — нужно притомъ и нѣчто другое...»

Мысли Екатерины унеслись далеко, — къ тѣмъ днямъ, когда она, приглашенная императрицей Елисаветой, впервые въѣхала, черезъ Ригу и Псковъ, въ Россію и приглядывалась къ ея пустыннымъ равнинамъ, одинокимъ селеньямъ и нескончаемымъ дремучимъ лѣсамъ, и когда ей грезилось, что она иѣкогда будетъ царствовать въ этой бѣдной, обширной странѣ.

Карета императрицы на полныхъ рысяхъ миновала по слѣднюю просѣку петергофскаго парка. Стали видны узморья высокое крыльцо и окна ораніенбаумскаго дворца.

Желтые, сипіе и бѣлые голштинскіе мундиры мелькали

уже, здесь и там, за сквозною чугунною оградой. Скакали въ стовые. Отъѣжали экипажи спѣшившихъ изъ столицы гостей.

XVIII

Арестъ Пассека.

Обѣдъ въ Ораніенбаумѣ отличался особенною пышностью.

Столъ, на пятьдесятъ кувертовъ, былъ сервированъ въ японской валь. Служили въ желтыхъ курткахъ и красныхъ тюрбанахъ арабы и съ страусовыми перьями на шапочкахъ скороходы. Императрица сидѣла рядомъ съ Минихомъ. Государь во время обѣда былъ сильно не въ духѣ. Изрѣдка перешептываясь съ Александромъ Шуваловымъ и съ Гудовичемъ, онъ изрѣдка вопросительно поглядывалъ на императрицу. Къ вечеру на маскарадѣ, въ оперномъ театрѣ, онъ, видимо, повеселѣлъ. На слова Воронцовой: «взгляните, государь, наца супруга безъ екатерининской звѣзды: не оттого ли, что я по вашей милости, въ атомъ орденѣ?» — онъ отвѣтилъ: «ба! пустяки, Романовна! я спрашивалъ... она нечаянно сломала звѣзду и отдала въ починку Позье...».

На другой день, 27-го іюня, въ четвертъ, Петръ и Екатерина встрѣтились вновь на великодушномъ праздникѣ, данномъ въ честь высокой четы графомъ Алексѣемъ Григорьевичемъ Разумовскимъ и его братомъ-гетманомъ, въ Гостилицахъ.

Здѣсь были первыя красавицы изъ обычной дворской свиты императора. Всѣ были веселы, катались съ музыкой по озеру. Тосты сопровождались пушечной пальбой. Оба Разумовскіе, особенно любимецъ государя — гетманъ, наперерывъ старались угодить императору. — «Лобзаніе Іуды» — думали нѣкоторые изъ знающихъ тайны, глядя на нихъ.

— Завтра, надѣюсь, у васъ обѣдать и обо всемъ, безъ вредныхъ иллюзій, поговорить, — сказалъ государь императрицѣ, уѣжая вечеромъ въ Ораніенбаумъ: — а мои именины, послѣзавтра, проведемъ, не правда ли, у меня?

Императрица, молча, вдернула за собой по ступенькамъ экипажа траурный шлейфъ. Дверцы захлопнулись. Карета помчалась въ Петергофъ. Болѣе въ жизни Петръ съ Екатериной не видѣлись...

«Боже мой, Боже! — думала Екатерина, подавляя слезы и прислушиваясь къ топоту лошадей, — что меня ждетъ? Развязка близка. Никто и не подозреваетъ, что Панинъ и

гетманъ готовы... Терпѣть или предупредить ударъ? Свобода—и заточеніе, корона—и монастырь?.. Не сдамся, какъ правительница Анна... Лучшіе умы призову къ трону, буду править кротостью, голосъ всякой правды слушать. Обновлю, воскрешу эту забытую, бѣдную и вмѣстѣ богатую, мнѣ одной понятную страну. Стану матерью отечества... Умру или буду царствовать...»

Возвратясь въ Петергофъ, Екатерина отпустила прислугу, заперла двери и открыла окно. Море тихо плескалось у Монплезира.

«Дашкова! другъ мой! — думала императрица, — нѣтъ тебя возлѣ меня въ эти минуты, а ты мнѣ теперь такъ нужна... Чтѣ если ты права, если мы опоздали и нѣтъ уже возврата?»

Екатерина порылась въ ящикахъ, отложила и сожгла нѣсколько бумагъ, засучила до локтей рукава блузы и стала въ волненіи ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Малѣйшій звукъ у взморья и въ саду бросалъ ее въ холодъ и жаръ.

Петръ Ѳедоровичъ позже выѣхалъ изъ Гостилицъ. Онъ также былъ неспокоенъ и возбужденъ.

«Постой, матушка-голубушка! — думалъ онъ, приглядываясь къ стемнѣвшимъ полямъ, — не долго ждать... Послѣ-завтра, въ субботу, мой праздникъ. День Петра и Павла надолго останется памятенъ. Все готово,—и Лизавета Романовна согласна, и принцъ Іоаннъ подъ рукой... Гетманъ общается полнѣйшій услѣхъ. Покажу принца народу, провозглашу наслѣдникомъ и обвѣнчаюсь... Жену и сына запру въ Шлиссельбургъ, устрою временное регентство—изъ князя Никиты Трубецкого, Гудовича и дяди—принца Жоржа... и съ арміею въ походы! Все готово... Они и не ожидаютъ».

«Какая тишина, какая! — сказалъ себѣ Петръ Ѳедоровичъ, подбѣзжая къ ораніенбаумскому дворцу. — миръ и не подозрѣваетъ, чтѣ ему готовится... Воздухъ и не шелохнетъ, кругомъ ни звука... О! сколько величія и сколько силы въ душѣ зоркаго, осторожнаго и рѣшительнаго человѣка. Панина пошлю въ Швецію — раздавить тамошнія своеволія, гетманомъ сдѣлаю Гудовича... Но главное, главное... Свѣтъ загремитъ отъ неожиданной вѣсти, и новая великая страница прибавится къ исторіи Третьяго Петра».

За полчаса до возврата государя съ предательскаго пира, любимый его арапъ, Нарцисъ, пришелъ къ нему въ рабочий кабинетъ и положилъ на письменномъ столѣ письмо, при-

сланное съ тайнымъ гонцомъ отъ бывшаго государева парикмахера Брессана. На письмѣ была по-французски надпись: «весьма секретное и нужное». То былъ доносъ о заговорѣ.

Петръ Ѳедоровичъ, отыскивая сигары, увидѣлъ возлѣ нихъ пакетъ, — хотѣлъ его вскрыть, но чувствуя усталость, разсѣянно повертѣлъ его въ рукахъ, бросилъ на этажерку въ кучу другихъ, заготовленныхъ на утро бумагъ, прошелъ въ спальню, сталъ раздѣваться и задумался. — «Концертъ природы — концертъ душевныхъ страстей» — сказалъ онъ себѣ слова Стерна изъ книги, читанной наканунѣ. Его манило изъ комнаты на воздухъ.

Императоръ снялъ со стѣны любимую скрипку, подарокъ виртуоза Тастѣни, вышелъ съ нею на балконъ — и долго, въ тишинѣ, покрывшей взморье, дворецъ и садъ, раздавались звуки нѣжныхъ каватинъ и пасторалей. Петръ Ѳедоровичъ игралъ, размышляя: «Все идетъ отлично... И какая полная, поэтическая тишина!.. Да! свѣтъ изумится новой страницѣ въ исторіи Третьяго Петра».

Было за полночь, когда онъ возвратился въ спальню. — «Волковъ изучаетъ французскую хартію, совѣтуетъ ввести въ Россіи сословія... Всякъ станетъ воленъ... Всякъ будетъ счастливъ, всякъ станетъ жить подъ своей смоковницей!» — Съ этими мыслями онъ обернулся къ стѣнѣ, услышавъ жужжаніе комара, сталъ слѣдить за его пѣсней и полетомъ и заснулъ.

Ожиданія императора не сбылись. Не черезъ день и не въ субботу, а того же двадцать-седьмого іюня, въ четвергъ, въ Петербургѣ произошелъ важный, хотя, повидимому, ничтожный случай.

Преображенскій гренадеръ, слышавъ толки, что государыня въ опасности отъ голштинцевъ, зашелъ къ своему капитану, Петру Богдановичу Пассеку, узнать, правду ли говорятъ въ народѣ. Пассекъ отвѣтилъ, чтобъ не врани, и что государыня въ безопасности. Гренадеръ рѣшилъ глядѣть въ оба; ночью не сомкнулъ глазъ, ломалъ голову, а потомъ зашелъ къ преображенскому майору Петру Петровичу Воейкову.

— Ваше высокоблагородіе, — сказалъ онъ: — явите божескую милость. Какъ бы послѣ за нихъ не отвѣчать.

— За кого?

— За голштинцевъ.

— А что?

— Да все ли, то-есть, въ благополучіи насчетъ матушки-царицы?

Воейковъ насторожилъ уши.

— Пустяки, — отвѣтилъ онъ.

— Спрашивалъ я по-тайности ихъ благородіе, Петра Богданыха, — сказалъ гренадеръ.

— Ну, и что же онъ? — спросилъ Воейковъ.

— Передай, говоритъ, солдатству, чтобъ до времени попусту не чесали языковъ. Нужно будетъ — объявлять черезъ капральство.

Воейкова, какъ варомъ, обдали эти слова. Онъ понялъ, что дѣло неладно, задержалъ гренадера и арестовалъ Пассека.

«Вотъ и ручался въ осторожности» — подумалъ Ломоносовъ, узнавъ о томъ и вспоминая встрѣчу съ Пассекомъ у Фонвизина.

Пособники Екатерины потерялись. Въ грозной тишинѣ передъ ними какъ бы взлетѣла первая, вѣстовая ракета...

Панинъ узналъ объ этомъ отъ Орлова, играя вечеромъ у Дашковой въ карты. Дашкова посовѣтовала Орлову немедленно скакать въ Петергофъ и обо всемъ увѣдомить Екатерину, еще до разсвѣта. Панинъ послалъ наставленія гетману Разумовскому, командиру измайловскаго полка. Дашкова надѣла мужской плащъ и, не довѣряя Орлову, пошла узнать подробности къ Рославлеву. Всѣ были въ ожиданіи чего-то необычайнаго, рокового.

Мирѡвичъ вторую недѣлю игралъ въ карты у Перфильева. Игра шла въ домѣ генерала Возжинскаго, бывшаго лейбъ-кучера Елисаветы Петровны, на Невскомъ, у Гостинаго двора. Мирѡвичу везло, но онъ выбился изъ силъ, сталъ раздражителенъ, придиричивъ и грубъ.

Вечеромъ двадцать-седьмого іюня, когда партнеры Перфильева сидѣли за карточнымъ столомъ, къ нимъ, послѣ нѣ котораго отсутствія, вновь явился Григорій Орловъ. Онъ высыпалъ на столъ груды золота. Игра пошла съ новой силой. Разносили вина, прохладительныя.

Быль второй часъ ночи. Мирѡвича вызвали на крыльцо. Какой-то мужикъ подаль ему записку. То было письмо Пчѣлкиной. На дворѣ разсвѣтало. Мирѡвичъ вскрылъ и прочелъ слѣдующія строки.

«Что вы дѣлаете? — писала Пчѣлкина: — вы забыли всѣхъ

и все. Узнавъ, гдѣ вы скрываетесь столько дней, спѣшу сообщить то, что сейчасъ узнала отъ захвачаго къ намъ въ поискахъ за вами Ушакова. Городъ въ опасности. Каждое мгновеніе ждутъ взрыва. Вы просили услуги мнѣ. Вотъ она. Арестованъ Пассекъ; враги государя боятся его показаній и готовы дѣйствовать. Поѣзжайте къ Ушакову. Онъ все вамъ объяснитъ».

«Подлый я, гнусный!» — съ бѣшенствомъ сказалъ себѣ Мирovichъ. Онъ бросился въ переднюю, схватилъ шляпу и шпагу, кликнулъ извозчика и поѣхалъ къ Смольному, гдѣ въ переулкѣ жилъ Ушаковъ. — «Вотъ она, рѣшимость, долгъ совѣсти! — разсуждалъ онъ, — все забылъ, все. У меня были средства предупредить государя, его спасти, и я тѣмъ пренебрегъ. Христосъ великій и единый, слава нашего ордена, и я тебѣ измѣнилъ! Многое думалось и все низвергнуто. Опять я погибшая натура, подлая и дикая тварь. А сравняться думалось, по слову братьевъ масоновъ, съ Моисеемъ, съ Гирамомъ-Апифомъ... Измѣнникъ, картежникъ, мотъ!..»

Скрипя зубами, Мирovichъ сжималъ кулаки, тихо и злобно смѣялся надъ собой. — «Кто есть свободный каменщикъ? — спрашивалъ онъ себя съ дрожью негодованія, — человекъ, умѣющий сдерживать свои порывы, покорять волю свою разуму. Въ храмъ истины входятъ только премудрые; гордость и безчиніе изгоняются оттуда. А я не исполнилъ долга въ такое время, сидѣлъ за карточнымъ столомъ, слушалъ ревѣніе пирныхъ пѣсень, служилъ съ такими вертопрахами Вакху... Къ кому заповѣдано милосердіе? — къ бѣдствующему... Состраданіе? — къ виновному... Прости-жъ меня, Господи, прости слабому ученику, символъ котораго — неотесанный, грубый камень. Дай мнѣ искупить мою провинность... заслужить... Попущеніе паденія — въ планѣ горней твоей любви»...

На квартирѣ Ушакова Мирovichу сказали, что Аполлонъ Ильичъ съ вечера нанялъ ямскихъ и уѣхалъ за городъ.

«Новое горе, — подумалъ Мирovichъ, — отъ кого жъ теперь узнать?»

Онъ поѣхалъ обратно, и на Литейной вспомнилъ о Бресанѣ. Домъ камергера-парикмахера былъ ему по-пути, на Фонтанкѣ, у Симеоновскаго моста. — «Развѣ попытаться къ нему? — подумалъ Мирovichъ, — онъ другъ государя, знаетъ меня по корпусу».

Окно въ верхнемъ этажѣ дома Брессана было освѣщено, дверь на улицу—отворена. Отпустивъ извозчика, Мирovichъ взомель по узкой деревянной лѣстницѣ.

Взволнованный и до крайности растерянный французъ сперва не призналъ гостя, потомъ принялъ его со слезами и съ распростертыми объятіями.

— Mon Dieu, quelle misère! какое горе!—вопилъ разбитымъ голосомъ, колотя себя въ грудь, нечесанный, въ халатѣ и туфляхъ на босу ногу, старикъ: — бѣдный, жалкій государь! Oh il est perdu! Я писалъ, я послалъ, но видно онъ мой раппоръ не читалъ... полдня—и оттуда ни слуха...

Брессанъ въ подробности рассказалъ Мирovichу о случаѣ съ Пассекомъ, о сходкахъ и приготовленіяхъ сторонниковъ Екатерины, Панина, гетмана, измайловскихъ и преображенскихъ офицеровъ.

— Повозку и лошадей!—вскрикнулъ, выпрямляясь, Мирovichъ.

Лицо его вдругъ засіяло, точно онъ открылъ нѣчто необычайно-великое, мировую тайну.

— Ссудите вашихъ лошадей, — повторилъ онъ: — не все еще потеряно. Я мигомъ долечу и, хоть голова съ плечъ, все передамъ, предупрежу государя.

— Нѣтъ лошадей, всѣхъ разослалъ, — жалобно отвѣтилъ Брессанъ: — къ comte Шоваловъ, къ пренсъ Трубецкой, остался одна расхожій водовозъ.

— Давай водовоза, — да ну же—чортъ возьми! vite, vite!..

Но и расхожая лошадь оказалась въ отсутствіи, на рынкѣ. Въ исходѣ четвертаго часа Мирovichу подали, наконецъ, коня. Онъ набросалъ какую-то бумагу, спряталъ ее на грудь, пожалъ руку Брессану, вскочилъ въ сѣдло и понесся вдоль Фонтанки.

«Не знаю, какъ и что — мыслилъ онъ, — но вѣрю, что сдѣлаю всѣмъ наперекоръ, всѣмъ...» — У Калинкина моста, гдѣ жила Филатовна, Мирovichъ придержалъ поводья, миновалъ заставу шагомъ. Полная тишина царилла окрестъ. Предмѣстье, пробуждаясь, еще молчало. Ни конныхъ, ни пѣшихъ. Слѣва въ Измайловскомъ полку, прогремѣла чья-то запоздавшая карета; но и та вскорѣ затихла. Отъ ближнихъ садовъ и огородовъ тянуло запахомъ росистой листвы. Гдѣ-то надъ крышей поднялся ранній дымокъ. Мирovichъ миновалъ предмѣстье и во всю прыть помчался по пути въ

Ораніенбаумъ, думая про себя: — «Гетманъ измѣнникъ, не диво еще,—сластолюбецъ; но Панинъ... видно, чѣмъ больше идеализма, тѣмъ загребистѣе лапа...»

Но въ то же утро и ранѣе отъѣзда Мирѡвича, благодаря Дашковой, случилось непредвидѣнное событіе, которому добродушный лѣтописецъ того времени далъ скромное и мѣткое названіе: «Предпріятіе господина Орлова».

Въ Петергофѣ, далеко до разсвѣта, скакать на лихой, собственной тройкѣ, Алексѣй Орловъ.

XIX.

„Предпріятіе господина Орлова“.

Быль въ началѣ пятый часъ утра двадцать-восьмого іюня. Полная тишина покрывала петергофскій садъ, дворецъ и паркъ. Солнце поднялось, хотя туманъ отъ взморья еще стлался по садовымъ низамъ, кое-гдѣ точно облакомъ дыма захватывая террасы и дороги верхняго сада.

Къ опушкѣ парка подъѣхала взмыленная тройка. Съ тележки всталъ присланный Дашковой большого роста, въ преображенскомъ кафтанѣ, офицеръ. Отпустивъ ямщика, онъ прошелъ къ лѣсной караулкѣ и послалъ сторожа на близкую мызу. Отъ послѣдней вскорѣ подъѣхала двухмѣстная коляска, четверней.

Оставивъ коляску у ограды парка, офицеръ спустился къ Монплезиру, поглядѣлъ на окрестныя аллеи, на окна и крыльца еще погруженнаго въ дремоту стараго павильона, подошелъ къ его галлерей и склонился къ окну. Изъ-подъ опущенной занавѣски нельзя было разглядѣть внутренности комнатъ. То было помѣщеніе камеръ-фрау государыни, Шаргородской. Офицеръ постучалъ въ окно, но, видя, что его не слышатъ, вошелъ съ черной лѣстницы въ сѣни и въ небольшой полуосвѣщенный коридоръ. Дверь направо вела въ помѣщеніе гардеробейстера Шкурина; направо—въ комнаты Шаргородской, смежныя съ собственными покоями императрицы. Въ павильонѣ, очевидно, всѣ еще спали.

Офицеръ вошелъ въ комнату на-лѣво.

Собачка Шаргородской залаяла и разбудила свою хозяйку.—«Что вы, Алексѣй Григорьичъ?»—спросила, испуганно выглянувъ изъ спальни, Катерина Ивановна. Офицеръ объяснилъ причину нежданнаго своего посѣщенія. Шаргородская стремглавъ бросилась къ опочивальнѣ императрицы.

— Въ чемъ дѣло?—спросила гостя изъ-за двери Екатерина.

— Не медлите, ваше величество, ни минуты!—отвѣтилъ Орловъ:—надо рѣшиться, ѣхать.

— Но ради Бога, что произошло?

— Пассекъ арестованъ, — сказалъ по-французски Орловъ:—вамъ грозитъ Шлиссельбургская крѣпость или, какъ первой женѣ Великаго Петра,—монастырь...

Екатерина болѣе не разспрашивала.—«Одѣваться!»—сказала она Шаргородской, и черезъ нѣсколько минутъ вышла въ простомъ темномъ платьѣ, въ лентѣ и звѣздѣ—подъ мантилей. Легкая дрожь пробѣгала по ея членамъ; лицо было блѣдно, но совершенно спокойно. Глаза смотрѣли бодро и свѣтло.

— Готова! — произнесла она Орлову: — но подѣ кажимъ видомъ мы пройдемъ мимо сторожей и часовыхъ?

Силачъ и гуляка, незнавшій колебаній и ходившій въ одиночку съ рогатиной на медвѣдей, Орловъ затруднился отвѣтомъ. Смѣлость начинала его покидать.

— Подѣ видомъ вашей жены, — рѣшила императрица, взявъ зонтикъ и вуаль и подавая руку Орлову.

Они вышли изъ павильона.

— Если бѣ я была солдатомъ, — произнесла Екатерина, минуя первую аллею: — я никогда не дослужилась бы до генерала.

— Почему?—спросилъ Орловъ.

— Меня бы убили еще капраломъ...

Нижній садъ, благополучно прошли. По берегу стлался туманъ. Море тихо плескалось о пристань: оттуда неслась пѣсня: «Охъ, ты, волюшка, свѣтъ печаль!» Начался верхній садъ, смежный съ паркомъ. За рѣшеткой, на улицѣ, слышалось уже движеніе. Шли бабы на рынокъ, садовники съ тачками. Отставной елисаветинскій солдатъ-сторожъ, у воротъ парка, вытянулся и отдалъ честь офицеру.

Екатерина спокойно сѣла въ коляску, припасенную наканунѣ, по распоряженію гардеробмейстера Шкурина. Орловъ сѣлъ къ кучеру на козлы. Другой, будто случайно наспѣвшій офицеръ, капитанъ корпуса инженеровъ, Василій Ильичъ Бибииковъ, бесѣдуя съ ними, поѣхалъ сбоку коляски, лошуривая трубочку. Все имѣло видъ утренней прогулки. Лошади бѣжали легкою рысью. Обогнувъ опушку парка, путники остановились. Орловъ предложилъ Бибиикову занять

мѣсто съ Екатериной, кучеру велѣлъ взять его коня, самъ взялъ вожжи и погналъ четверню вскачь.

— Знаменательный день,—сказала Екатерина Бибикову, глядя на выходившее имъ навстрѣчу солнце: — ровно восемнадцать лѣтъ назадъ, также двадцать восьмого іюня, я торжественно приняла въ Москвѣ православіе... Еще помню, покойная государыня-тѣтка и всѣ были удивлены, что я, недавняя гостыя этой страны, такъ отчетливо прочла вслухъ символъ вѣры...

Рощи и долины, тамъ и здѣсь разбросанные домики и мосты мелькали по сторонамъ. Густая пыль столбомъ взвивалась отъ колесъ.

Встрѣчные путники,—солдаты, чухны на двухколесныхъ таратайкахъ, косцы,—сторонились, оглядываясь и недоумѣвая, что за особу мчалъ въ коляскѣ лихой и ражій преображенскій сержантъ.

Вотъ Стрѣльна. Близятся сады Сергіевой пустыни. За ними лѣсъ, яровое поле и избышки села Лигова. Новые луга и лѣсъ, деревушки, Горѣлый и Красный кабачки.

У спуска на мостъ, не доѣзжая Краснаго кабачка, изъ рощи навстрѣчу коляскѣ, выскочилъ на рыжемъ, толстоногомъ конѣ всадникъ. То былъ Мирдовичъ. Онъ еще издали примѣтилъ и мчавшійся стремглавъ съ лѣсистой пригорки четверикъ, и фигуру рослаго гвардейца, гнавшего вскачь лошадей.

«Кто-бъ это былъ?» — разсуждалъ Мирдовичъ, слѣдя за облакомъ густой пыли, летѣвшей ему навстрѣчу.

Коляска съ опущеннымъ верхомъ, мелькающія копыта и морды лошадей, грохотъ колесъ по бревнамъ моста и раскраснѣвшееся, запыленное лицо мундирнаго возницы, со шрамомъ на щекѣ, все это быстро мелькнуло и пронеслось мимо Мирдовича.

«Орловъ! ужели онъ?» — спросилъ себя, оглядываясь, Мирдовичъ: — нѣтъ, я того оставилъ съ прочей компаніей у Церфильева! — Въ это мгновенье ему бросилось въ глаза еще одно обстоятельство: съ задней оси коляски, очевидно, была обронена гайка. Колесо чуть держалось въ бѣгу.

— Эй, эй! — крикнулъ Мирдовичъ возницѣ.

Коляска мчалась по тотъ бокъ моста.

— Эй, колесо! колесо! — громче крикнулъ и замахалъ шляпой Мирдовичъ.

Дама подъ вуалью выглянула изъ экипажа: возничій началъ сдерживать. Коляска скрылась у Лигова, въ овражи-стомъ, лѣсномъ круглячкѣ.

Мирѡвичъ подождать. Четверня не выѣзжала изъ лѣса.— «Такъ и есть, услышали, замѣтили колеса! — сказалъ себѣ Мирѡвичъ,—любовишка, видно, похищеніе дамы сердца... и кому это я услужилъ?»—Онъ прищипорилъ коня и, взобравшись на пригорокъ, опять оглянулся.

Коляску бросили въ лѣсу. Кромѣ колеса, помѣшалъ дыш-ловый загнаннй конь — онъ упалъ бездыханный. Путники шли по дорогѣ пѣшкомъ. А отъ недалеяго и ужъ виднаго въ утренней мглѣ предмѣстья, навстрѣчу имъ, шестерней мчалась городская карета. Вотъ она ихъ достигла; они сѣли, и еще быстрѣе понеслись въ Петербургъ.

«Что бы я далъ, что бы я далъ за то, чтобъ путники примѣтили, кто именно оказалъ имъ эту услугу! — думалъ въпослѣдствіи Мирѡвичъ не разъ, подъ тяжкими ударами жизни, до мелочей вспоминая всѣ роковыя, всѣ горестныя событія того дня: — и нужно же мнѣ было подать голосъ, остановить! Не обрати я ихъ вниманія, бѣшеныхъ коней не удержали бы, и отъ кого нынѣ зависѣла бы моя судьба, участь миллионовъ—неизвѣстно»...

Встрѣченная карета принадлежала князю Ѳедору Сергѣевичу Барятинскому, тому самому, который въ маѣ отъ Петра Ѳедо-ровича получилъ-было приказъ арестовать императрицу. Съ нимъ, навстрѣчу Екатеринѣ, примчался и Григорій Орловъ.

— Наше море не волнуется, входитъ только въ свои берега,—сказалъ послѣдній.

— Пить хочется, страхъ душно!—отвѣтила Екатерина:— больше версты спѣшили вамъ навстрѣчу пѣшкомъ.

Братья Орловы стали на запятки. Барятинскій и Бибииковъ были приглашены государыней въ карету. Лошади понеслись, и вскорѣ карета уже гремѣла въ улицахъ предмѣстья.

У Калинкина моста дорогу переходила высокая, въ муж-скомъ камзолѣ, сѣдая старуха, съ полными ведрами.

— Минуту, ради Бога, пить!—сказала Екатерина.

Экипажъ остановился. Старуху подозвали къ дверцамъ. Екатерина, стоя на подножкѣ, ухватила обѣими руками влажное, полное ведро и медленно, жадно напилась. — «Мигъ—и калейдоскопъ обернется!—думала, видя себя въ

водѣ, какъ въ зеркалѣ, Екатерина, — мигъ, и исчезнуть грезы, ожиданія тяжелыхъ восемнадцати лѣтъ»...

— Въ долгій вѣкъ тебѣ, въ добрый часъ! — приговаривала старуха, кланяясь и разглядывая необычную путницу: — Никола въ помощь, Христосъ по дорожкѣ!

— Спасибо, милая, — сказала Екатерина, оторвавшись отъ ведра и отрадно вздохнувъ: — какъ тебя звать?

— Лейбкампанша, Настасья Бавыкина; здравствуй и много лѣтъ живи, матушка-государыня, во святой часъ, въ архангельскій.

— Гдѣ живешь?

— У грекѣни Бунди.

«Лейбкампанша, служи тетки, — подумала Екатерина, — не забуду... это вѣдь первая»...

Бичъ шелкнулъ. Карета миновала ближнія роты Измайловскаго полка и остановилась на зеленомъ пустырьѣ, у полковой сѣзжей. Здѣсь еще было тихо.

Подъ сигнальнымъ колоколомъ, у моста черезъ ровъ, ограждавпій полковой дворъ, съ ружьемъ на плечѣ, стоялъ часовой. Екатерина вышла изъ кареты. Часовой сразу ее узналъ. Не спуская съ нея загорѣвшихъ изумленіемъ, страхомъ и радостью глазъ, онъ вытянулся у входа на мостъ и молча взялъ на караулъ.

«Пропустить ли? — подумала Екатерина, — что, какъ заступитъ дорогу, подастъ неурочный сигналъ къ тревогѣ?» — Лицо ея покрыла краска.

Не спѣша и не глядя на караульнаго, она мѣрнымъ, спокойнымъ шагомъ твердо направилась отъ кареты къ мосту.

Часовой не шелохнулся. Только грудь его высоко поднималась, да молодое, замиравшее сердце билось шибко и горячо.

«Вотъ спустить на перилы мушкетъ, ударить въ колоколъ!» — мыслила Екатерина, въ холодѣ и трепетѣ неизвѣстности, смѣло и бодро ступая по сѣрымъ, стоптаннымъ горбылинамъ мостовинъ.

«Проходи, умница, радость! — думалъ тѣмъ временемъ, смотря на государыню, часовой: — угадываю... Вонъ они, орлёнки, сподвижники твои, смѣльчаки... Иди... Не на утѣшенія, не на гибель и безцѣльную трату нашихъ силъ... на славу, честь и свободу патріотовъ шествуешь царствовать»...

Екатерина безпрепятственно прошла за канаву, спутники слѣдовали за ней.

— Имя твое?—на мигъ замедлясь и взглянувъ на блѣдное, умное лицо рядового, спросила Екатерина.

— Обождатель и вѣрный рабъ вашего величества, Николай Новиковъ! — отвѣтилъ, брякнувъ ружьемъ, въ честь давно-жданной гостыи, часовой.

Старшій Орловъ вошелъ въ сборную. Оттуда выскочилъ полурасдѣтый солдатъ, за нимъ еще нѣсколько рядовыхъ. Глухо и несмѣло загремѣлъ барабанъ. Бодрѣ вторя ему и будя утреннюю тишину, въ смежныхъ ротныхъ дворахъ зарокотали другіе барабаны. Екатерина стала у окраины свѣзжей площадки. Справа и слѣва сбѣгались старые и молодые солдаты. Привели подъ руки блѣднаго растерявшагося священника, съ крестомъ. Вынесли изъ полковой церкви и поставили среди двора аналой.

— «Присягать! присягать!» — «Ура, услышала насъ матушка-царица!» — кричали гренадеры. Взводъ за взводомъ и рота за ротой, сбрасывая по пути узкіе, новаго образца, и надѣвая старые, отнятые въ цейхгаузъ, лизаветинскіе кафтаны, сбѣгались въ гудѣвшій и переполненный радостною толпою дворъ. Началось цѣлованіе креста.

Когда настѣла послѣдняя рота, офицеры Вырубовъ, Рославлевъ, Всеволожскій, Ласунскій и Похвисневъ замахали шляпами. Крики смолкли. Екатерину окружили.

— Я къ вамъ явилась за помощью! — раздался въ тишинѣ ласковый и звучный, какъ бы мужской, далеко слышимый голосъ: — опасность вынудила меня искать среди васъ спасенія...

Новиковъ, отгѣсненный навалившейся толпой, поднялся на пыпочки. Невысокая, полная, съ румянцемъ тревоги, Екатерина стояла въ десяти шагахъ отъ него. Руки ея были протянуты; на лбу и надъ верхней губой выступили крупныя капли пота; затуманенные глаза робко искали вокругъ опоры.

— Совѣтники государя, моего мужа, — продолжала она: — рѣшили безъ промедленія заточить меня и моего единственнаго сына въ Шлиссельбургскую крѣпость...

— Смерть голштинцамъ! смерти! — загудѣла толпа.

— Отъ враговъ было одно спасеніе — бѣгство, — сказала, утирая слезы, Екатерина: — бѣжать могла я не иначе, какъ съ вами... На васъ надѣюсь, вамъ вѣрю. Окажете ли помощь сыну и мнѣ?

— Всѣхъ веда! жизнь положимъ, — не выдадимъ! смерть супостатамъ!..

— Никого не трогайте, — произнесла Екатерина: — слушайте начальниковъ, Богъ за насъ.

Солдаты и офицеры бросались передъ Екатериной на колѣни, цѣловали ей руки, платье. Вынесли полковое знамя.

— «Къ семеновцамъ! въ Казанскій!» — кричали одни. — «Къ преображенцамъ! они матушку Лизавету ставили на царство!» — кричали другіе. — «Въ конную гвардію... по всѣмъ церквамъ!.. Карету! гдѣ же гетманъ?» — Къ Панину, въ Лѣтній, поскакалъ». — «А Алексѣй Орловъ?» — «За архіереємъ Дмитриемъ...» — «Въ Казанскій! въ Казанскій!» — Роты строились. — «Что мѣшкаете, ротозѣи?» — кричалъ Рославлевъ. — «Живо знамена впередъ, барабаны!» — командовали Обуховъ и Ласунскій. — «Спасительница наша! мать родная! вивать!» — не умолкали солдаты. — «Пушки вывози! Стройтесь! — кричало капральство: — священника впередъ! въ Казанскій!»

Вправо и влѣво, во всѣ концы скакали вѣстовые.

Подъ напоромъ ломившейся впередъ, кричавшей и махавшей шляпами и мушкетами толпы, императрица снова сѣла въ карету. Приземистый, съ крестомъ въ рукѣ и съ дрожавшей, бѣлокурой бородкой священникъ, покашливая и испуганно путаясь въ голубой, полинялой рясѣ, двинулся впередъ. Выстроившійся полкъ, окруживъ карету государыни, послѣдовалъ за нею.

Предводимые Вадковскимъ, Федоромъ Орловымъ и другими офицерами, семеновцы также принесли присягу. Съ Загороднаго проспекта шествіе двинулось по Гороховой, своротило въ Мѣщанскую и стало приближаться къ площади Казанскаго собора.

Окна и двери раскрывались настежь. Горожане присоединялись къ шествію и также кричали вивать и ура.

XX.

Явленіе Фелицы.

Утромъ того же двадцать восьмого іюня, Ломоносовъ проснулся ранѣе обыкновеннаго. Ему предстоялъ окончательный просмотръ хвалебной латинской рѣчи, которую онъ, по наряду, долженъ былъ завтра, въ день государевыхъ именинъ, прочесть въ торжественномъ засѣданіи академіи наукъ. Сверхъ того, онъ помнилъ слово, данное студенту

Фонвизину, быть въ Измайловскомъ полку. — «Охъ, ужъ эти разъѣзды, да именинные пироги! одна времени трата!» — ворчали онъ, поднявшись на утренней прохладѣ въ оконченный поправками, рабочій кабинетъ флигеля. Въ девятомъ часу кухарка просунулась въ дверь, съ чашкой кофе и съ только-что занесенной академическимъ разсылнымъ тетрадкой «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». На заголовкѣ газеты стояло: «№ 52, пятница, 28-го юня. — Далѣе была статья: «Изъ Рима, отъ 27-го мая пишутъ... Езуиты купили для братіи своей домъ маркиза Д'Оссоли, Слухъ носится, что намѣрены уничтожить сіе братство...»

«Вела рѣчь свинья! чорта съ два! — подумалъ Ломоносовъ, — какъ разъ уничтожать этихъ аспидовъ...» — Онъ бросилъ газету на столъ, раскрылъ окно въ садъ, вынулъ изъ ящика набросокъ рѣчи и задумался надъ фразой: «*Nic festus Petri, patrae dilectissimae patris et filii, dies usque in aeternum redivivus recurrat...*» и проч. По-русски фраза означала: «Сей день Петра, отца отечества и сына, — съ удвоеннымъ торжествомъ, да возвращается навсегда болѣе радостнымъ, болѣе счастливымъ, и да принесетъ въ позднѣйшее потомство общее нерушимое веселіе...»

Ломоносовъ опять сѣлъ къ столу. Но едва онъ взялся за перо, — съ улицы послышались громкіе, нестройные голоса. Въ окно было видно, какъ берегомъ Мойки, влѣво къ Синему мосту, въ безпорядкѣ бѣжала густая толпа: мужики съ барокъ, фабричные, бабы и мастеровые. Часть бѣжавшихъ замедлилась и, въ облакѣ поднятой пыли, съ бранью и криками, толкала какого-то долговязаго, въ голштинскомъ мундирѣ, офицера.

«Попался нѣмецъ, — подумалъ Ломоносовъ, — чѣмъ-нибудь, грубиянъ, насолилъ». — Толпа продвинулась. Берегъ очистился. Но опять гдѣ-то раздались голоса. Съ ближнихъ и дальнихъ церквей начинался странный, не по времени перезвонъ. — «Не пожаръ ли?» — пришло на мысль Ломоносову. Онъ взглянулъ на часы. Было съ небольшимъ восемь.

«Батюшки, свѣтопреставленіе! — послышался снизу, подъ лѣстницей, ревъ кухарки: — злодѣи! масло!.. масла цѣлую крынку... банку съ ваксой стащили... Изверги! погубители!»

Ломоносовъ спустился во дворъ. У воротъ шла суета. Шныряли какія-то фризовыя шинели: растегнутые, съ красными лицами, матросы заглядывали въ калитку у воротъ.

Незнакомый священникъ, испуганно шмыгнувъ съ улицы, о чемъ-то разспрашивалъ дворника. А дворникъ, торопливо выпрягая изъ тачки лошадь, похлопывалъ ее по спинѣ, подпрыгивая разутыми, въ подвернутыхъ шароварахъ, ногами, точно собирався вспрыгнуть на коня и куда-то ускоряться. — «А-а-а! ура!» — донеслись отъ Синяго моста раскатистые громкіе крики.

«Нѣтъ! не пожаръ! — сказалъ себѣ Ломоносовъ: — ужли-жъ перемѣна, неожиданный, всякими бѣдствами грозящій, мятежь?» — Онъ взялъ трость и шляпу, вышелъ на улицу и, обгоняемый пѣшими и конными, направился влѣво по Мойкѣ.

— Сполóхъ, ребятушки, сполóхъ! даржи, Сысойка, даржи... У-ахъ! — галдѣли обрызганные известкой и глиной штукатуры и каменщики, гуськомъ выбѣгая изъ сосѣдняго двора. — «Гдѣ сполóхъ? эка, врутъ, идола!» — сердито огрызнулся пузатый, рыжий кабатчикъ, въ кумачной рубахѣ и фартукѣ, на босу-ногу, стоя съ стаканомъ сбитня на крыльцѣ погребка. — «Чтобъ-те перекосило съ угла на уголъ!» — сказалъ кто-то. — «Вотъ постой, толстошей! ужъ всѣмъ вамъ будетъ расплата! всѣхъ порѣшатъ!» — крикнулъ костлявый, въ веснушкахъ, верзило-малырь, съ ведркомъ и кистью, слѣша вслѣдъ за другими.

У Краснаго моста Ломоносовъ въ силу уже могъ подвигаться впередъ. Изъ глубины Гороховой доносилось громкое ура. Тамъ двигались солдаты и развѣвались знамена. При въѣздѣ на мостъ скупилось нѣсколько экипажей. Въ одной изъ каретъ былъ виденъ, бывший фаворитъ, Иванъ Ивановичъ Шуваловъ, торопливо и растерянно говорившій съ кѣмъ-то изъ подъѣхавшихъ знакомцевъ. Изъ другой, заторможенной кричавшей и напиравшей со всѣхъ сторонъ толпой, выглядывало искаженное страхомъ, съ помутившимися, дико уставленными глазами и съ дрожавшею, отвислою губой, мертвенно-блѣдное лицо герцога Бирона...

Съ трудомъ протискавшись черезъ мостъ, Ломоносовъ попалъ въ такую давку, что не могъ уже идти по желанію. Отъ Краснаго моста его унесло на Невскій къ Зеленому, или Полицейскому. Домъ полиціи былъ окруженъ народомъ. Ворота его были взломаны, стекла въ окнахъ выбиты. Передъ тѣмъ только-что арестовали и куда-то отправили генераль-полицмейстера Корфа. Толпа запыленныхъ, освирѣлыхъ фабричныхъ и солдатъ, съ криками: «въ воду

его! всѣхъ ихъ чертей, нѣмцевыхъ слугъ, туда!»—кулаками и прикладами толкала въ Мойку перепуганнаго, въ изорванномъ бархатномъ кафтанѣ и въ большомъ исключенномъ парикѣ, старичка-иностранца. Какой-то офицеръ, въ силу отбивъ у рядовыхъ полумертвую измятую фигурку, втолкнулъ ее въ лодку и велѣлъ везти въ крѣпость. — «Лештокъ!» — послышалось въ толпѣ. — «Какой Лештокъ?» — А мало ли ихъ дьяволовъ, нѣмцевъ... Вонъ, и дядюшку Жоржа исколотило солдатство, порвало на немъ одѣжу...»

«*Sic transit gloria mundi!* — подумалъ Домоносовъ, — но откуда все и въ чемъ дѣла суть?»

У Казанскаго собора онъ узналъ, наконецъ, причину общаго волненія.

Не успѣло шествіе показаться въ Мѣщанской, отъ гостиннаго двора слышались крики и прерывистая, барабанная дробь. У чугунной соборной ограды показались бѣжавшіе по Невскому въ свѣтлозеленыхъ елизаветинскихъ кафтаняхъ, съ мушкетами на-перевѣсъ, преображенцы. Офицеры, вожаки движенія, Бредихинъ, Баскаковъ, Протасовъ, Ступишинъ и Чертковъ въ силу сдерживали и равняли ихъ мѣшавшіеся ряды.

— Виноваты, матушка, поздно пришли! — кричали государынѣ гренадеры.

Не успѣли преображенцы выстроиться въ оградѣ, на Невскомъ опять раздались звуки трубъ, стукъ подковъ и ближе, и ближе переливавшіеся крики ура. Стали видны скачущіе, тяжелые ряды зеленыхъ, въ золотыхъ галунахъ, рейтаровъ. На полномъ карьерѣ, съ палашами на-голо и съ распущеннымъ штандартомъ, гремя подковами по мостовой, неслась отъ Аничкова конная гвардія. — Матушка! солнце ты свѣтлое! спасительница! не выдадимъ!» — восторженно кричали конногвардейцы, предводимые Хитрово, Невскимъ, Ржевскимъ, Черкасскимъ и Мансуровымъ, строясь между соборомъ и садомъ гетмана Разумовскаго (нынѣ воспитательный домъ).

На паперти показался окруженный «всѣмъ освященнымъ соборомъ и синклитомъ» въ полномъ облаченіи новгородскій архіепископъ Дмитрій Сѣменовъ. Онъ осѣнилъ крестомъ Екатерину. Солнце свѣтило на бѣлый глазетъ, малиновую парчу, сѣдые головы и бороды духовенства. Траурное платьѣ

Екатерины сиротливо отличалось въ этой смѣси бархата, золота и яркихъ солнечныхъ лучей.

«Присягать! присягать!— раздавались восклицанія:— правительницей! съ сыномъ Павломъ! регентшей!...» — «Одна, одна! да здравствуетъ самодержица, матушка наша, Екатерина Алексѣевна!»—крикнулъ Алексѣй Орловъ и за нимъ передніе ряды.—«Ура!—подхватили остальные:—самодержицей! крестъ цѣловать! ура!..»

Быстро примчалась шестерней золотая придворная карета. Изъ нея вышелъ блѣдный, старавшійся скрыть радостное волненіе, Никита Панинъ, объ руку съ своимъ питомцемъ, встревоженнымъ, робко шагавшимъ, худенькимъ великимъ княземъ Павломъ Петровичемъ.

Архіепископъ спустился съ паперти и сталъ обходить ряды войскъ. Офицеры кидались на колѣни передъ Екатериной, восторженно махая шпагами и шляпами. Окна, балконы и двери окрестныхъ домовъ переполнились зрителями. Кто не попалъ на площадь, взбирался на смежныя крыши, на деревья Невского и гетманскаго сада.

— Гдѣ императрица? гдѣ? позвольте!—спросилъ, сился взглянуть изъ-за спинъ другихъ, невысокаго роста, круглощекій юноша, съ вселѣвшимся, миловиднымъ лицомъ, подѣхавшій на извозикъ съ Мѣщанской.

— Вонъ она, батюшка, вонъ, а возлѣ нея великій князь-зенька, Павелъ Петровичъ,—отвѣтилъ въ мѣщанскомъ запущеннѣ старикъ.

— Да гдѣ же? позвольте, не видно.

— На паперти, сударь, эвosi, прямо глядите; въ печальномъ-то платьѣ... въ черной шапочкѣ, со звѣздой.

— Экъ, глаза, дѣдушка, куда дѣлъ?—отозвался голосъ изъ толпы:—проворонилъ... съ преосвященнымъ ушла въ соборъ.

— Молебствуетъ! на царство вѣнчается!—слышалось здѣсь и тамъ.

— А Панинъ-то не оставлялъ великаго князя, съ нимъ эти ночи, сказываютъ, спать, оберегалъ царское дѣтище...

Давка на площади стала стихать.

Щеголеватый юноша, оправляя буколки и примятый треуголь и распространяя запахъ пѣтушыхъ ягодъ, протискался въ церковную ограду.

Здѣсь Фонвизинъ увидѣлъ своего знакома, рядового Дер-

жавина. Послѣдній, размахивая руками, что-то рассказывалъ преображенцамъ и какъ бы на кого-то жаловался.

— Что съ тобой?—спросилъ его Фонвизинъ:— и каково происшествіе?

— Представь, случай!—обратился къ нему Державинъ:— и въ такое время... Вчерась, изъ-подготовка, она бестія выкрала всѣ деньги—больше ста рублей...

— Кто выкралъ?

— Да слуга одного солдата-помѣщика... И смѣхъ, и жаль,—такова судьба! родительница сколотила и прислала послѣднее. Вѣришь ли, всю ночь не спать...

— Ну, теперь зато утѣшенъ.

— Еще бы.

— А гдѣ вашъ баталіонный Воейковъ, что Пассека арестовалъ?

— Представь, вздумалъ гренадеръ, чтобъ не шли сюда, бранить и по ружьямъ рубить. Тѣ рыкнули на Литейной и кинулись на него со штыками...

— И что жъ?

— Ускакалъ—по брюхо коня—въ Фонтанку, не достали.

— А эти кто?

— Дашкова... Панинъ... гетманъ Разумовскій...

Къ собору наслѣдовали извѣстные городу вельможи и жены сановниковъ. Фонвизинъ также протискался на паперть. Голова его кружилась. Онъ слушалъ и не вѣрилъ своимъ ушамъ. Въ раскрытую дверь церкви были видны ярко горѣвшія лампы и свѣчи. Съ клубами дыма доносились громкіе возгласы протодіакона: «Еще молимся о благочестивѣйшей, самодержавнѣйшей, великой государынѣ... императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ... и о наслѣдникѣ ея Павлѣ Петровичѣ...» Хоръ пѣвчихъ подхватывалъ. И никогда клироное пѣніе не казалось Фонвизину такъ сладко, какъ теперь.

«Боже! какія событія!—думалъ онъ, за слезами восторга не видя вокругъ себя никого,—чаялъ ли, ожидалъ ли кто такъ скоро?»

Онъ вынулъ платокъ, отеръ глаза и покраснѣвшееся лицо—и оглянулся.

У зеленой, развѣсистой липы на Невскомъ, стиснутый задыхавшеюся отъ жары и давки толпой, стоялъ близъ церковной ограды знакомый, атлетическаго вида, господинъ.

Плотныя плечи высились надъ устремленными къ церкви головами; поярковый, порыжѣлый отъ вѣтра треуголь былъ сдвинутъ на затылокъ; суровое, въ морщинахъ, лицо изображало недоумѣніе и радостный испугъ.

«Михайло Васильичъ! онъ ли это?» — подумать Фонвизинъ, вспоминая послѣднее свиданіе съ Ломоносовымъ, тосты въ честь императрицы и приглашеніе на именины дяди. — «Боже! какое совпаденіе! — сказать себѣ юноша, протискиваясь изъ ограды на Невскій: — какъ разъ, въ этотъ день...»

Подъ липой дѣйствительно стоялъ Ломоносовъ.

— «Карету государыни, карету!» — крикнули въ это время отъ собора. Ряды войскъ, тѣсня и сдерживая народъ, раздвинулись. — «Мѣсто, мѣсто!» — «Куда поѣхала?» — «Въ новый дворецъ! въ коронѣ!..» — «Врешь!.. что ротъ раскрытъ? пушка вкатить! да не толкайся, желтоглазый, ребро сломаешь!..» — «Эхъ, люди, право! лѣзутъ!..» — «Ой, руку отдавали! ноженьку...»

Толпа, хлынувъ отъ площади, разорвалась на два теченія. Одно, волнуясь и кружась, захватило и повлекло влѣво по Невскому тѣхъ, кто стоялъ у сада гетмана. Другое потащило вдоль Конюшенныхъ тѣхъ, кто находился правѣе противъ собора.

Фонвизинъ, приплюснутый межъ бородачѣмъ, пахнущимъ вѣрванью и москателью, лавочникомъ и толстою, красной, какъ ракъ, попадѣй, — увидѣлъ издали, въ облакѣ пыли, разъ и другой мелькнувшія плечи и шляпу Ломоносова. Онъ попробовалъ освободиться, но тщетно. Бурный народный потокъ, сжавъ его, какъ въ тискахъ, уносилъ его дальше и дальше впередъ. Ломоносову бросилось въ глаза взволнованное лицо Пчёлкиной. Она стояла на чѣмъ-то крыльцѣ, сумрачно, недовольно глядя на бѣжавшую мимо нея толпу...

Екатерина проѣхала въ новый, еще неосвобожденный отъ лѣсовъ, зимній дворецъ. Здѣсь, окруженная свитой, она показала народу съ сыномъ, въ верхнемъ и теперь существующемъ фонарикѣ, надъ правымъ крыльцомъ. — «Манифестъ пинутъ, совѣщаются, — стало слышно въ

толпѣ: — въ старый дворецъ созванъ сенатъ и синодъ». Подъѣзжали новые экипажи, скакали верховые.

Глухо гремя тяжелыми колесами и лафетами, на площадь въѣхала артиллерія. Пушки размѣстились по угламъ площади и у въѣздовъ въ ближнія улицы.

Ломоносовъ стоялъ у адмиралтейства. Онъ видѣлъ, какъ, съ портфелемъ подъ мышкой, трусой, на длинныхъ, юркихъ ножкахъ, прошелъ въ дворцовыя ворота любимецъ гетмана — президента академіи, Григорій Тепловъ. — «Вотъ чье перо понадобилось въ столь важный моментъ!» — съ горечью подумалъ Ломоносовъ о своемъ давнемъ недругѣ: — «напредки свѣдомъ буду... Немного хорошаго предвѣщаютъ негодіи съ такимъ конфидентомъ... Пора, знать, и во-свояси». — Онъ сходилъ домой, на скоро пообѣдалъ и опять вышелъ на улицу. Но не успѣлъ онъ добраться до Гороховой, какъ народъ снова откуда-то хлынулъ и его увлекъ ко дворцу. Вечеромъ площадь огласилась новыми громкими криками, — Екатерина съѣла въ карету. Провожаемая войскомъ, она ѣхала къ старому Елисаветинскому дворцу.

Унесенный волнами народа, Ломоносовъ очутился у фонарнаго столба въ Морской, на углу развѣздной дворцовой площадки. Передъ нимъ по Невскому равнялись шеренги преображенцевъ, семеновцевъ и конной гвардіи; на-право, по Морской, — измайловцы, артиллерія и армейскіе полки.

Кто-то тронулъ Ломоносова за плечо. Онъ оглянулся; передъ нимъ стоялъ Фонвизинъ.

— Каковы событія, каковы! — сказала Денисъ Иванычъ.

— Да, смуты и всякой сутолочи немало! — досадливо отвѣтилъ Ломоносовъ, вспоминая о Тепловѣ: — махъ-махъ, и увезли, начали новое цареніе. Все это больно ужъ скоро...

— Не понимаю васъ, — уливленно произнесъ Фонвизинъ.

— Не понимаете? А какъ тѣ-то, сударь, одумаются и пойдутъ сюда изъ Ранбова?

— Да кому идти?

— Какъ кому? У Петра Ѳедорыча, другъ мой, съ голштинцами, помните, болѣе пяти тысячъ войска.

— Отстоимъ, Михайло Васильичъ, что вы, отстоимъ! — сказалъ Фонвизинъ: — городъ оцѣпленъ, и къ государынѣ то-и-дѣло подводятъ языковъ... слышали, сколько ужъ явилось съ покорностью?.. оба Шуваловы, Трубецкой, Ворон-

цовъ; въ Кронштадтъ посланъ адмиралъ Иванъ Лукьянычъ Талызинъ,—привести флотъ къ присягѣ.

— А Минихъ? — сердито поднявъ брови, произнесъ Ломоносовъ: — онъ одинъ, сударь, чего стоить?

— Чтѣ Минихъ! старый нѣмчикъ!.. мы и его...

— Ну, не суди такъ зазорно! Минихами, братъ, не очень-то шутать... Они...

Ломоносовъ не договорилъ.

Дворцовая площадь, какъ по манію волшебнаго жезла, вдругъ смолкла. Взоры всѣхъ обратились къ крытому парадному подъѣзду, выходившему на Морскую. Былъ девятый часъ вечера, но на улицѣ было свѣтло. Ломоносовъ опять гдѣ-то въ толпѣ увидѣлъ Пчёлкину.

На подъѣздѣ въ кругу сенаторовъ, генералитета и первыхъ чиновъ двора, показались два, невысокаго роста, въ лентахъ и свѣтло-зеленыхъ гвардейскихъ кафтанахъ, офицера: одинъ живой и худенькій, другой плотнѣе и съ виду представительный и важный.

— Батюшки, да это государыня и Дашкова! — произнесъ, прикипѣвъ на мѣстѣ, Фонвизинъ. Онъ ухватилъ мягкою, теплою рукою похолодѣлую, жилистую руку Ломоносова, и болѣе не могъ промолвить ни слова.

Екатерина была одѣта въ преображенскій, старой формы кафтанъ капитана Петра Ѳедорыча Талызина; Дашкова — въ такой же кафтанъ лейтенанта Андрея Ѳедорыча Пушкина. Придворные рейткнехты подвели къ крыльцу бѣлаго, въ темныхъ яблокахъ, и свѣтло-гнѣдого коней.

— «Садитя, садитя верхомъ! — пронеслось въ толпѣ: — откушала, пресвѣтлая, у оконъ-то: съ улицы было видно...» — «Да куда-жъ это?» — Въ походъ, видно... — «Въ какой?» — «Отстаньте, чтѣ вы, право!..»

Екатерина сѣла на бѣлаго, — Дашкова на гнѣдого коня. Обѣ отъѣхали нѣсколько шаговъ къ Невскому и остановились. Волосы Дашковой были подобраны подъ шляпу. Развитыя, свѣтлорусыя косы Екатерины густыми, волнистыми прядями падали, изъ-подъ треугола, на зеленый съ краснымъ воротомъ кафтанъ. Черезъ плечо императрицы была надѣта андреевская голубая лента.

«Слу-шай! на-кра-уль!» — раздалися слова команды. — Ружья звякнули. Войско отдало честь государынѣ.

Екатерина, съ улыбкой взглянувъ на Дашкову, ловко

вынула изъ ноженъ шпагу, хотѣла ее поднять и смѣшалась. Краска залила ей лицо. Шпага оказалась безъ темляка.— «Темлякъ, темлякъ!»—пронеслось въ ближнихъ рядахъ.

Изъ передней шеренги конногвардейцевъ, на большомъ, раскормленномъ, ворономъ конѣ, вылетѣлъ и подскакалъ къ императрицѣ молодой и, какъ дѣвушка, застѣчивый, близорукий, круглолицый вахмистръ. Онъ снялъ съ собственного палаша темлякъ. Приподнявъ шляпу, дрожащей рукой почтительно подаль его государынѣ.

— Благодарю! — сказала Екатерина, сдержавъ лошадь и ласково кивнувъ ему черезъ плечо.

— Кто это? кто?—заговорили въ рядахъ.

— Батюшки-свѣты!—произнесъ, всплеснувъ руками, Фонвизинъ:—да вѣдь это нашъ кандидатъ въ архіереи...

— А ты нешто его знаешь?—спросилъ Ломоносовъ.

— Какъ не знать! за лѣность и повседневное нехождение въ классы, вмѣстѣ съ Новиковымъ, исключенъ изъ нашихъ московскихъ студентовъ: а теперь масонъ и другъ Орловыхъ.

Кандидатъ въ архіереи въ эту минуту былъ въ большомъ затрудненіи. Его молодой вороной, ставъ рядомъ съ бѣлымъ конемъ императрицы, рѣшительно не хотѣлъ отъѣзжать прочь. Онъ тронулъ его шпорами, — конь подался впередъ, фыркнулъ, но, помня манежную ѣзду, замоталъ головой и осѣлъ назадъ. Онъ далъ ему шенкеля, конь взвился на дыбы, и опять ни съ мѣста.

— Не судьба, сударь,—желая одобрить растерявагося вахмистра, съ улыбкой сказала Екатерина:—ваша фамилія?

— Потемкинъ! — вспыхнувъ по уши и заморгавъ большими близорукими глазами, отвѣтилъ съ рукой у треугола бѣлолицый и чернобровый вахмистръ.

Екатерина прикрѣпила темлякъ, подняла шпагу и смѣло, ободрительно-привѣтливо взглянула на окружавшихъ, на публику и генералитетъ.

Это была уже не жалкая, въ траурномъ платьѣ, гонимая женщина, а величавая, гордая орлица, готовая взмахнуть крыльями и подняться въ недосягаемую высь. Она, глядя все также смѣло и привѣтливо, какъ бы салютуя, повела шпагой, тронула поводомъ и шагомъ двинулась вправо по Невскому. Свита, волнуясь разнообразными мундирами, лентами и звѣздами, верхами послѣдовала за ней. Кто-то,

проѣзжая мимо Ломоносова, сказать сосѣду, указывая на императрицу: «Перстъ Божій, Промысль»...

«Увидимъ еще, увидимъ! — думала невдали отъ него, глядя на общее ликование, Пчёлкина. — Дашковой тоже припомню, выйдетъ иной фантомъ... о немъ забыли... но онъ воскреснетъ, живъ!»

— «Смирно! фронтъ готовься! мушкетъ на пле-чо!» — раздалась по полкамъ разноголосая, на тогдашній ладъ, команда начальниковъ пѣшихъ и конныхъ частей. — «Черезъ плутонгъ, на-право, ряды вздвой... лѣвое плечо впередъ, кругомъ... скорымъ шагомъ, прямо, маршъ!»

Колонны двинулись, стали равняться. Загремѣли барабаны, засвистѣли флейточки. Хоръ трубачей, впереди полковъ, предводимыхъ гетманомъ и княземъ Волконскимъ, заигралъ походный маршъ Великаго Петра.

Сперва гвардія, пѣшая и конная, потомъ армейскіе полки пошли вслѣдъ за императрицей. Они обогнули, отъ Морской по Невскому, и миновали зимній Елисаветинскій дворецъ. Екатерина въѣхала на Полицейскій мостъ. Невскій, въ послѣднемъ отблескѣ заката, глядѣлъ празднично. Труды и барабаны гремѣли. Знамена развѣвались. Екатерина издали вся была ясно видна, на бѣломъ въ яблокахъ, статномъ конѣ, — въ лентѣ, со шпагой въ рукѣ и съ пышными, русыми косами, падавшими на зеленый съ золотомъ кафтанъ.

«И это она! — мыслила, ѣдучи рядомъ съ Екатериной и поглядывая на нее, Дашкова: — она, та самая, что третьяго дня мыла рукавички... а сегодня, а теперь?.. Какъ неожиданно, какъ чудно она, она, мой идеаль, мой другъ, переродилась! Кто ожидалъ? Сколько смѣлости, отваги. Исторія отмѣтитъ. И мнѣ одной она обязана своей свободой и этимъ, даже мнѣ самой, непонятнымъ и необъясненнымъ перерожденіемъ!..

— Куда это, куда? — окликнулъ кто-то изъ опоздавшей знати Ивана Ивановича Шувалова, который у дворцовой площади торопливо и неуклюже взлѣзаетъ, при помощи слуги, на подведеннаго коня.

— Въ походъ, князьенка! — неохотно отвѣтили, махнувъ рукой, Шуваловъ.

— Какъ въ походъ? куда?

— Въ Ранбовъ, батюшка! и что пристаешь? mille diables,

некогда,—еще досадливѣе сказалъ Шуваловъ, неумѣло болтая толстыми въ чулкахъ ногами и догоняя шествіе.

Мимо Ломоносова двигались роты за ротами, эскадроны за эскадронами. Онъ не отходилъ отъ угла разѣздной площадки.

— Вотъ бы, Михайло Васильичъ, вамъ воспѣть нашу радость, нашу богиню!—кто-то восторженно крикнулъ ему изъ двигавшихся пѣхотныхъ рядовъ.

Ломоносовъ оглянулся. Мимо него, въ темпъ, поспѣвая за товарищами, съ ружьемъ на плечѣ, по разѣзженному булыжнику быстро шагаль въ пыли раскраснѣвшійся, длинноногий Державинъ.

— Видѣли?—спросилъ онъ, равняясь, и мѣняя ногу:—этотъ конь, эта шпага и эти распущенные косы... Не правда ли Героиня древности, Минерва! Фелица!

Войска шли, клики не умолкали, барабаны гремѣли по Невскому.

Преображенскій рядовой, будущій пѣвецъ этой самой Фелицы, забылъ въ эти мгновенія безсонницу ночи, пропавшія деньги и то, что онъ съ утра не пилъ и не ѣлъ, и все... Онъ не спускалъ глазъ съ длинныхъ русскихъ косъ, развѣвавшихся вдали изъ-подъ треугола, и лихо, бодро шель, не чувствуя подъ собою ногъ, и, въ трепетѣ зарождавшагося вдохновения, желая, чтобы это сказочное шествіе было нескончаемо, вѣчно...

«Чтобъ шлемъ блисталъ на ней пернатый,

«Зефиры вѣяли власы..

«Чтобъ конь подъ ней головой крутился

«И бурно брѣзды опѣнялъ...

— Воспѣть! да, другъ мой, стѣбитъ иронической, въ потомство идущей, громкой оды!—сказалъ Фонвизину, смигивая слезы, Ломоносовъ:—сказка Шехеразеды, сонъ...

Оба они пошли съ народомъ за войскомъ, но не видѣли ни войска, ни народа. Въ ихъ глазахъ какъ бы намѣчались и дивно строились очертанія чего-то великаго, новаго и непостижимаго. Придя домой, Ломоносовъ порвалъ и сжегъ латинскую рѣчь въ честь Третьяго Петра и началъ новую оду:

«Внемлите, всѣ предѣлы свѣта,

«И вѣдайте, что можетъ Богъ:

«Воскресла намъ Елисавета!..

«Да — мыслилъ онъ, бродя по саду: — новую, свѣтлую эру начнётъ она, лишь бы призвала разумныхъ и честныхъ, прирожденныхъ странъ совѣтниковъ... А тотъ заключенный? Господи силы! преклони, въ этотъ мигъ, сердце ея къ несчастному. Въ торжествѣ и въ счастьѣ, да вспоманетъ она его своею милостью...»

XXI.

Высадка въ Кронштадтъ.

Мирovichъ оставилъ притомленного коня подъ Петергофомъ и съ какимъ-то садовникомъ доѣхалъ въ Ораніенбаумъ, въ седьмомъ часу утра. Дворецъ еще былъ погруженъ въ тишину. Худощавый, плечистый, въ веснушкахъ, голштинскій офицеръ, въ бѣломъ колетѣ и лосинныхъ въ обтяжку штиблетахъ, ходилъ въ ожиданіи смѣны у гауптвахты, близъ главныхъ воротъ.

— Zurück, zurück!—крикнулъ ему голштинецъ, видя, что тотъ направляется въ дворцовому крыльцу.

— Мнѣ, сударь, важное дѣло,—не останавливаясь, сказалъ Мирovichъ.

— Aber du, tausend Teufel!—кинувшись къ послушнику и хватая его за плечо, прохрипѣлъ освирипѣлый драбантъ.

— Да, слышишь ты, собака, дѣло говорю! — отвѣтилъ, оттолкнувъ его, Мирovichъ: — за грубость послѣ разсчета: видывали такихъ... а теперь, говорятъ тебѣ, пусти...

— O, Herr Je... du Taugenichts, Schweintreiber! Hei! wer ist da?—крикнулъ, хлопнувъ въ ладоши, голштинецъ.

Изъ караульни выбѣжало нѣсколько человѣкъ солдатъ.

Напрасно Мирovichъ доказывалъ, клялся и грозилъ. Ему указали смежный, внутренній дворъ, гдѣ помѣщалась канцелярія дежурнаго генераль-адъютанта. Тамъ было также тихо. Дверь въ канцелярію была закрыта. Мирovichъ присѣлъ на крыльцѣ, обдумывая, какъ онъ уприситъ Гудовича или Унгерна и предупредить государя. Дворцовый міръ началъ пробуждаться. У кухоннаго флигеля показался въ бѣломъ колпакѣ заспанный поваренокъ. Гдѣ-то скрипнула дверь, простучали подковы лошади. Изъ служительской казармы вышелъ, въ халатѣ и въ башмакахъ на босу-ногу, лысый тафельдекеръ. Онъ умылся у бочки, утерся и, позѣвывая, началъ молиться. — «Царство спящей царевны—

подумалъ Мирѡвичъ, — и не подозрѣваютъ, что ихъ ждетъ...» — На внутреннемъ дворцовомъ крыльцѣ показался, съ платьемъ въ рукахъ, недовольный и хмурый, любимый государевъ арапъ, Нарцисъ. — «Терпѣніе, терпѣніе, — сказалъ себѣ Мирѡвичъ: — «государь скоро проснется...» Онъ прошелъ къ пруду, къ катальной горкѣ, также умылся и привелъ въ порядокъ свой запыленный и примаранный костюмъ. Его давила роковая, величественная, какъ онъ думалъ, идея. Она была ему не подъ силу. Онъ подъ нею изнемогалъ. Возвратился Мирѡвичъ черезъ конюшенный дворъ. Здѣсь уже шла суета. Рысью вели съ водопоя лошадей. У каретника сновали конюхи, скороходы. Выкатывали экипажи, несли сбрую.

— Что это? — спросилъ Мирѡвичъ рейткнехта: — развѣ такъ рано ѣдетъ куда государь?

— Въ Петергофъ, — кушаетъ нынче тамъ.

Мирѡвичъ возвратился къ главнымъ дворцовымъ воротамъ. У гауптвахты стояла уже другая команда. — «Подожду здѣсь, — сказалъ онъ себѣ, съ внутреннею дрожью, сердито присѣвъ на выступъ рѣшетки: — тупицы, скоты, — тиранятъ медленностью и не подозрѣваютъ!» — Не долго онъ ждалъ на этотъ разъ. За древесною клумбой, скрывавшей парадный подъѣздъ, послышался конскій топотъ. Къ воротамъ, повернувшись въ сѣдлѣ и отдавая назадъ кому-то приказанія, приближался курць-галопомъ пасмурный, не въ духѣ, Гудовичъ. Открытое государево голубое ландо, шестерней цугомъ, ѣхало ему навстрѣчу — къ крыльцу, гдѣ, въ ожиданіи выхода императора, толпилось нѣсколько придворныхъ, офицеровъ и молодыхъ разряженныхъ дамъ. Оттуда доносились веселые возгласы, смѣхъ. — «*Mais finissez donc, cher baron*» — хлопая Унгерна по рукѣ, говорила пѣвучимъ голоскомъ полная, краснощекая, съ усиками брюнетка, графиня Брюссъ. — «*Et puis quand je dors...*» — продолжалъ кто-то. — «Ти-ти, та-та» — щебетала на крыльцѣ веселая компанія... — «Озадачу ихъ, поблѣднѣютъ модники! разгромлю!» — съ злобною, радостною дрожью, подумалъ, пропустивъ ландо, Мирѡвичъ: — откладывать нечего... была не была!.. начну съ этого...»

Онъ сталъ на пути Гудовича — и, когда послѣдній выѣхалъ за ворота, подошелъ къ нему и съ поклономъ протянулъ заготовленный у Брессана рапортъ. Гудовичъ мелькомъ взглянулъ на бумагу, счелъ ее за обычное прошеніе, опустилъ

въ карманъ и, подобравъ поводья, съ легкимъ кивкомъ, тѣмъ же курцъ-галопомъ поскакалъ по дорогѣ въ Петергофъ.

«Что я сдѣлать! скотина, мямля, баба!—вспыхнувъ, подумалъ Мирovichъ,—надо было самому государю»...

Въ ворота стали подъѣзжать другіе экипажи. На крыльцѣ явились фаворитка Воронцова, Измайловъ, Бецкій и прусскій посланникъ Гольцъ. Въ дверяхъ показался бѣлый, съ бирюзовымъ воротомъ и такими же обшлагами, мундиръ, небольшой треуголь съ плюмажемъ и голштинская красная лента. Государь вышелъ въ сопровожденіи Миниха. Онъ добродушно улыбался.

— И съ такой разиней самъ вороной станешь,—сказалъ Петръ, отвѣчая на слова собесѣдника:—готово?—спросилъ онъ, обернувшись къ свитѣ.

— Готово,—склонившись, отвѣтилъ Унгернъ.

На дворѣ было весело, тепло. Солнце свѣтило такъ привѣтливо. Государь приподнялъ всѣмъ шляпу, живо, погачиваясь, спустился по ступенькамъ и сѣлъ въ экипажъ. Воронцова и графиня Брюссъ, веселыя, улыбающіяся, en robe de cour, распустивъ цвѣтные зонтики, сѣли съ нимъ на переднюю скамью; молоденькая принцесса Гольштейнъ-Бекская—рядомъ съ государемъ.

Голубое, съ красными выносными жокеями, ландо, обѣжавъ фонтанную клумбу, пронеслось мимо Мировича на дорогу. Слѣдомъ выкатилъ рядъ другихъ экипажей. Защелкали бичи. Заклубилась пыль. Вновь поставленный голштинскій караулъ, въ лосинѣ и въ узкихъ бѣлыхъ колетахъ, вытянулся, съ барабанною дробью, у воротъ.

«Не пустили, собаки, а я все-таки въ подробности и, кажется, первый передалъ обо всемъ!» — подумалъ Мирovichъ, слѣдя отъ огады помутившимся, злобнымъ взоромъ за убѣгавшими вдаль экипажами веселой компаніи.

Вскорѣ Мирovichъ узналъ, что все его рвеніе и всѣ хлопоты опоздали и остались непричемъ...

Государева коляска миновала колонію. Въ свѣжемъ утреннемъ воздухѣ, надъ вершинами парка, развернувшася у взморья, стали видны кровли петергофскаго дворца. И вдругъ красный жокей замедилъ на передней парѣ и обернулся. Навстрѣчу государя, изъ парка, мчался во весь опоръ Гудовичъ.

Андрей Васильичъ подскакалъ, склонился къ экипажу и началъ что-то шептать государю. Петръ Ѳеодоровичъ поблѣднѣлъ. На Гудовичѣ тоже не было лица. Оба нѣсколько мгновеній молчали.

Императоръ вышелъ на дорогу. Глаза его смотрѣли испуганно, по лицу бродила странная, растерянная улыбка.

— Такъ это, Андрей Васильичъ, не сонъ? ея нѣтъ?

— Повидимости, ваше величество, государыня ретировалась...

— Просто скажи: сбѣжала! зачѣмъ смягчать? Но куда?

— Никто не знаетъ.

— Всѣхъ спрашивалъ?

— Всѣхъ.

Наспѣли другіе экипажи. Петръ Ѳеодоровичъ сѣлъ въ коляску съ Гудовичемъ, Унгерномъ и Минихомъ и велѣлъ ѣхать къ Монплезиру. Дамамъ предложили отправиться ко дворцу паркомъ.

Государь бросился въ павильонъ, обошелъ всѣ комнаты, — Екaterины не было. На столѣ, въ ея уборной, лежало готовое на завтра бальное цвѣтное платье.

— Вздоръ, вздоръ! — сказалъ Петръ Ѳеодоровичъ: — она здѣсь гдѣ-нибудь спряталась. Не иголка, — найдемъ!..

Онъ заглядывалъ въ шкапы, — подъ кушетки, велѣлъ осмотрѣть ближнія зданія, берегъ, кусты.

— Ну, Романовна, — обратился государь къ Воронцовой, подѣлхавшей съ дядей канцлеромъ: — ты права!.. жена моя насъ предупредила, ушла...

— Хуже того, ваше величество, — произнесъ, склоняясь, канцлеръ: — не знаю, какъ и доложить...

— Говори, говори, — что еще тамъ?

— Сейчасъ прѣхавшіе крестьяне сообщили, что вся столица въ возстаніи; народъ и войско стали за государыню и съ нею направились ко дворцу.

Петръ Ѳеодоровичъ взглянулъ на окружавшихъ. Взоры всѣхъ были потушены.

— Отпустите меня въ Петербургъ, — сказалъ Воронцовъ: — я постараюсь уговорить вашу супругу и привезу ее къ вамъ обратно.

— И мнѣ дозволейте, — произнесъ Александръ Шуваловъ.

— И мнѣ! — прибавилъ князь Никита Трубецкой.

Всѣ трое уѣхали въ Петербургъ — и не возвратились.

Стали приходиться вѣсти одна другой тревожныѣе. Подъѣхавшій фейерверкеръ сообщилъ, что Панинъ, Дашкова, князь Волконскій и гетманъ руководятъ движеніемъ, Петербургъ оцѣпленъ, Екатерина провозглашена самодержицей, и ей принесли присягу сенатъ и синодъ.

Окружавшіе Петра Ѳедоровича не выказали мужества. Но прежде всѣхъ и въ болѣе мѣрѣ потерялся онъ самъ. Окруженный молодыми, плаксивыми женщинами и себлюбивыми, изнѣженными паредворцами, онъ ходилъ большими шагами по аллеямъ нижняго сада, дѣлалъ множество разныхъ предположеній и не выполнялъ ни одного. Были посланы лазутчики на нарвскую дорогу — узнать, не пробѣжалъ ли гонецъ въ заграничную армію. Побѣхалъ предупредить коменданта въ Кронштадтъ на шлюпкѣ адъютантъ государя, графъ Дефьеръ.

Осыпая Екатерину горькими, жесткими укоризнами, Петръ Ѳедоровичъ то грозилъ, что всю дорогу до Петербурга уставить висѣлищами и перевѣшиваетъ на нихъ всѣхъ ея пособниковъ, — то диктовалъ Волкову проекты безполезныхъ распоряженій и воззваній къ народу. Были посланы въ Петербургъ четыре солдата, съ манифестами къ народу, причемъ каждому было дано по сто червонцевъ. Но въ то время, какъ Волковъ писалъ манифесты въ Петергофѣ, Тепловъ писалъ подобные же въ Петербургѣ.

Пришелъ часъ обѣда. День былъ тихій, жаркій. Все общество столпилось на взморьи, у Монплезира. Здѣсь накрыли столъ и сѣли обѣдать. Въ концѣ обѣда послышались звуки трубъ и барабановъ. То подходили изъ Ораніенбаума приведенные Измайловымъ голштинскіе полки. Былъ седьмой часъ вечера.

— Вѣрные слуги вашего величества явились, — сказалъ фельдмаршалъ Минихъ: — мужайтесь! станьте въ ихъ главѣ и идите на Петербургъ. У васъ тамъ еще немало друзей. Столица одумается и возвратится къ своему долгу. Я первый положу сѣдую голову за моего государя...

Слова стараго побѣдителя при Ставучаняхъ произвели удручающее, смутное впечатлѣніе. Дамы стали шептаться, мужчины — переглядываться. Всѣ чувствовали, что нѣчто привычное, покойное и пріятное уходило отъ нихъ и замѣнялось непріятнымъ, тревожнымъ, грознымъ.

Голштинскимъ отрядамъ велѣли идти къ звѣринцу и тамъ

по взморью строить батареи. Минихъ чертилъ мѣста для окоповъ; Измайловъ занялся списками батарейныхъ командъ. Стало вечерѣть.

Но подоспѣла новая грозная вѣсть. Въ Гостилицы проскакалъ мажордомъ Разумовскаго и объявилъ, что государыня и съ ней больше пятнадцати тысячъ войска выступили изъ столицы и на полномъ маршѣ идутъ на Петергофъ. Дамы расплакались, подняли крикъ. Кто-то вполголоса сказалъ, что ужъ если ждать атаки, такъ лучше возвратиться въ Ораніенбаумъ, — тамъ крѣпость. Эти слова произвели общее замѣшательство. Всѣ предлагали совѣты, одинъ другого несбыточнѣе, спорили и никто никого не слушалъ.

— Ваше, фельдмаршалъ, мнѣніе?—обратился государь къ Миниху:—что скажете о предложенной ретирадѣ?

Минихъ задумался. Суровое, смѣлое его лицо осунулось; въ глазахъ было выраженіе жалости, гнѣва и стыда.

— Ретирада? — произнесъ онъ, покачавъ головой: — что торопитесь? еще успѣете... А впрочемъ, эти увеселительныя мѣста... тутъ насъ всѣхъ, пожалуй, переловятъ, какъ мышей...

— Такъ куда же, милости-съ пожалуста, куда?

— Въ Кронштадтъ!—сказалъ Минихъ:—онъ еще въ вашей власти. Комендантъ Ливерсъ — надежный слуга... И если мы во-время туда поспѣемъ, — его корабли и пушки иначе заставятъ говорить и вашу ослушную супругу, и ставшій на ея сторону Петербургъ.

— Хорошо, что мы догадались!—отвѣтилъ государь:—къ коменданту посланъ Девьеръ, готовить десантъ...

Предложеніе Миниха было принято. Послали въ Ораніенбаумъ за яхтой и галерой. Пока ихъ привели, стало смеркаться.

Былъ десятый часъ вечера. Все общество въ шлюпкахъ переѣхало на суда.

На государеву яхту, въ помощь матросамъ, попросились нѣкоторые изъ гвардейскихъ и армейскихъ офицеровъ. Между ними былъ и пришедшій съ голштинскимъ полкомъ Мирovichъ.

Потянуль-было легкій береговой вѣтеръ, но когда окончательно стемнѣло, онъ затихъ. Паруса не вздымались. Яхта и галера шли на веслахъ. Волны чуть колыхались. Море затянуло мягкой.

Быль въ исходѣ первый часъ ночи, когда путники приблизились къ Кронштадту.

«Ну, что-то мнѣ подарить наступающій день моихъ именинъ? — думалъ, сидя у борта на палубѣ, Петръ Ѳеодоровичъ, — какъ-то распорядились въ Кронштадтѣ Ливерсъ и Девьеръ?»

Въ то время, какъ яхта и галера плыли по морю, въ Петербургѣ ужъ ходилъ въ спискахъ первый именной указъ Екатерины сенату: «Господа сенаторы! Я теперь выхожу съ войскомъ, чтобы утвердить и обнадежить престолъ, оставивъ вамъ, яко первому моему правительству, съ полною довѣренностью, подѣ стражу, отечество, народъ и сына моего».

Снабженный инструкціей сената, вице-адмиралъ Иванъ Лукьяновичъ Талызинъ приплылъ въ Кронштадтъ на шести-весельномъ рябикѣ передъ вечеромъ. Велѣвъ гребцамъ молчать, онъ пошелъ къ коменданту Ливерсу, сказалъ ему, что въ Петербургѣ неладно и что, вслѣдствіе того, онъ счелъ долгомъ поспѣшить къ флоту. Отъ Ливерса Талызинъ отправился въ казармы. Тамъ онъ собралъ болѣе надежныхъ офицеровъ и матросовъ, рассказалъ имъ о паденіи голштинской партіи и о присягѣ Петербурга, и предложилъ флоту стать на сторону новой императрицы. Всѣ крикнули вивать, и отправились за Талызинымъ, къ коменданту.

— Что за шумъ? — спросилъ, встрѣтивъ ихъ, Ливерсъ.

Съ комендантомъ стоялъ и присланный за десантомъ адъютантъ императора, графъ Девьеръ.

— А вотъ что, государи мои, — отвѣтилъ шепетильный и вѣжливый въ обхожденіи Иванъ Лукьяновичъ: — вы не имѣли столько духа, чтобы догадаться и меня арестовать, такъ извините, я васъ при сей оказіи арестую...

Съ Ливерсомъ и Девьеромъ былъ заключенъ подѣ стражу и капитанъ надѣ портомъ, крикнувшій-было матросамъ: «Что вы смотрите на него? вяжите бунтовщика!» — Талызинъ привелъ всю команду къ присягѣ, ко входамъ въ гавань отрядилъ надежные караулы, пушки батарей велѣлъ зарядить ядрами и вышелъ на пристань.

Море тихо плескалось о низменный берегъ, о сван и камни дозорной каланчи.

«Людей въ Кронштадтѣ всемирно мало, чтобы обнять столь обширную гавань, — разсуждалъ Талызинъ, ходя взадѣ

и впередъ по взморью,—пришлютъ ли, какъ я просилъ, курсу солдатами изъ Питера? А то, какъ бы не наѣхалъ сюда недобрый гость изъ Аренбѣга», — какъ тогда звали Ораніенбаумъ или нынѣшній, по народному Рамбовъ.

Наведя зрительную трубку въ море, Иванъ Лукьяновичъ тревожно вглядывался, не плыветъ ли изъ «Аренбѣга» недобрый гость.

Мгла надъ моремъ не расходилась. Мѣсяцъ не показывался. Иванъ Лукьяновичъ обошелъ всѣхъ часовыхъ.

— Кто на стрѣлкѣ?—окликнулъ онъ караульнаго, стоявшаго у входа въ гавань на узкой песчаной косѣ.

— Трифонъ Аверьяновъ,—отвѣтилъ изъ-за пригорка голосъ молодого часового, шагавшаго въ сумеркахъ по влажному песку.

— Гляди жъ, Аверьяновъ, да поглядывай гостей,—крикнуть ему Талзынъ:—а наѣдутъ, давай голосъ, чтобъ ѣхали прочь... стрѣлять-де будемъ... Есть рупоръ?

— Нѣту-ти.

— Ну, малый, гляди же; а я пришлю...

А гость изъ «Аренбѣга» какъ разъ и наѣхалъ.

Въ мгlistомъ сумракѣ обрисовывались черныя мачты и реи двухъ медленно, на веслахъ, подплывавшихъ судовъ. Что-то зашуршало и шлепнулось въ воду.

«Якоря опускаютъ»,—подумалъ, затаивъ дыханіе, Талзынъ. Онъ далъ условный сигналъ на сосѣднія батареи. Съ вышки было явственно слышно, какъ на приплывшихъ судахъ кто-то тихо отдавалъ команду, какъ съ яхты, а потомъ и съ галеры, спустили шлюпки и какъ, шелестя платьями и пища отъ страха, при видѣ колебавшихся, темныхъ волнъ,—начали съ борта въ лодки спускаться дамы.

Восьмивесельная, а за нею четырехвесельная шлюпки выдѣлились изъ мглы и медленно, беззвучно стали подплывать съ залива къ песчаной косѣ. Съ ближней лодки на берегъ бросили доску. Императоръ, за нимъ Минихъ и Гудовичъ готовились выйти на пологій, блѣднѣвшій въ сумеркахъ мысокъ.

— Кто идетъ?—раздался въ тишинѣ бойкій окликъ матросика Аверьянова.

— Императоръ!—отвѣтилъ Гудовичъ.

— Нѣтъ у насъ болѣе императора, — отозвался тотъ же голосъ.

— Вотъ я самъ, вашъ государь!—произнесъ Петръ Ѳедоровичъ, сбросивъ плащъ и въ бѣломъ мундирѣ выступая къ носу колыхавшейся лодки:—приказываю пропустить меня и мою свиту.

— У насъ государыня, матушка Катерина Алексѣевна, а не государь!—отвѣтилъ Трифонъ Аверьяновъ:—и коли вы, господа ахфицеры, не уйдете отсулева, начальство будетъ бонбы пущать...

— Впередъ, ваше величество! руку!—сказалъ Минихъ:—не слушайте этого олуха. Никто не посмѣетъ противиться своему государю... Гарнизонъ увидитъ васъ, и Кронштадтъ чрезъ часъ будетъ у вашихъ ногъ.

Гудовичъ и Унгернъ поддержали слова Миниха. Петръ Ѳедоровичъ готовъ былъ вспрыгнуть на берегъ и медлить.—«Ужели я, любящій войско, я, въ душѣ стойкъ и солдатъ, окажусь малодушнымъ трусомъ, не рѣшусь?»—думалъ онъ, чувствуя, какъ сильно билось его сердце. Темныя волны глухо плескались о берегъ. Очертанія города и фортвъ неясно обозначались во мглѣ.

У каланчи послышалась артиллерійская команда. На скрытой въ сумеркахъ ближней батарее сверкнулъ зажженный фитиль. Съ лодокъ, съ залива доносились испуганные, дамскіе голоса.

— Нѣтъ,—сказалъ Петръ Ѳедоровичъ:—за себя не боюсь. Но я не одинъ... Ядра не разберутъ, кому нести гибель, кому пощаду...

Онъ и его провожатые возвратились. Галера и яхта такъ скоро снова ретировались въ море, что не успѣли даже поднять якорей; ихъ канаты, въ суетѣ и толкотнѣ, обрубил топорами.

Было два часа пополудни. Потянулъ заревой вѣтерокъ. Ожила темная морская зыбь. Бѣлое утро шло навстрѣчу бѣлой юньской ночи.

Государь сидѣлъ на палубѣ. Свита отдѣльными кучками перешептывалась въ сторонѣ. Лица всѣхъ были сумрачны, печальны.

«Не успѣлъ я тебѣ дать полной свободы, не успѣлъ!—думалъ Петръ Ѳедоровичъ, глядя съ борта въ туманную даль,—прости, братъ! прости... Не жилицы мы здѣсь... Непонятно и странно поставила насъ обоихъ судьба. Я былъ оторванъ отъ шведскаго, ты отъ русскаго престола. Мы

свидѣлись... Ты былъ императоромъ четыреста дней; сколько мнѣ суждено царствовать?»

Яхта плыла. Петръ Ѳедоровичъ не спускалъ глазъ съ моря.

Ему грезилося, что у борта, чуть освѣщенная дремотнымъ разсвѣтомъ, его провожала чья-то тѣнь. Стройный и блѣдный, съ длинными волосами, юноша неся надъ волнами, обокъ съ нимъ... Петру Ѳедоровичу вспомнилось, какъ принцъ Іоаннъ плакалъ и какъ молилъ не откладывать его освобожденія.

«Въ глушь, въ лѣса,—думалъ Петръ Ѳедоровичъ,—и зачѣмъ я тогда не послушалъ его, зачѣмъ самъ, какъ рѣшилъ, не вывелъ на волю изъ душевной тюрьмы?.. Гудовичъ сегодня долженъ былъ за нимъ ѣхать, — а я полагалъ его тотчасъ помолвить и провозгласить... Вонъ сидитъ и его нарѣченная невѣста. Что-то съ нимъ? ужъ хоть бы вырвался онъ теперь, куда-нибудь ушелъ съ дачи Гудовича»...

Берегъ близился. Разсвѣтало.

— Куда прикажете?—спросилъ Гудовичъ государя: — въ Петергофъ или въ Ораніенбаумъ?

Императоръ обратился къ Миниху.

— Ну, фельдмаршалъ,—сказалъ онъ:—вижу теперь ясно и каюсь, что не вполне слушалъ вашихъ совѣтовъ... Научите, непобѣдимый и храбрый, какъ выйти изъ нашего теперешняго положенія?

— Въ вѣрный Ревель, къ эскадрѣ!—отвѣтилъ Минихъ:—оттуда къ заграничной арміи. Войско встрѣтитъ васъ, гонимаго, съ восторгомъ. Возвращайтесь съ нимъ, и, я вамъ ручаюсь, Петербургъ и все государство опять будутъ ваши...

— Но вѣтру нѣтъ!—вмѣшались дамы: — неужто на веслахъ все? гребцы устанутъ... до Ревеля! ужасъ... что дѣлать тогда?

— Э, пустяки! — сказалъ фельдмаршалъ: — а наши руки на что? сами возьмемся за весла и станемъ грести...

Императоръ видѣлъ передъ собой лицо рѣшительнаго, стойкаго, желѣзнаго старика и растерянныя, испуганныя, молящія лица молодыхъ женщинъ, и не зналъ, съ кѣмъ согласиться и кого слушать.

Свѣжій воздухъ моря и напряженность тревожной, безъ сна проведенной ночи, раздражали государя, сердили его. Онъ взглянулъ на недалній, плывшій навстрѣчу яхтѣ берегъ, оттуда уже тянуло знакомымъ смолистымъ дыханіемъ

зеленых холмовъ и лѣсовъ. Запахло утреннимъ дымкомъ. Петръ Ѳедоровичъ почувствовалъ пріятный позывъ къ завтраку, къ трубкѣ. Его любимый табакъ вышелъ еще въ Петергофѣ. Онъ вспомнилъ о шипящей въ маслѣ бараньей котлеткѣ, о крылышкѣ цыпленка, съ горошкомъ и свѣжими грибами, о партіи стараго бургонскаго, присланной ему кѣмъ-то въ презентъ изъ Голштиніи, и о пачкѣ длинныхъ сигаръ фидибусъ, забытыхъ имъ утромъ во дворцѣ, на кучѣ непрсмотрѣнныхъ вечера бумагъ, и отдалъ Гудовичу приказъ править въ Ораніенбаумъ.

Яхта и галера вновь приплыли къ берегу. Мирѡвичъ придерживалъ трапъ, по которому государь сошелъ на пристань. Видя, какъ дрожали щеки и все тѣло Петра Ѳедоровича, Мирѡвичъ вспомнилъ завѣтъ масоновъ: «Величіе земное—прахъ, нетлѣнна—одна вѣчная непреложная истина» и подумалъ: — «О, если бъ я могъ быть ему полезенъ въ это время!..»

Талызинъ разглядѣлъ возвращеніе путниковъ въ трубу съ кронштадтской каланчи, снялъ шляпу, отеръ лицо и перекрестился.

Онъ пошелъ въ городъ, но своротилъ съ дороги и зашелъ на песчаный мысокъ, гдѣ все еще забытый ночью смѣной, шагаль по влажной, бѣлесоватой косѣ, Трифонъ Аверьяновъ.

— Молодецъ! — крикнулъ ему охрипшимъ, усталымъ голосомъ Талызинъ.

Аверьяновъ вздрогнулъ и взялъ мушкетъ на караулъ.

Жутко было на душѣ бойкаго, шустраго матросика. Родомъ сузалецъ, онъ недавно попалъ во флотъ. Сѣрые простые его глаза смотрѣли робко. Вѣки вспухли отъ бессонницы. Сухой съ горбинкой носъ тревожно вглядывался въ сѣрую утреннюю мглу, въ которой скрылись ночные гости.

И никогда потомъ, въ долгую, сурово-проведенную жизнь, матросъ Трифонъ Аверьяновъ, въ монашествѣ старецъ Трифилій, умершій восьмидесяти лѣтъ келейникомъ московскаго митрополита Филарета, никогда потомъ онъ не могъ забыть ни этой ночи, ни своего отвѣта невысокому, плоскогрудому, въ бѣломъ мугдирѣ, человѣку: «У насъ не императоръ, а государыня; не уйдете прочь, начальство будетъ бонбы пущать»...

Оглавление.

IX тома.

Мировичъ. (1762—1764 г.) Романъ.

Часть первая. Царственный узникъ.

	СТР.
I. Курьеръ изъ завоеванной Пруссiи.	3
II. Прошлое Мирѡвича.	16
III. Петербургъ время Петра Третьяго.	31
IV. Дрезденъ.	51
V. Слѣдъ найденъ.	70
VI. Несчастнорожденный.	82
VII. Въ Шлиссельбургѣ.	95
VIII. Два Императора.	111
IX. Оранжевый воротникъ.	123

Часть вторая. Похождения извѣстныхъ петербургскихъ дѣйствъ.

X. Помощница пристава.	136
XI. Надпись на воротахъ.	151
XII. Московскій студентъ.	161
XIII. Балъ у Фитингофа.	173
XIV. Аудiенцiя.	185
XV. Пельмени.	194
XVI. На дачѣ Гудовича.	206
XVII. Муха на рогахъ вола.	217
XVIII. Арестъ Пассека.	225
XIX. «Предпріятіе господина Орлова».	231
XX. Явленіе Фелицы.	237
XXI. Высадка въ Кронштадтъ.	249

СОЧИНЕНІЯ
Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

ТОМЪ ДЕСЯТЫЙ.

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ, ПОСМЕРТНОЕ.
ВЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ,
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1901 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1901.



Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

МИРОВИЧЪ.

(1762—1764 г.)

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ КАТАСТРОФА.

«Гряди, воздвигнися предъ людьми
сими, творый судъ пришельцу».
Второзаконіе. X. 11—18.

XXI.

Послѣдній день царствованія Петра Третьяго.

Мировичъ видѣлъ суету, которая поднялась у пристани ораніенбаумскаго дворца, когда къ ней приблизилась государственная яхта. Онъ видѣлъ, какъ огорченный и пораженный событіями, робкій Петръ Федоровичъ съ Минихомъ и съ Гудовичемъ, проѣхавъ на шлюпкѣ по каналу ко дворцу, взмошелъ на берегъ, какъ онъ былъ блѣденъ, какъ дрожали его щеки, руки и все тѣло, и какъ его добрые, уставшие глаза безпокойно слѣдили за группами голштинцевъ и дворцовыхъ слугъ, разсѣянно спѣшившихъ къ нему навстрѣчу, пока Петръ Федоровичъ проходилъ берегъ, отдѣлявшій дворцовую пристань отъ моря.

Набережная и площадь передъ дворцомъ гудѣли отъ переполнившей ихъ разнообразной, смущенной толпы. Стало слышно, что государь заперся въ своемъ кабинетѣ, позвать

вице-канцлера Голицына и послалъ съ нимъ къ императрицѣ письмо, которое застало ее у Стрѣльны. Не дождавшись черезъ него отвѣта, Петръ Ѳедоровичъ написалъ карандашомъ второе письмо и послалъ его съ гофмаршаломъ, генераломъ Измайловымъ. Впослѣдствіи говорили, что чопорный и толстый, съ большими ушами и губами, Измайловъ встрѣтилъ Екатерину на походѣ у Сергіева монастыря, откуда тогда же Панинъ, боясь, что Петръ поплыветъ въ Петербургъ, поскакалъ въ столицу берегомъ съ двадцатью-четырьмя кавалергардами. Измайловъ, встрѣтивъ войско императрицы, быстро подѣхалъ къ ней, бросилъ новодѣя ординарцу и съ картинною изысканностью, подавъ государынѣ пакетъ, сталъ передъ новой Беллоной въ дорожную пыль на колѣни. Пока Екатерина читала письмо, — гдѣ Петръ Ѳедоровичъ выражалъ намѣреніе кончить дни въ мирномъ, философскомъ отъ всякихъ дѣлъ уединеніи, для чего и просилъ отпустить его въ Голштинію, — Измайловъ, съ непокрытой головой, цыхтя и шевеля бровями, собирался съ мыслями.

— Считаете ли вы меня, о, монархиня! за честнаго человѣка? — спросилъ онъ, когда Екатерина прочла письмо.

— Считаю.

— Коль великое счастье служить умникамъ! — произнесъ, ударивъ себя въ грудь, Измайловъ: — дозволяете ли, повелѣтельница?.. дозволяете ли?.. Я упрошу государя формально отречься отъ престола, болѣе того: даю слово — безпродлительно привезти его къ вамъ. Этимъ отвратятся коловратства, всякій алярмъ и бѣдствія грозной междоусобной войны. Уполномочиваете ли меня на это!

— Охотно, — отвѣтила Екатерина.

Измайловъ отвѣсилъ глубокій поклонъ, сѣлъ на коня, поднялъ его въ галопъ, но, отѣхавъ нѣсколько шаговъ, опять возвратился.

— Ваше величество! — сказалъ онъ, пригнувшись съ сѣдла передъ Екатериной: — могу ли разсчитывать на одно, изъ особой аттенціи не въ примѣръ прочимъ, милостивое вниманіе?..

— Въ чемъ дѣло, генералъ?

— Могу ли всерабственно уповать на уступку мнѣ, токы изъ крайности и лишь для поддержки сносной жизни, селѣднова, на Окѣ?

— Усердные и любезно-вѣрные намъ слуги могутъ всегда быть снабжены нашими милостями.

Обрадованный всадникъ, салютуя, подобралъ коня, подъялъ его лансадами и, межъ рядовъ безостановочно, въ зелени деревь, шедшихъ колоннъ, маршъ-маршемъ поскакалъ обратно въ Ораніенбаумъ. — «Не Минихъ, — прошептала, презрительно отвернувшись, Екатерина, — того не купишь»...

Петръ Ѳедоровичъ подписалъ формальное отреченіе и, въ сопровожденіи Гудовича и Воронцовой, секретно, въ каретѣ Измайлова, выѣхалъ въ Петергофъ. Тамъ, въ отдѣльномъ павильонѣ дворца, окруженномъ тремя стамъ гренадеръ, онъ отобѣдалъ, во время стола былъ въ духѣ, даже шутилъ, а послѣ десерта послалъ Екатеринѣ третье письмо. Въ немъ онъ просилъ уступить ему для жилища дворецъ на мызѣ въ Ропшѣ и отправить съ нимъ туда арапа Нарцыску, собаку Мопсикъ, доктора Лидерса, скрипку, бургонскаго вина и табаку, нѣмецкую біблію и недочитанный имъ французскій переводъ романа Стерна «Тристрамъ Шенди».

Вѣсть объ отъѣздѣ и отреченіи императора быстро разнеслась по Ораніенбауму. Высшіе дворскіе сановники спѣшили тихомолкомъ, подъ шумокъ, также пробраться въ Петергофъ, или окольными дорогами въ Петербургъ и въ окрестные мызы и дворцы. Мирovichъ видѣлъ переполохъ охватывавшій всѣхъ болѣе и болѣе, бѣготню прислуги, сновававшей безъ толку, и искаженныя страхомъ, блѣдныя лица военныхъ и гражданскихъ чиновъ. Голштинскій рыжій офицеръ, день назадъ такъ кричавшій на него и дерзко схватившій его за воротникъ, теперь сидѣлъ у воротъ на чѣмъ-то вынесенномъ голубомъ сундукѣ и, ухватясь за растрепанную голову, горько, по-бабьему, хныкалъ. Кто-то сообщилъ слухъ о предстоящей атакѣ казаковъ и гусаръ на гнѣздо ненавидимыхъ народомъ голштинцевъ. — «Но гдѣ же Унгернъ? ужли и онъ скрылся туда-жъ, куда всѣ бѣгутъ?» — подумалъ Мирovichъ, проходя черезъ внутренній, опустѣлый дворъ. Здѣсь онъ увидѣлъ карету, увозившую чьи-то пожитки, недолго думая, вскочилъ на запятки и слѣзъ у Петергофскаго парка. Онъ вспомнилъ о брессановскомъ конѣ, котораго, два дня назадъ, онъ оставилъ въ чухонскомъ выселкѣ за Петергофомъ. — «Конь отдохнулъ, — рѣшилъ

онъ, — возьму его и до ночи еще посиѣю въ Петербургъ... Не удалось предупредить государя, спасу его иной диверсией... Войско покинуло столицу: принцъ Іоаннъ на Крестовскомъ; отобью его у слабой стражи, выставлю въ тылу бунтовщиковъ, и тогда... тогда посмотримъ»...

Мирovichъ углубился въ лѣсъ, въ обходъ Петергофа, переполненного и шумѣвшаго войскомъ.

Близился вечеръ; но было еще жарко. Потъ градомъ капалъ съ лица Мирovichа. Ноги путались, вязли въ высокой цѣпкой травѣ. До него долетали звуки уличной ѣзды, ржаніе лошадей, крики и пѣсни толпившихся на площадяхъ и у дворца военныхъ командъ. Но вотъ все стало замолкать. Онъ отдалился отъ города. Лѣсная чаща охватила его тѣнью и прохладой. Только подорожники, да жаворонки заливались на усѣянныхъ цвѣтами полянкахъ; дрозды съ рѣзкимъ, звонкимъ шолканьемъ перелетали подъ нависшими кустами; пахло сосновой смолой, да солнце наискось, изъ-подъ вѣтвей, освѣщало толстые мшистые стволы.

Влѣво проглянула полоска взморья. До посѣлка оставалось версты двѣ-три. Мирovichъ завидѣвъ его съ пригорка, распозналъ и крайній дворъ, гдѣ бросилъ лѣгкого. — «Скорѣй, скорѣй!» — торопиль онъ себя. Но едва онъ пересѣкъ дорогу, шедшую изъ Петергофа въ Гостилицы, сзади отъ парка послышались звуки колесъ, рессоръ и переливистое, тонкоголосое, далеко-слышное выкрикиванье форейтора: «па-а-ди». — «Видно, рыдванъ, — подумалъ Мирovichъ, — знатный баринъ какой-нибудь спѣшитъ убраться отъ этой передряги въ свое помѣстье». — Онъ сошелъ съ дороги и углубился въ ближнія деревья.

Снизу, съ долины, пыхтя вспотѣвшимъ, упареннымъ восьмерикомъ и врѣзываясь въ ступицы въ разрыхленный сѣроглинистый грунтъ, подъ хлопанье кнута и понуканіе возницъ, забирая рыси, на дорогу грузно вѣхала большая, цвѣтомъ оливковая, четырехъ-мѣстная, съ придворными гербами, карета.

Видъ кареты былъ необычный. Зеленныя шторы въ ея раскрытыхъ окнахъ были опущены. На козлахъ, на запяткахъ и даже на откинутыхъ подножкахъ, стояли съ мушкетерами гренадеры. По бокамъ и нѣсколько поодаль, впереди и назадъ, попеременно съ гусарскимъ конвоемъ, ѣхали верхомъ нѣсколько гвардейскихъ офицеровъ. Между по-

слѣдними Мирѡвичъ съ удивленіемъ разглядѣлъ видѣнныхъ имъ не разъ, въ минувшіе дни, въ ресторанахъ Дрезденши и Амбахарши, князя Федора Барятинскаго, Баскакова и Пассека. Изъ-подъ качнувшейся гардины, онъ распозналъ въ каретѣ и лицо, со шрамомъ на щекѣ, Алексѣя Орлова—*«le balafré»*.

«Что бы это значило?—подумалъ Мирѡвичъ, сквозь вѣтви деревьевъ слѣдя за страннымъ, по рытвинамъ и обнаженнымъ на взбитой дорогѣ корнямъ, удалявшимся кѡртежомъ: — Орловъ, Барятинскій... и Пассекъ! этотъ какимъ образомъ? онъ былъ арестованъ!—да и всѣ они?... ихъ ли везутъ или они кого сопровождаютъ? Притомъ, куда и какого рода особу?»

Мирѡвичъ вышелъ изъ чащи. Карета и ея конвой скрылись. И въ то же время изъ-за деревъ, куда они уѣхали, снова послышался стукъ колесъ. На дорогѣ показалась рогожанная кибитка. Сидѣвшій въ ней поспѣшно вылѣзъ у поворота къ Петергофу, взошелъ на бугоръ и, наставя руку надъ глазами, о чѣмъ-то говорилъ съ кучеромъ. Въ желтолицомъ, обрюзгломъ и безбородомъ хозяинѣ кибитки Мирѡвичъ узналъ салотопеннаго купца Селиванова, къ которому въ мартѣ государь заѣзжалъ близъ Шлиссельбурга и котораго приглашалъ въ Ораніенбаумъ.

— Видѣли, видѣли?—обратился къ подошедшему Мирѡвичу Селивановъ:—его, батюшку-то, радѣльца нашего повезли...

— Кого повезли?

— Да государя-то, нашего спаса и милостивца.

Мирѡвичъ вздрогнулъ.

— Быть не можетъ!—сказалъ онъ.

— Іонъ, ваша милость, іонъ!—продолжалъ Селивановъ:—занавѣсочка-то колыхнулась въ ейную сторону... а іонъ, родной, какъ есть табѣ, въ уголочку сидитъ и глядитъ... Этакое окаянство, обида всему бѣлому свѣту, смертныи смуть... Говори же, ваше благородіе, каки-таки супостаты?

Мирѡвичъ сообщилъ Селиванову о перемѣнѣ, происшедшей въ тотъ день.

Въ оловянныхъ, дико устремленныхъ глазахъ сектанта изобразилось крайнее смущеніе и испугъ. Онъ снялъ шапку, двуперстно перекрестился и задумался, шевеля отвисшими, блѣдными губами.

— Спаси его Иисусъ Господь и помилуй!—сказалъ онъ, подтягивая на себѣ поясъ и, съ мрачной злобой, глядя

внизъ на долину:—липились вѣрнаго спаса, другого видно ждать. Разрази, охъ, развѣй прахъ; а ужъ всё, то-ись, всё, кажись, какъ одинъ... Объяви онъ, радѣлецъ, надежа вѣрныхъ рабовъ, слово только вымолви...

— Могу ли васъ просить объ одолженіи? — произнесъ, заторопясь, Мирѳичъ.

— Меня-то? проси, баринъ. Каки тебѣ дѣла?

Мирѳичъ объяснилъ, какъ и зачѣмъ попалъ сюда, и попросить подвезти за конемъ, въ выселокъ.

— Ну, ваше благородіе, про коня своео лучше позабудь, — сказалъ Селивановъ: — самъ говоришь, эки войски тутъ прошли и сколько было всякаго наянства, озорниковъ. Лучше садись, прямо въ Питерь подвеземъ. Надо бы въ Кронштадтъ, да и тамъ, чай, сподѣхъ... въ галерной у землячка, пока чтѣ, остановимся... Такъ ли? Только не почтовою, сударь, а возьмемъ-ка еще поправѣй, проселками... Охъ, охъ! отцы святыя, бѣлы-голуби, угоднички! Иисусе сладчайшій! пришли, знать, остатни послѣдни времена...

Мирѳичъ сѣлъ въ кибитку Селиванова. Къ ночи они, съ остановками, по взморью и въ объѣздъ почтоваго тракта, достигли Петербурга и направились къ галерной гавани, гдѣ былъ домъ кожевника, пріятеля Селиванова. Въ то же время въ нарвскія ворота началось торжественное, обратное вступленіе войска изъ петергофскаго похода. Солдаты обвили шляпы и мушкеты дубовыми вѣтвями. Музыка не умолкала въ теченіе всего пути. Екатерина на томъ же бѣломъ, въ яблокахъ, запыленномъ конѣ, во главѣ пѣшихъ батальоновъ, вступила въ столицу. Колокольный звонъ сливался съ звуками побѣднаго марша и съ криками бѣжавшей за войскомъ толпы. Двери церквей всюду были настежь растворены. Въ ихъ глубинѣ, передъ ярко-освѣщенными алтарями, въ полномъ облаченіи стояло духовенство, правя молебны за побѣдителей, «утвердившихъ и упрочившихъ престолъ». — «Ликуйте, — съ лихорадочной, злобно-радостной дрожью думалъ Мирѳичъ, вѣдуци Петербургомъ и прислушиваясь къ крикамъ и шуму радостнаго народа, — часъ пробѣтъ... недолго ждать — выдвину вамъ такое, что всё опомнятся, отвѣтять, какъ на страшномъ судѣ... Вы цѣпляетесь за живое: я поставлю вамъ фантомъ, грознаго и мстящаго мертвеца...»

Передъ отъѣздомъ изъ Петергофа, Екатерина, еще 29 іюня, послала Никитѣ Панину указъ: безъ замедленія принять въ его распоряженіе всѣ тѣ секретныя и высшихъ политическихъ интересовъ дѣла, которыми послѣ Унгерна завѣдывали Нарышкинъ и Волковъ; а генераль-маіору Силину быть взаимнѣ Жихарева старшимъ приставомъ при плимсбургскомъ арестантѣ.

Бумага уже была запечатана и сдана къ отсылкѣ. Екатерина велѣла задержать фельдгегера и вручила ему еще другой, особой важности указъ на имя Силина, съ собственноручной надписью на пакетѣ «самонужнѣйшее и безотлагательное».

XXII.

Забытый.

Столичныя происшествія, казалось, не коснулись обитателей мызы Гудовича. О нихъ, повидимому, забыли. — «Ужели не знаютъ, гдѣ принцъ? — разсуждалъ приставъ Жихаревъ, — что мудренаго въ такомъ переполохѣ и суетѣ!» — Онъ разставилъ караульныхъ у всѣхъ входовъ и выходовъ флигеля и, строго подтвердивъ стражѣ — быть наготовѣ и глядѣть въ оба, вторые сутки не выходилъ изъ комнатъ. Малѣйшій звукъ извнѣ заставлялъ его вздрагивать.

Судьба арестанта не выходила изъ его головы. Мать Гудовича, съ дочерьми, утромъ, наканунѣ возвращенія Екатерины, навѣдалась въ Петербургъ и навезла такихъ вѣстей, что на особое усердіе инвалидовъ Жихарева ужъ трудно было и разсчитывать. Хозяйки не успокоились, послѣ обѣда велѣли опять запрячь берлинъ и поѣхали въ городъ, но къ вечеру не возвратились. Дворня по-своему стала судачить, что видно посылую хрычевку, съ ея длиннохвостницами, взяли на съѣзжую и ужъ все имъ теперь припомнать. На барской кухнѣ и въ молодецкѣ слышались грубые, дерзкіе возгласы, брань и угрозы бросить мызу и идти туда, куда, молъ, всѣ идутъ. — «Какъ бы еще, братцы, не отвѣтить?.. матушка-то вѣдь наша зорка... гляди, во какъ взыщеть!» — ворчалъ сѣдой, помнившій Перваго Петра и его казни, поваръ. Убравъ посуду, онъ скинулъ фартукъ и колпакъ, одѣлъ старый зипунишко и, понурившись, вышелъ за ворота. — «Она, гляди, всѣхъ перепишетъ... — надумалъ и въ свой чередъ всѣмъ объявилъ съ

полатей, охотникъ до сказокъ и картъ, пѣвецъ и весельчакъ, выѣздой конюхъ, — то-ись, кто, значить, опоздалъ и по какому резонту?.. А какі раньше придуть, тѣмъ, братцы, и воля навѣки нерушимо сказана будетъ!» — Кухонный мальчикъ подмигнулъ фореитору, тотъ водовозу, а этотъ лакею. Молодежь пуртомъ вывела со двора лошадей, будто какъ всегда на водопой, и была такова. Кто постарше, подождали нѣсколько и въ одиночку, другъ за другомъ, также шмыгнули за ворота.

Смеркалось. Жихаревъ прошелся по саду и, возвратясь во флигель, присѣлъ къ столу. Ему пришло въ голову написать рапортъ къ генераль-полицеймейстеру, прося его объ инструкціяхъ касательно принца. — «Этимъ хоть напомню о себѣ» — подумалъ онъ, и вдругъ остановился. До его слуха долетѣлъ стукъ большого подѣхавшаго экипажа. Кто-то разговаривалъ у воротъ, шель къ крыльцу. — «Кто бы это былъ? — смущенно подумалъ Жихаревъ, взглядывая на дверь, — ужели вспомнили забытаго? и къ лучшему или къ худшему?»

На крыльцѣ послышался звонъ шпоръ, торопливые шаги. Впопыхахъ воѣжала блѣдная, растерянная горничная Гудовичей, Гаша.

— Какой-то господинъ пріѣхалъ, — сказала она: — караулъ снимаютъ... васъ спрашиваютъ... гусары верхами...

— Кто пріѣхалъ?

— Незнаемые все люди, — отвѣтила Гаша.

Жихаревъ схватилъ шпагу, бросился въ пріемную. Тамъ, ровняя приведенную эскорту, стоялъ рябой и, какъ киргизъ, плосконосый, въ генеральской формѣ, кавалеристъ.

— Вы майоръ Жихаревъ?

— Такъ точно-съ... А вы, позвольте?

— Генераль-майоръ Силинъ... Гдѣ арестантъ Безыменный?

— Вамъ онъ зачѣмъ понадобился? и по чьему повелѣнію изволите, ваше превосходительство, его у меня требовать?

— Ахъ, Богъ мой! какія тутъ еще конверсаціи, да экспликаціи? — сказалъ, нетерпѣливо пожавъ плечами, Силинъ: — именемъ нынѣ царствующей государыни нашей императрицы, спрашиваю я васъ, гдѣ здѣсь содержится вѣранный вамъ, извѣстный секретный колодникъ?

— Указъ, государь мой, письменный указъ, — отвѣтилъ, блѣднѣя, съ дрожью обнажая шпагу и отступая къ порогу, Жихаревъ: — мало ли въ свѣтѣ колебаній! и кто нынче на-

чальники, — не всякъ свѣдомъ!.. А какъ я разума еще не весьма лишился, то уповательно и по довольной тому причинѣ, какъ главный и персональный здѣсь приставъ, прошу вашу милость удалиться...

— Эка врать, батенька, горазды! читайте! — презрительно, въ полъ-оборота, сказалъ Силинъ, подавая указъ: — видѣть изволите... не вы, милостивецъ, а я отнынѣ главный приставъ при оной, тайно здѣсь содержимой, персонѣ...

Жихаревъ пошатнулся. Гапша бросилась въ коридоръ, оттуда въ садъ.

— Еще уграживать, братишка, вздумалъ! — продолжалъ, чванливо фыркая, Силинъ: — а у васъ тутъ, какъ вижу, все по семейски, по простотѣ... Окна безъ положенныхъ закрѣпъ и женскій палъ, видно, для поговорки — отъ скуки, тутъ же, по близости арестантскихъ свѣтлицъ... Обо всѣхъ сихъ зlostныхъ и вопреки регламенту послабленіяхъ и апрошахъ будетъ доведено до свѣдѣнія свыше...

— Ничего безъ указу и супротивъ статута! — въ силу одолевая бѣшенство, прохрипѣлъ Жихаревъ: — а неучтивыхъ выскочекъ, какого бы ранга они ни были, да нумныхъ протежѣ сильныхъ міра сего мы видывали и унимали... что пугаете!.. отвѣтить сумѣемъ.

Онъ вынулъ изъ кармана ключъ и положилъ его на столъ. Силинъ прошелъ въ смежную комнату, отперъ дверь къ узнику. Появленіе вооруженныхъ, враждебно смотрѣвшихъ людей испугало, ошеломило принца.

— Ахъ, да что же вамъ? ну! — произнесъ онъ, отступая и бросаясь къ окну.

— За вами, сударь, — пожалуйста! — возвысиль голосъ Силинъ: — приказъ новой монархини, извольте вѣхать со мной...

— Врешь ты, врешь! — крикнулъ арестантъ: — нагъ ступи, голову разнесу...

Онъ подхватилъ тяжелый, обитый кожей стулъ.

Силинъ попытался къ двери, дать знакъ. Солдаты, придерживая палаши, бросились съ двухъ сторонъ къ арестанту.

— Все то вранье, не смѣте! — размахивая стуломъ, съ пѣной у рта, кричалъ узникъ: — шестуны вы, еретики, меня зашептали... Я здѣшней имперіи принцъ и вашъ государь...

Гапша видѣла изъ сада, какъ уговаривалъ узника Силинъ, слышала его угрозы, новые возгласы принца. И вдругъ все стихло. Окна принцовой комнаты заслонились зелеными,

порывисто-двигающимися кафтанами солдатъ. — «Въ васъ жалости, сударь, нѣтъ! — раздался срывавшійся, всхлипывавшій возгласъ Жихарева: — вспомните, генераль, кто овъ...» — «А, жалостники! черти! вотъ я васъ! бери его! въ мою голову вяжи...» — командовалъ солдатамъ Силинъ.

Послышался стукъ падавшей мебели, звонъ разбитыхъ стеколъ. Чья-то худая, блѣдная рука мелькнула поверхъ солдатскихъ головъ. Костлявое въ бархатномъ штиблетѣ коленно судорожно поднялось и скрылось между скученныхъ плечъ. Раздался глухой, нестройный топотъ тяжело удалявшихся солдатскихъ шаговъ. Съ кѣмъ-то въ комнатахъ и на крыльцѣ боролись, кого-то унимая, съ угрозами и бранью торопливо несли.

Шумъ затихъ. Гаша опомнилась, бросилась во дворъ, за ворота. По лѣсной, стемнѣвшей простѣкѣ, поднимая пыль, мчалась большая, шестерней, ямская карета. За нею скакалъ кавалерійскій отрядъ. Ни въ домѣ, ни во дворѣ, ни около — не было видно ни души. Полицейскихъ стражниковъ Силинъ, прибывъ сюда, отправилъ въ городъ, а Жихарева, не давъ ему времени опомниться, какъ и его арестанта, увезъ съ собой. Гаша вспомнила о ближней мызѣ Птицыныхъ, накрылась платкомъ и бросилась туда. Хмурая облачная ночь надвигалась кругомъ. У огорода, близъ сада Птицыныхъ, Гаша оглянулась и всплеснула руками. Надъ деревьями, въ той сторонѣ, откуда она пришла, поднялось что-то яркое, дымно-багровое. Отблескъ пожара всходить выше и выше, далеко освѣщая Каменный и сосѣдніе острова.

Въ тотъ же вечеръ, отъ пристани, у Колтовской отчалилъ паромъ. На немъ толпились рабочіе съ сосѣднихъ, стекляннаго и порохового, заводовъ, огородники и нѣсколько мѣщанъ. Здѣсь же стояла извозничья коляска. Сѣдоки изъ нея не вставали. Всѣхъ занимало зарево, виднѣвшееся впереди.

— Таперича, значить, и безъ фонаря всякъ пройдетъ, — отозвался кто-то отъ каната: — иголку мамзель и то найдетъ.

Въ толпѣ засмѣялись.

— Фу, милые! вотъ жарить! полыхать стало, — проговорилъ сутуловатый, въ веснушкахъ, солдатикъ: — гляди, Миколаевъ, искры-то... а дымъ! вотъ закурило... лихо!..

— А что горить? — рѣшился спросить одинъ изъ сидѣвшихъ въ коляскѣ.

— А Богъ е зна...

— Нѣмцевъ иродовъ чествуютъ, луминація христопродавцамъ и ихнимъ угодынкамъ, — пояснилъ первый голосъ изъ толпы: — хлебать, жеребцы, въ-какъ дужи, налопаются...

— А что, братцы, вѣдь это Гудовичева мыза, — сказалъ опять солдатикъ: — ишь ты, у заводей! она и есть.

Всѣ надвинулись къ канату: — «Эхъ, эхъ, вотъ полыхаетъ!»

— Аполлонъ? ужли-жъ мы и тутъ опоздали? — вполголоса въ коляскѣ спросилъ Мирovichъ своего пріятеля Ушакова. — Тотъ, молча, смотрѣлъ въ направленіи пожара.

— И всѣмъ то же будетъ, всѣхъ, постои, порышатъ! — пробурчалъ плечистый, оборванный мужичонка, корявыми, въ мозоляхъ руками натягивая бечеву.

— Да чѣмъ же онъ, хоть бы Гудовичъ-анараль, провинился? — отозвался слабымъ, почти дѣтскимъ голоскомъ съдой огородникъ: — баринъ милостивый, тишайшій, выдывали его сколько разовъ...

— Потому нѣмцамъ, все одно, чорту братъ.

— Да ты вотъ, слышь, дѣдушка, не то ишло будетъ! — откликнулся съ другого конца парома чей-то глѣбучій, бархатный голосъ: — завтра висѣлицъ передъ сенатомъ наставятъ и всѣ-ѣ-хъ суцостатовъ, погубителей нашихъ, вѣшать будутъ.

— Алырники, пѣсьи души! значить, рѣшилась, пошла таперича Рассей: держись вверху тормашками!

— А-а! у! — вздрогнула и раскатисто надъ водой загоготала толпа.

Паромъ причалилъ къ берегу. Коляска своротила въ просѣку, уже полную запаха гари. Подъѣхавъ къ прибрежной полянѣ, путники встали, велѣли возницѣ ждать, и съ-надъ вѣтра лѣсной чащей направились къ пожаришу.

На мѣстѣ обширной, богатой усадьбы торчали одни обугленные, шипѣвшіе древесные стволы. Рабочіе съ топей и кое-кто изъ насипѣвшихъ окрестныхъ жителей, стоя поодаль, съ тупымъ любопытствомъ слѣдили за громадными, догоравшими кострами.

— Чья мыза сгорѣла? — спросилъ, подойдя къ нимъ, Мирovichъ.

— Гудовича.

— Всѣ ли спаслись?

— А хто е зна...

— Но куда жъ дѣлись жившіе здѣсь?—спросить Ушаковъ.

— Попеклись, видно, на картошки, а може къ своимъ въ нѣмечину, — смолёные нехристи, — побѣгли.

Ушаковъ оглянулся. Мировичъ кого-то примѣтилъ въ толпѣ, съ кѣмъ-то говорилъ. На травѣ, горько плача о погибшемъ добрѣ, сидѣла съ птичьими людьми прибѣжавшая на пожаръ Гаша.

— Увезли его, спасли, — повторяла она: — а добро-то, добро все погорѣло.

Начинало свѣтать. Вдали слышались звуки бубенчиковъ и колокольчиковъ. Скакала не ко времени пожарная команда. Впереди нея неся казачій разъѣздъ.

XXIII.

Докладъ Панина.

Новыя яркія свѣтила всходили на горизонтѣ новаго двора. Всѣ стремились согрѣться въ ихъ пышныхъ, много обѣщающихъ лучахъ. Всѣ ловили вниманіе этихъ счастливецъ, ихъ улыбку, взоры, слова; низко имъ кланялись, совались съ предложеніемъ дружбы, услугъ. Имя невѣдомыхъ дотолѣ и небогатыхъ братьевъ Орловыхъ, рядомъ съ именами Никиты Панина, Дашковой и новаго секретаря императрицы, Григорія Теплова, не сходили съ языковъ петербургскаго общества.

Пятаго іюля, на шестой день своего царствованія, Екатерина назначила, внѣ очереди, особый докладъ воспитателю своего сына, Никитѣ Иванычу Панину, вѣдавшему теперь, въ числѣ прочихъ важныхъ дѣлъ, такъ-называемыя, секретныя.

Близился полдень. Императрица, отпустивъ генераль-но-лицеймейстера, гофмаршала и двухъ-трехъ изъ военныхъ лицъ, привела кое-какъ въ порядокъ кучи бумагъ, которыми въ эти дни успѣли загромоздить ея письменный и два вспомогательныхъ ломберныхъ стола въ кабинетѣ Лѣтнаго дворца на Фонтанкѣ. Наканунѣ, въ одинъ изъ корпусовъ этого дворца, для ускоренія всѣхъ дѣлъ вообще, по именному указу новой монархини, совершенно неожиданно было переведено присутствіе правительствующаго сената. Въ ожиданіи Панина, Екатерина умыла примаранныя чернилами руки, покормила бисквитами собачекъ, подаренныхъ ей кѣмъ-

то въ эти дни и лежавшихъ на атласныхъ стеганыхъ тюфячкахъ у кровати, въ ея спальнѣ, и сѣла къ столу.

Сорокалѣтній, флегматическій, добродушный и лѣнивый отъ природы блондинъ, Никита Ивановичъ Панинъ, нѣсколько лѣтъ провелъ на дипломатическомъ поприщѣ въ Даніи и свободной Швеціи, а теперь второй годъ состоялъ блюстителемъ воспитанія «порфиноноснаго отрока», сына императрицы, — стремясь готовить сердце его «ко времени зрѣлаго возраста» — какъ было ему указано въ инструкціи — «въ простотѣ, добронравіи и отдаленіи отъ всякихъ излишествъ и роскошей, а также отъ ласкателей, для коихъ довольно еще впереди остается».

Чиномъ генераль-поручикъ и александровскій кавалеръ, Никита Ивановичъ рѣдко пудрилъ свои густые, русые волосы, нося ихъ въ небрежно-сбитыхъ и путавшихся на вискахъ и у косы, крупныхъ природныхъ бугряхъ. Ходилъ онъ на мягкихъ, полныхъ и вѣжливо ступавшихъ ногахъ тихо, слегка покачиваясь, точно ныряя; носилъ голубой, съ блестками, мѣшковатый, бархатный кафтанъ; говорилъ неохотно, скрапшывая, впрочемъ, медленную и подчасъ разсѣянную рѣчь умною улыбкой ласково и спокойно наблюдательныхъ глазъ. Подышавъ воздухомъ счастливыхъ въ то время норманскихъ народовъ, завоевавшихъ себѣ упорнымъ трудолюбіемъ и умѣренностью широкія муниципальныя вольности, онъ грезилъ о перенесеніи этихъ вольностей и въ Россію, и въ душѣ былъ искренній либераль.

При покойной царицѣ-теткѣ, Екатерина, цѣня умъ и сердце пѣстуна своего сына, уважала его, искала его сочувствія, но не особенно его любила, а скорѣе боялась. Теперь, видя его въ числѣ своихъ первыхъ, усерднѣйшихъ, умнѣйшихъ и опытнѣйшихъ помощниковъ, она ему высказала откровенное свое вниманіе, хотя внутренно стѣснялась сознаніемъ громадной услуги, оказанной Панинымъ ей и ея счастливо-конченному дѣлу.

Въ городѣ упорно носилась молва, что Екатерина приняла престолъ лишь до совершеннолѣтія сына, и что Панинъ оказалъ ей поддержку, подѣ условіемъ — введенія въ Россію шведской формы правленія...

«Шведскій прожектъ» Никиты Ивановича былъ теперь моднымъ предметомъ всѣхъ разговоровъ внѣ-дворской среды. Во дворцѣ о немъ почтительно умалчивали.

Было безъ четверти двѣнадцать. Въ пріемной залѣ, предъ кабинетомъ императрицы, толпилось нѣсколько вельможъ. Между ними въ глубинѣ у камина, стояли: — съ кучей бумагъ подъ мышкой, — Олсуфьевъ; жевавшій губами и пыхтѣвшій отъ мысли — добиться на бумагѣ подареннаго ему Дѣдова, Измайловъ; въ новенькихъ башмакахъ, съ красными каблукками, Бецкій и простудившійся въ мянушіе, хлопотливые дни, въ сильномъ насморкѣ, гетманъ Разумовскій. У окна, смотря изъ него на кипѣвшій праздничной толпой Лѣтній садъ, переговаривались нѣсколько гвардейскихъ офицеровъ, въ томъ числѣ Бредихинъ, Хитрово и герой пережитыхъ дней — Алексѣй Орловъ.

— Живемъ, однако, въ сумнительныя времена, — сказали, усмѣхнувшись и не спуская глазъ съ окна, Орловъ.

— Что такъ? — спросилъ небрежно Бредихинъ.

— Красавицы нонѣ вовсе обмелѣли. Вотъ сколько времени гляжу на щеголихъ, ни одной, точно вѣтромъ ихъ разнесло. За невѣстами, видно, въ Москву.

— А эта, эта? — указалъ въ окно Хитрово: — глаза, что-ли, Алексѣй Григорычъ, запорошены? гляди, какова краля.

— Гдѣ?

— Да вонъ, въ розовомъ, арабченокъ несетъ зонтикъ; ужъ эта будетъ моя...

Офицеры стѣснились къ окну.

— А примѣчено многое, многое, — шепталъ у камина Олсуфьеву Измайловъ: — примѣченъ ужъ и новый триумвиратъ.

Олсуфьевъ поднялъ вопросительно брови.

— Мы малы, тѣ знатны: мы останемся въ низости, тѣ зато рангами и всѣмъ будутъ обнадежены.

— Да о комъ ты это? — спросилъ Олсуфьевъ.

— Эхъ, батюшка, ужли не видишь? Стою я вчера на выходѣ. Начался «безъ-мѣнъ». Подходить чортова голова, шведскій прихвостень, Панинъ... Переглянулся съ Орловымъ и съ гетманомъ, и говорить государынѣ: — дерзаю утруждать всеработенно — объ увольненіи изъ крѣпости Волкова...

— И что-жъ?

— А всенепремѣнно освободить. Отблагодарить будетъ вѣдь чѣмъ. И зачинщикъ всему — тотъ же первый гипокритъ, какихъ не бывало, Панинъ.

— Ну, не все ври, что знаешь, — проговорилъ, косясь въ сторону, Олсуфьевъ.

— Да клянусь, лопни глаза, да я все ему, пёсией душой, прямо и самолично...

Измайловъ не кончилъ. Онъ увидѣлъ, какъ взоры всѣхъ вдругъ обернулись и головы почтительно и дружески склонились навстрѣчу медленно, въ-перевалку, съ портфелемъ входившаго толстаго, высокаго, слегка-блѣднаго Панина. Онъ поздоровался съ гетманомъ, съ прочими, обмѣнялся парой словъ съ Бецкимъ и тяжело, морщась отъ усталости, сѣлъ въ кресло. Его глаза досадливо и вяло смотрѣли на часы надъ каминомъ и на кабинетную дверь, близъ которой у шелковой ширмочки стоялъ дежурный камеръ-лакей.— «Какъ устрою, на манеръ Швеции, высшій имперскій выборный отъ народа совѣтъ,—думалъ онъ, презрительно поглядывая на придворныхъ:—ограничатся случайности и капризы, выслушается голосъ страны».

— Если взять за извѣстное,—сказалъ, низко склонясь и заискивающе лебезя передъ Панинымъ, Измайловъ:—вашъ шведскій прожектъ, можно чести приписать, обезсмертитъ имя создавшаго. А вашихъ враговъ,—я упователенъ, и довольная тому есть причина,—не щадите за оскорбительные вашему превосходительству разговоры и умыслы. Всѣ однимъ гребнемъ чесаны. Я-жъ, какъ вѣрный патріотъ, и по вся дни съ рабскимъ ея величеству благодареніемъ...

Панинъ молчалъ.

Часы, зашигнувъ, громко прозвонили двѣнадцать. Въ кабинетъ послышался тоненькій, серебристый звукъ колокольчика. Туда вошелъ и, опять выйдя оттуда, обратился къ Панину-камердинеръ. Тотъ, просіявъ, весело всталъ.

— Итакъ, cher ami, ты все за свое? фолькстингъ и совѣтъ высшихъ чиновъ по выбору?—произнесъ, подмигнувъ и дружески тронувъ Панина за руку, гетманъ.

— Все, что въ силахъ... и чѣмъ могу служить къ славѣ... все откровенно будетъ доложено ея величеству!—произнесъ Панинъ, взявъ портфель, торжествующимъ взоромъ окинувъ присутствовавшихъ и, съ гордо-поднятой головой, увѣренно и спокойно проходя въ кабинетъ государыни.

Екатерина сидѣла спиной къ двери, въ небольшомъ, обитомъ бѣлымъ штофомъ, креслѣ, у выгибнаго, стоявшаго передъ окномъ, письменнаго стола.

— Ну, Никита Ивановичъ, — послышался ея твердый и

мужественно ласковый голосъ, когда Панинъ, притворивъ за собой дверь, съ поклономъ подошелъ къ другому боку стола:—садись, голубчикъ. Какъ дѣла? Господа-сенать, чай, не очень довольны, что я ихъ перевела къ себѣ въ запасной павильонъ?

Панинъ, слегка нахмурясь, что-то промычалъ, неловко торопливыми приемами толстыхъ пухлыхъ пальцевъ усиливаясь отпереть навязанный ему, полный докладовъ, съ хитро-устроеннымъ замкомъ, портфель Теплова.

— Да ты не трудись, Никита Ивановичъ, — сказала съ улыбкой, слѣдя за его пальцами, императрица:—а вотъ что лучше... прислушай-ка... бумагами займемся послѣ...

Панинъ тяжело, плотной грудью, перевелъ духъ и, скрипя и потянувъ шею, точно отъ плотно-завязаннаго платка, обратилъ къ Екатеринѣ моргающіе, затуманенные отъ усталости и внутренней досады глаза.

— Знаешь ли, каковы дѣла мнѣ достались въ наслѣдство?—вдругъ спросила императрица, вынувъ изъ-подъ бронзовой накладки ключокъ бумаги, мелко исписанный карандашомъ.

— Не знаю, государыня,—ответить, недовольно склоняясь къ столу, Панинъ:—высокій сенать, по должности и приличію, изготовляетъ своему монарху докладъ обо всѣхъ важныхъ государствахъ и дѣлахъ...

Екатерина раскрыла крошечную, съ финифтью, табакерку, взяла щепотку любимаго бобковаго табаку, и, медленно понюхавъ, протянула табакерку Панину.

— Обратимся хоть къ иноземнымъ дѣламъ,—начала Екатерина, глядя и будто не глядя на Панина, неуклюже сидѣвшаго противъ нея, съ поджатыми, длинными ногами, по другой бокъ стола:—сухопутная армія наша въ Пруссіи, побѣдители-то, слыхано ли?—не получали жалованья больше, тѣмъ за полгода... Хорошо ли это? а? да еще на виду у другихъ, въ чужихъ-то краяхъ!.. А въ статсъ-конторѣ, сударь, именныя указы не выполнены о производствѣ уплатъ почти на семнадцать милліоновъ... это каково?

Панинъ нетерпѣливо шевельнулъ бровями и, съ усиліемъ согнувшись, опять отставилъ къ креслу на полъ Тепловскій, толстый портфель.

— Ну-съ, а вотъ это какъ вамъ сдается? — продолжала Екатерина:—шестьдесятъ милліоновъ монеты, считающейся

въ обращеніи, — всё двѣнадцати разныхъ чекановъ, пробъ и цѣны... Легко ли народу справиться съ дѣлами въ такомъ финансовомъ дезабильѣ? А внутри имперіи, внутри?.. Заводскіе и монастырскіе крестьяне всё почти въ явномъ бунтѣ... Ты скажешь, пожалуй, помѣщицы-де тихи? Э, постой,—и объ этихъ мы имѣемъ вѣрныя, печальныя вѣсти... И они мѣстами ужъ явно сближаются съ первыми, готовы знамя возстанія поднять...

— Императорскій совѣтъ, монархія, — возразилъ Панинъ:—какъ первое мѣсто, могъ бы, на-прикладъ Швеціи, или... потому, что пренебреженный въ послѣднее время сенатъ...

— Опять сенатъ! Эхъ, Богъ мой!—произнесла, сухо поведя глазами, Екатерина: — ты извини меня, другъ! самъ ты хотѣ и сенаторъ, но я отнюдь шиканствомъ и издѣвкой какой не хочу тебя умышленно обижать... Надо правду сказать: — ты больше съ моимъ сыномъ возился, его только вѣдалъ и—великое тебѣ спасибо за Павла (Екатерина слегка поклонилась) — мальчика маво ты сохранилъ, соблюлъ. Но что грѣха таить? какъ и чѣмъ донинѣ занимались у насъ господа-сенатъ? Маремьяна старица за весь міръ печалится... а на дѣлѣ? Изъ репортровъ генераль-прокурора вижу, шесть недѣль къ-ряду высокій сенатъ всѣмъ департаментомъ слушалъ... что же?.. чтеніе дѣла, да не въ экстрактѣ, а цѣликомъ, о выгонѣ города Мосальска. Богъ мой! Да и то бы еще ничего... Къ чему только ни привыкла бѣдная русская страна! А то плохо, сенаторы лишь междоусобствуютъ, вражду и ненависть питаютъ другъ къ другу, не терпятъ чужихъ мнѣній, оттого и партіи, а дѣла въ рукахъ канцеляріи. Не диво же, что вашихъ рѣшеній и указовъ нигдѣ не выполняютъ, а по нажитой въ такомъ неряшествѣ по-словицѣ отъ правящаго-то сената ждуть—третьяго указа... Ну, посуди, Никита Ивановичъ, каково?

Панинъ отеръ лобъ, кракнулъ, принялъ менѣе хмурое, болѣе внимательное выраженіе лица и, утомивъ длинныя, непослушныя ноги, ближе придвинулся съ кресломъ къ столу.

— Тяжело править провинціями изъ петербургской, столь отдаленной, столицы,—сказалъ онъ внушительно:—ошибка, впрочемъ, въ этомъ не наша... исправить допущеніемъ добрыхъ и опытныхъ совѣтовъ можно бы...

— Петра-то Великаго съ тобой, Никита Ивановичъ, будемъ винить и уличать?—возразила съ улыбкой Екатерина:— шутишь; не тутъ корень злу—въ нашей, извини, общей недорослости и лѣни. Право-праващій сенатъ — слыхано ли? — опредѣляетъ воеводъ, а числа городовъ въ Россійской державѣ... не знаетъ... Намедни — тебя не было — спрашиваю въ засѣданіи у Глѣбова реестръ городовъ: признался, не имѣется при сенатѣ. Карты имперіи — ну, посуди — ландкарты въ сенатскомъ зданіи не оказалось... Вотъ она, наша-то, не къ мѣсту гордыня и нерадѣніе. Люблю русскія простыя поговорки: «Напала на кошку спѣсь—не хочеть и съ печки слѣзть»... «Мірская шея толста»... Подумала я, погадала и послала Теплова черезъ рѣчку, въ академію наукъ; онъ мнѣ купилъ въ тамошней лавкѣ, а я тутъ же и поднесла сенаторамъ въ презентъ Кирилловскій печатный Россіи атласъ...

Панинъ несмѣло взглянулъ въ твердый, слегка насмѣшливый взоръ Екатерины и, какъ бы противъ воли рѣшивъ тяжелый, давно его томившій вопросъ, разставивъ руки и, съ торжественнымъ, по-придворному, поклономъ, воскликнулъ:

— Мать-государыня! тебѣ и книги въ руки! учи насъ, будемъ слушать.

— Забыли мы про дубинушку Великаго Петра!—продолжала, опять понюхавъ табаку, Екатерина: — всѣмъ намъ надо еще учиться. Красна, голубчикъ, пава перьемъ, а человекъ ученьемъ. Поговори съ моей кумой садовницей,—баба разумная. Вчера говорить: «зеленъ виноградъ—не сладокъ, младъ человекъ — не крѣпокъ». А ты вонъ, прости, все о шведской системѣ правленія твердишь. Вѣрю твоей искренности. Только всеу законы писать, когда ихъ не исполнять... Совѣты монархамъ! А сами-то совѣтчики, гляди, еще каковы? Какъ наши баре о своихъ подданныхъ пекутся? Разоренія, поборы, правежи черезъ полицію и даже оружіемъ, бѣгства тысячъ семей, а рядомъ—криводушіе и лихоимство судовъ... Земледѣльческій классъ безмѣрно угнетенъ, разоренъ. А самъ знаешь: не будетъ нахотника, — не будетъ и бархатника... Всѣ, всѣ безобразія, по мѣрѣ силъ, думаю устранить... Издамъ сельскій, городской и торговый уставы... А тамъ, помощи Богъ, Никита Ивановичъ,—сказала Екатерина, поднявшись съ кресла и какъ бы вдругъ выросши передъ, также вставшимъ, Панинымъ: — управясь

на черномъ, и на бѣлый дворъ!.. созову тогда и сословія для начертанія общей государственной хартіи...

— Цѣль великихъ, громкихъ дѣлъ, нѣтъ сумнѣнія, ожидаетъ увѣковѣчить ваше царствованіе, монархія!—произнесъ, отирая лицо и опять склоняясь передъ императрицей, Панинъ.

— Елисавета и открепійся императоръ, ея племянникъ, копили деньги,—продолжала съ улыбкой Екатерина, въ то время, какъ ея крѣпкая, съ крутымъ подъемомъ нога, высунувшись въ синей туфтѣ изъ-подъ сѣраго атласнаго молдавана, нетерпѣливо и судорожно шевелилась на коврѣ:—они, ты знаешь, держали казну при себѣ, считая сбереженные деньги своими. А я вамъ, господа, скажу иначе: на правду немного словъ,—все мое и я сама—принадлежимъ государству... Между выгодами моими и моей страны не должно быть разницы...

— Великія слова, государыня, изволили повѣдать!—произнесъ, еще ниже склоняясь и невольно слѣдя за ногой въ синей туфтѣ, Панинъ:—золотомъ на скрижаляхъ записать ихъ въ поученіе вѣковъ...

Екатерина снова сѣла и понюхала табакъ.

— Ну, какія дѣла теперь у тебя, господинъ докладчикъ, на очереди?—спросила она, приготовясь слушать.

— Дѣла секретной комиссіи, — опять доставая изъ-подъ кресла тяжелый портфель, сказалъ Панинъ: — о принцѣ Іоаннѣ...

— А! ну, что же?—какъ довели и помѣстили Иванушку?

— Въ Шлиссельбургъ—благополучно, а по пути въ ново-назначенное ему мѣсто, въ Кексгольмъ,—не совсѣмъ.

— Что же случилось?

— На Ладогѣ, у Кошкина мыса, буря ихъ захватила и разбила трешкотъ. Насилу спаслись.

— Ахъ, бѣдный! вотъ ужъ судьба! Гдѣ же они теперь?

— Вчерашній день Силинъ, изъ деревни Морья, съ полдороги доносилъ, что они сидятъ у озера и ждутъ новыхъ судовъ изъ Шлиссельбурга. А сегодня ужъ изъ Кексгольмскаго плосса эстафету прислалъ.

— Въ какомъ же положеніи арестантъ?

— Неспокоенъ былъ всю дорогу: грозилъ, бранился, буйствовалъ и даже въ драку лѣзъ. Дважды Силинъ его вя-

заль, сажаль въ трюмъ, а во время бури, какъ сломало мачту и стало заливать трешкотъ, — вырвался принцъ на палубу, сталъ возмущать матросовъ: я-де не простой человекъ, — царской крови. Звалъ себя императоромъ, безплотнымъ духомъ, а въ виду Морьенскаго мыса бросился въ воду, — насили матросы успѣли его поймать и вытащить изъ воды. И теперь пристава доноситъ, что онъ беспокоенъ послѣ дороги: плачетъ, всѣхъ кланетъ, призываетъ святыхъ въ помощь, тоскуетъ и проситъ дозволить ему носить подаренное бывшимъ государемъ парадное платье.

— Дозволь, — сказала, подумавъ, Екатерина.

— Книгъ тоже проситъ арестантъ, о прогулкахъ молить,

— Книгъ? развѣ онъ грамотенъ?

— Разумѣетъ.

— Дозволь и книги, — что-жъ! — произнесла, отвернувшись, Екатерина: — ужъ очень его тѣснили.

Панинъ взглянулъ на нее. Его поразило, что она, такъ недавно еще спокойная и увѣренная, будто смѣшалась и не знала, что говорить.

— А насчетъ прогулокъ на воздухъ, вѣѣ шлосса? — продолжалъ Панинъ: — инструкции крѣпости того не разрѣшаютъ.

— Пусть выходитъ, пусть, разрѣши... Ахъ, Никита Ивановичъ, сердце разрывается. Посуди... и жаль его, да и самъ вѣѣ знаешь, — главное наше больное мѣсто столько лѣтъ... Ты видѣлъ его при отправленіи, — скажи, каковъ онъ съ виду?

— У Смольнаго, при высадкѣ его въ барку изъ кареты, никогдѣ я его разсмотрѣлъ. Симпатиченъ онъ и жалокъ; отъ природы же, какъ видно, любознателенъ ко всему, что упущено небреженіемъ его тюрьмы; съ каждымъ заговариваетъ, вглядывается, хоть и выведенъ былъ изъ себя неожиданностью и страхомъ новаго тогдашняго ареста:

— Никита Ивановичъ, не повѣришь, можетъ-быть, — дрогнувшимъ голосомъ, съ чувствомъ сказала Екатерина: — тяжело не только говорить, — думать... Что дѣлать? научи... Чѣмъ могу быть полезна для бѣднаго? Вотъ что... Отцу его думаю предложить вольный возвратъ за границу. Слѣпнетъ онъ, говорятъ, въ Холмогорахъ... Да ужъ посоветуй, другъ, — помолчавъ, вполголоса прибавила императрица: — не отпустить ли вмѣстѣ съ отцомъ и сына?

Панинъ опять взглянулъ на Екатерину, стараясь уловить

въ ея глазахъ, лицѣ, чего именно ей желалось въ это мгновеніе и что ближе было ея помысламъ,—облегченіе-ль судьбы узника, или иные, высшіе государственные расчеты?

— Событію будетъ много, и могутъ выдти скорбныя, тяжелья потрясенія, — отвѣтилъ онъ, чувствуя, что говорить не то, говорить противъ себя, и самъ удивляясь безсердечію и жесткости своего отвѣта.

— Такъ не пускать?

— Боже васъ упаси о томъ и думать. Тронъ вашъ еще не проченъ, требуетъ укрѣпленій.

— Имперіумъ мой... всегда будетъ крѣпокъ съ такими слугами, — опять оживясь и подходя къ китайскому шкапчику, сказала Екатерина.

Она отперла потайной ящикъ и достала оттуда небольшой распечатанный пакетъ.

— Отъ батюшки Алексѣя Петровича изъ Горетова, — продолжала Екатерина, возвратясь снова къ столу и указывая на пакетъ:—лучшимъ моимъ другомъ, извѣстно тебѣ, былъ великій канцлеръ тетки, и враги наши зато безъ сожалѣнія свергли графа Бестужева... Вспомнить — душа стынетъ!.. Ты тогда былъ далеко. Его разжаловали, публично объявили бездѣльникомъ, клятвонарушителемъ, состарѣвшимся въ злодѣяніяхъ, измѣнникомъ отечества, приговорили даже къ смерти. Три тяжкихъ года жилъ онъ въ курной, дымной избѣ, отпустилъ бороду, ходилъ въ нагольномъ мужицкомъ тулупѣ. Но геній графа не померкъ... Онъ явится, — одушевленно, съ засвѣтившимся взоромъ, продолжала Екатерина:—онъ долженъ, въ подобающихъ ему силѣ и блескѣ, явиться у моего трона... Вотъ письмо... Знаешь ли, что онъ отвѣтилъ мнѣ съ курьеромъ на первыя строки, посланныя ему въ день моего воцаренія?

— Гдѣ знать, государыня! Умница въѣдъ графъ Алексѣй-то Петровичъ, — что и говорить, — орелъ умомъ... Не обронить на вѣтеръ слова... А въ горетовскомъ плачевномъ одиночествѣ и заперти, чай, надумалъ не мало достойныхъ высокой своей геніальности мѣръ и помысловъ.

Екатерина посмотрѣла на Панина, какъ бы въ свой чередъ стараясь понять: говорить ли въ немъ ловкій и чуткій ко всякимъ случайностямъ и положеніямъ царедворецъ, или искренно раздѣлявшій ея взглядъ, твердый въ собственныхъ убѣжденіяхъ, государственный дѣлецъ?

— Батюшка Алексѣй Петровичъ совѣтуетъ, — сказала, не спуская глазъ съ Панина, императрица: — первѣе всего совѣтуетъ... подумать о давнемъ нашемъ узникѣ, о принцѣ Іоаннѣ.

— Совѣтъ мудрый, объясняющій доброе сердце.

— Отмѣнные заботы рекомендуетъ онъ положить къ его воспитанію, къ смягченію одичалости нрава, упрямства и грубости судьбы; а затѣмъ, приведя его въ человѣческій, разумный и ласковый образъ, показать его двору и народу.

— Это зачѣмъ? — спросилъ неспокойно Панинъ: — какіе тутъ могутъ быть высшей политики виды?

— Графъ предвидитъ возможность... примирить и какъ бы слить въ принца двѣ священные народу отрасли одной великой, нынѣ расторженной, семьи, — потомковъ Перваго Петра съ потомками брата его царя Ивана...

— Но какое же тутъ можетъ быть примиреніе и слитіе? — сказалъ, не будучи въ силахъ скрыть волненія при такомъ извѣстіи, Панинъ: — гдѣ исходъ и узелъ всей такой негоднѣ?

— Отрекшійся государь, — отвѣтила Екатерина: — извѣстно тебѣ, просится въ Голштинію. Не въ Шлиссельбургѣ жъ его содержать. Надо будетъ разрѣшить. Состоится при этой okazji, безъ сомнѣнія, и разводъ. А у меня, самъ ты знаешь, всего одинъ сынъ. Разумѣется, все то лишь прожекты. Но для блага страны, для вѣщаго упроченія и обнадеженія престола...

— Гибельное ослѣпленіе! прости, матушка-государыня! — не выдержавъ, перебилъ императрицу Панинъ: — что-жъ, развѣ Иванушку призвать въ принцы крови? То ли совѣтуетъ графъ? Юноша заброшенный, одичалый, почитай, звѣрь! Богъ мой! Монархія! — сказалъ онъ, вставъ, съ несвойственнымъ ему одушевленіемъ: — ужли вы рѣшитесь низойти, пожертвовать благами собственной семьи? Безпримѣрное, пагубное приношеніе себя и своихъ интересовъ въ жертву ошибокъ другихъ.

Голосъ Панина дрожалъ и обрывался; въ немъ слышалось искреннее увлеченіе. Екатерина протянула ему полную, съ короткими пальцами, твердую руку.

— Спасибо тебѣ за чувства ко мнѣ и къ сыну, — сказала она: — о томъ же, что здѣсь говорено, — чуръ, никому ни слова. Политическіе специменты сегодня одни, завтра — другіе, и мы, государи, не всегда властны ими править.

Наша страна, согласись, домъ великій и хорошій, да пастари наполненъ... ну, тараканами. Вотъ ихъ-то и будемъ стерегься... Какіе тамъ еще у тебя доклады?

Панинъ сообщилъ нѣсколько рапортовъ комиссіи объ арестованныхъ. Екатерина положила на нихъ резолюціи. Послышался звукъ барабана. То малолѣтній Павелъ Петровичъ въ своихъ аппартаментахъ билъ отбой ученью оловянныхъ солдатвъ.

— Надѣюсь, откупаешь со мной?—сказала, ласково отпуская докладчика, Екатерина.

Панинъ вышелъ въ пріемную. Лицо его было красно, взволновано; движенія угловаты и разсѣяны. — «Вотъ,—думалъ онъ, отираясь и окидывая привычнымъ, разсѣяннымъ взоромъ переполненную придворными пріемную: — задала баню, упарила!..»

— Ну, ну? что прожектъ? какъ принять?—спросили его, подходя, гетманъ и Дашкова.

— Не успѣть доложить...

— О чемъ же было трактовано?

— О чемъ не трактовано?—произнесъ, поднявъ и благоговѣнно закрывъ глаза, Панинъ:—не я ли предрекалъ?.. Ума и всѣхъ даровъ палата. И тутъ, и здѣсь, и тамъ, настоящее, прошлое и будущее... на сажень насквозь подъ землей все видить. О сенатѣ, представьте,—списокъ-то городовъ...

Дверь въ кабинетъ опять быстро растворилась. Вышла и тремя равными, на три стороны, милостивыми поклонами всѣмъ поклонилась Екатерина.

— Напоминаніями прошлаго мы отнюдь не хотимъ отдалять спокойствія настоящаго!—нѣсколько напыщенно сказала она, обаятельно-ласковымъ взоромъ обвоя присутствовавшихъ:—да будетъ все горестное и раздражающее забыто. Мы сейчасъ шлемъ приглашеніе къ графу Алексѣю Петровичу Бестужеву --- возвратиться и украсить нашъ престолъ своимъ опытомъ и гениемъ.

Сказавъ это, Екатерина въ сопровожденіи Григорія Орлова, Дашковой, гетмана и Панина, среди склонившихся лентъ, звѣздъ и напудренныхъ головъ прошла въ столовую.

«Шведскій прожектъ» Панина, какъ хорошо поняли въ это мгновеніе всѣ присутствовавшіе, былъ теперь отсроченъ, если не отмѣненъ окончательно навсегда.

XXIV.

Донской ординарецъ.

Дворскій міръ волновался и не утихалъ. Толки объ одномъ, нынче всѣхъ увлекавшемъ, событіи — завтра смѣнялись толками о другомъ, столь же неожиданнымъ и выходящемъ изъ общей колеи. Новую государыню, подъ шумокъ, ожидали просьбами о чинахъ, деревняхъ, орденахъ и другихъ наградахъ новые, а еще болѣе старые друзья.

Послѣдніе сторонники и защитники бывшаго императора, какъ овцы, прыгающія по дорогѣ черезъ соломинку, одинъ вслѣдъ за другимъ, передались Екатеринѣ. Самъ Петръ Федоровичъ, какъ о немъ выразился его другъ Фридрихъ, допустилъ себя свергнуть съ престола, «подобно ребенку, котораго отсылаютъ спать».

— Вы, графъ, настаивали противъ меня сражаться? — спросила императрица Миниха, когда старый другъ ея мужа ей представился, послѣ своего неожиданнаго плѣна въ Ораніенбаумѣ.

— Такъ, всемогущійшая, — отвѣтилъ съ спокойнымъ достоинствомъ, склоняясь, старый фельдмаршалъ Анны и Елисаветы: — я хотѣлъ жизнью пожертвовать за монарха, возвратившаго мнѣ свободу и жизнь... Теперь мой долгъ сражаться, божественная... за васъ!

— Ну, Богданъ Крестьянычъ, мнѣ до божества далеко, — произнесла, улыбувшись, Екатерина: — а цѣня вашъ геній и службу бывшимъ государямъ, объявляю, — отнынѣ дверь моего кабинета всегда съ часа, когда я отдыхаю отъ работъ, отворена для васъ...

Даже завѣдомые, личные, недавніе враги новой императрицы стремились завербовать себѣ фаворъ и случай при новомъ дворѣ. Екатерина писала новому своему секретарю, Елагину: «Перфильичъ, сказывалъ ли ты Лизаветинымъ (фаворитки Петра Третьяго) родственникамъ, чтобъ она во дворецъ не *размахнулась*; а то боюсь, къ общему соблазну, завтра прилетитъ». Ему же Екатерина писала вскорѣ на домогательства о пособіяхъ бывшихъ сподвижниковъ: «Имѣешь сказать камергерамъ Ласунскому и Рославлевымъ, что, по-настоящему они мнѣ помогли взойти на престолъ, для поправленія порядковъ въ отечествѣ своемъ, — я надѣюсь, — они безъ прискорбія примутъ мой отвѣтъ, а что дѣйствительная

невозможность раздавать нынѣ деньги, тому ты самъ свѣдѣтель очевидный».

Хвалебная ода Ломоносова, въ честь новой императрицы, была принята холодно. Ее нашли слишкомъ откровенною и смѣлою, и почти о ней не говорили. Увидѣли неумѣстный намекъ въ стихѣ: «Дражайшій Павелъ нашъ, мужайся» — и не понравилась строфа:

«Услыште, судии земныя
«И всѣ державныя главы:
«Законы нарушать святые
«Отъ буйности блюдитесь вы».

Предметомъ общихъ разговоровъ Петербурга сталъ, объявленный на сентябрь того же 1762 года, отъѣздъ императрицы и двора на коронацію въ Москву.

Мирѡвичъ всѣмъ, что такъ неожиданно-негаданно произошло съ нимъ и вокругъ него, былъ ошеломленъ, раздавленъ. Всѣ планы, надежды, всѣ его смѣлыя предположенія были опрокинуты, разбиты вдребезги. Ему не удалось, — какъ онъ ни смѣло и ловко это задумалъ, — предупредить печальной участи бывшаго императора, отъ милостей котораго онъ столько ждалъ. Принцъ Иоаннъ, свобода котораго, повидимому, была такъ осуществима, близка, и образъ котораго «мстящій фантомъ» — какъ казалось Мирѡвичу — было такъ легко вызвать изъ мрака въ общей сумятицѣ и грозно, во очію народа, передъ всѣми поставить въ тылу побѣдителей, — этотъ несчастный узникъ былъ снова и уже теперь, вѣроятно, безвозвратно и навсегда увезенъ, скрытъ и заточенъ. И во всемъ томъ, — Мирѡвичъ чувствовалъ это и упорно, противъ воли, сознавалъ; — онъ одинъ былъ виною: неволью спасъ Екатерину отъ гибели, при ея въѣздѣ въ Петербургъ, не умѣлъ лично и въ должный моментъ сообщить Петру Федоровичу о затѣваемыхъ противъ него ковахъ, не успѣлъ, наконецъ, и съ послѣдней услугой принцу, котораго увезли съ острова отъ Гудовича обратно въ Шлиссельбургъ. — «Доля ты, каторжная, злая! — въ безсильномъ негодованіи и бѣшенствѣ повторялъ и клялъ себя Мирѡвичъ: — да когда-жъ ты будешь ласковой матерью, а не бьющею злою мачихой?..»

У Василя Яковлевича оставалась одна надежда, слабая тѣнь надежды, — на свиданіе съ Пчѣлкиной.

Чего онъ ждалъ отъ этой встрѣчи, и самъ онъ не могъ себѣ объяснить. Жажда теплаго участія, жалости къ себѣ, община съ любимымъ существомъ мыслью объ утерянномъ угасшемъ навсегда, — мучила его, манила и, дразня, жгла несбыточной, дикой мечтой на поправленіе и спасеніе чего-то.

Аполлонъ Ильичъ Ушаковъ, провожая его, съ пожара дачи Гудовича, въ Галерную гавань, къ Селиванову, сообщилъ ему, что зашевелились столичные масоны и что въ Петербургѣ на-дняхъ затѣвалось тайное общее собраніе многихъ, разрозненныхъ до той поры, членовъ этого братства. Онъ узналъ, у кого и гдѣ именно это будетъ, и далъ себѣ слово явиться туда. — «Свободные мыслители, борцы и мученики за правду! я имъ все открою, все расскажу... Возбужу въ нихъ негодованіе. Сольемся, сплотимся для общаго блага, и еще помѣряемся со слугами преисподней, съ темными и злокозненными торгашами, наполняющими создаемый нами, священный Соломоновъ храмъ. Вонъ злыхъ язычниковъ, вонъ кошунныхъ и наглыхъ оскорбителей!»

Въ теченіе двухъ дней, послѣ заѣзда на Каменный островъ, Мирovichъ не рѣшался явиться къ Пчѣлкиной. Голштинцы ступевались. Ихъ брали подъ арестъ кучами и высылали, на корабляхъ, въ Кронштадтъ и далѣе, за границу. Мирovichъ зналъ, что общая неувѣренность, а главное — пожаръ на дачѣ Гудовича заставили Пчѣлкину съ Птицыными поспѣшно перебраться въ городъ. Сознавалъ онъ и то, что ему необходимо и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, побывать у Бавыкиной, которой онъ не видѣлъ съ кануна переворота. Все это онъ понималъ хорошо и, между тѣмъ, какъ дезертиръ, не рѣшаясь навеститься въ городъ, безвыходно сидѣлъ въ грязномъ, деревянномъ домишкѣ Галерной гавани, гдѣ Кондратій Андреевичъ Селивановъ тайно пріютился съ нимъ у нѣкоего тоже безбородаго, какъ и онъ самъ, своего пріятеля, кожевника. Мирovichъ имъ рассказать о своемъ прошломъ, о претерпѣнныхъ обидахъ и горестяхъ своихъ предковъ и родителей, о бѣдныхъ сестрахъ, жившихъ по людямъ въ Москвѣ и которыхъ онъ восемь лѣтъ не видѣлъ, — и безъ движенія, сторбтившись и задумавшись, сидѣлъ, либо лежалъ въ душевой, полутемной «бокѣвушкѣ», гдѣ пахло рыбой и дублеными кожами. Забывъ обо всемъ, о ѣдѣ и питьѣ, онъ думалъ мрачныя, щемившія душу, мысли, и съ холодной,

неотвзачивой злобой прислушивался къ шороху, тапоту и за-таенному говору за прокопѣлой, черной стѣной. А въ со-сѣдней комнатѣ, какъ порой смутно онъ разбиралъ, явля-лись, о чемъ-то толковали, спорили, а не то, возясь и какъ-то въ ладъ топчась ногами, негромкимъ, дрожащимъ голосомъ жалобно запѣвали какіе-то неизвѣстные люди унылую, на дерковный ладъ стихіру. — «Старцы, нищуны! пріятели моихъ-то»... — съ презрительной усмѣшкой, въ лихорадочной, пре-рывистой дремотѣ, думалъ Мировичъ.

Въ третью ночь, передъ разсвѣтомъ, за стѣной стало какъ-то еще люднѣе, а пѣніе раздалось громче, точно на-ходившіеся тамъ забыли о присутствіи въ смежной комнатѣ посторонняго. Мировичу явственно слышались слова: «въ Москву—мать градовъ... тамъ поищемъ спасенія... На Волгу-свѣтъ, на Донъ... Гибнетъ отчая земля, гибнуть души... батюшка нашъ, владыко-защита, покинулъ насъ... отрекся»...

Съ разсвѣтомъ, чей-то гортанный, какъ бы сдавленный плачемъ, унылый голосъ затянулъ молящій, съ переливами, точно погребальный кантъ. Его подхватили другіе. Цѣлый многогласный хоръ незримыхъ старцевъ, то затихая, то дико возбуждаясь, пѣлъ за стѣной: «Ужь ты, бѣлый голубокъ, нашъ сизенькій воркунокъ, — аще съ Господомъ спасусь, лишенія не убоюсь; не убоюсь такой страсти, избавить Богъ отъ напасти,—при батюшкѣ Искупителѣ, при второмъ Спасителѣ».

— «Помилуй насъ, матушка, царица небесная, богородица Акулина Ивановна! и ты, названный нашъ искупитель. Кондратій Андреевичъ, помилуй!»—съ плачемъ, стуча ногами и какъ бы двигаясь вокругъ чего-то, восклицали старцы.

Мировичу съ ужасомъ вспомнились рассказы сослужив-цевъ и начальства о новой страшной сектѣ, замѣченной въ недавнее время въ арміи, при слѣдованіи ея отъ границы. Онъ съ омерзѣніемъ вскочилъ, еще прислушался, одѣлся, вышелъ изъ избы и заглянулъ въ окно. Среди небольшой, освѣщенной восковыми свѣчами, горницы, сидѣли на скамьяхъ съ включенными бородами мужики, торговцы-мѣщане, въ отставныхъ мундирахъ солдаты, матросы. Въ ихъ кругу, босою и безъ рубашонки, передъ какою-то миской, стоялъ блѣдный, испуганный, съ русыми волосами, ребенокъ... Оло-вянные, дикіе глаза Селиванова были устремлены на дитя. Онъ держалъ въ рукѣ ножъ... Освирѣгивъ, въ чаду радѣнія,

сектанты пѣли, качали головами и руками и, полузакмурясь, мѣрно докачивались... Мировичъ, не помня себя отъ страха, перелѣзъ черезъ заборъ и безъ оглядки бросился изъ гавани въ Петербургъ. — «Ужъ ты, бѣлый голубокъ, нашъ сизенькій воркунокъ...» — слышалось за нимъ пѣніе изувъровъ, готовившихся пролить кровь новаго, нужнаго имъ агнца.

Свѣтало, когда онъ дотащился до квартиры Ушакова. Денщикъ ему сказалъ, что Аполлонъ Ильичъ дома не ночевалъ, и что «вась-самихъ» ищутъ и требуютъ по начальству. Мировичъ подумалъ: — «Вотъ люди! и что имъ надо отъ меня, когда я главнаго не сдѣлалъ?» вмѣсто всякаго отвѣта, упалъ на кровать пріятеля, въ болѣзненномъ, тяжеломъ изнеможеніи, завернулъ голову въ одѣяло, сказалъ денщику: «Ахъ, дай ты мнѣ, ради Бога, вздремнуть; измучился, тошно!» и какъ убитый заснулъ. — «Голубокъ... воркунокъ...» — звучало у него въ ушахъ.

Спать Мировичъ тяжелымъ, гнетущимъ сномъ. Снилось ему, съ безсильно-опущенными, точно мертвыми парусами, яхта, колыханіе темныхъ, свинцово-холодныхъ волнъ, шлепанье длинныхъ веселъ и блѣдныя, омраченныя тревогой и страхомъ лица; мчанье въ кибиткѣ, гулъ и крики празднично-перепопеленныхъ улицъ и площадей; свѣтъ въ домахъ и храмахъ; музыка и колокола; а за рѣкой дымъ и страшное, далеко раскинувшееся надъ островами, зарево пожара. Онъ пробуждался, отрывалъ и опять закрывалъ глаза; въ его ушахъ безъ умолку раздавались звуки колоколовъ, грохотъ барабановъ, трубы марша и клики «вивать» безъ конца шедшихъ и шедшихъ къ Петербургу, увѣнчанныхъ дубовыми вѣтками, колоннъ.

Мировичъ проснулся уже передъ вечеромъ. Его разбудили мухи. Онъ наскоро, по просьбѣ денщика, чѣмъ-то закусилъ и, шатаясь, какъ больной, какъ раненый, безсознательно пошелъ къ Бавыкиной.

Съ крыльца, въ комнатѣ Филатовны онъ услышалъ быстрый оживленный разговоръ. Кто-то спорить, смолкалъ и опять уносился, вскрикивая, плача и въ сердцахъ даже топая ногой. Онъ переждалъ, прислушался и обомлѣлъ: ему вдругъ стало ясно, что то была Поликсена, никто болѣе, — она, съ горячею, заносчивою, безъ удержа, — въ минуты огорченій, — рѣчью. Мировичъ взялся за скобку дверей. Голоса въ комнатѣ много смолкли.

Филатовна, безъ чепца, вся багрово-красная и вспотѣвшая, съ растеряннымъ видомъ, съ середины комнаты смотрѣла въ сосѣднюю дверь. При входѣ Мирovichа, она двинулась-было туда, но только развела, замахала руками. Что-то сверкающее, гнѣвное, какъ буря, ворвалось въ тотъ же мигъ въ комнату. Бавыкина заговорила и смолкла. Сжавъ странно губы и придерживая распутившуюся косу, Поликсена молча схватила со стола шляпу и какой-то узелокъ, скомкала его подъ мышкой и злобно кинулась, мимо Мирovichа, къ выходу. Онъ заступилъ ей дорогу.

— Какъ?—вскрикнула она, отшатнувшись:—вы рѣшаетесь? вы? Настасья Филатовна! онъ еще съ объясненіями... Уйдите, уйдите, позоръ!...

— Ну, ну, помнитесь, уладьте промежь собой свои-то дѣла! — сказала, ступивъ за порогъ, Филатовна: — я говорила, придетъ, не все въ усь, да въ рыло; полагаетъ собака и приласкается...

— Поликсена Ивановна, я-ль не старался? — произнесъ, подходя къ Пчёлкиной, Мирovichъ: — клянусь вамъ... да слушайте же!

Поликсена швырнула узелъ, сложила руки, выпрямилась и нѣсколько мгновений, съ расширенными ноздрями, презрительно и холодно смотрѣла въ лицо Мирovichа.

— Пять дней, о! теперь я все узнала,—тихо, чуть роняя кипящія въ горлѣ слова, проговорила Поликсена: — пять сряду дней, безъ усталы, вы, ничтожный картѣжникъ, вертопрахъ, играли въ карты, и все вы погубили, все!.. Какъ назвать это? какъ васъ считать?

Она перевела дыханіе.

— Единой услуги, — помните ли? — я ждала отъ васъ и вамъ ее указала. Какъ вы ее исполнили? Были у дворца, видѣли государя, — Ушаковъ все разсказалъ, — и не отдали ему своей бумаги! Ее нашли у Гудовича, и васъ, безтолковаго, неумѣлаго, зовутъ теперь на расправу...

— Нашли бумагу? — безсознательно проговорилъ Мирovichъ.

— Слабый, ничтожный и ни къ чему непригодный человекъ! — крикнула и топнула Пчёлкина: — а я на васъ понадеялась, отъ васъ ждала... Мнѣ бы самой летѣть тогда безъ памяти... что молчите, смотрите? Женщина, дѣвушка васъ укоряетъ... Долгъ службы, подданнаго, любимую вами,

все забыли вы въ картежномъ вертепѣ... да вы и не любите, не любили! такъ ли любить! о, не знала я, не знала!..

Поборая слезы, горечь обиды, Поликсена съ ъбшенствомъ отвернулась къ окну.

— Казните, клеймите, разрывайте сердце! — сказали, склонясь, Мирѡвичъ:—но вамъ ли быть столь безжалостной? Я терзаюсь самъ. Ну, дайте совѣтъ; вмѣстѣ обдумаемъ, найдемъ выходъ... Эка невидаль — брань... а вы — совѣтъ: сомкнемся, дружно поправимъ дѣло... Вѣдь вы знаете мою преданность къ вамъ; я врагъ нѣжностей, чортъ съ ними! но клянусь...

— Чтѡ мнѣ ваши чувства? глупо и смѣшно! слышите, глупо! — дерзко въ лицо Мирѡвичу крикнула Поликсена: — жалкій вы, тряпка!

Мирѡвичъ вздрогнулъ, выпрямился.

— Это лишнее! — произнесъ онъ болѣзненно-гордо: — слышите ли? лишнее, замолчи! — продолжать онъ, возвысивъ голосъ и покраснѣвъ: — мои чувства... не карты... ими не играютъ, замолчи!

— Ахъ онъ, бѣдный, безталанникъ, неумѣлецъ! — проговорила, хватаясь опять за узелокъ, Пчѣлкина: — и изъ чего я на него напала? Ни въ чемъ-то онъ неповиненъ... прощай!.. Да пойми только, пойми, — крикнула она: — не параты, Василий Яковлевичъ, мнѣ, — жадной, забывающей обиду! не пара злему найденышу, нищенкѣ сорочью-дитю...

Поликсена толкнула дверь ногой, ступила за порогъ и на мгновеніе замедлилась.

Мирѡвичъ, не шевелясь, слѣдилъ за нею.

— Еще слово, — вы искали мира, отрады въ семейной жизни? — сказала Поликсена, поднявъ на Мирѡвича сѣрые, вызывающіе, гнѣвные глаза: — я же хочу, ищу бури! слышите ли, бури? Вамъ любовь покой, — его нѣтъ на свѣтѣ... Мести, расплаты за зло! вотъ чего молитѣ обидчикамъ, погубителямъ доли вашей и людской. Мы бѣдны, беспильны... Любовь все можетъ... Могла жъ хоть бы Дашкова... Чтѡ смотрите? Прощайте. Не ходите за мной, добрый, слабый человѣкъ, не ищите меня. Иначе... я васъ возненавижу, прокляну...

Пчѣлкина ушла. Мирѡвичъ стоялъ съ пылающимъ, засвѣтившимся лицомъ. — «Добрый, сказала... вѣдь любить! — думалъ онъ, замирая въ оскорбленной гордости. — упомя-

пула о Дашковой... Понимаю! Ты ею быть могла бы! да я-то былъ ли бы Орловъ или гетманъ?»—прибавилъ онъ себѣ, глядя передъ собой черными, безъ блеска, строгими глазами:—«ты, однако, мнѣ эти всѣ свои слова, всѣ до единого выкупишь...»

— Тебѣ повѣстка, — сказала, тронувъ его за плечо, Филатовна:—опять изъ фартала; пришли вонъ, зовутъ.

— Повѣстка?—спросилъ Мирѳвичъ, обводя комнату сердитымъ взоромъ.

Въ тотъ же вечеръ Мирѳвичъ былъ отведенъ въ ордонансъ-гаузъ, а наутро подъ карауломъ отосланъ въ талызинскую комиссію въ Кронштадтъ. Его освободили по личному за него предстательству, извѣщеннаго Ушаковымъ, Григорія Орлова. О дезертиствѣ не было и помину. Отпущенный изъ комиссіи, онъ добрался на рябикѣ въ Ораниенбаумъ, дошелъ до парка, вспомнилъ, что такъ недавно произошло въ этихъ опустѣлыхъ мѣстахъ, и громко, болѣзненно расхохотался. Онъ хотѣлъ нанять подводу въ Петербургъ, но раздумалъ:—денегъ у него не было. Онъ пустился въ столицу пѣшкомъ. Къ ночи Мирѳвичъ добрелъ до лѣсной сторожки, у Горьлаго Кабачка. Его мучили голодъ и жажда. Ноги отказывались ему служить. Встрѣчные передавали печальныя вѣсти о бывшемъ императорѣ.

Шестого іюля Екатерина принимала докладъ генераль-фельдцейхмейстера Вильбуа. Дѣло шло о новой, вызванной обстоятельствами, дислокаціи войскъ. Оба корпуса заграничной арміи, Чернышева и бывший румянцевскій, въ день воцаренія императрицы переданные въ команду Петра Ивановича Панина, ускореннымъ маршемъ приближались къ столицѣ отъ границъ Пруссіи. Вильбуа сообщилъ, что легкіе передовые, донскіе и яицкіе казачьіе полки давно миновали Курляндію и, по всей вѣроятности, въ это время были уже по этотъ бокъ Луги.

— Размѣстить ихъ на временныя кантонирь-квартиры въ ближайшихъ, къ Петербургу, уѣздахъ,—рѣшила Екатерина:—урожай травъ въ здѣшнихъ окольныхъ изрядный. Пусть отдохнутъ, оправятся, чтобъ въ лучшемъ видѣ поспѣть съ гвардіей къ коронаціи, въ Москву...

Седьмого іюля былъ обнародованъ манифестъ о кончинѣ

бывшаго императора. Черезъ три дня происходили его похороны въ большой церкви Невскаго монастыря. Тѣло Петра Ѳедоровича, — вполсѣдствіи тридцать четыре года спустя, вынутое изъ склепа его сыномъ, императоромъ Павломъ, и торжественно опущенное въ могилу, рядомъ съ прочими государями, въ Петропавловскомъ соборѣ, — было одѣто въ голубой голштинскій мундиръ, въ бѣлые лосиные панталоны и большіе, съ раструбами, ботфорты.

Народъ «безъ злопамятствія всего прошедшаго», — какъ говорилось въ манифестѣ, — стремился въ церковь, гдѣ, по бокамъ чернаго съ серебромъ, открытаго гроба, горѣли четыре свѣтильника и безсмысленно стояли на часахъ гвардейскіе офицеры. Всѣ спѣшили въ лавру проститься съ тѣломъ усопшаго.

Наканунѣ похоронъ, по нарвской дорогѣ, къ окрестностямъ Петербурга приблизился казацкій полкъ Ильи Денисова, бывшій въ передовомъ отрядѣ графа Захара Григорьевича Чернышева.

Въ лаврскую церковь, вслѣдъ за другими, вошли въ тотъ же вечеръ два донскихъ казака. Одинъ лѣтъ двадцати пяти, чернобородый, плечистый, скулистый и смуглый, состоялъ ординарцемъ при Денисовѣ. Въ Познани за Одеромъ, въ мѣстечкѣ Кривомъ, при стычкѣ съ прусскимъ кавалерійскимъ разѣздомъ, у этого ординарца ночью была узнана полковницкая лошадь. Денисовъ вспылить и сильно, ѣзжалой плетью, наказалъ за оплошность своего прислѣбника. Дикій и дюжій донецъ воспыла въ начальнику мезью. Да его и на волю, изъ постылой нѣмецкини, манило, — на Донъ, въ древле-благочестивыя, раздольныя степи, луга. По пути отъ границы, донцамъ объявили вѣсть о восшествіи на престолъ новой государыни. Шли ускореннымъ маршемъ, дневки сократились. Миновавъ Лугу и подойдя къ Гатчинѣ, Денисовъ расположилъ полкъ постоемъ въ окрестныхъ деревняхъ и отрядилъ двухъ посланцевъ въ Петербургъ, къ начальству, съ запросомъ, въ формѣ рапорта, гдѣ ему расположиться окончательно.

Ординарцы доставили бумаги, куда слѣдуетъ, получили дислокацію и, передъ возвращеніемъ къ полку, видя, что всѣ идутъ въ лавру, сами заѣхали туда жъ. Привязавъ коней къ оградѣ, они оправились, сняли сѣрые шапки и, двунѣрстно крестясь, протолпились въ церковныя двери.

Долго чернобородый, пробравшись въ храмъ, не отходилъ отъ ступеней траурнаго катафалка, на которомъ, подъ чернымъ балдахиномъ, съ скрещенными, въ замшевыхъ перчаткахъ, руками, лежало тѣло почившаго монарха.

— Ну, Иванычъ, пора,—шепнулъ, дернувъ его за кафтанъ, невзрачный, съ воспаленными, слезившимися глазами, бѣлокурый товарищъ.

— Не трошь, — обернувшись, сумрачно отвѣтилъ чернобородый.

Изъ-за высокихъ, блестящихъ фольгой свѣчей, сдерживая плечомъ напоръ вздыхавшей и пабожно шептавшей молитвы толпы, онъ продолжалъ взглядывать въ лицо покойника.

«Да,—сказалъ, вздохнувъ, про себя, чернобородый:—не доля!.. врядъ ли схожъ! — набрехалъ на границѣ бѣглый солдатъ-гвардіонецъ... Ну, да ужъ коли Господь восхощетъ, — прибавилъ онъ, переводя быстрые, каріе глаза къ иконамъ:—коли милостью взыщеть,—ослѣпитъ очи гордыни, сокрушить выю злыхъ... чудо и безъ сходства въ явѣ окажется...»

Посланцы вышли изъ церкви, отвязали коней, и трусой пустились по нарвскому тракту.

— О чемъ, Иванычъ, шепчешь? про что твои думы?—спросилъ бѣлокурый черняваго, когда, миновавъ заставу, очутились въ полѣ.

Смерклось. Было душно. Темная, змѣившаяся молніями, туча надвигалась отъ взморья.

— Не твое дѣло! не спрошенъ, не суйся,—грубо отгрызнулся чернявый:—вогъ каки знаменія, — прибавилъ онъ, протанувъ руку:—сподоховъ ожидать, лихихъ Господнихъ испытаній, чудесь...

— А что?—не утерпѣлъ спросить бѣлокурый.

— Сказываютъ... не государя хоронятъ, — какъ бы про себя проговорилъ чернобородый: — а простого офицера, — государь же быто живъ...

Казаки въѣхали въ лѣсъ, за которымъ дорога направо шла въ Петергофъ, налѣво въ Гатчину.

«На Украину бы уйти, въ село Кабанье, въ изюмскій полкъ, — мыслить подъ вспышки молній чернявый:—сговоръ былъ съ парнемъ знакома, казака тамошняго Коровки, — какъ переходили границу; а не то бы—въ Польшу, въ налия

древней вѣры слободы, — назваться выходцемъ изъ нѣмечины... Не кнутѣмъ, да батоужѣмъ токмо сыту быть. Пройдетъ время, забудутъ всѣ про бѣлаго... Въ тѣ поры сызнова на Донъ, за Волгу... либо на Яикъ... Охъ, терпите мать-сыра земля, старо благочестіе, подневольный народъ... Стонетъ родима сторонущка, вся какъ-есть Рассея... Больше вытерпу нѣтъ! Охъ! Съ Иргиза, съ Берды, съ Лабырѣки, съ Узеней, со всѣхъ скитовъ, да умѣтовъ, — стекутся, сбѣгутся не вольнички, поправной вѣры стадо... Я-де, православные, вашъ владыко и царь!.. Господь спасъ, — вѣрный офицеръ выпустилъ изъ Питера... Показался гвардіонну, покажусь и всему честному Христову народу, всей голытьбѣ, готовой за волю, за дѣдовскій, изначальный законъ, на всяку погибель...»

— Ваше благородіе, а ваше благородіе, — сталъ будить чей-то голосъ Мирovichа, заснуваго подъ деревомъ, близъ Горѣлаго Кабачка, у перекрестка петергофской и гатчинской дорогъ.

Онъ открылъ глаза. Передъ нимъ, въ сумеркахъ, перегнувшись съ коня, стоялъ безъ шапки чернобородый казакъ; другой видѣлся вдали.

— Это ли дорога на Гатчину?—спросилъ казакъ.

— Она самая.

— Спасибо, ваше благородіе...

— А ты, стой, откуда? изъ Питера?

— Такъ точно.

Мирovichъ вскочилъ.

— Схоронили государя?—спросилъ онъ:—схоронили?

Казакъ покосился на офицера, надѣлъ шапку, отвѣтилъ:— «живъ!—хоронять другого!»—и, хлеснувъ нагайкой по коню, поскакалъ вдогонку товарища.

«Новые смутные толки, шевелится сѣрый народъ!—подумалъ Мирovichъ,—сектанты, темная чернь волнуется, ковы готовить во тьмѣ... Да что, ладотники, глупые волю. За рога ихъ мигомъ и въ новое ярмо... Истина — въ сердцѣ масоновъ... Они—свѣтильники, вожди... имъ однимъ ее обрѣсти!»

Предположенное засѣданіе масоновъ окончательно раздало и увлекло Мирovichа. Его туда ввелъ Ушаковъ. Тамъ онъ слышалъ горячія рѣчи, клятвы не отступать отъ добра. Онъ сталъ готовить какую-то записку. Но въ это время

нарвскій пѣхотный полкъ, въ которомъ онъ числился, получилъ назначеніе съ марша отъ Митавы — двинуться безостановочно на Тверь, къ коронаціи въ Москву.

Мирѡвичу объявили приказъ: — догнать полкъ подъ Новгородомъ, куда онъ долженъ былъ отвезти изъ коллегіи бумаги. Въ день выѣзда онъ получилъ изъ Москвы письмо отъ старшей сестры, Прасковьи Яковлевны. Слухъ о коронаціи и о скоромъ ожиданіи въ Москву полка, гдѣ онъ служилъ, радовалъ его близкихъ. — «Ужъ такъ-то, ненаглядный братецъ, Вася, — писала Прасковья Яковлевна, — соскучились мы по васъ. Самъ повидишь нонѣ, своими глазами, несносности и бѣдства трехъ неимущихъ горемыкъ, вашихъ сестрицъ. А мы все еще, братецъ, въ горькомъ сиротствѣ, маемся на чужбинѣ, не имѣя за тяжкій, ахъ, тяжкій грѣхъ, слышно — за измѣну отечеству злосчастнаго и вреднаго намъ предка нашего, бывшаго генеральнаго бунчужнаго, Ѳедора Ивановича, — ни одѣжи, приличной званію, ни вѣрнаго куска хлѣба, ни сноснаго въ наши годы угла. Помоги, Василій Яковлевичъ».

«Боже! да гдѣ жъ твоя правда? и тамъ наклеветали! Никакой измѣны не было, никакой!» — сказалъ себѣ, скомкавъ письмо, Мирѡвичъ. Онъ кликнулъ извозчика. — «Все безбожники! — думалъ онъ, — а если для нихъ нѣтъ Бога и нѣтъ природнаго государя, Третьяго Петра, — то гдѣ же Богъ и гдѣ счастье на землѣ?»

Онъ поѣхалъ на Литейную, къ Гудовичамъ. Вызвавъ Гашу, Василій Яковлевичъ узнать, что семья графа въ горѣ: — за непринесеніе присяги, а потомъ за отказъ отъ службы новой государынѣ, графъ былъ высланъ безвыѣздно въ свои черниговскія деревни. Поликсена, по словамъ Гаши, оставила Птицыныхъ и, за недѣлю назадъ неизвѣстно куда, уѣхала.

Догнавъ полкъ, Мирѡвичъ въ августѣ приблизился съ нимъ къ окрестностямъ Москвы.

XXV.

Ночь въ Пеллѣ.

Съ начала іюля дворецъ заняла новая вѣсть. Съ часу-на-часъ ожидали возврата нѣкогда главнаго пособника Екатерины, бывшаго канцлера Бестужева-Рюмина.

Графъ Алексѣй Петровичъ прибылъ въ Петербургъ «во

всякомъ здравіи и благополучіи», вечеромъ, 12-го іюля. Государыня навстрѣчу ему выслала, за тридцать верстъ впередъ, новаго дѣйствительнаго камергера, Григорія Орлова, а также собственный придворный парадный экипажъ. «Ватюшку» Алексѣя Петровича, съ обнадеженіемъ всякаго монаршаго къ нему благоволенія; отвезли въ лѣтній ея величества, на Фонтанкѣ, дворецъ, а оттуда, «но августѣйшемъ приѣмѣ, въ нарочито для него приготовленный изрядный домъ, гдѣ опредѣлили ему отъ двора столъ, погребъ и прочее всякое довольство».

Сподвижникъ въ дипломатіи Великаго Петра, пятнадцать лѣтъ первый министръ Елисаветы, Бестужевъ былъ разжалованъ и сосланъ за смѣлую мысль удалить племянника послѣдней за границу, а престолъ упрочить за Екатериной.

Семидесятилѣтній, сильно-исхудалый, съ длинной сѣдой бородой и глубоко-поставленными, острыми глазами, старикъ, войдя съ Орловымъ въ кабинетъ новой, напроороченной имъ государыни, безмолвно у порога опустился передъ нею на одно колѣно.

— *Immobilis in mobili!* неколебимому среди смятенныхъ! — дрогнувшимъ голосомъ, по-лагини, сказала Екатерина, вновь прикалывая графу снятую съ него Елисаветой Александровскую звѣзду.

— Пресвѣтлая, пресвѣтлая! — произнесъ Бестужевъ, старчески всхлипнувъ и костлявой рукой лова и цѣлуя украшавшую его руку.

— *Semper idem!* всегда одинаковому! — продолжала Екатерина, взявъ со стола цѣль Андрея Первозваннаго и склоняясь съ нею къ Бестужеву.

— Чѣмъ возблагодарю? чѣмъ отслужу? — восклицать, безнадежно махая руками и склонивъ голову, худѣнкій, съ жидкою косичкой, старикъ.

— Возвращаю вамъ чины, — произнесла, приподнявъ графа, императрица: — съ переименованіемъ васъ въ генераль-фельдмаршала, но тѣмъ не ограничусь... Манифестъ о вашей невинности, — она мнѣ доподлинно извѣстна, — будетъ обнародованъ безпродолительно... Не государыня, покойная моя тѣтка, — безстыдный нравъ вашихъ завистниковъ и клеветниковъ во всемъ прошломъ виновны...

— Великая! великая! спасительницы, матери отечества титло присуще тебѣ... я предложу, внесу, объявлю...

— Э, батюшка, Алексѣй Петровичъ, много еще до-прежде того поработать надо намъ съ тобой во благо народа... Садись-ка, потолкуемъ о вашемъ здоровьи. Сына тебѣ маво покажу; выросъ... Позови, Григорій Григорычъ, его высочество.

Орловъ ввелъ бѣлокурога, курносаго, съ милостивымъ лицомъ, робкаго мальчика.

— Худенекъ, охъ, худенекъ онъ у тебя, матушка-государыня!—произнесъ Алексѣй Петровичъ, разведя руками и пристально оглядывая робкаго блѣднаго ребенка.

— Чѣмъ же, батюшка-графъ, онъ худъ? — дитя, какъ дитя...

— Худъ, охъ, худъ и тонкогрудъ!—ощупывая холодными, костистыми пальцами шею и руки Павла Петровича, продолжалъ Бестужевъ:—кто, позволю, у тебя глядитъ за нимъ изъ лѣкарей-то, изъ лѣкарей?

— Фузядѣ и Крузе...

— Des tumeur dans les parties glanduleuses!.. et puit cette pâleur... о, поработать слѣдуетъ,—воздуху, приличный моционъ... Да я ничего, матушка! что ты! Иди и ты, сударь, играй... Выросъ молодецъ, былинкой встрепыхнулся. А ухо, пресвѣтлая, остро надо держать, остро... Que Dieu bénit ce délice de l'auguste mère, de l'Empire et de nous tous...

— Вы, батюшка Алексѣй Петровичъ, ужъ извѣстны дарами въ медицинѣ,—перебила его, не ожидавшая съ этой стороны натиска, Екатерина:—бестужевскія, сударь, капли ваши въ моду вездѣ вошли, и я сама ими съ успѣхомъ пользовалась. Но въ чемъ видите опасность сыну?

— Худенекъ, матушка, худенекъ и въ оспѣ, сказываютъ, еще не лежалъ,—продолжалъ, не спуская вострыхъ, внимательныхъ глазъ съ императрицы, старый хитроумецъ Бестужевъ.

15-го іюля, на Пелловскихъ порогахъ Невы, въ тридцати-пяти верстахъ выше Петербурга, разбилась барка съ казеннымъ хлѣбомъ. Эти пороги образовались выступами крѣпкихъ известковыхъ подводныхъ камней, между деревнями Ивановскимъ и Большимъ Петрушкинымъ. Противъ нихъ, на лѣвомъ берегу Невы, въ то время находился, принадеждавшій генералу Ивану Ивановичу Неплюеву, чухонскій поселокъ Пелла.

— Имя столицы древней Македоніи, мѣсто рожденіе Александра Великаго, — сказала Екатерина, при докладѣ Олсуфьева о происшествіи въ Пѣллы.

— Притомъ восхитительная мѣстность, — замѣтилъ Адамъ Васильичъ: — скалы, смѣю доложить, озера и въковѣчный кругомъ лѣсъ: мы у Ивана Ивановича не разъ тамъ охотились, съ Григоріемъ Григорычемъ, на глухарей.

— А что, Григорій Григорычъ? — отнеслась Екатерина, обернувшись къ Орлову, бывшему при докладѣ: — не худо бы и намъ туда, при случаѣ, вояжъ сдѣлать для развлеченія отъ городского шума и духоты? Возьмемъ фельдмаршала Миниха, Елагина, графа Строганова...

Екатеринѣ вспомнилось еще одно лицо. Она дослушала бумаги Олсуфьева; рѣшеніе жъ о баркѣ, затонувшей въ порогахъ, отложила до другого раза.

— Забавы забавами, — сказала она: — а дѣло этого мѣста таково, что о немъ надо нарочно и крѣпко подумать.

На утро къ императрицѣ были позваны на особое совѣщаніе Панинъ и владѣлецъ Пѣллы, Неплюевъ. Въ деревняхъ, по кексгольмскому тракту выставили усиленные смѣны лошадей.

Послѣ обѣда, 25-го іюля, государыня отъѣхала взглянуть на пѣлловскіе пороги. Господамъ свиты было предоставлено кстати поохотиться. Путники прибыли къ мѣсту до заката солнца. Ихъ ожидалъ чай въ палаткѣ, на берегу Невы. Теплоу и Строгановъ стрѣляли ласточекъ на лету и оба промахнулись. Звукъ выстрѣловъ громко раздался въ окрестности, всѣхъ оживилъ, развеселилъ. Сѣли въ катера и лодки и ѣздили осматривать фарфатеръ съ порогами. Обрато при были къ берегу при фонаряхъ. Въ виду флотилии, пригоркомъ, мимо Пѣллы къ лѣсу проѣхалъ крытый, четверней, фургонъ. Его провожали всадники.

— Вотъ и охота, — сказалъ Панинъ: — утромъ кто хочетъ на тетеревей, а то и Мишку какого въ берлогѣ застукать не худо бы...

Сумерки ступились.

Путники шли къ экипажамъ. Неплюевъ рассказывалъ прошлое этой мѣстности. Минихъ дѣлалъ предложенія объ обходѣ пороговъ, причемъ вспоминалъ молодые свои годы, постройку Ладожскаго канала, наѣзды на его работы Великаго Петра.

— Что, готово?—спросила Панина Екатерина.

— Готово, у лѣсника...

Императрица оглянулась, отыскивая взглядомъ отставшаго Бестужева.

— Господа,—обратилась она къ свитѣ, когда всѣ, мимо посѣлка и барскаго, невзрачнаго и запустѣлаго двора, поднялись вслѣдъ за ней на приторокъ, у окраины темнаго, дремучаго лѣса:—Иванъ Ивановичъ насъ не ждалъ и, безъ сомнѣнія, извинить, коли не онъ, а мы будемъ у него хозяйничать. На берегу не безъ сырости. Мошки и комары. Просимъ всѣхъ откушать въ рошѣ.

Рогъ затрубилъ. Всѣ разиѣстились по экипажамъ. Слуги и рейткнехты взяли факелы, сѣли на коней. Первая коляска двинулась. За нею другія. Длинный, сыпавшій искры поѣздъ помчался лѣсной, темною чащей на полныхъ рысяхъ.

— Да это не просто прелесть,—сказочная! кортежъ сильфовъ и саламандръ! — крикнулъ кому-то графъ Строгановъ:—какъ отражается свѣтъ на травѣ и на косматыхъ деревьяхъ!..

— Всѣ гномы, въ золотыхъ хламидахъ и въ алмазныхъ коронахъ, выползли изъ щелей и будто встрѣчаютъ насъ!—отвѣтилъ ему голосъ изъ догонявшей его коляски:—помните балетъ *Esprits follets*!

— А туманъ, туманъ? точно друиды въ саванахъ...

Кортежъ выѣхалъ къ озеру, за нимъ,—между стѣнъ вѣковыхъ, громадныхъ елей, на просторную, зеленую лужайку. Въ ея глубинѣ, подъ деревьями, путники увидѣли освѣщенную разноцвѣтными фонариками палатку. Изъ-подъ откинутыхъ дверей свѣтился, уставленный посудой и яствами, столъ. Сѣли ужинать.

Послѣ ужина, оживленного анекдотами Миниха и споромъ о духовидцахъ Елагина, Теплова и Строганова, Екатерина велѣла подавать свой экипажъ. Бестужевъ сѣлъ съ нею. Панинъ поѣхалъ впередъ. Прочіе остались на утро охотиться.

Возвращалась императрица другимъ, болѣе краткимъ путемъ. Огибая Неву, карета поѣхала по песку шагомъ. Ночь была теплая звѣздная. Въ раскрытыя окна кареты были видны мелькавшіе впереди по дорогѣ огни факельщиковъ.

— Какъ вы полагаете, графъ,—спросила Бестужева Екатерина:—не лучше ли, я все думаю вотъ, отпустить принца Іоанна, со всей его фамиліей, обратно за границу?

— Нельзя, многомилостивая! на пропятіе себя отдадимъ чужестраннымъ, противнымъ языкамъ... да и пригодится.

— Кто пригодится?

— Да заточённый-то.

— Не понимаю Алексѣй Петровичъ.

Бестужевъ крикнулъ въ темнотѣ. Нева то исчезала за стѣной деревъ, то опять съ боку развертывалась бѣлою, туманною пеленой.

— Вотъ, матушка, гляди,—сказалъ Бестужевъ, склонясь къ окну:—вонъ одинокая сосенка, край долины; стройна и раскидиста она да сиротлива, одна... А эвось, приглядишь, дружная, густая куночка сосенъ разрослась. Ну, тѣмъ подъ силу и вѣтры, и всякая непогода; а этой, ой какъ тяжело!

— О чемъ вы графъ?

— Да все о томъ же; ненадеженъ, въ оспѣ еще не вылежалъ!—продолжалъ, смотря въ окно, Бестужевъ:—и ты, пресвѣтлая, на стараго за правду не сѣтуй. Мѣры надо принять...

— Какія мѣры?

Бестужевъ пожевалъ губами.

— Павелъ Петровичъ-отъ, милостивая, дасть Богъ окрѣпнеть, вырастеть... Да все это токмо гаданія... Ну, а какъ, упаси Господи случая, корень-то, древо твое, съ такимъ слабымъ отросткомъ, да пресѣчется?

— Все въ руцѣ Божьей.

— А вотъ выходи-то и есть, и есть!—сказалъ, быстро, изъ-подъ кустоватыхъ бровей, устремивъ къ ней глаза, Бестужевъ:—другая-то августѣйшая отрасль, другая... О прочей фамилии его не говорю,—онъ страстотерпецъ одинъ.

— Вамъ доподлинно, Алексѣй Петровичъ, извѣстно,—сказала Екатерина:—я всей душою болѣю о принцѣ Іоаннѣ... Заботы совѣтуютъ, снисхожденіе. Но то одни лишь слова. Не слѣпа я, сама вижу. Да что дѣлать-то, вотъ задача. Будь Павелъ дѣвочкой, можно бъ было подумать хоть бы и о соединеніи этихъ двухъ отраслей, о бракѣ...

— Бракъ возможенъ,—произнесъ Бестужевъ, тихо поскребывая ногтемъ о сухой свой подбородокъ:—осуществимъ! ты только отечеству, его покою жертвующая, того захоти...

— Какъ возможенъ?

— И не такіе изъ могилы-то на свѣтъ Божій, къ помирненію гонителей, обращались! Меньше мѣсяца назадъ,—

какъ бы кому-то грозилъ и глядя въ окно мчавшейся кареты, сказалъ Бестужевъ:—и я проживалъ сермяжнымъ, посконнымъ колодникомъ, въ горетовской курной хатѣнкѣ... Ну, а теперь, всемилосердая, возблагодаривъ тебѣ, еще помѣряемся съ врагами-то... Что глядишь, мошь, рехнулся старый?.. Ну-ка, бери мужества; да благословяся, всенародно и обвѣнчайся съ бывшимъ російскимъ императоромъ, съ Иоанномъ Третьимъ Антоновичемъ...

— Кто? я?!—воскликнула Екатерина, отшатнувшись въ глубь кареты.

— Да, богоподобная, ты, мудрая, непохожая на другихъ,—спокойно, съ сложенными руками, глядя на нее отвѣтилъ Бестужевъ.

— Возможно ли? Шутите, графъ. Лѣта мои, отношенія...

— Благослови только Господь,—набожно приподнявъ шляпу и перекрестясь, продолжалъ графъ:—годовъ самодержцы не знаютъ. Лизавету за Петра Второго, слиянія ради, вѣдь сватали жъ?.. А ему было всего тринадцать годовъ... Да и что же? Вамъ, государыня, тридцать-третій; принцу Иоанну двадцать-два исполнилось... На десять лѣтъ; разница, согласитесь, не велика. Рѣшитесь... Соляются двѣ близкаихъ, кровныхъ линіи. Павелъ останется наслѣдникомъ... А на случай,—Господь воленъ,—во всемъ — наготовѣ будетъ и другой, любезный народу отпрыскъ...

Лошади неслись. Спутники молчали.

«Такъ вотъ что созрѣло въ тайникѣ твоей смѣлой, непроницаемой, какъ морская бездна, души! — думала Екатерина: — я угадала... Въ тишинѣ ссылки ты обдумывалъ все это, готовилъ. Ужли-жъ изъ корысти, чтобъ воскресить только, усилить этимъ новымъ, смѣлымъ до дерзости проектомъ, прежнее свое влияніе, прежній фаворъ? Посмотримъ... хорошо ли, что я затѣяла?»

Чаща лѣса порѣдѣла. Передовой факельщикъ замедлилъ, остановился. Карета поровнилась съ купой деревъ. Между нихъ виднѣлась изба лѣсника. Возлѣ стояли экипажъ Панина, ямщики, лошади и видѣнный у Пеллы фургонъ.

— Переменя почтовыхъ,—сказалъ, подойдя къ дверцамъ, Панинъ.

— Кажись, посторонніе, — произнесла, оглянувшись на фургонъ, Екатерина:—узнали?

— По дѣлу въ Питеръ какіе-то; кормятъ лошадей.

Императрица, съ Бестужевымъ, черезъ сѣни вошла въ небольшую опрятную комнату. Съ ними встрѣтился, вышедшій оттуда, пожилой военный. За столомъ, передъ свѣчей и тарелкой жаренаго, сидѣлъ длинноволосый, въ темномъ кафтанѣ, худой и блѣднолицый юноша. Онъ жадно, съ торопливымъ удовольствіемъ, ѣлъ, почти не замѣтивъ вошедшихъ.

Екатерина, присѣвъ съ Бестужевымъ у двери, нѣсколько минутъ робко и пристально вглядывалась въ незнакомца, неряшливо и молча, крѣпкими выдающимися челюстями жевавшаго вкусный кусокъ.

— Куда, сударь, изволите?—ласково спросила императрица.

Разсѣянные, усталые и будто глядѣвшіе внутрь себя глаза пробѣжлаго тупо и дико уставились въ вошедшихъ особъ.

— Издалека-ль ѣдете,—повторила Екатерина.

— Вотъ... и...—заикнулся и пересталъ жевать незнакомецъ:—опять взяли... опять повезли... Чуть не утонули на озерѣ, у Морья... барку разбило! въ Кексгольмѣ держали, опять сюда тащутъ...

— Куда же вашъ путь?

— А нешто я свѣдомъ?—отвѣтилъ, сердито нахмурясь, юноша:—возьмутъ и повезутъ. Новая, видно, царица потребовала на это диво поглядѣть. Чтѣ имъ, владыкамъ-то,—рѣзко и громко засмѣялся онъ:—что полгода, гляди, и новыѣ... И меня велѣно звать Гервасіемъ, а не Гришкой, да не хочу—а хочу зваться Θεодосіемъ... притомъ... безплотный...

— Уйдемъ, пьяный неучъ,—шепнулъ Екатеринѣ Бестужевъ:—либо суцеглупый,—я ихъ смерть боюсь.

— Вы же сами кто будете?—спросилъ незнакомецъ.

— Мы здѣшніе помѣщики...

— Мужъ и жена?

— Вѣрно сказали.

Юноша еще громче во все горло захохоталъ и вдругъ смолкъ.

— Старенекъ мужъ-отъ вашъ—сказалъ онъ, злобно упершись глазами въ Бестужева:—горохъ бы тебѣ стеречи, или съ огорода воронѣ гонять... скрючился, скомсился, злюка, шептунъ...

Проговоривъ это второпяхъ, путаясь, точно его прогвало, юноша опять осѣкся и бѣшено, дико захохоталъ.

— Да, уйдемъ же, матушка! охмелѣлъ онъ! —шепнулъ, привставъ, Бестужевъ:—вишь какъ дерзостень, сквернословецъ, шатунъ...

— Такъ вы ѣхать отъ меня?—вскрикнулъ, съ искаженнымъ лицомъ вскакивая, незнакомецъ:—скоты, звѣри, гарпіи, колдуны! кровь высосали... Жизни вамъ, вертограда моего? Злыдни, еретики, — кричалъ онъ, поддерживая себя за подбородокъ: — я креститель, слышите, духъ Іоанна... Трубы, тимпаны, гудцы... Ха-ха! проклиная... пептуны, скоты! Авъ въ міръ альфа и омега, послѣдній и первый... вивать! вивать!..

— Не могу, не могу!—сказалъ, бросаясь къ двери, Бестужевъ: — силъ нѣтъ; сущеглуный вѣдь онъ... видите, видите!..

Екатерина вышла за нимъ. Подали экипажи. Факелы освѣщали блѣдныя, встревоженные лица.

— Что?—спросилъ вполголоса Панинъ.

— Сверхъ всякаго ожиданія... невыносимо! — отвѣтила императрица.

Кареты помчались въ томъ же порядкѣ. Екатерина молчала. Не отзывался и ея спутникъ. Онъ согнулъ носомъ и изрѣдка фыркалъ, сердясь на Панина, что тотъ не отгратилъ отъ монархини столь неподходящей и лишенной всякой аттэнціи встрѣчи.

— Такъ худъ? худенецъ?—вдругъ обернувшись къ графу, спросила Екатерина.

— О чемъ, матушка, изволите? — не понявъ вопроса и склоняясь къ ней, произанесъ Бестужевъ.

— Такъ ненадеженъ мой сынъ? ненадеженъ?.. А знаешь ли, батюшка-графъ, кого мы съ вами только-что видѣли?

Бестужевъ вздрогнулъ. Въ томящей тоскѣ предчувствія, забывъ всякій этикетъ, онъ ухватилъ жѣсткою, холодною рукой руку императрицы.

— Мы видѣли бывшего императора Іоанна Антоновича, — проговорила Екатерина: — изъ Кексгольма нарочно его привозили... Гдѣ-жъ правда? Пятнадцать лѣтъ вы, батюшка Алексѣй Петровичъ, при покойной императрицѣ, держали кормило власти, и въ вашей полной волѣ была судьба принца... а теперь этого бѣдняка, нравственно-больного, мертвеца, вы, вы, — пощадите! — прочтите мнѣ въ женихи... въ мужья...

Послѣ пѣлловскаго свиданія, принца Іоанна вновь отвезли въ Шлиссельбургъ. Панинъ въ такомъ видѣ подтвердилъ

его приставамъ старую инструкцію Елисаветы: «Буде явится столь сильная для освобожденія Иванушки рука, что снасть будетъ не мочно, то арестанта Безыменнаго — умертвить, а живого—никому въ руки не давать».

— Какъ же съ нимъ долѣе быть, ваше величество? — спросилъ Панинъ Екаторину, отославъ это подтвержденіе.

— Мое мнѣніе, изъ рукъ не выпускать, — отвѣтила императрица: — надо его постричь и отвезти въ не весьма отдаленный монастырь, гдѣ сторонняго богомолья мало или вовсе нѣтъ, — въ муромскіе лѣса, въ Вологду или въ Колау... Впрочемъ, о сей матеріи мы еще поговоримъ...

XXVI.

У новаго фаворита, въ Шаболовкѣ.

Осень и часть зимы 1762 года Мирѡвичъ провелъ съ полкомъ въ окрестностяхъ Москвы. Къ началу 1763 года полкъ выступилъ на стоянку къ границамъ Польши, въ раскольниковыя слободы черниговской губерніи. Свиданіе съ сестрами не принесло Мирѡвичу утѣшенія. Помочь имъ онъ не могъ, такъ какъ и самъ едва перебивался въ тяжелой бѣдности. Въ полку тоже ему не везло. Молва о прошломъ Мирѡвича, о самовольной отлучкѣ изъ Шавель и о передрагахъ съ его арестомъ и допросомъ въ Кронштадтѣ, отъ которыхъ онъ спасся лишь протекціей важныхъ патроновъ, все-таки сильно вредила его службѣ. Начальство на него косилось. Товарищи-фрунтовики, отъ праздно-бутежной компаніи которыхъ онъ теперь держался въ сторонѣ, относились къ нему холодно или презрительно-враждебно. Онъ вспоминалъ недавнее свое положеніе, въ числѣ штабныхъ кѣнигсбергскаго губернатора Петра Панина и, замкнувшись въ себя, въ неисходной тоскѣ, тянулъ ляжку карауловъ, пѣвшихъ переходовъ по глухимъ, занесеннымъ снѣгомъ деревушкамъ, учений, опять карауловъ и новыхъ переходовъ.

Середина февраля застала Мирѡвича въ черниговскомъ намѣстничествѣ, въ раскольниковѣй слободѣ Добрянкѣ. Полкъ былъ расположенъ въ ней и возлѣ на винтеръ-квартирахъ, а его, съ командой, послали къ Днѣпру, въ слободу Радуди. Здѣсь, принимая фуражъ, онъ провалился на подтаявшемъ льду, схватилъ горячку и пролежалъ у сосѣдняго мельника-слобожанина до начала апрѣля. Всталъ отъ болѣзни непохожій на себя — страшно-исхудалый, слабый, раз-

дражительный и злой на всёх и на все. Его выздоровление совпало съ возвратомъ на Украину тепла и весны.

Яркій лучъ южнаго солнца вызвалъ Мирівича на завадку. Онъ давно слышалъ въ низенькой тѣсной избѣ крики прилетныхъ гусей, журавлей, возгласы чаекъ, шумъ и журчаніе всюду бѣжавшихъ ручьевъ. Его неудержимо манилодохнуть свѣжею, гулкою, въ этомъ шумѣ и гамѣ, струейвѣшняго воздуха. Онъ вышелъ, взглянулъ...

Съ береговой кручи, со двора мельника, вдругъ, передъ нимъ открылся безбрежный, съ лѣсами въ видѣ темныхъ острововъ, голубой, затопившій окрестности Днѣпръ. Правѣе—была гдѣ-то церковь, лѣвѣе—черезъ сѣро-глинистыйяръ, на высокомъ бутрѣ, съ красной крышей, видѣлся большой помѣщичій домъ. Весь онъ потонулъ въ саду. Садъ сбѣгалъ и по взгорью къ рѣчному затону. — «Родина, милая родина, — заплакалъ отъ радости Мирівичъ: — вотъ гдѣ истинное счастье, рай! Вотъ гдѣ врачеваніе сердцу, разбитому въ душныхъ, городскихъ вертепахъ! Боже! не даромъ и стремился къ достоянію предковъ, не даромъ во снѣ и наяву моей душѣ видѣлись родные, привольные доли, холмы, тихіе сады. Тамъ — скоплѣнные въ большихъ городахъ не люди, а звѣри; здѣсь — простой, землю папущій, селянинъ исполняетъ завѣтъ Бога, природы»...

Оправясь, но еще все слабѣй, Мирівичъ началъ спускаться къ рѣкѣ, сидѣлъ у Днѣпра и однажды отъ берега зашелъ въ помѣщичій садъ. Ими владѣльца ему называли, но онъ, въ болѣзненномъ равнодушіи и разсѣянности, не обратилъ на то вниманія. Помнилъ онъ только, что рѣчь шла объ опальномъ вельможѣ, никуда не выѣзжавшемъ и цѣлые дни, съ книгой или газетой, лежавшемъ на диванѣ въ своемъ кабинетѣ. Садъ окидывался зеленью. Вишни и яблони пышно цвѣли. Пчелы гудѣли на ивахъ и черемухахъ. Кукушка отзывалась въ ракитникѣ. Дятель звонко щелкалъ въ дупло оголеннаго, коряваго дуба.

Приглядываясь къ каждому, окинутому первой зеленью кусту, къ каждой вырытой у корней и на лужайкахъ свѣжей норкѣ, къ букашкѣ, цвѣтку, — Мирівичъ прошелъ одну аллею, другую. Тепло было, какъ въ маѣ. Напоенный запахомъ чебреца воздухъ не шлохнулся. Кое-гдѣ видѣлись бесѣдки, гроты, мосты. Подъ огромнымъ, еще безлиственнымъ осокоромъ, на скамьѣ у обелиска изъ блѣдно-зеленаго, мѣот-

каго гранита, въ старомъ треуголѣ, съ звѣздой на епанчѣ, сидѣть, сгорбившись, съ книгой, изжелта смуглый, задумчивый военный. Мирovichъ приподнялъ шляпу; хотѣлъ пройти мимо и чуть не упалъ: передъ нимъ былъ генералъ-адъютантъ покойнаго императора, бывшая «голубица мира» берлинскаго ковчега, Андрей Васильичъ Гудовичъ. Онъ молча стоялъ нѣсколько минутъ.

— Такъ вы тотъ самый, тотъ самый, что тогда? — разглядѣвъ его и заторопясь, сквозь слезы, спросилъ Андрей Васильичъ.

Они разговорились. И сколько было сказано! Больше медли пробылъ послѣ того Мирovichъ въ Радуляхъ и каждый день ходилъ на прогулку отъ мельника къ Днѣпру и въ цвѣтущій, покрывавшійся пышными уборами садъ. Здѣсь онъ еще разъ или два встрѣтился съ Гудовичемъ. И, хотя ссыльный, недавно могучій вельможа держалъ себя съ нимъ, какъ и со всѣми, холодно и строго, но, бесѣдуя съ случайнымъ гостемъ о пережитыхъ, памятныхъ дняхъ и сообразивъ его поведеніе въ роковое время, не утерпѣлъ и повѣдалъ ему кое-что, долетѣвшее къ нему въ Радули.

Отъ него Мирovichъ узналъ подробности о дѣлѣ Хрущева и двухъ Гурьевыхъ, приговоренныхъ къ казни, публично опельмованныхъ и сосланныхъ въ Камчатку, за намѣреніе освободить принца Іоанна. — «Пора-де вспомнить, — говорили эти смѣльчаки: — что есть фамилія царя Івана Алексѣича; пора узнать, гдѣ содержится Иванушка; не пойдѣмъ въ караулъ, пока его не вызволимъ». — Здѣсь же услышалъ Мирovichъ и о недавней опалѣ, о сложеніи сана и о предположенной ссылкѣ въ Корельскій монастырь ростовскаго митрополита, Арсенія Маѣевича. Государыня, узнавъ о провинности Арсенія, отвѣтила на предстательство о немъ Бестужева: «прежде, сударь, безъ всякой церемоніи и не по столь важнымъ дѣламъ, преосвященнымъ головы сбѣкали». — А провинился владыко не столько протестомъ противъ отобранія монастырскихъ крестьянъ, сколько тѣмъ, что говорилъ своимъ ближнимъ: «надлежало быть на престолѣ не государынѣ, а принцу Іоанну... государыня не природная и не тверда въ вѣрѣ». — Еще же пророчилъ Арсеній, что будутъ въ Россіи царить два юноши, Павелъ да Іоаннъ, и что они выгонятъ изъ Европы турка и возмуть Грецію и Царьградъ. — И ужъ лучше бы, — сказывалъ Арсеній: — го-

сударынѣ вступить въ бракъ съ Іоанномъ Антоновичемъ: она съ нимъ не въ близкомъ родствѣ, въ шестомъ колѣнѣ; не смѣнять же царскаго отпрыска на поддержку картежниковъ и мотовъ, въ родѣ Григорія Орлова». — «Какъ, на Орлова?» — обомлѣвъ, спросилъ Мирovichъ: — «Поѣдешь, все узнаешь», — спохватившись и оглядываясь на прощанье съ нимъ, сказалъ владѣлецъ Радугей.

Въ концѣ мая Мирovichъ отправился провѣдать сестеръ. Отъ полка же, кстати, встрѣтилась жалоба по фуражному дѣлу къ гетману, бывшему со дворомъ въ Москвѣ. Мирovichу дали инструкцію, рапортъ и прогоны, и онъ уѣхалъ.

Одна мысль засѣла въ его головѣ, неотвязно нашептывала ему, манила его. Онъ все думалъ, соображалъ и терялся въ догадкахъ. Уже по пути къ Москвѣ слышалъ онъ сперва робкіе, потомъ болѣе ясные намеки на затѣю бывшаго канцлера — въ угоду Орловымъ — устроить замужество государыни съ Григоріемъ Орловымъ. Въ Москвѣ же, куда онъ ни заходилъ, къ сестрамъ, къ знакомымъ, въ трактиры, только и было рѣчи, что о новомъ проектѣ «сѣдой, нераскайнной лисицы» — Бестужева. Говорили, что государыня съ Орловымъ съѣхала въ ростовскій, воскресенскій монастырь, къ переносу мощей святого Димитрія, и что безъ нихъ графъ Бестужевъ составилъ всеподданнѣйшій адресъ, за подписью высшаго духовенства и генералитета, о томъ, чтобы ея величеству выдти за принца Іоанна, а буде не угодно то, по примѣру предковъ, бывшихъ российскихъ царей, избрала бы она въ супруги кого-либо изъ своихъ вѣрноподданныхъ. Но встрѣтилась преграда.

Первый помощникъ и недавній другъ Орлова, Федоръ Хитрово, какъ вѣрный патріотъ, подобралъ партію недовольныхъ. Въ союзники съ нимъ стали оба Рославлевы, Пассекъ, Ласунскій, за ними Баскаковъ и Барятинскій, — словомъ, чуть не всѣ главные вожаки и «партизаны» бывшаго переворота. — «Григорій Орловъ глупъ, — толковали въ Москвѣ: — и больше все строить братъ его, дубина Алексѣй, да старый чортъ Бестужевъ; но все можетъ случиться, — одна надежда на Панина».

«Вотъ случай, — подумалъ Мирovichъ: — другого не будетъ. Орловъ... посѣтитель Дрезденши, и я съ нимъ былъ во дни близокъ, даже обыгрывалъ его на бильярдѣ... Ничтожный, безвѣстный офицериска готовится взойти на такую

ступень... Попробовать развѣ, попытать? Или и его — къ дьяволу, лучше не трогать?..»

Бродя безъ цѣли, безъ мысли, по Москвѣ, онъ опять необходимо вспомнилъ объ Орловѣ, разспросилъ кое-кого, собралъ нужныя свѣдѣнія и отправился къ нему въ Шаболовку.

Пышный, хлѣбосольный и всюду уже гремѣвшій домъ графа Григорія Григорьевича былъ на фронтонѣ украшенъ лѣпнымъ гербомъ, съ надписью: «Fortitudine et constantia». Москва, знавшая хоромы старой знати — Шереметевыхъ и Нарышкиныхъ на Воздвиженкѣ, Трубецкихъ — на Покровкѣ, Куракиныхъ — на Васманной и Салтыкова — на Дмитровкѣ, — ѣздилъ теперь, съ рабскимъ решпектомъ, на поклонъ, на недавно глухую, мѣщански-пустынную Шаболовку, гдѣ новопожалованный «графъ Римской имперіи» на бѣговыхъ дрожкахъ объѣзжалъ рысаковъ или платкомъ въ слуховое окно гонялъ голубей. Надъ улицей и садомъ кружились стаи дорогихъ турмановъ: двуплѣкіе, сѣроплѣкіе, полвопѣкіе, съ подпалиной и безъ подпалины, ногатые, мохнатые и всякіе. Голубиная потѣха графа смѣнялась медвѣжьей, либо волчьей травлей, травля — кулачнымъ боемъ, а бой — чтеніемъ изданій Жюконды, — древнихъ писателей о сельскомъ хозяйствѣ, или исполненіемъ во дворцѣ нѣжныхъ менуэтовъ и гавотовъ.

Мирдовичъ засталъ Орлова за бритьемъ въ халатѣ. Доложивъ о себѣ, онъ вошелъ сурово, поклонился съ достоинствомъ.

— А! дивно-побѣдная пятѣрка! — вскрикнулъ по старинѣ Григорій Орловъ: — вотъ не ожидалъ. Извини, братецъ, что такъ принимаю. Самъ люблю бриться... Садись. Тороплюсь къ приему. Но, говори: просьбишка, чай, какая? денегъ?.. Да что похудѣлъ? Боленъ былъ? а?.. вотъ какъ! Жаль, жаль...

Мирдовичъ прямо приступилъ къ дѣлу: въ краткихъ словахъ разсказалъ о своемъ прошломъ, о случаѣ съ предкомъ, и съ низкимъ поклономъ сталъ просить Орлова о содѣйствіи къ возврату ему и сестрамъ хотя части неправильно-конфискованнаго имѣнія бабки.

— Ты меня извини, — кончивъ брить щеку и заявившись подбородкомъ, сказалъ графъ Григорій: — это другимъ, братецъ, пой, а не мнѣ. Я — стрѣлянный волкъ. Ну, что шептешь тутъ хоть бы о предкахъ? И какой, такъ-таки скажи

по совѣсти, резонъ, чтобъ отдать тебѣ вонъ когда, еще при Первомъ Петрѣ, описанныя мѣстности твоихъ дѣдовъ? Изъ какихъ, напримѣръ, благъ? Не сердись, слушай, и съ толкомъ, смиренненько разсуди. Сядь, не вскакивай... Вѣдь помѣстья тѣ, чай, тогда еще пожалованы въ другія руки, а тамъ, смотри, перешли и въ третьи?.

— Вѣрно говорите, ваше сіятельство...—съ досадой, поборая въ себѣ жолчь, отвѣтилъ Мирovichъ: — но все же во власти монархини изслѣдовать, узнать корень истины и возвратить внукамъ неправильно отнятое, а нынѣшнихъ владѣльцевъ тѣхъ имѣній убоготорить чѣмъ инымъ...

— Да изъ-за чего, разбери ты?—сказалъ, отвѣдая бритву и взглянувъ на гостя черезъ зеркало, Орловъ:—для каждой милости нужны причины, отличие, права...

Злость взяла Мирovichа. — «Такъ вотъ онъ, любимецъ фортуны,—думалось ему,—въ золотѣ по горло сидитъ, вымытый, выхоленный, сытый, опрысканный духами. Одно, вонъ, бѣлье какое... съ кружевами, сквозитъ... А намъ-то каково? Удался бы мой тогдашній умыселъ, былъ бы я на твоёмъ мѣстѣ. Ишь, какъ теперь поглядываетъ безстыжими, смѣлыми глазами».

— Услуги и мои права, ваше графское сіятельство, — сказала ему, пересиливая обиду и гнѣвъ:—въ действительности, видно, не примѣнены...

— Какія услуги? это любопытно, *vous savez*...

Графъ нагнулся къ зеркалу, пробирвая мѣсто вокругъ темной, пушистой родинки, на лѣвой румяной щекѣ.

— Известно вамъ, графъ, съ Перфильевымъ въ тѣ послѣдніе дни, передъ предпріятіемъ, я, по вашему указанію, игралъ въ карты... Изволите вспомнить, какою вышелъ авантажъ...

— Ахъ ты, потѣшный! Да ты же, припомни, былъ тогда въ выигрышѣ и все его ремизилъ,—пятъ роберовъ, помнишь, десятка опять же, всѣ бубны у тебя... ну! однимъ махомъ заграбасталъ, чуть не сорвалъ у Амбахарши весь банкъ...

Мирovichъ съ холодною злобой улыбнулся.

— Была тогда и другая, болѣе важная причина,—мрачно сказалъ онъ:—да вы не повѣрите... скажете: вымышленно, съ разсчетомъ...

— Говори, братецъ, слушаю,—искоса взглянувъ на него и опять начиная бриться, произнесъ Орловъ.

Мирѡвичъ просвѣтлѣлъ и, точно переродившись, стать въ необычайную, напыщенную позу.

— Я былъ спасителемъ государыни, въ числѣ прочихъ... я главную ей оказалъ услугу... облегчилъ ей престолъ!— проговорилъ онъ, окидывая гордымъ, подавляющимъ взоромъ Орлова.

— Какъ, что?—спросилъ и заикнулся Орловъ.

Мирѡвичъ подробно разсказалъ о случаѣ съ колесомъ въ коляскѣ государыни, при ея уходѣ изъ Петергофа.

Орловъ такъ и покатился со смѣху.

— Ай, да козырь-хохолъ! молодецъ! — вскрикнулъ онъ, бросивъ бритву, махая руками и заливаясь на всѣ лады:— вотъ такъ одолжилъ, придумалъ! Всѣхъ, молодчина, всѣхъ льстецовъ, искателей фавора разбилъ въ пухъ, заткнулъ за поясъ... никто такъ не нашелся, — всѣхъ!.. Такъ *тебѣ* трономъ обязаны? тебѣ? ну, клянусь, это стоить, по чести стоить... ха-ха...

— Но позвольте, графъ,—съ краской стыда и оскорбленія перебилъ его Мирѡвичъ:—вы въ правѣ отвергнуть, пренебречь, но я истину сказалъ... Издѣвки обидны... чортъ! Можете освѣдомиться у своего брата, или у господина Бибикова:—они, если не видѣли, то слышали... какъ я тогда...

— Ой, пощади, пощади!—восклидалъ, катаясь по софѣ, Григорій Орловъ (его звонкій, раскатистый смѣхъ далеко разносился по комнатамъ):—изволь, наведу справки... безпремѣнно наведу... ха-ха! и семи мудрецамъ того не придумать... ой, убилъ, разодолжилъ...

— Разумѣется, что вамъ стоить учинить дознание, разслѣдовать! — сказалъ степенно Мирѡвичъ: — на бумагахъ все объяснится, какъ и что-съ, хоть бы и насчетъ отнятыхъ имѣній моихъ предковъ...

— Ахъ вы, хохлы, архивное сѣмя!—произнесъ, вставая, Григорій Орловъ,—и Мирѡвичъ замѣтилъ непріятное, общее братьямъ, наглорѣшительное выраженіе его красивыхъ, какъ онъ выразился въ умѣ, «безстыжихъ» глазъ: — все-то вы, извини, съ челобитьями, да съ попрошайствами! Нѣтъ того, чтобъ терпѣливо трудиться, смиреннѣхонько ждать, служить. Все-то твои соотчичи измышляютъ, да подводятъ... Ну, станемъ мы, изъ-за тебя, рыться въ древнихъ вашихъ, хохлацкихъ шпаргалахъ, бумагахъ? — сказалъ, посмотрѣвъ въ сторону и думая ужъ о другомъ, Орловъ:—и можетъ ли

быть, чтобъ въ Божѣ почивающій Великій Петръ такъ неправильно рѣшилъ дѣло твоего дѣда?

— Честью увѣряю, честью!—возвысилъ голосъ Мирѳвичъ, чувствуя, какъ слезы подступали къ его горлу: — и не о себѣ только прошу... у меня, графъ, сестры-дѣвицы проживаютъ въ убожествѣ... а мои предки были изъ первыхъ на Украинѣ, служили вѣрой и страданіе приняли за родину и за ея права...

— Хорошо, — небрежно отвѣтилъ графъ Григорій, даже не совсѣмъ разслышавъ послѣднія слова гостя:—увиду германа; навѣдайся,—поговорю съ нимъ, попрошу...

«Ужели опять къ нему идти?» — разсуждалъ Мирѳвичъ, кончивъ порученіе, данное ему отъ полка: — «дьяволы! что толку?.. Станетъ снова издѣваться зазнавшійся бильярдище, да трактирный мотъ... Гдѣ ему, съ этакой хоть бы вышины, разглядѣть горе да бѣдность другихъ? Правду о немъ сказалъ мученикъ, архіепископъ Арсеній: «не его чести и рыла затѣванное дѣло».

Срокъ командировки истекалъ. Надо было возвратиться къ полку. Весна и лѣто въ то время стояли холодныя. Дулъ сѣверный вѣтеръ и каждый день шелъ дождь. Но Москва веселилась.

Народныя гульбища въ апрѣлѣ и въ маѣ были оживлены. Подъ Новинскимъ какой-то силачъ-шведъ вызывался помѣряться въ единоборствѣ съ русскимъ. Всѣ стремились туда.

Съ возвратомъ государыни отъ богомолья, на московскихъ улицахъ и площадяхъ, при барабанномъ боѣ, былъ опубликованъ «манифестъ о молчаніи». Тетрадка «Московскихъ Вѣдомостей» отъ четвертаго іюня, съ этимъ манифестомъ, зачитывалась нарасхватъ. Въ немъ воспрещались всякіе толки «развращенныхъ нравами, праздныхъ людей», — «кои дерзкими ухищреніями, — всюду порицаютъ правительство и всѣ нерушимыя, гражданскія права», — развращаютъ и другихъ «слабоумныхъ и падкихъ на вредную болтовню людей».

Прочтя эту публикацію, Мирѳвичъ окончательно раздумалъ идти къ Орлову. — «Ну его къ бѣсу!» — размышлялъ онъ: — «еще сочтутъ опаснымъ, притязательнымъ критиканомъ, недовольнымъ судьбою, худителемъ государственныхъ дѣлъ... Новый фаворитъ, Орловъ, отвернулся, пренебрегъ...

Не вспомнить ли *старого*?... Разумовскій—землякъ и когда-то, при покойной царицѣ, благоволилъ ко всѣмъ нашимъ и ко мнѣ...

XXVII.

У Разумовскаго, на Покровкѣ.

Въ воскресенье, восьмого іюня, Мирѳичъ пошелъ къ графу Алексѣю Григорьевичу Разумовскому. Погода была, какъ и всѣ тѣ дни, пасмурная, невеселая. То смолкать, то опять моросить дождь.

Разумовскій, съ прѣзда со дворомъ въ Москву, жилъ въ своемъ домѣ на Покровкѣ, рядомъ съ церковью Воскресенія въ Барашихъ, куполь которой съ тѣхъ поръ, въ память вѣнчанія въ ней царицы Елисаветы съ графомъ, украшенъ золотою короной. Иконостасъ этой церкви перевезенъ впоследствии въ Почепъ.

Мирѳичъ пріѣхалъ, даже зависъ въ циркульнѣ и пошелъ къ обѣднѣ на Покровку. Онъ располагалъ подойти къ графу въ церкви, гдѣ Алексѣй Григорьевичъ любилъ пѣвать мошквичей хоромъ собственныхъ пѣвчихъ и гдѣ онъ самъ, бархатно-пѣвучимъ, звонкимъ, нѣсколько въ ностъ голосомъ, читалъ апостола. У обѣдни графъ не былъ. Мирѳичу сказали, что онъ простудился на придворной охотѣ, былъ не совсемъ здоровъ и около недѣли не выходилъ изъ дому.

Мирѳичъ, на всякій случай, рѣшился зайти въ графскія хоромы и велѣлъ о себѣ доложить. Сверхъ ожиданія, его не заставили долго ждать съ отвѣтомъ.—«Пожалуйте»—тихо, съ улыбкой и южнымъ акцентомъ, сказалъ степенный, заливной въ золото галуновъ, неслышно двигавшійся по коврамъ, украинецъ-камердинеръ, по знаку швейцара показавшій гостю дорогу вверхъ, по разубранной цвѣтами лѣстницѣ.

«Увижу прежняго, всесильнаго, бывшаго въ такомъ высочемъ случаѣ человека!—думалъ Мирѳичъ, подходя къ кабинету Разумовскаго,—онъ старался быть патрономъ не только моимъ, но и моей семьи. Не забывалъ когда-то Алексѣй Григорьевичъ земляковъ-малороссовъ, хоть и вышелъ изъ черни, изъ лемешѳовскихъ пастуховъ».—Прошлое, далеко улетѣвшее время мгновенно встало, ожило въ мысляхъ Мирѳича. Онъ вспомнилъ свой прѣздъ съ покойнымъ отцомъ, на волахъ, въ Петербургъ, пріемъ въ Анничковомъ саду у графа, плясаніе «трепака» и пѣніе хвалебнаго канта

передъ императрицей Елисаветой, опредѣленіе въ кадеты, игру на театрѣ въ Гостилицахъ, встрѣчу съ Пчёлкиной, и многое, теперь минувшее навсегда.

Сильно похудѣвшій и осунувшійся, но все еще замѣчательно красивый, Разумовскій не сразу узналъ Мировича, когда тотъ, введенный камердинеромъ, сталъ у порога и почтительно, — «съ респектомъ», отвѣсилъ ему низкій поклонъ. Графъ сидѣлъ съ книгой у камина. Онъ былъ въ бѣломъ, вязаномъ колпакѣ поверхъ серебрившихся, ненапудренныхъ волосъ, и въ свѣтло-голубомъ, на сѣрыхъ мерлушкахъ, бархатномъ халатѣ, со звѣздой на груди.

— А, земляче! стой!.. Мировичъ, кажется?.. онъ? такъ и есть, вотъ не ожидалъ! — взглядывшись въ гости и улыбаясь карими, съ краснинкой, ласковыми глазами, сказалъ Алексій Григорьевичъ: — откуда Богъ принесъ?

Мировичъ объяснилъ.

— Такъ не съ Трубежа, не съ Переяслава? гей-гей! щода-жъ, братику; побѣдятъ тамъ безъ насъ всѣ вареники, галушки и шулики... садись, сердце, вотъ такъ... Что хмурый сталъ? Только стой, прежде побойжись: не ѣдешь домой на волахъ?

— Не ѣду...

— А собака мохнатая, Сѣркѣ—жива?

Мировичу было не до шутокъ.

— Удостоите, ваше графское сіятельство, выслушать партикулярно, — сказалъ онъ дрогнувшимъ голосомъ.

Разумовскій поднялъ брови, опустил на колѣни книгу и все еще не покидалъ улыбки. Ему также вспомнились нныя, болѣе счастливыя годы, время Елисаветы, — время его скачкочнаго, безпримѣрнаго «случая» — улетѣвшаго значенія, силы, общей зависти и общаго раболобнаго почета.

— Ужели-жъ, голубчикъ, дѣло? и такъ-таки именно до меня? — спросилъ Разумовскій.

— Коли позволите, персонально къ вашей чести.

— Не вѣрю, убей Богъ, не вѣрю, — произнесъ, покачавъ головою, графъ: — забыть я, вовсе обойдѣть; отписали въ инвалиды. Да кому я чѣмъ могу быть нынѣ полезенъ? Все новенькіе пошли, да какіе! Спереди блаженъ мужъ, а сзади — всякую паташася языци... Такъ-то, земляче! Оно и дѣло: не всѣмъ большимъ подѣ образами сидѣть. Чужіи пивни

весело поють, а на нашихъ типунъ напаль, — спать, сучи-
сыны: ажъ потѣють...

Мирѡвичъ собрался съ мыслями.

«Все ему расскажу, — подумаль онъ, — попрошу его со-
вѣта. Хитерь онъ и тонокъ, наставить, какъ слѣдуетъ, ука-
жетъ теперь откровенно, гдѣ и кого просить».

— Не откажите, вѣкъ Бога заставите молить, — сказалъ
Мирѡвичъ: — вы же первый когда-то намъ помогли — опре-
дѣлили меня въ корпусъ! открыли жизни путь...

— Да изволь, изволь, охотно, — въ чемъ дѣло? — вздох-
нувъ и подвигаясь съ кресломъ, произнесъ Разумовскій: —
сегодня я никого къ себѣ не жду... При дворѣ, братецъ,
куртагъ, толкотня, суета; я репортуясь хворымъ; каторжная
лихоманка, — иродова дочь, — такъ уцѣпилась, что не откре-
стишься. Сюда, поближе, къ камину, вотъ такъ; я все забну,
да видишь, вотъ чѣмъ душу отвожу на одиночествѣ, — при-
бавилъ, указавъ на кожаный фоліантъ, Разумовскій: — вы-
ходилъ всѣхъ букинистовъ, всѣ книжные лари, на Николь-
ской, былъ у Козырева, Романчинцова и у Анохова, у Се-
мена Николаевича Кольчугина, нигдѣ не нашель. Да ужъ
Өерапонтовъ, отъ Спасскаго моста, прислалъ намедни двѣ
рѣдкихъ, старой кievской печати, книги. Давно ихъ искалъ,
и цѣны имъ нѣтъ. Видишь — читай: Прологъ и Маргаритъ...
каковы литеры?..

— Маргаритъ? — произнесъ, невольно вздрогнувъ и измѣ-
няясь въ лицѣ, Мирѡвичъ.

— А что? и ты до нихъ охотникъ?

— Да такъ-съ, извините... я слышаль, я знаю эту книгу.

— Откуда-жъ ты ее знаешь? гдѣ видѣлъ? книга рѣд-
чайшая...

— Въ Шлиссельбургской крѣпости, — сказалъ Мирѡвичъ: —
заключенный принцъ, Іоаннъ Антоновичъ, ее читаль и ска-
зываль о ней...

— Принцъ Іоаннъ? въ Шлиссельбургской крѣпости? гдѣ
же ты и какъ видѣлъ его?

— Необычнымъ и неожиданнымъ случаемъ, мимолетно, на
мигъ...

— Своими глазами видѣлъ?

— Своими...

— Расскажи, голубчикъ, Расскажи: это любопытно.

Мирѡвичъ сообщилъ о встрѣчѣ съ узникомъ. Разумовскій

внимательно его выслушалъ, задумался и, снявъ колѣпакъ, набожно перекрестился.

— Не пришлось мнѣ видѣть несчастнаго, — сказалъ онъ: — а ты знаешь, въ какомъ я былъ почетѣ: могъ бы! — Боже! неисповѣдимы пути Промысла Твоего... Что ни первые въ свѣтѣ люди — низвергаются съ высоты, а послѣдніе, гляди, возносятся, восходятъ... И все то не даромъ, братецъ, не по-пусту...

— Извините, ваше сіятельство, — какъ бы что-то вспоминая, произнесъ Мирovichъ: — послѣ той экстраординарной и почти чудомъ ниспосланной встрѣчи, мнѣ болѣе не удалось видѣть принца. Знаю только, его передъ переворотомъ привозили въ Петербургъ, на дачу Гудовича. Гдѣ онъ теперь находится?

— Все тамъ же, въ Шлиссельбургѣ, — отвѣтилъ, отвернувшись и махнувъ рукой, Алексѣй Григорьевичъ: — впрочемъ, вру, вывозили его тогда лѣтомъ, послѣ Петербурга, еще въ Кексгольмъ.

— Для чего?

Разумовскій помолчалъ.

— Да ты не проговоришься? — спросилъ онъ.

— Помилуйте, и то, что я передалъ сейчасъ, — вамъ только открылъ.

— Сказываютъ, нынѣшняя государыня пожелала его видѣть, — отвѣтилъ, оглядываясь, графъ: — и то рандеву было устроено какъ бы ненарокомъ.

— И это вѣрно? ея величество точно видѣла принца? — спросилъ Мирovichъ.

— Какъ тебя вижу, — съ недовольствомъ, сумрачно отвѣтилъ Разумовскій: — все неподобныя затѣи и колобродства искателей невозможнаго! не сидится имъ. Чешутся пальцы... Стряпаютъ дерзостныя конъюнктуры, перемѣны, аки бы въ пользу невозвратно-умершаго, а поистинѣ — въ свою только пользу... Ненасытные, наглые себялюбцы и слѣпцы! Докапываются прошлыхъ примѣровъ, пытаются, ищутъ... да руки коротки... Теперь, впрочемъ, слышно, склоняютъ принца принять монашество, духовный чинъ — и онъ согласенъ... и хотя страшится Святаго Духа — хочетъ быть митрополитомъ... Такъ ты видѣлъ принца и онъ, читая Маргаритъ, примѣнилъ къ себѣ сказанія о Крестителѣ Іоаннѣ?

— Примѣнилъ.

— Загадочное и непостижимое знаменіе... Да! чуднымъ, поучительнымъ и, какъ бы опть и желчь, горькимъ смысломъ пропитана вся эта книга Маргаритъ,—о ненасытныхъ въ помыслахъ и алчбѣ женахъ... Слушай, братецъ, окажи мнѣ одну маленькую услугу...

— Приказывайте графъ.

— Ты въ оны дни въ корпусѣ хорошо списывалъ ноты,—сказалъ графъ: — и напивалъ мнѣ въ презентъ копіи, съ хитро-узорочными виньетами... Такъ вотъ что... Ну-ка, искусникъ, присядь, да и спиши у меня тутъ, на особую бумажку, вотъ эти самыя слова объ Иродіадѣ, что, какъ ты говоришь, повторяетъ принцъ, и вообще о злыхъ женахъ. Я и самъ былъ гораздъ списывать; но ослабло зрѣніе и руки что-то—видно, отъ хворобы—не слушаются, дрожатъ. Вонъ въ этой горницѣ столикъ, а возлѣ него—видишь?—на стѣнной этажерочкѣ бумага и чернильница. Пока свѣтло, приладься тамъ, сердце, у окна и спиши... Завтра съ почтой я pošлю одному благопріятелю въ Питеръ... Только стой, одначе... куда же ты? погоди!.. И я-то хорошъ! дамъ тебѣ комиссію, а о твоёмъ персональномъ дѣлѣ, прости, тебя и не спросилъ... Ну, что? Чай, все о томъ же предковскомъ дѣлѣ? Ужли не забылъ?

— Какъ забыть? Помогите, ваше сіятельство, явите божескую милость.

Мирѣвичъ поклонился.

— Совсѣмъ безъ средствъ,—сказалъ онъ:—тяжела, охъ, тяжела нищета, когда знаешь, какъ живутъ и благополучны другіе, ничтожные люди...

— Да что же я, братику, подѣлаю? самъ видишь: — мы прежніе—развѣ у дѣлѣ?... Хлопочи, нищѣ у новыхъ. Они въ силѣ: все въ ихъ рукахъ.

— Помилуйте, графъ, одно ваше слово, намѣкъ...

— Миновало, сѣрденьку, говорю тебѣ, миновало... Были у Мокея лакеи,—нынѣ жъ Мокей... самъ сталъ себѣ лакей...

— Шутите, графъ, и притомъ—кого же просить?

— Иди къ главному,—къ Григорію Григорьевичу Орлову: лично не знаетъ тебя — постарайся, черезъ его братцевъ, пайти къ нему доступить...

— Былъ ужъ у него.

— И что жъ онъ?

— Не токмо отвергъ, пренебрегъ за особия, невымысленныя, перваго ранга, услуги. Сказать ли всю истину?

Мировичъ подробно разсказалъ Разумовскому о знакомствѣ съ Орловымъ и съ его сообщниками у Дрезденши («что теперь мнѣ молчать!» — думалъ онъ); сообщилъ объ игрѣ съ наблюдавшимъ за ними Перфильевымъ и о случаѣ съ колесомъ государыниной коляски. — «Да вы думаете, что я вру? вру? — задыхаясь, блѣдными губами повторялъ Мирѳвичъ, — ну, скажите, можно ли это выдумать? есть живые свидѣтели, ихъ можно спросить... Ужли отрекутся?..»

— Человѣческая гордыня — Араратъ гора вышиною! — презрительно сказала, покачавъ головой, Разумовскій: — только ни одинъ ковчегъ истиннаго людскаго счастья еще не приставалъ къ этой горѣ, не спасался.

— Такъ какъ же послѣ такого афронта? — продолжалъ Мирѳвичъ: — идти ли къ графу Григорію Григорьевичу? а особливо, когда всѣ въ городѣ толкуютъ о новыхъ, сверхъ-обычныхъ почестяхъ, кои его ожидаютъ...

— Какія, сударь, такія еще почести? — поморщась, спросилъ графъ.

— Да о бракѣ?.. ужели не слышали?.. по примѣру, извините, вашего сіятельства...

— О бракѣ? — произнесъ, вдругъ выпрямившись, Разумовскій: — о бракѣ? такъ и ты слышалъ? Изъ респекта и должной аттенціи къ графу Григорію Григорьевичу, я бы умолчалъ, но уповательно... монѣшніе...

Алексій Григорычъ не договорилъ. Въ кабинетъ то-ропливо вошелъ тотъ же степенный, залитый въ золото галуновъ и неслышно двигавшійся по коврамъ, украинецъ-камердинеръ.

— Кто? кто? — спросилъ, не разслышавъ его, Разумовскій.

— Его сіятельство, господинъ канцлеръ, графъ Михайло Ларіонъ Воронцовъ.

Разумовскій удивленно посмотрѣлъ на дверь, потомъ на Мирѳвича.

— Странно... сколько времени не вспоминалъ, не жаловалъ... Проси: да извинись, что, по хворобѣ, въ халатѣ — въ дезабільѣ.

Слуга хотѣлъ идти.

— Нѣтъ, стой... А ты, голубчикъ, — обратился графъ Алексій къ Мирѳвичу: — все-таки вотъ тебѣ эта самая книга,

возьми ее и присядь вонъ тамъ... или, нѣтъ, лучше у моего мажордома, на антресоляхъ,—тамъ будетъ спокойнѣе. Пока приму канцлера, не откажи, будь ласковъ, сними копійку съ отмѣченнаго. Согласенъ?

— Охотно-съ.

Слуга провелъ Мировича ко входу на антресоли и поспѣшилъ въ приемную.

Разумовскій помѣшалъ въ каминѣ, взялъ со стола книгу «Прологъ» и, усѣвшись оявъ въ креслѣ, развернулъ ее на котѣнхъ.—«Что значить этотъ нечаянный и, очевидно, не безъ цѣли визитъ?—раздумывалъ онъ,—въ пароксизмѣ лежалъ, не навѣдывался, а теперь... странно...» — Прошло нѣсколько минутъ тревожнаго, тяжелаго ожиданія.

Въ портретной, потомъ въ бильярдной, наконецъ — въ смежной, цвѣточной гостиной послышались звуки знакомыхъ, тяжелыхъ, съ перевалкой, шаговъ. Вошелъ съ портфелемъ подъ мышкой, въ полной формѣ и при орденахъ, Воронцовъ.

— Чему обязанъ я, Михайло Ларіонычъ? — спросилъ Разумовскій, чуть приподнимаясь въ креслѣ навстрѣчу канцлеру:—извините, ваше сіятельство,—какъ видѣть изволите, вовсе не домогаю,—старость, недуги подходить.

— Э, батюшка-графъ, Алексѣй Григорычъ, — сказалъ, склонивъ съ порога курчавую, съ большимъ покатымъ лбомъ голову и разставя руки, Воронцовъ:—всѣмъ бы намъ быть столь немощными стариками-инвалидами, какъ вы.

— Милости просимъ,—произнесъ, указавъ ему возлѣ себя кресло, Разумовскій.

— Никого нѣтъ по близости? — спросилъ, оглядываясь и садясь, канцлеръ:—могу говорить по тайности?

— Можете. Въ чемъ дѣла суть?

— Негоція первой важности, и вы, графъ, изготовьтесь услышать и, черезъ мое посредство, дать ей величеству должный и откровенный отвѣтъ.

— Я-то?—уныло, упавшимъ голосомъ, проговорилъ Разумовскій: — ну, куда, для какихъ негодій я гожусь, отпѣтый, силъ лишенный отшельникъ?.. Вотъ книгами лишь священными питаюсь, грѣшную душу упражняю поученіями, житіями угодниковъ.

— Государыня, всемилостивѣйшая наша монархиня приказать мнѣ соизволила, — продолжалъ Воронцовъ: — изгото-

вить и вамъ по тайности показать вотъ этотъ прожектъ указа... (Онъ заглянулъ въ портфель, потянулъ-было оттуда и опять тамъ оставилъ заготовленную бумагу). Въ указѣ, государь мой, изображено, что, въ память и въ дань високаго благоговѣнія къ почивающей въ Бозѣ, благодѣтельница-тѣткѣ своей, императрицѣ Елисаветѣ-Петровнѣ, государыня признала за благо вамъ, сіятельный графъ, гласно и всенародно, какъ законно, хотя бы и въ тайнѣ вѣнчанному супругу покойной монархини, дать титулъ высочества...

— Что вы, что, — какъ бы въ ужасѣ, замахавъ руками, сказалъ Разумовскій: — какъ можете вы это говорить? Ну, дерзну ли? Мой Богъ! Да ужели не нашлось, кто бѣ рѣшился въ томъ поперечить ея величеству?

— Я первый, коли простите, возражалъ, — сказалъ, склоняясь, канцлеръ.

— А еще кто, еще?

— И Никита Ивановичъ за мной излагалъ резоны.

— Благодареніе Богу и вамъ съ Никитой Ивановичемъ! — приподнявъ колпакъ и смиренно перекрестясь, сказалъ Разумовскій: — спасибо... доподлинно вы угадали мои чувства и мысли...

— Но всемилостивѣйшая государыня наша, — продолжалъ канцлеръ: — черезъ меня неуклонно и, во всякомъ случаѣ, къ тому жѣ рѣшила вамъ передать еще одну, нарочитой важности, просьбу

— Какую?

— Въ иностранныхъ курантахъ и въ секретныхъ отпискахъ резидентовъ давно пущены въдомости, будто бы у васъ, графъ Алексѣй Григорьевичъ, хранятся доподлинныя, за должной скрѣпой, документы о бракѣ вашемъ съ покойной императрицей. А посему ея величество, какъ въ васъ интересуюсь, поручила вамъ сообщить, чтобы вы не отказали вручить мнѣ тѣ отъѣмной важности свидѣтельства, для начертанія, на сообщенный вамъ объектъ, законнаго и для всѣхъ очевиднаго о томъ высокомъ титулѣ указа.

— Документы, государь мой? — заторопившись, несмѣлымъ голосомъ спросилъ Разумовскій: — свидѣтельства о бракѣ моемъ ея величеству нужны?

— Такъ точно.

— Дозвольте же, — помолчавъ, продолжалъ графъ Алексѣй

Григорьичъ: — не откажите прежде и мнѣ самому просмотрѣть оный, составленный вами, набросокъ указа.

Воронцовъ почтительно подать ему бумагу. Разумовскій просмотрѣлъ ее, возвратилъ и, положивъ книгу на каминъ, всталъ съ кресла. Онъ медленно подошелъ къ шкапу, досталъ изъ него окованный серебромъ, чернаго дерева ларецъ, снялъ съ пен ключъ и вынулъ изъ потайного ящика свертокъ обитыхъ розовымъ атласомъ бумагъ. Развернувъ свертокъ, онъ оболочку его бережно спряталъ на мѣсто, а бумаги, подойдя къ окну, началъ читать съ глубокимъ, благоговѣйнымъ вниманіемъ. Воронцовъ не спускалъ съ него глазъ. — «Появлъ ли, ужели все сразу понялъ?» — думалось Михайлѣ Ларіончу.

Просмотрѣвъ бумаги, Разумовскій ихъ поцѣловалъ, взглянуть на образъ и, возвратясь къ Воронцову, оперся о выступъ камина. Въ лицѣ Алексѣя Григорьевича изображалось неподдѣльное, сильное душевное волненіе; глаза были влажны отъ слезъ. Онъ съ минуту постоялъ, глядя въ каминъ, вздохнулъ и, перекрестившись, молча бросилъ свертокъ въ огонь.

— Я, ваше сіятельство, — сказалъ онъ, садясь: — всегда былъ ни чѣмъ болѣе, только вѣрнымъ рабомъ покойной нашей государыни, Елисаветъ-Петровны, осыпавшей и меня своими благодѣяніями превыше заслугъ.

Канцлеръ поклонился.

— И никогда я, графъ, — слышите ли? — продолжалъ Разумовскій: — никогда не забывалъ, изъ какой доли и на какую стезю возвела меня наша монархія. Обожаю ее — какъ сѣрдобольную мать, поклонялся ей — какъ благодѣтельницамъ милліоновъ, и отнюдь въ помыслахъ не дерзалъ лично сближаться съ августѣйшимъ ея царственнымъ величіемъ...

Воронцовъ сидѣлъ, какъ на иголкахъ. Все видѣнное и слышанное превзошло его ожиданія, казалось ему сказочнымъ, несбыточнымъ сномъ.

— И вѣрьте, батюшка Михайло Ларіончъ, — смитивая слезы и схвативъ его за руку, сказала бывлой «леменшъ-скій пастухъ»: — вѣрьте мнѣ, простому, нехитрому хохлу, и не считите за ложь и притворство... Горе великое, государь мой, горе мелкимъ случайнымъ людямъ, въ слѣпомъ, переходящемъ фаворѣ, посягать на столь смѣлыя, гибельныя

мечты... А если бы то именно, о чем вы говорите, нѣ-
когда и было, то я отнюдь не питалъ бы дерзкой и без-
умной суетности признать случай, — говорю о томъ прямо, —
могущій только омрачить, а отнюдь не приумножить славу
покойной государыни, — общей нашей благодѣтельницы.

— Понимаю васъ, графъ, и, дивясь вамъ, душевно по-
здравляю! — сказалъ, вставъ и радуясь успѣху порученія,
Воронцовъ.

— Теперь вы убѣдились, сударь, — отвѣтилъ, вставъ въ
свой чередъ, Разумовскій: — убѣдились, что отнынѣ нѣтъ у
меня никакихъ документовъ... Доложите же о томъ ея ве-
личеству, — да продлить она, дарами обильная, свое благо-
воленіе и относительно меня, вѣрнаго своего раба... А о
томъ, что сожжено, будетъ знать тоѣмо мое сердце... Пусть
люди врутъ, что имъ взбрѣдитъ на мысли; пусть дерзно-
венные, — понимаете ли меня, графъ? — пусть, въ ненасыт-
ной алчности, простираютъ свои надежды къ опаснымъ,
мнимымъ величіямъ... Мы съ вами, какъ истинные патріоты,
какъ вѣрные отечества слуги, не должны быть причиною
ихъ толковъ и пересудъ...

Воронцовъ откланялся. Его карета быстро загремѣла по
Покровкѣ и далѣе ко дворцу.

Докладъ его о поѣздѣ къ Разумовскому былъ принятъ
отъменно-ласково. При докладѣ былъ и Григорій Орловъ.

— Мы понимаемъ другъ друга съ Алексѣемъ Григорье-
вичемъ, — сказала при этомъ Екатерина: — тайнаго брака
покойной тетки съ графомъ никогда не было... Признаюсь,
праздный шопотъ объ этомъ былъ мнѣ всегда противенъ.
И не даромъ почтенный графъ отъ Разумника происхо-
дитъ, — самъ догадался меня въ столь щекотливой факціи
предупредить. Иного отъ прирожденной всѣмъ малороссіа-
намъ самоотверженности я ожидать и не могла.

Орловъ, какъ говорили потомъ Разумовскому, вышелъ изъ
кабинета государыни блѣдный, сильно-смущенный и съ за-
плаканными глазами.

Нескоро, по отъѣздѣ канцлера, пришелъ въ себя Раз-
умовскій.

Онъ, свѣсивъ голову, неподвижно глядѣлъ съ кресла въ
тако мерцавшій гаминь. Мысли его были далеко: — передъ
нимъ рисовалась подмосковная слобода Александровская;

онъ самъ, молодой, статный пѣвчій Алеша, ходитъ въ хороводѣ сѣнныхъ дѣвушекъ, а объ руку съ нимъ голубоглазая, съ русой пышной косой, красавица, царевна Елизавета Петровна; далѣе — Гостилицы и Аничковъ домъ, свидѣтели столькихъ лѣтъ счастья, общихъ поклоненій и почета...

Алексѣй Григорьевичъ всталъ, отеръ глаза, спряталъ ларецъ и тутъ только вспомнилъ объ офицерѣ, посланномъ на антресоли, для списыванія копій изъ книги Маргариты. Онъ позвонилъ слугу. Мирovichъ снова вышелъ въ кабинетъ.

— Ну, что земляче, списалъ? — спросилъ, ласково улынувшись, Разумовскій.

— Готово.

— Спасибо, садись, говори. Такъ какъ же, друже?.. ждешь помощи, совѣта?

— Не откажите, ваше сіятельство, замолвить слово своему братцу, гетману.

— Брату! не туда мѣтишь. Не той теперь мы оба силы. Миновало, повторяю, отжило... А вотъ что тебѣ скажу. И ты, сердце, меня послушай... Поѣзжай на родину, да чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Бери отпускъ, а то и вовсе абшидь отъ службы. Коли есть у тебя пріятели, родичъ ли, чужой, лишь бы добрый человекъ, — все брось — и гайда до дому... Эй, хлопче, послушай меня... ѣзжай... Есть на родинѣ, Донцѣ, пріятели?

— Есть.

— Кто?

— Въ харьковскомъ намѣстничествѣ — товарищъ по корпусу, помѣщикъ Яковъ Евстафьевичъ Данилевскій и другіе...

— Ну, и ѣзжай пока хоть къ нему.

— Но для какого жъ резону ѣхать, не кончивъ дѣла?

— Твоему отцу я когда-то говорилъ, и тебѣ тотъ же совѣтъ: похлопочи тамъ, на мѣстѣ, а не здѣсь; авось найдешь, ну, хоть какіе-нибудь письменные документы о помѣстьяхъ твоей бабки. Отыщешь, тогда можно будетъ и похлопотать, и я въ такомъ-разѣ первый твой слуга. А безъ того, сердце, прямо говорю, и не надѣйся. Что было, то прошло, что будетъ, повидимъ. Мертваго изъ гроба не вернешь. А коли на то пошло, — то еще лучше вотъ что...

Разумовскій остановился, глядя въ дверь, куда ушелъ Воронцовъ.

— Ты молодец, не глупъ, не простъ,—продолжалъ онъ:—старайся самъ себѣ проложить дорогу. Приглаживайся, ищи примѣровъ на другихъ, подражай... Брось бабьи бредни и—скажу тебѣ словами брата-гетмана—бери фортуна за чубъ... и такъ-таки... безъ церемоній и просто, за самый, то-есть, чубъ... И вѣрь, будешь при томъ такимъ же счастливымъ, какъ и всѣ... понялъ?

— Дастъ ли только фортуна взять себя? — сказалъ Мирвичъ:—шутить изволите, сколько неудачъ...

— Сомнѣнія?—произнесъ, уемѣхнувшись, Разумовскій:—не хватить храбрости? Ну, тогда и вовсе оставайся на родинѣ... живи съ овечками, съ волами, Сѣркомъ... Эхъ-эхъ! родина, великая, вольная степь, зеленые байраки, сады, хутора!.. Ну, вѣришь ли, сердце, вѣришь? Вотъ я и графъ, и богатъ, и все, — а побей меня Богъ и наплюй ты мнѣ, какъ собачьему сыну, прямо въ глаза, коли вру... Все я, слышишь ли, готовъ бросить, все,—и почести, и богатство, и знатность, лишь бы возвратиться тѣмъ, какъ былъ, въ Козелецъ, въ нашу слободу Лемешъ, кончить вѣкъ рядомъ съ дѣдовскими могилами, что на погостѣ въ Чемежахъ... И знаешь ли, — можетъ опять не повѣришь, — да и какъ повѣрить?—вонъ у меня своя музыка, хоры пѣвчихъ, театръ, а я о сю пору, братъ, слышу соловьевъ да жаворонковъ, что пѣли когда-то по зарямъ, въ отцовскихъ и дѣдовскихъ нашихъ тихихъ садахъ.

Разумовскій закрылъ лицо. Серебрившаяся сѣдиной, напудренная его голова упала на бѣлыя, похудѣлыя руки. Слезы изъ-подъ пальцевъ закапали на голубой, бархатный халатъ.

Мирвичъ принялъ совѣтъ графа Алексѣя Григорьевича. Снабженный щедрымъ его пособіемъ, онъ взялъ отъ коллегии полугодовой отпускъ и, въ половинѣ іюня 1763 г., по домашнимъ дѣламъ, уѣхалъ сперва къ пріятелю Якову Евстафьевичу, въ изюмскій, потомъ въ переяславскій уѣздъ. Передъ выѣздомъ на родину, онъ получилъ письмо изъ Петербурга отъ Ушакова, гдѣ тотъ, между прочими новостями, извѣщалъ его, что Поликсена, какъ передали Птицыны, оказалась на Оренбургской линіи, гдѣ проживала при дѣтяхъ, высланнаго въ коменданты Татищевой крѣпости, князя Чурмантѣва.

XXVIII.

Кумова пасѣка.

И снова родина, синій вольный Днѣпръ, лѣсистый берегъ впадающаго въ него Трубежа.

Тянутся вверхъ и внизъ по Трубежу кленовыя и липовыя дебри, красно и сѣроглинистыя яры, поемныя луга, полныя дичи и рыбъ, заливы и озера. Вотъ Барышевка, а вотъ, за Сулимовкой, не доѣзжая Остролучья, въ зеленой дремучей яворщинѣ, и кумова пасѣка!

Узналъ ее Мирѡвичъ. Какъ поставилъ кумъ внизу, — край долины, у Трубежа, — свой пчельникъ, такъ онъ здѣсь многіе годы и стоитъ. А на горѣ село Липовый-Кутъ, бывшее когда-то за предками Мирѡвича. Отъ рѣки видна трехглавая церковь, вправо и влево сады и бѣлыя хаты поселка. Тамъ, гдѣ старая душлистая верба и съ почернѣлымъ журавлемъ колодець, видны ворота и трубы кумовой хаты. Зиму кумъ Майстриукъ, занимаясь бондарствомъ, живеть вверху да селѣ, съ весны откочевываетъ внизъ на лугъ у Трубежа. Пчель на пасѣкѣ и сѣдины въ усахъ и на головѣ кума прибавилось; но все тотъ же онъ и та же, на лугу, въ тѣнистой, зеленой яворщинѣ его пасѣка.

Сильно обрадовался Данило Тарасовичъ сыну покойнаго кума, Якова Мирѡвича. Не зналъ, куда посадить гостя. Хотя и дошли къ нему слухи, что Василій Мирѡвичъ уже офицеръ, но, при видѣ его, онъ смѣшался и не сразу призналъ въ немъ того заморыша-мальчонку, который босикомъ когда-то бѣгалъ со двора его въ лѣсъ, строгаль веретена и дудки и пѣлъ въ церкви съ дьячкомъ. Мирѡвичъ зашелъ въ хату Данилы, увидѣлъ тамъ его «старую», сѣдую Улиту, увидѣлъ у воротъ душлистую вербу и колодець съ журавлемъ. Прошелъ онъ на выгонъ и къ церкви, въ оградѣ которой когда-то онъ игралъ съ ребятами; отыскалъ на кладбищѣ крестъ надъ могилой отца, и долго тутъ стоялъ, повѣся голову и думая. Когда же онъ, знакомой тропинкой, спустился въ лѣсъ, увидѣлъ спрятанный въ гущинѣ дубовъ и яворовъ, плетеный, мазанный глиной шалаши и ряды покрытыхъ лубками ульевъ, когда услышалъ гудѣнье пчелъ, крикъ удоновъ, горлинокъ и коростелей, — сердце его сжалось, и радостныя, теплыя, давно неиспытанныя слезы поѣжали изъ его глазъ.

Дѣдъ Данило угостилъ Мирѡвича, далъ ему отдохнуть съ дороги и сталъ разсиранивать объ ученіи, о службѣ и обо всемъ его прошломъ. — «А ходи, братнику, сюда», — робко и ласково сказалъ дѣдъ, введя его въ чистую горенку, пригнѣнную сзади шалаша, гдѣ, подъ образомъ, на выбѣленной стѣнѣ, были развѣшаны пучки травъ, чистое полотенце, глиняная кадильница и съ кропиломъ кубышка святой воды. Тутъ же въ мѣшкѣ висѣло что-то запыленное, круглое.

— Узнаешь? — снимая мѣшокъ, спросилъ Майстроукъ: — это твой торбанъ: — ты на немъ игралъ и съ нимъ царицѣ пѣлъ пѣсни... А собака Сѣрко — помнишь, хоть и пропала — вонъ его сынъ, — прибавилъ Данило, указывая на стараго, косматаго и тоже сѣраго пса: — уже и этотъ состарился... Ну, говори, зачѣмъ же ты пріѣхалъ въ наши мѣста?

Мирѡвичъ разсказалъ Данилѣ цѣль своего пріѣзда, сходясь съ нимъ на совѣтъ къ священнику, а вскорѣ съѣздивъ въ Переяславъ и въ Полтаву, условился съ судейскими брѣжками и подалъ, куда слѣдуетъ, составленныя прошенія о розысканіи нужныхъ документовъ. Въ Пирятинѣ, по указанію Майстроука, проживалъ нѣкій его дальній родичъ, отставной повытчикъ, Григорій Мирѡвичъ. Онъ его и навѣстилъ. Старый, съ сизымъ носомъ, повытчикъ, объявился ему дядей, доложилъ, что знаетъ всѣхъ повѣтовыхъ и губернскихъ «судовыхъ», и вызвался за него хлопотать. Мирѡвичъ выдалъ ему довѣренность и все, что оставалось у него денегъ, а самъ поспѣшилъ въ Липовый-Кутъ. Ему были противны духота, пылъ и толкотня грязныхъ, наполненныхъ дегтемъ, рогожками и жидами городовъ, и наглыя, жадныя рѣчи и рожи пьяныхъ судейскихъ строчилъ. Его манило снова и непреодолимо въ лѣсъ, въ пчельникъ, къ иволгамъ, горlinkамъ и коростелямъ. — «Будь, что будетъ, — думалъ онъ, — и долго ли протянется, — а такого рая мнѣ больше не найти».

Прошелъ августъ, кончался сентябрь. Лѣса изъ зеленыхъ становились красными и золотыми. Пчелы еще взлетали межъ ульями, но ихъ уже не было почти слышно. Собирались отлетными большими стаями рѣчная и лѣсная дичь. По зарямъ, въ голубой выси, тянулись къ морю крылатыя полчища. Лѣсъ и долина смолкли. Слышалось только шуршаніе желтѣвшихъ, махровыхъ кистей камыша, да падающей въ тишинѣ древесной листвы.

Майстриюкъ къ Покрову повезъ на продажу въ городъ собранный медь. Съ гостемъ на пасѣхъ остался его старшій подслѣповатый наймитъ. Мирѡвичъ ходилъ прежде по лѣсу и за рѣку на село. Теперь онъ больше сидѣлъ подъ шалашомъ, или лежалъ на душистомъ сѣнѣ въ горенкѣ, гдѣ висѣлъ торбанъ. Легалъ онъ и думалъ о прошломъ, о томъ, что онъ испыталъ, и что было далеко, за порогомъ этого шалаша. Онъ зналъ, что жизнь ему не удалась; что ученье, служба не привели его къ желаемому счастью. Случай, фаворъ? Да за одну крупцу изъ того, что такъ неожиданно выпадало ему на долю,—не обернись колесо фортуны и не будь люди такъ злы, — другіе вотъ какъ бы вознеслись... Командировка отъ Панина, личное вниманіе къ нему, замѣтившаго его, покойнаго государя... а знакомство съ Орловымъ, порученіе къ Перфильеву? а случай съ колесомъ... вѣдь это все было. Да отчего жъ онъ попрежнему безвѣстенъ, жалокъ и бѣденъ? отчего не въ высшемъ рангѣ, не знатенъ, лежитъ здѣсь на сѣнѣ, въ плетеномъ, соломенномъ шалашѣ? И она—властительница сердца—недоступная, гордая, злая!—и она, при ласкѣ фортуны, иначе бы къ нему отнеслась...

Мирѡвичъ закрывалъ глаза, старался забыться, не мыслить ни о чемъ. Рядъ дорогихъ, дразнившихъ воспоминаній вставалъ передъ нимъ. Театръ въ Гостилицахъ, первое объясненіе, писанье мадригаловъ, встрѣчи у знакомыхъ, разлука, переписка изъ заграничнаго похода и новая встрѣча въ Шлиссельбургѣ. Онъ пытался думать о своемъ дѣлѣ, какъ найдетъ онъ главныя нужныя бумаги, какъ получить слѣдующее ему по праву, станетъ богатъ и дастъ знать Поликсенѣ, что теперь онъ безъ стѣсненія можетъ предложить ей руку и сердце. Онъ устремлялъ свои мысли къ суду, къ дядѣ Григорію, къ Якову Евстафьевичу и его мирному хутору на Донѣ, гдѣ тотъ жилъ съ молодою женой и новорожденнымъ сыномъ, а изъ-за нихъ, противъ его воли, выливался и дразнилъ его злой и гордый образъ далекой волшебницы.

Въ половинѣ сентября Мирѡвичъ сходилъ къ священнику, попросилъ бумаги и послалъ на почту два письма. Одно было къ корпусному товарищу, Якову Евстафьевичу, съ извѣщеніемъ, что онъ думаетъ опять заѣхать къ нему въ харьковское намѣстничество. На другомъ письмѣ была

надпись: «Оренбургской линіи, въ крѣпость Татищеву». То было письмо къ Пчёлкиной. Мирѡвичъ ей сообщилъ, гдѣ и почему онъ теперь находится, умолялъ ее отозваться хоть словомъ и прибавилъ, что если она оставитъ это послѣднее обращеніе къ ней безъ вниманія, онъ сочтетъ, что между ними все и навсегда кончено. Отвѣта не приходило. Мирѡвичъ ждалъ и, теряя терпѣніе, окончательно убѣждался въ своемъ предчувствіи. Забывъ о пищѣ, лишенный сна, онъ лежалъ въ пчельникѣ и не спускалъ съ тропинки упрямыхъ, сердито-напряженныхъ глазъ; ждалъ, что вотъ-вотъ явится желанный отвѣтъ. Работникъ Данилы, охая и ворча подъ носъ, слѣдилъ за тѣмъ, что стало съ гостемъ. — «Обидѣли малаго, — разсуждалъ онъ: — замолчали судовые аспиды, не выходятъ ему рѣшенія». — Не подавалъ о себѣ вѣсти и повѣтчикъ, дядя Григорій.

Однажды, то было въ началѣ октября, стояли превосходные, чисто малорусскіе осенніе дни, ясные, сухіе и теплые, какъ въ маѣ. Безоблачная синева высилась надъ тихими, пахнущими чебрецомъ и калѣферомъ дебрями, надъ просохшими, усыянными лиловыми головками дикаго лука, лугами. По лѣсу тянулись нити налетающей съ полей бродячей паутины. Все было чутко, все сверкало и мѣло подъ послѣдними лучами щедраго, не высоко стоявшаго солнца.

Большая муха, звонко жужжа, билась въ сѣткѣ паука, межъ пучками цвѣтовъ, висѣвшихъ на стѣнѣ пчельника. Мышь, шелестя, пробиралась гдѣ-то въ соломенной крышѣ. Мирѡвичъ, закинувъ руки на голову, лежалъ на притоптанномъ сѣнѣ, въ углу горенки подъ торбаномъ. Мысли съ невѣроятной быстротой мѣнялись, проходили въ его душѣ.

«Болото, тина, глубь рѣки, — разсуждалъ онъ о видѣнныхъ имъ городахъ и мѣстечкахъ родины: — ничего-то, какъ есть ничего тутъ не знаютъ и знать, какъ видно, не хотятъ изъ того, что дѣлается тамъ, наверху, гдѣ зоя, жизнь и свѣтъ! — Заговорилъ я о столицахъ, — зѣваютъ только, да вздыхаютъ, поглядывая на закуски и графинчики, какъ бы кто скорѣй опять догадался предложить по маленькой. О событіяхъ дворскихъ ни гу-гу... Про столь важную перемену, всколыхавшую объ резиденціи, слышали одни кончики, ничтожные пустые обрывки, либо чистый, глупый вздоръ, — тотъ-де вонъ оттого повысился, этому дали красную, а тому

«блажитную» — голубую ленту. Я о масонахъ, а они о ярмонкѣ, о волахъ, да о всходахъ озимей. Упомянулъ я о принцѣ Юаннѣ... и существованія его не подозреваютъ, имени его не слыхивали. Боже! ужели мнѣ сюда навѣкъ, въ эту глубину, на илистое дно? Отчего жъ нѣтъ? Обстригу косу и буйки, запущу бороду, поселюсь тутъ на пасѣкѣ, — кстати же Данило Тарасовичъ полюбилъ меня и зоветъ къ себѣ въ прѣймы; къ Якову Евстафичу навѣдаюсь — какъ-то онъ копаются, трудится, съ своимъ хозяйствомъ, съ догами? — и никогда отсюда, отъ пчелъ, отъ овецъ, воловъ и отъ этой яворщины — ни ногой. Здѣсь настоящій, предопредѣленный людямъ Соломоновъ храмъ жизни; здѣсь вѣковичное, истинное счастье»...

Въ горенку, гдѣ лежалъ Мировичъ, вошелъ работникъ священника. — «Батюшка ѣздитъ въ Переяславъ, — сказалъ онъ: — и привезъ вашей милости съ почты письмо».

Мировичъ бросился съ пакетомъ къ узенькому оконцу. То былъ отвѣтъ отъ Полисены. Она сообщала изъ Сакмарскаго городка, что ихъ туда перевели изъ Татищевой, что она, попрежнему, его помнить и ему сочувствуетъ, но мысли ея не измѣнились: она проситъ ее оставить въ покоѣ:

«Жизнь ваша во всякомъ разѣ спосибе моей, — писала Пчёлкина: — вы на родинѣ, среди ближнихъ, если не кровныхъ; у васъ хоть это есть, у меня и того нѣтъ. Я на границѣ свѣта, среди дикарей, хищниковъ, изверговъ. Грубые, злые киргизы и казацкіе раскольники, — люди ли это, или худшіе изъ звѣрей? — бунтуютъ, грабятъ и даже рѣжутъ посланныхъ имъ начальниковъ. Того и гляди вспыхнетъ поголовное возстаніе... Князь Чурмантѣвъ просится отсюда, его не пускаютъ. Уже давно здѣсь ждутъ, что всѣхъ истребятъ. Ни человеческой рѣчи, ни книгъ, ни малѣйшей надежды на выходъ отселева, хоть бы въ Яицкѣ, въ Оренбургѣ. Но я не падаю духомъ. И хоть бы еще тяжеле и хуже было, меня не вынуть ни изъ пети, ни изъ оута. Зовутъ меня тотъ самый польскій знатный гусарь, о коемъ вы намекаете, ревнуя, — предлагаетъ отъ дяди мѣсто воспитательницы къ одной малолѣтней, важнаго ранга, особѣ, проживающей въ Италіи... Понимаете? въ Италію изъ Сакмарскаго городка, гдѣ кирпичный чай съ саломъ — роскошь и гдѣ по мѣсяцамъ не знаешь, что дѣлается на свѣтѣ. И все-таки я не побѣду, — что за дѣло до того, что персону, къ

коей меня зовутъ, ожидаетъ, какъ слышно, высокая судьба? Одна дочь князя умерла отъ оспы, я живу при другой, хворой и слабой. Ахъ, что за милое, кроткое дитя. У меня есть цѣль. А вы? Вѣрю въ доброту вашу, преданность, но простите—не вѣрю, чтобъ у васъ хватило духа даже на то, о чемъ пишете,—изъ недовольства судьбой,—остаться навѣкъ въ скромной, безвѣстной долѣ селянина. У такихъ не хватить духа. Вы будете сомнѣваться, упражнять, мучить себя горькими, тяжелыми мыслями, философствовать,—но сдѣлать... это извините, не вашъ удѣлъ... Надо много воли. Читала я когда-то о древнихъ вѣкахъ, какъ сильные духомъ простые люди, жители деревень, рыбаки, пастухи, увидѣвъ сонъ, что имъ быть наверху славы, устремлялись къ ней и покорили судьбу—становились полководцами, избавителями странъ, царями. Ахъ, то было давно и забыто все... Отчего люди стали такъ мелки, слабы душой?»

«Такъ вотъ, зміѣнышъ, скорпіонъ!—вотъ куда ударила она!—скомкавъ письмо, вскрикнулъ Миновичъ:—безсердечная, себялюбивая злока!.. только прикидывается, что заботится, мыслить о другихъ. Вотъ, гдѣ высказался завистливый, скрытный подкидышъ, сорочье дитѣ! Я тебѣ этого не забуду!.. и все ты мнѣ, все выкупишь!»

Бѣшенство овладѣло Миновичемъ. Съ блѣднымъ отъ злости, искривленнымъ лицомъ, съ похолодѣлыми руками и ногами, онъ схватилъ шляпу, дрожа, вышелъ изъ пчельника и бросился въ чашу лѣса.

Старая, лохматая собака за нимъ. Солнце клонилось къ закату, тѣни сгущались. Онъ, дико озираясь, шагаль по валожнику, по лугамъ. — «Такъ я только говорить, а не дѣлать?—захлебываясь, въ смертельной мукѣ, шепталъ онъ спешшими, сложенными въ безобразную усмѣшку, губами:—такъ философствовать только, а отъ дѣла бѣгать? Что же, я мошка, что ли, ничтожная, послѣдній, подлый муравей?—дико вскрикнулъ онъ, пробираясь сквозь гущину вѣтвей и, съ скрежетомъ зубовъ, радостно топча встрѣченную муравьиную кочку:—я не въ счету, рядовой, коихъ тысячами шлютъ подѣ пушки и въ регистры, въ исторію не вносятъ? А она—и впрямь, что ли, Дашкова? Дудки, сударыня... Не добился я почестей, богатства, не на что намъ фалбары, да парчи, да левантины и всякіе дородоры выписывать, такъ вы меня и въ спину, въ спину!.. Про-

клятая модница, искусительница, дьяволъ въ образѣ женщины-волшебницы... Ну тебя къ дьяволу, съ твоей красой и со всѣми чертами! не хочу я знать тебя... плюю, тыфу!»

Съ дрожью отъ бѣшенства и жажды отпора и мести, вышелъ Мировичъ на открытый лужокъ. Здѣсь стемнѣло. Только верхи прибрежныхъ къ Трубежу холмовъ были еще пышно освѣщены. А на самой кручѣ высокаго, изрытаго водомоинами, взгорья стоялъ, весь залитой яркими лучами зари, Липовый-Кутъ; трехглавая на выгонѣ церковь, ряды бѣлыхъ, межъ садами, хатъ, за церковью барская, теперь чужая, когда-то родная Мировичу, усадьба.

Долго смотрѣлъ Мировичъ на церковь, на гору и на село. Крестъ на колокольнѣ погасъ. Сумерки покрыли поселокъ и зеленые по Трубежу холмы и яры. Онъ не замѣчалъ комаровъ и мошекъ, кусавшихъ ему руки и лицо, обернувшись, хотѣлъ идти и вдругъ судорожно, громко захохоталъ.— «Подлецъ я, жадный и низкій подлецъ!—болѣзненно до слезъ задыхался онъ:—ропщу и сѣтую,—на что же?—что не отдають мнѣ того, чего у меня и не было! деревушки, клочка земли! А онъ, далекій, видѣнный мною затворникъ? Онъ—царственный узникъ? Его доля какова? И мнѣ ли, мнѣ ли сравниться съ нимъ? У него былъ вѣнецъ, царство—да какое!—и его свергли, заточили, держатъ подъ замкомъ, взаперти... Ужась, люди, ужась!»

Двое сутокъ Мировичъ пропадалъ безъ вѣсти. Наймитъ Данилы хотѣлъ уже о немъ подавать явку комиссару. На третьи сутки вечеромъ гость возвратился немѣтый, включенный, съ разорванной обувью, въ грязи. Усталая, еле двигавшая ногами собака плелась за нимъ. Онъ жадно загусилъ хлѣбомъ съ крынкой молока, бросилъ корку собакѣ, освѣдомился, возвратился ли Данило, мрачно посидѣлъ подъ навѣсомъ у порога и бросился на сѣно въ шалашъ.—«Загулялъ съ горя, пить сталъ по шинкамъ»,—подумалъ о немъ работникъ Данилы.

Мировичъ опять лежалъ въ горенкѣ и, глядя въ уголокъ потолка, прислушивался, не жужжитъ ли муха, не шмыгнетъ ли въ соломѣ мышь? И снова, чуть закрывалъ онъ глаза, передъ нимъ было темное взморье, барка съ мертвенно-опущенными парусами, испуганныя лица путниковъ и часовой на бѣло-песчаномъ мыску. Грохотъ барабановъ, музыка раздавались въ ушахъ, колокольный звонъ и крики

ура.—«Не дѣлать, философствовать вашъ удѣлъ... Пастухи, рыбаки властелинами дѣлались, міръ освобождали... въ Италію зовутъ, а я отъ бѣдной, хворой дѣвочки не отхожу,—кирпичный чай,—изъ петли не вынуть, изъ омута...»

Ночью Мирѡвичу приснился сонъ: народное ликованіе, стрѣльба изъ пушекъ и во всѣхъ концахъ колокольный набатъ. Многолюдная, радостная толпа — мѣщане, солдаты, чернь и сановники—несутъ на рукахъ отбитаго изъ тюрьмы узника. Принцъ Іоаннъ, блѣдный, съ кроткою сіяющею улыбкой, сидитъ на носилкахъ. Голова его въ коронѣ; въ рукахъ разбитыя цѣпи и листъ бумаги. Знамена вѣютъ. За криками не слышно, что онъ говоритъ. А онъ машетъ цѣпями и бумагой, кланяется и счастливыми, сіяющими глазами ищетъ кого-то въ толпѣ.—«Вотъ онъ, вотъ твой освободитель!—кричатъ, указывая ему Мирѡвича:—впередъ его, впередъ... хартію ему, хартію...»

Въ страхѣ очнулся и вскинулся на снѣгъ Мирѡвичъ. Лихорадка била его. Зубъ не попадалъ на зубъ. Въ ушахъ отдавались громкіе крики: «впередъ его, впередъ!»—Отъ глазъ не отходилъ взволнованный блѣдный образъ отбитаго изъ тюрьмы узника.

«Ты мечтаешь о славѣ Дашковой,—въ ознобѣ непреодолимаго сладкаго ужаса, проговорилъ Мирѡвичъ:—тебѣ не удалось... А что, коли *мнѣ* удастся стать Орловымъ?.. Ты меня тогда обидѣла, обижала, не разъ и я клялся, что ты мнѣ выкупишь тѣ слова... Время настало...»

То, что подумалъ и впервые выговорилъ себѣ Мирѡвичъ, было до того неожиданно, сказочно, страшно, что онъ, поднявшись и нащупавъ въ потемкахъ дверь, босикомъ, въ одномъ бѣлѣ, вышелъ изъ шалаша. Ночь стояла темная, безъ мѣсяца. Небо слабо мерцало звѣздами. Вокругъ, въ лѣсу и за рѣкой, была полная тишина. Мирѡвичъ въ забытьѣ, въ полуснѣ, глядѣлъ съ порога, прислушивался. Холодъ и сырость охватили его, заставили опомниться. Онъ взялся за косякъ двери, думалъ уже возвратиться, и вдругъ окаменѣлъ... Гдѣ-то, въ лѣсной чащѣ, у Трубежа, далеко-далеко послышался возгласъ или стонъ: ой! — раздался въ тишинѣ какъ бы крикъ ночной птицы или человѣка — ой! ой!—повторилъ вблизи и вдали, точно охнула, уныло простонала пробужденная окрестность...

«Собака стонетъ? Нѣтъ, то *его* голосъ... то *онъ* меня зо-

веть!.. — въ суетѣрномъ страхѣ сказалъ себѣ Мирѳвичъ: — онъ, онъ, принцъ Іоаннъ! И какъ я забылъ, какъ могъ забыть, когда далъ слово, тайно отъ всѣхъ ему поклялся? Я далъ тогда обѣтъ, — если онъ попрежнему будетъ несчастенъ и нуждается во мнѣ, — явиться къ нему, положить за него голову. Голову... ну, я легко еще ея не отдамъ; а что до обѣта, онъ исполнится свято...»

...«Горе, горе вамъ, мытари, фарисеи! воздвигну мертвую тѣнь, призракъ... сотворю судъ пришельцу!» — задыхаясь, повторялъ Мирѳвичъ мстительныя, торжествующія слова.

Наутро возвратился Майстриукъ. Онъ привезъ изъ Перяслава пидулку отъ дяди Мирѳвича. Дядя опять требовалъ денегъ, безъ того — писалъ — въ судъ хоть и не кажись. Пожилъ Мирѳвичъ еще съ недѣлю у Данилы, раздобылъ у него и у сосѣдей, въ счетъ будущаго наслѣдства, нужную сумму и поѣхалъ съ нимъ въ городъ. Дядю Григорья нашли пьянаго въ жидовской корчмѣ. Онъ растратилъ всѣ деньги и пилъ теперь на послѣднюю, заложенную одеженку. — «Ты не смотри, сударь, — говорилъ отставной повѣтчикъ: — не смотри, что я пьянъ... Я, сударь, все крапивное зелье знаю, бо и самъ я съ того зелья выросъ и имъ орудую...»

Бросился Мирѳвичъ лично онять въ уѣздный, а потомъ и въ губернской архивы, платилъ, кланялся «судовымъ». Все было тщетно. Онъ рѣшилъ ѣхать въ Петербургъ.

— Простите же, Данило Тарасовичъ, — сказалъ онъ на разставаньи Майстриуку: — попроси и людей простить, что завезу до времени ваши деньги. Коли не смилуется сама царица, къ ней теперь дойду, — то не погнѣвайтесь, обождите, — изъ жалованья, хоть по малу, а выплачу этотъ долгъ. — «Боже тебѣ помоги, — отвѣтилъ, кланяясь, Данило: — съ отцомъ твоимъ и я, и тѣ люди были въ дружбѣ, — хорошій былъ человекъ, — и ты насъ не поминай лихомъ». — По пути Мирѳвичъ заѣхалъ къ школьному товарищу, Якову Евстафьевичу, въ село Пришибъ, изюмскаго уѣзда, но былъ тамъ недолго. Пріятель-украинецъ и его молодая жена были изумлены разсѣянностью и мрачною молчаливостью гостя, который болѣе бродилъ въ полѣ и по сутробамъ въ лѣсу, на Донцѣ, чѣмъ сидѣлъ въ тепломъ, новомъ домѣ знакомцевъ, слушая ихъ мирныя рѣчи о мирныхъ домашнихъ дѣлахъ. Яковъ Евстафьевичъ собирался въ будущую

осень, по какой-то тяжбѣ, въ сѣверную столицу. Они условились повидаться.

Въ исходѣ декабря, Мирѳвичъ, съ письменною челобитной за себя, за сестеръ и за дядю Григорія, прїѣхалъ въ Петербургъ.

Въ челобитной просители говорили, что «двадцать лѣтъ назадъ, ихъ бабка, полковница Пелагея Захаровна Мирѳвичка, урожденная Голубина, съ дѣтьми и внуками, въ послѣдній разъ просила покойную государыню Елисавету Петровну о возвратѣ ей отписанныхъ у нея, за проступокъ ея деверя, жалованныхъ ей отцу и ея лично купленныхъ въ переяславскомъ полку деревень, и что сенатъ, разсмотрѣвъ то ходатайство, опредѣлилъ, — купленные угодья отдать ей обратно; а о пожалованныхъ особо доложить государынѣ, — но токмо это дѣло ихъ и понынѣ еще не рѣшено».

Челобитную Мирѳвичъ подалъ Екатеринѣ, черезъ Теплова, десятого января 1764 года. Пятаго февраля на нее послѣдовала резолюція: «отослать на разсмотрѣніе сенату». Сенатъ вновь рѣшилъ: «отдачи не чинить»; а тринадцатаго апрѣля Екатерина, на докладѣ о томъ, подписала конфирмацію: «По прописанному здѣсь просители никакого права не имѣютъ, и для того надлежитъ сенату имъ отказать».

Узнавъ объ исходѣ дѣла, Мирѳвичъ въ Царскомъ Селѣ лично подалъ новую челобитную императрицѣ, гдѣ опять подробно прописалъ всѣ обстоятельства и, сославшись на то, что самъ онъ кое-какъ еще можетъ питаться, такъ какъ получаетъ за службу жалованье — «исключая же себя» — просилъ токмо за трехъ своихъ неимущихъ сестеръ, для необходимости коихъ утруждалъ о датѣ имъ на прокормленіе «хотя бы пенціона изъ доказаннаго всюду великодушія ея величества».

Подъ первую, январскую, челобитную Мирѳвичъ подписанъ подпоручикомъ прежняго, нарвскаго пѣхотнаго полка; подъ апрѣльскую — тѣмъ же чиномъ, но ужъ смоленскаго полка, стоявшаго въ то время въ Шлиссельбургѣ.

Онъ перешелъ въ этотъ полкъ въ первыхъ числахъ марта.

XXIX.

Въ Казанскомъ соборѣ.

Съ возвратомъ изъ Малороссіи, Мирѳвичъ почти ужъ не приходилъ въ себя, — былъ постоянно въ возбужденномъ,

дихорадочномъ состояніи. Неуспѣхъ хлопотъ по дѣлу сильно его раздражалъ.

Его движенія стали угловаты, рѣзки, голосъ отрывистъ и грубъ; въ глазахъ не угасалъ странный, блуждающій огонь. Онъ то сидѣлъ по часамъ, нахмурившись, вяло отвѣчалъ на обращаемые къ нему вопросы, то вдругъ неестественно оживлялся, говорилъ порывисто, хотя грубо, и вдругъ прерывая, точно отрѣзывая начатый разговоръ, схватывалъ шляпу и уходилъ, какъ бы торопясь куда-то, трепеща къ кому-то опоздать. Перешелъ онъ въ смоленскій полкъ, благодаря поддержкѣ бывшаго своего начальника, Петра Ивановича Панина. Панинъ былъ теперь сенаторомъ и, опять допустивъ къ себѣ и выслушавъ Мирovichа, весьма сочувственно отнесся къ его дѣлу. Подавъ прошеніе, Мирovichъ нѣсколько разъ ѣздилъ въ Гатчину, гдѣ Панинъ, въ ожиданіи отдѣлки пожалованнаго ему петербургскаго дома, жилъ все лѣто съ племянницей своей, Дашковой. Однажды, при входѣ къ нему, Мирovichъ изъ пріемной услышалъ конецъ ихъ разговора.

— Безграмотные нынѣ жалуются въ умники, — говорила Дашкова: — вашъ англискій клобъ имъ потакаетъ безъ censure...

— Ну что жъ, матушка, дѣлать, — отвѣтилъ Петръ Ивановичъ: — зло преужасно, ухъ, велико! скареды и срамцы сидятъ по нормамъ, да знай пишутъ страшные репорты, ну, и держатся.

— Вотъ бы на нихъ Иванушку выпустить... — сказала Дашкова.

— Куда! опять инструкція дана коменданту, — возразилъ Панинъ: — буде дерзнетъ сильная рука, — арестанта вѣрно живымъ не выпускать. Монашескій чинъ ему предложили принять, не хочетъ, страшится Святаго Духа, все та же исторія — онъ-де безплотный.

Голоса смолкли. Дашкова ушла.

На новую жалобу Мирovichа, что по его челобитной въ сенатъ не хотятъ толкомъ собирать справки, а такъ, по прошлымъ примѣрамъ, ведутъ дѣло наобумъ, Панинъ не утерпѣлъ и разразился осужденіями.

— Свинство, позоръ! — сказалъ онъ: — однимъ гребнемъ всѣ чесаны... Сенаторыжъ наши, — нешто ты не знаешь, — лишь отголосокъ капризовъ генераль-прокурора. Одна надежда на государыню; ее проси...

Получивъ отказъ и на второе прошеніе, Мирѡвичъ нѣсколько дней былъ какъ потерянный, — вель съ первыхъ чиселъ апрѣля жизнь бродячую, разсѣянную, сталъ опять посѣщать трактиры, герберги, навестилъ къ Амбахаршѣ и къ отставному майору Павлинову, снявшему вольный домъ, умершей въ минувшее лѣто, Дрезденши.

Завитой и распомаженный, съ сверкавшими, точно хмельными глазами, онъ показался нѣсколько разъ и въ модной толпѣ по Невскому. Но гдѣ онъ имѣлъ пріютъ, гдѣ спать, гдѣ харчился, — никто не зналъ. Деньги, привезенныя съ родины, приходили къ концу. Надо было снова приниматься за службу, къ новому начальству явиться. Въ другое время это бы его тяготило. Теперь на душѣ его стало вдругъ почему-то беззаботно, легко; пустота, тишина низошли туда, точно веселый, легкій вѣтеръ перепархивалъ тамъ по гладкому, цвѣтущему полю. Въ такомъ видѣ его встрѣтилъ, въ началѣ мая, у подъѣзда опернаго театра, Ушаковъ. Онъ не могъ надвинуться настроенію Василя Яковлевича.

— Пройграть дѣло, а веселишься, не унываешь, — сказалъ ему Ушаковъ, самъ прогорѣвшій опять, въ это время, въ кутежѣ съ какими-то матушкиными сынками.

— Жить—умереть, не жить—умереть!—отвѣтилъ, громко засмѣявшись, Мирѡвичъ любимой поговоркой самого Ушакова.

Вечеромъ, девятаго мая, въ Николинъ день, Мирѡвичъ подъѣхалъ къ квартирѣ Ушакова. Подъ гнетомъ теперешнихъ своихъ, особенно тяжкихъ, обстоятельствъ, Аполлонъ Ильичъ рѣшилъ, наконецъ, выйти въ отставку и уѣхать куда-то за Москву, гдѣ ему купчиха-кума обѣщала сосватать богатую невѣсту. Полкъ, въ которомъ онъ служилъ, стоялъ въ Петербургѣ, и самъ онъ, кое-какъ перебиваясь, проживалъ въ той же квартирѣ, подъ Смольнымъ, гдѣ два года назадъ его искалъ Мирѡвичъ, въ памятный вечеръ передъ переворотомъ.

— Ты въ отставку? — спросилъ его Мирѡвичъ, неприятнымъ, пытливымъ взоромъ окидывая комнату и мрачно садясь противъ него, у стола.

— Въ отставку; чтѣ подѣлаешь, нечѣмъ жить, — отвѣтилъ Ушаковъ: — хочешь пивца? выпьемъ...

— Вздоръ, не выходи изъ службы, — сказать рѣшительно, упершись въ него сѣлымъ, вызывающимъ взоромъ, Мирѡ-

вить:—наши дѣла вотъ какъ въ скорости поднимутся, расцвѣтутъ!

— Отчего жъ имъ подняться?—спросилъ, глядя на гостя, Ушаковъ:—какіе такіе кудесники тебѣ нагадали?

— Баста! баста!—съ приливомъ злобы, бѣшено крикнулъ Мирѡвичъ, ударивъ кулакомъ по столу:—слышишь ли?—конецъ! не шути! Мы не пѣшки, вотъ что, не прахъ, не муравьи... Отчего гвардейскимъ молодичкамъ, шаргунамъ-полотерамъ, — продолжалъ онъ, странно торопясь и сбиваясь: — отчего доступъ всюду, во дворецъ и въ армітажный, въ присутствіи государыни, оперный театръ? а насъ, армейцевъ, туда не пускаютъ? Отчего по службѣ, въ полкахъ, офицеровъ — изъ природныхъ дворянъ заурядъ равняютъ съ разночинцами? а? а? Отчего мнѣ на челобитную опять отвѣчено: довольствоваться, молъ, прежнею резолюціей?

— Да что ты, непутный, хочешь тѣмъ сказать?—несмѣло произнесъ, вглядываясь въ него, Ушаковъ.

— Непутный?.. баста, говорю! — вскричалъ, снова возвышая голосъ, Мирѡвичъ:—надо теперь приняться съ иного конца...

— Съ какого?

— Молчи, скотина... и чего ты тянешь, тарантишь, проклятая таранта? слушай и поучайся...

Ушаковъ молча глядѣлъ, думая: «съ ума ли онъ спятилъ, или пьянъ?»—Мирѡвичъ также безмолвствовалъ. Было только слышно, какъ онъ дышалъ раздражительно и тяжело. И вдругъ, нагнувшись плечомъ къ Ушакову, онъ придвинулся къ нему вплоть и началъ ему что-то шептать, съ блѣдной, искривленной улыбкой.

— Не слышу,—сказалъ со страхомъ Аполлонъ Ильичъ.

— Освобожу... возведу! — съ неудержимой дрожью, стискивая постукивавшіе зубы, говорилъ Мирѡвичъ въ лицо изумленному Ушакову:—я рѣшился еще перваго апрѣля—перваго апрѣля, ты знаешь — обманъ, но я рѣшился... покончимъ сразу, однимъ махомъ,—все... все...

— Что кончимъ?—опять спросилъ Ушаковъ.

— Я перешелъ въ смоленскій полкъ...

— Ну, знаю; Панинъ помогъ, ты у него прежде служилъ; что же изъ того, что туда перешелъ?

— Чтобъ былъ тутъ, понимаешь, по самой близости,—

продолжалъ въ лихорадкѣ, опять постукивая зубами, Мирѳичъ:—захотѣлъ, ну, вздумалъ,—и рукой подать.

— По близости? къ чему? да, поняты!.. съ сенаторомъ дѣйстви-тельно не шутки... надо быть, коли началъ тяжбу, наготовѣ.

— Дуракъ!.. Именно наготовѣ! пришелъ часъ, минута, а корь-д'армѣ-то, выходить, и къ услугамъ, вонъ оно!—подмигнувъ, съ отталкивающею, безобразной развязностью, произнесъ Мирѳичъ:—мушкетъ заряженъ,—искра, и самъ выпалитъ!..

— Какой мушкетъ?

— Вотъ что, — опять низко склонясь къ смущенному и напряженно слушающему Ушакову, проговорилъ Мирѳичъ:—рѣшайся, братъ, и соображай. Послѣдніе выходятъ дни. Солнце явится въ темнотѣ... А, впрочемъ... — недовѣрчиво замолчавъ, вдругъ всталъ со стула и, сердито глядя передъ собой, началъ ходить изъ угла въ уголъ по комнатѣ Мирѳичъ.

Холодъ охватилъ Ушакова:

«Что онъ, окаленный, и выпрямъ не рехнулся ли? — подумалъ онъ, слѣдя за гостемъ: — откуда явился? въ бѣлой горячкѣ, или съ попойки, отъ картъ?»

— Ахъ, ты трусъ, подлый трусъ!—вдругъ крикнулъ, задыхаясь отъ негодованія и презрительно останавливаясь передъ нимъ, Мирѳичъ:—ну, разгадалъ я? да, да?.. душа въ пятки ушла? А я-то считалъ его стѣною, кремнемъ! тьфу ты, баба-сквернавка! скотина, право, скоты!—бѣшено закричалъ онъ, отплюнувшись запекшимися, липкими губами:—и все-то онъ тянулъ, гнусная размазня, тянулъ! извини, сударь, обчелся! были храбрецы, да вижу,—всѣ вышли...

Мирѳичъ рванулся со стула шляпу, шагнулъ къ двери.

— Да что же это? говори самъ-то! — запальчиво крикнулъ, въ свой чередъ, Ушаковъ, не въ силахъ будущи долге терпѣть упрековъ и брани:—какія тутъ бабы? я и самъ, чорты! ты видишь... Ну, нешто не видишь? можно ли стерпѣть? говори!..

— Такъ согласенъ?—спросилъ, съ радостной, ликующей усмѣшкой, Мирѳичъ:—согласенъ?—повторилъ онъ, косясь на Ушакова:—отвѣчай сразу, мигомъ... не то убью...

— Не ты, а я жду, а онъ мучить, непутная голова, — сказалъ Ушаковъ:—меня зоветъ мямлей, а самъ все эки-воками, жилы тянетъ, лается... Если рѣшишь, такъ не лмайся, говори... Кому не желается лучшаго?

«А, наконецъ, готовы!»—подумаль Мирѡвичъ, обводя комнату гордымъ, торжествующимъ взоромъ, точно видѣль передъ собой толпу преклоненныхъ, покорныхъ рабовъ, ожидающихъ отъ него великаго, рѣшающаго слова.

Онъ бросилъ шляпу на столъ, заглянувъ въ коридоръ, прошелся по комнатѣ, опять постоялъ у двери въ сѣни, прислушался, заперъ эту дверь на крючокъ и, вдругъ улегшись, съ ногами, на постель пріятеля, закинулъ руки на голову и закрылъ глаза.

«Что онъ, оглашенный, ужели заснулъ? вотъ еще одолжить!»—разсуждалъ Ушаковъ.

Такъ Мирѡвичъ пролежалъ съ пять минутъ, не шелохнувшись, блѣдный, какъ покойникъ. Только его губы слегка вздрагивали и по лицу пробѣгала судорога улыбки.

«И что онъ, пропащій, затѣялъ? — не спуская съ него глазъ, мысленно допытывалъ себя Ушаковъ, — что, какъ убилъ кого-нибудь, или рѣшился ограбить?»

— Я рѣшился,—вдругъ началъ, не двигаясь и не открывая глазъ, Мирѡвичъ: — я рѣшился... голова съ плечъ! а вотъ что... И коли ты, слушай, выдашь или донесешь,— все узнаю, выслѣжу, и порѣшу тебя, какъ собаку...

Съ этими словами Мирѡвичъ всталъ, подошелъ вплотъ къ Ушакову и схватилъ его за грудь.

— Что ты, сумасшедшій, что ты?—спросилъ тотъ, оттакивая его.

— Не мѣшай, молчи и помни слово,—сказаль, выпуска его, Мирѡвичъ:—на этотъ разъ согласенъ... изволь, живи...

Руки и губы Мирѡвича тряслись.

— Измѣнникомъ, доносчикомъ я съ роду не бываль!—обидчиво произнесъ, оправляясь, Ушаковъ:—и ты мнѣ, слышишь, говорить этого не смѣй...

— Ну, да ладно ужъ!—грубо отвѣтилъ Мирѡвичъ:—гдѣ ужъ тутъ спорить, считаться?.. такъ не выдашь?

— Можешь быть увѣренъ... честью клянусь...

Лучъ восторженной, безпредѣльной радости опять освѣтилъ лицо Мирѡвича при этомъ отвѣтѣ Ушакова.

«Вѣдь милъ, не правда ли, милъ?»—разсуждалъ онъ, съ внутренней издѣвкой, вглядываясь въ озадаченнаго пріятеля:—порохъ! чуть попрекнулъ, такъ и вспыхнулъ! А какъ я говорилъ? что за штили! кратко и ясно!.. Впередъ насъ,

въ застрѣльщики, въ парламентары!.. Ему, скоробрехѣ, болтуну, это не къ масти...

— Ъду въ Шлиссельбургъ, — началъ опять тихо, какъ сквозь сонъ, и почти не владѣя собою, Мирovichъ: — добьюсь, не въ очередь, въ крѣпость на караулъ. А ты, Аполлонъ, приказываю тебѣ, — я старый воробей, вотъ какъ все придумалъ! — достань штабъ-офицерскій мундиръ, припаси катеръ, или шлюпку, одѣнься и, съ флагомъ, подъ именемъ ордонанса ея величества, — ну, Сухметьева, что ли, или подполковника Арсеньева, — явишься ко мнѣ въ крѣпость, будто къ незнакомому, на гауптвахту, и предъявишь заранѣе нами составленныя бумаги...

Проговоривъ это, Мирovichъ опять присѣлъ на постели, и ему показалось, что то, что онъ сказалъ и на что очевидно окончательно рѣшился, было уже давно и случалось гдѣ-то съ другимъ, — и онъ теперь соображалъ, когда же это и гдѣ случилось? — «Какой пріятный, крѣпкій ротъ у этого дурака Ушакова! — вдругъ почему-то подумалъ онъ, — и глаза у него такіе добрые, ожидающіе отъ меня чего-то, съ такою свѣтлою, дѣтскою вѣрой; и бородавочка слѣва у него, надъ верхней губой... И какъ я ее прежде не замѣтилъ? И... что еще странно, онъ бѣднякъ такъ продулся съ купцами, голодаетъ и сталъ до-нельзя смѣшнѣе, будто выкунѣлъ, ну, точно весною заяцъ русакъ»...

— Какія же бумаги? — спросилъ Ушаковъ, стараясь все добросовѣстно запомнить.

— Бумаги? ну, ихъ, одна помѣха! — опять раздражительно сказалъ Мирovichъ: — а впрочемъ, это по части канцелярской, и ты мастеръ... Составимъ манифестъ сената къ принцу Иоанну и другой, именной, якобы отъ государыни, указъ — взять коменданта подъ арестъ, заковать его въ кандалы и, вмѣстѣ съ принцемъ, доставить безъ замедленія въ сенатъ.

— Такъ, такъ! это ловко придумано! — сказалъ Ушаковъ, начиная понимать, въ чемъ дѣло: — ну, а дальніе?

— Дальше? — какъ бы очнулся и пересѣлъ съ кровати на стулъ Мирovichъ: — не хочу, чтобъ это только слова... Довольно словъ!.. насъ зовутъ вонъ болтунами, философами, не хватить, молъ, духа... Надо поэтому братья за дѣло... Сомкнемся, вмѣстѣ станемъ сильнѣй!

Онъ снова прошелся по комнатѣ, взглянулъ въ раскры-

тое окно. За окномъ стояла тощая, запыленная отъ уличной ѣзды, чуть распутившаяся рябина. Въ ея вѣткахъ, будто видя внизу что-то страшное, роковое, трепыхался и беспокойно взлетывалъ жалкій, съ тревожно распростертыми крыльями, воробей. Солнце било въ окно косыми, ярко-назойливыми лучами. Въ воздухѣ стояла нестерпимая жара и духота. — «Кошка къ его гнѣзду, — подумалъ Мирѡвичъ о воробѣ, — да пусть гибнуть голубы, никому ненужныя птицы! Не ахти кому нужны! — а тутъ вонъ другой глупый воробей»... — прибавилъ онъ. Съ этими мыслями Мирѡвичъ понурился и, какъ больной, какъ чахоточный, опершись въ колѣни, въ силу переводилъ дыханіе.

— Приказываю дальше, — проговорилъ онъ негромко: — чтобъ была крѣпостная шляпка и барабанщикъ, для битья тревоги; не забудь, это первое, что нужно, первое... Больше, пожалуй, ничего... Все отъ собственнаго мужества и смѣлости! Возьмемъ и доставимъ принца прямо въ артиллерійскій лагерь, на Выборгскую сторону, а не то къ артиллерійскому пикету, у моста, на Литейной... Офицеры того корпуса вѣдь лучшіе... Правда, лучшіе? Другихъ сообщниковъ не надо. Совершимъ все вдвоемъ...

— Разумѣется, не боги же лѣпятъ горшки, — самодовольно сказалъ Ушаковъ и смолкъ, видя, какъ сдвинулись брови Мирѡвича и какъ тотъ снова повелъ глазами, при этой неумѣстной его развязности.

— Барабанщикъ ударить тревогу, — строго продолжалъ, точно отдавая приказъ цѣлой арміи, Мирѡвичъ: — солдатство и народъ соберется... Вотъ вашъ природный російскій государь Іоаннъ Третій Антоновичъ! — скажу я: — тотъ, коему всѣ, въ его дѣтствѣ, присягали. Не такъ ли? Я прочту составленный нами къ народу манифестъ и останусь охранять особу принца. Ты же, съ офицерствомъ, отправишься отбирать присягу отъ сената, синода, коллегій и отъ всей резиденціи.

— А государыня? — спросилъ Ушаковъ.

Мирѡвичъ презрительно отвернулся. Звѣриная, хитрая радость блеснула въ его глазахъ. — «Не понялъ, тупица», — подумалъ онъ съ злобнымъ торжествомъ.

— Въ Лифляндію ѣдетъ черезъ мѣсяцъ, — проговорилъ онъ, опять сядя и не удостоивъ взглядомъ Ушакова: — сказываютъ гвардіонцы — за нее сватается бывшій тутъ при

посольствѣ Понятовскій,—такъ къ Варшавѣ шлютъ войско, чтобъ поляки сперва выбрали его королемъ, и ему будетъ аудіенція въ Ригѣ. Съ Орловымъ вѣдь не удалось... слышатъ?

— Какъ не слышать! — заторопился Ушаковъ: — и есть подтвержденіе — князь Волконскій уже выступилъ въ Смоленскъ для поддержки и выборовъ, нашему полку вѣдно готовиться туда жъ.

— Успѣютъ еще, — небрежно зѣвнувъ, отвѣтилъ Мирovichъ.

— Ну, да, если будетъ нужно, дай знать, — прибавилъ Ушаковъ: — объявлюсь больнымъ и останусь, не пойду съ полкомъ, чтобъ быть наготовѣ.

— Арестантовъ пошлемъ въ Соловки, либо спрячемъ туда жъ, на принцево мѣсто, куда думали и Петра Третьяго, въ Шлиссельбургъ, — рѣшительно заключилъ и развязно всталъ со стула Мирovichъ: — никого не нужно, сами все нѣтъ лучше, какъ самому... Ни у кого не канючу помощи, — много чести, самъ все, самъ...

«Вотъ онъ, каковъ! я хохла и не подозрѣвалъ», — подумалъ, почтительно на него глядя, Ушаковъ.

— Такъ помни же, — накрывшись шляпой, заключилъ Мирovichъ: — обдумай все и готовься; недолго ждать; скоро зайду за отвѣтомъ.

Утро слѣдующаго дня Мирovichъ провелъ у Бавыкиной. Та его встрѣтила укоризнами, выговорами: «баклуши бьешь, въ полкъ не ѣдешь, гдѣ шляешься? вотъ начальство на тебя напущу, скрутятъ молодчика, во фронтъ, на абафту. Меня забылъ, безстыжихъ глазъ по недѣлямъ не кажешь». — Молча выслушалъ Мирovichъ всѣ нападки, сказалъ только: «экъ расходилась; погодите, все наверстаю». — Отъ Бавыкиной онъ отправился къ Ломоносову, узнавъ, что Михайло Васильичъ, по обычаю, занимается въ саду, и пошелъ къ знакомой бесѣдкѣ. — «Не открыться ли, — разсуждалъ онъ, становясь за ея стѣной: — вотъ удивился бы. Да что: стапегъ еще отговаривать, — ненужныя-де попытки, погибнешь. Какъ же, такъ вотъ я и отдамся даромъ! И онъ, должно, въ сердцахъ: не оцѣнили по достоинству его хвалебной оды, сумароковской дали аттенцію... Ужъ вотъ, чай, не въ куражѣ, ругмя-ругается... Нѣтъ, лучше пусть увидитъ насъ въ славѣ, въ блескѣ, въ триумфахъ...» — Мирovichу было слышно, какъ покрывалъ и шелестилъ бумагами Ломоно-

совъ. Онъ перекрестился, вздохнулъ и бережно, на цыпочкахъ, не заходя въ бесѣдку, вышелъ опять изъ калитки.

Еще черезъ день Мирѡвичъ съѣздитъ на Каменный островъ, на дачу Птицыныхъ. Онъ зашелъ со стороны чернаго двора и долго поджидаетъ, высматривая кого-нибудь изъ прислуги. Вышелъ съ ведрами кухонный мужикъ. Мирѡвичъ, заторопившись, изъ старенькаго, потертаго кошелька досталъ полтинникъ, подозвалъ мужика и попросилъ его выслать горничную. Отъ нея Мирѡвичъ узналъ, что Поликсена попрежнему находится у князя Чурмайтѣва на калмыцкой линіи, изрѣдка шлетъ письма и собирается куда-то за границу. «А дѣвочка князя... хвора... жива?» — спросилъ Василій Яковлевичъ. — «Померли-съ и онѣ, на Ѳоминой». — Мирѡвичъ, повѣся голову, побрелъ къ извозчику. Вечеромъ того же дня Ломоносову подали занесенный какимъ-то мальчигомъ пакетъ. То была цидулка отъ Мирѡвича. — «Давно прибылъ съ родины, — гласило письмо: — да некогда было, простите, беспокоить заѣздомъ, — и къ чему? Все кончено, во всемъ отказъ. И невѣста насмѣялась; не лучше жъ того и господа сенатъ. Совѣтъ данъ: форгуну взять за чубъ... Оно бы и можно; да ну какъ сорвешься? Ёду въ новый полкъ. А услышите о неудачѣ, молитесь о рабѣ божьемъ Васи́лѣи».

— Рехнулся малый, жалъ, — сказалъ себѣ, задумавшись надъ этими строками, Ломоносовъ: — ясное дѣло, въ искѣ вновь ему отказано. Въ новый полкъ уѣхать, а куда, и словомъ не упомянулъ.

Часу во второмъ дня, тринадцатаго мая, Мирѡвичъ спокойно и, повидимому, даже съ особымъ удовольствіемъ зашелъ опять подъ Смольный къ Ушакову.

— Ну, братъ, собирайся, — сказалъ онъ ему.

— Куда?

— А вотъ увидишь.

Они вышли на улицу, извозчика не взяли. Странная, давно не бывавшая, тихая улыбка блуждала по лицу Мирѡвича. Онъ не очень торопливо, молча и безъ оглядки шелъ въ направленіи къ Невской перспективѣ. На Аничковомъ мосту онъ чуть-было не столкнулъ, за ветхую деревянную перекладину, какого-то заѣзжавшагося пѣшехода. Повернули, прохладною, тѣневою стороною, къ гостининому ряду. На Невской перспективѣ, отъ зноя, пыли и духоты, было мало

прохожихъ. Кое-гдѣ только погромыхивали, съ опущенными занавѣсками, кареты. Пріятели вошли въ ограду Казанской церкви, посидѣли здѣсь подъ развѣсистою липой, потолковали и вошли на палерть. Изъ церковной сторожки выглянулъ привратникъ. Мирѳвичъ подозвалъ его и шепнулъ ему нѣсколько словъ. Тотъ сходилъ въ смежный дворъ. Явились нарядный дьячокъ и полный, добродушный священникъ. Дверь собора открыли. «Пожалуйте», — сказали, пропуская офицеровъ впередъ себя степенный, съ отрядно выспан-нымъ лицомъ, священникъ. Окруженный зеленью, сумрач-ный и тихій храмъ пахнулъ на вошедшихъ пріятной про-хладой и ладаномъ. Зажгли кое-гдѣ свѣчи. Дьячокъ вынесъ и поставилъ, у лѣваго бокового придѣла, аналой. Священ-никъ надѣлъ ризу, выпросталъ на плечи прядь русскихъ, густо вившихся волосъ и, склонясь въ сторону и тихо крик-нувъ, спросилъ: «по комъ панихида?»

— По умершимъ, *убіеннымъ* рабамъ, Василию и Апол-лону, — твердо и съ тою же тихой, чуть блуждавшей улыб-кой, отвѣтилъ Мирѳвичъ.

Ушаковъ удивленно раскрылъ на него глаза.

— Кто же, родичи или товарищи они будутъ вамъ? въ сраженіи? — спросилъ, крестя и принимая кадило, священ-никъ.

— Въ сраженіи... однополчане-съ, — отвѣтилъ Мирѳвичъ.

Панихида началась. — «Что ты, безумный, что?» — не утер-пѣвъ, прошепталъ Ушаковъ. Мирѳвичъ не глядѣлъ на него и ничего не отвѣчалъ. Ставъ на колѣни, крестясь и кла-няясь въ каменные плиты, онъ весь погрузился въ без-молвную, напряженную молитву. Ушаковъ хотѣлъ слѣдовать его примѣру; но, какъ ни крѣпился, мысли бѣжали отъ него. На немъ не было лица. Тутъ только, угадавъ и предчув-ствуя что-то безобразное, страшное, онъ опомнился, но уви-дѣлъ, что поздно. Озираясь испуганнымъ, потеряннымъ взо-ромъ, онъ тупо смотрѣлъ передъ собой, вздыхалъ и, отирая лицо, не могъ надвинуться, откуда все это налетѣло и какъ онъ могъ рѣшиться.

«Панихида! да вѣдь это ужасъ... смерть! — мыслилъ Уша-ковъ, — и кто накликалъ, кто пророчить эту страшную раз-вязку?»

Мирѳвичъ исполнялъ печальный обрядъ спокойно и съ такимъ торжествомъ, будто его вѣнчали. При пѣніи — «со

святыми упокой» — Ушаковъ невольно всхлипнулъ, хотѣлъ удержаться и, упавъ головой на плиты, глухо разрыдался. Нѣсколько секундъ, вздрагивая плечами, онъ не поднимался отъ пола. — «Да что съ нимъ? вотъ чудакъ! и изъ-за чего?» — подумалъ Мирѡвичъ, сухими, безъ блеска, глазами съ недоумѣніемъ глядя то на Ушакова, то на священника и дячка, на лицахъ которыхъ, отъ такой горести молящихся, невольно также выражалось смущеніе.

Панихида кончилась. Мирѡвичъ расплатился и вышелъ на паперть.

— Смотри же, Аполлонъ, — сказалъ онъ, пройдя съ Ушаковымъ въ тѣнистый уголъ церковной ограды: — теперь насъ уже нѣтъ въ живыхъ... понимаешь, мы обречены, отпѣты, съ канонѡмъ, за упокой...

— Да что жъ все это значить? и кто тебя уполномочилъ? — спросилъ Ушаковъ.

— На случай, коли придется умереть безъ покаянія. Ты клялся передъ алтаремъ... Клянешься ли еще разъ Божьей Матерью Казанской?

— Клянусь.

— И Николаемъ угодникомъ?

Ушаковъ повторилъ клятву.

— Нѣтъ, постой, — не удовольствовался Мирѡвичъ.

Онъ снялъ съ шеи добытые гдѣ-то кресты, съ мощами, и одинъ надѣлъ на Ушакова, другой опять на себя; отдалъ ему съ руки перстень съ адамовой головой, а себѣ у него взялъ кольцо съ аметистомъ.

— Теперь мы братья, побратались! — сказалъ онъ торжественно, замедлясь у выхода изъ ограды: — если нѣтъ у нихъ Бога и нѣтъ истиннаго царя, Третьяго Петра, то гдѣ же Богъ и гдѣ людская совѣсть. Мертвеца имъ... замогильную тѣнь... Смотри же, ожидай зова; придетъ часть, извѣщу... разгромимъ...

25-го мая, Ушаковъ приближалъ впопыхахъ къ Мирѡвичу, уже уложившему чемоданъ, для отъѣзда на службу въ Шлиссельбургъ, и объявилъ, что его неожиданно, въ то утро, призвали въ коллегію и, за недостаткомъ фельдъегерей, объявили приказъ: ѣхать завтра въ Смоленскъ, съ казною и бумагами, къ генералъ-аншефу, князю Михаилу Никитичу Волконскому. Эта вѣсть, какъ громомъ, поразила

Мирovichа. Онъ подозрительно, строго взглянулъ на пріятел.. и вдругъ вспыхнулъ.

— А! ужъ придумать, напроворилъ планъ? подстроилъ съ начальствомъ? — вскрикнулъ онъ, не помня себя отъ гнѣва:—вонъ, измѣнникъ! вонъ, ты все подло... чтобъ духу твоего не пахло!

Ушаковъ показалъ ему письменный, по формѣ, ордеръ. Мировичъ опомнился, пересилилъ себя, сталъ соображать.

— Ну, чортъ, ничего! — сказалъ онъ, отвернувшись съ отвращеніемъ:—не все свѣтъ, что въ окнѣ... Можно и безъ тебя... Смотри, однако, не опоздай... Вѣдь ты въ заговорѣ со мной, не отвертись... помогай, не то пулю въ лобъ, здѣсь не шутики...

— Да убей Богъ, клянусь — я духомъ съѣзжу и... что мнѣ тамъ дѣлать?.. ну, развѣ...

— Ёду послѣ завтра, — не слушая его, внушительно перекрикнулъ Мировичъ:—а наше рандеву, — помни, — день-въ-день и часъ-въ-часъ, — двадцать-четвертаго іюня, вечеромъ, на закатѣ солнца... да не спутай, тарантъ!.. двадцать-четвертаго, какъ разъ, въ Ивановъ день... понять?.. тезоименитство нами спасаемаго его высочества, или, вѣрнѣе, —будущаго его величества...

Ушаковъ слушалъ внимательно, точно приказъ высшего начальства.

— А государыня въ Ригу ѣдетъ двадцатаго, — продолжалъ небрежно Мировичъ:—и это тоже не забудь... узналъ отъ камеръ-лакея Касаткина... Помнишь? онъ письмо о Поликсентѣ доставилъ отъ Рубановскаго... знаетъ всѣ тайны двора, какъ и что, — я по пальцамъ разсчелъ и сообразилъ... Да куда же ты, постой! Экъ, разнесло, не посидится. Слушай, Аполлонъ, — прибавилъ Мировичъ, отведя Ушакова въ сторону: — если ты мнѣ да осмѣлишься, или кѣтъ, не то... стой!.. Если въ этой командировкѣ, ну, дьяволъ! пойми, — если кто вздумаетъ тебѣ стать поперекъ, такъ или иначе помѣшать, — то помни: прожду день, прожду два, ну, разбанаемы, даже недѣлю... не долѣе, впрочемъ, перваго іюля, — а тамъ, — заключилъ Мировичъ, сложивъ къ самому носу Ушакова: — помни, я самъ, безъ тебя, я одинъ... и тогда ужъ, не прогнѣвайся... весь уснѣхъ, вся слава и почетъ за мной...

29-го мая Ушаковъ, по пути къ Смоленску, подѣхалъ къ рѣкѣ Шелони, въ селѣ Опокахъ, порховскаго помѣщика Косецкаго. Его провожалъ великолущаго полка фурлейтъ Новичковъ. Паромъ на противоположномъ берегу замедлился. Время стояло жаркое и былъ полдень.

— А что, ваше благородіе, не выкупаться ли?—сказалъ съ повозки, весь мокрый отъ испарины, фурлейтъ.

— И то правда,—согласился Ушаковъ:—ну, посиди же ты съ сумкой, я прежде выполошусь, а тамъ ты.

Онъ раздѣлся подъ тѣнистой вербой, посидѣлъ въ холодкѣ и пошелъ, по мягкой зеленой травкѣ, къ песчаному берегу.

«Вотъ благодать, — разсуждалъ онъ въ пріятномъ настроеніи, ставя одну, потомъ другую ногу въ свѣтлую, студеную струю и любуясь своимъ здоровымъ, бѣлымъ тѣломъ, — я молодецъ, статенъ, силы такъ и пынутъ во мнѣ. И вдругъ этотъ чудака Мирѣвичъ панихиду по убіеннымъ... Не вездѣ успѣхъ; но это еще не значитъ, что пора умирать... О, далеко не пора. Въ карты проигрался, долженъ по шею, особенно у Павлинова; да выплыву, вынырну, — сказалъ онъ себѣ, окунувшись и широкимъ, пріятнымъ взмахомъ проворныхъ рукъ направляясь къ быстринкѣ, — и какъ это было дико, мрачно, — ладаномъ курили, пѣли «со святыми упокой...» А что, какъ утону?.. вѣдь судорога точно какъ бы дернула за ногу, какъ входилъ; говорятъ, ой, какъ это скверно... Ну, да вздоръ! какая тамъ судорога!»

— Баринъ, а баринъ, — крикнулъ вдругъ кто-то съ берега отъ мельницъ:—держи подалѣ... тамъ омутъ.

«Ну, да ладно, — думалъ, весело разсылая воду, Ушаковъ, — не на такихъ рѣченкахъ плавали. А небо какъ сверкаетъ! ишь, мошки, ласточки рѣютъ. На спину лечь, отдохнуть. Фурлейту завидно... Какъ въ Смоленскъ, сейчасъ уху, пирогъ съ подливкой. У Самцова на постояломъ, говорятъ, разъ-ахти красotka хозяика... То-есть, кабы да богатую засватать, — вотъ бы показалъ, какъ жить! а не панихиды...»

И въ то время, какъ раскинувъ руки, Ушаковъ легъ навзничъ и гладъ рѣки его несла къ пѣнившейся и плескавшейся подъ зелеными раkitами быстринкѣ, въ его мысляхъ встала почему-то далекая, пошехонская деревушка, — онъ мальчикомъ, въ синей рубашонкѣ бѣгаетъ по саду; бѣлокурая румяная женщина, въ высоко-взбитыхъ дого-

нахъ, ходить по дорожкѣ съ чулкомъ въ рукѣ; она вѣжетъ и ласково ему улыбается, а на ея щекѣ милая родинка,—это его мать; а малины, малины, спѣлыхъ вишенъ!.. и все полныя; бабочки, пчелы надъ ними вьются... И вдругъ опять судорога.

«Баринъ, а баринъ!»—доносился крикъ.

«Вздоръ, не бывать тому!»—упорно думаетъ Ушаковъ. Онъ окунулся и, фыркая, весело вынырнулъ. Пѣнится и клокочетъ вокругъ темная безодня. А въ ногу впилося что-то мертвой хваткой, дергаетъ и тянетъ, какъ гиря. Ушаковъ хлебнулъ воды разъ и два. Холодно, жутко. Ему опять вспомнился Мирovichъ, — данное слово, панихида. Шумъ и звонъ въ ушахъ. Вездѣ зелено. Руки машутъ безъ силъ. Искры, пѣна, пузыри. Что-то съ страшной быстротой мчится мимо, кругомъ... Все мимо: садъ, бѣлокурая въ локонахъ женщина, спѣлая вишня, испуганный воробей, мотыльки. Онъ еще разъ встрепенулся, повелъ руками и съ мыслью: «ужели смерть? О! никогда...» — ухватился за что-то зелено-золотистое, мягкое, махровое. Грудь искала воздуха; а навстрѣчу тянулись, голубыя, сизы тѣни...

Ушаковъ утонуть.

Тѣло его къ вечеру нашли межъ сваями мельницы. Извѣстіе о томъ въ Смоленскъ и позднѣе въ коллегію доставилъ фурлейтъ Новичковъ.

XXX.

Въ Шлиссельбургѣ на караулѣ.

Назначенный срокъ прошелъ. Ушаковъ не являлся. Проща, съ концомъ іюня, и вся недѣля перваго, очередного дежурства Мирovichа въ крѣпости.

«Что жъ это значить? — разсуждалъ онъ: — страха ради іудейска, не кажетъ глазъ и вѣсти о себѣ не подаетъ!» — Мирovichъ то шагаль взадъ и впередъ по гауптвахтѣ, то поднимался на крѣпостную стѣну, глядѣлъ съ куртины за рѣку и, теряя терпѣніе, не зная, чтѣ дѣлать, съ кѣмъ раздѣлить горечь сомнѣній. — «Тыфу ты чорты! не догадался! — вдругъ вспомнилъ онъ, — дѣло ясно; Аполлонъ чѣмъ-нибудь пустячнымъ, ну, чуточку стѣснился, оробѣлъ; вѣдь онъ мелочной, слабый человѣкъ, — инкогнито прибылъ въ Шлиссельбургъ, для предварительныхъ объясненій, и си-

дить на постояломъ, ждѣть меня съ дежурства... Скорѣе!..»

Мирѳичъ смѣнился съ караула, отвѣлъ команду въ поѣздъ и бросился искать Ушакова по постоялымъ. Поиски его были тщетны. — «Ну, погоди жъ ты, распрѳклятый трусишка, обойдемся и безъ тебя. Какъ только доведу дѣло до конца, перваго тебя арестую, публично осрамлю».

Перваго іюля, бродя безъ цѣли по улицамъ, встрѣтилъ онъ знакомаго по Кѣнитсбергу, подпоручика изъ грузинъ Чефаридзева. — «Какими судьбами?» — удивился Мирѳичъ. — «Овсы закупаемъ, да и вапъ Шлссельбургъ захотѣлось поглядѣть». — «А главное видѣли?» — «Что?» — «Въ крѣпости... вонъ со стѣны видно — первый нумеръ, первый». — «Что жъ тамъ за дважды нумеръ первый?» — «Слышали про бывшаго когда-то россійскаго императора Іоанна Антоновича?» — вдругъ склонился къ Чефаридзеву Мирѳичъ. — «Нѣтъ, не слыхалъ». — «Ну, такъ онъ самый здѣсь и есть... двадцатый годъ закупоренъ подъ замкомъ». Чефаридзевъ сталъ разглядывать Мирѳича. — «Экъ несуразное городить, — подумалъ онъ, — и глаза точно не свои, какъ поху дѣл!» — «Хотите, что ли, участвовать?» — вдругъ поблѣв-шими губами, въ упоръ, прошепталъ и улыбнулся Мирѳичъ. — «Какъ участвовать? полноте батюшка; экое, Богъ съ вами, коловратство придумали!» — сказалъ и пошелъ отъ него въ переулокъ Чефаридзевъ. — «Храбрецъ улепетнулъ! тріолеты, буримѣ списывать, Жоконду съ барышнями читать! — неестественно захохоталъ ему вслѣдъ Мирѳичъ, — смотрите, еще донесѣте! — крикнулъ онъ ему, — отличку, награду за усердіе получите!»

«Но какъ же быть, какъ быть? — ломалъ голову сбитый съ толку Мирѳичъ, — ѣхать въ Петербургъ, узнавать объ Ушаковѣ? А какъ вдругъ разминемся? Я къ нему, а онъ сюда... Флотилію шлюпокъ условлено, людей въ маскахъ...» — «Благородный, намъ любезно-вѣрный Мирѳичъ, чѣмъ полагаешь отблагодарить своего помощника?» — «На три дня на гауптвахту, ваше величество, всерабственно прошу за промедленіе, а потомъ его хоть и въ генераль-поручики... Нѣтъ, однако, изъ силъ выбьешься; вѣдь это невозможно. Какъ опять попасть въ крѣпость? отказаться отъ предпріятія».

А тутъ вдругъ и помогла судьба. Офицеръ смоленскаго полка, смѣнившій Мирѳича, заболѣлъ на гауптвахтѣ. Дали знать командиру полка, Корсакову. Мирѳичъ услышалъ

про это въ канцеляріи, явился, будто невзначай, къ полковнику, и предложилъ свои услуги за товарища. Второго іюля онъ снова, не въ очередь, сталъ на недѣльное дежурство въ крѣпость, срисовалъ въ свой календарь ея планъ и надъкомѣщеніемъ принца; на планѣ, поставилъ особый знакъ.

День третьяго числа былъ особенно жаркій. Воздухъ не освѣжался вѣтромъ. Духота въ низкой, полной мухъ и пропахнувшей солдатами, казармѣ была невыносимая. Мировичъ почти не сходилъ съ крѣпостной стѣны. Усѣвшись у выступа куртины, онъ неподвижно глядѣлъ на городъ и на уходящія вдаль побережья Невы. Мысли смѣнялись мыслями.

Онъ вспомнилъ странные сны, рядъ сновъ, которые видѣлъ въ послѣднее время и которые не выходили у него изъ головы. Онъ даже помнилъ числа, въ которыя видѣлись ему странныя, какъ бы пророческія, грезы, и всѣ ихъ тщательно записалъ на листкахъ своего календаря.

Три съ половиною мѣсяца назадъ, а именно семнадцатаго марта, ему снилось, будто онъ почему-то въ Митавѣ, въ гостиномъ ряду, суетится для кого-то покупать кожи и хомуты. Купцы ему кланяются, онъ же не въ мундирѣ, а въ ситцевомъ, старенькомъ, куцомъ своемъ халатѣ, и не на чемъ ему возвратиться домой. На улицѣ лежитъ какой-то обрубокъ. Дѣлать нечего, онъ садится на обрубокъ, прикрывъ купленною кожей ноги, торчащія изъ-подъ купаго халата. И вдругъ обрубокъ понесся съ нимъ по улицѣ, какъ коляска; встрѣчные кланяются ему. Онъ доѣхалъ къ крѣпости; ему навстрѣчу въ ворота выходитъ старикъ и съ нимъ нѣкій блѣдный юноша. И не забыть ему заплаканныхъ, молящихъ глазъ юноши. — «Вотъ твоя судьба, вотъ твоя удача!» — говоритъ старикъ. Съ этими словами Мировичъ проснулся.

Въ концѣ мая онъ видѣлъ во снѣ гибель какой-то женщины, — она, въ его глазахъ, утонула въ рѣкѣ, за какою-то церковью. Когда онъ потомъ соображалъ этотъ сонъ, ему казалось, что погибшая была Поликсена. И онъ такъ плакалъ, что изъ его глазъ лились не слезы, а кровь, и этой крови ничѣмъ нельзя было остановить.

Сонъ тринадцатаго іюня особенно его поразилъ и возмущилъ его до глубины души. Ему приснился бывшій у него недавно денщикъ, солдатикъ Лавронъ. Денщикъ на него донесъ: «ихъ благородіе затѣяли вредное государынѣ

дѣло, освобожденіе такого-то важнаго преступника». Мирovichъ видѣлъ во снѣ, какъ его судили, какъ обрекли на казнь и какъ совершали самую казнь. Въ ужасѣ онъ очнулся, взглянулъ,—началось утро; онъ лежалъ за перегородкой, въ караульной крѣпостной гауптвахтѣ, а Лавронъ попался надъ чѣмъ-то въ углу.

И еще одинъ сонъ онъ видѣлъ на-дняхъ. Ему снилось, будто онъ шелъ черезъ какой-то плавающий, на баркахъ, мостъ. Синяя, глубокая, многоводная рѣка съ шумомъ катилась между барокъ. Онъ шелъ по мосту, держась за туго-натянутый канатъ. И вдругъ канатъ съ трескомъ лопнулъ. Онъ повисъ на его обрывкѣ, надъ холодною, зияющею бездною. Пальцы, вѣшпясь въ склизкій канатъ, окоченѣли, фуражка, слетѣвъ съ головы, кружилась въ пѣнистыхъ, уносившихъ ее волнахъ. Но онъ не утонулъ,—передъ нимъ какія-то пышныя, ярко-освѣщенныя палаты, полныя праздничнаго люда. Онъ за столомъ, и рядомъ съ нимъ въ богатомъ, парчевомъ нарядѣ, въ жемчугахъ и соболяхъ нѣкая красавица. И всѣ говорятъ: «вотъ онъ счастливъ, достигъ своего, а Ушаковъ не при чемъ, опоздалъ»...

«Невиноватъ Ушаковъ,—думалъ Мирovichъ,—вездѣ сила сила случая, нѣтъ правыхъ и нѣтъ виноватыхъ, нѣтъ и ничего достойнаго на свѣтѣ. Что слава?—капризъ натуры. Что добрыя дѣла?—расчетъ, либо жалкая попытка уладить несовершенство вещей».—Мирovichу казалось, что дѣло, съ такою ясностью намѣченное у него впереди, никогда имъ не было обсуждаемо и что самая мысль объ этомъ страшномъ и вмѣстѣ сладкомъ, увлекавшемъ его дѣлѣ явилась у него за секунду назадъ. Онъ до мельчайшихъ подробностей зналъ, какъ и когда онъ это сдѣлаетъ, видѣлъ мѣсто и себя во всей при томъ обстановкѣ, и съ презрѣніемъ отворачивался отъ себя, считая, что все это онъ выдумалъ теперь только, отъ жары и отъ скуки. Картины, цѣлыя ряды картинъ вставали и исчезали передъ глазами Мирovichа. Разсказы о Биронѣ, о воцареніи младенца-императора, ликованіе столицы и семьи правительницы, чтеніе оды молодого Ломоносова во дворцѣ... Четыреста-четыре дня власти и двадцать-три года одиночнаго заключенія злополучнаго принца...

«Ужасъ, ужасъ!» — повторялъ про себя Мирovichъ, про-

хаживаясь вдоль стѣнъ и опять садясь у выступа. Сумерки сгустились. Окрестность стихла. Слышались только по разнымъ затишьямъ, вокругъ крѣпости, шаги да оклики часовыхъ. И опять мысли, какъ галочье передъ грозой, слетаются, кружатъ, машутъ холодными, черными крыльями... Петербургъ залить солнцемъ. На лугу, у вновь заложенаго дворца, пасется пара усталыхъ, сѣрыхъ воловъ. Онъ, робкій, дикій мальчикъ, глазѣть на улицы, на дома. За рѣкой шумная, рѣзвая школа. Онъ — кадетъ, въ пудрѣ и въ косѣ. У Разумовскаго театрѣ. Смѣется и присѣдаетъ быстроглазая, съ ямочками и съ мушками на щекахъ, па-стухомъ». — «Когда ты будешь богачомъ, вельможей, а не па-стухомъ». — Кутежи, карты, ссылка, походъ и новая встрѣча, — здѣсь, въ этой самой крѣпости... Ночь, чтеніе Робинзона, шорохъ въ дальней комнатѣ... «Господинъ-офицеръ! о, умоляю, сюда! — слышится ему кроткій, душу надрывающій, голосъ, — уйти отсюда, слушайте, можно; только иду въ хлѣбъ, лодку и на берегу лошадей»... — «Эй, оранжевый воротникъ! — слышится другой голосъ, — въ юнѣ свадьба, и я буду у васъ посаженнымъ отцомъ»...

Всю ночь просидѣлъ Мирovichъ на стѣнѣ куртины. Передъ разсвѣтомъ онъ сошелъ въ казарму, уткнулся въ приплюснутую, общую офицерскую подушку, и забылся тяжелымъ свинцовымъ сномъ. Ему снилась мгlistая и такая же тихая ночь, — очертанія города, морскихъ батарей, блескъ фитиля и, въ бѣломъ мундирѣ, на песчаномъ мыскѣ, робко замедлившійся невысокій человекъ. — «Мертваго изъ гроба не вернешь, — шепчетъ съ усмѣшкой бывлой фаворитъ, — а ты, молодой человекъ, подбодрись-ка, да и поступай, какъ всѣ...»

Утромъ, четвертаго іюля, Мировича едва добудились. Онъ всталъ, долго собирался съ мыслями, помолился, вынулъ изъ узелка зеленую тетрадку, — то былъ его рукописный календарь и вмѣстѣ, на свободныхъ страницахъ, въ стихахъ и въ прозѣ — его дневникъ — вписаль въ него нѣсколько строкъ, въ томъ числѣ клятву-обѣтъ Николаю чудотворцу — отнынѣ не играть въ карты, не пить вина и не курить табаку, — и одѣлся. Выйдя во дворъ, онъ провѣрилъ караулъ, съ должной аттенціей отдалъ честь коменданту, обходившему обычнымъ утреннимъ дозоромъ всѣ мѣста, гдѣ

стояли часовые, — и весело, даже насвистывая что-то, съ трубкой сѣлъ за стаканъ со сбитнемъ. До обѣда, пока было жарко, онъ гулялъ между гауптвахтой и церковнымъ садикомъ, развернулъ и въ тѣни на скамь прочелъ нѣсколько статей изъ забытой кѣмъ-то въ казармѣ книжки «Трудовой Пчелы» на 1759 годъ. Онъ даже нѣжно, чувствительно задумался надъ подвернувшимся идилліей:

«Безъ Фелисы очи сиры,
«Сиры всѣ сія мѣста;
«Отлетайте вы, зефиры,
«Безъ нея страна пуста...»

«Фелиса-то, Фелиса, да черти въ душѣ завелися» — прибралъ онъ при этомъ въ мысляхъ даже риму, вспоминая, что самъ недавно написалъ стихотвореніе:

«О, время, время проходящее,
«Въ коемъ дни дней множать!»

Въ этомъ страшномъ, мистическомъ стихотвореніи Мирovichъ говоритъ о козырномъ, долгоперистомъ голубѣ, который съ товарищемъ залетѣлъ, среди моря, на островъ, гдѣ сидѣлъ въ темной каменной клѣткѣ бѣлый голубь. Не имѣя силъ его освободить, они заплакали, рѣшили ждать иной поры и разлетѣлись — одинъ въ Парижъ, другой въ Прагу*).

*) См. это стихотвореніе Мирovichа въ «Примѣчаніяхъ» къ роману.

Асторъ.

Пообѣдалъ Мирovichъ, послѣ чтенія, съ давно-неиспытаннымъ вкусомъ, посидѣлъ у порога казармы, увидѣлъ, что у Бередникова заперли для отдыха послѣ трапезы ставни, и самъ занавѣсилъ шинелью отъ мухъ окошко въ караульной, притворилъ дверь, сказалъ капралу и вѣстовому, чтобъ сторожили, скинуть кафтанъ, прилежъ на скамью и крѣпко-сладко заснулъ. Выйдя вновь на площадку, онъ удивился. Былъ уже пятый часъ вечера въ исходѣ. Зной уменьшился. Небо покрылось бѣлыми перистыми облачками. Тѣни вытянулись по низу; ярко блистали только верхи башенъ, да главы церкви. — «Вотъ такъ заснулъ!» — подумалъ Мирovichъ, съ легкою, пріятною дрожью, поднимаясь на стѣну куртины, обычное мѣсто своихъ прогулокъ и размышлений.

Тамъ, заложивъ руки за спину, съ вывернутыми короткими ногами и большою, втиснутой въ костлявыя плечи, головой, прохаживаясь главный теперешній приставъ при затвор-

никъ, рябой и грубый солдатонъ, капитанъ Власевъ. Мирвичу вспомнилось, какъ распекалъ Власева за не-въ-порядкѣ нашитую пуговку покойный государь. — «Не чета кызю Чурмантвеву — подумаль онъ, — а этакой чести дубина дождался, за главного при его высочествѣ... И Си-лина осилилъ...»

— Гуляете, Данило Власичъ?—обратился Мирвичъ къ приставу.

— Да-съ, а вамъ, подпоручикъ, на абѣфтѣ не мѣшало бы по артикулу-съ... а не гулять.

— Ну, и надѣсть,—произнесъ, посмотрѣвъ въ сторону, Мирвичъ:—душно что-то; мгла будто собирается къ ночи.

Власевъ, молча, прошелъ нѣсколько шаговъ. Мирвичъ догналъ его на стѣнѣ куртины, у поворота къ внутреннему двору. Казарма принца стала видна влѣво подъ ихъ ногами: черная дверь, окно съ рѣшеткой, лѣстница и галерея, на которой онъ видѣлъ здѣсь въ послѣдній разъ принца.

— А у меня славный табачокъ,—весело сказалъ вдругъ, пристѣвъ на короточки и набивая трубку, Мирвичъ: — первый сортъ, настоящий сюперфинъ-кнастеръ.

Охотникъ до куренія, скряга Власевъ пробурчалъ что-то и отвернувшись, раздумывая, впрочемъ, дать ли ему подпоручикъ, послѣ выговора, затануться первому.

— Молчите капитанъ? но согласитесь,—продолжалъ Мирвичъ, снизу вверхъ взглядывая въ недовольное, надутое, съ вытаращенными глазами, лицо Власева: — согласитесь, что вѣдь лучше быть въ довольствѣ, даже съ капитальцемъ и, знаете, жить въ волю, покуривать, чѣмъ здѣсь-то, въ этой каторгѣ...

Онъ подаль ему трубку.

— Эка брехать ты дока,—сопя носомъ и потянувъ изъ чубука, произнесъ Власевъ.

— Да именно такъ-съ, вотъ разберите.

— Но, иначе, о чемъ ты?

— Первый нумеръ, первый-съ,—сказалъ Мирвичъ, бойко, подмигнувъ и самъ удивляясь, съ какою безобразною, грубою шутливостью онъ это сдѣлалъ.

— Пустяки врите,—промычалъ капитанъ, косясь на него и въ то же время разсуждая:—«ужъ не до нашей ли коммисіи то клонится?»—Сами знаете, что противно регулу... мы присяжные люди...

— Э, не пустяки! — возразилъ Мирѡвичъ: — ну, еслибъ, примѣромъ, хоть бы вотъ это дѣло?..

Въ груди у него что-то дрогнуло и какъ бы собиралось выскочить. Духъ захватывало. Въ глазахъ прыгали искры. На языкѣ, противъ воли, шевелились слова рокового, ужасающаго признанія. — «Вотъ возьму — думалъ онъ, — да прямо ему въ лицо и швырну весь секретъ».

— Хорошо бы, — сказалъ, уродливо улыбаясь, Мирѡвичъ: — хорошо бы, знаете... стакнуться, да и того?..

— Чтѡ тово? — спросилъ, еще болѣе насторожа уши, Власьевъ, стараясь отойти подальше отъ рокового мѣста.

— Не предадите, не погубите прежде предпріятія? — вдругъ упавшимъ, молящимъ голосомъ спросилъ Мирѡвичъ.

— Коли предпріятіе таково, что къ вашей гибели слѣдуетъ, то не токма поопирять, а даже и слушать вашего вранья не хочу, — отвѣтилъ, повернувъ къ нему спину, Власьевъ.

— Осво...

Мирѡвичъ началъ и вдругъ опомнился. Онъ обомлѣлъ и въ смертельномъ страхѣ затрепеталъ, сообразивъ къ своему ужасу, какой онъ сдѣлалъ промахъ. Со стѣны они спустились въ садъ. — «Расположу его къ себѣ, заглажу глупыя слова» — подумалъ Мирѡвичъ, безпомощнымъ, робкимъ взглядомъ всматриваясь въ лицо Власьева. Тотъ глядѣлъ волкомъ. — «А знаете новости? — началъ онъ: — играетъ на дняхъ ея величество въ карты; Панинъ, гетманъ и Бедкій съ нею... и вдругъ кто-то о соловѣмъ жеребчикѣ гетмана, рысистомъ, — онъ на немъ въ одиночку на бѣгунцахъ... Тутъ надо вистовать, у ея величества козыри, — а они все о жеребчикѣ...»

И точно прорвало Мирѡвича: онъ засыпалъ словами, будто давно неговорившій. И сознавая, какъ лебезилъ и какъ подыскивалъ рѣчи, онъ съ презрѣніемъ слушалъ свой дребезжащій голосъ и внутренно на себя плевалъ. — «Подлый, гнусный подлипало! — говорилъ онъ самъ себѣ: — вонъ разсказалъ о контузій своей подъ Берлиномъ, даже оказался неприличнымъ хвастунишкой... О посланной и вновь возвращенной отставкѣ Ломоносова выложилъ такой дубинѣ... точно можетъ подобная ракалія оцѣнить, понять... Наконецъ, сообщилъ о мнимомъ волокитствѣ своемъ за какой-то актѣркой Машей, — этого ужъ совсѣмъ и не было, — и все

это я придумалъ, чтобъ только умаслить его, расположить... эка мерзость, позоръ!»

У моста во внутренний дворъ, Власьеву младшій приставъ Чекинъ и вахтеръ поднесли въ котелкѣ и въ мискѣ что-то дымившееся, прикрытое полотенцемъ.

«Проба ужина — рѣшилъ въ умѣ Мирдовичъ: — на сонъ грядущій трапеза принцу».

— Неси, — подумавъ и неспокойно, какъ бодливый быкъ, оглядываясь, сказалъ Власьевъ.

Онъ изъ кармана досталъ Чекину длинный почернѣлый ключъ. Котелокъ и миску понесли за канаву въ ворота. — «Угадалъ — усмѣхнулся Мирдовичъ: — но почему самъ капитанъ туда не пошелъ? странно...»

У гауптвахты Власьевъ съ нимъ разстался. Стемнѣло. Было девять часовъ. Мирдовичъ велѣлъ пробить зорю, поставилъ солдатъ на молитву и отпустилъ ихъ на ночлегъ. Дождавшись смѣны часовыхъ, онъ пошелъ въ казарму. У ея крыльца, толкуя о полковыхъ дѣлахъ, сидѣли два капрала и кое-кто изъ смоленцевъ-солдатъ. Мирдовичъ отозвалъ капраловъ къ сторонѣ.

— А что, ребята, — сказалъ онъ вдругъ сослуживцамъ: — я вынужденъ нахожусь объявить, — ожидается вѣдь отъ сената и отъ ея величества указъ, — арестовать здѣшняго коменданта и всѣхъ офицеровъ, заключеннаго-жъ нумеръ первый освободить...

— Не можемъ знать, — нерѣшительно отвѣтили спрошенные.

— Здѣсь заключенный арестантъ — особа первой важности, — продолжалъ Мирдовичъ: — готовы-ль вы безпродлительно выполнить, буде придется такой указъ?

— Какъ солдатство, такъ и мы, — отвѣтили капралы: — на то воля начальства.

«Трусъ — канальи! — подумалъ съ презрѣніемъ Мирдовичъ, — а, впрочемъ, посмотримъ».

Онъ, сияя, точно по небу плывъ, прошелъ въ караулную, посидѣлъ тамъ и опять поднялся на стѣну. Прохладный, налитанный сыростью, воздухъ приятно его освѣжилъ. Онъ усѣлся. Туманъ застилалъ городъ и очертанія береговъ.

«Ну, если Ушаковъ ждалъ такой погоды, лучше не надо» — сказалъ себѣ Мирдовичъ: — «въ этой-то мглѣ и не спохватятся». — Онъ вглядывался въ сумракъ, слушалъ, не

плывутъ ли отъ города условленные шляпки? — Все было тихо. — Такъ прошелъ часъ и два.

И опять жгучія, тревожныя мысли зародились, зашестрѣли въ головѣ Мирovichа. Ему вспомнился домишко въ галерной гавани, возня и пѣніе старцевъ за стѣной, рассказъ Гаши о послѣднемъ увозѣ принца, прощанье съ Поликсеной и бесѣда въ саду Гудовича надъ Дитпромъ. Вспомнилъ онъ кумову пасѣку, темную осеннюю ночь и свой сонъ объ освобожденіи принца. Съ шепчущимъ сердцемъ, ясно вдругъ представилось Мирovichу и то, что онъ, два дня назадъ, совершенно ненужно и непрошено намекнулъ про свой замыселъ полужнакомому Чефаридзеву, а сегодня чуть не все было открылъ Власеву, и о чемъ-то толковалъ съ своей командой. — «Ну, какъ они выдадутъ? а Чефаридзевъ-дуракъ, можетъ, ужъ и выдастъ?» — замирая, терялся онъ въ догадкахъ: — «въ Питѣрѣ, чай, вотъ какая суета; пишутся распоряженія, — арестовать меня, обыскать, пытать... Можетъ, ужъ и ѣдутъ... Вздоръ, тишина! — и ничего не найдутъ, все припрятано... Подложный указъ въ трещинѣ за печкой, манифестъ зашить въ шинели, и я сейчасъ пойду и ихъ сожгу... будто трубку закурилъ... А если кто и выдастъ, то развѣ одинъ Власевъ, коли только,ordova голова, догадался... Да не догадался онъ! я все экивоками, а особенно этою актеркой Машей, кажется, его умаслить... Онъ даже ухмылялся и спросилъ, скотина, чернявая она, или русая? *la brune ou la blonde*, — какъ воспѣвали парижскіе стихотворцы дочекъ Великаго Петра»...

«Однако, время идетъ» — опять затревожился Мирovichъ: — «ужли Ушаковъ такъ и не будетъ? ужли начинать одному?»

Огни въ окнахъ Власьева, коменданта и въ караульной погасли. Былъ первый часъ ночи. Слышалось только обычное переставливаніе ногъ, вздыханье и зѣвки часовыхъ. Склонясь на край стѣны, Мирovichъ продолжалъ смотрѣть въ туманъ, болѣе и болѣе сгущавшійся надъ Невой.

И вдругъ, какъ ему показалось, гдѣ-то далеко, тамъ, въ туманѣ, что-то охнуло. Ой-ой, охъ! — померещился Мирovichу глухой протяжный крикъ. Онъ вздрогнулъ. Суевѣрный, непреодолимый страхъ охватилъ его мертвыми холодомъ. Волосы шевельнулись на его головѣ. — «Вздоръ! эка, чортъ, какъ настроился, испугался! морочу себя! — проговорилъ

онъ, не двигаясь съ мѣста: — «ясно, почувдилось только въ ушахъ». — И опять простонаю въ отдаленіи — ой-ой! о!..

«Зоветь меня, зоветь, бѣднякъ! здѣсь я, вотъ здѣсь!» — заторопился и вскочилъ Мирѳвичъ. Вокругъ было тихо. Какая-то птица нырнула и скрылась въ темнотѣ. Кровли каземата не было видно.

«Если часъ насталъ — пронеслось въ мысляхъ Мирѳвича: — «приказывай, слово свое помню! бѣлый голубь, въ бѣлокаменной стѣнѣ!»

Онъ на цыпочкахъ, съ звѣриной осторожностью, подошелъ къ краю куртины, заглянулъ во дворъ, ухватясь за грудь. точно болѣло тамъ, спустился съ лѣстницы, достигъ гауптвахты, отремглавъ вбѣжалъ въ караульню и зажегъ свѣчу...

XXXI.

Покушеніе.

У двери на стулѣ лежала его шинель. Мирѳвичъ подпорогъ подкладку, досталъ изготовленный манифестъ, сунулъ и его въ расщелину за печь и принялся за написаніе указа, отъ имени Іоанна Антоновича, командира смоленскаго полка. Въ указѣ Корсаковъ жаловался генераломъ и ему предписывалось немедленно привести полкъ къ присягѣ и слѣдовать съ нимъ въ Петербургъ, къ лѣтнему дворцу — «куда и я неупустительно вслѣдъ за симъ шествую» — прибавилъ отъ имени принца Мирѳвичъ. — «А измѣнника Ушакова роздѣлать и судить» — хотѣлъ онъ размахнуться, но остановился. — «Охъ, что же это я однако?» — удивился онъ и задумался, рѣшая, что Екатерину и Павла, при удачѣ, онъ отослать въ отдаленный монастырь. Ему вспомнились слова подложнаго, составленнаго имъ отъ имени Екатерины манифеста: «Оставляю эту дикую, варварскую, неопѣившую меня, страну и столь же безвѣстная, какъ явилась, удаляясь, передавая государство тому, кому оно слѣдуетъ, по рожденію, — правнуку Перваго Петра, принцу Іоанну...»

Кто-то вошелъ въ дверь.

— Что тебѣ? что? — испуганно вскрикнулъ Мирѳвичъ.

Онъ вскочилъ и поднялъ высоко свѣчу. У порога стоялъ бѣлокурый, въ веснушкахъ, подслѣповатый и очевидно съ просонковъ, гарнизонный капралъ Лебедевъ.

— Отъ коменданта, — сказалъ тихо Лебедевъ: — велите, ваше благородіе, пропустить въ крѣпость гребцовъ.

— Не спать? не спать? каких гребцов? — похолодѣвъ и кинувшись къ нему, спросилъ Мировичъ.

— А кто е зна; може кто заблудимшись, туманъ.

На душѣ Мировича отлегло. Онъ кликнулъ вѣстового и велѣлъ пропустить гребцовъ. Опять заскрипѣло перо. Онъ написалъ воззваніе къ народу и къ высшимъ въ правленіи чинамъ. Дверь отворилась. Снова на порогѣ явился Лебедевъ.

— Ихъ высокоблагородіе просятъ ваше благородіе пропустить канцеляриста.

«Донось, ракалія, донось шлетъ о моихъ рѣчахъ! — подумалъ Мировичъ, — ну, да пусть, увидимъ еще»... — Канцеляриста выпустили въ крѣпость. Шаги во дворѣ стихли. — «Ну, теперь приказъ по арміи» — рѣшилъ Мировичъ: — «одно горе, анадемская свѣчка скоро догорить». — И опять Лебедевъ.

— Да что тебѣ? что, образина?

— Гребцовъ прикажите выпустить изъ воротъ.

«Такъ и есть, донось, — злобно усмѣхнулся Мировичъ: — написали... теперь Власевъ отсылаетъ курьера въ Питеръ... но успѣетъ ли»...

Онъ бросилъ перо, погасилъ свѣчку, раздѣлся, нащупалъ подушку, легъ на скамью и укрылся шинелью. Его бросало то въ холодъ, то въ жаръ. — «Вотъ-сейчасъ войдутъ, арестуютъ, въ цѣпи закуютъ — думалъ онъ, прислушиваясь къ малѣйшему звуку на дворѣ, — а завтра скомандуютъ и этапомъ всенародно, по жарѣ, погонять въ Петербургъ».

Былъ второй часъ ночи въ исходѣ. Въ комнатѣ не было видно ни зги. Что-то ползало по стѣнамъ, шелестѣло у печи и у окна. Потъ струился по лицу Мировича. Жажда мучила его: «воды бы студеной, со льдомъ, цѣлый бы кувшинъ выпилъ». — «Форуну-то, форуну, молодой человѣкъ!» — слышалось ему: — «Колесо безъ гайки, колесо!» — «Да вы и умереть-то, какъ слѣдъ, неспособны»... — «А что? вѣдь пора!» — вдругъ подумалось ему: — «лучшаго момента не будетъ»... — Онъ съ отчаяніемъ обернулся къ стѣнѣ, натянулъ на голову шинель. Но и сквозь шинель опять и ужъ болѣе ясно, ему слышался голосъ: «ой, да иди же скорѣе, иди»...

Скамья колыхнулась подъ Мировичемъ. Онъ вадрогнулъ и вскочилъ. Мысли неслись неудержимо. Въ секунду онъ переживалъ безчисленныя впечатлѣнія. Комната, казалось, ходила вокругъ него ходенемъ. — «Такъ я неспособенъ? — задыхаясь, думалъ онъ, глядя въ темноту, — ты не вѣрила?

сиди же въ своей трущобѣ... а вотъ Орловымъ-то, видно, мнѣ быть». — «Я имъ скажу, — разсуждалъ онъ, придумывая, какъ выйдетъ и станетъ говорить передъ генералитетомъ: — открою, какъ все затѣялъ и выполнилъ одинъ, безъ пролитія крови и безъ пособниковъ. Въ тихости, ловко покончилъ. Перстъ Божій! ахнетъ вся Русь!» — Мировичъ не зналъ, какъ все это будетъ, но вѣрилъ и зналъ, что этому быть суждено. — «И вѣдь каковъ? — подумалъ онъ о себѣ, — ничтожная, безвѣстная соринка, и совершилъ такой подвигъ»... Онъ оглянулся: въ окнѣ будто побѣлѣло.

«Боже! разсвѣтъ!» — съ ужасомъ подумалъ Мировичъ.

Онъ сорвался со скамьи, схватилъ кафтанъ, шпагу и шляпу, выбѣжалъ на гауптвахту и громко крикнулъ: «къ ружью!»

Голосъ его странно, рѣзко раздался въ тишинѣ. Поднялась тревога.

— Бѣги, — сказалъ онъ старшему капралу: — собирай вездѣ всю команду.

Стали сбѣгаться разбуженные солдаты.

— Зачѣмъ зовутъ? — Что? манифестъ привезли? — толковали они, тѣсняясь у казармы. Мировичъ построилъ команду въ три шеренги, выступилъ передъ фронтъ и велѣлъ заряжать ружья боевыми патронами. Самъ онъ взялъ заряженный мушкетъ и крикнулъ стражѣ у главныхъ воротъ:

— Никого въ крѣпость не пропускать, окромѣ маленькихъ шлюпокъ.

«Авось-таки подѣдетъ Ушаковъ, — вертѣлось у него на умѣ, — сиккурсъ не мѣшаетъ».

Караульной команды смоленцевъ было сорокъ-пять человекъ; гарнизона, охранявшаго казематы и замкнутый за каналомъ дворъ, было не больше третьей части. Въ комендантскомъ окнѣ блеснулъ огонь. На крыльцѣ, слышавъ шумъ и голоса, показался въ халатѣ Бередниковъ.

— Что за тревога? — спросилъ онъ Мировича: — что случилось и съ какой стати собрали людей?

— Ты здѣсь держишь невиннаго государя, — крикнулъ, кинувшись къ нему, Мировичъ: — о тебѣ есть особый указъ...

Онъ ударилъ его прикладомъ, схватилъ за ворота и отдалъ подѣ караулъ. Дерзость его всѣхъ покорила.

— Смирно! стройся! — скомандовалъ онъ отряду: — правое плечо впередъ, скорымъ шагомъ... маршъ! — и повелъ команду къ мосту, черезъ каналъ.

— Кто идетъ?—окликнулъ часовой.

— Къ государю идемъ!—окликнулъ на ходу Мировичъ.

За канавой послышалась возня. У воротъ блеснули огни, негромко и странно шелкнули въ туманѣ три выстрѣла, и пули, свистя, пролетѣли надъ наступавшей командой. Солдаты Мировича остановились.

— Стрѣляютъ,—сказалъ онъ:—и мы отплатимъ.

Онъ выровнялъ отрядъ и всѣмъ фронтомъ выпалилъ въ караульныхъ. Ворота за мостомъ отворились и опять затворились. По говору было замѣтно, что къ часовымъ наспѣло подкрѣпленіе.

— Чтѣ же, сдается, измѣнники? покоряетесь настоящему государю, Іоанну Антоновичу?—крикнулъ съ площадки Мировичъ.

Гарнизонная стража опять выстрѣлила. Смоленцы ей отвѣтили новымъ залпомъ. Пути зашелкали въ стѣну башни, въ крышу казармъ. Ни съ той, ни съ другой стороны, отъ тумана и общей, спѣшной стрѣльбы, никто не былъ раненъ. Дымъ сталъ расходиться. Мировичъ отвелъ команду за церковь, гдѣ стояли пожарные припасы. Солдаты ворчали.

— Что мы за душегубцы, убивцы?—слышалось между ними:—каки-таки резонты! Экъ, убрались... знаемъ мы ихъ...

— Солдатство требуетъ вида, ваше благородіе,—сказалъ, подойдя къ Мировичу, капралъ Мироновъ.

— Какого вида? что имъ, скотамъ?

— Значить, почему, то-ись, смуть... и какъ на своихъ наступаемъ?

— А! вамъ вида! — злобно проговорилъ Мировичъ:—позвольте,—безъ того, нешто, сталъ бы я дѣйствовать?

Онъ сходилъ въ кордегардію, досталъ изъ щели манифестъ и указъ и громко, не видя въ сумеркахъ строкъ, прочиталъ его наизусть.

«Вотъ актеръ Волковъ, объявившій на память манифестъ, и я... однимъ дѣломъ прославимся, — подумалъ онъ, оглядываясь на солдатъ. Тѣ робко жались въ сторонѣ, медля собираться во фронтъ. — Боже, да гдѣ же Ушаковъ?—озирался Мировичъ,—гдѣ онъ? вразуми меня, Господи, наставъ».

За мостомъ усиливалось движеніе. Кто-то сказалъ, что гарнизонные выкатили бочки, возы и готовились изъ-за нихъ къ новому отпору. Мировичъ съ мушкетомъ въ рукѣ вышелъ къ мосту.

— Слушайте, — крикнулъ онъ туда: — сдавайтесь, пропустите насъ, не то будетъ худо. Я пришелъ не самъ собою, сдѣлать это по долгу — сдавайтесь же, послушники царской воли, — вамъ объявляю указъ...

— Ты сдавайся, — отвѣтили изъ-за канавы.

— Пушку, — скомандоваль, возвратясь, Мировичъ: — заряды изъ погреба.

— Нѣтъ ключей.

— Къ коменданту; въ кабинетъ висятъ.

Привели канонира, артиллерійскаго капрала и гандлангеровъ. Съ ихъ помощью стащили съ бастіона шести-фунтовую пушку, прикатили ее въ крѣпость, зарядили ее и поставили противъ воротъ. Приказавъ снова зарядить мушкеты и никого не пропускать ни въ крѣпость, ни изъ крѣпости, Мировичъ послалъ вѣстового объявить гарнизону, чтобы клали оружіе; иначе будутъ ядрами палить.

— Покорайтесь, братцы, — окликнулъ вѣстовой: — почему, какъ ихъ благородіе, приходши и не видѣвши покорности... а какъ, вы, значить, измѣнники...

Во дворѣ, гдѣ за тремя пикетами было помѣщеніе принца и жили два его пристава, всѣ потеряли головы. Кое-гдѣ быстро засвѣтились окна. Хлопали двери, бѣжали солдаты. Начальники метались, какъ уторѣлые, отдавали и опять отмѣняли приказанія, бранились, спорили. Кухарь принца сцѣпился съ портомойцемъ, — кричать о чемъ-то.

— Ну, что жъ теперича дѣлать? — спросилъ запыхавшійся, выбившійся изъ силъ Чекинъ: — они выкатили на площадь пушку.

— А вы какъ полагаете? — произнесъ Власьевъ.

— Да что же, Данилю Власичъ, ихъ сила; думай, не думай, а выйдемъ такой афронтъ, — одержитъ верхъ сугубо-злѣйшій врагъ.

— Ну, господинъ поручикъ, значить вы забыли инструкцію о секретномъ арестантѣ... Курьеръ нангъ врядъ ли доѣдетъ теперь... А она вѣдь не отмѣнена...

Холодъ пробѣжалъ по тѣлу Чекина. Страшная панинская инструкция ясно указывала мѣры, какія подобало принять съ «оною персоной» въ случаѣ, если бъ покуснвшаяся рука оказалась-сильною.

— Но, ваше высокоблагородіе, — возразилъ и зангнулъся

Чекинъ: — нельзя ли иначе какъ? помилуйте, столь противу-человѣческое дѣяніе... Вѣдь онъ, полагать надо, спать и ничего, какъ есть, не знаетъ.

Чекину вспомнился въ то мгновеніе минувшій вечеръ и лицо принца, къ которому онъ тогда принесъ ужинъ. Заключенный, сверхъ обычая, встрѣтилъ его привѣтливо и ласково. Бросилъ «непорядочные взоры» — и угрозы убить до смерти, отсѣчь голову, когда станетъ снова царемъ. То, бывало, все толкуетъ, что онъ государь великій и что одинъ подлый офицеръ все отнялъ у него и имя ему перемѣнилъ, хотя все-таки онъ здѣшней имперіи принцъ, — а тутъ вдругъ притихъ, куда амбиція дѣлась. Весь тотъ вечеръ онъ много ходилъ по комнатѣ. Дѣлалъ это принцъ Іоаннъ съ особыми приемами. Отмѣривъ два-три шага отъ окна къ печи и остановится. — «Благослови, Боже», — скажетъ, или: «День до вечера, вечеръ до дня, помани меня!» — повернется и начнетъ опять ходить между дверью и перегородкой. Молился онъ въ послѣднее время больше полусловами, крестясь и какъ будто куда-то все спѣша. Опять остановится: «Благослови, Господи, и виждь... Вечеръ до дня, день до вечера, до вечера»... и, какъ маятникъ, мелькаетъ изъ угла въ уголъ, либо ляжетъ, смотреть съ постели и смѣется. Да и весь тотъ день онъ ходилъ до изнеможенія, останавливался и чертилъ что-то гвоздемъ на стѣнѣ, за печкой, — проголодался. Чекинъ былъ доволенъ его поведеніемъ и, съ укоризной себѣ, вспомнилъ, что онъ иногда съ досады бранилъ его вслухъ разбестіей и грозилъ бить его по указу четвертнымъ полкомъ.

— Ахъ, вотъ вкусно! — сказалъ принцъ, садясь за горячую, пріятно пахнувшую похлебку: — я малъ чиномъ, да монахъ, буду митрополитомъ, потому и кланяюсь образамъ... Вѣдь я, братецъ, послѣ обѣда нынче видѣлъ сонъ.

— Какой сонъ? у васъ все коловратныя слова...

— Да все это я въ небѣ, — какіе тамъ жители, строенія!.. а то будто иду по лѣсу — а кругомъ буря стремитъ, дождь собирается. Такъ это душно: только гляжу, студеное, темное озеро. Я и бросился въ воду, нырнулъ, плыву, да вдругъ и выплылъ гдѣ-то въ такой зелени, — солнце грѣетъ, а цвѣтовъ, цвѣтовъ!.. и все бѣлые, да алые, махровые, — большіе, — пахнутъ, — а по нимъ пчелы, жуколицы, шмели... Ахъ, Лука Лубичъ, гдѣ это озеро и гдѣ этотъ лѣсъ?..

Помнилъ отчетливо Чекинъ, какъ было свѣтло и радостно лицо узника, когда онъ это говорилъ, какъ кротко онъ улыбался и какъ, поужинавъ, со словами: «Ну, а теперь и бай-бай! благослови, Боже, на сонъ праведный», умылъ руки и лицо, утерся, бережно развѣсилъ у изголовья полотенце и, раздѣваясь, сказалъ Чекину: — «Слушай, Лука Лукичъ, какъ выйду отсуль, да стану вашимъ царемъ, тебя въ гофдиннеры произведу... надъ всѣми слугами, превыше всѣхъ поставлю, въ камергеры произведу... А они не давали чаю, крѣпкихъ чулковъ... Эка невидаль ихъ монастырь... вотъ поживемъ такъ-то лучше, на вольной волюшкѣ»...

У воротъ раздались крики. Отъ Мирovichа явился новый вѣстовой.

— Скажи господину подпоручику, — объявилъ ему Власевъ: — стрѣлять больше не будемъ, сдаемся, — пусть идетъ. Ворота отпрутъ.

— А теперь, поручикъ, за мной! — шепнулъ, обратясь къ товарищу, Власевъ.

Онъ схватилъ Чекина за руку и повлекъ его къ казармѣ принца. Во дворѣ побѣлѣло. Начало свѣтать, Они миновали пикеты.

У сѣней каземата ходилъ часовой. — «Что? арестантъ спить?» — спросилъ его Власевъ. — «Должно, спить, не слышно». — Власевъ взялъ у часового палашь, отперъ дверь. Въ душной, со спертымъ воздухомъ, комнатѣ, уже ясно можно было разглядѣть предметы. Въ рѣшетчатое, закопѣлое окно чуть брезжилъ разсвѣтъ. Принцъ тихо спалъ за перегородкой. На скамьѣ лежало его платье, — матросская куртка и шаровары; возлѣ стояли стоптанные башмаки. У изголовья висѣло полотенце.

— Ну, что жъ, — обнаживъ палашь и обернувшись къ Чекину, сказалъ Власевъ: — именемъ статута, приказываю...

Чекинъ также обнажилъ шпагу. Онъ видѣлъ, какъ коротконогій, головатый Власевъ несмѣло шагнулъ за перегородку и какъ, разглядывая спавшаго, нагнулся и сталъ шарить. Секунды двѣ его голова и плечи виднѣлись въ дверь переборки. И вдругъ онъ взмахнулъ рукой.

Раздался ударъ стали о что-то мягкое, быстрый шорохъ чего-то наваливавшегося, падающаго и страшный, дикій крикъ: — «ахъ, Боже! да что жъ это?» — Чекинъ безъ па-

мяти бросился къ двери и второпяхъ не могъ найти замка.

Что-то стремглавъ высочило изъ-за перегородки. Среди комнаты обозначился рослый, крѣпко сложенный, окровавленный человекъ, въ одномъ бѣлѣ и съ разсѣченнымъ наискось лбомъ. Кровь струилась по его блѣдному, искаженному страхомъ и недоумѣніемъ лицу; въ его рукахъ былъ обломокъ стула. Красное пятно ширилось и съ боку рубахи. Онъ сломалъ ранивѣйшій его клинокъ; быстро обхватилъ Власьева и, повторяя: «Иуда, убивецъ!»—силился его повалить.

— Шпагу вашу, поручикъ... штыкъ отъ солдата!—крикнулъ, хрипя, Власевъ.

Чекинъ услышалъ голоса на дворѣ, топотъ подбѣгавшихъ къ лѣстницѣ солдатъ и протянулъ свою шпагу Власеву. — «Успѣють, помѣшаютъ»,—подумалъ онъ. Въ сѣняхъ замелькали тѣни. Онъ высочилъ за дверь.

За его спиной раздался новый отчаянный крикъ. Что-то толкнулось о стѣну, рванулось къ двери и, простонавъ: «за что же, голубчики, за что?»—глухо рухнуло на полъ. Чекинъ въ темномъ проходѣ дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Ему ясно опять представился ужинъ принца, ихъ разговоръ. «А цѣты все бѣлые, да алые... жуколицы, пчелы, шмели»...

— Гдѣ государь? гдѣ?—крикнулъ, подбѣгая къ каземату, Мировичъ. Онъ задыхался. Солдаты толпились за нимъ.

— У насъ императрица, а не государь,—отвѣтилъ, ступивъ изъ каземата, Чекинъ.

«Отместка за кронштадтскаго матроса!»—подумалъ Мировичъ, вспоминая такой же отвѣтъ Третьему Петру.

— Иди, негодяй, отмыкай дверь и кажи намъ государя,—сказалъ онъ, схвативъ его за воротъ и толкнувъ въ затылокъ:—другой тебя, каналью, давно бы закололъ.

Онъ бросился съ ружьемъ по лѣстницѣ. Дверь каземата была настежь. На ея порогѣ стоялъ Власевъ. Нахлынувшіе солдаты толпились въ сѣняхъ и на галлерей. Мировичъ вошелъ въ казематъ. Тамъ было темно.

— Огня, свѣчу!—закричалъ Мировичъ:—что ты, злѣдѣй, тутъ дѣлалъ впотьмахъ?—кинулся онъ къ Власеву:—наемные душегубы, мерзавцы! уже всѣмъ вамъ будетъ расчетъ!

Принесли фонарь. Всѣ вошли въ затхлый мефитическій казематъ.

На его полу, навзничь, лежало въ крови бездыханное тѣло принца Іоанна...

— Ахъ, вы, злодѣи, окайнные, безсовѣстные! — вскрикнулъ, отступая въ ужасѣ, Миновичъ: — боитесь ли Бога? какъ смѣли пролить кровь столь великаго, неповиннаго чело-
вѣка?

Онъ бросился къ трупу. — «Императоръ нашъ бывший, императоръ!» — кричалъ онъ, цѣлуя руки и ноги убитаго.

— Не знаемъ, кто онъ былъ, — отвѣтилъ Власевъ: — вина не наша... что сдѣлано, — токмо по указу...

— Въ штыки ихъ, изверговъ, въ ключки! — раздались крики солдатъ.

— Пользы не будетъ! колоть не надо! — остановилъ ихъ Миновичъ: — и теперь они правы, а мы виноваты... Я вспомнилъ данное слово, явился, — сказалъ онъ, глядя въ мертвое лицо узника: — вотъ нашъ государь, Іоаннъ Антоновичъ. Ему быть бы на престолѣ, стоять во главѣ войска! Отбивался онъ вѣдь одинъ, безоружный, противъ вооруженныхъ... Помните ли передайте въ роды родовъ, вы его видѣли... Теперь мы безчастны и я болѣ васъ всѣхъ... Одинъ отвѣчу, за всѣхъ потерплю... Несите, — прибавилъ онъ, громко зарыдавъ: — вашему величеству отдастъ долгъ послѣдній вѣрнопопдаанный...

Тѣло покойнаго, въ посконной бѣлой рубахѣ и въ портахъ изъ грубаго мужицкаго холста, прикрыли знаменемъ и на кровати вынесли на фрунтовое мѣсто, во дворъ, гдѣ ужъ разсвѣло. Всѣ заглядывали въ блѣдное, будто озабоченное величіемъ рокового событія лицо убитаго, съ русой бородой. Миновичъ велѣлъ барабанщику бить утренній побудокъ, выстроилъ отрядъ шеренгами, положилъ къ ногамъ принца свою шпагу, шарфъ и скомандовалъ, въ честь скончавшагося, на караулъ. Барабанщикъ билъ полный походъ.

— Прощайте, братцы, не поминайте лихомъ, — говорилъ Миновичъ, обходя ряды и обнимая солдатъ.

Освобожденный изъ-подъ стражи комендантъ подать знакъ. Старшій капралъ и нѣсколько рядовыхъ окружили Миновича. Беретниковъ отдать его подъ арестъ той командѣ, у которой самъ за минуту былъ подъ стражей.

Къ фронту подошелъ наспѣвшій изъ Шлиссельбурга командиръ смоленцевъ, Корсаковъ.

— Можетъ быть, вы, полковникъ, не видѣли живого на

шего государя, Иоанна Антоновича, — сказалъ Мирѡвичъ: — такъ вотъ онъ мертвый... Но если бы...

Загремѣлъ барабанъ. Фронтъ сомкнулся. Шеренги двинулись въ ворота. Корсаковъ повелъ арестованнаго Мирѡвича на полковую гауптвахту.

Тѣло узника, въ бархатномъ, аломъ гробѣ, было выставлено въ церкви. Стеченіе и толки народа заставили поспѣшить съ его погребеніемъ. Онъ тайно былъ схороненъ въ глухомъ мѣстѣ, у стѣны, причѣмъ его могилу сравнивали съ землей; здѣсь въпослѣдствіи устроили, и доннынѣ существующую, домашнюю, теплую для заключенныхъ церковь, во имя апостола Филиппа. Въ народѣ пустили молву, что покойнаго вывели ночью, для погребенія, въ Тихвинскій монастырь.

XXXII.

Сѣнтенція.

Екатерина въ это время, съ большою пышностью, совершала свою поѣздку въ Остзейскій край. Надежды нѣмцевъ воскресли. Носился слухъ, что за нимъ велъ въ тайнѣ подковы опять ожившій «лукавый старецъ Калхасъ» берлинскаго двора. Союзъ съ Фридрихомъ грозилъ старыми бѣдами. Повторяли, со словъ Ломоносова, совѣтъ дѣльца старыхъ временъ: «дружи не съ сосѣдомъ, а черезъ сосѣда».

Девятаго іюля Екатерина торжественно въѣхала въ Ригу. Пальба изъ пушекъ, колокольный звонъ и крики «вивать» встрѣтили высокую гостью. Магистратскіе чины и рыцарство, на богато-убранныхъ коняхъ, преклонили передъ нею, прятаншійся въ елисаветинскіе годы, городской штандартъ. На триумфальныхъ воротахъ красовалась надпись: «*Matri patriae incomparabili*». Екатерина вышла изъ кареты по цвѣтамъ, которые бросали ей подъ ноги, одѣтая въ бѣлое, дочери горожанъ. Осмотрѣвъ войско и посѣтивъ загородный дворецъ Петра Перваго и русскую церковь во имя Алексѣя Божьяго человека, Екатерина одиннадцатаго іюля приняла обѣдъ отъ рыцарства. Вечеромъ въ посольскомъ домѣ ее ожидалъ балъ-маскарадъ отъ мѣщанскаго общества.

Съ улицы долетали уже звуки музыки и гулъ ожидавшей государыню толпы. Проѣхали экипажи Бирона и Миниха. Собрались и гости русской свиты. Императрица сидѣла въ пудрамантелѣ, въ уборной. Парикмахеръ убиралъ ей волосы.

Шаргородская ожидала съ платьемъ; Перекусихина—съ маской и съ голубымъ, въ розовыхъ лентахъ, домино. У подъезда стояла запряженная пугомъ, въ страусовыхъ перьяхъ, съ егерями и скороходами, парадная карета. Последняя букля была взбита, последняя булавка приколоты. Екатерина уже протянула руку къ маскѣ. Въ это время въ зеркало она увидѣла полуоткрытую дверь. Шаргородская держала на подносѣ пакетъ.

— Что тамъ? — обернулась императрица.

— Фельдъегерь изъ Петербурга... офицеръ Кашкинъ...

Екатерина вскрыла пакетъ, прочла первыя строки и чуть не уронила бумаги. То было подробное донесеніе Панина о покушеніи Мировича и объ убійствѣ принца Іоанна. — «Уйдите» — сказала императрица окружавшимъ. Черезъ нѣсколько минутъ она позвонила. Лицо ея было встревожено, покрылось пятнами. — «Позвать графа Строганова, — сказала она камеръ-юнгферамъ: — да не явно; пусть войдетъ по малой внутренней лѣстницѣ». — Строгановъ явился. Дверь за нимъ заперли на ключъ.

— Ну, Александръ Сергѣевичъ, — обратилась къ нему императрица: — сослужи службу, поѣзжай за меня на этотъ балъ.

— Какъ, за васъ? шутить изволите!.. — произнесъ, отступивъ, удивленный графъ.

— Ничуть! садись, вотъ мои уборы. Мавра Савишна, Катерина Ивановна, прилаживайте на него.

— Но, государыня, за что-жъ такая издѣвка? въ чужомъ мѣстѣ, незнакомая публика... угадаютъ — осудятъ.

— Не о себѣ, обо мнѣ подумай. Отказъ мой сочтутъ за affrontъ, а ѣхать туда не могу. Я только-что получила важныя бумаги изъ Питера. Нужно отвѣчать, писать немедленно резолюціи. Не до удовольствій, пойми; а политика, высшіе резоны требуютъ скрыть отъ всѣхъ самодѣйшій намекъ на то, почему я уклонилась отъ предложеннаго бала. Не вѣришь? думаешь, дурачу? Полно-ка. Одѣвайся и, не мѣшая, поѣзжай. Ты же со мной кстати, одного роста, турниры и голосъ мой не разъ искусно перебуфонивалъ. Вотъ и найдись лучше передъ чужими, да кое-передъ кѣмъ и изъ своихъ: представь на этомъ вечерѣ мою особу... утѣшь нѣмцевъ...

— Только не въ каретѣ, пѣшкомъ дозвольте, — отвѣтилъ

сдавшийся графъ: — иначе панен, подсаживая, какъ бы не признали и не разболтались.

— Какъ хочешь, лишь бы умненько, со смекалкой.

Спустя четверть часа, графъ Строгановъ, въ domino и въ маскѣ императрицы, окруженный депутатами города и чинами двора, черезъ полную, гудѣвшую народомъ, улицу, прошелъ въ посольскій домъ. «На оный маскарадъ ея величество изволила ходить *тышкомъ въ маскѣ*», — подчеркнул эти слова въ тотъ же вечеръ въ «дневникѣ двора» камеръ-фурьеръ Купреяновъ. Строганова никто не узналъ. Нѣмцы приняли его за императрицу, расточали ему тонкія, зачѣтливо-почтительныя любезности и, всерабственно раскланиваясь, утруждали его низжайшими просьбами объ упованіяхъ и нуждишкахъ края. Биронъ, по обычаю, жаловался на обиды и подвохи Миниха, Минихъ на Бирона. Строгановъ наслушался здѣсь такихъ секретовъ, что его въ потъ бросило.

Императрица, между тѣмъ, заперлась въ кабинеты, вновь прочла донесеніе Панина о «дивахъ» и всѣ къ ней бумаги, и велѣла вызвать съ бала Орловыхъ и гетмана. Она имъ сообщила вѣсть о кровавой, какъ она мѣтко назвала ее, «шлессельбургской нелѣпѣ».

— Страшное, безчеловѣчное дѣло, — сказала она: — и тѣмъ досаднѣе, что принцъ уже почти совсѣмъ согласился постричься въ монахи! опомниться не могу, и трудно будетъ разсѣять превратные толки злыхъ, враждующихъ намъ языковъ. А что хуже — этотъ позорящій насъ злодѣй былъ, очевидно, не безъ пособниковъ. Я вспоминаю, что передъ моимъ выѣздомъ одна бѣдная женщина нашла на улицѣ потерянное письмо, гдѣ указывали на нѣкое соглашеніе, грозившее меня убить...

— Кто-жъ пособники? — спросилъ, вспыхнувъ, гетманъ: — надѣюсь, не земляки Мирovichа.

— Дашкову называютъ, — вѣрить дико.

Орловы переглянулись.

— Въ арестованныхъ документахъ три руки, — продолжала, просматривая бумаги, императрица: — манифестъ мелкаго почерка, письмо отъ имени покойнаго принца къ Корсакову — крупнаго, а указъ — средней руки. Первые два — положимъ, Мирovichа и Ушакова... но кто-жъ писалъ третій документъ?

— Тайный розыскъ, съ пристрастьемъ! веревка и пуля —

развяжутъ всякій языкъ,—сказать, сдвинуть брови, Алексѣй Орловъ:—многіе тузы объявились бы... въ хомутъ бы его и на дыбу, допытались бы, съ кѣмъ совѣщался... Да и солдаты,—безъ подговора свѣше, не пошли бы за нимъ...

— Не розыскъ и не пытка, всенародный судъ, безъ скрытности, вотъ что рѣшаю, — возразила императрица: — дѣло столь важное не можетъ остаться въ секретѣ, — а особенно, когда около сотни человѣкъ въ немъ съ оружіемъ участвовали... Строгое, безъ послабленій и всякой жалюзи, слѣдствіе, а по возвратѣ въ столицу, — подробный, для всего свѣта, откровенный манифестъ... Пусть узнаютъ истинный образъ несчастнаго фантома, для коего содѣяно это безумное покушеніе.

Екатерина возвратилась въ Петербургъ въ концѣ іюля. Манифестъ о шиллессбургской катастрофѣ явился 17-го августа. Верховный судъ надъ Мировичемъ былъ объявленъ изъ членовъ сената, синода, президентовъ коллегій, генералитета и особъ первыхъ трехъ классовъ. Преступника содержали въ Петропавловской крѣпости. Слухи о ходѣ суда проникали въ городъ и волновали все общество.

Стало извѣстно, что членъ суда, сенаторъ Неплюевъ, требовалъ арестовать и привлечь, какъ указано, «безъ жалюзи» къ допросу до сорока лицъ, болѣею частью, изъ высняго круга столицы. Разнеслась вѣсть и о выходѣ другого члена присутствія, барона Черкасова. Когда собраніе, 31-го августа, выслушавъ первый личный допросъ Мировича, рѣшило его сковать и, держа подъ карауломъ, приступить къ сочиненію сентенцій, Черкасовъ всталъ съ мѣста.

— Я требую пытки измѣнническому внуку Мировичу, — сказалъ онъ, возвысивъ голосъ: — въ городѣ распушены вредительные слухи, и насъ, судей, почитаютъ комедіантами и машинами, отъ посторонняго вдохновенія движущимися.

— Дерзкія, обидныя клеветы! — возразилъ кто-то.

— Строгимъ розыскомъ, господа судъ, о тайныхъ руководителей жертвы, — продолжалъ Черкасовъ: — мы должны себя оправдать не токмо передъ всѣми теперь живущими; но и передъ слѣдующими по насъ родами... Въ томъ наша честь и достоинство...

— Да, не мѣшало-бъ въ скромномъ мѣстѣ въ ребрахъ у него пощупать, — подхватили другіе.

Буря поднялась въ верховномъ судилищѣ. Всѣ вскочили съ мѣстъ, кричали упреки другъ другу. Оберъ-прокуроръ Соимоновъ заявилъ, что и нѣкоторые изъ духовенства требуютъ допроса съ пристрастіемъ.

— Воспреещаю длить столь дерзновенныя рѣчи, — повелительнымъ голосомъ объявилъ генераль-прокуроръ, князь Вяземскій: — собраніе закрыто, а о происшедшемъ будетъ доложено ея величеству.

Отвѣтъ Екатерины сталъ извѣстенъ въ городѣ.

— Въ голосѣ Черкасова, — рѣшила она: — я много не вижу, кромѣ, что ему чистое и нелицемѣрное усердіе диктовало. Чужестранныхъ недоброжелательныхъ дворовъ министры дѣйствительно по городу разсѣваютъ, будто я заставляю собраніе, для сокрытія истины, въ семь дѣлъ комедію играть; да и у насъ уже дѣйствуютъ партіи, для соблазна публики... Черкасову выбиться нельзя; онъ ровный имъ тутъ... писали отъ усердія, сгоряча... Братъ мой, а умъ свой... Того ради, дайте большинству голосовъ совершенную волю...

Шопотомъ повторяли и отвѣтъ Мирovichа комиссіи, явившейся отъ суда для его увѣщанія.

— Покайся, признавайся, — говорили Мирovichу члены суда: — назови своихъ единомышленниковъ, подстрекателей, пособниковъ и попустителей. Облегчи душу поканіемъ.

— Вы ищете моихъ пособниковъ? — отвѣтилъ онъ: — напрасно; я дѣйствовалъ одинъ!

— Но какъ ты могъ рѣшиться, какъ дерзнуть?

— Я предпринялъ лишь то, что удалось вамъ самимъ и что васъ поставило моими судьями, а меня подсудимымъ. Я шелъ по вашимъ стопамъ; удайся мое дѣло, вы всё говорили бы инымъ языкомъ.

Перваго сентября Мирovichа заковали въ цѣпи, лиша его чиновъ. Онъ сильно упалъ духомъ, плакалъ.

На новое предложеніе пытки Екатерина отвѣтила: — «оставимъ несчастнаго въ покоѣ и утѣшимся мыслию, что государство не имѣетъ иныхъ столь ожесточенныхъ враговъ».

Девятаго сентября судъ подписалъ сентенцію: «капраловъ и солдатъ, участниковъ бунта, прогнать сквозь строй и сослать въ каторгу; камеръ-лакея Касаткина, за болтовню о дворѣ и его порядкахъ, наказать батогами и зачислить въ рядовые, въ дальнія команды. Чефаридзева, — за недонесеніе, — лишить чиновъ и тоже разжаловать въ солдаты...

Мирovichа—четвертовать и, оставя тѣло его народу на позорище до вечера, сжечь оное купно съ эшафотомъ». — Власевъ и Чекинъ, убійцы принца Іоанна, вскорѣ были высланы, съ наградой по семи тысячъ рублей, въ дальнія губерніи, съ воспрещеніемъ появляться вмѣстѣ и вообще посѣщать многолюдныя компаніи, и о происшедшемъ съ ними никогда и никому не говорить.

Казнь Мирovichу была объявлена на пятнадцатое сентября, г.а Сытномъ рынкѣ Петербургской стороны, противъ крѣпости. Екатерина, на предложеніе суда—отказаться отъ права помилованія, отвѣтила резолюціей: «моихъ правъ — не касаться никому» и замѣнила казнь четвертованія — отсѣченіемъ головы Мирovichу.

Слухъ о покушеніи Мирovichа проникъ въ дальніе концы Россіи, долетѣлъ до Днѣпра, до Трубежа и до оренбургской линіи.

Въ кумовой пасѣкѣ, въ Переяславлѣ, въ Изюмскомъ уѣздѣ, въ Москвѣ и у Измайловскаго моста, у Бавыкиной, произвели строгіе обыски, допросы. Всѣ угадывали участь, которая ожидала Мирovichа. Сентенція суда подтвердила общія ожиданія. Двѣ сестры Мирovichа и Бавыкина долго, какъ тѣни, бродили по Петербургу, обходя и моля всѣхъ вліятельныхъ лицъ и падая въ ноги членамъ верховнаго суда.

Бавыкина выждала императрицу, по пути ея за городъ, и подала ей прошеніе на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда удостоилась поднести ведро воды ея величеству. Екатерина узнала Филатовну. — «Ахъ, матушка, не могу, — отвѣтила она съ искреннимъ чувствомъ: — проси, о чемъ хочешь; я у тебя въ долгу, но этого сдѣлать не въ моей силѣ. Судъ такъ рѣшилъ, и соблазнъ слишкомъ дерзостенъ и великъ».

Двѣнадцатаго сентября, на перекладной, изъ-за Волги, прибыла въ Петербургъ еще одна просительница. Въ первые дни она съ трудомъ добилась приѣма у Григорія Орлова, у гетмана и у преосвященнаго Аѳанасія; уцѣпилась у подъѣзда сената въ кафтанъ генераль-прокурора Вяземскаго и, волочась за нимъ по ступенямъ, рыдая и обнимая его ноги, молила о пощадѣ своему жениху. Ей сказали, что поздно, — приговоръ о казни Мирovichа уже былъ судомъ подписанъ. Ее видѣлъ и прибывшій въ это время съ юга пріятель

Мирovichа, Яковъ Евстафьевичъ, давшій ей совѣтъ — обратиться съ просьбой выше.

Во вторникъ, четырнадцатаго сентября, въ дворцовой церкви Царскаго Села, по случаю праздника Воздвиженія, для государыни служилась заутреня, затѣмъ обѣдня. Изъ церкви императрица прошла въ кабинетъ, гдѣ ее ожидали кофе и привезенные съ утреннимъ курьеромъ доклады.

Бывшій гардеробмейстеръ, Василій Григорычъ Шкуринъ, нынѣ бригадиръ и камергеръ, въ праздничные дни вспоминала старую службу, любилъ самъ обметать пыль со столовъ и прочей мебели императрицы. Такъ и теперь онъ, войдя въ кабинетъ, обмахнулъ пучкомъ перьевъ часы и каминъ и, занявшись полкой съ книгами, сталъ по обычаю мурлыкать церковный кантъ. Въ такихъ случаяхъ, въ часы добраго расположенія духа, и Екатерина любила въ шутку подтягивать вѣрному слугѣ. Возгласить онъ, подражая лаврскому архимандриту: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояніе Твое», — Екатерина обернется отъ бумагъ и, на манеръ хора, протяжно отвѣтитъ ему: «Исѣ-палла-эти дес-пота»... — Затянетъ Василій Григорычъ, въ родѣ архіепископа Димитрія, чуть слышнымъ, замирающимъ голосомъ: «Свѣте тихій, святая славы... Отца безсмертнаго... святого, блаженнаго», — императрица баскомъ вторитъ ему: «Премудрость, вонмемъ». — Теперь Шкуринъ пропѣлъ начало извѣстнаго тропаря и во второй разъ нѣжно затянулъ любимую стихиру: «Отъ юности моея мнози борють мя страсти...» — Онъ помахивалъ пучкомъ, вздыхалъ, оглядывался; императрица не отрывалась отъ стола и его не замѣчала. Ужъ онъ, кряхтя, взялся за дверь и готовился уйти.

— Что, Григорычъ? не въ духѣ твоя кума? — вдругъ отозвалась, обернувшись къ нему, Екатерина: — имѣешь что-нибудь сказать?

— Какъ, магушка, не имѣть? да вотъ, пресвѣтлая, углубилась ты въ бумаги, не смѣлъ.

— Говори.

— Просительница одна ждетъ тебя, многомилостивая, у садовника Титыча; съ параднаго не пустили, гнали, ко мнѣ дошла.

— Кто она и по какому дѣлу?

— Издалека, съ Камышъ-рѣки... на перекладной домча-

лась—все по тому же... по завтрашнему-то случаю... дѣвушка, изъ прежнихъ, видно, дворскихъ.

— Дѣвушка? кто такая?

— Плачетъ, не знаю, даже слезы вылавала... охъ, прими ты ее, всемиловитая.

— Что же я могу, Богъ мой?—спросила, вздохнувъ Екатерина:—что я для нея, когда и всё-всё?.. Алексѣй Петровичъ, гетманъ, Панинъ?..

— Допусти ее, выслушай, — сказала, поклонившись въ поясъ, Шейуринъ.

Екатерина позвонила. Дежурный лакей ввелъ худую, красивую, съ янтарно-золотистыми волосами, дѣвушку. Оставшись наединѣ съ государыней, она опустилаcя у порога на колѣни.

— Встаньте, милая, ободритесь, — произнесла, ласково подходя къ ней, Екатерина: — за кого вы просите?

— За Мировича...

— Монархи невластны въ такихъ дѣлахъ; не я судила его, и не я клала приговоръ... Кто вы и почему просите за него?

Худыя плечи Поликсены вздрагивали. Бѣдныя руки безжизненно были опущены вдоль темнаго, старенькаго платья. Запекшіяся, сжатые губы не могли произнести ни слова.

— Кто вы? — повторила императрица: — говорите, какъ матери отечества! не бойтесь... мы одни.

— Я невѣста Мировича, — отвѣтила Поликсена, поднявъ на Екатерину убитый, потухшій взоръ.

— Невѣста?.. что вы говорите!

— Вижу, пощады не будетъ; молю объ одномъ — дайте съ нимъ проститься, раздѣлить его послѣднія минуты.

— Сядьте, милая, сядьте, — вы падаете, — сказала, поддерживая ее, императрица: — здѣсь, на софу... Такъ, невѣста? Вы лучше всѣхъ знали его. Скажите откровенно, безъ утайки, — продолжала, сѣвъ возлѣ гостыи, Екатерина: — что побудило его на столь дерзкій, безумный шагъ? Притомъ въ немъ замѣчена такая зазорная, звѣрская окаменѣлость, такое упорство въ невыдачѣ своихъ сообщниковъ...

Поликсена медлила отвѣтомъ.

— Государыня, можете ли хоть обѣщать?—спросила она.

— Все, что въ моихъ силахъ.

— Даже помилованіе?—вспыхнувшимъ взоромъ впиваясь въ Екатерину, спросила Пчёлкина.

— Увижу!.. по вашей искренности... Есть сообщники, подстрекатели?

— Есть... одно лицо.

— Въ живыхъ оно? и вы его знаете? — медленно спросила императрица.

— Знаю... въ живыхъ...

— Можете уличить, доказать?

— Могу.

— И его не привлекали къ слѣдствію?

— Его никто не знаетъ, а въ немъ вся вина...

Екатерина встала. Облако прошло по ея лицу.

— Извольте, — сказала она: — общаю даже помилованіе; говорите, кто это лицо?

— Ваше величество, дѣло идетъ о жизни и смерти близкаго мнѣ человѣка... простите, — назову зачинщика и подстрекателя, если только удостоите... если помилованіе Мировича будетъ неотложно...

— Не вѣрите? — спросила, нахмуясь, Екатерина.

Поликсена, ломая руки, боролась съ собой.

— Кто-жъ подстрекатель? кто?

— Я, государыня! — негромко проговорила Поликсена.

— Вы? — прошептала въ изумленіи Екатерина: — полно! шутите, бѣдная! Я этого не слышала, не хочу знать. Желаніе спасти близкаго, любимаго человѣка ослѣпляетъ васъ... Честь добродушному сердцу и чувству; но, — простите и меня, — вѣрить вамъ не могу... Я читала его записки, календарь, стихи, — это фанатикъ сильный, но у него должны быть пособники, подстрекатели, еще болѣе сильные...

— Я, ваше величество, одна я виновница! — продолжала Поликсена: — онъ лишь выполнялъ то, чего я желала, требовала.

— Требовали? вы? — произнесла Екатерина, оглянувъ просительницу удивленнымъ, испытующимъ взоромъ: — но вамъ-то, сударыня-голубушка, зачѣмъ надобилось такое дѣло? въ чемъ могли здѣсь быть ваши собственные виды и намѣренія?..

Поликсена какъ-то съѣжилась, приникла и закрыла лицо руками. Ей въ это мгновеніе вспомнился шлиссельбургскій казематъ, тайныя встрѣчи съ узникомъ, ея безумныя надежды, мечты. Представилось ей и ея прошлое — сиротинное, заброшенное дѣтство, жизнь въ положеніи швей, потомъ камермедхентъ прежняго двора, — ухаживанья наглыхъ,

бездущныхъ волокитъ, знакомство съ Мирóвичемъ и гаданье Варварушки. Сбывались и слова ворожей... пролилась кровь и вновь была готова пролиться...

Поликсена помолчала и торопливо, обрываясь въ словахъ, рассказала Екатеринѣ повѣсть своихъ отношеній къ Мирóвичу.

— Узнавъ принца, убѣдясь въ его страшной, безпомощной долѣ, — заключила она: — я обезпамятѣла отъ горя, — укорила полюбившаго меня, что онъ не имѣетъ отваги, смѣлости... Я хотѣла прежде обезпечить долю принца... потомъ — выйти за Мирóвича. Мои слова были искрой въ порошокъ... Онъ предпринялъ отчаянное дѣло, — и теперь его ждетъ казнь... Государыня, казните меня — не его... Я всему виной...

Екатерина молчала. — «Вотъ нашъ вѣкъ, — сказала она себѣ — и его еще считаютъ холоднымъ, чуждымъ героизма. Дѣйствительно, новая Жанна д'Аркъ... Что скажетъ Дидеро? какъ посудить Вольтеръ?»

— Вы были откровенны со мной, — объявила она просительницѣ: — я сдержу обѣщаніе...

Поликсена упала къ ногамъ императрицы. Та ее ласково придержала, обняла. Въ глазахъ Екатерины свѣтилась ласковая, добрая улыбка.

— Только ни слова о томъ никому, — заключила императрица: — завтра экзекуція утромъ. Указъ о помилованіи будетъ съ фельдъегеремъ доставленъ къ эшафоту...

Поликсена уѣхала изъ Царскаго. По пути ее обогналъ мчавшійся во всю конскую прыть фельдъегерь.

Въ тотъ же вечеръ сторожъ Мирóвича, унося изъ каземата остатки ужина, будто нечаянно обронилъ клочокъ бумаги. То была записка, а въ ней кольцо. — «Не падай духомъ, надѣйся, — писала Поликсена: — я здѣсь; моли Бога, — все еще можетъ измѣниться».

Мирóвичъ обезумѣлъ отъ радости. — «Какъ? отъ нея?» — шепталъ онъ, осыпая записку и кольцо поцѣлуями, слезами: — «вотъ, когда сказалось, вотъ!» — Онъ несчетные разы подносилъ къ свѣтѣ письмо, читалъ дорогія строки, сжѣгъ письмо, и, гремя цѣпью, взадъ и впередъ ходилъ по каземату.

Но вдругъ онъ остановился, какъ вкопанный: внезапная, адски-страшная мысль пронеслась въ его умъ. — «А что,

если все это она придумала, сочинила, чтобъ только усно-
жить, утѣшить меня? что, если, вмѣсто помилованія, завтра
упадетъ моя голова? Такъ, такъ! придумала... изъ жалости,
добра ко мнѣ...»

Холодный, мертвящій ужасъ охватилъ Мирovichа. Онъ
стиснулъ зубы, упалъ лицомъ въ постель, и все его брен-
ное, исхудалое тѣло задвигалось въ судорогахъ злобныхъ,
глухихъ проклятій и безсильнаго, душу рвавшего отчаянія
и бѣшенства.

XXXIII.

На эшафотѣ.

Пятнадцатаго сентября, съ утра, народъ повалилъ на
Сытный рынокъ, гдѣ, противъ тогдашняго второго моста
черезъ Кронвергскій каналъ, возвышался окрашенный чер-
ною краской эшафотъ. Явилась полиція. Подметали плю-
шадь, сосѣднія улицы. Лавки были заперты. Ожидали обер-
полицеймейстера и войско.

Мирovichъ всю ночь не спалъ.

Его мысли были въ страшномъ, мучительномъ безпорядкѣ.
Мрачныя, безобразныя представленія, обрывки, клочки ви-
дѣннаго, испытаннаго, возникали и исчезали передъ его
глазами. То ему казалось, что Ушаковъ, о гибели котораго
онъ узналъ во время суда, живъ, съ толпой единомышлен-
никовъ ворвался въ крѣпость и спѣшилъ на его освобожде-
ніе. То видѣлъ онъ засѣданіе масоновъ, слышалъ рѣчь ке-
нигсбергскаго каноника: «вы — Азія и мракъ, и истиннаго
свѣта вамъ не видать». — Кака-то депутація шла къ госу-
дарынѣ, пророчила ей возстаніе всей страны, и она под-
писывали указъ о его прощеніи. Грезились ему и другія
картины: темная, дождливая ночь; въ окнѣ кто-то возился,
чѣмъ-то скрѣбъ; подпиленная рѣшотка падала, а за ней, съ
фонарями и факелами, стояли гетманъ, Орловы, Панинъ и
живой принцъ Іоаннъ. — «Мы о тебѣ просили, тебя не
помиловали, — говоритъ гетманъ: — иди, плюшка готова;
уѣдемъ, — тебѣ не удалось, — я разбилъ всѣ преграды».

Мирovichъ вскакивалъ, прислушивался, съ замирающимъ
сердцемъ, вглядывался въ темноту. — «Подлый, гнусный тру-
сишка!» — шепталъ онъ себѣ, съ отвращеніемъ, въ лихо-
радѣ гнетущаго, дикаго ужаса: — «и умереть-то, по-правдѣ,
спокойно, мужественно не умѣешь! Вадоръ! эка, чортъ, чего

испугался, смерти... точно не ожидал... а хотѣлъ быть, при удачѣ, генералиссимусомъ, свѣтлѣйшимъ... Ожидать, вѣдь по пальцамъ, по часамъ, все сообразить и высчитать, какъ и когда... Знаю и мѣсто... лавчонки тамъ все дрянныя, съ прогнившими, зеленоватыми крышами,—одна даже провалилась и ее недавно, какъ я проходилъ, задѣлывали новыми досками... Тамъ, кажется, казнили Волинскаго; а прежде, кто-то говорилъ, на той же площади торчали столбы, съ головами четвертованныхъ по дѣлу царевича Алексѣя... И теперь уже навѣрное тоже тамъ торчитъ *это* страшное, изъ досокъ, дьявольское пугало. И кто назначилъ, кто рѣшилъ эту казнь? Я здоровъ, молодъ, силенъ; сколько было упований, надеждъ, и вдругъ — смерть... Эти руки, грудь, голова, — чуть разсвѣтеть, — будутъ трупомъ... И за что? я лишь не успѣлъ сдѣлать того, что сдѣлали другіе — Дашковы, Орловы, гетманъ»...

«Стучи, стучи, глупое, жалкое сердце» — шепталь, ошупывая себя, Мировичъ: — «скоро конецъ ночи, послѣдней ночи... Но конецъ ли?»

Онъ вскакивалъ съ постели, всбирался на подоконникъ и просовывалъ голову въ форточку. — «Боже, какая тьма и что за возмутительный, невѣроятный вездѣ покой! — содрагался онъ, стиснувъ зубы: — ни звука! я одинъ отрѣзанный отъ всѣхъ, а завтра еще болѣе... отрѣжутъ, отсѣкутъ... Да, да, — мысленно кричалъ онъ: — безжалостные! Давеча за дверью солдаты вонъ разболтались отъ скуки, да громко такъ, въ щелку двери, какъ молоткомъ, все отдавалось. Палача выбрали, толкуютъ, надежнаго и прежде его испытали: — однимъ ударомъ, вишь, голову отсѣкъ онъ барану, съ шерстью... охулки на руку, значить, не положить... Какъ бы убѣжать? надо убѣжать, но нѣтъ ни пилы, ни ржаваго гвоздя... Говорятъ, голова, по отсѣченіи, еще живетъ... Студенты въ нѣмечинѣ купили заранѣе такую голову съ одного казеннаго, и, поставя ее съ плахи на опилки, стали кричать въ уши: Іоаннъ! — крикнули въ лѣвое ухо, — глаза головы обернулись налѣво... Іоаннъ! крикнули въ правое, — глаза обернулись направо... страшно! Господи! ужели и я буду все чувствовать, видѣть, слышать?»

Въ лицо Мировичу повѣялъ свѣжій, предразсвѣтный вѣтерокъ.

И все, что было ему въ жизни дорогого, вся немногая

теплота и прелесть его неудавшейся, скомканной жизни, дѣтство, родина, школа, первыя встрѣчи съ Поликсею; первыя радости и эта, послѣ разлуки, родная глушь, мечты укрыться навѣкъ среди тишины и чистоты деревенскаго счастья, — все это разом откликнулось, ожило, заговорило въ Мирѡвичѣ. Онъ, примиренный, растроганный, сошелъ съ окна, легъ на кровать, закрылъ глаза и тихо, отраднo заплакалъ. Грѣбущій, сладкій сонъ незамѣтно подерался къ нему, обнявъ его и утомонилъ. Свѣча погасла. Сторожъ, поглядывая въ дверное окно, не зажигалъ ея, чтобъ не будить арестанта.

Вдругъ Мирѡвичъ очнулся, сорвался съ кровати.

Былъ шестой часъ утра. Начинаясь блѣдный, туманный, осенній разсвѣтъ. Все необычайно-тяжелое, враждебное и грозное, въ ясной неотразимости, снова встало въ душѣ Мирѡвича. — «За что же, за что? — кто-то говорить внутри его: — и эта казнь, это новое убійство?.. не дождешься увидѣть міра на новыхъ, лучшихъ началахъ, — рухнулъ твой храмъ, и всѣ тѣ обманщики, лжецы, кто думалъ его когда-нибудь перестроить». — Онъ увидѣлъ съ вечера присланный ему отъ священника листъ бумаги, взялъ перо и сѣлъ съ цѣлью написать нѣсколько строкъ къ близкимъ своимъ... — рука не повиновалась... — Дрожь опять охватила, сковала его члены. — «Богу помолиться, Богу», — прошепталъ онъ. Расчесавъ длинныя русые волосы, онъ приодѣлся и сталъ молиться. О чемъ? — молитва не шла на языкъ.

Вдали въ коридорѣ что-то стукнуло. Послышались торопливые шаги. У дверей загремѣли ключами. Мирѡвичъ встрепенулся всѣмъ тѣломъ, впился въ дверь безнадежно отчаяннымъ взоромъ. Вошелъ комендантъ, за нимъ священникъ.

— Мужайся, сыне мой по духу, — сказали, робко оглядываясь по комнатѣ, священникъ: — молись, твой часъ насталъ...

«А записка? — подумалъ Мирѡвичъ, — ужели я все выдумалъ, все пригрезилось?»

Священникъ остался наединѣ съ арестантомъ. — «Уйти? — пробѣжало вдругъ въ мысляхъ Мирѡвича, — упротить священника обмѣняться съ нимъ рясой?.. нѣтъ, дѣтскія, несбыточныя мечты! Не ушелъ ранѣе, во время покушенія, теперь поздно»...

Въ десять часовъ утра площадь, мостъ, заборы и крыши лавокъ и домовъ наполнились народомъ. Прибыло войско. Сдержанный, смутный говоръ толпы раздавался въ сиверкомъ, мгlistомъ воздухѣ. Незадолго передъ тѣмъ прошелъ дождь. Съ намокшихъ деревь, у моста и вдоль заборовъ, капало. Слышались толки, что казнь, гляди, отмѣнять,—въ острастку только вывести, положить голову на плаху и простать.

Двѣ заплаканныхъ, съ измученными лицами, женщины,— старая, строгая съ виду, и молодая, блѣдная, въ черномъ,— протолкались на площадь и стали у фронта солдатъ.— «Видно, мать, да сестрѣнка его, или невѣста»—шептали въ толпѣ, давая имъ дорогу.— «А слышалъ? фельдъегерь прискачетъ, помилованіе прочтутъ!»—сказалъ у моста измайловскому сержанту Новикову преображенскій капралъ Державинъ.

«Ѣдутъ, Ѣдутъ!»—послышалось съ улицы и у моста. Народъ двинулся къ площади. Поднялась давка, суета. Загремѣлъ барабанъ. Раздалась команда: смирно, стройся! Изъ крѣпости показались верховые. На телѣгѣ, подъ конвоемъ, проѣхалъ по мосту, съ непокрытой головой, страшно-блѣдный, въ армейской голубой шинели, офицеръ. Съ нимъ рядомъ сидѣлъ, съ крестомъ въ рукѣ священникъ. «Мирovichъ, Мирovichъ!»—заговорили въ толпѣ. За нимъ потянулись повозки съ прочими осужденными. У каждаго въ рукѣ было по погребальной свѣчѣ. Возлѣ телѣгъ шли вооруженные солдаты.— «Еще жить цѣлую улицу, мостъ, половину площади,—думалъ Мирovichъ,—когда-то еще до эшафота.

— Вотъ, батюшка, — сказалъ Мирovichъ священнику, когда телѣга вѣхала на площадь, гдѣ въ толпѣ ему будто мелькнуло испуганное, блѣдное лицо харьковского пріятеля:— какими глазами смотреть на меня народъ! Совсѣмъ иначе глядѣлъ бы, когда-бъ удалось мое дѣло... когда бы принца я доставилъ въ столицу, въ Казанскій соборъ...

— Полно, безумецъ, гдѣ твои помыслы, раскаяніе?

— Кому оно нужно, когда его, погибшаго черезъ меня, нѣтъ въ живыхъ?

Барабаны смолкли. На эшафотѣ показался палачъ. Его помощники ввели кого-то по лѣстницѣ.— «Молодой-то, глянь, молодой, да бѣлый, какъ бумага, бѣлый съ лица!»—послышалось въ толпѣ, разглядѣвшей на возвышеніи Мирovichа. Площадь смолкла. У плахи явился, въ зеленомъ кафтанѣ

и въ такомъ же камзолѣ, плотный, высокій, съ довольнымъ лицомъ аудиторъ отъ главной полиціи. Онъ снялъ треуголокъ, развернулъ бумагу. Солдаты взяли на караулъ. Аудиторъ сперва невнятно и путаясь въ словахъ, потомъ громче, во всю грудь, сталъ читать приговоръ суда. Мирovichъ затуманеннымъ, блуждающимъ взоромъ окинулъ площадь и окрестные дома. Гдѣ-то въ толпѣ ему махнули платкомъ. — «Кто бы это былъ?» — со страшно-забившимся сердцемъ, подумалъ онъ, усиливаясь отыскать и уже не находя того мѣста, откуда ему махнули.

— Батюшка, — сказалъ онъ, нагнувшись къ стоявшему рядомъ съ нимъ священнику: — здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ, несправедливо погибъ великій патріотъ, Артемій Волинскій... Друзья, оберегатели царевича Алексѣя, тутъ же скончались живеть...

— Подумай о Богѣ, — отвѣтилъ священникъ: — минуты, вѣдь секунды тебѣ остаются...

Аудиторъ кончилъ, но его слова еще раздавались въ ушахъ Мирovichа: — «Простать, простать! — думалъ онъ, — въ запискѣ ясный намекъ; толпа разступится, — какъ знать, можетъ, уже скачетъ съ новымъ указомъ верховой»...

Общая тишина ужаснула Мирovichа. Онъ вздрогнулъ. Двѣ сильныхъ руки ухватили его сзади за плечи и куда-то вели. Онъ безропотно, самъ удивляясь своей покорности, подошелъ къ плахѣ.

Съ него сняли шинель и кафтанъ. Верхняя часть камзола распахнулась; грудь обдало холодомъ. Мирovichъ пристегнулъ пуговицы, оправилъ рубаху. — «Что же дальше? — мыслить онъ, — и позаботился-жъ я, чудакъ, о холодѣ!..» — Всѣ какъ бы чего-то ждали. Священникъ и аудиторъ смотрѣли куда-то въ сторону. Помощники палача рылись въ какой-то темной, безобразной корзинѣ.

«Господи, Ты единъ, единъ!» — вдругъ заговорилъ въ Мирovichа внутренній, удивившій его голосъ: — проститься съ ними... — Онъ ступилъ къ рѣшоткѣ, поклонился на всѣ стороны.

«Прощается, прощается!» — пронесся гулъ отъ края до края площади. Гдѣ-то вблизи послышался вздохъ, затаенное причитыванье. — «Мужайся» — повторилъ тотъ же голосъ внутри Мирovichа: — «увидишь». — Его мысли мѣнялись съ страшной быстротой. И весь онъ, думая: — «еще минута,

черезъ полъ-минуты буду не я, буду не человѣкомъ»...— обратился въ мертвое ожиданіе, впивался въ малѣйшій звукъ. Онъ вспомнилъ о крестѣ съ мощами.

— Батюшка,—сказалъ онъ священнику:—вотъ отъ меня,—сберегите... Я побратался этой святыней съ однимъ человѣкомъ.

«А кольцо, ея подарокъ?» — спохватился онъ. Въ это мгновеніе ему случайно и впервые кинулось въ глаза скулистое, рыжее съ рѣдкими, крупными, бѣлыми зубами, и нѣсколько, какъ ему показалось, смущенное чье-то лицо. Онъ понялъ мигомъ, что то былъ онъ... палачъ...

— Ну, братъ... ты, вѣдь, по Христу мнѣ братъ! — заговорилъ Мирovichъ палачу:—возьми этотъ перстень; дорогая особа его подарила... Коли велѣтъ, ну, прикажутъ,—не мучь, разомъ... ты вѣдь упражнялся...

Мирovichъ смолкъ. Его не останавливали. Секунды летѣли, казались часами.

«Да, ждутъ чего-то, именно ждутъ!»—замирая, подумалъ онъ, считая мгновенія. И ему почудилось, что гдѣ-то вдали ему опять махнули чѣмъ-то бѣлымъ.

Кто-то далъ знакъ. Громко загремѣли у эшафота барабаны. Мирovichа сзади схватили тѣ же сильные руки.

— Да здравствуетъ и святится память истиннаго нашего государя... мученика Іоанна Третьяго Антоновича! — крикнулъ вдругъ безумно-смѣло Мирovichъ.

— Пустя, я самъ, самъ!—кричалъ онъ, порываясь:—безъ повязки я офицеръ... Да здравствуетъ... невинный... мученикъ...

Барабаны, прогремѣвъ, смолкли.

Мирovichъ увидѣлъ, что и онъ вдругъ страшно успокоился. Его придерживали. Еще разъ тусклымъ, испуганнымъ зрачкомъ взглянувъ на мертвенно-стихшую толпу, онъ подался къ плахѣ, еще хотѣлъ что-то сказать, гордо выпрямился, съ благоговѣйной твердостью взглянулъ на крестъ ближней церкви, и вдругъ, сильно нажимаемый кѣмъ-то и мысленно повторяя:—«Господи, да что-жъ это? насиліе? меня куда-то тянуть?» — склонился на плаху: — вотъ, вотъ... шумъ, кажется, верховой... скачутъ»...

Подъѣхала къ войску придворная карета. Изъ ея окна направилась на эшафотъ чья-то подозрительная трубка. Послѣ говорили, что это была, изъ любопытства вездѣ посѣвавшая, Дашкова.

Съ площади и съ моста было ясно видно, какъ большой,

сверкающей топоръ вдругъ поднялся надъ плахой и, съ глухимъ хрустомъ опустился туда, гдѣ лежалъ Мирѳичъ, въ гаснувшемъ взорѣ котораго въ это мгновеніе вдругъ завертѣлось все окружающее: фронтъ солдатъ перекосялся на крышу домовъ, уличный фонарный столбъ очутился на шпигѣ колокольни, опрокинутая церковь падала, съ ужасающей быстротой, во что-то страшное, бездонное...

Палачъ за русые, длинные волосы поднялъ отрубленную, блѣдную, окровавленную голову казеннаго...

Площадь ахнула. Отъ содроганія толпы покачнулся мостъ на канавѣ и рухнули его перила. Громче всѣхъ раздался вопль дѣвушки, безъ памяти упавшей на руки обезумѣвшей отъ горя старухи и невысокаго, растеряннаго помѣщика, въ гороховомъ кафтанѣ и съ украинскимъ выговоромъ.

— Ко мнѣ, Настасья Филатовна, — шепталъ стоявшій здѣсь Яковъ Евстафичъ Данилевскій: — у меня тутъ и квартирка неподалеку, не смялъ бы васъ съ нею народъ...

— Да, — рассказывалъ щеголеватый и длинноногий преобразенецъ, идя отъ мѣста казни съ измайловцемъ: — неопозжимо, Николай Ивановичъ, фельдъегерь-то... опоздалъ вѣдь всего на пять минутъ. Показался, слышно, отъ Тучкова моста, когда все уже было кончено...

— И ты этому вѣришь?

— Какъ не вѣрять! — отвѣтилъ Державинъ: — къ Алексѣю Орлову, доподлинно сказываютъ, вчера еще былъ присланъ указъ о помилованіи; не свѣрили часовъ, ну — и ошиблись.

— Юноша ты мой, юноша! — сказалъ, посмотрѣвъ на него, Новиковъ: — да Орловъ-то сдѣлалъ ли по волѣ государыни? поживешь, увидишь... А теперь зайдемъ-ка хоть въ Колтовскую, да отслужимъ по убиенному рабу Божію, Василию, панихиду... Вѣдь то, что пытался сдѣлать этотъ несчастный, освободить принца, сдѣлали другіе — хоть бы Орловы, освободившіе Екатерину... разница лишь въ томъ, что тѣ успѣли, а онъ — нѣтъ... идемъ.

— Нѣтъ, не могу... — заторопился Державинъ: — и то опоздалъ; къ начальнику, къ Лутовинову, общалъ заѣхать и все ему первому рассказать.

«Далеко пойдешь» — подумалъ, покачавъ ему головой вслѣдъ, Новиковъ.

Къ вечеру эшафотъ съ тѣломъ Мирѳича были сожжены на мѣстѣ.

Узнавъ о казни, малолѣтній цесаревичъ Павелъ плохо спалъ въ ту ночь.

Императрица переѣхала изъ Царскаго въ Петербургъ. При дворѣ заговорили о рѣшеніи уничтожить гетманское званіе въ Малороссіи; государыня занималась театромъ и литературой. Стало извѣстно, что поступившій на службу къ Елагину Фонвизинъ, передъ выѣздомъ государыни въ Ригу, читалъ въ петергофскомъ ѳрмитажѣ оконченную имъ комедію «Бригадиръ». Екатерина осталась довольна чтеніемъ и выразила автору откровенное свое благоволеніе.

— Кто подвинулъ васъ на этотъ трудъ?—спросила она чтеца.

— Безсмертный нашъ ученый и поэтъ, Ломоносовъ, — отвѣтилъ Фонвизинъ.

Слава молодого писателя была уже сдѣлана. О немъ толковала знать; повторяли имена, выраженія его героевъ.

Былъ холодный октябрьскій вечеръ.

Въ зимнемъ дворцѣ, послѣ долгаго въ немъ отсутствія, обѣдала Дашкова. Въ тотъ же день императрица получила изъ Москвы просительную жалобу дворовыхъ людей на извѣстную тиранку Салтычиху. Повторяли съ ужасомъ о кровавыхъ продѣлкахъ этой госпожи. — «Называть ее въ бумагахъ не она, а онъ» — рѣшила государыня. — «Не смягчатся нравы, пока не смягчатся сердца» — сказала Екатерина: — «лучшій путь для того — бить сатиры и вольное обсужденіе избранныхъ, опытнѣйшихъ умовъ». — Опять вспомнили Фонвизина и его отзывъ о Ломоносовѣ.

— А нашъ-то Михайло Васильичъ, — сказала Екатерина Дашковой: — слышали? опять сильно хворать, и главное — совсѣмъ закручинился... Поѣдемъ-ка къ нему. Съ весны не удалось его видѣть.

Придворная карета остановилась на Мойкѣ, у дома Ломоносова. Лакей въ плюмажѣ и въ шитой золотомъ ливреѣ вошелъ во дворъ. За нимъ двѣ дамы. На синей бархатной, подбитой соболемъ, шубейкѣ одной изъ нихъ была андреевская звѣзда.

Екатерина знакомъ остановила суету на крыльцѣ и во флѣгелѣ, и безъ доклада съ Дашковой вошла въ верхній рабочій кабинетъ. Упавшій духомъ и силами, Ломоносовъ, по обычаю, сидѣлъ у письменнаго стола, заваленнаго книгами, бумагами и химическими аппаратами. Въ каминѣ

огонь, какъ бы прощаясь съ хозяиномъ, то вспыхивать, то угасать.

— Здравствуйте, Михайло Васильичъ, какъ поживаете?— ласково произнесла Екатерина:— мы вотъ завернули навѣстить нашего славнаго армита.

Ломоносовъ всталъ и съ чувствомъ, молча, поклонился.

— Чѣмъ занимаетесь? и гдѣ въ эти минуты парить вашъ пытливый геній? На планетахъ? въ металахъ или на излюбленномъ вами сѣверномъ пути въ Индію?..

«Полдневный свѣта край обещаетъ отважный Гама

«И солнцева достигъ, что мнила древность, храма...»

— Видите, какъ я люблю и помню ваши стихи... Мнѣ жерифма совсѣмъ не удастся... ухомъ туга... и въ музыкѣ мало смыслу...

— Милостивая! — прошептала и опять смолкъ Ломоносовъ.— Слезы навернулись на его глазахъ.

— Ну, полноте хандрить!— сказала Екатерина:— нездоровы? полѣчитесь, — пришлю медиковъ; напала грусть? — призжайте-ка въ армитажъ, развеселимъ васъ съ молодежью.

— Нѣтъ, государыня, не я нездоровъ и грустенъ,— отвѣтилъ Ломоносовъ:— больна и грустна моя душа...

— Васъ ли слышу, неутомимый, непобѣдимый въ предначертаніяхъ и трудахъ? Отзовитесь-ка мощнымъ словомъ; соотечественники ждуть. Вотъ, думаю, депутатовъ призвать отъ сословій, для составленія хартіи законовъ... Вашъ геній освѣтитъ нашъ горизонтъ...

— Новому вину и новымъ мѣхъ, всемилостивая!— проговорилъ, всхлипнувъ, растроганный Ломоносовъ: — не все гладко, кочки,— обширная страна,— жертвы неизбежны... такъ! но великими дѣлами начинаешь ты свое правленіе и насъ, труженниковъ, не забываешь... Живи во вѣки, а намъ уже видно умирать...

Онъ еще хотѣлъ нѣчто сказать: съ языка срывалось имя безвѣстно погибшаго царственнаго узника и виновника его роковой гибели,—но онъ молча поникъ головой...

При дворѣ повторяли стихи, набросанные, въ честь посѣщенія императрицы, Ломоносовымъ:

«Великому Петру во слѣдъ Екатерина

«Величествомъ своимъ нисходитъ до наукъ

«И славы праведной усугубляетъ звукъ...»

«Коль счастливъ, что могу быть въ вѣчности свидѣтель,

«Богиня, колъ твоя велика добродѣтель!...»

Осенью того же года скончалась Бавыкина, было отмѣнено гетманство. Пчелкиной возобновили приглашеніе, и она выѣхала въ чужіе края, гдѣ, въ качествѣ знающей иностранныя языки воспитательницы нѣкоей таинственной дѣвочки, она осталась нѣсколько лѣтъ. О ней вспомнили, когда въ Венеціи появилась извѣстная принцесса Тараканова...

Отецъ принца Іоанна умеръ слѣпой въ Холмогорахъ; сестры и братья, спустя много лѣтъ, стариками отправились моремъ въ Данію. Ихъ слуги, подѣ именемъ «мореходцевъ», были закрѣпощены на вѣчное житіе въ Холмогорахъ. Полную свободу этимъ «мореходцамъ» объявили только въ настоящее царствованіе.

Померкла слава Орловыхъ. Взошла звѣзда Потемкина. Прогрѣмѣла Пугачевщина. Кончились турецкія войны; былъ завоеванъ Крымъ и взятъ Измаилъ. Ломоносова давно не было на свѣтѣ. Державинъ пѣлъ Фелицу, шелъ въ гору; авторъ «Недоросля» и «Бригадира» печатно адресовалъ политическіе вопросы Екатеринѣ. Пали мартинисты и съ ними творецъ дружескаго общества и типографической компаніи, Новиковъ.

Былой восторженный измайловскій солдатъ, тридцать лѣтъ назадъ, въ памятное іюньское утро, стоявшій на часахъ у полковой сборной, — теперь слабый, скрюченный горемъ и гемороидами старикъ — Новиковъ сидѣлъ въ томъ самомъ шлиссельбургскомъ казематѣ, гдѣ содержался и погибъ отъ покушенія Мирѣвича — принцъ Іоаннъ.

Однажды обвалилась штукатурка у его печи. Новиковъ, бродя по комнатѣ, еще отнялъ часть известковаго слоя и, при слабомъ свѣтѣ ночника, не безъ труда, прочелъ выпарапаннѣвъ гвоздемъ на стѣнѣ караули: «мы, бож... милостію... императ... Іоаннъ Третій Антоновичъ...»

1875 г.

ПРИМѢЧАНІЯ

КЪ РОМАНУ „МИРОВИЧЪ“.

Романъ «Мировичъ», сперва названный по имени главнаго героя, принца Іоанна Антоновича — «Царственный узникъ» — написанъ въ 1875 году.

Получивъ возможность его издать, черезъ четыре года послѣ его окончанія, я обратился къ забытой рукописи и увидѣлъ, что многое въ ней слѣдуетъ передѣлать, особенно языкъ нѣкоторыхъ мѣстъ, немало длиннотъ сократить (между прочимъ, въ первой части),—многое, едва намѣченное, развить.

Особыя обстоятельства, при которыхъ романъ печатался въ журналѣ «Вѣстникъ Европы» и вслѣдъ затѣмъ, безъ перемѣнъ, во второмъ, третьемъ, четвертомъ, пятомъ и въ настоящемъ шестомъ изданіи, не дали мнѣ средства исполнить необходимыхъ передѣлокъ.

Сожалѣю объ этомъ въ особенности потому, что въ романѣ остались, безъ должной обработки, нѣкоторые мѣста, особенно увлекавшія меня своею заманчивою стороною.

Источниками для романа «Мировичъ» служили, кромѣ строго-историческихъ и официальныхъ свѣдѣній, различные, изданные и неизданные, частные матерьялы: записки, дневники, воспоминанія и письма нѣкоторыхъ изъ современниковъ той эпохи и ихъ ближайшихъ потомковъ. Къ числу послѣднихъ источниковъ относятся и преданія моей семьи.

Мой прадѣдъ, по отцу, былъ землякомъ и товарищемъ по воспитанію Мировича. Его жена, моя прабабка, бывшая фрейлина при дворѣ супруги Петра III-го, спасла мужа черезъ своихъ знакомцевъ, когда у него въ помѣстьѣ сдѣлали обыскъ, послѣ шлиссельбургской катастрофы. Она живо помнила и въ семейномъ кругу подчасъ разсказывала какъ о Мировичѣ, такъ и о причинахъ его рокового покушенія. Ея невѣстка, мать моего отца, была изъ рода Рославлевыхъ, какъ извѣстно, рядомъ съ Орловыми, игравшихъ такую видную роль при воцареніи Екатерины II. Женщина замѣчательнаго ума, воспитанія и рѣдкой памяти, моя бабка жила очень дружно съ свекровью, никогда съ нею не разставалась и умерла, какъ и послѣдняя, также въ преклонныхъ годахъ, когда мнѣ было девять лѣтъ. Большую часть ея разсказовъ я записалъ со словъ моего дяди, ея старшаго сына, отъ котораго мнѣ досталось и большинство нашихъ любопытныхъ семейныхъ бумагъ XVIII-го вѣка.

Вся, такъ-называемая, основа романа, — жизнь и любовь Мирóвича, нравъ и вліяніе на него героини, какъ и многія подробности воцаренія Екатерины и покушенія Мирóвича, — взяты мною изъ воспоминаній прабабки и бабки, а также изъ посмертной записки Квитки-Основьяненки (Планъ романа изъ жизни Мирóвича). Въ главномъ, что составляетъ достойныя исторіи, я держался несомнѣнныхъ данныхъ, разбросанныхъ въ массѣ печатнаго матерьяла, изъ котораго у меня составилась по этому предмету цѣлая бібліотека.

Наиболѣе драгоцѣнныя свидѣнія о Мирóвичѣ и его времени, изъ числа историческихъ матерьяловъ, представляютъ изслѣдованія въ государственномъ архивѣ автора «Исторіи Россіи» С. М. Соловьева, гр. Д. Н. Блудова, кн. В. Н. Кочубея и гр. М. А. Корфа, а также труды академиковъ Полѣнова, Арсеньева, Кунина, Сухомлинова, Печкарскаго и Грота, профессоровъ Брикнера и Ламанскаго и гг. Бартенева, Семейскаго и Хмырова.

Я пользовался также документами архива Шлиссельбургской крѣпости, бумагами архангельскаго губернскаго правленія о брауншвейгскихъ ссыльных, посетилъ Шлиссельбургъ, съ «каменнымъ мышкомъ», казематомъ Іоанна Антоновича въ Свѣтличной башнѣ, музу Пеллу и родину Мирóвича.

Считаю долгомъ здѣсь привести объясненіе на нѣкоторые изъ болѣе важныхъ вопросовъ и замѣчаній, съ которыми ко мнѣ обращались во время печатанія романа въ журналѣ.

Знаменитый авторъ «Исторіи Россіи», С. М. Соловьевъ (т. XXV, 1875 г., стр. 93), допуская, что императоръ Петръ III-й *могъ* видѣться съ узникомъ Антоновичемъ, предполагаетъ, что принца для этого привозили изъ Шлиссельбурга въ Петербургъ и что это свиданіе могло быть 22-го марта 1762 г. — Профессоръ г. Брикнеръ, въ статьѣ «Императоръ Іоаннъ Антоновичъ» («Русск. Вѣстн.», 1874 г.), приводя рассказы Корфа, Бюшинга, Германна и Кастёры о «шлиссельбургскомъ свиданіи» Петра III съ принцемъ, называетъ эти свидѣтельства «шаткими и неосновательными», такъ какъ, по его словамъ, нѣтъ точныхъ указаній о посѣщеніи Шлиссельбурга Петромъ III. Авторъ новѣйшей статьи о принцѣ Іоаннѣ въ «Русской Старинѣ» (1879 года) говоритъ, что даже «о времени перевода Іоанна Антоновича въ Шлиссельбургъ донинѣ нѣтъ точныхъ свидѣній». У Сальдерна (Biographie Peters des Dritten, 1800, 48—49 стр.) это свиданіе, кстати сказать, изображено съ наибольшою достовѣрностію.

Мнѣ въ недавнее время удалось ознакомиться съ неизданнымъ архивнымъ, офиціальнымъ документомъ большой важности. Онъ называется «Формуляръ Шлиссельбургской крѣпости». Въ немъ я напелъ въ точности обозначеннымъ время (1756 годъ) «прибытія въ Шлиссельбургскую крѣпость брауншвейгъ-люнебургскаго принца Іоанна Антоновича». Здѣсь же, подъ 1762 годомъ, стоитъ отмѣтка коменданта того времени: «18-го марта (1762 г.) изволилъ посѣтить эту крѣпость государь императоръ Петръ III». Объ этомъ я сообщилъ покойному С. М. Соловьеву за два мѣсяца до его кончины.

Большинство изслѣдователей не указываютъ мѣста погребенія принца Іоанна. Многіе убѣждены, что онъ похороненъ въ Тихвинскомъ монастырѣ. Такъ, г. Семейскій говоритъ: «Іоаннъ былъ погребенъ безъ

перемоніи въ Тихвинскомъ монастырѣ, ночью, въ простомъ гробѣ, въ матросскомъ платьѣ, и зарытъ въ сплѣтъ одной изъ часовень» (Отч. Зап., 1866 г.). Башуцкій, долго бывший послушникомъ въ этомъ монастырѣ, говоритъ, что хотя онъ не слышалъ, чтобы тамъ была могила принца, но что это «ничего не доказываетъ», такъ какъ убитаго принца «могли похоронить тамъ не называя покойника». Мнѣ привелось, при посѣщеніи Шлиссельбургской крѣпости и ея Свѣтличной башни, услышать преданіе о томъ, что принцъ Іоаннъ былъ похороненъ въ одной изъ казармъ крѣпости, въ подпольѣ церкви св. апостола Филиппа. Другіе удостовѣряютъ, что онъ былъ погребенъ на холмѣ, въ такъ-называемомъ «тампетѣ», означаемомъ мѣсто, гдѣ въ крѣпости помѣщался прежній соборъ св. Іоанна.

Въ «Историческихъ бумагахъ, собранныхъ академикомъ Арсеньевымъ», помѣщены выдержки изъ документовъ «Канцеляріи тайныхъ розыскныхъ дѣлъ», о приключеніяхъ посадскаго Ивана Зубарева, посаженного изъ Берлина Фридрихомъ II (въ то время воевавшимъ съ императрицею Елисаветой Петровной), черезъ посредство тогдашняго русскаго эмигранта, известнаго Манштейна, — освободить принца Іоанна изъ Холмогоръ, въ ту пору мѣста заточенія принца.

На основаніи этихъ и другихъ данныхъ, г. Пекарскій въ «Биографіи Ломоносова» говоритъ объ отношеніяхъ названнаго Зубарева къ Ломоносову, уроженцу Холмогоръ, къ которому ловкій посадскій пронырѣ въ Петербургъ, вслѣдствіе порученнаго Ломоносову испытанія сибирскихъ рудъ, какъ потомъ оказалось тайно поддѣланныхъ Зубаревымъ. Г. Пекарскій замѣчаетъ: «Для Ломоносова это дѣло осталось безъ послѣдствій; но приключенія Зубарева на этомъ не остановились, и судьбѣ угодно было, чтобы онъ, Зубаревъ, впоследствии былъ причиною одного изъ важнѣйшихъ событій въ жизни герцога брауншвейгскаго, содержавшагося, какъ известно, въ Холмогорахъ». — Зубаревъ, какъ агентъ Фридриха II, былъ пойманъ и далъ свои показанія въ январѣ 1755 г., и въ томъ же мѣсяцѣ послѣдовало распоряженіе о переводѣ принца Іоанна изъ Холмогоръ въ Шлиссельбургъ; гдѣ послѣдній въ 1764 г. и погибъ.

Приведенныя въ романѣ новыя оды Ломоносова, въ честь младенца-императора, открыты академикомъ г. Куникомъ, въ 1853 году, въ одномъ изъ рѣдкихъ печатныхъ экземпляровъ «Примѣчаній къ Вѣдомостямъ 1741 года», откуда этихъ одъ не успѣли вырѣзать и сжечь въ царствованіе Елисаветы, когда истреблялась всякая память о бывшемъ императорѣ Іоаннѣ Антоновичѣ. Несправедливо было бы считать Ломоносова подстрекателемъ и даже чуть не сообщникомъ Мирovichа, лишь за то, что Ломоносовъ, встрѣтивъ Мирovichа, за два года до покушенія послѣдняго, могъ прочесть ему отрывки изъ этихъ одъ и, на его вопросы, рассказать ему кое-что изъ того, что несомнѣнно въ тѣ годы волновало всѣхъ честныхъ русскихъ людей, въ виду безмолвной одиночной тюрьмы, въ которой тогда—уже двадцатый годъ—томился принцъ Іоаннъ Антоновичъ. Ломоносовъ былъ въ то время центромъ и воплощеніемъ интеллигенціи пробуждавшагося родного общества. Явившись въ Россію въ царствованіе «дитяти-императора»,—потомъ вѣчнаго, до кончины, узника,—онъ не могъ равнодушно относиться къ бесѣдѣ о немъ, особенно въ правленіе мягкаго нравомъ Петра III-го,

рыбившаго даже,—на свою собственную погибель,—освободить и приблизить къ себѣ узника.

Ставить это въ вину Домоносову было бы такъ же странно, какъ если бы кто вздумалъ привлечь Пушкина къ отвѣту въ судьбѣ декабристовъ, по поводу того, если бы Пушкинъ, разговаривая съ кѣмъ-либо изъ нихъ, какъ съ случайнымъ знакомымъ, за годъ и болѣе до извѣстной катастрофы, могъ читать при этомъ свои стихотворенія: «Узникъ», «Къ Овидію» или «Андрей Шенье». Въ Домоносовѣ, какъ и въ Пушкинѣ, живо отражались и воплощались всѣ боли, всѣ скорби и надежды родного ему времени и общества.

Критикъ одного журнала укорилъ меня, между прочимъ, за то, что такъ печально разыгравшій роль освободителя Мировича мною изображенъ не съ идеальной, а съ реальной, и притомъ весьма низменной стороны. Я старался быть вѣрнымъ преданію и исторіи, которыми именно рисуютъ Мировича самолюбивымъ, мало развитымъ и легкомысленнымъ «армейскимъ авантюристомъ» екатерининскихъ дней, завистливымъ искателемъ карьеры, картежникомъ и мотомъ. Этотъ «патріотъ своего отечества», между прочимъ,—на основаніи изслѣдованій гр. Блудова въ государственномъ архивѣ,—давалъ обѣтъ Николаю Чудотворцу — въ карты болѣе не играть и табаку не курить», если исполнится его предпріятіе объ освобожденіи принца Іоанна и о возвращеніи ему родовыхъ имѣній, съ повышеніемъ его «на службѣ и въ чинахъ»... Критикъ другого журнала, напротивъ, сочувственно отнесся къ тому, что я не польстилъ Мировичу, напелъ въ его изображеніи съ моей стороны даже родственныя черты съ двосудшнимъ сластолюбцемъ и извергомъ Катилиной. Зато этотъ критикъ усомнился; действительно ли молодые Державинъ, Новиковъ и Потемкинъ играли въ Екатерининскомъ переворотѣ ту роль, которую я имъ приписываю. Въ этомъ я снова ссылаюсь на печатные источники и, между прочимъ, на собственный рассказъ Державина о вояженіи Екатерины — въ его «Запискахъ» (1871 г., стр. 426—36), — на показаніе о томъ же Новикова Шешковскому, въ Шлиссельбургскомъ казематѣ, напечатанное въ книгѣ Лонгинова «Новиковъ и московскіе, маринисты» (1867 г., стр. 74), и на біографію Потемкина въ «Словарѣ достопамятныхъ людей русской земли» Бантышъ-Каменскаго (1836 г., ч. IV, стр. 197). — Свиданіе Екатерины съ принцемъ Іоанномъ въ Пеллѣ и посылка ею гр. Строганова за себя на маскарадъ въ Ригѣ — рассказаны въ романѣ на основаніи преданій, сообщенныхъ кн. А. Н. Голицынымъ А. С. Норову и г. Сахарову, отъ котораго объ этомъ слышалъ Ив. П. Боричевскій.

Въ европейской литературѣ существуетъ рядъ произведеній, посвященныхъ памяти русскаго «Царственного узника». Изъ нихъ слѣдуетъ упомянуть о двухъ романахъ (есть и драмы). Во Франціи, въ 1825 году, изданъ, украшенный гравюрами, романъ г. Роже-де-Сентъ-Ипполита «Ivan le VI ou la forteresse de Schlüsselbourg». Этотъ романъ мною прочтенъ, благодаря содѣйствію извѣстнаго нашего бібліографа П. А. Ефремова. Послѣ выхода первой части романа «Мировичъ», я получилъ изъ Англіи, черезъ посредство книжнаго магазина г. Реттера, изданный въ 1870 г., англійскій романъ о принцѣ Іоаннѣ «The secret

Disratsch» (250 стр. въ 16°, съ гравюрой), принадлежащій г. Джексу Гранту (автору другой новеллы «The romance of war»). Оба эти произведенія, передавая быль о Мирóвичѣ и его невольной жертвѣ, повторяютъ басни Кастёры и другихъ иностранныхъ писателей о причинахъ убіенія принца Іоанна. Болѣе талантливо обработанъ англійскій романъ «Секретная депеша» (похожденіе капитана Бельгони). Но и этотъ, какъ и французскій романъ, основанъ на полнѣйшемъ, часто изумительномъ незнаніи Россіи и изобилуетъ невѣроятными анахронизмами. Такъ, между прочимъ (на стр. 184), Шлиссельбургская цитадель, во время Мирóвича (1762—1764 г.), оказывается укрѣпленною стараніями генерала Тотлебена. (Графъ Тотлебенъ семилѣтней войны не былъ инженеромъ).

Прилагаю списокъ съ предсмертнаго, доннынъ нигдѣ неизданнаго, стихотворенія Мирóвича объ Іоаннѣ Антоновичѣ, хранящагося въ его бумагахъ. О немъ упоминаетъ Императрица Екатерина, въ своей перепискѣ, по поводу суда надъ Мирóвичемъ.

НЕИЗДАННОЕ СТИХОТВОРЕНІЕ МИРОВИЧА.

«О, время, время преходящее,
Въ коемъ дни дней множать!»

«Проявился, не изъ славныхъ, козырной голубь, длинноперистый;
Залеталъ, посреди моря, на странный островъ,
Гдѣ прослышалъ, сидѣть въ бѣломъ камнѣ, въ темной клѣточкѣ,
Бѣлый голубокъ черноохлостый...
Призывалъ на помощь Всевышняго Творца
И полетѣлъ себѣ искать товарища,
Выручить изъ клѣтки голубка;
Сыскалъ голубя долгоперистаго,
Прилетѣлъ на Каменный островъ;
А, прилетѣвши къ бѣлому камню,
Они съ разлета разбивали своими сердцами
Тотъ камень и темную клѣточку...
Но, не имѣя силъ, заплакавъ, оттуда полетѣли
Къ корабельной пристани, гдѣ, сидя и думая, отложили,
Пока случится на островъ отъ моря погода,—
Тогда летѣтъ на выручку къ голубку...
Оттуда, простившись, разлетѣлись—
Первой въ Парижъ, а второй въ Прагу...»

Переводы сочиненій Г. П. Данилевскаго.

а) во Франціи (по французски)

- 1) «*Basile Mirowitsch*» («Мирóвичъ»), романъ, переводъ А. Ромальда. Парижъ, 1880 г., 8°, 427 стр.
- 2) «*Potemkine au Danube*». романъ, тамъ же, 1881 г., 8°, 329 стр., переводъ г. А. Ромальда.
- 3) «*La fausse Impératrice*» («Княжна Тараканова»), въ газетѣ «*La Ligue*», 1885 г., сентябрь и октябрь, переводъ г. Шарль Анри.
- 4) «*La princesse Tarakanoff. A qui le trône?*»—(Кн. Тараканова), от-

дальной книгой; пер. Анри Оливье (134 стр.). Париж, 1887 г. Изд. Дюпре.

6) «Fenitchka» — въ фельетонахъ газеты «Moniteur Universel», 1886 г. (10—12 августа), переводъ Гр-ни Кандиани Колонна.

6) «Le comte L. Tolstoi» — въ газетахъ «Voltaire» и «Paris» 1886 г. (июнь и июль).

7) «La fille des neiges» — сказка («Снѣгурка») — въ журналѣ «La Tradition», Paris, 1887 г., № 2, переводъ А. Оливье, стр. 55—56.

8) «Gogol chez lui» — («Воспоминанія о Гоголѣ») — въ журналѣ «Revue d'Art dramatique», 1887 г., 15 апрѣля, т. VI, № 32, Paris, переводъ А. Оливье, изданіе Эдм. Стуллигъ.

9) «La premiere étincelle» — («Первая искра»), отрывокъ изъ «Чернаго года», 1887 г., въ «La vie franco-russe».

10) «Le comte L. Tolstoi chez lui» — («Повѣдка въ Ясную Полину») — въ «Revue d'Art dramatique» — 1888 г. № 49, переводъ А. Оливье.

11) «La princesse Tarakanoff» — въ «La Revue littéraire et artistique» — 1887 г. № 53, переводъ А. Оливье.

12) «L'incendie de Moscou» — «Scenes de l'année terrible» — романъ («Сожженная Москва») — въ журналѣ «Bibliothèque Universelle et Revue Suisse» — 1887 г. въ апрѣлѣ и ноябрѣ.

13) «La princesse Tarakanoff» — романъ, переводъ А. Оливье, съ предисловіями Арсена Уссѣ. 1888 г., изданіе Дюпре.

14) «Aux Indes sous Pierre le Grand» — романъ, переводъ А. Ромальда (стр. 1—126). Париж, 1888 г., изданіе А. Дюпре.

Б) ВЪ ГЕРМАНИИ (ПО НѢМЕЦКИ).

15) «Die Pioniere des Ostens» («Бѣглые въ Новороссіи»). Романъ, переводъ г. Ф. Лебенштейна. Лейпцигъ, 1874 г., 16^о, 350 стр.

16) «Erzählung der Urgrossmutter» («Прабабушка») — неизвѣстнаго переводчика. Берлинъ, 8^о, 30 стр.

17—20) «Eine Familienchronik» («Семейная старина») г. Ф. Л., Лейпцигъ, 1874 г., 16^о, 145 стр. — Въ изданіи «Lesebibliothek». Фил. Реклама. Сюда вошли переводы: «Urgrossmütterchen» («Прабабушка»), «Der Leibgrenadier» («Тѣнь прадѣда»), «Grossmütterchens Paradies» («Бабушкинъ рай») и «Katharina II. am Dniepr» («Екатерина II на Днѣпрѣ»).

21) «Potemkin an der Donau» («Потемкинъ на Дунаѣ»). Романъ, Ф. Л. тамъ же, 1879 г., 16^о, 166 стр.

22) «Die Nonnenklöster in Russland» («Девятый валъ»), романъ, переводъ г. Ф. Л., тамъ же, 16^о, 567 стр.

23) «Mirowicz, oder der gefangene Czar Iwan Antonowicz» («Мировичъ»), г. Ф. Л., тамъ же, 1880 г., 525 стр., переводъ Ф. Лебенштейна.

24) «Nach Indien» («На Индію при Петрѣ I»), романъ, г. Ф. Л., тамъ же, 1881 г.

25) «Die Princessin Tarakanov» — въ 32 фельетонахъ газеты «Rigasche Zeitung». Рига, №№ 1—34, 1884 г., переводъ г-жи М. Зейфертъ, — и отдѣльнымъ изданіемъ.

26) «Die Fürstin Tarakanov» — романъ, переводъ С. Марко и Л. Штейна, изданіе А. Дейбнера. Берлинъ, 1886 г. (1—102 стр. и 1—68 стр.).

27) «Meine Fahrt nach Jasnaja Poljana» — въ журналѣ Поля Линдау «Nord und Süd», 1887 г. Бреславль, переводъ С. Марко и Л. Штейна

28) То же — въ газетѣ «*Berliner Tageblatt*», 1887 г., № 365 и въ Тюбингенѣ, въ «*Chronik*», 1887 г. 29—30 июля.

29) «*Der Namenstag der Urgrossmutter*» — («Именины прабабушки») — въ журналѣ «*Nordische Rundschau*», 1888 г., переводъ Л. Штейна и А. Маркова (стр. 546—556), издание доктора Фалька.

30) «*Fenitschka*» — въ литературной «Коллекции Гуго Штейна» въ Берлинѣ, 1888 г., перев. Л. А. Гауффа (стр. 1—64).

31) «*Lawrüscha*» — въ «*Nordische Rundschau*» 1883 (1 т. стр. 1—24), переводъ А. Апарина.

32) «*Lawrüscha, der Flüchtling in Paris*» — въ литературной «Коллекции Гуго Штейна» въ Берлинѣ, 1888 г. (стр. 65—104).

33) «*Kaiserin Katharina die Grosse am Dniepr*» — въ «*Nordische Rundschau*», 1888 г. (стр. 105—136).

34) «*Ein Braut Christi*» — романъ («Девятый валь»), въ переводѣ Эрнста фонъ-Глена, 1888 г., въ Лейпцигѣ (1—238 стр. и 1—265 стр.).

35) «*Neue Felder*» — романъ («Новыя мѣста»), переводъ г. А. Барде (г-жи Елагиной) — въ журналѣ «*Nordische Rundschau*» 1888 г., т. VI и VII (стр. 1—225).

36) «*Moskau in Flammen*» — романъ («Сожженная Москва»), переводъ Л. Штейна и А. Маркова, въ газетѣ «*Herold*» 1889 г., № 1—47.

в) въ ВОГЕМИИ (по чешски).

37) «*Potemkine na Dunaji*», въ журналѣ «*Matice lidu*». — Прага, 1878 г., 8°, 160 стр., переводъ г. Яромира Грубаро.

38) «*Devátá vlna*» («Девятый валь»), въ журналѣ «*Lacina knihovna*». — Прага, 1879 г., 8°, 646 стр., переводъ г. Гавриила Шурана.

39) «*Katarina II na Dnepru*», въ журналѣ «*Rukh*», 1880 г., стр. 179, переводъ Франца Халуна.

40) «*Snehürka*», тамъ же, 1880 г., стр. 199.

41) «*Poslední Zaporožci*», въ журналѣ «*Ceska Biblioteka rodinná*». 1882 г., стр. 1—244; 4 томъ, въ Прагѣ, переводъ г. Ворачека.

42) «*Fenicka*», тамъ же, 1882 г.

43) «*Sabavu na dvore Cara Aleksěje Michailoviče*» въ сборникѣ J. Vana, «*Svetem. Kniha Knih.*» (Anglicko-slavanska knihovna, zabavl a poucení). — Прага, 1882 г., стр. 92—99, декабрь.

44) Отрывокъ изъ романа «*Mirovie*», въ журналѣ «*Lumir*», 1882 г., № 20. — Прага.

45—50) «*Z Rodinných pametí: «Prababicka», — «Stin prádeda», — «Babiccín raj», — «Katerina II na Dnepru», — «Vesnický Malir», — «Ves Soroкоpanovka». («Семейная старина», «Прабабушка», «Тѣнь прадеда» и «Бабушкинъ рай» и рассказы: «Екатерина II на Днѣпрѣ», «Малляръ» и «С. Сорокопановка»). Въ пражскомъ журналѣ «*Ceska Biblioteka Rodinná*», 1883 г. (1—263 стр.). — Издатель Jan. Vesely, переводъ Я. Вагнера.*

51) «*Na svobode*» — («Воля»), романъ, переводчикъ J. J. Benesovsky-Vesely, въ пражскомъ журналѣ «*Ottova lacina knihovna národní*», 1884 г.

52) «*Uprchlíci na Nove Rusi*» — («Бѣглецы въ Новороссію»), романъ въ чешской газетѣ «*Pokroc Západu*» («Прогрессъ Запада»), издаваемый въ Америкѣ, въ штатѣ Небраска, въ городѣ Омагѣ, переводъ Я. Вагнера, издание Яна Росицкаго (№№ 6—24, годъ XV, съ 2 іюня по 6 октября 1886 года).

53) Отрывки из романа «Мирѡвичъ» и романа «На Индію при Петръ I» въ журналѣ «Kvetu» (Listy pro zabavu a poucení, s časovýmú rozledu), за подписью G. Suran.

54) «Каменка» («Каменка») — отрывки из романа «1825 годъ»), тамъ же.

55) «Шервудъ передъ Аракчеевымъ» (тоже), тамъ же, 1883 г., № 3.

56) «Потемкинъ на Дунаѣ» — въ журналѣ «Народная Библиотека» братьевъ Ивановичъ, въ переводѣ Георгія Поповича, 1888 года, въ Панчовѣ.

57) «Mirovic» полный чешскій переводъ романа Яна-Вагнера, съ предисловіемъ, изданіе журнала «Svetova Biblioteka» 1886 г. (527 стр.), въ Прагѣ.

58) «Leto na ruské stepi, — z loveckých zapisků» — («Украинская охота лѣтомъ») въ «Česka národní politika», 1887 г. (№№ 251, 254 и 261), переводъ V. Mrstik, въ Прагѣ.

59) «Knežna Tarakanova» — переводъ Клары Спечингровой, Прага, 1886 г. (240 стр.).

60) «Návštěva lasně Poljany» — («Поездка въ Ясную Поляну») — въ журналѣ «Slovanský Sborník». 1887 г. (№№ 8—11), въ Прагѣ, переводъ Клары Спечингровой.

г) въ БУДГРАДѢ (по сербски).

61) «Potemkin na Dunavi» — въ иллюстрированномъ журналѣ «Сербска Зора»; 1880 г., июнь.

62) «Путь въ Индію». Историческая приповетка («На Индію при Петръ I»). Въ 30 фельетонахъ сербской газеты «Сербское Новинѣ» 1887 г. LIV, съ 27 по 63 №, 6 февраля—20 марта, переводъ Яна.

д) по польски.

63) «Rok 1825» («1825 годъ») — въ фельетонахъ газеты «Dziennik Pospnansky», 1883 года. №№ 199—209.

64) «Dziwiłata Fala» («Девятый валъ»), Варшава, переводчикъ Иосифъ — съ Сѣнявы (А. Пясецкій). 1880 г., 8^о, 569 стр.

65) «Księżniczka Tarakanova» — романъ, переводъ Зенона Петкевича, — Варшава. 1884 г., стр. 116. (То же и тогда же въ варшавскомъ журналѣ «Kłosy» г. С. Лѣвентала).

е) по ВЕНГЕРСКИ.

66) «Девятый валъ» въ журналѣ «Pesti Hirlap» («Пештскомъ Вѣстникѣ») — Пештъ, 1887 г.

Германскій писатель, г. Ф. Лебенштейнъ, которому принадлежитъ большинство вышеупомянутыхъ переводовъ моихъ романовъ и повѣстей на нѣмецкій языкъ, недавно скончался. Въ варшавскомъ иллюстрированномъ журналѣ «Kłosy» (отъ 12-го августа, 1881 года, № 856) о немъ помѣщенъ слѣдующій некрологъ.

Г. Филиппъ Лебенштейнъ, докторъ въ г. Бржежанѣхъ (въ Галиціи), родился въ 1814 году въ г. Бродѣхъ. Медицинскими науками онъ занимался сначала въ Вѣнѣ, потомъ въ лейпцигскомъ университетѣ; съ 1839 по 1843 годъ находился, въ качествѣ практикующаго врача, въ Южной Россіи, въ полтавской и харьковской губерніяхъ, у богатаго

русскаго помѣщика (г. Хрущева), жена котораго была родною сестрой извѣстнаго декабриста, Сергѣя Муравьева-Апостола. Тутъ онъ имѣлъ возможность подробно познакомиться съ русскимъ обществомъ и съ русскою литературою. Въ 1843 году г. Лебенштейнъ оставилъ Россію и до 1845 года жилъ въ Лейпцигѣ, гдѣ началъ свою литературную карьеру. Онъ былъ сотрудникомъ, по части изыщной словесности, многихъ изданій, въ томъ числѣ «Der Grenzboten», «Europa» и др., издалъ у книгопродавца Таухнида—«РусскоАнгліійскій словарь»; перевелъ на нѣмецкій языкъ нѣкоторые сочиненія Александра Марлинскаго-Бестужева и сперва 1-ю, потомъ и 2-ю часть «Мертвыхъ Душъ» Гоголя (изданія Томаса и Реклама).

Съ 1845 по 1848 годъ г. Лебенштейнъ снова былъ въ Россіи, навѣстилъ Москву и Петербургъ, и въ 1848 году возвратился въ Австрію, гдѣ принялъ сотрудничество, по иностранной корреспонденціи и фельетону, въ газетѣ «Wiener Zeitung»; въ 1850 году, получивъ мѣсто врача въ Восточной Галиціи, онъ участвовалъ въ газетахъ: «Wiener Lloyd», «Constitutionelle Zeitung aus Böhmen» и др. Г. Лебенштейнъ съ молодыхъ лѣтъ сталъ сотрудникомъ «Универсальной бібліотеки» г. Реклама, въ Лейпцигѣ, помѣщая адѣсь свои переводы съ польскаго и русскаго языковъ. Ему нѣмецкая литература давно обязана знакомствомъ съ сочиненіями Крашевскаго («Morituri», «Resurrecturi», «Dajmona», «Grzechy Hetmanskie», «Pod blachą» и друг.), графа Ржевускаго («Pamiętniki Soplicy»), Корженевскаго («Kollokacja»), Зеленскаго («Musamerit»), Литвоса, Генриха Сенкевича («Старый слуга», «Янко музыкантъ» и «Наброски углемъ»—«Szkice węglem» и проч.).

Въ послѣднее время г. Ф. Лебенштейнъ перевелъ повѣсти: Сенкевича «Namiętnie» («Zersplittert»), Крашевскаго «Choroby Wieku» («Alte und neue Zeit»), Балуцкаго «Pansky Dziadu» и Рурѣ «Obrazki Krakowskie». Кромѣ того г. Лебенштейнъ перевелъ на нѣмецкій языкъ «Auhell» Словацкаго и драму Урбанскаго «Pod kolumną Zygmuntą» («Kreuz und Talmud»), а незадолго до своей кончины занялся переводомъ романа «Воля»—(«Бѣлые воротились»), давъ ему особое названіе «In der zwölften Stunde»). Этого труда г. Лебенштейнъ не успѣлъ кончить.

Чешскій писатель, переводчикъ нѣкоторыхъ моихъ сочиненій на чешскій языкъ, г. Гавріиль Шуранъ, родился 8 іюля 1856 года, въ чешской Прагѣ. Кончивъ курсъ наукъ въ пражской академической гимназіи, онъ поступилъ въ пражскій университетъ, по филологическому факультету, гдѣ въ особенности изучалъ древніе языки и исторію славянскихъ литературъ. Въ 1880—1883 годахъ г. Шуранъ былъ преподавателемъ гимназіи въ Прагѣ. Въ настоящее время онъ состоитъ преподавателемъ въ высшей гимназіи въ Раудницѣ (въ Богеміи). Онъ началъ свою литературную карьеру переводами съ русскаго, сербскаго, французскаго и нѣмецкаго языковъ, критическими статьями и разсказами, напечатанными въ различныхъ чешскихъ изданіяхъ. Собственные произведенія и переводы г. Шурана пользуются на его родинѣ заслуженною извѣстностью и почетомъ.

С.-Петербургъ. 1889 г. 29 марта.

Оглавленіе

Х ТОМА.

Мировичъ. (1762—1764 г.) Романъ.

Часть третья. Шлиссельбургская катастрофа.

	СТР.
XXI. Послѣдній день царствованія Петра Третьяго.	3
XXII. Забытый.	9
XXIII. Докладъ Панина.	14
XXIV. Донской ординарецъ.	26
XXV. Ночь въ Пеллѣ.	37
XXVI. У новаго фаворита, въ Шаболовкѣ.	46
XXVII. У Разумовскаго, на Покровкѣ.	54
XXVIII. Кумова пасѣка.	66
XXIX. Въ Казанскомъ соборѣ.	75
XXX. Въ Шлиссельбургѣ на караулѣ.	89
XXXI. Покушеніе.	99
XXXII. Сентенція.	180
XXXIII. На эшафотѣ.	118
Примѣчанія къ роману «Мировичъ».	128
Неизданное стихотвореніе Мировича.	132
Переводы сочиненій Г. П. Данилевскаго.	132



100

